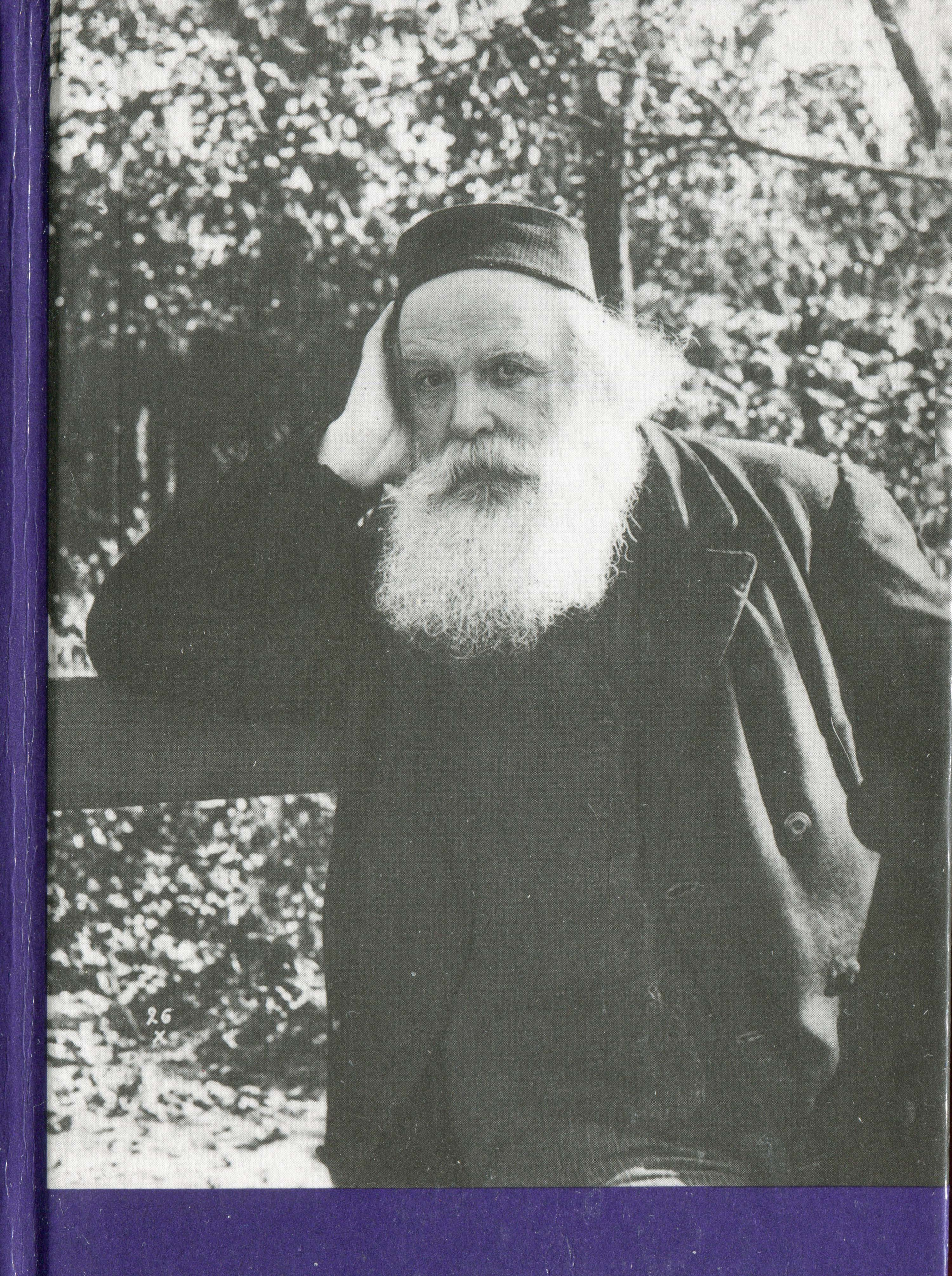


С. А. НИЛУС

Сергей Александрович НИЛУС

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

Сергей
Александрович
НИЛУС

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ

Записки православного

Москва · 2006

Составление и общая редакция
А. Н. СТРИЖЕВА

Полное собрание сочинений выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса (1862–1929) в шести томах включает все его произведения, как выходившие отдельными изданиями, так и те, что рассыпаны в периодике. В приложениях к томам собраны материалы, дополняющие излагаемое автором, и наиболее важные толкования текстов. Заключительный шестой том будет содержать публикации биографического характера, раскрывающие уникальный жизненный путь С. А. Нилуса, а также характеристики людей из его окружения. Завершит том подробная библиография произведений писателя и литературы о нем. Все книги этого издания снабжены редкими снимками. Подобного собрания сочинений С. А. Нилуса еще не предпринималось, и наше начинание закладывает основание для всестороннего освоения наследия талантливого представителя отечественной духовной литературы.

ISBN 5-87468-138-8

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ

Записки православного

Часть I

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

По выходе в свет книги этой я послал ее в дар епископу Полтавскому Феофану. В ответ на это Владыка 24 ноября 1915 года написал мне следующее:

«Досточтимый Сергей Александрович! Сердечно благодарю Вас за Ваше внимание ко мне, выразившееся в посылке мне Вашей книги «На берегу Божьей реки». Я с великим интересом читаю все Ваши книги и вполне разделяю Ваши взгляды на события последнего времени. Люди века сего живут верою в прогресс и убаюкивают себя несбыточными мечтами. Упорно и с каким-то ожесточением гонят от себя самую мысль о кончине міра и о пришествии антихриста. Их очи духовно ослеплены. Они видя не видят и слыша не разумеют. Но от истинно верующих чад Божиих смысл настоящих событий не сокрыт, даже более того: на ком почиет благоволение Божие, им будут открыты и время пришествия антихриста и кончина міра точно. Когда Господь изречет Свой грозный Суд над грешным міром: не имать пребывати Дух Мой в человецех сих яже суть плоть; тогда Он ска-

жет верным Своим рабам: *изыдите от среды их и* ***отлучитеся*** *и нечистот не прикасайтеся. Аз приму вы* (2 Кор. 6, 17; ср.: Ис. 52, 11). И сокроет их от взоров міра, воздыхающего в страхе грядущих бедствий. Поэтому велика заслуга тех, кто напоминает людям века сего о грядущих великих временах и событиях. Господь да поможет Вам глаголати о сем в слух міра всего благовременно и безвременно *со всяким долготерпением и назиданием*! (2 Тим. 4, 2).

Ваш искренний почитатель и богомолец, Епископ Феофан».

«Господь да поможет Вам глаголати о сем в слух мира всего» — эти слова епископа сбылись во всей точности в годы революции. Таково значение епископского благословения, и притом такого епископа, как Феофан.

Назначение и цель христианского писателя — быть служителем Слова, способствовать раскрытию в Нем заключенной единой истины в ее бесконечно-разнообразных проявлениях в земной жизни христианина и тем вести христианскую душу по пути Православия от жизни временной в жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем.

С Покрова 1907 года[1] по день Св. Духа 1912 года Богу угодно было поселить меня со всей моей семьей на благословенной земле святой Оптиной Пустыни. Отвели мне старцы усадьбу около монастырской ограды, с домом, со всеми угодьями, и сказали:

— Живи с Богом, до времени. Если соберемся издавать Оптинские листки и книжки, ты нам в этом поможешь; а пока живи себе с Богом около нас: у нас хорошо, тихо!..

---

[1] С Покрова 1917 года началось наше житие в Линовице под покровом храма в честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Храм, правда, освящен был не на Покров, а ранее 10 августа, 7–27 июля, но посвящен именно этому празднику Богоматери. Он сооружен был Покровской игуменией Софиею.

И зажили мы, с благословения старцев, тихонько, пустынною жизнью, надеясь и кости свои сложить около угодников Оптинских.

Господь судил иначе. Слава Богу за все!..

Велика и несравненно-прекрасна река Божья — святая Оптина! Течет река эта из источников жизни временной в море вечно радостного бесконечного жития в царстве незаходимого Света, и несет на себе она ладии и своих пустынножителей, и многих других многоскорбных, измученных, страдальческих душ, обретших правду жизни у ног великих Оптинских старцев. Каких чудес, каких знамений милости Божией, а также и праведного Его гнева, не таят в себе прозрачно-глубокие, живительные воды этой величаво-прекрасной, таинственно-чудной реки! Сколько раз с живописного берега ее, покрытого шатром пышно-зеленых сосен и елей, обвеянного прохладой кудрявых дубов, кружевом берез, осин и кленов заповедного монастырского леса, спускался мой невод в чистые, как горный хрусталь, бездонные ее глубины, и — не тщетно...

О благословенная Оптина!..

До новолетья 1909 года я был занят разбором старых скитских рукописей, ознакомлением с духом и строем жизни моих богоданных соседей, насельников святой обители. Плодом этого времени была книга моя «Святыня под спудом» и несколько меньших по объему очерков, нашедших себе приют в изданиях Троице-Сергиевой Лавры. С 1 января 1909 года я положил себе за правило вести ежедневные, по возможности, записки своего пребывания в Оптиной, занося в них все, что в моей совместной с нею жизни представлялось мне выдающимся и достойным внимания.

Чего только не повидал я, чего не передумал, не переслушал я за все те незабвенные для меня годы, чего не перечувствовал! Всего не перескажешь, да многого и нельзя рассказать до времени, по разным причинам слишком интимного свойства. Но многое само просится под перо, чтобы быть поведанным во славу Божию и на пользу душе христианской, братской мне по крови и по вере православной.

Откроем же, читатель дорогой, тетради дневников моих и проследим с тобою вместе, что занесло на их страницы благоговейно-внимательное мое воспоминание.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

1909 год

1 января

Встреча нового года. — Бабаевский блаженный Василий Александрович. — Преп. Елеазар Анзерский.

Вот уже и год прошел, да еще с прибавком в три месяца, как мы живем под покровом Царицы Небесной в Ее обители Оптинской. Не видали, как пролетело это время.

Новорожденного младенца семьи вечности — 1909 год — встретили всенощным бдением в Казанской церкви благословенной Оптиной. Ходили всей семейкой, разросшейся, благодарение Богу, до одиннадцати душ. Отстояли всенощную до величания великого святителя Василия, приложились после Евангелия к его образу и после четвертой песни канона, около 10 часов вечера, пошли домой. Служба началась в половине седьмого, а конца первого часа и отпуста ранее половины одиннадцатого не дождаться: не всем моим под силу выстаивать до конца такие бдения, да и самому мне грех похвалиться выносливостью к монастырским стояниям, кроме тех, увы, ред-

ких случаев, когда, нежданная, негаданная, посетит нечувственное окаменелое сердце небесная гостья — молитвенная благодать Духа Святаго, «немощная врачующая, оскудевающая восполняющая». Ну, тогда стой хоть веки!..

К одиннадцати часам вечера пришел к нам иеромонах о. Самуил с двумя клиросными, перекусили кое-чего с нами, выпили чайку и начали в моленной новогодний молебен. Была полночь, а в моленной мы и певчие пели «Бог Господь и явися нам...»

Идеальная встреча нового года! Как благодарить за нее Господа?

— Крестообразно! — сказал мне как-то, года три назад, в Николо-Бабаевском монастыре на подобный же вопрос один полублаженный, а может быть, и блаженный, некто Василий Александрович, проживавший, в холодной трепанной одежонке, и лето и зиму в омете соломы около монастырского молотильного сарая.

— Как? — переспросил я.

— Да так, очень просто, — ответил Василий Александрович и осенил себя крестным знамением. — Так и благодарите! — добавил он с милой, детски наивной улыбочкой.

Верстах в пяти от монастыря у Василия Александровича было что-то вроде поместья, — дом, надельная и наследственная, родителями благоприобретенная земля, — но он, как говорили мне, до этого не касался, предоставив все во владение семейному своему брату; сам же он был бобыль и довольствовался как жилищем монастырским ометом. В омет этот он уединялся, там и ночевывал, не обращая внимания ни на какую погоду. Изредка, когда костромские морозы переваливали за 30 градусов, Василий Александрович забегал в монастырскую гостиницу погреться у гостиника и попить у него чайку... Когда-то он был послушником в Николо-Бабаевском монастыре, а затем, кажется, вторым регентом в Троице-Сергиевой Лавре. Лет двадцать назад, — ска-

зывали мне, — у него был чудный голос — тенор, которым, бывало, заслушивались любители пения. Во времена моего с ним знакомства у него уже почти не оставалось голоса, но слух был на редкость верный, и мы с женой певали иногда с ним священные песнопения, поздним вечером, на крылечке монастырской гостиницы. Странный он был человек! Придет он, бывало, ко бдению в величественный Бабаевский собор, станет где попало и как попало, иногда даже полуоборотом к алтарю, поднимет голову кверху, воззрится в соборный расписной купол да так и простоит как изумленный все бдение, не сходя с места и не пошевельнув ни одним мускулом. Внешней молитвенной настроенности в нем заметно не было. Была ли внутренняя? — Бог весть; но по жизни своей смиренной и скромной, исполненной всякой скудости и полнейшего нестяжания, он все-таки был человек не из здешних.

На том, видно, свете только и узнаем, кем был в очах Божиих бабаевский Василий Александрович.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Приходил поздравить нас с новым годом наш духовный друг, о. Нектарий, и сообщил из жития Анзерского отшельника, преподобного Елеазара, драгоценное сказание о том, как надо благодарить Господа.

— Преподобный-то был родом из наших краев, — поведал нам о. Нектарий; — из мещан он происходил Козельских[1]. Богоугодными подвигами своими он достиг непрестанного благодатного умиления и дара слез. Вот и вышел он как-то раз — не то летнею, не то зимнею ночью — на крыльцо своей кельи, глянул на красоту и безмолвие окружающей Анзерский скит природы, умилился до слез, и вырвался у него из растворенного божественною любовью сердца молитвенный вздох:

[1] Уездный город Калужской губернии Козельск от Оптиной отстоит всего в трех верстах.

— О Господи, что за красота создания Твоего! И чем мне и как, червю презренному, благодарить Тебя за все Твои великие и богатые ко мне милости?

И от силы молитвенного вздоха Преподобного разверзлись небеса, и духовному его взору явились сонмы светоносных Ангелов, и пели они дивное славословие ангельское:

— «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!..»

И голос незримый поведал Преподобному:

— Этими словами и ты, Елеазар, благодари твоего Творца и Искупителя!

Осеним же и мы себя крестным знамением и возблагодарим Бога славословием ангельским: «Слава в вышних Богу!..»

Но не остается, по-видимому, на земле мира; по всему видно, что и благоволение отнимается от забывших Бога человеков.

Что-то будет, что-то будет?

Хорошо в Оптиной, тихо!.. Надолго ли?

2 января

Друг из Елабуги. — Дар «на память» из рук почившего о. Иоанна Кронштадтского. — «Память» от преподобного Иоанна Многострадального. — Значение о. Иоанна. — Мессина и С.-Пьер. — Пророчества исполняются. — Угрозы будущего.

Есть у нас в Елабуге сердечный друг, близкий нам по духу и вере человек, скромная учительница церковно-приходского училища Глафира Николаевна Любовикова. Близка она была любовию своею и верою к великому молитвеннику земли русской о. Иоанну Кронштадтскому. Не потому близка она была ему, что жила под одною с ним кровлею, — она и виделась-то с батюшкой на всем своем веку раза два-три, не более, а по вере

своей, по которой она имела от него, наверно, больше многих из тех, кто неотступно следовал за батюшкой в его всероссийских странствованиях. С этой рабой Божией наше знакомство долгое время было заочным, по переписке, вызванной интересом ее к моим книгам. Минувшим летом она из далекой своей Елабуги приехала на богомолье в Оптину, и здесь мы с нею и познакомились. Последним ее этапом перед Оптиной был Вауловский скит, недалеко от Ярославля, где в то лето начинала уже угасать святая жизнь великого Кронштадского молитвенника. Из Оптиной, по пути в Елабугу, она хотела опять заехать в Ваулов к батюшке.

— Будете у батюшки, — сказал я ей, — кланяйтесь ему от всех нас в ножки и попросите у него мне что-нибудь из его вещей или из старой его одежды, на память и благословение.

Какое имел для души моей значение Кронштадтский пастырь, видно из книги моей «Великое в малом». Елабужскому другу просьба моя была понята.

10 июня прошлого лета я получил от нее письмо, в котором она между прочим пишет так:

«Здравствуйте, мои дорогие! Спешу поделиться своею радостью и вкупе вашею. 1 июня, в 8 часов утра, пароход, на котором я уехала домой, не заставши батюшки в Ваулове, подошел к конторке. Я выхожу и узнаю, что о. Иоанн на Святом Ключе, в имении Стахеевых, в семнадцати верстах от Елабуги. Я сейчас же сдала багаж конторщику, а сама побежала на другую конторку, где стахеевский пароход ожидал гостей, которые были приглашены... Там все были рады, что я подоспела и еще увижу батюшку. К обедне мы уже не успели — батюшка уже отслужил. Когда меня батюшка благословил, то я ему под ухо говорю, что С. А. Нилус вам шлет земной поклон и просит вашего благословения. Батюшка говорит:

— Передай ему, что я глубоко, глубоко уважаю его, люблю его любовью брата о Христе.

Я говорю ему:

— Батюшка! ему что-нибудь хочется получить от вас на память.

Он ответил:

— К сожалению, ничего у меня нет здесь...

Так и не пришлось мне, — пишет наш друг, — исполнить желание ваше, несмотря на видимое к вам расположение батюшки.

Сегодня — день памяти преподобного Серафима Саровского. Мы с женой вдвоем ходили и к утрени, и к обедни. В этот знаменательный и любимый наш день мы получили из Петербурга от одного близкого родственника жены письмо и в нем небольшую веточку «буксуса» с несколькими листочками: во время заупокойного бдения, накануне погребения о. Иоанна, веточка эта была вложена в руку покойного и в ней лежала все время, пока шло бдение.

При жизни своей у батюшки не нашлось под руками, что прислать мне на память, а по смерти эту «память» он прислал мне из собственных своих ручек, да еще через такое лицо, которое и знать-то ничего не могло о моем желании.

Еще замечательное совпадение: книга моя «Великое в малом», посвященная о. Иоанну Кронштадтскому, так много говорит о преподобном Серафиме Саровском, что повествованием о нем, можно сказать, наполнена едва ли не четвертая часть ее первого тома. И вот, в день Преподобного шлется мне зеленая ветвь на память от того, кому с такою любовию и верою был посвящен мой первый опыт посильного делания на пожелтевшей уже и близкой к жатве ниве Христовой. Я не признавал никогда и не признаю случайного во внешнем, видимом міре, тем более — в міре духовном, где для внимательного и верующего все так целесообразно и стройно. Не отнесу и этого важного для меня события к нелепой и несуществующей области случайного.

Да не будет!

И на подкрепу моей вере из уходящего в вечность моего прошлого приходит мне на память случай, подобный этому, но, пожалуй, еще более поразительный.

Года за два или за три до прекращения моей деятельности в качестве помещика Орловской губернии я в летнюю пору, по окончании покоса, до начала жатвы, отправился на своих лошадях к о. Егору Чекряковскому[1]. На душе накипело, сердце черстветь стало: надо было дать душе встряхнуться.

Приехал я к батюшке; вижу: его «правая рука» по детскому приюту, княжна Ольга Евгениевна Оболенская, собирается в путь.

— Куда это вы? — спрашиваю.

— Батюшка благословил отдохнуть, съездить к угодникам Киево-Печерским. Завтра еду. Не будет ли от вас какого поручения к святыням Киевским?

Вынул я из кармана кошелек, достал двугривенный и говорю:

— Когда будете в пещерах, помяните мое имя у преподобного Иоанна Многострадального и на его святые мощи положите как дар моего к нему усердия этот двугривенный.

Почему тогда у меня явилось усердие именно к этому Божиему угоднику из всего сонма остальных преподобных отцов Киево-печерских, я до сих пор не знаю... Должно быть, так нужно было.

Княжна уехала; вернулся и я к рабочей поре в свое имение.

Прошло лето, настала осень; покончили с озимым посевом; управились с молотьбой... Пришла к нам на зимовку странница Матренушка: она года два зимовать к нам приходила. Нанесла она мне в дар всякой святыни из разных святых мест, а из Киева — иконочку препо-

---

[1] О нем см. «Великое в малом», изд. 3-е, ч. 1. С 239–274.

добного Иоанна Многострадального и шапочку с его святых мощей.

Очень мне это было трогательно, но особого внимания на этот дар между другими, ему равноценными, я не обратил.

В конце октября или начале ноября того же года приехал ко мне на денек со своей матушкой отец Егор Чекряковский. За беседой я между прочим спросил, хорошо ли съездила в Киев княжна.

— Хорошо-то хорошо, — ответил мне батюшка, — только не без горя; у нее в пещерах на первый же день вытащили из кармана кошелек, а в кошельке был золотой да ваш двугривенный. О золотом-то и о кошельке она и не скорбела, а вот что двугривенного вашего не донесла до мощей Преподобного, то ей в скорбь было великую; хотя она и заменила его своим, да это, по ней, все не то: вышло, будто она ваше поручение неверно исполнила.

Меня точно молнией озарило.

— Нет, не так думает, — с живостью возразил я, — донесен мой двугривенный до Преподобного...

И я показал, что́ получил из Киева от странницы Матрены. Призвал ее при батюшке и спрашиваю:

— Почему ты мне из Киева принесла святыню от Иоанна Многострадального? Почему ты его выбрала?

— Да я, — отвечает, — и не выбирала. У нас, у странников, в обычае, как придет время уходить из Киева, мы и собираем в складчину заказать обедню о здравии и за упокой благодетелей в пещерской церкви. Так и этот раз было. После обедни служивший иеромонах стал нас оделять разной святыней: мне досталась иконочка и шапочка с Преподобного, а я их вам и отдала за хлеб да за соль ваши. А другого чего у меня и в уме не было.

До сих пор бережется у меня эта святыня.

Не то же ли произошло и с веточкой о. Иоанна Кронштадтского? По моей вере — то же.

Смерть о. Иоанна Кронштадтского, на убогий мой разум, представляется мне тоже знамением сокровенного и грозного значения: от земли живых отъят всероссийский молитвенник и утешитель, мало того — чудотворец, да еще в такое время, когда на горизонте русской жизни все темнее и гуще собираются тучи... и одной ли только русской жизни? не мировой ли? Правда, «несть человек, иже поживет и не узрит смерти»; о. Иоанн болел долго, хотя почти до самой кончины своей был на ногах и служил Божественную литургию дней за двенадцать до перехода в вечность. Смерть его не была неожиданностью — к ней готовились верующие. Но за кого теперь миловать грешную землю? Кому за нее с такою силой и властью умолять Судию Праведного? «Седмь тысящ не подклонивших выи Ваалу», быть может, и соблюдает Себе Господь, но не для того ли, чтобы сказать этой последней Своей на земле Церкви, этому малому Своему стаду:

— Изыди отселе, народ Мой!

Наше время и плоды его похожи на то, что совершилось в Иерусалиме перед осадой его и разрушением. На Рождество не погибла ли так же ужасно цветущая Мессина, во мгновение ока похоронив под своими развалинами более 200 000 человек? Даже кладбище Мессины, устоявшее при первом землетрясении, спустя несколько дней после катастрофы, новым подземным толчком было сметено с лица земли, так что и камня на камне не осталось от его пышных намогильных памятников.

Не башня ли это Силоамская? Не грозит ли и нам Бог гибелью, если не покаемся? А покаяния не только не видно, но люди, несмотря на тяжкие язвы, на них налагаемые, только еще более хулят Имя Божие. Максим Горький, например, выходец из недр Русского народа, когда-то бывшего богоносцем, что пишет он, несчастный безумец, по поводу мессинской катастрофы? «Такие страшные события, — вещает этот божок российской анархии, — могут еще иметь место, но только пока силы

человечества растрачиваются на борьбу человека с человеком. Наступает время окончания этой борьбы, и тогда-то мы одолеем и самые стихии и принудим их подчиниться человеку...»

Что это, как не восстание на Бога падшего Денницы? Разве богохульными устами этого жалкого пошляка и кощунника не говорит апокалиптический зверь, которого еще нет, но чью близость уже предчувствует объятое трепетною жутью сердце человеческое: одних, и притом немногих, как антихриста, близ грядущего в мир, других же, — и их большинство, — как «сверхчеловека», мирового гения, который должен прийти и устроить все, «перековать мечи на орала и копия на серпы?..»

На все мировые, современные нашему веку события мой ум и сердце отказываются смотреть иначе как с точки зрения совершенного исполнения пророчеств Священного Писания, и в частности апокалипсических. Пятнадцать месяцев, проведенных мною в непрестанном общении с оптинскими преданиями как письменными, так и устными, совершенно убедили меня, что я не ошибаюсь в своей уверенности: только с этой точки зрения все бестолковое, безумное, взваливающее на Бога, что творится во всем міре и что заразило уже Россию, может найти себе объяснение и не довести верующего сердца до пределов крайнего отчаяния, за которыми — смерть души вечная. И до чего люди, отвергшиеся духа Писания, слепы! — и оком видят, и ухом слышат, и — не разумеют. Возьму на выдержку из газетных сообщений факты из того же мессинского события. Сообщается, например, что в числе открытых нашими моряками жертв землетрясения была одна женщина, найденная под развалинами совершенно здоровой, только истощенной от голодовки и пережитого ужаса. В момент землетрясения она с мужем своим спала на одной кровати. Когда провалилась их спальня и их засыпало обломками, то мужа ее около нее не оказалось. Она еще некоторое время

слышала его голос из-за разделившей их груды мусора; стоило, казалось, протянуть ей руку и коснуться мужа, но это было невозможно. И вот мужнин голос, вначале громкий, стал затихать и наконец совсем замер.

Умер муж, а жена осталась.

Разве это не точное исполнение слов Спасителя? — *Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится* (Лк. 17, 34).

В той же Мессине, по словам тех же газет, от всеобщего разрушения сохранены были только два здания, и были здания эти: ***тюрьма и дом сумасшедших***. Уцелели, стало быть, только осужденные и отверженные міром, а осудивший и отвергнувший их мір погиб.

Это ли не знамение Промысла Божия?! Имеющий уши слышати да слышит!..

Всего знаменательнее, что такие подробности катастрофы, явно свидетельствующие истину и непререкаемость Божьего слова, исходят со столбцов таких органов печати и от таких людей, которых в клерикализме заподозрить отнюдь никто не может.

Когда на острове Мартинике разразилась над городом С.-Пьером подобная же, если не еще более ужасная, катастрофа, то там изо всего города в живых остался только один негр, заключенный в подземную темницу. На утро следующего дня он должен был преданным быть казни, а казнь свершилась над осудившими его.

Все это — знамения! Но кто им внимает?

3 января

Два знаменательных события в Оптиной Пустыни. — Их значение как знамения для православного міра. — Голый человек на престоле Введенского храма. — Что это знаменовало?

Немало знамений является и в нашей, пока еще богоспасаемой, Пустыни!

В самый день Рождества Христова в ней совершилось два крупных по своему внутреннему значению события: во время торжественной Литургии, совершаемой соборне самим о. архимандритом, в самый момент великого входа, загорелся и сгорел до основания монастырский черепичный завод.

Это — событие первое.

В пятом часу того же дня, когда в храме началось чтением 9-го часа повечерие, в келье своей от разрыва сердца внезапно скончался монастырский благочинный, о. Илиодор, человек нестарый и на вид еще совсем бодрый.

Это — событие второе.

Таким образом, начало нового христианского года, который логично должен начинаться со дня Рождества Христова, ознаменовалось пожаром и смертью. Сгорел ***кровельный*** завод; умер ***благочинный***. Не прообраз ли это от частного к общему того, что и в міру, по имени христианском, новый год откроется также пожаром (духовным — мы должны рассуждать обо всем духовно), который коснется чего-то покровного (не веры ли, подобной дереву, выросшему из горчичного семени?) и что в наступающем году наступит внезапный конец благочинию (церковному)? Касаясь самой Оптиной Пустыни, где явлены были эти знамения, они не могут не отразиться и на всем православном міре. Оптина Пустынь не есть какой-нибудь безвестный, затерявшийся на путях и распутиях міра уголок — она, со смертью о. Иоанна Кронштадтского, стала едва ли не важнейшим центром православно-русского духа: совершающееся в ней как в центре неминуемо должно отозваться так или иначе как на периферии, и на всем организме русского, а с ним и вселенского Православия. Сейсмические инструменты Пулковской обсерватории не показывают ли землетрясений, происходящих даже в другом полушарии?..

Последим за событиями: они укажут, правильна ли или нет эта точка зрения.

Перед всероссийским разгромом 1905 года, в августе 1904 года, в той же Оптиной произошло событие, важность которого была по достоинству оценена внимательными.

Дело было так.

В начале каникул лета того года в Оптину Пустынь к настоятелю и старцам явился некий студент одной из Духовных академий, кандидат прав университета[1]. Привез он с собою от своего ректора письмо, в котором, рекомендуя подателя, о. ректор (преосвященный) просит начальство Пустыни дать ему возможность и указания к деятельному прохождению монашеского послушания во все его каникулярное время.

Аспирант монашеского подвига был принят по-оптински — радушно и ласково. Отвели ему номерок в гостинице, где странноприимная, а послушание дали то, через которое, как чрез начальный искус, Оптинские старцы проводят всякого, кто бы ни пришел поступать к ним в обитель, какого бы звания или образования он ни был: на кухне чистить картошку и мыть посуду. Так как у нового добровольца-послушника оказался голос и некоторое уменье петь, то ему было дано и еще послушание — петь на правом клиросе. Оптинские церковные службы очень продолжительны, и круг ежедневного монастырского Богослужения обнимает собою и утро, и полдень, и вечер, и большую часть ночи[2]: чистить картошку и посещать клиросное послушание — это такой труд, добросовестное исполнение которого под силу только молодому,

---

[1] Сергей Яковлевич Смарагдов. Впоследствии след его отыскался: он оказался священником Сухумского собора. Ему принадлежит сомнительная честь разгрома Иверско-Алексеевской женской общины о. Софрония, близ Туапсе.

[2] Утреня начинается в час ночи, оканчивается в начале пятого утра; ранняя обедня — от половины шестого до семи утра; поздняя — от половины девятого до половины одиннадцатого в будни и в праздники до половины двенадцатого; вечерня — от пяти до половины восьмого вечера; правило — от восьми до половины девятого вечера. Таково, приблизительно, ежедневное распределение Оптинских служб.

крепкому организму и хорошо дисциплинированной воле, одушевленной к тому же ревностью служения и любви к Богу. Но этого труда ученому послушнику показалось недостаточно, и он самовольно (по-монастырски — самочинно) наложил на себя сугубый молитвенный подвиг: стал молиться по ночам в такое время, которое даже и совершенным положено для отдохновения утружденной плоти. Это было земечено гостиником той гостиницы, где была отведена келья академисту; пришел он к настоятелю и говорит:

— Академист-то что-то больно в подвиг ударился: по ночам не спит, все молится; а теперь так стал молиться, что, послушать, страшно становится; охает, вздыхает, об пол лбом колотится, в грудь себя бьет.

Призвали старцы академиста, говорят:

— Так нельзя самочинничать: этак и повредиться можно, в прелесть впасть вражескую. Исполняй, что тебе благословлено, а на большее не простирайся.

Но усердного не по разуму подвижника, да еще ученого, остановить уже было нельзя: что, мол, понимает монашеская серость? Я все лучше их знаю!

И, действительно, узнал — дошел до таких степеней, до каких еще никто не доходил из коренных подвижников Оптинских!..

Вскоре после старческого увещания, певчими правого клироса была замечена явная ненормальность поведения академиста: он что-то совершил во время церковного пения такое, что его с клироса отправили в монастырскую больницу; а в больнице у него сразу обнаружилось буйное умопомешательство. Пришлось его связать и посадить в особое помещение, чтобы не мог повредить ни себе, ни людям. За железной решеткой в небольшом окне, за крепкой дверью и запором и заключили до времени помешанного, а тем временем дали о нем знать в его Академию.

Событие это произошло 1 августа 1904 года, а 2 августа оно разрешилось такой катастрофой, о какой не

только Оптина Пустынь, но и Церковь Русская не слыхивала, кажется, от дней своего основания.

Во Введенском храме (летний оптинский собор) шла утреня. Служил иеромонах о. Палладий, человек лет средних, высокой духовной настроенности и богатырской физической силы. На клиросах пели «Честнейшую Херувим»; о. Палладий ходил с каждением по церкви и находился в самом отдаленном от алтаря месте храма. Алтарь был пуст, даже очередной пономарь — и тот куда-то вышел. В церкви народу было много, так как большая часть братии говела, да было немало говельщиков и из мирских богомольцев... Вдруг в раскрытые западные врата храма степенно и важно вошел некто совершенно голый. У самой входной двери этой с левой стороны стоит ктиторский ящик, и за ним находилось двое или трое полных силы молодых монахов; в трапезной — монахи и мирские; то же — и в самом храме. На всех нашел такой столбняк, что никто, как прикованный, не мог сдвинуться с места... Так же важно, тою же величественною походкой голый человек прошел мимо всех богомольцев, подошел к иконе Казанской Божьей Матери, что за правым клиросом, истово перекрестился, сделал перед нею поклон, направо и налево, по-монашески, отвесил поклоны молящимся и вступил на правый клирос.

И во все это время, занявшее не менее двух-трех минут, показавшихся очевидцам, вероятно, за вечность, никто в храме не пошевельнулся, точно силой какой удержанный на месте.

Не то было на клиросе, когда на него вступил голый: как осенние сухие листья под порывом вихря, клирошане — все взрослые монахи — рассыпались в разные стороны, — один даже под скамейку забился, — гонимые паническим страхом. И тут, во мгновение ока, голый человек подскочил к Царским вратам, сильным ударом распахнул обе их половинки, одним прыжком вскочил на престол, схватил с него Крест и Евангелие, сбросил их

на пол далеко в сторону и встал во весь рост на престоле, лицом к молящимся, подняв кверху обе руки, как некто, кто *в храме Божием сядет, как Бог, выдавая себя за Бога...* (2 Сол. 2, 4).

Мудрые из Оптинских подвижников так это и поняли...

Этот голый человек был тот самый академист, что вопреки воле старцев и без их благословения затеял самовольно подвижничать и впал в состояние омрачения души, которое духовно именуется прелестию...

Тут сразу, как точно кандалы спали с монахов, все разом бросились на новоявленного бога, и не прошло секунды, как уже он лежал у подножия престола, связанный по рукам и ногам, с окровавленными руками от порезов стеклом, когда он выламывал железную решетку и стеклянную раму своего заключения, и с такой сатанинской, иронически-злой усмешкой на устах, что нельзя было на него смотреть без тайного ужаса.

Одного монаха он чуть было не убил, хватив его по виску тяжелым крестом с мощами; но Господь отвел удар, и он только поверхностно скользнул, как контузия, по покрову височной кости. Он ударил того же монаха вторично кулаком по ребрам, и след этого удара в виде углубления в боку у монаха этого остался виден и доселе.

Когда прельщенного академиста вновь водворили в его келью, где, казалось, он был так крепко заперт, он сразу пришел в себя, заговорил как здоровый...

— Что было с вами? — спросили его. — Помните ли, что вы наделали?

— Помню, — ответил он, — все хорошо помню. Мне это надо было сделать, и горе мне, если бы я не повиновался этому повелению... Когда, разломав раму и решетку в своем заключении и скинув с себя белье, я нагой, как новый Адам, уже не стыдящийся наготы своей, шел исполнить послушание «невидимому», я вновь услыхал тот же голос, мне говорящий: «Иди скорее, торопись, а то будет поздно!» — Я исполнил только долг свой перед пославшим меня.

Так объяснил свое деяние новейший Адам, сотворивший волю пославшего его отца лжи и духовной гордости.

Отправили прельщенного в Калугу, в «Хлюстинку» — больницу для душевнобольных, а оттуда его вскоре взял на свое попечение кто-то из его ближайших родственников. Дальнейшая судьба его в точности неизвестна. Слышно было, что он окончательно выздоровел, Духовную академию оставил и служит где-то по судебному ведомству[1].

---

[1] Из «Прибавления к церковным ведомостям» № 43.

В настоящее время в Крестовой церкви в Екатеринбурге при архиерейских служениях большею частью проповедником выступает отец И. Сторожев, а в числе богомольцев стало не редкостью видеть прежних товарищей его — людей большею частью давно отбившихся от Церкви и богослужения. Через несколько дней после товарищ отца И. Сторожева, также екатеринбургский присяжный поверенный, С. Я. Смарагдов был рукоположен в священный сан преосвященнейшим Андреем Сухумским. В г. Екатеринбурге, да и в епархии, знали присяжного поверенного Сергея Яковлевича Смарагдова как честного защитника, хорошего оратора и скромного человека. Но едва ли многие знали его как христианина. Едва ли многие из обращавших внимание на его скромность знали истинную основу ее. Да и кто мог подумать, что скромность этого подававшего такие большие надежды адвоката истекала из его христианской настроенности. А между тем это было так. Адвокат продолжал всегда быть искренним христианином и верным сыном Святой Православной Церкви. Адвокатская практика не выработала из него себялюбивого «дельца», не загасила горевший в нем пламень веры. Среди своих занятий С. Я. находил время для изучения Священного Писания и чтения святоотеческих писаний. За несколько лет он, можно сказать, изучил всю библиотеку кафедрального собора. Клирос собора был его любимым местом в храме. Здесь, особенно в будние дни, он пел вместе с псаломщиками, читал часы, шестопсалмие и проч., день ото дня становясь все более и более «церковным человеком». И вот — свершилось. Подававший блестящие надежды адвокат решил порвать карьеру, сулившую ему славную будущность, и принять сан священника. К сожалению, по семейным обстоятельствам вследствие болезни жены, нуждающейся в теплом климате, С. Я. не мог остаться в Екатеринбурге и вынужден был уехать на юг, в г. Сухум. Там он радушно встречен был преосвященным епископом Андреем

Когда произошло это страшное событие, повлекшее за собою временное закрытие соборного Оптинского Введенского[1] храма и малое его освящение, то и тогда уже наиболее одухотворенные из братии усматривали в нем прообраз грозного грядущего, провидя в нем все признаки предантихристова времени.

Через год с небольшим началось так называемое «освободительное движение» и дало собою яркое подтверждение тому, что в предположениях своих духоносные Оптинские отцы и братия не ошибались, что движение это прикрывает собою не одну революцию против Самодержавного Помазанника Божия, а и войну против Творца и Самодержца вселенной и что близится тот роковой день, когда должен явиться «презренный» пророка Даниила, который при общем столбняке власть имущих и параличе власти прекратит ежедневную жертву, поставит мерзость запустения на криле святилища и... окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя...

Есть в Оптиной некий монах из священнослужителей, нравом препростой, благоговейный и богобояз-

---

и стал готовится к посвящению. 29 сентября г. Смарагдов прислал на имя преосвященного Митрофана, епископа Екатеринбургского и Ирбитского, следующую телеграмму из Сухума: «Милостивейший архипастырь. Первого октября 1911 года назначено рукоположение меня, грешного, во диакона, пятого — во пресвитера. Припадая к стопам Вашего Преосвященства, усердно прошу Вашего Святительского молитвенного заступления». Владыка прислал преосвященному Андрею телеграмму следующего содержания: «Прошу Ваше Преосвященство передать мой привет Смарагдову и молитвенное пожелание возмогать во благодати, яже о Христе Иисусе». Теперь, когда печатаются эти строки, бывший присяжный поверенный уже стал служителем алтаря Божия, благослови его Господь. 5 октября владыка получил следующую телеграмму: «Еще раз сердечно благодарим за любовь вашу, Владыка; просим святых молитв. Епископ Андрей, священник Смарагдов».

[1] Оптина Пустынь именуется Введенской, и годовой праздник обители — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

ненный[1]. Сказывал мне про него кое-кто из братий, что за сколько-то времени до этого знаменательного события ему виделся в алтаре Введенского храма, на престоле, некто без малейшего признака на нем какого-либо одеяния.

— Вот искушение-то, — говорил этот священнослужитель, — как только моя чреда, вхожу в алтарь, а там голый на престоле.

Мало только кто верил словам этого раба Божия...

Много ли найдется и из читателей таких, кто станет на мою точку зрения в рассуждении о значении того, что 2 августа 1904 года произошло в святой Оптиной Пустыни?..

Дай Бог, чтобы мое толкование оказалось неверным!

А сердце тревожно, тревожно!..

9 января

Кипячение крещенской воды в Петербурге. — Монахиня Ольга и ее прорицания. — Случай с одним архиепископом. — Слухи о реставрации чудотворной иконы Божией Матери. — Мудрость Старца. — Суд Божий.

События, по-видимому, начинают оправдывать мое толкование совершившегося в Оптиной в день Рождества Христова: покров веры отъемлется от стада Христова в великую скорбь овцам и на радость торжествующей стае хищных волков, празднующих близость победы и одоления. В Крещенский сочельник и в самый день Богоявления по представлению санитарной комиссии было сделано распоряжение совершить освящение великой агиасмы[2] в Петербурге на кипяченой воде. Ко всем соборам и церквам, а также на Иордань, на Неву, привезены были бочки с кипятком, и молитвы водоосвящения читались над кипятком, на кипяток призывалась всеосвящающая благодать Святаго Духа... Это ли не погром веры?! Полену

[1] О. Игнатий, иеродиакон (прозвище — «голосёна» за жалобный голос).

[2] Крещенской воды.

дров, нужному для кипячения воды и уничтожения микробов, было оказано больше веры, чем Богу...

Вот он, «пожар покрова веры»!.. К счастью, не все еще отступили от якоря нашего спасения, и в том же Петербурге Господь сохранил для избранных Своих одного епископа, не согласившегося поступиться своей верой ради мира с врагами Христовой Церкви. Если мои записки когда-либо узрят свет, то пусть они и сохранят имя этого верного слуги Божия и архипастыря в подкрепление веры и благочестия изнемогающих моих братий. Кирилл Гдовский[1] — имя этому епископу. Да будет благословенно имя его в род и род.

Мне прислали из Петербурга вырезку из № 7-го петербургской газеты и в ней статья — «Богоявленское водосвятие в Александро-Невской Лавре».

Страшное по своему значению событие это в газете описывается так.

«...Вот что произошло в главном соборе Александро-Невской Лавры накануне Крещения, в сочельник.

Лаврские сторожа заблаговременно приготовили для водоосвящения громадный дубовый чан в несколько бочек воды, по обыкновению, некипяченой, прямо из-под крана. Полиция местного участка через городового, от имени пристава, приказала приготовить 50 ведер кипяченой воды местному трактирщику г. Евплову, для водосвятия в Александро-Невской Лавре. Кипяток был заказан к 10 часа утра и через час уже был готов, но он не потребовался.

Помощник пристава, узнав, что вода в чане некипяченая, потребовал, чтобы воду заменили кипяченой. Эконом Лавры архимандрит Филарет отправился к митрополиту Антонию[2], но секретарь Тихомиров сказал, что

[1] Ныне (1913) Тамбовский.

[2] Митрополит Антоний, при tacitu consensus которого произошло это кощунство, умер вскоре, и смерть его была тяжелая; умирал без сознания в течение, помнится, 10 дней. Когда же после отпевания

владыку беспокоить нельзя, что он сильно занят. «Не получив, таким образом, никакого распоряжения от владыки, — говорил мне архимандрит Филарет, — я своею властью приказал переменить воду. У нас воды кипяченой было достаточно, но только мы ее не успели остудить. Брали прямо из кипятильников, горячую».

Эконом лавры выразил сожаление, что распоряжение о кипяченой воде было сделано слишком поздно.

«В общем все обошлось благополучно. Многие из публики даже благодарны за принятые предупредительные меры», — говорил нам архимандрит Филарет.

К сожалению, не то мы слышали от молящихся в церкви. Многие сильно роптали и выходили, когда во время совершения Литургии воду приносили сторожа и выливали в чан. Пар от горячей воды распространился по всему собору... Энергичное требование полиции заменить немедленно сырую воду кипяченой произвело на богомольцев неблагоприятное впечатление. В самый день Крещения требования полиции поставить чан с кипяченой водой на льду у Иордани лаврское духовенство отвергло. Вода была освящена епископом Кириллом Гдовским, в сослужении архимандритов Лавры, прямо в проруби Невы.

Местная полиция приняла меры и никого из публики за водой на Иордань не допустила.

Ой, страшно!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В недальнем от Оптиной женском монастыре есть раба Божия по имени Ольга. На нее иногда «находит», и в этом состоянии она имеет видения и прорекает. Кто ей верит, а кто не верит. Я сам не могу определить, каким духом пророчествует Ольга, но многое, как слышно, из ее слов сбывается.

тело его обносили в гробу (открытом) вокруг лаврского собора, неожиданно налетевший вихрь сорвал с его головы венчик и бросил в толпу, где он и исчез бесследно.

Со дня кончины о. Иоанна Кронштадтского[1] на нее «нашло». Она почти ничего не ест, не пьет, не спит даже. Сделала себе из бумаги трубу и трубит:

— Теперь настало антихристово время. Сам сатана вышел из ада. В аду теперь никого, кроме Иуды, не осталось: все сатанинское воинство со своим князем выступило из преисподней, чтобы соблазнять и губить последних христиан на земле. Горе людям, великое горе настало на земле!.. Там моры начнутся, там трусы — земля проваливаться станет; а там война будет страшная... А на восходе солнечном два коня, один рыжий, другой вороной, — удила грызут, так и рвут, разорвать нас хотят; только еще не могут — удерживает их сила нездешняя... Но скоро, скоро они с цепей своих сорвутся и бросятся на нас!

На Ольгу — рассказывали мне — без слез смотреть нельзя: пальцы, руки, ноги — вся она стала как кость и все тело ее приняло во время припадка совершенно неестественное положение...

— Вижу, — трубит Ольга, — вижу антихриста. Вот он ходит, руки потирает, слугами своими доволен, — хорошо дела его все исполняют. Только никто еще не знает, где он находится и когда явится. А уж скоро, скоро ему объявиться. Я его и дела обличать буду, когда в Иоанновский монастырь жить перейду. С Иоанновского и пойдет гонение на христиан от антихриста, а меня он велит казнить — голову мне отрубит...

Антихриста описывает как человека уже взрослого, с усами, с бородой, красоты неизобразимой...

Характерно для переживаемого времени сопоставление отмеченных здесь двух событий — кипячения воды для великой агиасмы и прорицательств Ольги: внешней связи между ними как будто нет, ну а внутренней, на мой взгляд, сколько угодно!..

Каким духом внушаются Ольге ее прорицательства, покажет будущее. Кто доживет, тот увидит...

---

[1] 20 декабря 1908 года.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сегодня прочел в «Колоколе», что престарелый архиепископ одной из древнейших русских епархий, запутавшись ногами в ковре своего кабинета, упал и так разбил себе голову и лицо, что все праздники не мог служить, да и теперь еще лежит с повязкой на лице и никого не принимает[1].

В конце октября или в начале ноября прошлого года был из епархии этого архиепископа на богомолье в Оптиной один офицер; заходил он и ко мне и рассказал следующее:

— Незадолго перед отъездом моим в Оптину, я был на празднике одной обители, ближайшей к губернскому городу, где стоит мой полк, и был настоятелем ее приглашен к трапезе. Обитель эта богатая; приглашенных к трапезе было много, и возглавлял ее наш местный викарный епископ; он же и совершал в тот день Литургию. В числе почетных посетителей был и некий штатский «генерал» из синодской канцелярии. Между ним и нашим викарным зашла речь о том, что получено благословение, откуда следует, по представлению архиепископа, на реставрацию Лика одной чудотворной иконы Божией Матери, находящейся в монастыре нашей епархии. Иконе этой верует и поклоняется вся православная Россия, и она, по преданию, писана при жизни на земле Самой Царицы Небесной св. апостолом и евангелистом Лукой. Нашло, видите ли, монастырское начальство, что лик иконы стал так темен, что и разобрать на нем ничего невозможно. Тут явились откуда-то реставраторы со своими услугами, с каким-то новым способом реставрации, и старенького нашего епархиального владыку уговорили дать благословение на возобновление апостольского письма новыми вапами[2].

[1] Архиепископ Новгородский Гурий.

[2] Славянск. — краски.

— Как же это? — перебил я, — неужели открыто, на глазах верующих?

— Нет, — ответил мне офицер, — реставрацию предположено было совершать по ночам, частями: выколупывать небольшими участками старые краски и на их место, как мозаику, вставлять новые под цвет старых, но так, чтобы восстанавливался постепенно древний рисунок.

— Да ведь это кощунство, — воскликнул я, — кощунство не меньшее, чем совершил воин царя-иконоборца, ударивший копием в Пречистый Лик Иверской Божией Матери!

— Так на это дело, как выяснилось, смотрел и викарный епископ, но не такого о нем мнения был его собеседник, «генерал» из синодальных приказных. А между тем слух об этой кощунственной реставрации уже теперь кое-где ходит по народу, смущая совесть последнего остатка верных... Не вступитесь ли вы, С. А., за обреченную на поругание святыню?

Я горько улыбнулся: кто меня послушает?!

Тем не менее, по отъезде этого офицера я собрался с духом и написал письмо тоже одному из синодских «генералов», Скворцову, с которым мне некогда пришлось встретиться в Орле во дни провозглашения Стаховичем на миссионерском съезде пресловутой «свободы совести». Вслед за этим письмом, составленным в довольно энергичных выражениях, я написал большое письмо к викарному епископу той епархии Андронику, впоследствии замученному епископу Пермскому, где должна была совершиться «реставрация» св. иконы. Епископа этого я знал еще архимандритом, видел от него к себе знаки расположения и думал, что письмо мое будет принято во внимание и, во всяком случае, благожелательно. Тон письма был почтительный, а содержание исполнено теплоты сердечной, поскольку она доступна моему малочувственному сердцу. Написал я епископу и вдруг вспом-

нил, что, приступая к делу такой важности и живя в Оптиной, я не подумал посоветоваться со старцами. Обличил я себя в этом недомыслии, пожалел о том, что «генералу» письмо уже послано, и с письмом к епископу отправился к своему духовнику и старцу о. Варсонофию в Скит. Пошел я к нему с женой в полной уверенности, что растрогаю сердце моего старца своей ревностью и, уж конечно, получу благословение выступить на защиту чудотворной иконы.

Батюшка-старец не задержал меня приемом.

Мир вам, С. А.! Что скажете? — спросил меня батюшка. Я рассказал вкратце, зачем пришел, и попросил разрешения прочесть вслух мое письмо к епископу. Батюшка выслушал внимательно и вдруг задал мне такой вопрос:

— А вы получили на это письмо благословение Царицы Небесной?

Я смутился.

— Простите, — говорю, — батюшка, я вас не понимаю.

— Ну да, — повторил он, — уполномочила разве вас Матерь Божия выступать на защиту Ее святой иконы?

— Конечно, нет, — ответил я, — прямого Ее благословения на это дело я не имею, но мне кажется, что долг каждого ревностного христианина заключается в том, чтобы на всякий час быть готовым выступать на защиту поругаемой святыни его веры.

— Это так, — сказал о. Варсанофий, — но не в отношении к носителю верховной апостольской власти в Церкви Божией. Кто вы, чтобы восставать на епископа и указывать ему образ действия во вверенной его управлению Самим Богом поместной Церкви? Разве вы не знаете всей полноты власти архиерейской?.. Нет, С. А., бросьте вашу затею, и весь суд предоставьте Богу и Самой Царице Небесной. — Они распорядятся, как Им Самим будет угодно. Исполните это за святое послушание, и Господь, целующий

даже намерения человеческие, если они направлены на благое, дарует вам сугубую награду и за послушание, и за намерение; но только не идите войной на епископский сан, а то вас накажет Сама Царица Небесная.

Что оставалось делать? Пришлось покориться.

— А как же, батюшка, — спросил я, — быть с тем письмом, которое я уже отправил синодальному «генералу»?

— Ну, это уж ваше с ним частное дело: «генерал», да еще синодальный, — это в Церкви Божией не богоучрежденная власть, это вам ровня, с которой обращаться можете, как хотите, в пределах, конечно, христианского миролюбия и доброжелательства.

«Предоставьте суд Богу!» — таков был совет Старца. И суд этот совершился: не прошло со дня этого совета и полных двух месяцев, а уже архиепископ получил вразумление и за Лик Пречистой ответил собственным ликом, лишившись счастья совершать в великие Рождественские дни Божественную литургию.

Призамолкли что-то и слухи о реставрации святой иконы. Хотел было я разразиться обличительными громами по поводу кипячения воды для великой агиасмы, но после старческого внушения решил и над этим суд предоставить Богу.

Икона Пресвятой Богородицы Тихвинской была все-таки реставрирована описанным способом при архимандрите Иоанникие. Результат реставрации оказался таков, что ничего от древней святой иконы не осталось и ее уже нельзя было выставлять для поклонения. Самого архимандрита тут же вслед разбила болезнь, и он не мог уже служить. Его удалили на покой в Валдайский Иверский монастырь, где его обокрал келейник тысяч на 40 или 60 (стяжание настоятельское), и он умер с горя 3 июня 1913 года. «А был раньше здоров, как бык», — сказывал мне Валдайский архимандрит, впоследствии епископ, Иоанн.

10 января

Послушница без послушания. — Иерей Бога Вышняго о. Егор Чекряковский (Георгий Алексеевич Коссов), и слова его о реформах духовной школы. — «Перевоплощение» Льва Толстого. — «Два полюса духа».

На нашем горизонте нередко появляется некая многоскорбная монашка-послушница одного большого монастыря Калужской епархии. Эта бедная раба Божия взялась слишком рьяно за подвиги монашеского аскетизма, не стала слушаться старцев и... надорвалась. Утрата ею душевного равновесия стала невыносима для монастырского общежития и ее как неприукаженную удалили из монастыря, кажется, даже силою. Теперь она скитается с места на место и нигде не находит себе успокоения... Сегодня она явилась к нам от о. Егора Чекряковского[1], умиротворенная, успокоенная. Какая от Бога дана сила этому иерею Бога Вышняго, что может низводить мир даже и в такие немирные души, как наша бедная послушница! И все наши старцы, начиная с о. архимандрита, относятся к нему, как к Старцу, как к опытному наставнику и руководителю душ христианских на пути их к вечному спасению. Сколько и я сам от него видел добра себе духовного!.. Выберу время, запишу когда-нибудь в свои дневники кое-что из событий моей жизни, на которых легла печать духа старчества этого истинно великого в своем смирении служителя и строителя Таин Божиих. Сегодня по случаю толков о предстоящих реформах в духовной школе, вычитанных мною в газетах, вспомнилось мне нечто из бесед по этому поводу с о. Егором. Запишу, пока помнится, по возможности словами самого батюшки.

---

[1] См. о нем в книге моей «Великое в малом». Священник села Спас-Чекряк, Орловской губ., Болховского уезда. Ближайший к нему железнодорожный пункт — ст. Белев, Рязанско-Уральской ж. д., откуда до села Спас-Чекряк 25 верст на лошадях.

«Было это во дни архиерейства в нашей епархии епископа С., — так рассказывал мне батюшка, — в то время по всей России пошла мода на съезды. Вот и у нас в епархии вошло в обычай созывать съезды духовенства по всякому удобному случаю. Наступили, как раз во дни его архиерейства, времена тяжкие: забунтовал весь мiр, а с ним стали бастовать и наши духовные школы. Ну, конечно, сейчас же по усмирении был созван съезд епархиального духовенства рассудить о том, как быть, как реформировать училища духовного юношества на началах терпения и смирения, а не противления. Собралось нашего брата на съезд великое множество, возглавилось оно обоими нашими владыками, — епархиальным и викарным, — и стало обсуждать, как поднять дух будущих пастырей, как заставить семинаристов учиться и Богу молиться. Владыка, конечно, сказал слово, приличное случаю; другие тоже в грязь лицом не ударили: говорили, говорили — много чего наговорили... Сижу я себе да думаю: ну чего ты, захолустный поп, сидишь тут? Народ здесь все ученый: кто твоего мнения спрашивать будет?.. Вдруг слышу:

— А вы, отец Георгий, как о сем думаете?

И пришлось мне, захолустному попу, ответ держать. И сказалось, мой батюшка, С. А., тут такое слово, что я не рад был, что и сказал его... «Ваши преосвященства и вы, отцы святые, — начал я так ответ свой, — за всеми разговорами, что я здесь слышал, я что-то недослышал: велась ли здесь речь о Подвигоположнике нашем, Господе Иисусе Христе, и о нас самих, отцах тех школяров, которых мы никак не можем заставить ни учиться, ни Богу молиться? Говорили ли мы о том, какой в нашей общественной деятельности и, что всего важнее, в нашей домашней, семейной жизни мы сами подаем пример сынам и дочерям нашим? Нет, не говорили. А какое присловье слышали мы от Господа? — «Врачу, исцелися сам!» — Не с нас ли, отцов, надлежит приняться

за реформу? Что на этот вопрос мы скажем, чем отзовемся... А еще о ком мы в речах своих упомянуть забыли? Только — о Спасителе нашем, без Которого мы и творить-то ничего не можем! Только?! Да! Не помянули ни разу, мало того, что не помянули, но и в жизни-то своей, кажется, о Нем думать позабыли. Бывало прежде: Он всем нам хорошо был виден, потому что каждый из нас имел Его, Пастыреначальника своего, перед собою — Он шел впереди нас, и мы — кто на колеснице, кто пешком, кто бочком, а кто и вовсе ползком — шли за Ним. И был Он нам всё: и путь, и истина, и жизнь!.. А после что? А вот что: на место единого Истинного Христа Бога понаделали мы себе каждый своих христов, да и ведем их, самодельных, позади себя на веревочке. Где ж тут нам столковаться?!»

«Сказал я эти дерзостные слова, Сергей Александрович, и уж не знал, куда деваться от страху... И что ж думаете вы: ведь никто мне слова не сказал в ответ на мои речи — все промолчали. Тягостная была минута молчания!.. На мое счастье, кто-то заговорил о чем-то; слова его подхватили, а я тем временем шапку в охапку да прямо со съезда — к себе в Чекряк: уноси, поп, пока цел, свои ноги!.. С тех пор, мой батюшка, на съезды меня уж не приглашали».

На прошлогоднем миссионерском съезде в Киеве обер-прокурор Извольский[1] заявил, что даже и «Синоду пришлось отдать дань переходному времени».

Помилуй Бог, если это правда! Это будет значить, что Истинный Христос, а не самодельный, отступает Своею благодатию от места свята... Кипячение воды для великой агиасмы — не предварение ли верным, чтобы они имели

[1] Во дни революции 1917 года г. Извольский этот принял сан священства и назначен настоятелем русской церкви в Ницце. Женат на дочери цыганки княжне Голицыной.

«чресла свои препоясаны и светильники горящи», ибо близко пришествие Жениха, грядущего судити живых и мертвых. Ведь в притче о девах мудрых и юродивых недаром сказал Господь, что воздремали и уснули, и уснули не одни юродивые, но и ***мудрые*** девы.

События времени чередуются на наших глазах с головокружительной быстротой. Уступки духу времени, как малые пороховые взрывы, рвут щели во всех стенах христианской (увы — только по имени!) государственной и общественной жизни, постепенно образуя огромные провалы, откуда вырывается огонь едва ли не самой преисподней.

О, если бы пробудились наши мудрые девы!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Странное событие совершилось в тайниках Оптинской духовной жизни! Слышал я о нем из уст одного из Оптинских духоносников о. Феодосия[1], и сомнения в достоверности рассказа у меня не возникло ни на минуту: прошу и моего читателя отнестись к нему с таким же доверием, как и я.

В Оптиной по благословению великих почивших старцев Льва, Макария и Амвросия издавна существует благочестивый и исполненный глубокого духовного разума обычай совершать над желающими, хотя бы телесно и здоровыми, Таинство Елеосвящения, в просторечии известное под именем «соборования». В міру это Таинство совершается крайне редко и притом исключительно над тяжко больными, даже над такими, которые признаны безнадежными. Мне самому довелось слышать из уст священника, соборовавшего одного чахоточного, находившегося у порога агонии:

— Ты, милый мой, не думай, что особоруешься — выздоровеешь. Этого, братец мой, никогда не бывает.

---

[1] Впоследствии игумен и начальник Оптинского Скита. Скончался 9 марта 1920 г.

Не то в Оптиной. Там основываются на точном разумении слов соборного послания св. апостола Иакова (5, 14–15), которое говорит: *болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во Имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.* На основании этих слов, совершая таинство Елеосвящения над больными, Оптинские старцы не отказывают в нем и по виду телесно здоровым богомольцам, ибо, говорят они, совершенно здоровых людей нет, потому что все повинны греху, а грех уже сам по себе есть болезнь души, влекущая за собою болезнь и тела. Независимо от этого таинство Елеосвящения — утверждают старцы — имеет силу очищать душу не только от грехов сознанных, уже очищенных покаянием, но и от грехов «забвенных», не сохраненных памятью кающегося, так как сказано: «если соделал грехи, простятся ему». Обычно к этому Таинству в Оптиной приступают после исповеди и Причащения, и совершается оно поочередно духовниками обители.

Великий это дар веры нашей!

В октябре или ноябре прошлого года к о. Ф. собралась собороваться партия богомольцев душ в четырнадцать, исключительно женщин. В числе их была одна, которая собороваться не пожелала, а попросила позволения присутствовать зрительницей при совершении Таинства.

— Перед соборованием, — говорил мне о. Ф., — у меня в обычае сказать богомольцам по его поводу несколько слов, объяснить его значение для души и тела, рассказать, как к этому Таинству относились великие наши старцы... По совершении Таинства, смотрю, подходит ко мне та женщина, отводит меня в сторону и говорит: «Батюшка, я хочу поисповедоваться, и, если разрешите, завтра причаститься, и потом у вас пособороваться».

Я проводил ее товарок, которых особоровал, надел епитрахиль и приступил к исповеди. Женщина эта мне

принесла покаяние в очень тяжком грехе, который ею был совершен уже давно, но в котором она из чувства ложного стыда не могла покаятся перед своими мирскими священниками. Я разрешил ее от греха, допустил к Причастию на другой день и объяснил, чтобы она собороваться пришла в тот же день часам к двум пополудни... На следующий день женщина эта пришла ко мне несколько раньше назначенного часа, взволнованная и перепуганная.

«Батюшка! — говорит, — какой страх был со мною нынешнею ночью! Всю ночь меня промучил какой-то высокий страшный старик; борода всклокоченная, брови нависли, а из-под бровей — такие острые глаза, что как иглой в мое сердце впивались. Как он вошел в мой номер, не понимаю: не иначе, это была нечистая сила... «Ты думаешь, — шипел он на меня злобным шепотом, — что ты ушла от меня? Врешь, не уйдешь! По монахам стала шляться да каяться — я тебе покажу покаяние! Ты у меня не так еще завертишься: я тебя и в блуд введу, и в такой-то грех, и в этакий...»

И всякими угрозами грозил ей страшный старик, и не во сне, а въяве, так как бедная женщина до самого утреннего правила — до трех часов утра — глаз сомкнуть не могла от страха. Отступил он от нее только тогда, когда соседи ее по гостинице стали собираться идти к правилу.

«Да кто ж ты такой?» — спросила его, вне себя от страха, женщина.

«Я — Лев Толстой!» — ответил страшный и исчез,

— А разве ты знаешь, — спросил я, — кто такой Лев Толстой?

— Откуда мне знать? — я неграмотная.

— Может быть, слышала? — продолжал я допытываться, — не читали ли о нем чего при тебе в церкви?

— Да нигде, батюшка, ничего о таком человеке не слыхала, да и не знаю, человек ли он или еще что другое.

Такой рассказ я слышал из уст духовника святой Оптиной Пустыни, человека для меня совершенно достоверного. Что это? Неужели Толстой настолько стал «своим» в том страшном міре, которому служит своей антихристианской проповедью, что в его образ перевоплощается сила нечистая?..

Как бы ни было, а факт оптинского видения остается фактом. Что скрыто от премудрых и разумных, то открывается младенцам. Но и мнящие себя мудрыми иногда, против воли своей, обмолвливаются словом чуждой им истины. На днях по поводу кончины о. Иоанна Кронштадтского публицист газеты «Новое Время», проводя параллель между почившим праведником и здравствующим писателем, воскликнул: «Отец Иоанн и Толстой — это два полюса!»

О. Иоанн был строителем на земле тайн Божиих. Чей же слуга антипод его — Толстой?

Несчастный старик! жалкий старик!..

12 января

(Понедельник. День св. мученицы Татианы)

«Татьянин день» в Москве и в Оптиной. — Отголоски Мессинской катастрофы. — Письмо епископа к Оптинским старцам. — Слухи в народе. — Знаменательные предсмертные сновидения умершего благочинного о. Илиодора. — Моя последняя с ним встреча и прозорливость Старца.

Сегодня день святой мученицы Татианы — годовой праздник Московского университета. В нем 23 года тому назад я окончил курс юридического факультета. Чего только не совершалось в мое время в Москве пьяным угаром былого студенчества! И сам я — подумать и вспомнить страшно! — принимал когда-то участие во всех его отвратительных оргиях, в которых человек не только теряет образ Божий, но и свой человеческий меняет на образ грязнейшего из животных...

А тут теперь, в моем благословенном затишьи, какой мир, какое благодушное спокойствие, какая непрестанно текущая тихая радость!.. Но и в это безмятежие доносятся извне глухие раскаты пока еще отдаленного грома праведного гнева Божия; и уже рябит зеркальная поверхность оптинской благодатной жизни, и даже в тиши ее священной ограды чувствуется, как потянуло холодным ужасом от надвигающейся грозовой тучи, насыщенной молниями Страшного Суда Господня над возлюбившим неправду человечеством... А там-то, в міру, за черным мраком разлившегося широким потоком отступничества — там-то что? Подумать жутко!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

200 000 жертв мессинской катастрофы все еще возвращаются бледным, страх наводящим призраком. Но чему они научили нас здесь, на родине? Да ровно ничему, если не считать соревнования самолюбия и тщеславия устроителей балов, концертов и всяких якобы благотворительных увеселений в пользу пострадавших... «Трудно подсчитать, — пишут из Рима в «Новое Время»[1], — во сколько обошлась Италии роковая ночь 28 декабря. Погибло более 200 000 человек, и по крайней мере около 100 тысяч из числа оставшихся в живых надо считать неспособными в будущем к настоящей работе... Потерю частного и национального богатства надо считать миллиардами... Италия в одну ночь понесла такие утраты людьми и деньгами, которые далеко превзошли потери России от ее последней войны... Немудрено, что общее настроение в стране подавленное, хотя внешним образом бодрость проявляется повсюду... Власти уже несколько дней прекратили раскопки, считая их бесполезными. А между тем каждый день находят лиц, оставшихся в живых даже по прошествии трех недель после катастрофы. Они принадлежат к небогатым семьям, жившим в нижних этажах, назна-

[1] № 11794, «Рим, 5/18 января».

чающихся для торговых помещений и вместе нередко служивших для жилья... ***Большинство спасшихся людей, находящихся в Неаполе и Риме, принадлежат именно к беднякам Мессины и Реджио; зажиточных и достаточного класса людей между ними нет...*** Какие сцены повального безумия приходилось наблюдать тем, кто явился туда с помощью! Никогда самое живое воображение не могло бы нарисовать того, что представила действительность. Это нечто неописуемое...»

Некий г. Викентий Куадо, редактор газеты «Мессинская Звезда», обратился в редакцию Corriere d'Italia со следующим письмом:

«М. г. Прошу опубликовать в газете вашей следующий факт. С некоторого времени Мессина находилась в руках богоотступников, и последние в воскресенье, предшествовавшее ужасной катастрофе, устроили собрание, на котором был постановлен резко антирелигиозный порядок дня. Я не хочу делать какой-либо вывод из этого события, но полагаю, что мы должны отметить одно совпадение: газета Il Telephono, выходившая в Мессине и отличавшаяся грубо антирелигиозным направлением, опубликовала в своем рождественском номере позорную пародию на «молитву к Дитяти-Иисусу», где, между прочим, находилась такая гнусная фраза:

«О, мой милый мальчик,
Настоящий человек, настоящий Бог!
Ради любви к Твоему Кресту,
Ответь на наш голос:
Если Ты поистине не миф,
То раздави нас всех землетрясением!»

Поучительно вспомнить теперь эти стихи. Других пояснений прибавлять не стану. Преданный Вам Викентий Куадо, редактор «Мессинской Звезды».

Италианские газеты отмечают и другое «странное совпадение»: «В ночь перед Рождеством, во время торжест-

венного богослужения, по улицам Мессины следовала религиозная процессия, обычно устраиваемая в полночь 24 декабря в городах Южной Италии. Во главе процессии несли изображение Младенца-Иисуса (Bambino), за которым шли дети с факелами в белых одеждах. Вдруг, как раз во время прохода процессии мимо одного из многочисленных клубов Мессины, из дверей его выскочила ватага проигравшихся игроков. Вероятно, пьяные, они вырвали изображение Божественного Младенца из рук несших его, бросили его и растоптали. Сопровождавшие процессию в ужасе разбежались... Только прошли праздники, и небывалое землетрясение не оставило камня на камне...»

Такие вести идут к нам из Италии. Не по тому же ли пути, что и эта страна горячего солнца, зреющих апельсинов и лимонов, пошла наша, когда-то Святая, Русь? Из сердца моего не уходит память о петербургской агиасме... да об одной ли только агиасме?!

Вот что пишет нашим старцам один епископ Православной Русской Церкви:

«... Желаю мира душевного и радости о Господе, той радости, которой и во дни скорби никто не может отнять. А дни скорби грядут, это чувствует сердце. Да и совесть свидетельствует, что милостей Божиих мы не заслужили. Шатаются даже столпы Церкви: что говорить о нас, грешных? Крепче молитесь Небесному Главе Церкви, да укрепит на камени веры Церковь Свою: если основание веры будет вынуто, то чего же нам ждать, грешным?.. Со страхом велиим вступаю в новый год, а мы спим»...

Это пишет епископ. А вот что говорят в народе — говор-то его нам в нашем затишье хорошо слышится.

Верстах в пятнадцати от Оптиной есть село Истик. Из этого села к нам частенько наезжают три богобоязненных крестьянина[1]. От них, стало быть, из самой глу-

[1] Косьма, Иван и Наталья Кутьины.

бины народного сердца, я только и слышу утверждение, что новому злу, водворившемуся в молодом поколении деревни, к старому добру обращения быть не может, что народ, особенно после «свобод» 1905 года, развратился до крайности, что скоро в деревне даже своим деревенским жить будет нельзя и проч. — все в том же тоне, близком к крайнему отчаянию.

Вот от этих-то наших деревенских друзей и еще кое от кого из тех же недр деревенских до меня дошли слухи, что страх крестьянский начинает облекаться уже и в легендарные формы, начинает создаваться как бы народный эпос боязни и томительных предчувствий, облекающихся плотью полумифических сказаний. Из числа этих сказаний мне вспоминаются следующие.

Около с. Истик на крестьянском наделе, смежном с казенным лесом, крестьяне сводят свой лесной участок. Когда уже началась нынешняя зима, в казенном лесу, рядом с крестьянским сводом[1], среди бела дня на опушке стал появляться какой-то никому не известный благообразный старец. Одет он по-крестьянски. Пройдет вблизи от работающих, приостановится невдалеке, постоит, точно прислушивается к разговорам православных между собою, и — пойдет себе опять в глубь казенного леса. Замечено было, что старец этот, при первом скверном слове между работающими, тотчас же удаляется, как бы не терпя сквернящего христианские уста слова... Пока это обстоятельство не было замечено, ходил себе старец, не слишком обращая на себя внимание, а как заметили, что он ругательств не любит, так сейчас же возбудилось к нему общее любопытство.

— И чего он тут шляется? Иль за нами досматривает?

И стали его мужики выслеживать, чтобы поймать и допросить — кто он и чего ему от них нужно? И в первый же раз, как только завидели крестьяне старца, так

[1] Так в Полеске зовется участок, на котором рубится лес.

все и бросились за ним вдогонку, чтобы не дать ему уйти в чащу леса. И случилось тут диво-дивное, чудо-чудное: пошел от них старец в сторону казенной засеки[1] тихой стариковской походкой, а угнаться за ним не могли и молодые; так и ушел он у них из виду, словно сквозь землю провалился. А что всего было чуднее, так это то, что на довольно уже глубоком, ровном и чистом снегу по старце том никаких следов не осталось. Так и не дознались, кто такой был этот старец.

Появлялся ли он истиковцам опять, того я не знаю; а вот что я еще слышал из тех же источников и тоже о каком-то старце.

По осени прошлого, 1908 года, приблизительно в ту же пору, когда истиковцы начали рубить свой лес, ехал мужичок в Белев на базар и вез на продажу свиную тушу. Дорога ему шла лесом. Вдруг из лесу ему навстречу выходит седенький старец, останавливает его и говорит:

— Куда едешь? Что везешь?

— Еду, — отвечает, — на базар, а везу тушу на продажу.

— Ладно, — говорит, — вези! Получишь за тушу четвертной билет[2], купи мне рубашку, штаники и пинжачок.

Туше цена пятнадцать — восемнадцать рублей, а подарку — пара целковых: как тут не купить, если по старцеву слову сбудется?!

— Ладно, — говорит, — дедушка, коли по-твоему расторгуюсь тушей, то привезу тебе и рубашку, и штаники, и пинжачок.

Приехал мужик в Белев с тушей: не доехал еще и до базару, а уж его на дороге перхватили.

— Что везешь?

— Тушу.

— Покажь!

Посмотрели...

[1] Так называется казенный лес.

[2] 25 рублей.

— Хочешь четвертной?.. Ну, вези ко мне на двор!

С первого слова, значит, и сторговались.

Свез мужик тушу к покупателю, получил денежки и смекает: а старичок-от тот-то, видать, что не простой — не миновать покупать ему обновку! Купил, что было нужно по старцеву заказу; едет обратно домой, глядь — на том же месте опять тот старец.

— Ну что, продал тушу?

— Продал, дедушка?

— А обещанное?

— Вот тебе и обещанное!

И пока сдавал мужик с рук на руки старцу обещанный подарок, тут же заметил, что под одной мышкой у старца — пук ржи, а под другой — чурка, как бы гробик.

— Что это у тебя, — спрашивает, — дедушка?

— А это, — говорит, — что ты рожь видишь, значит — урожай ныне будет; а гроб — есть урожаю того некому будет: такая пойдет косить холера, такой мор на людях, что кучами будут валяться и убирать некому будет.

Сказал и вслед прибавил:

— Только ты не унывай!

И с этими словами скрылся в лесу...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Такие-то вот слухи ходят в народе между теми, конечно, кто еще не отбился от старинной правды. И как ни стараешься успокоить свое сердце, смятенное роковыми предчувствиями, как ни внушаешь ему, что образумятся-де люди, принесут плоды, достойные покаяния, и что вновь во всей уже сознательной красоте великой своей Православной веры воскреснет Русь Святая, — нет! — куда укроешься, где притаишься ты, сердце, от всей этой грозной тучи зловещих знамений времени, предчувствий, предсказаний? Буквами, как железо раскаленными, на кровавом горизонте от века предопределенного, а теперь — увы! — уже и близкого

будущего видятся мне библейские грозные слова: *Мене, Текел, Упарсин!* (Дан. 5, 25).

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сегодня виделся с одним из близких к покойному о. Илиодору монахов и от него узнал, что умерший благочинный за несколько дней до своей смерти был предварен о ней знаменательными сновидениями, которые я под свежим впечатлением здесь и записываю.

О. Илиодор скончался в день Рождества Христова, пришедшийся в истекшем году на четверг. В воскресенье, за четыре, стало быть, дня до смерти, о. Илиодор после трапезы прилег отдохнуть на диване в своей келье... Было это около полудня... Не успел он еще как следует заснуть, как видит в тонком сне, что дверь его кельи отворяется и в нее входят скитский монах Патрикий и с ним иеродиакон Георгий[1]. У монаха Патрикия в руках был длинный нож.

— Давай нам деньги! — крикнул Патрикий.

— Что ты шутишь, — испуганно спросил его о. Илиодор, — какие у меня деньги?

— А когда так, — закричал на него Патрикий, — так вот же тебе! И вонзил ему по рукоятку нож в самое сердце.

Видение это было так живо, что о. Илиодор вскочил со своего ложа и, уклоняясь от ножа, сильно ударился затылком о спинку дивана. От боли он тотчас проснулся и кинулся смотреть, кто входил к нему в келью. Но ни в келье, ни за дверями кельи никого не было.

Это было одно видение.

За день до смерти в таком же полусне о. Илиодор увидал скончавшегося летом 1908 года иеромонаха Савву, бывшего одним из трех духовников Оптиной Пустыни. О. Савва явился ему благодушный и радостный.

---

[1] Один из главных бунтовщиков против архимандрита Ксенофонта. Оба монаха — и Патрикий, и Георгий — ничего общего с Оптинским духом не имеют, люди немирные, хитрые и плотские.

— А что, брат, — спросил его о. Илиодор, — страшно тебе небось было, когда душа разлучалась с телом?

— Да, — ответил о. Савва, — было боязно; ну а теперь, слава Богу, совсем хорошо!

Вслед за о. Саввой, в том же видении, явился сперва почивший Оптинский архимандрит Исаакий, а за о. Исаакием — его преемник, тоже умерший, архимандрит Досифей. О. Исаакий подошел к о. Илиодору и дал ему в руку серебряный рубль, а о. Досифей — два.

— Неспроста мне это было, — говорил накануне своей смерти о. Илиодор, рассказывая свои сны одному монаху, — я, брат, должно быть, скоро умру.

В день смерти о. Илиодор был послан за послушание служить в одно село Литургию; накануне у своего духовника как служащий исповедовался, а за Литургией совершил Таинство и причастился.

Вернувшись в тот же день домой, о. Илиодор, по случаю великого праздника, был на так называемом общем чае у настоятеля, со всеми крайне был приветлив, более даже, как замечено, обыкновенного, и оттуда со всеми иеромонахами пошел в Скит к старцам славить Христа. В это время мы с женой выходили от старцев и у самых скитских святых ворот встретили и его, и все Оптинское иеромонашеское воинство. О. Илиодор шел несколько позади и мне показался в лице чересчур красным.

Вот, жарко что-то! — сказал он мне при встрече и засмеялся. На дворе стояли рождественские морозы.

Это была последняя моя с ним встреча в этом міре.

Говорил мне после старец о. Варсонофий:

— У меня с о. Илиодором никогда не было близких отношений, и все наше с ним общение обычно ограничивалось сухой официальностью, и то только по делу. В день же его смерти, после славленья, я — не знаю почему — обратился вдруг к нему с таким вопросом: «А что, брат, приготовил ли ты себе что на путь?» Вопрос был так неожидан и для меня, и для него, что о. Илиодор даже смутился

и не знал, что ответить. Я же захватил с подноса леденцов — праздничное монашеское утешение — и сунул ему в руку со словами: «Это тебе на дорогу!»

И подумайте — какая вышла ему дорога!

Старец рассказывал мне это, как бы удивляясь, что сбылось по его слову. Но я не удивился: живя так близко от Оптинской святыни, я многому перестал дивиться...

25-го января

Рукопись неизвестной монахини. — «Двойная жизнь».

Сегодня видел одного из наших «премудрых»[1].

— Может ли наша жизнь, — задал он мне вопрос, — находиться под непрестанным водительством из того міра, аможе вси земнороднии пойдем?

— Конечно, — отвечаю, — может.

— А как вы относитесь к снам?

Я было хотел ответить словами св. Отцов Церкви, но «премудрый» меня остановил и подал мне довольно объемистую тетрадку, на пожелтевших страницах которой было написано: ***«Письма одной сестры монашествующей к своему отцу духовному и старцу. Рассказ о своей жизни, начиная с 12 лет и до 73-х и далее...»***

— Вот, — сказал мне «премудрый», — возьмите эту рукопись себе и воспользуйтесь ею, как хотите.

Я выписал ее всю на страницы дневника своего, а теперь делюсь с моим читателем.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

«Желаю вам, первое, описать, всемилостивейший батюшка, — так начинается рукопись, — как велико родительское благословение в жизни нашей, даже и по смерти их. Господь молитвами родителей, по милосердию Своему,

[1] О. Эраст (Вастротский), заведующий Оптинской канцелярией и правая рука о. архимандрита Ксенофонта. Скончался 17 июля 1913 г. в мантии с именем Еразма, 85 лет от роду.

не оставляет детей их, на земле оставшихся, предохраняет их во сне и наяву от всякой гибели.

Некоторые необыкновенные явления, случившиеся со мной, грешной, опишу я вам подробно, начиная с 12 летнего моего возраста и до 73-го года, который минул мне 1 февраля 1888 года. Желаю из разных записок и книг моих переписать в одну для соображения многих неверующих. Все видения, которые были мне вроде сна, исполнялись в совершенстве наяву. Сколько я ни старалась получить объяснения по этому поводу от достойных духовных лиц, но на все мои вопросы удовлетворительного ответа не получила, кроме того, что я снам верить не должна. Я вполне с этим согласна; но почему же этими снами я бываю как будто предохраняема или от погибели, или от греха? Чья же это рука меня предохраняет? — желаю знать я, многогрешная...

Я была выдана замуж 12-ти лет за 50-летнего богатого, заслуженного воина. Великая была в этом человеке смесь добра и зла, хоть добра в нем было больше, чем зла; а какое и было в нем зло, то оно происходило больше от избалованного его характера; вообще же он был чувств благородных, когда не находился в своей обыкновенной болезни, в которую впадал нередко. Меня любил он сильно, но от своего дурного характера и сам мучился, и меня мучил.

Мать моя меня любила страстно, более всех детей; и я была к ней сильно привязана, и у груди ее спала до самого замужества. Неудачного моего замужества мать не вынесла и, заболев чахоткою, вскоре переселилась в вечность. Выдать же меня замуж заставила родителей моих нужда, потому что муж мой хотел меня все равно увезти, украсть и тогда бы родители мои расстались со мною навсегда. Но и выдавши меня замуж, мать моя, живя со мною в одной деревне, лишена была возможности меня видеть: муж мой, видя ее любовь ко мне, волновался ревностью и кончил тем, что запретил моей матери ездить к нам в дом. Мать бросила деревню и уехала

в город. Через пять лет после моего замужества мать моя, поручив меня милости Знамения Матери Божией, скончалась жертвою буйного характера моего мужа.

Болезнь моего мужа была запой. Но и в то время, когда муж мой подвергался припадкам этой страшной болезни, мне и тогда нельзя было видеться с моей матерью, потому что людям был отдан строжайший приказ меня караулить и не пускать к матери, а ее не принимать в дом. Но сильная любовь родительницы научила ее, что делать, как обнять дитя свое. Бывало, летнею порою, когда солнце на закате, возьмет она с собою сестру мою, девочку лет 11-ти, и 12-летнего брата да девку-слугу и пойдет с ними из города к нашей усадьбе. За ней несут — кто ковер, кто подушку, а дети несут печенье и разные лакомства. Расположится матушка моя в лесочке около нашей усадьбы на траве на отдых... О, горе было тогда нам с нею обеим великое!.. Меня вызвать было дело хитрое, и на это дело отправлялся мой брат. Тихонько пробирался он через сад к стенке нашего дома и, зная, где я сплю, стучал мне в стену. Я выходила к нему тайком, и он провожал меня к матери. Я всегда заставала мою мать сидящей подгорюнившись на ковре. Как увидит она меня, бывало, как бросится ко мне, да так всю меня и обдаст слезами!.. Сколько я ни скрывала моих чувств, уговаривала ее быть покойной, но мудрено было скрыть от любящего материнского сердца желчь, сгонявшую румянец с моих юных щек... Так-то и видались мы с нею летом, утешая скорбь свою красотой летней ночи и соловьиным пением. Досиживали мы с ней на ковре под кустиком до утренней зорьки, а там прощались, обливаясь слезами... Не вынесла мать моя зимней разлуки со мною, и 25 марта, на Благовещение, между утреней и обедней, умерла моя родимая, благословив меня иконой Знамения Божией Матери.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

С кончины моей матери я во всех своих нуждах, во всех скорбях моих, стала припадать с молитвой к материнскому благословению — к Знамению Божией Матери, и с тех пор жизнь моя вся пошла под руководством чудесных видений.

Вскоре после смерти моей матери я вижу однажды во сне, что пришла ко мне мать моя и говорит:

— Ты, милуша моя, не пугайся, но воду, которая в кружке твоей стоит, не пей! Посмотри, что в кружке! А впредь на ночь себе в кружку воду наливай сама.

После этих слов я тотчас же проснулась. Посидела на постели, подумала: что бы это значило, что мать моя ко мне явилась? Грустно мне стало, и я горько, горько заплакала; а воды все-таки из кружки пить не стала. Эта кружка была серебряная... Утром сняла я с нее крышку и увидела, что как сама кружка, так и вода в ней позеленели. Стали разбирать дело и добрались до сути: меня, оказывается, хотела отравить одна женщина, близкая моему мужу. С тех пор я сама себе стала наливать воду на ночь в стеклянную кружку.

Это было первое охранение меня в сонном видении.

После этого я была раз сильно огорчена дерзостью моего мужа. Муж мой по-своему очень меня любил, но в болезни своей, которая у него возобновлялась ежемесячно, он невольно причинял мне много горя, да еще горя-то такого, что его ни сердце, ни благородное чувство изобразить не могут... И в этот раз, когда он меня сильно оскорбил, я ушла в свою комнату и стала молиться, прося Господа, чтобы Он умилосердился надо мною, грешной, и взял к Себе от такого мученья.

С горькими слезами и с чувством скорби я заснула. И вижу я во сне: иду я лугом, покрытым густой, зеленой травой и цветами; а вдали — лес. На дворе будто бы, несмотря на это, стоит холодная осень. Я бегу в этот лес раздетой, но мне не холодно, а легко и весело... По лесу дорога широкая и гладкая, и я бегу по ней... Вдруг

откуда-то взялась собака с длинной цепью и преградила мне дорогу. Я испугалась и стала молиться. В это мгновение, смотрю, выходит из лесу молодой человек красоты необыкновенной, в каске и вооруженный как воин, и спрашивает меня:

— Куда ты бежишь?

Я остановилась и молчу. Он взял меня за руку и стал говорить так тихо и важно:

— Я сколько раз к тебе приходил, а ты от меня все убегаешь. Ты ведь моя и знай, что я тебя никому не отдам!

Я бросилась бежать от него по лесу и прибежала к какому-то большому дому, и в доме этом двери сами собою предо мною растворились. Людей я никого не видела. Я вошла в дом. Смотрю: большая, великолепно убранная комната, и в ней лежит множество прекрасных вещей и положено много разной одежды. Я все это рассмотрела и говорю сама с собой:

— Господи! Кому все это приготовлено?

И с этими словами я хочу уйти обратно к себе домой. Но тут двери вдруг с большим шумом сами собой затворились, и я оказалась запутанной в каких-то решетках. И вижу я, что мне спасения нет и не выбраться мне из этих решеток. И начала я плакать и просить Господа, чтобы Он помог мне освободиться. В то же мгновение внезапно явился ранее мною виденный юноша. Я стала просить его освободить меня и отпустить домой.

— Меня, — говорю, — дома муж ждет. Пустите меня домой, освободите меня!

Видя, что в этом юноше мое избавление, я стала несколько смелее и спросила его:

— Чей это дом? Куда я зашла?

И юноша ответил мне:

— Дом это мой, а все, что в нем, принадлежит мне. Хочешь ли не хочешь, а будешь жить со мною неразлучно. Помни, что я тебя никому не отдам.

И тут юноша этот освободил меня и выпустил из дома. Я бросилась бежать изо всей мочи и была уже от своего дома близко, как вдруг, откуда ни возьмись, опять на меня выскочила собака и преградила дорогу к дому. И опять явился мне тот дивный юноша.

— Куда ты так бежишь? — спрашивает, — ведь ты без меня зазябнешь!

Тут он подал мне большую турецкую шаль, закутал ею и сказал:

— Помни ж, ты никому, кроме меня, принадлежать не должна! Я везде буду с тобою.

На этом я проснулась.

После этого сна, через некоторое время приходит к моему мужу целовальник и предлагает ему купить у него образ Спасителя благословляющего, в серебряной ризе. Образ этот ему был заложен, да так и остался невыкупленным. Находясь под впечатлением сна, я упросила мужа купить мне этот образ... Не могу я, грешная, изобразить словами, с какими чувствами приняла я на руки этого Спасителя! Облила я Его слезами, отслужила перед Ним молебен, поставила Его в киот и молилась Ему с необыкновенным чувством и умилением.

Вскоре после этого сижу я в сумерках у себя в комнате, куда я имею обыкновение уединяться на молитву, и только что хотела, заперши дверь, молиться, как в дверь ко мне постучал муж.

— Поди, — кличет, — ко мне!

Я отперла дверь, а он мне и говорит:

— Укладывайся и сейчас собирайся ехать в Тулу!

Почему? Зачем? — с такими вопросами нечего было к нему и обращаться: таков уж был у него характер — надо было безмолвно исполнять его желания.

Когда мы приехали в Тулу, муж объявил мне, что он желает мне продать деревню, в которой мы живем. У меня никакой собственности не было. Была я бедная девочка,

и всего моего достояния было что одни розовые щеки, длинная русая коса да большие черные глаза.

В одну неделю дело с продажей мне деревни было в Туле покончено, и мы благополучно вернулись домой.

На другой день все крестьяне с бурмистром во главе явились ко мне на поклон с разными приношениями. Трогательно было видеть, как все они бросились на колени, упали моему мужу в ноги и благодарили его за то, что он их отдал мне, а не другим наследникам, к которым они боялись попасть в руки после его смерти. Мой старик прослезился при виде их чувств к нему и ко мне. Отпустив крестьян, он остановил бурмистра и велел ему немедленно выпроводить из деревни ту женщину, которая меня было хотела отравить, дать ей паспорт и строго наблюсти за тем, чтобы и духу ее близ дома не было.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Однажды я сильно простудилась; в ногах появился ревматизм; боль была невыносимая; ноги свело, и на них сделались точно бугры. Восемь недель я не вставала с постели. Лечили меня доктора, но пользы от лечения никакой не было.

Во время этой болезни я видела сон: будто я в каком-то незнакомом городе лежу больная и слышу в городе этом какое-то смятение; в то же время мне слышится духовное пение, которое приближается ко мне все ближе и ближе... Вижу я и народ какой-то.

— Что это за смятение и пение? — спрашиваю.

Мне отвечают:

— Образа несут!

Я горько заплакала, что не могу видеть крестного хода, и со слезами взмолилась:

— Господи! Хоть бы мне кто-нибудь дверь отворил, чтобы мне посмотреть на это!

В то же мгновение крыша надо мною исчезла, и я очутилась на открытом воздухе. Пение же, слышу, все

приближается. И стала я с умилением молиться. Вижу: вносят ко мне хоругви, а за ними — образ Спаса Нерукотворного, Которому меня поручила на смертном одре моя покойная мать. Я спрашиваю:

— Какой нынче праздник?

Ко мне подходит какая-то женщина в покрывале и говорит:

— Спас Преображения!

И вслед за этими словами женщина села мне на больные ноги и крепко в них уперлась руками. Я закричала:

— Голубушка, что ты? У меня ноги больные!

— Полно тебе лежать! — сказала мне эта женщина, — я тебе твои ноги вылечу.

— Кто ты? — спросила я ее.

— Я — Взыскание погибших! — ответила Она и скрылась.

Эту ночь я спала очень покойно и, проснувшись, почувствовала совершенное облегчение от своей болезни.

После этого чудесного видения я отслужила молебен Матери Божией, написала икону «Взыскание погибших» и поставила ее в зимней оранжерее между цветущими деревьями. В эту оранжерею ход был прямо из моего кабинета, и я всякий день, при захождении солнца, хаживала туда молиться и всегда получала великое утешение...

И еще видела я сон: будто стою я у окна в своем доме, и передо мною с неба спала какая-то длинная картина... Чей-то голос сказал мне:

— Эта картина с неба спала к тебе.

Я стала ее рассматривать и вижу, что на ней красками нарисовано пылающее в огне сердце.

И после этого я увидала себя в доме умершей моей матери, а кругом до́ма — пожар страшный, и я с этого пожара таскала огненные бревна. И опять я вижу, что с этого пожара я в испуге вбегаю в дом к матери, но мать меня встречает и в дом не впускает. А из одной комнаты этого дома я слышу стон моего мужа...

И спрашиваю я мать:

— Что это значит, что вы меня не впускаете?

— Здесь — муж твой! — ответила мне мать. — Ты его уже больше не увидишь.

Я рвусь к мужу, плачу... И вдруг вижу: ко мне подходит откуда-то мой умерший брат, подает мне черный креп и велит мне им убирать мою спальню.

— Господи! — закричала я, — куда мне теперь себя девать? Куда бежать?

И вбежала я в какую-то большую пустую комнату. В комнате этой, смотрю, стоит большой, длинный стол, покрытый белой скатертью, а на нем множество ночников, доверху наполненных маслом, и в них — белые фитилики. И вижу я: сидит за этим столом какое-то духовное лицо — старец, убеленный сединами. Я боюсь взглянуть на этого старца и издали вопию к нему:

— Господи! да что же это со мною делается? Когда же мне будет лучше?

— Когда зажжешь ты все эти семь светильников, — ответил мне старец, — тогда тебе будет хорошо!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Вскоре после этого сна мне было что-то вроде видения, необычайного и страшного.

Ездила я в город, в женский монастырь, где имела обыкновение часто молиться перед чудотворной иконой Ченстоховской Божией Матери. Вернулась я из города в сумерках и прилегла у себя на диване. Я не заснула, потому что ясно слышала в соседней комнате разговор мужа с моим братом, но внезапно впала в какое-то необычайное состояние. И вижу я: сижу я у себя в кабинете, и вдруг поднялась страшная буря. В мгновение ока крышу с дома сорвало, а меня подняло на воздух. А буря, смотрю, несет по воздуху леса, дома, скот, людей... Я пришла в неописуемый ужас, закрыла лицо руками и кричу:

— Господи, прости мои прегрешения!.. Господи, что же это делается?

И какой-то голос ответил мне:

— Конец міру — Господь идет! Брось грешить, беги к Нему навстречу!

Я подняла голову и вижу: сходит Господь с воинством небесным... И тут раздалось такое пение, что я, грешная, ни описать, ни выразить не могу... И поднялась я на воздух навстречу к Нему, и со мною многое множество людей вознеслось на облаках воздушных... И вижу я: какие-то светлые мужи стали расставлять как бы столы.

— Что это, — спрашиваю, — батюшки?

— Господь судить будет весь народ! — ответили мне эти светлые мужи.

От страха я очнулась, вскочила с дивана и в ужасе бросилась к образам молиться.

После этого грозного сновидения я стала более обращать внимания на свою духовную жизнь: танцовать бросила, хотя мне было еще только 25 лет; прекратила есть скоромное по постам и постным дням...

Видно, этим образом угодно было Господу обратить меня на путь истинный.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В скором времени я опять вижу сон: кто-то повелевает мне строить дом. Голос говорящего я слышу, а самого его не вижу. Я будто спешу начинать закладывать постройку; занесла огромное строение и сама удивляюсь, как скоро у меня идет эта постройка. Через несколько дней у меня уже и фундамент был выложен... В постройке этой мне помогали какие-то духовные лица. Когда же стало выводиться самое здание, то оно оказалось красоты неимоверной. Работала я над зданием этим с великою тяжестью и усталостью, но душа моя испытывала восторг неописуемый. И вот, когда я ходила около возведенной мною постройки, ко мне вдруг вошел тот же

юноша, который когда-то в сонном видении одел меня шалью. Подошел он ко мне и стал любоваться постройкой, а затем говорит мне:

— Поди посмотри у себя на дворе: что там делается?

Я взглянула на двор и вижу: половина двора у меня засеяна рожью, и рожь эта уже поспела. И дивлюсь я, какая это и откуда взялась рожь? Растет она, смотрю, кустами и такая, какой я никогда не видывала. Посреди же ржи этой стоит один колос выше всех, и на этом колосе еще несколько колосьев.

— Что это за рожь? Что это за колос удивительный? — спрашиваю я юношу.

— Этот колос, — отвечает он мне, — имеет в себе семь колосьев, и каждый колос принесет семь колосьев плода, — и все житницы твои засыплются хлебом.

Никого я не могла найти, кто бы мог мне растолковать это сновидение. А между тем вскоре после него мужу моему пришла в голову мысль, что он может внезапно умереть во время одного из припадков своей несчастной болезни и оставить меня на произвол наследников, которых у него было много. Муж сделал на мое имя векселей на 150 тысяч рублей, а имения его было 800 душ, которые и должны были после его смерти перейти ко мне по этим векселям. Таким образом, в мое распоряжение попала и та женщина, которая покушалась на мою жизнь.

Получив паспорт, она, оказалось, не ушла в Москву, но перешла жить в другую деревню. Как стала она моей крепостной, то стала проситься меня видеть; но я, грешница, долго не решалась допустить ее до себя, пока внутренне не примирилась с нею. Но и примирившись сердцем, я не хотела видеться с нею с глазу на глаз, а когда позволила ей прийти, то пригласила к себе священника, нашего духовного отца, при котором и должно было состояться наше свидание. Когда она вошла ко мне, то прямо бросилась мне в ноги, схватила их обеими руками, стала их целовать, каясь в своем грехе и заливаясь горькими слезами. Гово-

рила она, что на жизнь мою она покушалась несколько раз и, кроме того, мужу моему подкидывала фальшивые письма, будто бы писанные ко мне моими любезными; но, к ее удивлению, ни одно из этих писем до мужа моего не доходило, а куда-то они пропадали, хотя она их иногда ухитрялась положить ему в карман...

Я слушала эти признания с болью сердечной.

— Простите ее, — сказал священник. — И Бог грешников прощает.

— Ну, милая, — сказала я, — Господь да простит тебя за мои многолетние мучения, а я тебя прощаю. Напиши себе вольную, а я ее подпишу.

Так я проводила ее и с тех пор больше не видала.

Эта история, однако, не прошла мне даром: я заболела и во время болезни порвала все векселя, выданные мне в обеспечение моим мужем. Причиной тому была развившаяся во мне во время болезни мнительность: мне казалось, что я умру, а мои наследники возьмут да и выгонят старика мужа и не дадут ему умереть спокойно. Но вскоре Господь помиловал меня — я выздоровела, и мы с мужем спокойно стали жить, предоставив свое будущее воле Божией.

Один год выдался тревожный в нашей тихой помещичьей жизни. В этот год какие-то люди стали поджигать помещиков. Что это были за люди, осталось в точности не известным. Говорили про поляков, которые будто бы бродили под видом иностранцев по селам и городам, оставляя по себе следы в виде дымящихся пожарищ. Правда это была или нет, того мы не знали, но пожары начались и у наших соседей.

Мы связали все свое добро в узлы, просиживали ночи, не ложась спать, и караулили. Так продолжалось довольно долго. Мы все измучились, каждую ночь и каждый день ожидая, что вот-вот и над нами разразится несчастье.

Матерь Божия, видимо, сжалилась над моими страданиями и явилась мне во сне. Приснилось мне, будто я

бегу куда-то вон из дому по большой дороге, — а на дворе тьма непроглядная и туман страшный, — и я не знаю, куда бегу. Подбежала я к какому-то лесу, и стал туман расходиться. Тут я увидала: стоит какой-то большой образ, но за туманом лика его я разглядеть не могу. Я начала молиться и плакать и во сне говорю со слезами:

— Господи, чей это образ? — угодник ли какой или Матерь Божия? Спаси меня, грешную, погибаю!

Вдруг туман предо мною рассеялся, и я увидала образ Божией Матери, и от образа я услыхала такие слова:

— Ежели желаешь, можешь иметь Меня у себя. Я стою в городе, в зале такой-то госпожи.

И мне было названо имя этой госпожи.

Я упала на колени пред иконой, плакала, плакала и проснулась вся в слезах.

Я рассказала сон мужу, и он мне посоветовал съездить к этой госпоже в город.

С барыней этой я знакома не была, но когда к ней приехала, то была ею принята очень приветливо. В зале у нее я действительно увидала тот же образ Божией Матери, который мне явился во сне, и я узнала, что он именуется «Споручница грешных». Я попросила отслужить перед ним молебен, а затем и разрешение с этого образа снять копию, что и было мне дозволено.

После этого молебна я стала духом много покойнее; а когда мне доставили копию с этого образа, то надо ли говорить, какую я возымела к нему веру?..

Тем не менее, и у нас начались пожары: сгорел овин; через два дня подожгли ригу. Муж мой заболел своей несчастной болезнью. Скорбь и страх у меня усилились больше прежнего. К счастью, на всю эту скорбь Матерь Божия послала мне в утешение и подкрепление мою сестру и еще одного знакомого с женой, которые приехали погостить ко мне. С ними я несколько поуспокоилась.

В тот день, когда ко мне приехали эти гости, в соседнем селе был престольный праздник, и все наши были от-

пущены мною на праздник. В доме оставался один мальчик и брат мой родной, да в кухне — повар и приказчик с женой. Гости мои приехали под вечер, и мы с сестрой и с гостями засиделись до позднего часа.

Когда разошлись, я прошла в свою спальню и крепко заснула. Заснула и вижу во сне: у меня будто на дворе пожар. Я велю собрать дворовых, поднять образа и служить молебен, а сама горько плачу, умоляя Господа показать мне, кто мой злодей. Вдруг вижу: на воздухе показалась кисть как бы огромной человеческой руки, и рука эта опустилась и стоит передо мною. Я испугалась.

— Господи! — взмолилась я во сне, — чья это рука стоит передо мною?

— Это — рука Божия! — ответил мне чей-то голос.

И я, в благоговейном ужасе, с трепетом приложилась к этой руке; а рука эта стала подниматься все выше и выше и вдруг внезапно опустилась на головы моего приказчика и повара, стоявших неподалеку от меня рядом друг с другом.

Тут я проснулась в изумлении и страхе, недоумевая, что бы мог значить этот сон.

В эту ночь, пока я спала, поднялась на дворе такая буря, что мои люди, отпущенные на праздник, не могли вернуться домой, и в ту же ночь у нас подожгли кухню, разложивши на ее чердаке целый костер. Я этого не видала, а узнала после, так как брат, увидавши пожар, запер ставни в моей спальне. На пожар выскочили брат с гостем и мальчк-слуга, а сестра взяла образ «Споручницы грешных» в руки и стала молиться. Сбежались на пожар мужики и быстро его затушили, не дав разгореться.

Всего этого я не видала, потому что спала, и когда я проснулась, то все уже было кончено.

Проснулась я, лежу и со скорбью думаю, что значит мой сон. Грустно мне стало. Я кликнула свою девушку, которая тоже на праздник не ходила, и велела ей отпереть ставни. Ко мне вошли брат и сестра и спрашивают:

— Здорова ты?

— А у нас, — спрашиваю, — все ли здоровы? Все ли у нас благополучно? Я какой-то сон необыкновенный видела.

Сестра бросилась меня целовать, заплакала да и говорит:

— Благодари Господа и Божию Матерь «Споручницу»: Они тебя помиловали и спасли!

Тут я узнала, что произошло ночью у нас на усадьбе.

Приехал староста, понаехало много наших крестьян. Я послала за священником, чтобы поднял образа, отслужил молебен и привел бы всех дворовых к присяге. Старосте же я велела наблюдать за лицами: кто как будет присягать? К присяге я и сама вышла. Смотрю: все присягают просто, но когда дошла очередь до приказчика и повара, то с ними невесть что сделалось: они затряслись как в лихорадке и как смерть побледнели. Это было замечено всеми.

Отслужили молебен, а после молебна староста приступил к приказчику с поваром и стал их опрашивать порознь, где были эту ночь, что делали. Кончилось тем, что их сковали и отправили в другую деревню, под крепкий караул, до выздоровления мужа. Когда муж выздоровел и дело разобрали, то одного из них отдали в солдаты, а другого сослали на поселение.

И на этом, благодарение Богу, покончились все пожары как у нас, так и у наших соседей.

Напала на меня одно время такая грусть, такая тоска, что я не знала, куда мне от нее деваться. Время было зимнее, и я поехала кататься на санках; но и это не помогло. Я вернулась с теми же чувствами, с какими и выехала. Велела я в своей оранжерее зажечь все разноцветные фонарики и пошла любоваться красотой ярко освещенного зимнего сада. Цвела в то время камелия, цвели и многие другие деревья и между ними — огромная датура, на которой было 37 цветков. Что за удивительный

был тогда аромат в этой оранжерее!.. Походила я по аллее из камелий и села в своей беседочке на диванчик, на котором обыкновенно сиживала. Взяла я в руки образ «Взыскание погибших» и стала с умилением смотреть на него; и чем дольше я на него смотрела, тем в большее приходила умиление. Я не могу сказать, молилась ли я тогда или сидела в полузабытьи, но только не спала. И в этом состоянии умиления я ясно увидела, что пришла я будто бы в Белевский женский монастырь, перед вечерней. В церкви никого нет. Я стала возле клироса и начала молиться. И вижу я: из северных дверей алтаря выходит какая-то белокурая девушка в подряснике, проходит тихо мимо меня и пристально на меня смотрит.

— Голубушка, — спрашиваю я ее, — скажи мне: вечерня еще не кончилась?

— Нет, — ответила мне девушка, — не начиналась!.. А ты что — иль пришла сюда местечка себе искать? — спросила она меня и, не дожидаясь ответа, сказала: Вот, и я себе местечка ищу.

И с этими словами девушка эта вошла в северные двери другого алтаря. Потом, вижу, выходит она опять из тех же дверей и говорит мне:

— А много нужно нам с тобою места?

Указала мне рукой на уголок и промолвила:

— Вот здесь и займем мы с тобою немного местечка и будем с тобою жить.

Тут меня разбудил голос моего мужа, звавшего меня к себе, и видение кончилось.

Мое забытье продолжалось только одно мгновение, но так знаменательным показалось мне виденное, что я рассказала его своей тетушке, у нас тогда гостившей.

— Долго ли, коротко ли, — сказала мне тетушка, — а, видно, быть тебе в монастыре!

Да так мне и самой тогда показалось.

В ту же ночь, когда я уже легла спать, я увидела во сне: пришла я будто в какой-то неизвестный мне дом и

вижу в нем покойную мою мать, которая очень хлопочет, убирает дом и готовит кушанья, а на меня никакого внимания не обращает... Я долго на нее глядела, да и говорю:

— Маменька, что же это вы меня не приласкаете?

Мать мне ничего не ответила, и я горько заплакала. Но и на слезы мать не обратила внимания, а продолжала заниматься уборкою дома.

Когда она кончила этим заниматься, то обратилась ко мне и говорит:

— Ну, теперь я все покончила и более к тебе возвращаться не буду. Ты думаешь, мне легко было приходить к тебе в такую даль?

Сказав это, мать моя подошла ко мне, поцеловала меня, перекрестила и покрыла чем-то голубым, обшитым золотой бахромой.

— Чем это вы меня, маменька, покрыли? — спросила я.

— Омофором, — ответила она и стала подниматься на воздух.

Высоко поднялась она и скрылась на небе.

С тех пор, действительно, я уже не видела во сне своей матери, тогда как прежде она мне являлась часто, предостерегая меня и наставляя в разных случаях моей жизни. Вместо явлений матери я с этого времени стала слышать чей-то голос, руководящий мною.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Не более месяца прошло с этого сна, как мне вновь приснился все тот же юноша, который мне и раньше являлся в сонном видении. В этот раз он будто бы с какой-то особой властью явился в мой дом и стал все ломать в доме: сломал часы, мебель, рояль и стал все выкидывать вон из дома; затем схватил моего мужа и запер в комнату, приставив к ней караул и запретив пускать к нему кого бы то ни было... Я стала плакать и просить этого юношу не мучить моего мужа, но он грозно мне сказал:

— Помнишь ли, что я несколько раз к тебе являлся и говорил, что ты никому не должна принадлежать, кроме меня? Ты меня все гнала от себя; теперь я сам к тебе пришел, и уже без тебя не уйду, и везде буду с тобою.

На другой день после этого сна, вечером, сели мы все чай пить. Вдруг муж мой стал хрипеть и покатился без сознания со стула на пол. Бросились за священником, поскакали за доктором. Привезли доктора, пустили кровь и привели мужа в чувство; но ног муж мой лишился — их разбил паралич. После удара он прожил две недели и умер.

Когда похоронили моего мужа, я не в силах была оставаться в нашем доме и уехала на время в Белевский монастырь, где наняла себе келью и жила в ней, пока велось дело с наследниками мужа, от которых мне много было скорби; но Господь послал мне добрых людей, которые меня избавили от всех забот и хлопот по наследству.

Еще сорока дней не вышло покойному мужу моему, — пришла я от всенощной в свою монастырскую келью и легла спать... В деревне своей я все еще жить не могла и, по милости матушки игумении, принявшей во мне сердечное участие, проживала в монастыре... Только я легла в постель и стала засыпать, как увидела во сне, что меня кто-то будит и говорит:

— Что ты спишь? У мужа твоего добрых дел недостает!

Я будто повернулась на этот голос и вижу: стоят перед моей постелью два светлых юноши в белых одеждах и держат в руках весы...

— Видишь, — говорят, — весы перевернулись? Добавляй скорее!

Я проснулась в трепете, бросилась к Матери Божией и стала Ей молиться, прося Ее научить меня, что делать, чтобы спасти душу мужа. И напала тут на меня такая тоска, что я уже заснуть не могла и всю ночь провела в страшной душевной тревоге.

Утром я пошла к матушке игумении, рассказала ей все подробно и просила совета, как поступить мне, что делать. Игумения посоветовала удвоить милостыню, и я, сколько было можно, всюду рассылала и раздавала; но, видно, всего этого было, к моему горю, мало, потому что непокойно было мое сердце. Тут приехала ко мне моя тетушка, и тоска моя стала меньше меня тревожить; но все-таки сердце не было покойно...

И приснился мне уже сам покойник. Иду будто я в нашей деревне по улице, недалеко от церкви, и вижу, что мне навстречу идет какой-то человек, по походке — мой муж, но верно узнать не могу, потому что лицо его чем-то закрыто. Я спрашиваю его:

— Кто ты?

Он мне ответил:

— Это я.

— Что ж у тебя, — спрашиваю, — лицо-то закрыто?

— Я свету не вижу, — отвечает, — и никто мне его открыть не может, кроме Матери Божией. Попроси Ее обо мне!.. Да еще есть у тебя мешочек с деньгами — раздай его! Он лежит у тебя в деревне, в комоде, во втором ящике.

Я проснулась и долго думала об этом сне.

Усилила я молитву о муже, но денег, знаю, у меня нет не только в деревне, но и при мне: после смерти мужа я осталась без гроша, и добрые люди помогли мне его похоронить, дав взаймы денег. Но все-таки сон этот не выходил у меня из головы; а времени до сорокового дня уже мало оставалось.

Я рассказала сон свой тетушке, а она мне и говорит:

— Ты веришь снам — поверь и теперь: съезди в деревню, погляди в том комоде, где он тебе велел!

Послушалась я тетушкиного совета и поехала в деревню. Велела отворить дом, открыть ставни... В деревне, во флигеле, жил мой брат. Я взяла с собой брата и вошла в дом, в ту комнату, где стоял красный комод.

Отворила я второй ящик и, действительно, нашла мешочек с деньгами. И тут я вспомнила, откуда он у меня взялся: у меня одно время завелась страстишка копить серебряные пятачки и гривеннички, и я их собирала в этот мешочек, а потом о нем забыла. Стала я считать деньги, и оказалось, что в мешочке этом набралось 50 рублей.

В сороковой день я все деньги раздала.

Через три дня после сорокового дня мне во сне опять явился мой муж, но уже с лицом открытым и очень веселым. Подал он мне тот же мешочек и говорит:

— Ну, теперь возьми его! Спасибо тебе, теперь он мне больше не нужен — довольно с меня.

И с этих пор я мужа своего уже более не видала.

Прошло со смерти мужа несколько времени; наступила весна; я стала ездить в деревню наблюдать за хозяйством; наступал праздник Великого дня Пасхи... Опять увидела я знаменательный сон: сижу я будто в каком-то доме и слышу громкий голос, который повелительно говорит мне:

— Иди за мной!

Не видя никого, я пошла за этим голосом и шла куда-то далеко полем. Вижу вдали церковь. Подхожу к ней ближе, смотрю: церковь старая, без окон и без дверей, грязная, неоштукатуренная.

— Созижди мне ее! — говорит неизвестный голос.

Я отвечаю:

— Господи, денег нет у меня, и не знаю, как за нее приняться!

— Созижди мне ее непременно! — повторил настойчиво и повелительно тот же голос.

Проснулась я и думаю, к чему мне привиделся этот странный сон. Подумала, подумала да и бросила думать: не всякому же сну верить!

Через неделю опять вижу тот же сон, и тот же голос мне повелительно говорит:

— Иди за мной!

И опять я пошла за этим голосом, и вновь пришла к тому же месту и к той же церкви; но на этот раз около этой церкви, оказалось, лежала громадная груда камня, так что близко нельзя подойти к церкви. И опять голос сказал мне:

— Созижди мне церковь!

— Господи, — отвечаю, — страшно взглянуть на эту громаду камня!

Повелительно и грозно в ответ на мои слова сказал мне голос:

— Перетаскай все эти камни и созижди мне церковь! Да смотри, непременно устрой!

После того как сон этот повторился, я послала за своим священником, рассказала ему, что видела, и спросила:

— Что, батюшка, эти слова означают?

— Надо, — говорит, — матушка, пригласить отца благочинного: он человек умный и жизни духовной.

Священник привез благочинного. Много мы толковали, и благочинный сказал:

— Может быть, матушка, Господу угодно, чтобы вы обновили вашу церковь: она, действительно, грязная, неоштукатуренная, да к тому ж и построена она вашими предками, и прах многих из них лежит около нее; теперь прах этот попирается всякой крестьянской скотиной. Обновите храм, приведите в порядок семейные склепы: так-то вот и созиждете ту церковь, о которой вы получили повеление.

По общему совету отслужили мы молебен Спасителю и Божией Матери, а благочинный отправил к архиерею прошение о разрешении мне обновить свой приходский храм. Я заказала кирпич, наняла разного рода мастеровых; пришло разрешение от Владыки — и с ранней весны работа закипела. Стали штукатурить церковь изнутри и снаружи, печники — ломать склеп и вновь класть. Образа из церкви перенесли в одну половину моего дома. Навезли тысяч десять кирпича. Работы не-

видимой рукой подвигались быстро вперед. Явились жертвователи. 30 000 кирпича пожертвовал кирпичник, у которого я покупала кирпич. Один господин, узнавши, что я обновляю церковь, прислал мне десять золотых... Когда я начала переделывать храм, у меня в платке был завязан один пятиалтынный, — только и было у меня наличного капиталу, — а работ в церкви было произведено на 8700 рублей.

К 1 октября, ко дню нашего престольного праздника, все работы были уже окончены, заново отделан грозивший падением иконостас, — и на самый престольный праздник наша церковь была освящена, а на мне не осталось за работу ни копейки долгу.

Когда были покончены церковные работы, я в скором времени увидела опять сон: будто я стою в нашей церкви, смотрю и любуюсь, как она стала хороша. Гляжу: из северных дверей подходит ко мне какое-то духовное лицо и говорит:

— Ты думаешь, что ты тут все окончила? Нет!

Подает мне маленький образок, показывает в церкви для него место и говорит:

— Воздвигни мне этот образ здесь, укрась его всеми твоими брильянтами и драгоценными камнями!

И вижу я, что в углу этого образа написан Лик Божией Матери.

Сон этот я видела спустя некоторое время и второй раз.

Я испугалась, что сразу не послушалась приказания. Послала опять за священником.

— Если так Господу угодно, — сказал мне священник, — то вы этот сон увидите и в третий раз.

Прошла неделя. Опять я вижу во сне, что я стою в нашей церкви, и то же духовное лицо подходит ко мне и спрашивает:

— Что ж ты не делаешь того, что я тебе велел?

— Нигде такого образа не отыщу! — отвечаю ему я.

— Да сама-то ты помнишь ли его? — спрашивает и с этими словами вынимает и показывает мне три образка.

— Который же я тебе показывал? — спрашивает.

Я указала.

— Так воздвигни ж его на этом месте! — сказал он мне и ушел от меня в алтарь, из которого вышел опять, и с ним другое духовное лицо... Вижу: несут золотую парчу, а на парче — множество золотой бахромы. Подали они мне эту парчу и говорят:

— Это тебе на образ, а чего недостанет — продай свои вещи, бриллиантами же своими укрась Матерь Божию.

Я с этим проснулась, и в памяти моей живо запечатлелся виденный образ какого-то святителя и в углу образа — Лик Божией Матери.

Ни у себя, ни в церкви я этого образа не нашла. Искала у соседей, была в городе, во многих домах смотрела, смотрела и по всем церквам, но нигде не нашла. Наконец, после продолжительных поисков, я нашла виденную во сне икону на чердаке нашей церкви между старыми образами. Когда я отмыла эту икону, то на ней оказалась надпись: «Святитель Димитрий, Ростовский Чудотворец». И как же я обрадовалась угодничку Божиему!.. Обложила я образ этот серебряною ризою, обновила его, сделала на него киот и поставила в церкви на указанном месте, но украсить своими бриллиантами не решилась: боялась, чтобы бабы не выковыряли их своими пальцами, да и жаль мне было расстаться с моим фермуаром, браслетом и серьгами, в которых я любила ездить по собраниям. Спрятала я свои драгоценные вещи — носить их все-таки не решалась: совестно было, а расстаться с ними было жаль.

Прости, Господи, мое согрешение!

Несколько времени я берегла у себя свои драгоценности, но совесть моя не была покойна, упрекая меня в том, что я их пожалела для Царицы Небесной. Под конец я даже не стала держать их у себя, я отдала их спря-

тать сестре, не сказавши, однако, ей причины, почему не хочу их хранить у себя.

Еще я видела такой сон: будто, я у себя дома задумчиво хожу по комнате. Подняла я голову и увидала, что на диване в этой комнате сидит молодой человек, а навстречу мне идет старичок, по виду духовный. Я ему поклонилась в землю и подошла под благословение, а он мне показывает на этого молодого человека и говорит:

— Не ходи за него, пожалуйста, замуж: еще зима не пройдет, как его не будет.

А я говорю ему:

— Батюшка! Я ни за кого не пойду замуж: меня Господь от этого помилует.

Старичк мне показал на балкон и говорит:

— Посмотри, как Матерь Божия молится за тебя!

Я взглянула на балкон, а на балконе, смотрю, стоит Женщина в белом покрывале, поднявши руки к небу.

Я бросилась к двери и закричала:

— Матерь Божия, спаси меня!

И с этим проснулась.

Сон этот очень скоро сбылся наяву. Через два дня после него ко мне приехал тот молодой человек, которого я видела во сне, стал мне объясняться в любви и просить моей руки. Я ответила, что я для него стара, но он не унялся и продолжал объясняться в любви, говорил, как давно меня любит, что он влюбился в меня, когда я еще была замужем, а он был юнкером; что с той минуты, как он меня встретил, он не разлучался со мною мысленно... Этот молодой человек так был красив, так хорош собою, что трудно было встретить красоту, подобную его; но характера он был такого буйного и страшного, что я в ужас пришла от его предложения. Можно сказать, что я поневоле вспомнила свой сон и успокоилась при мысли, что меня защитят от этого жениха молитвы Царицы Небесной.

Но он долго меня не оставлял в покое, и я много страдала от его ухаживанья. Отказывать ему напрямик было

опасно, и приходилось действовать с большой осторожностью, чтобы не навлечь на себя его необузданной ярости в случае отказа. Все родные и знакомые боялись за мою жизнь, так как он всегда с собою носил кинжал, и ему ничего не стоило лишить меня жизни. Наконец, помолившись Царице Небесной, я собралась с духом и решилась прямо ему отказать. Отказала я ему ласково и прибавила, что я дала клятву ни за кого не выходить замуж. К удивлению моему, он принял отказ мой спокойно и стал редко ко мне ездить.

Вскоре после этой истории отвергнутого сватовства я сидела в сумерках на диване и задремала. Вижу во сне, что я где-то еду, и на меня напали разбойники, и всю меня изранили. Я долго с ними боролась, но не могла справиться, пока не явилась какая-то женщина, которая и спасла меня от них.

— Поди в мою комнату! — сказала мне эта женщина, ввела в комнату и заперла меня в ней.

В этой комнате я увидала большой полинялый образ Божией Матери, похожий на тот, который мне велено было украсить моими брильянтами. Я стою будто перед ним и плачу. Из дверей выходит старичок, похожий на священника, и берет от меня этот образ. Я говорю ему:

— Батюшка, зачем ты его от меня берешь?

— Тебе, — ответил он сердито, — было велено его убрать, а ты его бросила!

И он взял и унес от меня этот образ.

Очнулась я от этого видения и стала просить Царицу Небесную простить мне мой грех. Тотчас же я этот грех открыла своей сестре, а затем и духовному своему отцу. Вскоре после этого я всеми своими брильянтами и драгоценными каменьями украсила запрестольный образ Божией Матери, но только не в своей, а в другой церкви.

С этого времени я духом совершенно успокоилась. Молодой человек, которому я отказала, прожил по со-

седству со мною до осени, потом уехал в Москву и там в начале зимы кончил жизнь свою ударом.

В письме моем к сестре вскоре после смерти отвергнутого искателя моей руки я писала так: «Сегодня я видела во сне, будто я — у себя в деревне, хожу в доме по комнатам, и в доме все пусто, и ничего нет. Вхожу к себе в кабинет, остановилась у окна, подняла глаза к небу и с умилением стала благодарить Господа за то, что я вдова и что мне так легко стало жить вдовою... Вдруг слышу голос:

— Ты скоро должна выйти замуж!

Я оглянулась на звук этого голоса и испугалась: у стола, вижу, сидит тот молодой воин, который мне несколько раз уже являлся во сне.

— Нет, — говорю я ему, — я никогда замуж не пойду: меня от этого помилует Господь.

— Нет, — возражает он, — пойдешь!

Я стала плакать и просить его, чтобы он избавил меня от нового замужества. Когда я его просила об этом, ко мне вошел какой-то незнакомый офицер.

— Вот твой жених! — сказал мне воин, взял его и мою руку и надел нам обоим венчальные кольца.

— Смотри же, — говорит он моему жениху, — береги ее, она моя, я тебе ее не совсем отдаю!

А мне сказал:

— Не бойся, иди за него: я везде с тобою буду!

И скрылся от меня.

Я проснулась и думаю: что это такое, Господи, мне приснилось?..

На другую ночь я опять вижу сон, будто я в деревне со своею тетушкой. Опять я стою у окна и смотрю на небо. И вижу я на небе большую звезду. Я кличу тетушку посмотреть на нее... И, вдруг эта звезда стала тихо катиться по небу...

— Смотри, — говорит мне чей-то голос, — это звезда твоя и катится к тебе!

И скатилась эта звезда с неба в растворенное окно прямо ко мне на колени.

— Смотри же, — говорит мне тот же голос, — держи ее крепче!

Куда потом звезда эта делась, я не помню... Тут я увидала себя на постели, и кто-то подошел ко мне, толкнул меня в бок и говорит:

— Полно тебе спать! Через две недели ты увидишь, как судьба твоя решится!

Я мгновенно проснулась, разбудила тетушку и рассказала ей весь сон. Отметила я этот день и стала ждать, что случится со мною через две недели.

Через две недели и два дня приехал ко мне офицер точно такой, какого я видела во сне. Приехал он в свою деревню из Петербурга, где всегда служил, и пожелал как сосед познакомиться со мною. Ему я, видимо, очень понравилась, и он стал часто ездить ко мне из деревни в город, где я тогда жила, а в один из своих приездов сделал мне предложение, которое я и приняла. Мы скоро перевенчались и переехали на житье в деревню.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Три года я была очень счастлива в замужестве: муж мой, что называется, не мог на меня наглядеться, даже сам меня причесывал, а когда я, бывало, приоденусь, то сам наблюдал, чтобы я была одета как можно более к лицу. Но после, остальные пять лет нашей супружеской жизни, всего было — и сладкого, и горького. Было ли так угодно Господу или злым людям, которые завидовали моему счастью, то Бог весть...

Слава Богу за все!..

Последний год моей жизни с мужем мне все необыкновенные сны виделись, а жизнь наяву исполнена была скорбей немалых. Видно, ими угодно было Господу вести всю жизнь мою.

Один раз вижу я во сне: бегу я каким-то полем и прибежала в свой дом в полном изнеможении. От усталости я упала на постель совсем больная, а на мне, чувствую, лежит какая-то ужасная тяжесть. Приподняла я голову и вижу, что я лежу вся в крестах и около моей кровати стоят тоже большие кресты... Я заплакала и говорю:

— Господи, что же это? Когда же будет конец этим крестам? Прими от меня хоть один большой!

И какой-то голос мне сказал:

— Все кресты отниму от тебя, но один оставлю!

И все кресты отступили от меня.

И тот же голос сказал мне:

— Один крест на груди твоей с тобою останется навсегда!

Взглянула я на себя, а у меня распятие на всю грудь разрисовано разными красками. Я стала его смывать, а оно все ярче делается, и под ним надпись: «Христос на кресте». И сколько я ни старалась отмыть его с груди моей, но смыть не могла, так и оставила.

Мое второе замужество было, действительно, исполнено крестов любви страстной и крестоносной, и отняты были они только тогда, когда окончилось через восемь лет супружеской жизни мое испытание этой любовью. Теперь только один крест остался на груди моей, и этот крест я должна донести безропотно до самой могилы.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Один раз вижу: хожу я будто по комнате у себя в доме, а в нем — ни людей, ни мебели — все пусто, а в другой половине дома, слышу, точно музыка какая-то играет и слышится духовное пение красоты необыкновенной. Я долго слушала с невыразимым наслаждением это пение, и стало мне почему-то так грустно, грустно... И сказала я себе: пойду посмотрю, что там делается.

Вошла я в девичью и стала, прислонившись к столу. Слышу — чей-то повелительный голос кричит:

— Вон отсюдова! Все — вон!

И вижу я со страхом, что из дому по воздуху полетела вон вся мебель... Смотрю, из спальни моей выходит кто-то, точно священник, в золотой ризе, а лицо белой дымкой покрыто, и все рукой машет.

— Вон, — кричит, — все вон!

Обратился ко мне, грозит пальцем и говорит:

— А тебе Иоанн Креститель покажет путь, по которому ты должна идти!

С этим я проснулась.

После этого, в непродолжительном времени, я вижу опять сон: стою я у себя на балконе и с грустью, точно осиротевшая, смотрю на небо. Вдруг вижу, летит через балкон огромная птица и ударила меня больно в лоб, да так, что я покатилась. Постояла я немного и вошла в комнаты. В гостиной, смотрю, сидит мой муж и с ним много мужчин, которые все уже давно умерли. Увидев меня, они все вдруг с испугом вскочили, а муж и говорит мне:

— Что это у тебя за звезда большая? Она нас сожгла!

Я ничего не ответила, молча ушла опять на балкон и стала на то же место, где раньше стояла. Гляжу: летит опять та же птица, и из клюва падает записка, на которой крупными буквами были написаны слова: «Матерь Божия — твоя Заступница».

Я подняла записку, положила ее к себе на грудь за платье и пошла в спальню. Стала я у окна и чувствую грусть неимоверную... А на небе, вижу, поднимается страшная буря, и над землей низко понеслись черные клубящиеся тучи... В ужасном страхе упала я на колени и стала молиться, а с неба глаз не свожу. И вижу: среди волнующихся туч надвигающейся бури показался лучезарный Ангел и стал бороться с ними, останавливая бурю. И услыхала я голос, громко взывающий:

— Где она, где она?

И тут ко мне в спальню вбежала моя давно умершая двоюродная сестра, схватила меня за руку и увела в другую комнату со словами:

— Этому так должно быть. Успокойся: Архангел Михаил унимает твою бурю!

И тут я увидала мою мать; она готовит кушанья, а я ее спрашиваю:

— Что это вы, маменька, делаете?

— Скоро ко мне гость, — отвечает она, — для него и готовлю.

И в это время я слышу в другой комнате какой-то гул и крик, и в нем различаю голос моего мужа. Я бросаюсь в комнату и вижу, что какой-то необыкновенный человек с бледным лицом тащит моего мужа и запирается с ним в комнату. Я плачу, кричу:

— Пустите, выпустите моего мужа!

И тут, вижу, выходит мой муж: лицо бледное, руки опущены, на себя не похож и еле переступает. Я страшно перепугалась и проснулась. Заблаговестили к заутрени. Это был день святой великомученицы Варвары. Я стала собираться в церковь.

Муж спрашивает меня:

— Что ты, как будто расстроена? Иль что во сне видела?

Я ничего ему на это не ответила, сказала только:

— Иду в церковь.

— И я, — говорит, — с тобою.

Сердце мое было наполнено такою горестью, что я глядеть не могла на мужа, боясь разрыдаться. Меня так поразил этот сон, что я как будто уже совсем рассталась с мужем моим навеки.

Сон этот я видела в ночь под 4 декабря, а 6-го был праздник Святителю Николаю. В этот день мы с мужем отправились к обедне. От обедни вернулись, сели пить чай. К нам пришла гостья-старушка, коротко нам знакомая. Мы втроем мирно беседовали за самоварчиком.

Муж за чем-то пошел в другую комнату и что-то, гляжу, долго не возвращается. Я и говорю гостье:

— Что это он так долго нейдет?

Встаю, чтобы идти к нему, а он в это время сам приотворяет дверь и идет как-то особенно, а сам бледный, точь в точь, каким я видела его во сне. Он только успел мне сказать:

— За доктором!

И упал на диван.

Помчались за доктором, побежали за священником на село, за братом моим, за людьми... Приехал доктор, пустил мужу кровь, уверял меня, что он останется жив, но, к несчастью, мои сны вернее докторов узнают будущее... Оборвалось мое бедное сердце...

К вечеру муж пришел в память и попросил супу. Я подала ему сама, и, пока держала тарелку, с ним сделался вторичный удар, он вскрикнул и четверо суток был без памяти. Доктора от него не отходили, но жизни ему не вернули. Через четверо суток он пришел в себя и пролежал больной еще две недели. Господь сподобил его совершить переход к вечной жизни в полной памяти: он причастился, особоровался и ушел туда, откуда не бывает возврата.

Меня, как мертвую, увезли из дома.

Несколько месяцев я была как помешанная и долго еще потом нигде не могла я найти себе места, несчастная!..

Когда Господу было угодно меня помиловать и прекратить мои страдания, я увидела во сне, что будто бы я у себя в деревне хожу по комнатам. Дверь на балкон открыта. День ясный. Из сада, вижу, идут по аллее две женщины в белых покрывалах; в руках одной — дароносица, у другой — потир. Я вышла к ним навстречу и говорю им:

— Кто вы? Что вам нужно? Что вы несете?

Женщина с потиром, которая шла впереди, говорит мне:

— Приступи — исцелишься!.. Посмотри, кто пришел к тебе!

И с этими словами сняла с потира воздух, и я увидала, что в хрустальном потире сидит крошечный Младенец, кудрявенький, красоты неземной, и на меня смотрит. Я упала на колени и поклонилась тому Младенцу в землю.

С этим я проснулась, объятая неизреченной радостью.

До сих пор я не могу об этом сне вспомнить без слез...

Сон этот я рассказала своему духовнику. Он меня поисповедовал и причастил Святых Таин.

С этого дня я исцелилась от своей болезни. Меня перевезли в деревню, и я стала опять жить в своем доме, о котором раньше мне было страшно даже и подумать.

Вскоре после переезда моего в деревню я опять увидела сон: хожу я будто в каком-то чудном саду, и в этом саду стоит огромное дерево с крупными, белыми и черными плодами. Кто-то меня посадил под это дерево и велел мне раздавать плоды, кому захочу. И вижу я: идет ко мне мой второй муж и подходит грустный такой... Подаю ему один плод с дерева, под которым сидела и говорю:

— Съешь его, прохлади свои уста! Это хорошие плоды, я их берегу для тебя.

А он мне с грустью отвечает:

— Смотри ж, не забудь меня!

На другой день я опять вижу сон, что я бегу какими-то лугами и сама не знаю, куда бегу. Прибежала я к какому-то большому дому, вошла в него; прохожу комнату, другую, третью... нет никого в доме. Куда ж это, думаю, я попала?.. Да! — соображаю я, — это я к архиерею попала... Слава Богу, думаю, никто меня не видал!..

Оглянулась я в сторону и вижу: стоит в углу старичок на коленях и молится. Я испугалась и хотела было тихонько переступить через порог и удалиться, но меня этот старичок остановил.

— Куда ты бросаешься и мечешься? — спрашивает.

Я упала ему в ноги и говорю:

— Не знаю я, куда себя деть!

Проговорила я эти слова, а старичок этот уже, смотрю, стоит на амвоне. Я опять упала ему в ноги и говорю:

— Простите, что я к вам забежала!

Он благословил меня и сказал:

— Не мечись из стороны в сторону! — все устроится.

Проснулась я, и взяла меня скорбь: как устроится? Что устроится? Да может ли что меня устроить?..

Рассказала я свои сны кое-кому из близких, и они мне дали совет съездить к старцам в Оптину Пустынь.

И решилась я последовать их совету.

Оптиной я не знала, о старцах не имела понятия, не знала, что с ними говорить, даже и помыслить о беседах с ними боялась; но когда услыхала рассказы про великого старца о. Амвросия Оптинского, про любовь его к страждущему человечеству, — я бросилась к нему, под его покровительство, с растерзанным сердцем и измученной душой, с разбитым здоровьем, с жуткой боязнью сойти с ума в тоске по страстно любимом муже...

С этими чувствами я наскоро собралась и поехала в Оптину Пустынь, к старцу Амвросию.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Приехала я в Оптину и тотчас же пошла в Скит, где — сказали мне — живет Старец.

Не могу изобразить волновавших меня чувств, когда я подходила к этому святому месту...

Скит во имя святого пророка и предтечи Господня, Крестителя Иоанна!..

— Тебе Иоанн Креститель покажет путь, по которому ты должна идти!

Вспомнились мне знаменательные слова, сказанные мне во сне неизвестным, облаченным в золотую ризу и с лицом, покрытым белой дымкой. Сказаны они мне были еще перед кончиной моего горячо любимого мужа... Не-

ужели здесь совершиться должно их исполнение?.. Сердце во мне билось, как голубь...

Долго я стояла около кельи Старца, чтобы хоть сколько-нибудь собрать свой рассеянный ум. Наконец, перекрестилась и вошла в келью.

В келье Старца сидело много народа: были монахини, были мирские разного сословия. Я помолилась Богу и поклонилась всем.

Выразить я не могу, какой страх испытывала я, когда сидела в ожидании выхода Старца. Меня трясло как в лихорадке. Я не смела глаз поднять на присутствовавших, думая и чувствуя, что страшней и грешней меня нет никого на свете. Не раз порывалась я уйти вовсе из кельи и даже выходила из нее с намерением более в нее не возвращаться; но точно какая-то невидимая сила меня обратно вталкивала в келью, и я, против воли своей, возвращалась.

Вдруг в келье зашумели, засуетились; монашенки стали закрывать окошки... Я догадалась, что идет Старец. Жутко мне с чего-то стало. Я бросилась в самый отдаленный уголок кельи и села, как преступница какая, дрожа всем телом.

Отворилась дверь внутренней кельи, и в ней показался Старец. Все бросились к его ногам, а я не помню, что в это время сделала, помню только, что Старец подошел ко мне и спросил, из какой я губернии и уезда. В это мгновение я увидела, что он в мантии, а в руках у него палочка. На голове Старца была шапочка, вроде мягкой камилавки. Лицо его было худое, изможденное и очень бледное, и весь он мне показался каким-то неземным видением...

Я была вне себя и продолжала дрожать всем телом.

Тут батюшка обратился ко всем и велел им выйти в другую келью, а мне сказал:

— А ты останься со мною!

И с этими словами запер дверь на крючок.

Сел батюшка на диван и тихо, с кроткой ласкою спросил меня:

— Ну, теперь, раба Божия, сказывай, что тебе нужно от меня!

Голос батюшки проник мне в самую душу. Я упала к ногам его и зарыдала, но выговорить слова не могла. Он положил мою голову на свою руку, а другой рукой накрыл ее, как самая нежная, любящая мать; и долго, долго держал он так свои руки, не отнимая их от бедной головы моей. Старец молчал, и, вероятно, в безмолвии молился обо мне, давая волю моим слезам, пока не иссяк сам собою их невыплаканный источник. Потом батюшка поднял мою голову и стал расспрашивать меня, как я осталась без мужа, каких я лет вышла замуж... Я отвечала, что этого мужа я похоронила второго, что за первого меня родители отдали на 13-м году и я с ним прожила 27 лет. Потом я вышла замуж уже по своему выбору, и со вторым мужем жила 8 лет. Была я немолода, но наружность имела несчастную, которая могла нравиться, так что мне не трудно было утаить мои годы... Батюшка слушал меня внимательно.

— Ну, — сказал он, — пожила ты, А. Н., в свете довольно, повидала всего — хорошего и плохого, радостного и горького, — а теперь пора подумать и о душе своей.

Я опять заплакала, упала старцу в ноги и сказала:

— Батюшка, примите мою душу на покаяние! Я совершенно предаюсь во всем воле вашей.

Батюшка много меня утешал и велел готовиться к исповеди и к Св. Причащению.

— Погости, — говорил он мне, — погости у нас в Пустыни: тебе спешить некуда, да и не к кому. Будь покойна — я тебя не оставлю. Поди теперь в гостиницу, отдохни!

Приласкал меня батюшка, благословил... И ушла я от него не помня себя от радости.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Пока я говела, я каждый день ходила к Старцу на благословение. Батюшка меня принимал милостиво, но я всякий раз подходила к нему со страхом.

Наступил день исповеди.

Когда Старец взял меня на исповедь, то сказал:

— Исповедуй мне все свои грехи. Припомни от самых юных лет и до сей минуты!

Великое и страшное это было для меня испытание! Ох, как тяжко жить на земле грешному человеку!.. Я тяжело вздохнула. Не утаился мой вздох от прозорливого батюшки. Он молча на меня взглянул и стал надевать епитрахиль и поручи... Что было тут со мною, что творилось в душе моей в эти минуты, того словами и передать трудно. Мне казалось, что я сгорю от стыда.

Несчастная, горькая была доля моя в юности! Тринадцатилетняя девочка замужем за пятидесятилетним! Тяжел и страшен был мне крест этот, и я в семнадцатилетнем возрасте без памяти влюбилась в молодого соседа, полковника, который, выйдя в отставку, поселился жить вблизи от нас, в своей деревне. Красивый, ловкий, образованный был он человек, и с первой же встречи в нашем доме мы без памяти полюбили друг друга. Он умер прежде моего мужа.

Ох, как было трудно рассказать это Старцу!

Но батюшка уже все провидел и помог мне освободить душу от тяготевшего на ней греха: он сам мне предложил роковой вопрос и затем сам же и промолвил вопросительно:

— Да?

Я закрыла лицо руками и, сгорая от волнения и стыда, бросилась к его ногам и сказала едва слышным шепотом:

— Да!

— Ну, — сказал он, — теперь ты моя дочь духовная и я тебя никогда не оставлю.

Батюшка обошелся со мною с такою лаской, с такою милостью, что с этой первой моей встречи я привязалась к нему всею моею душою, всем существом моим, и на сердце моем не осталось у меня от него ни одной сокровенной тайны: я видела в нем от Бога посланного мне Ангела-Хранителя, спасающего душу мою многогрешную.

С этого времени я стала часто ездить в Оптину Пустынь. Добрый Старец понемногу начал меня знакомить с духовной жизнью и за его святыми молитвами я постепенно приучилась отставать от суетной, светской жизни, оставляя ее навыки и привычки.

Однажды, принимая меня в своей келье, батюшка услыхал от меня табачный запах.

— Ты куришь? — спросил он меня.

— Простите, батюшка, — сконфуженно ответила ему я, — курю, и не могу с папиросой расстаться.

— Курить — беда невелика, — сказал мне Старец, — а можешь ли ты добровольно не курить своих папиросок?

— Не могу: без них меня тоска мучает.

— Вот и беда! — сказал батюшка, — в этом-то и грех состоит, девочка! В страсти — грех, а не в курении.

Помолчав немного, Старец улыбнулся и прибавил:

— Ну, Бог даст, мы с тобою эту страсть победим!

Оставшись вдовой, я переехала жить в деревню.

Была уже весна. Со мною в соседстве жила моя двоюродная сестра, которая меня очень любила. Зная мою страсть к цветам, она стала уговаривать меня строить вновь оранжерею, чтобы ею привязать меня к месту и тем заставить меня навсегда остаться жить в ее соседстве. Я склонилась на ее уговоры, купила лесу, наняла рядчика, и моя постройка пошла скорою рукою.

И вижу я сон: будто я где-то иду лугами, на которых растут превосходные цветы, а вдали стоит дом. Подхожу я к этому дому, но людей около него не вижу. Вхожу в комнату, в другую — тоже никого нет. Вошла в третью, и вижу: стоит большой стол, накрытый белой скатертью и

за ним сидят три лица, а перед ними на столе лежит раскрытая большая книга. Одеты лица эти в монашеском одеянии. Посреди стола — точно игумения, а по бокам — две монахини. Увидев их, я остановилась у дверей.

— Иди сюда! — сказала мне игумения.

Я подошла и поклонилась.

— Чего ты скорбишь? — говорит она, — оттого и скорбишь ты, что живешь не на своем месте. Чего ты не идешь в монастырь?

— Состояния не имею такого, матушка, — отвечаю, — чтобы жить в монастыре.

— А какое у тебя состояние? — спрашивает, — видишь ты эту книгу? В книге этой на одну сторону вносят, а на другой записывают, а там и распоряжаются. Сколько можешь, столько и внеси! Не строй оранжереи, брось все!

Тут я проснулась.

Рассказала я свой сон моему духовному отцу. Он посоветовал мне идти в монастырь. Попросилась я у Белевской игумении, но она меня не приняла, и осталась я жить по-прежнему. Приостановила я было постройку оранжереи; а прошло с этого сна несколько недель — опять начала ее строить... И вот во сне я услыхала чей-то грозный голос:

— Не строй! — говорит.

Я остановила постройку, и этим вызвала негодование и насмешки своей двоюродной сестры. Но я на ее насмешки ответила просто и твердо: «Верю я своим снам!»

А тут и рядчик мой запил и ушел.

Прошло две или три недели. Вернулся мой рядчик, и я вновь соблазнилась и стала доканчивать постройку оранжереи. Опять слышу голос, говорящий мне во сне:

— Тебе говорю — брось строить! Вот, тебе и экипаж уже готов, чтобы ехать.

Под крыльцом, вижу, стоит экипаж, без лошадей, а каких-то два мальчика в белых рубашках прочищают мне дорогу к экипажу...

Я проснулась и думаю: что это значит, Господи? Что будет со мною?..

Работу я, однако, остановила и рядчика разочла.

Двух недель не прошло с этого сна — явился ко мне покупатель на имение, и я его продала, а сама переехала на житье в город.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Когда я стала жить в городе, то начала чаще ездить в Оптину Пустынь, к о. Амвросию. Узнав, что я еще не бывала по святым местам, он посоветовал мне съездить в Москву, помолиться у всех угодников и чудотворцев московских, приложиться к их святым мощам, а затем побывать у Троице-Сергия, в Новом Иерусалиме, в Вифании... Я с радостию ухватилась за этот совет и тотчас же решилась ехать. После тяжелой моей жизни эта поездка подействовала на меня так благотворно, что я стала совершенно оживляться.

Когда я была в Вифании, то мне сказали, что там в лесу живет великий старец Филаретушка, что к нему ходит много народу и что даже сам митрополит бывает у него, очень его любит и часто с ним беседует. Со мною были две товарки, с которыми я вместе совершала свое паломничество. Во время путешествия я одевалась победному и всюду, где мы бывали вместе, я их пускала впереди себя, а сама шла за ними. Так было и при посещении нами Филаретушки.

Пришли мы к нему, поклонились ему в ножки и приняли его благословение. Вдруг Филаретушка взглянул на меня да как закричит:

— Ты зачем живешь в міру?

Я перепугалась. Он посадил моих спутниц, а сам стоит передо мною и кричит:

— Зачем ты живешь в миру? Что ты в своем богатстве валяешься, как свинья в грязи? Все продавай, все тащи на базар! Чтоб у тебя ничего не было!

Потом он стал шутить со мною, обласкал меня, благословил[1] и, отпуская от себя, опять сказал мне серьезно и внушительно:

— Слышала? Все — на базар! Чтоб у тебя ничего не было.

Подал он мне черный крест и прибавил:

— Неси его домой! Будет с тебя и этого, а прочее все — на базар!.. Вблизи от меня живет затворник: поди к нему под окошко, — он скажет, что тебе делать!

Товаркам моим Филаретушка ничего не указывал, а только их благословил.

К затворнику идти я побоялась, потому что час был поздний, а место незнакомое; и расположилась я на волю Божию: что будет со мною, то пусть и будет!

Переселившись на житье в город, я видела сон необыкновенный. Вижу я себя в своем деревенском доме. Входит ко мне какое-то духовное лицо и говорит:

— Идите — вас требуют!

Мне показалось — точно на суд. Я пошла. Вхожу в переднюю и вижу: стоит в ней от потолка до полу большое зеркало, и в этом зеркале я вижу себя, роста большого, красоты невообразимой; платье на мне парчовое, а на голове — венец. Схожу с крыльца, а на крыльце уже меня дожидаются какие-то двое, чтобы проводить меня, и я вступаю в длинный, темный коридор. По сторонам коридора стоят дети в белых рубашечках и просят у меня милостыни, а я иду и раздаю направо и налево милостыню, пока вижу, что у меня и раздавать-то уже ничего не осталось. И вынула я грудь свою, и стала детей тех кормить своим молоком. И так я прошла весь коридор, а затем вышла на луг очаровательной красоты. По лугу этому, вижу, течет река. Я села на берегу. Смотрю: нет на мне моей парчовой одежды, а взамен ее — рубище. Дети опять тут, сидят со мною рядом и просят есть, а мне им

[1] Может быть, отечески перекрестил; он не имел священного сана.

дать нечего. И горько мне стало, что дать мне им нечего. Раскрыла я тут на себе свое рубище, и вижу, что все в ранах тело мое, а дети, увидев мои раны, припали к ним и стали их лизать...

Тут я проснулась.

На другой день опять вижу сон: лежу я будто у себя на постели, и подходит ко мне какой-то послушник.

— Что же это ты, — говорит он, — все еще до сих пор не готова? Потребует тебя Царь, а у тебя одежды нет, всю черви поели!

С этими словами он подошел к комоду, выбрал из него все, что там было, и унес.

После этого сна через два дня я заболела горячкой и несколько недель находилась между жизнью и смертью.

Когда я уже стала понемногу поправляться, то опять увидела знаменательный сон: подхожу я будто к своему образному киоту и начинаю перед ним молиться с необычайным умилением. И когда я, помолившись, стала прикладываться к образу Божией Матери, то Она стала вдруг как живая, сняла с Себя ризу и ею меня покрыла. Сколько времени я под нею лежала, не помню. После того я увидала себя в каком-то незнакомом доме, разделенном на две половины: в одной половине — церковь, а в другой — комнаты. В одной из этих комнат я вижу своего мужа. Подходит он ко мне и говорит:

— Полно тебе здесь горе мыкать: пойдем к нам!

И в ответ на эти слова мужа чей-то голос возразил:

— Нет, она к тебе не пойдет: ей еще надо дом достроить, который она начала уже много лет тому назад!

— Да я его уже кончила, — ответила я.

— Нет, — сказал голос, — не кончила! Пойдем, я тебе его покажу!

Я пошла и вижу: стоит дом, и недостроен; но я его узнала, узнала и то, что строить его я начала еще при первом муже. Удивило меня, что тот же сон я видела уже раз, после смерти своего второго мужа. Тогда я видела,

что дом этот доведен до крыши, но крыши еще нет; а теперь уже он стоял совсем оконченным вчерне, только без окон и без дверей, которые надо было доделать. И такой красоты был дом этот, что я воскликнула в восторге:

— Господи! дострою я его непременно и перейду в него жить.

Мой муж, вижу, стоит поодаль и говорит:

— Что, что ты делаешь? На что тебе столько домов?

— Зимой, — отвечаю ему, — буду жить в одном, летом — в другом, а третий забью.

Тут я оглянулась и увидела, что мой белевский дом стоит с закрытыми ставнями и заколочен... И опять я увидела иной дом, разделенный на две половины. Заглянула я в его стеклянную дверь, и за ней вижу большую комнату, а в ней много народу, и какой-то чудной красоты юноша ходит и учит народ... И говорит мне чей-то голос:

— Этот юноша — Тихон Задонский. Он еще юношей в семинарии проповедовал слово Божие.

Ушел юноша, а народ все стоит. Вдруг выходит к народу архиерей в полном облачении. Я спрашиваю:

— Кто это?

— Он же! — ответил мне голос.

Подошел архиерей ко мне и говорит:

— Иди ко мне — я тебя вылечу!

Я протянула к нему свои руки для принятия благословения. Он благословил меня и повторил:

— Не забудь же, приходи ко мне!

Я ушла в другую комнату, где не было народу, и горько заплакала. Опять ко мне подходит мой муж и говорит:

— О чем ты плачешь?

Я ему отвечаю:

— Как мне не плакать? Святитель Тихон Задонский велит мне к нему ехать, а у меня денег нету.

— Все будет, — говорит мне муж, — мы тебя сами проводим.

Я проснулась. И стало мне грустно, что нет у меня денег на поездку к Тихону Задонскому и что не может, таким образом, поправиться мое здоровье.

Я написала батюшке Амвросию о моем сне и о своей скорби и вслед получила от его имени ответное письмо: «Батюшка благословляет, не отлагая, ехать в Задонск».

«Как тут быть? — подумала я, — а ехать мне все равно не с чем».

Прошло дня два. Сижу я в сумерках у себя одна дома и размышляю: ежели угоднику Божьему угодно будет принять к себе меня, грешную, то он даст мне возможность ехать... Вдруг, слышу, колокольчик!.. Входит ко мне один знакомый и говорит:

— Я слышал, что вы собираетесь в Задонск и скорбите, что нет денег. Я вам их привез.

И дал мне, сколько было нужно на поездку. А человек он был маленький, сам жил только на небольшую пенсию.

Я сейчас же наняла лошадей, а на другое утро полубольная, еще не оправившаяся от перенесенной горячки, уехала к святителю.

Невозможно передать, с какими чувствами припала я по приезде своем в Задонск к мощам великого угодника Божия! Как к живому, я бросилась к нему, излила перед ним всю свою скорбь, точно внутренность мою всю перед ним вывернула. Я так плакала у его раки, что гробовой иеромонах обратил на меня внимание, снял пелену, покрывающую мощи угодника, и покрыл меня ею.

В Задонске я совершенно выздоровела и душою, и телом...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

На этом рукопись «монашествующей сестры» прерывается. Кто была эта раба Божия? Имя ее не убавит и не прибавит ничего к тому человеческому документу, который я только что занес на страницы своих записок.

Двойная жизнь!.. Как удивительно сплелось в ней зримое и незримое, потустороннее и здешнее! Сама составительница этой рукописи не могла бы определить, какой она больше жила жизнью — той ли, которая продолжается за гранью, именуемой смертью, или той, которая начинается здесь, на земле, служит подготовлением к смерти...

— Ну что? — спросил меня «премудрый», — прочли вы мою рукопись?

— Прочел.

— Что скажете о ней?

— А вы?

— Умрем — узнаем!

Так думаю и я...

А ты как думаешь о ней, мой читатель?

1 марта

Блаженная кончина оптинской жилички. — О. Амвросий и его утешение скорбящему монаху.

Сегодня окончила дни своей земной жизни одна из оптинских жиличек, Татьяна Герасимовна Ананская, кроткое и благоговейное создание Божие, истинная послушница и преданная дочка наших старцев. Происхождение ее мне неизвестно. Знаю, что она и сестра ее, Елена Герасимовна, давние оптинки, выселившиеся из міру и, по любви к монастырскому безмолвию, укрывшиеся под святой покров Оптиной Пустыни. Со дней установления в Оптиной старчества такие старческие дочки никогда не переводились в старческих хибарках, пользуясь гостеприимством обители то в ее гостиницах, то в отдельных, принадлежащих ей жилых флигелях за монастырской оградой. Поселялись сперва на время, а там и жизнь кончали, прожив ее незаметно, как день один, на святой земле Оптинской.

Перед кончиной Татиану Герасимовну постригли в схиму.

— Танюшка, матушка! — говорит умирающей сестра, — помолись обо мне, не забудь меня, когда предстанешь пред Престолом Божиим.

— Если стяжу дерзновение, — ответила та, — не только о тебе, но и о всех знаемых буду молиться. Кланяйся всем и проси у всех молитв за меня, грешную!

С молитвой на устах и перешла в жизнь вечную Оптинская праведница. Умерла, как уснула...

Как удивительно просто совершается здесь переход от временной жизни в небесную вечность! — ни слез безутешных, ни жгучего горя: точно переезд с одной квартиры на другую. Пожил себе человек, сколько Бог положил сроку, и — с Богом: нечего тут заживаться! Там много лучше...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

— И что это за прекрасная страна, из которой никто назад вернуться не хочет? — С таким полувопросом обратился раз ко мне один из старейших Оптинских монахов о. Нафанаил (Жураковский)[1], помнящий еще великого старца Макария[2] и не менее великого архимандрита Моисея.

— Ах! — продолжал он со вздохом, — какая это прекрасная должна быть страна! Только как угодить-то туда нам, грешным? Задумаешься так-то иной раз и заскорбишь, чувствуя свою недостаточность: жил, жил монах всю жизнь, а что нажил? с чем предстанешь пред Судией-Искупителем? Одни грехи и никакого исправления!.. И вспоминается мне, мой батюшка, как я однажды пришел с такими мыслями к покойному старцу Амвросию, расстроенный и огорченный ими до крайности...

---

[1] Скончался 14 октября 1917 г.

[2] Скончался 7 сентября 1860 г.

— Ну, — спрашивает меня старец, — сказывай, отец Нафанаил, как живешь, как храмину свою духовную воздвигаешь?

— Что, — говорю, — батюшка, одно горе! Кирпич один заложишь, а два вытащишь; камень вмажешь, а три вывалятся: какая это постройка — мусор один! Впору только плакать!

— А ты не скорби, — говорит батюшка, — не отчаивайся! Послушай-ка, что я тебе расскажу! Жила-была одна барыня-помещица и очень она чистоту на своем дворе любила. Как встанет утром, так прямо к окошку на двор, и смотрит, все ли на дворе у нее чисто. Дворня привычку эту ее уже знала и уж, конечно, потрафляла... И вот, братец ты мой, случись раз такая беда: заболела барыня и что-то долго проболела, а холопы-то ее за это время возьми и запусти чистоту дворовую; и посреди двора воздвиглась немалая мусорная куча... Как встала с одра болезни барыня, так сейчас к окошку...

— Это, — кричит, — что? Прибрать сейчас, убрать, чтобы глаза, — говорит, — мои не видали этого безобразия! Сейчас все свезти под гору в яму!

Стали барынино приказание выполнять, а старик приказчик, человек опытный, и говорит рабочим:

— Вы кучу-то мусорную поаккуратней убирайте: что гоже, отбирайте к стороне, а что негоже, то только и везите под гору...

— И что ж ты, о. Нафанаил, думаешь? — сказал мне батюшка Амвросий, — как взялись за кучу-то, так мало чего и под гору пришлось свезти: то гоже, это гоже, а мусору-то почти что ничего и не оказалось... Видишь, братец ты мой, — добавил батюшка, — и тебе о твоем мусоре нечего отчаиваться: посмотреть на тебя — мусор мусором; а начнешь тебя разбирать, глядь, гожее-то что-нибудь и отберется... — Так-то, С. А., умели старцы наши утешать и ободрять отчаивающегося человека!

Этот о. Нафанаил — один из столпов оптинского благочестия, живая хроника оптинская за 40 с лишним лет ее жизни, — от конца 60-х годов до дней текущих, но погружаться в воспоминания при посторонних не очень любит. И то мне в честь, что он обронил для меня одну из жемчужин с неписаных страниц своей сердечной летописи.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Погребение Оптинской жилички. — Смерть Николая-золотаря. — Надежды, ею вызванные.

Бренные останки схимонахини Татианы сегодня предали земле. «Земля еси, и в землю отыдеши!» И мы все пойдем туда же...

Страшно усталый вернулся я домой с погребения: часы, литургия Преждеосвященных Даров, отпевание... Служба началась в восемь с половиной часов утра, а окончилась в час пополудни.

Дверь на парадном крыльце открыл мне наш мальчик, служащий на побегушках.

— А завтра, — объявил он мне радостно, — у нас опять похороны!

— Кого хоронят?

— А нашего золотаря, Николая.

Николай-золотарь, крестьянин соседней с Оптиной деревни Стениной, оптинский ассенизатор. Все время он был на ногах и работал и только вчера вечером, хотя уже и больной, но без посторонней помощи, пришел из своей деревни и попросился лечь в оптинскую больницу.

Сегодня в 5 часов утра его уже не стало. Хоронить его будут рядом с нашей усадьбой, на кладбище «Всех святых». Тяжела была его работа, но за то и удостоена великой награды: кости трудника лягут рядом с мощами многочисленных Оптинских праведников, почивающих на этом кладбище в ожидании последней трубы архангельской.

За великое счастье, за честь безмерную считаем и мы, оптинские гости, такое для нас благодатное соседство. Придет время, пробьет смертный час, и, если изволит Господь, пойдешь стучаться во врата небесного чертога, уготованного Оптинской праведности...

— Кто там? — спросит небесный привратник.

— Ваш, — ответит душа моя, — около вас на земле жил я, питаясь от крох, падавших со стола господий моих.

Неужели ж не признают меня тогда за своего Оптинские небожители?..

4 марта

«Спиритуалист-догматик».

Не успел я напиться чаю, как прислуга мне доложила:

— Вас какой-то господин спрашивает.

— Какой господин?

— Не знаю. Он сказывает, что его к вам прислал отец Анатолий. Он желает лично вас видеть.

— Где он?

— На кухне.

О. Анатолий, иеромонах нашей Пустыни, был последние годы жизни старца о. Амвросия его келейником. Теперь он старчествует сам как один из духовников обители и, по вере народной, как законный и естественный преемник старческой благодати почившего великого Оптинского Старца.

Очень не хотелось мне принимать этого незнакомого господина, но упоминание имени о. Анатолия заставило меня пойти к нему и узнать, чем я могу быть ему полезным.

Я вышел в кухню. У притолоки входной двери в кухню, смотрю, стоит какой-то средних лет человек. Одет по-городскому, довольно прилично, хотя и не совсем опрятно: крахмальный стоячий воротник более чем сомнительной свежести; яркий цветной галстук, грязноватый,

но не без претензии на щеголеватость; довольно поношенное пальто; в руках шапка под барашек... Лицо как будто нерусское; худощавый, скорее худой; под нижней губой тощая рыжеватенькая бороденка с полубачками на щеках; глазки небольшие, востренькие, беспокойные — так и бегают во все стороны, избегая взгляда собеседника. Общий вид «господина» — не то лакея, не то разъездного приказчика, что на еврейско-русском жаргоне кличут теперь «вояжерами».

— Что вам угодно? — спрашиваю.

— Меня к вам прислал о. Анатолий. Не можете ли вы мне помочь в одном деле?

Я подумал было — проситель пособия на выезд из Оптиной. Потянулся в карман за кошельком. Он заметил мое движение...

— Нет-с, не то-с: я в деньгах нужды не имею-с, — заявил мне незнакомец, — я нуждаюсь в вашей помощи совсем для другого.

— Для чего же именно?

Он оглянулся на народ в кухне, как бы стесняясь при нем говорить, а затем, как в воду кинулся, выпалил в упор всей компании:

— Мне житья нет от бесов!

Я даже отшатнулся: не сумасшедший ли?..

— Вы не извольте сомневаться, — успокоил он меня, — я в здравом уме-с и в твердой памяти и истинную правду вам говорю-с. Вот теперь я живу в Белеве, а полиция приказывает выезжать. Приходится выезжать; а куда выезжать? в Козельск? Но и из Козельска меня полиция выпроводит, если вы мне не изволите оказать просвещенного покровительства-с.

— Позвольте, — возразил я, — по словам вашим выходит, что житья вам нет не от бесов, а от полиции: причем же в злоключениях ваших бесы?

— А притом-с... впрочем, я еще не имел чести вам отрекомендоваться; дозвольте представиться: спиритуа-

лист-догматик Смольянинов, исцеляю всякую болезнь наложением рук и молитвою, а главным образом изгоняю бесов из бесноватых. Вот эта-то моя специальность и сделала меня ненавистным полиции, которая меня считает нарушителем общественной тишины и спокойствия. Войду ли я в церковь — мне в церкви не стоять, если там находится хоть один бесноватый: бес меня сразу учует и такой подымет скандал, что мне приходится выходить вон из церкви. Займу ли квартиру, чтобы обзавестись оседлостью, — меня с квартиры гонят, потому что даже с улицы, сквозь стены меня чуют бесы и скандалят на улице в тех бесноватых, которые проходят или проезжают случайно мимо моего жилища. Все это полиции не нравится, и мне приходится от нее страдать больше, чем какому-нибудь злодею.

Смольянинов говорил речисто и за словом в карман не лазил. В кухне все насторожились, даже про кушанье забыли. Я перебил целителя:

— В полиции у меня протекции нет, и помочь я вам ничем не могу, разве только добрым советом.

— Каким-с?

— Обратитесь к врачу духовному, чтобы он вас самих исцелил от тяжкого душевного недуга.

— От какого-с?

— От прелести.

— От прелести? — протянул он с негодованием. — Меня, по слову Спасителя, возложением рук исцеляющего всякие недуги, бесов изгоняющего именем Христовым, меня исцелять от прелести? да что это вы? Как вам это только в голову могло прийти?

— Видите — пришло. А причащаетесь ли вы, говеете ли, ходите ли на исповедь?

— Неужели же я — язычник?

— Что ж вам духовники говорят по поводу силы вашей?

— А что говорить им, когда я действую именем Христа?

— Но ведь и пастыри Церкви именем Христовым действуют, однако редкие из них достигают такой духовной силы, которая исцеляла бы недуги и изгоняла бесов, а им в таинстве священства даруется апостольская благодать, которой вы не имеете.

— Не та́к действуют. Я не пью, не курю, провожу жизнь девственную.

— Вы не женаты?

— Женат-с, и имею 18-летнего сына, огромной психической силы.

— И жена ваша жива?

— Жива-с.

— Сколько вам лет?

— 44-й год.

— Хотите другого моего совета послушаться?

— С истинным удовольствием-с, только помогите-с!

— Пейте и курите в меру и с женой по закону живите: тогда бесы в союзе с полицией гнать и преследовать вас не будут, и вы освободитесь от того состояния духовной гордости и самообольщения, в котором теперь находитесь.

Господин Смольянинов метнул на меня молниеносный взгляд и хотел было удалиться, но я его остановил: мне захотелось поближе узнать, как дошел он до жизни такой.

— Постойте, — сказал я, — не обижайтесь! Тут не место нам с вами разговаривать. Раздевайтесь, пойдемте ко мне и расскажите мне жизнь вашу поподробнее: к чему-нибудь в самом деле прислал же ва́с ко мне отец Анатолий. Пойдемте!

Я велел подать чаю; и вот что за чаем поведал мне о себе «спиритуалист-догматик» г. Смольянинов.

— Я — уроженец города Лихвина и происхожу из бедной семьи. Отец мой — мещанин города Лихвина, по ремеслу кровельщик и маляр, а по душевной склонности — горький пьяница; мать — простая, благочестивая

женщина, знаете ли-с, из тех, что без всяких религиозных понятиев (он так и сказал — «понятиев») веруют в Троицу-Богородицу да в Миколу Чудотворца...

Господин Смольянинов, рассказывая речисто и цветисто повесть своей жизни, видимо, рад был сам себя послушать и искоса поглядывал на меня, как бы желая уловить на моем лице впечатление от его беседы...

— Так вот-с, воспитываясь в этакой-то некультурной семье, я достиг, наконец, того возраста, когда от всякого гражданина требуется вносить в сокровищницу семейного труда долю и своего посильного участия-с. К этому времени я уже успел достаточно твердо-с научиться грамоте. Но, увы, иного, более достойного по моим дарованиям дела, кроме родительского кровельно-малярного, для меня в лихвинском захолустье не оказалось, и мне пришлось некоторое время тянуть эту грязную лямку вкупе с папашей. К прискорбию, однако, наша совместная с родителем работа не шла нам впрок, ибо что ни заработаем мы, бывало, с ним вместе, то родитель возьмет и пропьет-с, оставляя нас с родительницею в самом, можно сказать, горестном-с положении. Такая ненормальность жизни продолжалась до дня сочетания меня законным браком-с с некоей достойной мещанской девицей, когда таковый режим мне показался уже предовольно солон. Родитель мой подался куда-то на юг, на заработки, а я — на простор вселенной, куда глаза глядят. Прихватил я с собою и супругу, в надежде, по выезде из такого необразованного угла, как Лихвин, найти более достойное применение своим дарованиям. И вот-с, по некотором странствовании, неоднократно переменив род профессий и побывав во многих городах обширного нашего отечества, я в городе Одессе обрел и себе, и супруге постоянное и весьма выгодное место у известнейшего-с всему образованному міру профессора черной магии и престидижитатора, господина Беккера... Вы его, наверно, изволили знать?.. — перебил он свою речь и вопросительно впился в меня своими глазками.

— Не имел чести, — ответил я довольно сухо.

— Ну так слыхали!.. Да не в этом дело-с, а дело в том-с, что господин профессор Беккер явился для меня как бы свыше ниспосланным откровением-с. Ныне он уже перешел в иной мiр, а может быть, уже и перевоплотился, — это мне пока еще не открыто, — но тогда он с великою славой еще принадлежал к составу жителей планеты Земли как драгоценнейшее ее украшение и гордость... Вот к этому-то светилу высшей науки, неизвестной грубому материализму профанов, я поступил-с вместе с моею супругой: супруга в качестве экономки, а я — в слуги и помощники при особе господина профессора. И тут-с духовному моему взору неожиданно открылся целый неведомый мне дотоле мiр высочайшей жизни, о которой невежественные люди не могут иметь даже и самомалейшего представления-с. Короче сказать-с, вы, как человек хотя и не вполне просвещенный светом эзотерического, истинно-духовного Евангельского учения, но по своему образованию меня понять будете в состоянии с нескольких слов: в библиотеке господина профессора я прочел и обучился, под непосредственным его руководством, всем тайнам древнехалдейской магии, передо мною открылись все мистерии Дельфов, Элевзина, Египта; я обрел ключ к вратам загробного мiра... Спиритизм и его чудеса — не только моя личная сфера, но и всей моей семьи, так что даже мой 18-летний сын находится в непрестанном общении с великими мудрецами древности, с духами света и истины. Вообще говоря, для меня уже нет никаких тайн в оккультном мiре, и тем я столь страшен стал бесам, что при одном имени моем нечистый дух, сотрясая им одержимого, выходит из него и уже более не возвращается в больного... К рекламе я не прибегаю, напротив того, удаляюсь от человеческой славы, стараюсь укрыться от всяких посещений, но меня находят, ибо бесы открывают мое пребывание, где бы я ни находился. А полиция

меня гонит как нарушителя обывательского покоя. Войдите же в мое положение, помогите мне!

Жалко мне стало прельщенного беднягу...

— Бросьте, — говорю ему, — ваши оккультные науки: ведь это же явное общение с бесами, хорошо известное христианам по житиям святых, осужденное и проклятое св. Отцами Вселенской Церкви. Теперь, возлагая руки на больного, вы его исцеляете, а затем и мертвых воскрешать будете...

Он перебил меня:

— Я это и теперь могу делать.

— Тогда, — говорю ему, — уходите от меня, потому что я — человек грешный и с таким святым, как вы, общаться недостоин.

— Вы, кажется, шутить изволите?

— Понимайте, как хотите, но только я в последний раз вам говорю: бросьте занятие бесовским оккультизмом, кайтесь и просите у Господа Бога прощения за то, что вы Его святыню оскорбили общением с нечистой силой.

— Не говорите, не говорите так, — прервал меня несчастный прельщенный, — не смейте так говорить! В ваших словах — хула на Духа: не хулите Духа Божия!

— Не Божия Духа хулю я, — возразил я ему, — а духа вражия, духа прелести, духа лжи, обмана и обольщения, который влечет и вас, и всех с вами общающихся к вечной погибели.

— Тогда, по-вашему, я бесов изгоняю силою Веельзевула, бесов бесами изгоняю; с чем это сообразно? Вы, стало быть, не знаете Писания?

— Вы, — возразил я ему, — по-видимому, считаете себя во всем равным Христу. Писание нас, православных, о таких, как вы, предупредило без малого 1900 лет тому назад, и потому, простите, нам с вами беседовать больше не о чем.

— Прощайте, — ответил мне гордо ученик Беккера, — но берегитесь быть хулителем Духа и помните,

что «посвященные» меня хорошо знают, знает меня и московское общество спиритуалистов-догматиков, с которым шутить не советую.

На этом мы простились с этим «игралищем и посмешищем бесов».

Как ясны стали теперь Евангельские слова:

Многие скажут Мне в тот день: «Господи, Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» и тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 22–23).

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Заходил к о. Анатолию.

— Батюшка, вы послали ко мне Смольянинова?

— И не думал. Он проситься вздумал в Скит, а я его послал к о. Скитоначальнику. Зачем он к вам забрел, не знаю, только я его к вам не посылал.

Зачем я понадобился «отцу лжи», налгавшему на о. Анатолия устами «спиритуалиста-догматика и чудотворца»?..

Увидим.

Ходил к одному из наших «премудрых». Рассказал о посещении меня «спиритуалистом».

— Это — антихристианское религиозное извращенство, служение духу тьмы, принимаемому за ангела света. Князь міра знает, что времени ему осталось немного: он и действует теперь со всею силою и властью над теми, кому кажется тесной церковная ограда. Спиритуализм, спиритизм и простонародное хлыстовство, как было то во дни лжемистицизма эпохи Александра I, — все это явления одного антихристова духа фальсификации христианства.

12 марта

Черты из жизни старца иеромонаха Клеопы и Оптинского архимандрита Моисея.

Ходил к «премудрому». Говорю ему:

— Как тут спастись неопытным в духовной жизни? Род человеческий все знамений и чудес ищет, а знамения-то и чудеса теперь больше с шуей страны, чем с десной подаются: недаром же так усиливается хлыстовство и даже в высшем обществе, не говоря уже о разных оккультных мерзостях, возведенных теперь даже на степень науки. Где найти мерку для определения того, что от Бога, а что от известного льстеца-диавола?

— Ах, милый мой! Да разве же вы не улавливаете основной разницы между деятелями и делами с одной стороны Божиими, а с другой — сатанинскими? Смирение и послушание; гордость и самочиние — вот вам два противопоставления, характеризующие дух обеих сторон. Если вы желаете приникнуть к раскрытию этой тайны во всей доступной христианину полноте, то обратитесь к изучению великой книги, именуемой «Добротолюбие»: в ней вы все найдете, что может удовлетворять вашу любознательность. Но помните, что для духовного подвига потребно руководство опытных, каковых вне ограды церковного пастырства и учительства вы не найдете, ибо вне этой ограды все тати суть и разбойницы... Вот вы напугались примером ученика «профессора» черной магии Беккера, который изгоняет будто бы бесов. Противопоставьте ему другой пример, ну, вот хотя бы одного из сотаинников основателя, вернее, восстановителя православного старчества, архимандрита Паисия Величковского; под сотаинником этим я разумею старца иеромонаха Клеопу. Послушайте, что я расскажу вам про него: когда Клеопа вернулся с Афона в Россию, то

его близко узнал преосвященный Сильвестр[1] (Страгородский по фамилии); а этот преосвященный, в свою очередь, был лично известен великолепному князю Потемкину. При встрече князь и говорит епископу Сильвестру (он тогда был епископом Переяславским и Дмитровским):

— В Молдавии какие отцы! высокой жизни, почтенные! здесь таких нет.

Преосвященный отвечает:

— Нет, и здесь есть, да только они не видны.

— Кто такой?

— А вот — Клеопа!

Светлейший говорит:

— Представьте мне!

Преосвященный сказал ему, где искать: у купца Матвеева квартирует. У Матвеева стол был открытый для всех странников. Светлейший и карету свою послал. Застали за обедом. Спрашивают:

— Который тут из вас Клеопа?

— Я. На что?

— Да светлейший прислал за вами.

Удивляется, почему узнал светлейший.

— Хорошо, — говорит, — я приеду — у меня есть тут своя повозочка.

— Нет, без вас не велено приезжать.

Принужден был ехать в карете.

Увидел преосвященного.

— Это вы меня, ваше преосвященство, затащили сюда, старика?

Начали говорить. Понравился Потемкину. Светлейший хотел его представить Государыне; а он поскорее убрался в свою Введенскую пустынь[2]. На дороге, когда он ехал

---

[1] Крутицкий, бывш. Переяславский епископ.

[2] Введенская Островская пустынь в 3 верстах от г. Покрова Владимирской епархии, в 90 верстах от Москвы. В ней 9 марта 1778 г. скончался о. Клеопа, 64 лет от роду.

туда, за что-то напал на него солдат и жестоко избил. Офицер, знакомый Клеопе, увидел это и хотел наказать солдата, но о. Клеопа упросил его:

— Не троньте: Бог приказал! Клеопа, не тщеславься! Ездил в карете! Был во дворце!

Этот же Клеопа одно время в лесу жил. Было с ним двое учеников: один — Лука, а другой — Матфей. Недостало хлеба. Стали проситься ученики:

— Батюшка, отпусти нас в деревню попросить хлеба!

— Подождите!

День прошел, другой; третий настал. Просят опять, чтобы отпустить их: животы подвело.

— Подождите! Завтра отпущу вас.

На третий день, ввечеру, приезжает на паре человек и спрашивает: «Где это Клеопа?»

Всего навез: и пшеничной муки, и ржаной, и масла коровьего, и постного, и крупы... Смотрят, — каким образом проехал? Дорог-то нет: лес превеличайший, частый. По зарубам ходили.

А вот вам еще характерные черточки из его же жизни. Был о. Клеопа настоятелем, — где? — точно не припомню, — и был у него один иеромонах, нравом простейший. Поехал этот иеромонах в Москву за покупками, лошадей-то у него и увели. Укатили на них воры из Москвы, да дорогою и остановились, не знаючи, в Клеопином монастыре, дать отдохнуть лошадям.

Увидели, узнали лошадей и спрашивают:

— Где вы их взяли? Ведь это монастырские лошади!

Привели их к о. Клеопе.

— Где вы их взяли? — спрашивает о. Клеопа.

— Виноваты: увели!

— Ведь вас надобно теперь под суд отдать... Да что вы, нуждные, что ли?

— Недостаточные!

— Ну так возьмите одну себе.

А то вот еще два случая.

Воронцов, генерал-губернатор, присылал спрашивать о. Клеопу: чего ему надобно? земли, рыбных ловлей?

— Кланяйтесь господину генерал-губернатору. Благодарю за усердие. Скажите, что для меня нужно земли три аршина — более не надобно: так у нас столько-то есть; а рыбу мы у мужиков покупаем.

Хотел один купец строить им каменную ограду, 30 тысяч денег давал.

— Кланяйтесь. Благодарю за усердие. Ежели ему угодно, пускай строит.

Тому показалось это обидно: в Саровскую пустынь и отдал. О. Клеопа тогда в Санаксаре был.

Однажды у него в обители случилось вот что: один послушник сказал, что он видел очевидное чудесное видение. О. Клеопа велел искусить его — поругать со стороны. Тот смутился и не понес оскорбления. Пришел к о. Клеопе и говорит: «Я не могу жить: меня оскорбляют!»

— Как же ты говоришь, что удостоился видения, а не можешь терпеть? Ты, брате, стало быть, в прелести. В голову камень класть, поститься, на голой земле спать — это пустое. «Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем,» — сказал Господь, а чудеса и явления — это необязательно.

Вот чему поучился я сегодня у «премудрого». Просто, всякому пониманию доступно и умилительно!

Вот она, монастырская наука-то, на которой воспитывалось все царство Русское, от времен Антония и Феодосия Киево-Печерских! вот оно, «единое на потребу»!..

И как очевидна на этом примере разница между слугами сатаны и сынами Света истинного!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Как нарочно, точно в дополнение к записанному, приходил сегодня к нам иеромонах о. Ф. (тот, что рассказывал мне о видении одною женщиною беса в образе Льва

Толстого) и принес тетрадку записей из жития Оптинского великого архимандрита Моисея...

— Просмотрите: годятся ли для печати?

Не знаю, поплачет ли кто над теми чертами из этого жития, а я, признаться, умилился над ними до слез. Записано со слов схимонаха Антония (ныне уже покойного).

«Прислали к нам одного мирского священника. Человек он был весьма слабый, да и непокойный. В какой-то праздник Старец (архимандрит Моисей) служил Литургию. А у нас во время проскомидии братия входят в алтарь, разбирают с жертвенника поминанья и тут же в алтаре и на левом клиросе прочитывают их. И подначальный священник вошел вместе с другими в алтарь и тоже взял с жертвенника поминанье; но вместе с книжкой взял с жертвенника двугривенный — известно на что — и спрятал его в карман. Мало ли бывает каких несчастных! Иеродиакон заметил это. Кончается Литургия. Идет он к архимандриту и рассказывает, что вот что сделал священник.

— Да долго ли ж, — говорит, — батюшка, мы будем терпеть это? Сколько раз мы замечали это за ним! Сколько раз я вам докладывал про него! Не важны деньги, а важен соблазн. Готовишься приступить к Таинству, а тут вдруг видишь такой соблазн!..

— Да уж! — говорит... А у покойного это была поговорка такая: начнет говорить, а сам все рука об руку потирает и, что бы ни стал говорить, всегда начнет: «да уж»...

— Вот и хорошо, — говорит, — что ты начал. Я давно хотел поговорить об этом... Затвори-ка двери-то!

И начал:

— Я уж говорил с этим несчастным о его немощи, говорил и отечески, но он не вразумляется; говорил и со властию, как начальник, и это не действует на него: так уж тут, брат, надо усматривать нечто другое. Ты что в этом усматриваешь?.. Не знаю, как ты, а я здесь вижу вот что: обитель наша в славе; начальство благоволит к нам;

на нужды наши Господь посылает нам и не только на нужды, но посылает еще и на то, чтобы и нашему ближнему оказать помощь. Терпеть, стало быть, как ты изволишь видеть, мы ничего и ни от кого не терпим. Но ведь помнишь: Господь заповедал нести Его иго. Иго, стало быть, человеку непременно нужно, иначе мы не будем последователями нашего Господа, иначе за что же Он будет венчать нас? Вот Он и посылает нам иго в подобных людях: мы и должны понести это иго ради Самого Господа, ради Его милостей к нам, — должны потерпеть немощи нашего брата. Сам Господь терпит его. Как же мы-то его не потерпим? Он ведь нам не чужой: он — наш брат. Помни ты это! А на немощи его взирать нечего, потому — Господь силен: Он завтра же может восставить его и сотворить из него пророка. Помнишь апостола Павла-то? Из гонителей да сотворил первоверховным Своим апостолом. Так ты, брат, падшего не презирай. Это он в твоих глазах падший, а по Господнему избранию он, может быть, первое зерно в Его житнице. А мы допустим погибнуть душе его?..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

А то прислали к нам одного архимандрита в число братии, и служение ему было запрещено. Архимандрит этот является к нашему. Обласкал его наш, успокоил, принял по-братски. Потом говорит:

— Вы, конечно, уже знаете содержание указа, по которому присланы сюда?

— Как же, — говорит, — знаю.

Потом этот архимандрит говорит, что для него тяжело было бы оглашение запрещения ему священнодействия.

— Хорошо, — говорит наш, — так сделаем это: придет смена седмицы, я пришлю к вам сказать, чтобы следующую седмицу служили вы, а вы откажитесь под предлогом болезни.

Приходит время начинать новую седмицу. Является пономарь за благословением и спрашивает: кому благословит он служить?

— Да чья седмица-то следует? — спрашивает наш-то.

— Да вот, такого-то!

— Так!.. Но вот прислали к нам архимандрита. Он ведь на жительство к нам прислан: пусть же и в трудах наших поучаствует с нами. Сходи-ка к нему и попроси отслужить!

Пономарь отправляется и передает просьбу настоятеля. Тот отвечает: «С удовольствием бы, никак бы не посмел отказаться. Но доложите отцу архимандриту, что я страдаю грудною болезнью, лечусь и никак не могу служить.»

Таким образом, и самолюбие было пощажено, и тайна сохранена. Уже после кончины нашего о. Моисея, при разборе письмоводителем его секретных бумаг, открылась эта тайна.

Когда подначальный был уже освобожден из нашего монастыря и услышал о смерти покойного, он нарочно приезжал к нам в Оптину служить панихиду и плакал, как по родному.

Был у нас здесь иеромонах М., из ученых, учителем был в духовном училище. Хороший, умный, духовного разума был человек, но попустил врагу одолеть себя известной несчастной слабостью. А слабость эта бывает неразлучна и с другими падениями. Такое-то вот бедствие постигло и о. М... Придя в себя, он пошел к духовнику, а тот ему:

— Вон из монастыря!

Отец М. впал в отчаяние и еще больше предался своей слабости.

Приходит он к о. Моисею, растворил дверь и говорит:

— Настоятель! Входят ли к тебе грешники?

Покойный вышел к нему; видит, что он явился к нему в таком потерянном виде, и говорит:

— Да, входят, если грешник верует и раскаивается. А ты веруешь ли, раскаиваешься ли?

— Верую и раскаиваюсь! — ответил о. М.

— А если веруешь, становись со мною и молись!

Сам прослезился, стал перед иконами на колени, поставил о. М. возле себя, и начали они молиться. И такую сильную молитву он произнес, что о. М. так и упал, залившись слезами.

— Ну, теперь иди с миром, — говорит настоятель.

— А как же служить? — спрашивает о. М.

— Иди, говорю, с миром и служить служи!

— А как же? Грех-то?

— Принимаю твой грех на себя. Иди и служи!

И девственник, — а о. Моисей был девственником — поднял на рамена своей совести тяжкий грех падшего брата, чтобы спасти его душу.

С той поры о. М. совершенно исправился.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

С этим же о. М. до этого дня, положившего начало его исправлению, был такой случай: ушел он в город; денег не хватило на слабость: он занял и в ручательство уплаты заложил свой параман[1]. А заложить параман все равно, что заложить крест с шеи. Нищие узнали об этом и сказали архимандриту Моисею. Он дал им денег и велел выручить параман и принести ему. Параман принесли, но отцу М. про него о. Моисей ни слова. И долго он держал этот параман у себя и молчал.

Присылают потом покойному для раздачи достойным иеромонахам бронзовые кресты в память Крымской кампании. Всем, кому следовало, о. Моисей раздал, а о. М. обошел.

О. М. подходит к нашему батюшке и начинает роптать, за что обошел он его крестом.

[1] Или параманд, что значит «прибавление к мантии». Четырехугольный плат с изображением Креста Христова с тростию, копием и надписью: «Аз язвы Господа моего на теле ношу».

— Да уж, подожди! — говорит, — я сейчас тебя пожалую крестом.

И вынес ему его параман.

— Твой?

— Мой!

И больше у них разговора и не было. О. М. получил свой параман и отошел с миром.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Архимандрит Моисей не любил, чтобы братия жаловались друг на друга, и умел отучать от жалоб, желая водворить мир между братией.

Был в Оптиной монах, хороший, тихий, но подверженный той же слабости, что и о. М. Дали этому брату мальчика из певчих. По времени приходит этот монах к отцу архимандриту и жалуется, что мальчик испортился, шалит; в его отсутствие перебирает его вещи, зажигает огонь, что-то разбил; в церковь не всегда ходит, грубит, не слушается.

Отец Моисей ходит по залу и слушает.

— Что ж он еще делает? — спрашивает.

Тот еще что-то припомнил.

— Ну, а еще что?

Монах припомнил еще какую-то детскую шалость.

— Ну, а к тебе поступил, хорош был, ты говоришь?

— Ничего, сначала хороший был мальчик! — ответил монах.

— Да, вот дело-то какое! — как бы в недоумении, говорит о. Моисей сам с собою; а сам ходит по комнате и не глядит на монаха.

— Жаль мальчика! — продолжает он, — детская душа — ангельская... Великое дело — душа детская! «Если не обратитеся и не будете как дети, не внидете в царство небесное». «Кто примет хоть одно дитя во имя Мое, тот Меня принимает». «А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили его в глубине

морской...» Господи, слова-то какие! И слова-то чьи? Самого Бога!.. Так ты говоришь: к тебе поступил, хорош был; а у тебя пожил, и нехорош стал? Отчего ж он у тебя именно и нехорош стал? С кого же он взял дурные примеры?..»

Монаха даже в жар бросило.

— Да, вот что, брат, — продолжал настоятель, — что-то я замечаю, что и у заутрени тогда-то я тебя как будто не видал, и в трапезу-то ты не всегда тоже ходишь...

И начал высчитывать его неисправности. Тот и не рад был, что пошел жаловаться на мальчика. Он ясно увидел, что он-то сам, своей неисправностью, и был виновником порчи мальчика.

— Ну, а насчет мальчика ты уж не беспокойся, — заключил о. Моисей, — если он тебе так неудобен, я переведу его к такому брату, который может понести шалости мальчика и озаботится его исправлением. И хорошо, что ты сказал: нельзя ж его так оставлять: ребенок — что молодое деревцо, как смолоду его направить, так и пойдет расти.

И передал мальчика к другому, более к себе строгому брату.

13 марта

Ходил гулять. Встретил о. Феодосия.

Ну, что, — спрашивает, — читали, что я дал вам про о. Моисея?

— Не только читал, но и умилялся.

— А вот некоторые у нас думают, что этих рассказов печатать не следует: не следует-де обнажать грехов брата своего.

— А по-моему, — говорю, — батюшка, тут не в грехах суть, а в христианском отношении к грехопадению братскому. Все мы греху повинники, не исключая и духовенства, но мало кто из нас умеет не посмеяться греху

брата своего, а покрыть его наготу своей одеждой. Вот этой-то христианской премудрости с великой показательной силой и учат примеры из жизни нашего великого настоятеля Моисея.

— Вы так думаете?

— Не только думаю, но и себе в назидание эти примеры выписал с особым умилением.

Кажется, и о. Феодосий согласен с моим мнением.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

На этих днях в Москве наблюдалось днем редкое небесное явление: три солнца одинаковой яркости сияли на небе. Посредине было настоящее солнце, а по сторонам — два ложных. Из настоящего выходил огненный столб. Ночью были видимы три луны. Газеты, сообщающие об этом явлении, называют его хотя и редким, но все же объяснимым, «известным» физическим явлением «ложных солнц и лун». Это и мне, еще с гимназии, известно. Но хотя явление это и известно, и физически как будто объяснимо, но сколько в нем остается необъяснимым, неразгаданным... Почему явление это наблюдалось только в Москве и нигде более?

Не знамение ли это Божие перед чем-нибудь угрожающим отступающему от Бога человечеству?..

И будут знамения в солнце и луне и звездах... (Лк. 21, 25).

И на горизонте политического неба народов міра не без великих знамений: чего один «обновляющийся» Китай стоит?!

16 марта

Старец Иосиф. — Видение в Шамординой. — Революционер и св. Архистратиг Михаил. — «Хорошо живут в Шамординой!..»

Сегодня был в Скиту у наших богомудрых старцев. На мужской половине у старца Иосифа народу было

немного. Слабеет телом наш батюшка; телом слабеет, но не духом: духом точно вчера рожден великий смиренномудрием старец...

— Что-то давно у нас не бывали? — с легкой укоризной в голосе спросил меня приветливый келейник батюшки.

— А как давно? — переспросил я, — и недели нет, как я был на благословении у батюшки. Старец слабеет, а я его буду беспокоить без особой надобности, отнимать его время от истинно нуждающихся и обремененных? Это было бы мне в грех, о. Зосима, я ведь свой, постоянно на ваших глазах мотаюсь, а к батюшке со своими скорбями люди ездят Бог весть из какой дали: можно ли от них понапрасну отвлекать старца?

— Так-то, так, — возразил мне о. Зосима, — а все-таки и ради одного благословения великое дело почаще ходить к старцам: сами знаете, что значит старческое благословение.

Вскоре меня позвали к Старцу.

— Ну, что скажешь хорошего? — спросил меня о. Иосиф, преподавая мне благословение.

— Я, родимый, за хорошим-то к вам пришел, а своего доброго у меня нет ничего — чист молодец! — ответил я батюшке.

— Ну, вот тебе и хорошее: померла в Шамордине[1] недавно клиросная послушница. К сороковому по ней дню товарка ее по послушанию видит ее во сне. Приходит будто бы покойница к ней, а та и говорит ей:

— Да ведь ты умерла! Как же ты здесь?

— Разве у Бога мертвые есть? — отвечает ей покойница, — я пришла попросить прощения у такой-то, — и имя ее сказывает. — Я ей должна осталась десять копе-

[1] Казанско-Амвросиева женская пустынь, основанная старцем Амвросием Оптинским при д. Шамординой, Перемышльского уезда, Калужской губернии.

ек. На то, чтобы исправить это, я и отпущена, да и то на короткое время.

— А что хорошо там, где ты теперь? — спросила ее товарка.

— Уж так-то, — ответила она, — хорошо, что и высказать невозможно!

— Ну, расскажи, пожалуйста!

— Нельзя — не велено!

Сон на этом кончился... Дело это было ночью. А днем к другой послушнице пришла из деревни Шамординой та самая женщина, чье имя во сне назвала покойница, и спрашивает:

— Умерла у вас, никак, такая-то?

— Да, — говорит, — померла! А что?

— Вишь, — говорит, — грех-то какой вышел: она мне десять копеек должна осталась. С кого ж мне их искать теперь?

На разговор этот подошла та сестра, что сон видела. Дело-то тут и выяснилось. Сложились сестры и заплатили за покойницу...

Вот тебе и хорошее! — промолвил, улыбаясь, Старец.

— Батюшка! — сказал я, умиленный этой простой и чудной повестью, — вот-то хорошее, а у нас-то все плохое.

— Ну, сказывай про плохое!

— В Москве, — да и не в одной Москве — знамения стали являться на небе. Не к добру это, особенно как станешь вникать в глубину современной мирской жизни: ведь в этой глубине не чудятся ли уж те «глубины сатанинские», о которых прикровенно говорит Священное Писание?

— Плохо стали жить люди православные, — ответил Старец, — плохо, что и говорить! Но, знай, пока стоит престол Царя Самодержавного в России, пока жив Государь, до тех пор, значит, милость Господня не отъята от

России и знамения эти, что ты или люди видят, еще угроза только, но не суд и конечный приговор.

— Батюшка! и Царю, и Самодержавию со всех сторон угрожают беды великие.

— Э, милый! И сердце царево, и престол его, и сама его драгоценная жизнь — всё в руках Божиих. И может ли на эту русскую святыню посягнуть какая бы то ни было человеческая дрянь, как бы она ни называлась, если только грехи наши не переполнят выше краев фиала гнева Божия? А что он пока еще не переполнен, я тебе по этому случаю вот что скажу: позапрошлым летом был у меня один молодой человек и каялся в том, что ему у революционеров жребий выпал убить нашего Государя. «Все, — говорит, — у нас было для этого приготовлено, и мне доступ был открыт к самому Государю. Ночь одна оставалась до покушения. Всю ночь я не спал и волновался, а под утро едва забылся... И вижу: стоит Государь. Я бросаюсь к нему, чтобы поразить его... И вдруг передо мною, как молния с неба, предстал с огненным мечом сам Архангел Михаил. Я пал ниц перед ним в смертном страхе. Очнулся от ужаса, и с первым отходящим поездом бежал вон из Петербурга, и теперь скрываюсь от мести своих соумышленников. Меня они, — говорит, — найдут, но лучше тысяча самых жестоких смертей, чем видение грозного Архистратига и вечное проклятие за Помазанника Божия...»

Вот, друг, тебе мой сказ: пока Господь Своим Архистратигом и Небесным Воинством Своим хранит Своего помазанника, до тех пор — жив Господь! — нечего ни за мір, ни за Россию опасаться. Это ты твердо запомни... Да шамординский мой сказ не забывай: он залог того, что еще есть по монастырям русским да и в міру кое-кто, ради кого еще щадит Господь наши Содом и Гоморру.

О премудрость и благость Божия!

О красота и глубина моей Божьей реки!...

А в Шамординой, видно, еще есть подвижницы духа, сердцем чистые, которым открываются тайны Божии. Припоминается мне из сокровенной шамординской жизни еще нечто, о чем я в октябре 1904 года слышал в скитской келье отца Анатолия от Оптинского иеромонаха Дорофея[1], ныне покойного.

— А знаешь, о. Анатолий, — говорил при мне о. Дорофей, — Шамординские монашки-то, похоже, еще хорошо живут. Был я у них на чреде[2] в мае месяце. Позвали меня к больной для напутствования. Вижу: помирает молоденькая девочка — подросточек, лет пятнадцати. Была она в полном сознании. Поисповедовал я ее, причастил да и говорю ей в утешение:

— Нечего тебе, дочка, бояться! Как ласточка, пролетишь ты сквозь мытарства без всякой задержки.

А она мне в ответ:

— А чего ж мне бояться? Я ведь не одна туда пойду: нас туда вместе трое отправятся!

Я, признаться, подумал: бредит девочка! И что ж ты думаешь: по ее как раз и вышло! Умерла с ней матушка Евфросиния и схимница[3], так трое и вознеслись ко Господу.

Вот что зрят еще и теперь сердцем чистые.

20 марта

Умер великий Пан. — Л. Н. Толстой и статья Киреева. — Монахиня М. Н. Толстая — о брате своем Сергее и об отношениях к нему брата, Льва. — Видение ее о Льве Николаевиче. — Старец о. Варсонофий, и рассказ Жиздринского священника.

«Умер великий Пан!..»

Было это во дни престарелого кесаря железного Рима, Тиверия. На Голгофе свершилась великая тайна нашего

---

[1] Он был одним из духовников сестер Шамординской обители.

[2] В то время в Шамординой своего притча не было, и Оптинские иеромонахи по назначению от своего настоятеля ездили туда отправлять чреду Богослужения.

[3] Имя схимницы я запамятовал.

спасения. Воскрес Христос Бог наш. И раскатистым эхом по горам и долам, по лесам и дубравам античного міра, рыданьем и стоном бесовским прокатился жалобный вопль: «Умер Пан великий!»

Ко дням Тиверия этот козлоногий, рогатый божок древней Эллады и Рима, покровитель стад и пастбищ, под влиянием наводнивших древний Рим идей Востока возрос до величия высшего языческого божества, творца и владыки вселенной.

Христос воскрес. Пан умер.

И приходит мне на мысль: не его ли, этого умершего вместе с романо-греческим язычеством Пана, пытается вновь воскресить — конечно, в призраках и мечтаниях — современное отступничество? «Великий Пан», безраздельно обладавший всем языческим міром и даже самим богоизбранным народом, ветхозаветным Израилем, во дни его падений, был не кто иной, как падший херувим, Денница, диавол, князь міра и века сего. Крест Господень сокрушил его силу навеки, но только над приявшими и соблюдшими веру Креста Господня, а не над теми, кто ее не принял или кто от нее сознательно отрекся.

И вижу я: мятутся народы и князи людские и собираются вкупе на Господа и Христа Его; собираются в невиданные и еще доселе неслыханные союзы и политические комбинации. И на знаменах и хоругвях союзов этих имя бога их: «Пан»!

Вот он в союзах по расам и национальностям: **пан**славизм, **пан**германизм, **пан**романизм, **пан**монголизм.

По вере: **пан**исламизм и **пан**теизм.

Но только не **пан**христианизм: от христианства, как дым пред лицом огня, он бежит и исчезает безвозвратно.

Мне скажут: слово «пан» есть греческое слово и значит «все». Я знаю это с третьего класса гимназии, но знаю также, что слово это означает и Пана, который «умер» и которого хотят воскресить враги Христовы, враги Пресвятой Троицы.

Тщетные усилия, хотя им и суждено осуществиться, но только на малое время и только на грешной земле, да и то «в призраках и мечтаниях» силы антихристова царства, накануне «смерти второй»[1], вечной!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Ходили вчера вместе с женой в Скит к нашему духовнику и старцу, Скитоначальнику игумену о. Варсонофию[2].

Перед тем как идти в Скит, я прочел в «Московских ведомостях» статью Киреева, в которой автор приходит к заключению, что, ввиду все более учащающихся случаев отпадения от Православия в иные веры и даже в язычество, обществу верных настоит необходимость поставить между собою и отступниками резкую грань и выйти из всякого общения с ними. В конце этой статьи Киреев сообщает о слухе, будто бы один из наиболее видных наших отступников имеет намерение обратиться вновь к Церкви...

Не Толстой ли?

Я сообщил об этом о. Варсонофию.

— Вы думаете на Толстого? — спросил батюшка, — сомнительно! Горд очень. Но если это обращение состоится, я вам расскажу тогда нечто, что только один грешный Варсонофий знает. Мне ведь одно время довелось быть духовником сестры его, Марии Николаевны, что живет монахиней в Шамординой.

— Батюшка! Не то ли, что и я от нее слышал?

— А что вы слышали?

— Да про смерть брата Толстого, Сергея Николаевича, и про сон Марии Николаевны.

— А ну-ка расскажите! — сказал батюшка.

[1] Апок. 20, 14.

[2] В начале печатания своих записок я имя его обозначил буквою В.: он еще жив был тогда, возлюбленный наш Старец, а о живых подвижниках благочестия не леть нам, христианам, глаголати иначе, как прикровенно.

Вот что слышал я лично от Марии Николаевны Толстой осенью 1904 года[1].

«Когда нынешнею осенью, — говорила мне Мария Николаевна, — заболел к смерти брат наш Сергей, то о болезни его дали знать мне, в Шамордино, и брату Левочке, в Ясную Поляну. Когда я приехала к брату в имение, то там уже застала Льва Николаевича, не отходившего от одра больного. Больной, видимо, умирал, но сознание было совершенно ясно, и он еще мог говорить обо всем. Сергей всю жизнь находился под влиянием и, можно сказать, обаянием Льва Николаевича, но в атеизме и кощунстве, кажется, превосходил и брата. Перед смертию же его что-то таинственное совершилось в его душе и бедную душу эту неудержимо повлекло к Церкви. И вот, у постели больного, мне пришлось присутствовать при таком разговоре между братьями.

— Брат, — обращается неожиданно Сергей к Льву Николаевичу, — как думаешь ты: не причаститься ли мне?

Я со страхом взглянула на Левушку. К великому моему изумлению и радости, Лев Николаевич, не задумываясь ни минуты, ответил:

— Это ты хорошо сделаешь, и чем скорее, тем лучше!

И вслед за этим сам Лев Николаевич распорядился послать за приходским священником.

Необыкновенно трогательно и чистосердечно было покаяние брата Сергея, и он, причастившись, тут же вслед и скончался, точно одного только этого и ждала душа его, чтобы выйти из изможденного болезнью тела.

И после того мне вновь пришлось быть свидетельницей такой сцены: в день кончины брата Сергея, вижу, из комнаты его вдовы, взволнованный и гневный, выбегает Лев Николаевич и кричит мне:

— Нет! Ты себе представь только, до чего она ничего не понимает! Я, говорит, рада, что он причастился: по

[1] Точно года не упомню, но не позже 1905 года и не ранее 1904-го.

крайности, от попов теперь придирок никаких не будет! В исповеди и причастии она только одну эту сторону и нашла!

И долго еще после этого не мог успокоиться Лев Николаевич и, как только проводил тело брата до церкви (в церковь он, как отлученный, не вошел), тотчас же и уехал к себе в Ясную Поляну.

Когда я вернулась с похорон брата Сергея к себе в монастырь, то вскоре мне было не то сон, не то видение, которое меня поразило до глубины душевной. Совершив обычное свое келейное правило, я не то задремала, не то впала в какое-то особое состояние между сном и бодрствованием, которое у нас, монахов, зовется тонким сном. Забылась я и вижу... Ночь. Рабочий кабинет Льва Николаевича. На письменном столе лампа под темным абажуром. За письменным столом, облокотившись, сидит Лев Николаевич, и на лице его отпечаток такого тяжкого раздумья, такого отчаяния, какого я еще у него никогда не видала... В кабинете густой, непроницаемый мрак; освещено только то место на столе и лице Льва Николаевича, на которое падает свет лампы. Мрак в комнате так густ, так непроницаем, что кажется даже как будто чем-то наполненным, насыщенным чем-то, материализованным... И вдруг, вижу я, раскрывается потолок кабинета и откуда-то с высоты начинает литься такой ослепительно-чудный свет, какому нет на земле и не будет никакого подобия; и в свете этом является Господь Иисус Христос, в том Его образе, в котором Он написан в Риме, на картине видения святого муч. архид. Лаврентия: пречистые руки Спасителя распростерты в воздухе над Львом Николаевичем, как бы отнимая у незримых палачей орудия пытки. Это так и на той картине написано. И льется, и льется на Льва Николаевича свет неизобразимый, но он как будто его и не видит... И хочется мне крикнуть брату: Левушка, взгляни, да взгляни же наверх!.. И вдруг сзади Льва Николаевича — с ужасом вижу — из самой

гущины мрака начинает вырисовываться и выделяться иная фигура, страшная, жестокая, трепет наводящая; и фигура эта, простирая сзади обе свои руки на глаза Льва Николаевича, закрывает от них свет этот дивный. И вижу я, что Левушка мой делает отчаянные усилия, чтобы отстранить от себя эти жестокие, безжалостные руки...

...На этом я очнулась и, когда очнулась, услыхала как бы внутри меня говорящий голос: «Свет Христов просвещает всех!»

Таков рассказ, который я лично слышал из уст графини Марии Николаевны Толстой, в схимонахинях Марии[1].

— Не это ли вы мне хотели рассказать, батюшка? — спросил я о. Варсонофия. Батюшка сидел задумавшись и ничего мне не ответил... Вдруг он поднял голову и говорит:

— Толстой — Толстым! Что будет с ним, один Господь ведает. Покойный великий старец Амвросий говорил той же Марье Николаевне в ответ на скорбь ее о брате: «У Бога милости много. Он, может быть, и твоего брата простит. Но для этого ему нужно покаяться и покаяние свое принести перед целым светом. Как грешил на целый свет, так и каяться перед ним должен». Но когда говорят о милости Божией люди, то о правосудии Его забывают, а между тем Бог не только милостив, но и правосуден. Подумайте только: Сына Своего Единородного, возлюбленного Сына Своего, на крестную смерть от руки твари, во исполнение правосудия, отдал! Ведь тайне этой преславной и предивной не только земнородные дивятся, но и все воинство Небесное постичь глубины этого правосудия и соединенной с ним любви и милости не может. Но страшно впасть в руце Бога Живаго! Вот сейчас перед вами был у меня один священник из Жиздринского уезда и сказывал, что у него на этих днях в

[1] Видение это было явно благодатным и, как теперь стало ясным, исполнилось над несчастным Толстым во всех подробностях.

приходе произошло. Был собран у него сельский сход; на нем священник вместе с прихожанами своими обсуждал вопрос о постройке церкви-школы. Вопрос этот обсуждался мирно, и уже было пришли к соглашению, по скольку обложить прихожан с души на это дело. Как вдруг один из членов схода, зараженный революционными идеями, стал кощунственно и дерзко поносить Церковь, духовенство и даже произнес хулу на Самого Бога. Один из стариков, бывших на сходе, остановил богохульника словами:

— Что ты сказал-то! Иди скорее к батюшке, кайся, чтобы не покарал тебя Господь за твой нечестивый язык: Бог поруган не бывает.

— Много мне твой Бог сделает, — ответил безумец, — если бы Он был, то Он бы мне за такие слова язык вырвал. А я — смотри — цел, и язык мой цел. Эх вы, дурачье, дурачье! Оттого что глупы вы, оттого-то попы и всякий, кому не лень, и ездят на вашей шее.

— Говорю тебе, — возразил ему старик, — ступай к батюшке каяться, пока не поздно, а то плохо тебе будет!

Плюнул на эти речи кощунник, выругался скверным словом и ушел со сходки домой. Путь ему лежал через полотно железной дороги. Задумался он что ли, или отвлечено было чем-нибудь его внимание, только не успел он перешагнуть первого рельса, как на него налетел поезд и прошел через него всеми вагонами. Труп кощунника нашли с отрезанной головой, и из обезображенной головы этой торчал, свесившись на сторону, огромный, непомерно длинный язык.

Так покарал Господь кощунника... И сколько таких случаев, — добавил к своему рассказу батюшка, — проходит как бы незамеченных для так называемой большой публики, той, что только одни газеты читает; но их слышит и им внимает простое народное сердце и сердце тех, — увы, немногих! — кто рожден от одного с ним духа. Это истинные знамения и чудеса Православной живой

веры; их знает народ, и ими во все времена поддерживалась и укреплялась народная вера. То, что отступники зовут христианскими легендами, на самом деле суть факты ежедневной жизни. Умей, душа, примечать только эти факты и пользоваться ими, как маяками бурного житейского моря по пути в Царство Небесное. Примечайте их и вы, С. А., — сказал мне наш Старец, провожая меня из кельи и напутствуя своим благословением.

О река моя Божья! О источники воды живой, гремучим ключом бьющие из-под камня Оптинской старческой веры!..

22 марта

О. игумен Марк. — Его кончина. — Знамение при его погребении. — Деревенские скептики..

В Оптиной опять смерть: 18 марта, вечером, в конце десятого часа, окончил подвиг своего земного жития один из коренных столпов Оптинского благочестия, игумен Марк, старейший из всех подвижников Оптинских. Игумен Марк, в міру Михаил Чебыкин, окончил некогда курс Костромской духовной семинарии и в 1858 году был пострижен в мантию от руки великого восстановителя Оптиной Пустыни, архимандрита Моисея[1].

51 год иноческого злострадания: вот это так юбилей! И венец юбилею этому — Царство Небесное.

— Гранитный он был человек! — так выразился про него его духовник, иеросхимонах о. Сергий[2].

И действительно, это был характер, как бы высеченный из цельной гранитной скалы, твердый, крепкий, стойкий, но вполне пригодный к самой тонкой обработке и шлифовке под рукой опытного гранильщика.

---

[1] Одновременно с игуменом Марком был пострижен в мантию архимандритом Моисеем Лев Александрович Кавелин, впоследствии известный наместник Троице-Сергиевой Лавры, архимандрит Леонид.

[2] Эти двое теперь уже скончались.

Этим гранильщиком был для почившего игумена великий Оптинский старец Амвросий. И выгранил же он из него столп и утверждение монашеской истины!..

Теперь в Оптиной только четверо осталось ровесников почившему по жизни в Оптиной: старец о. Иосиф, иеромонах о. Иоанникий и два монаха — о. Антоний и о. Феофан[1]; но они все-таки не были моисеевскими постриженниками. Игумен Марк был в Оптиной последним от Евангелия духовным сыном отца Моисея. Старое великое отходит. Нарождается ли новое?..

Игумен Марк в Оптину Пустынь поступил в 1853 году, по благословению, как он сам мне сказывал, великих подвижников того времени — Тимона из Надеевской пустыни и Нила — из Сорской. Воспитывала его с детских лет родная его бабушка, духовная дочь преподобного Серафима Саровского.

Какие имена! Какие люди!

Игумену Марку как студенту семинарии предстояла широкая дорога в смысле движения вверх по иерархической лестнице, но Богу угодно было провести его

---

[1] О. Сергий (Александров) сконч. 82 лет 19 января 1917 года. О. Иосиф сконч. 9 мая 1911 года. О. Антоний сконч. 85 лет 19 апр. 1917 года. О. Феофан сконч. 82 лет 16 февраля 1915 года.

К статье об игумене Марке.

Весною 1868 года игумен Марк был тяжко болен воспалением легких. В ночь на 26 мая, когда болезнь достигла высшего напряжения, он увидел в тонком сне, что в келью его входит св. Вмч. Георгий и Свят. Николай. Они подняли его и как бы на струе воздушной перенесли к Козельску и поставили в долине на холме близ города. Вдали особенно виднелись Никольская, Георгиевская и Вознесенская колокольня этой последней. Святые обратили внимание большое на эту колокольню, около которой он увидел стоящую на воздухе небольшую икону Божией Матери.

— Видишь ли ты эту св. икону? — спросил св. Георгий и прибавил: — Это Ахтырская икона Божией Матери. Хочешь быть здоров, отслужи перед нею молебен Богоматери.

В это мгновение икона эта стала выделяться как бы на половину здания все яснее; испуская лучи утренней зари, она осветила всю

великую душу тесным и многоскорбным путем тяжелых испытаний, смиряя его трудный характер. Много лет он, до самой смерти, прожил в Оптиной Пустыни игуменом «на покое», не ведая, однако, ни покоя, ни отдыха на чреде своего добровольного послушания в качестве уставщика левого клироса и обетного подвига своего монашества.

Вот он стоит предо мною, как живой, почивший игумен! Вижу его характерную монашескую фигуру в высоком, выше чем у прочих монахов, клобуке... Такие клобуки носили прежние Оптинские монахи; такой же клобук покрывал головы великих старцев Оптинских и самого архимандрита Моисея, которого безмерною любовью любил почивший игумен... Вижу: сходит он на сход со своего клироса, впереди всех своих певчих, обеими руками раздвигая полы своей мантии и слегка потряхивая и качая головой, на которой, несмотря на с лишком 70-летний возраст, не серебрилось ни одного седого волоса; сходит он степенно и важно отдает поклон сходящему со своим хором, одновременно с ним, уставщику правого клироса; и слышу, как первый, всегда первый, запевает он своим старческим, несколько надтреснутым,

---

северную часть города. Пригнувшись в священном трепете, о. Марк почувствовал облегчение. Был отслужен молебен перед Ахтырской иконой Божией Матери, что в Оптинском Казанском храме. Больной стал быстро поправляться, стал даже бывать на свежем воздухе. Но вдруг болезнь с новой силой возобновилась. Были сочтены часы жизни больного. Тут он вспомнил, что не позаботился отыскать указанную ему икону. Сейчас же принялись за розыски. Двое мещан отправились отыскивать ее по храмам Козельска. Во всех трех, виденных во сне, и на колокольне искали вместе со священником и сторожем и не нашли. Когда уже сходили с колокольни, священник, точно движимый к тому незримой силой, сунул руку под балку, при самом входе с лестницы чердака на колокольню, и вынул оттуда икону — то и была Ахтырская икона Божией Матери. На другой день перед нею в церкви был отслужен молебен, а на следующий ее принесли к больному. Он признал в ней виденную во сне и вслед быстро поправился.

но верным и громким голосом дивные «подобны» стихир всенощного пустынного Оптинского бдения.

Не было при мне равного игумену Марку на этом послушании!.. и вряд ли когда-либо будет: другие люди, другие стали теперь и характеры; закал не тот стал теперь, что был прежде...

Хоть идет уже второй год, что я живу в Оптиной, но к игумену Марку я приблизился только в последние дни его земной жизни и был изумлен, подавлен величием и крепостью этой железной воли, не позволявшей даже в часы самых тяжелых предсмертных страданий вырваться из груди его ни малейшей жалобе, ни намеку даже на просьбу о помощи. В палящем огне страданий этот гранит расплавлялся в чистейшее золото Царства Небесного. Не бывши ранее близок к игумену, я в дни подготовления его к переходу в вечную жизнь невольно поддался внезапному наплыву на меня огромного к нему чувства: я полюбил крепость его, силу его несокрушимого духа; самого его полюбил я, чтил и робел перед ним, как робкий школьник перед строгим, но уважаемым наставником, и если не обмануло меня мое сердце, и сам дождался от него взаимности.

В первый раз я посетил игумена Марка в его келье в октябре или ноябре прошлого года. На это посещение я назвался ему сам и, к великой радости, не только не был отвергнут, но был удостоен даже и привета:

— Милости просим. Буду рад вас видеть у себя.

Два или три часа провел я в беседе с о. игуменом и — увы! — говорил больше сам, чем его слушал: должно быть, воля его, как бы меня испытывая, звала меня высказаться...

Прощаясь со мною, он пожелал ознакомиться с моими книгами, которых не читал, но о которых слышал. На другой день я их принес ему, но беседовать мне с ним не удалось. Книги мои он прочел, одобрил и сказал, что будет давать их читать «кому нужно». На Рождество я встретил

его на дороге из храма в келью, после поздней обедни. Мы шли с женою. Он благословил нас и на мой вопрос о здоровье ответил: «Плохо! Пора готовиться к исходу!»

После этого он слег и уже более не вставал с постели.

Недели две тому назад, перед бдением в Казанской церкви, мне один из старейших оптинцев, о. Нафанаил, сказал, что о. Марк уже совсем плох и что он собирается его посетить. Я попросил о. Нафанаила взять у больного для меня разрешение навестить его. О. Нафанаил, при следующем его со мною свидании в церкви, сообщил, что разрешение мне дано:

— Отец Марк сказал: «Ну что ж!»

И в первое воскресенье за тем, то есть неделю тому назад, я пошел к болящему Старцу. На одре болезни я застал уже не игумена Марка, а живые его мощи; только орлиный взгляд остался тот же и напомнил прежнего богатыря духа. Язык говорил тупо, звук голоса был едва слышен, но, наклонившись к умирающему, я еще хорошо мог разобрать, что шептали его старческие, пересохшие от внутренних страданий уста.

Он благословил меня и сказал:

— Я ждал вас!

И в этот раз я просидел у его изголовья около двух часов и узнал от него для меня важное: то, что он разделяет вполне мои мысли о характере и значении переживаемого времени как о времени последнем пред концом міра.

— Да, да! — сказал он громко и внятно, — и как мало людей, которые это понимают!

Между прочим, в беседе я сообщил ему, что работаю сейчас над всем собранным мною в Оптиной материалом, приводя его в систему как бы дневника о. Евфимия Трунова. О. Марк и это одобрил и сказал:

— Это будет очень интересно, и вы хорошо делаете, что дневник этот усвояете Евфимию: он был большой человек.

Потом улыбнулся доброй, ободряющей улыбкой и прибавил:

— Так вы, стало быть, собиратель редкостей!

Я спросил его:

— А вы, батюшка, записывали ли что из вашей жизни и наблюдений?

— Мысль была, — ответил он мне, — но я ее оставил. Кому нужны мои враки?

Надо ли говорить, как мне, ловцу жемчугов Оптинских, было огорчительно услышать это признание? Уходит с земли великая жизнь и не оставляет наследства — как же не горько?..

— Батюшка! — спросил я, — правду ли мне говорили, что вы как-то были тяжко больны, так что и врачи от вас отказались? Сказывали мне, что вы удостоились тогда видеть во сне Царицу Небесную, которая вам повелела послать в Козельск за Своей иконой, заброшенной в одном из церковных чуланов, и что вы этою иконой, о которой до вашего видения никто не знал, исцелились? Правда ли это?

Глаза о. игумена просияли, и он ответил радостно:

— Да, было!

И еще хотелось мне вопросить его об одном событии его жизни, но, боясь его утомить, я поднялся прощаться и спросил, не нужно ли ему чего изготовить из пищи полегче, чем обычная суровая трапеза Оптинской братии.

— Ну, что ж, — ответил он, — кулешику что ли пожиже на грибном бульоне, пожалуй, принесите!

Я принял благословение и вышел.

Теперь жалею, да поздно, что не спросил его о том событии, о котором только что упомянул выше, и приходится мне его записывать со слов хотя и достоверных свидетелей из числа Оптинской братии, но не из его подлинных преподобнических уст.

А было это событие такое.

Когда после кончины Архимандрита Моисея дошел черед вкусить от чаши смертной великому брату его, игумену Антонию, тогда епархиальная власть указала бренным останкам его быть погребенным в общем склепе с братом, под полом, у солеи правого придела Казанской церкви. Взломали пол, разломали склеп, и обнаружился гроб архимандрита Моисея, совершенно как новый, несмотря на сырость грунта подпочвы; только немножко приотстала, приподнялась гробовая крышка... Безмерною любовью любил почившего Архимандрита игумен Марк, и воспламенилось его сердце желанием убедиться в нетленности мощей его великого аввы, а также взять со смертной одежды их хоть что-нибудь себе на память. И вот пошли каменщики, что делали склеп, не то обедать, не то чай пить, а игумен Марк воспользовался этим временем, спустился в склеп, просунул с ножницами руку под крышку гроба, ощупал там совершенно нетленное, даже мягкое и как бы теплое тело, и только что стал было отрезать ножницами кусок от мантии почившего, как крышка гроба с силой захлопнулась и придавила руку игумену Марку. И взмолился тут игумен: «Прости, отче святый, дерзновение любви моей, отпусти руку».

И долго молил игумен Марк о прощении, пока вновь не приподнялась сама собой гробовая крышка и не освободила руку, дерзнувшую, хотя и любви ради, но без благословения Церкви, коснуться мощей праведника.

На память о событии этом у отца игумена остался на всю жизнь поврежденным указательный палец правой руки.

Так рассказывали мне в Оптиной, а было ли оно так в действительности, я от самого действующего лица услышать не удостоился.

Я верю, что так и было...

И вот четыре дня подряд носил я умирающему игумену пищу; но он хоть и заказывал мне ее, а сам почти

к ней не прикасался: глотание было затруднено настолько, что он едва мог глотать даже и воду.

Накануне его смерти на мой вопрос, что ему изготовить и принести на завтра, он ответил:

— Сами только извольте пожаловать!

Это завтра было 18 марта.

Когда я пришел к нему часа в три пополудни этого дня, игумен Марк уже был на пороге агонии: говорить уже ничего не мог; в груди около горла у него что-то зловеще клокотало... Но меня он узнал: это было видно по глазам его, по его чуть заметной улыбке... У постели его сидели три наши оптинки, тайные монахини. Я попросил благословения, но рука игумена уже не могла сотворить крестного знамения и лежала бессильная рядом с холодеющим телом. Я приподнял руку, преклонил колени у одра умирающего и положил эту дорогую руку на свою склоненную голову.

— Смотрите, смотрите! — услыхал я голос кого-то из монахинь, — улыбается! Видно, он любил его.

Это — меня любил. За что было ему меня любить? Да и успеть-то полюбить было некогда. Одно знаю и верю, и верить хочу, что для вечной моей пользы не без воли Божией был допущен четырехдневный уход мой до самой смерти за великим схиигуменом Марком.

Игумен Марк уже давно был в тайной схиме.

Прощаясь с ним в последний раз, я припал к руке игумена и, глядя ему в глаза, сказал:

— Батюшка! Если стяжешь дерзновение у Господа, помолись Ему о нас, грешных.

Он заметно улыбнулся, и в глазах его я прочел — так мне показалось — желанное обещание.

Я видел последний день на земле святого схимника.

Вчера, 21 марта, была Лазарева суббота, и в этот день после Литургии отпели и похоронили отца Марка.

Мне говорили, что отец игумен почему-то особенно чтил день Лазаревой субботы и всегда в этот день прича-

щался, — и что же? умер в среду 18 марта, а погребен четверодневным, как и Лазарь, в день его воскресения.

В случай или совпадение я не верю, а верую в премудрость, благость и безмерное милосердие Божие, воздающее коемуждо по делом и по вере его.

Шла с погребения почившего игумена гостящая у нас приезжая, из г. Валдая, старушка[1]. Идет и слышит, как рассуждают между собой идущие впереди нее два каких-то крестьянина:

— Вот, был человек и нет его! Как пар — и нет ничего!

Не вытерпела наша старушка и сказала:

— Как нет ничего? а душа-то?

— Э, бабушка! — ответили ей деревенские скептики, — какая там душа? Пар и больше ничего!

Народные просветители могут считать цель свою достигнутой: они вытравили из народа его душу, веру его в Бога истинного. В стариках она еще кое-как держится, ну а на молодежь, кажется, рукой надо махнуть: от нее только «пар» остался.

Придет конец Православию и Самодержавию в России, — говорили великие наши Оптинские старцы, — тогда конец придет и всему міру.

23 марта

О. Нектарий и его беседа о знамениях, предваряющих пришествие антихриста.

Заходил проведать давно не бывавший у нас друг наш, о. Нектарий.

— Что давно не видать было вас, батюшка? — встретили мы таким вопросом этого полузатворника, известного всем Оптинским монахам сосредоточенностью своей жизни.

— А я думаю, — ответил он с улыбкой, — что грешному Нектарию довольно было бы видеть вас и единожды в год, а я который уже раз в году у вас бываю!..

[1] Александра Васильевна Альбова, ныне покойная, праведница.

Монаху — три выхода: в храм, в келью и в могилу — вот закон для монаха.

— А если дело апостольской проповеди потребует? — возразил я.

— Ну, — ответил он мне, — для этого ученые академисты существуют, а я — необразованный человек низкого звания.

А между тем этот «человек низкого звания» начитанностью своею поражал не одного меня, а многих, кому только удавалось приходить с ним в соприкосновение.

Я рассказал батюшке о небесном знамении, бывшем на Москве в начале месяца[1].

— Как вы, — спросил я, — на эти явления смотрите?

— Э, батюшка барин, — о. Нектарий иногда меня так называет, — как моему невежеству отвечать на такие вопросы? Мне их задавать, а вам отвечать: ведь вы сто книг прочли, а я человек темный.

— Да вы не уклоняйтесь, батюшка, от ответа, — возразил я, — в моих ста книгах, что я прочел, быть может, тьма одна, а в вашей одной монашеской, которую вы всю жизнь читаете, свету на весь мiр хватит.

О. Нектарий взглянул на меня серьезно, испытующе.

— Вам, собственно, какого от меня ответа нужно? — спросил он.

— Да такого, который бы ответил на мою душевную тревогу: таковы ли будут знамения на небе, на солнце, луне и звездах, которым, по словам Спасителя, надлежит быть пред кончиной мiра?

— Видите ли, чего захотели от моего «худоумия»! Нет, батюшка-барин, не моей это меры, — ответил мне на мой вопрос о. Нектарий, — а вот одно, по секрету, уж так и быть, я вам скажу: в прошлом месяце, — точно не помню числа — шел со мною от утрени отец игумен[2] да и говорит мне:

[1] Ложные солнца и луна.

[2] Скитоначальник, игумен Варсонофий, скончавшийся 1 апреля 1913 года архимандритом и настоятелем Старо-Голутвина монастыря, мой духовник и старец.

— Я, о. Нектарий, страшный сон видел, такой страшный, что еще и теперь нахожусь под его впечатлением... я его потом как-нибудь вам расскажу — добавил, подумав, о. игумен и пошел в свою келью. Затем прошел шага два, повернулся ко мне и сказал:

— Ко мне антихрист приходил. Остальное расскажу после...

— Ну, и что же, — перебил я о. Нектария, — что же он вам рассказал?

— Да ничего! — ответил о. Нектарий, — сам он этого вопроса уже более не поднимал, а вопросить его я побоялся: так и остался поднесь этот вопрос невыясненным... Что же касается до небесных знамений и до того, как относиться к ним и к другим явлениям природы, выходящим из ряда обыкновенных, то сам я открывать их тайны власти не имею. Помнится, что-то около 1885 года, при Скитоначальнике и старце отце Анатолии, выдался среди зимы такой необыкновенный солнечный закат, что по всей Оптиной снег около часу казался кровью. Покойный отец Анатолий был муж высокой духовной жизни, истинный делатель умной молитвы и прозорливец: ему, должно быть, что-нибудь об этом явлении было открыто, и он указывал на него как на знамение вскоре имеющими быть кровавых событий, предваряющих близкую кончину міра.

— Не говорил ли он вам в то время, что антихрист уже родился?

— «Так определенно он, помнится, не высказывался, но прикровенно о близости его явления он говаривал часто. В Белевском женском монастыре у о. Анатолия было немало духовных дочек. Одной из них, жившей с матерью, монахинею, он говорил: «Мать-то твоя не доживет, а ты доживешь до самого антихриста». — Мать теперь умерла, а дочка все еще живет, хоть ей теперь уже под восемьдесят лет.

— Неужели же, батюшка, так близка развязка?

О. Нектарий улыбнулся и из серьезного тона сразу перешел на шутливый:

— Это вы, — ответил он, смеясь, — в какой-нибудь из своих ста книг прочтите.

И с этими словами о. Нектарий разговор перевел на какую-то обыденную житейскую тему.

26 марта

«Днесь спасения нашего главизна». — Темниковский старик и «Наплюйон» — антихрист». — Глас народа — глас Божий. — Нечто о Наполеоне I как о неудавшемся антихристе. — Может ли теперь явиться антихрист. — Предостережение г[осподам] евреям.

Вчера был день «главизны нашего спасения», день Благовещения, когда по вере народной и моей и «птица даже гнезда не вьет».

Как дивно прекрасны под большие праздники и в самые праздники наши Оптинские службы! Только на небе будет лучше, а на земле с ними сравниться ничто не может...

Много еще есть в Оптиной верных и искренних слуг Царя Небесного. Не то у Царя земного! Где теперь верные ему слуги? На кого ему положиться, с кем разделить непомерно-тяжкое бремя царского правления?.. Сердце тревожно, предчувствует скрытые грозы, вновь собирающиеся над главой Боговенчанного, над Православною Русью... Кто явится Царю помощником, кто по зову Его извлечет победоносный меч на защиту коренных устоев Святорусской земли?

Кто в поле жив человек? отзовись!

Был у меня один приятель. В дни своей молодости (теперь ему лет семьдесят), стало быть, лет 35–40 назад, был он товарищем прокурора по Елатомскому и Темниковскому уездам Тамбовской губернии. Глухие в то время это были места: леса дремучие, пески сыпучие —

старая, простая, бесхитростная Русь, богатая зверем, птицей, рыбою и почти библейской простотой сердца, языка и нравов. Лесу было уйма, хотя не было еще лесоохранительных комитетов и в помине. Но и лесопромышленников тогда в тех местах тоже еще не было...

Было дело это зимой. В одном из глухих лесных поселков задержала на ночлег моего приятеля внезапно разыгравшаяся лютая вьюга. Попросился он ночевать в первую попавшуюся избу — избы в тех благословенных местах хорошие, просторные — и, поужинав чем Бог послал, стал располагаться на ночлег в отведенной ему горнице. Смотрит, а с печки высунулась и глядит на него старая седая лохматая голова, да такая старая, что седины ее уж не белыми кажутся, а в зелень ударяют.

— Дедушка! — окликнул его мой приятель, — сколько лет тебе?

— Ась?

— Годов тебе много ль?

— А кто ж их знает? Должно, много.

— Француза небось помнишь?

— Xранцуза-то? Помню, как не помнить!

— Что же ты помнишь?

— И хранцуза с Наплюйоном помню как ён при Царе Александре приходил со всей нечистой силой. Ведь Наплюйон-то, сам ведашь, антихрист был.

— Ну, какой там антихрист! — возразил приятель.

— Верно тебе говорю: антихрист. Только ему тогда всех сроков еще не вышло, оттого и не одолеть было ему нашего Царя Ляксандры. А все ж дошел ён до самого Пинтенбурха и Царя нашего окружил со своими нечистиками со всех сторон.

— Ну что ты говоришь, дедушка? Наполеон дальше Москвы не пошел. Москву он сжег, это правда, но до Петербурга и до Царя он не доходил.

— А я тебе говорю — дошел; дошел и со всех сторон Царя Ляксандру окружил так, что ни к нему пройтить, ни

от него проехать никак нельзя было, и подвозу, значит, к Царю никакой провизии не стало. Вот тут-то и стало жутко царским енералам, и стали просить они Царя Ляксандру, чтобы ён скореича отписал на тихий Дон к казакам, к ихнему атаману Платову. И написал Царь на тихий Дон, к храброму атаману Платову такое слово: «Храбрый атаман ты мой Платов и храбрые мои казаченьки! Подшел к Пинтенбурху нечестивый Наплюйон с хранцузом и со всякой нечистью и окружил ён меня с моими енералами со всех с четырех сторон. И не стало ко мне никакого подвозу: ни круп, ни муки у меня нетути, и вошь меня заела. Приходи, выручай меня со своими казаченьками». — Написал Царь письмо и отправил его на тихий Дон с верным человеком. Ну, и пришел, значит, к Царю храбрый атаман Платов со своими казачатами и отправил в тартарары и Наплюйона, и хранцуза, и всю ихнюю нечисть, а Царя с енералами освободил; Царя накормил, а с енералов всю вошь посчистил[1].

. . . .

Припомнился, и так еще живо припомнился, мне рассказ этот сегодня, что я решил его записать, дабы не пропало это чистопробное золото народного сказания о тех временах, когда прообраз «грядущего» шел воевать сатане под нозе Православную землю Русскую.

Тогда у Царя были еще верные слуги, а теперь? Не из тех ли «лучших» людей, что заседают в Думе на левых скамейках?..

Глас народа — глас Божий!..

Не так прост и невежествен был тот старичок с бородой в празелень, который утверждал, что «Наплюйон» был «антихрист, которому сроков тогда еще не вышло». Но что Наполеон действительно готовился сознательно и сам, и что его готовил сатана в антихристы, тому в истории Наполеона указаний много, но, к сожа-

---

[1] В варианте 1975 г.: ... а вошь с него всю посчистил. — *Ред.*

лению, никому из историков его эпохи не приходило в голову рассмотреть его жизнь и деяния под этим углом зрения. А следовало бы, особенно в наши дни, такие схожие с тем временем, когда подготовлялась в норах и подпольях королевской Франции и международного еврейского «гетто» так называемая «великая» французская революция, породившая Наполеона.

Бросим же хотя бы беглый взгляд на знаменитого корсиканца с этой точки зрения. Попутно вспомним, что и сам глава Российской Церкви, Святейший Синод, в послании своем по случаю вступления Наполеона в 1812 году в пределы России, именовал его антихристом.

По преданию Св. Церкви, антихрист в качестве беззаконного вершителя судеб вселенной появится в возрасте Спасителя, исшедшего на проповедь, то есть лет тридцати.

Наполеон I родился 15 августа 1769 года. Провозглашен первым консулом, то есть фактическим хозяином Франции, 18 Брюмера VIII года, или 9 ноября 1799 года — ровно тридцати лет, 2 месяцев и 24 дней.

Господь наш Иисус Христос именуется Богом Словом. *В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог* (Ин. 1, 1).

Когда города Италии подносили победоносному Наполеону ключи от городских ворот, то воздвигали ему триумфальные арки для торжественного вступления в них, с такой надписью: «Слово плоть бысть».

Слово Божие, предуказуя чрез этих пророков пришествие на землю Сына Божия, поведало, между прочим: *Из Египта воззвал Я Сына Моего* (Осия 11, 1).

Поход Наполеона на Египет не скрывал ли в себе тайной цели оправдать на вожде французских войск указанного изречения ветхозаветного пророка? Как знать! Но один эпизод из этого похода дает повод думать, что Наполеон в то время, в душе своей, и сам на себя смотрел как на нового мессию, противника Иисуса Мессии. Вот что

про Наполеона в Египте передает один из современных ему историков[1].

«Бонапарт не был ни мусульманином, ни христианином: как он сам, так и его армия представляли собою в Египте французскую философию, скептическую терпимость, религиозное равнодушие 18-го века. Это позволяло ему без ненависти вступать в серьезные беседы и поддерживать добрые отношения как с мусульманскими имамами и шейхами, так равно и с духовными лицами христианства и иудейства. Духовное его устроение одинаково было далеко как от Корана, так и от Евангелия... Бывши в Египте, он отправился в Суэц, чтобы осмотреть на месте остатки древнего канала, некогда соединявшего воды Нила с Чермным морем. Захотелось ему взглянуть на источники Моисея, и он едва не стал при этом жертвой своего любопытства, заблудившись ночью на берегу моря во время прилива.

— Мне грозила та же опасность, что и фараону, — сказал он и добавил: — то-то была благодатная тема христианским проповедникам для проповеди против меня!

А что Наполеон и сам думал о себе как о новом мессии, доказывает, между прочим, и то, что, став консулом, потом императором, он часто возвращался мыслью ко временам своих походов в Египет и Малую Азию, для завоевания которой вместе с Палестиной он призывал стать под свои знамена и евреев, чтобы восстановить их царство.

— Я основывал тогда, — говорил он, — религии; я видел себя на пути в Азию на слоне, с чалмой на голове, с новым Кораном в руке, который я составил бы по-своему... Париж стал бы столицей христианского міра, а я руководил бы религиозною жизнью всего міра так же, как и политическою.

На другой день после коронации Наполеон сказал Декре[2] с нотой некоторого разочарования в голосе:

---

[1] P. M. Laurent de l'Ardeche. Histoire de Napoleon.

[2] Морской министр Наполеона I, адмирал.

— Я слишком поздно явился на свете; нельзя больше сделать ничего великого. Моя карьера блестяща, я не отрицаю; мне удалось пробить себе прекрасную дорогу. Но какая разница с античным міром! Взгляните на Александра Македонского: когда он после завоевания Азии объявил себя сыном Зевса, то, кроме Олимпиады, которая знала, чего ей держаться, кроме Аристотеля да нескольких афинских педантов, весь Восток поверил ему. Ну а если бы я вздумал провозгласить себя сегодня сыном Отца Всевышнего и заявил бы, что хочу Ему воздать хвалу и благодарение за такое звание, так не нашлось бы ни одной торговки, которая не высмеяла бы меня в глаза при первом же моем появлении. Народы слишком просвещены в наше время: нечего больше делать!

На острове Св. Елены, в изгнании, Наполеон диктует своему секретарю такие речи:

Если бы я вернулся из Москвы победителем, я заставил бы папу позабыть о светской власти; я сделал бы из него просто идола, а сам бы руководил религиозной жизнью, как и политической... Мои соборы были бы представителями христианства, а папа был бы на них только председательствующим.

Ну не довольно ли и этих свидетельств, чтобы признать, что темниковский древний старец не так уж был далек от истины, называя Наполеона антихристом, явившимся вопреки мнению самого Наполеона не «слишком поздно», а слишком рано?

«Сроков еще не вышло!..»

Было еще кому помощь подать Государю и «вшей посчистить с енералов».

Молитвенников тогда было еще крепких много в России, молитвенна была еще вся деревенская Русь Православная, крепка и незыблема была вера Христова в народе.

Теперь не то: в народе вера пала, а на верхах международного общества развилось такое суеверие, что

приди завтра со знамениями и чудесами ложными новый кандидат в антихристы, он будет принят с распростертыми объятиями всем так называемым образованным міром.

Мы — накануне мировой катастрофы, политической и социальной. К этому всё подготовляется, и всякий маломальски вдумчивый наблюдатель эту катастрофу если не предвидит, то предчувствует и к ней готовится, каждый по-своему, конечно... Всемирная война, внутренняя усобица, и вот — почва готова для воцарения и обоготворения дарующему мир міру, особенно если мир этот обещан им будет вместе с общей сытостью и даровыми развлечениями. Panem et circenses! Хлеба и зрелищ!

А зрелищ будет много. Мы этих зрелищ и теперь еще и без антихриста много видим, а что будет при нем, с его знамениями и чудесами ложными?! Хватит ли только на всех хлеба?

Святые Отцы Церкви утверждают, что хлеба-то именно и не будет, хотя золота, чтобы его купить, девать будет некуда.

Г[оспода] евреи, готовящие путь своему набольшему (см. мою книгу «Великое в малом», II ч. «Близ грядущий антихрист»), потрудитесь-ка взвесить это обстоятельство!

27 марта

Наполеон I как антихрист, по отзывам современников. — Наполеон — Слово (verbe) революция. — Причина падения Наполеона. — Язык цифр, имен и названий. О. Варсонофий и его об этом речи. Лев Толстой и Ж.-Ж. Руссо — предтечи антихриста. Язык цифр. 1885–1915 год.

Ожидание близ грядущего *человека греха, сына погибели* (2 Фес. 2, 3), лжемессии евреев, которым исполнено мое сердце, все продолжает возвращать меня мысленно к его первообразу, Наполеону I. Вот что еще пишут о нем его современники:

«Угрюмый, желчный, равнодушный к людям и мало любимый, точно обладаемый каким-то мучительным чувством, душу свою открывает только Бурьенну, да и то в порывах непримиримой ненависти».

«Смеясь над идеями и народами, над религиями и правительствами, он играл с неподражаемым уменьем и бесцеремонностью людьми, верный себе в выборе средств и цели, изумительный, неистощимый виртуоз в уменьи подкупать, обольщать, соблазнять, запугивать и очаровывать, обаятельный, но еще более страшный, точно какое-то великолепное и дикое животное, ворвавшееся в стадо домашней скотины, мирно жующей свою жвачку.

«Я человек иного порядка, чем все остальные, — говорил он сам, — всякие законы нравственности и приличия писаны не для меня. Такой человек, как я, плюет на жизнь миллионов людей».

«Страх, который он внушал, вызывался исключительно странным действием его личности почти на всех, кто с ним сталкивался. Чувствовалось, что его не может затронуть никакое сердечное движение. На человеческое существо он смотрит как на факт или вещь, а не как на нечто подобное себе... Он не признает никого, кроме себя... В его душе чувствовалось какое-то холодное и острое лезвие, леденящее и наносящее раны; в уме — беспощадная ирония».

«Этот диавол в образе человека, — говорил про него один из его боевых генералов, Вандамм, — имеет надо мною какое-то обаяние, в котором я не могу дать себе отчета, и это в такой степени, что я, который не боюсь никого, готов дрожать, как ребенок, когда подхожу к нему; он мог бы заставить меня пройти сквозь игольное ушко, чтобы броситься после того в огонь».

«Этот человек носил в себе что-то убийственное для добродетели... Все свои средства для господства над людьми он выбирал из числа тех, которые унижают че-

ловека... Он прощал добродетель только тогда, когда мог ее высмеять».

«У него была даже какая-то сатанинская усмешка, которая появлялась каждый раз на его губах, когда представлялся случай подписаться под необходимостью какой-нибудь резкой меры или осуждения».

6 марта 1799 года Наполеон взял приступом Яффу и отдал ее на разграбление своим солдатам, а жителей предал избиению. Когда солдатская ярость превзошла всякие пределы, тогда он для усмирения ее послал своих адъютантов, Богарне и Круазье. Они явились как раз вовремя, чтобы спасти жизнь четырем тысячам арнаутам или албанцам, составлявшим часть яффского гарнизона и избежавшим общей резни. Как только Наполеон увидел эту массу пленных, он в негодовании воскликнул:

— Что же они мне прикажут делать с ними? Кормить их? нет провианта; отправить в Египет или Францию? нет транспортов. Какой черт заставил их это сделать?

Адъютанты старались извинить себя тою опасностью, которой они могли бы подвергнуться в случае отказа этим людям в капитуляции; они напомнили Наполеону, что и посланы-то они были им в целях гуманности.

— Ну, да, конечно, — возразил он с живостью, — с гуманностью в отношении к женщинам, к детям, к старикам, но не к вооруженным солдатам. Лучше было бы вам самим умереть, чем приводить ко мне этих несчастных. Что прикажете вы мне делать с ними?

10 марта все эти четыре тысячи человек были расстреляны по приказу Наполеона.

«Я никогда не слышал, — пишет о Наполеоне Меттерних, — такого резкого, такого жесткого голоса. Когда он смеялся, то в улыбку у него складывался только рот и часть щек; его лоб и глаза оставались неизменно мрач-

ными... Это сочетание улыбки с серьезностью производило впечатление чего-то страшного, пугающего».

Тот же Меттерних говорит: «Стремление к всемирному владычеству заложено в самой природе его; это стремление можно сдержать и умерить, но подавить его не удастся никогда».

И, наконец, в «Мемориале» под 30 ноября 1815 года сам Наполеон свидетельствует о себе в таких выражениях:

«Подчинить себе Европу и все человечество — добраться до этой вершины я мог бы только пройдя через всемирную диктатуру; ее я и домогался».

Разве все это не черты того антихристова образа, который нам, христианам, дан в творениях св. Отцев Церкви: Ефрема Сирина, Иоанна Златоустого, Ипполита Римского, Иринея Лионского, Феофилакта Болгарского, Кирилла Иерусалимского, Андрея Кесарийского? И подумать только, что попытка воплощения этого образа совершена сатаною еще так недавно, что отцы наши знали его современников, могли знать даже его соратников.

Это не легенда, не миф — это почти вчерашняя очевидность! Полной своей реализации как всемирного царя и лжемессии образ этот не получил: на пути к ней восстала неодолимой преградой Православная и Самодержавная Россия, возглавляемая Благословенным Александром и сонмом преподобных во главе с преподобным Серафимом Саровским. Тогда не было в Церкви Божией ни Гапонов, ни Петровых, ни Семеновых, ни всех тех расстриг, что десятками и сотнями со дней возвещения пресловутой «свободы совести» опозорили своим отступничеством Церковь Русскую...

Кто теперь противостанет «грядущему»?..

Еще черта, сближающая Наполеона с антихристом: Наполеон был сыном революции, ее воплощением, ее Словом (Verbe), как он и сам себя называл и как его

называли многие его современники и историки. Теперь доказано, что революция эта была от начала до конца подготовлена и совершена масоно-еврейским заговором. Цель этого заговора разрушить христианский мір с его государственностью и на развалинах его воздвигнуть свое всемирное царство, где князьями будут евреи, а царем и богом их мессия-антихрист. Сами иудеи теперь уже более этого не скрывают.

Наполеон по матери, Летиции Рамолино, едва ли не вел своего происхождения от одного из колен (не Данова ли?) находящегося в рассеянии Израиля. Пусть это и не доказано, а только лишь предполагается. Но вот что доказано исторически — это, во-первых, то, что ближайшие к нему маршалы: Массена, «любимое дитя побед», и Сульт, были евреи, а во-вторых, следующее: декретом 17 марта 1808 года, данным Наполеоном в Тюльери, было повелено:

1) Деньги, данные евреями взаймы несовершеннолетним, женщинам и военным, взысканию по суду не подлежат.

....

4) Новые переселенцы-евреи в Альзас, сверх уже там живущих, не допускаются.

5) Прочие департаменты Империи доступны евреям только при условии, что они будут заниматься исключительно земледелием.

6) Каждый еврей должен отбывать воинскую повинность лично; заместители не допускаются.

В 1808 году этот декрет был издан, а в следующем, 1809 году, «тайной властью масонства» был сообщен всем масонским ложам свой декрет, постановивший «объявить Наполеона покинутым».

Конец карьеры Наполеона известен.

«Грядущему» это послужит наукой, и он «покинут» не будет.

А все-таки и ему, и его отцу-диаволу один конец: *геенна огненная.*

«Язык цифр»!..

Как-то раз о. Варсонофий спросил меня:

— Знаете ли вы, что значит Калуга?

Я подумал на город Калугу и, не поняв хорошо вопроса, ответил незнанием.

— Калуга, — сказал батюшка, — значит огражденное место. Таков и наш город Калуга. А чем он огражден, как вы думаете?

— Скажите, батюшка!

— Святыней нашего края — монастырями, где почивают святые мощи Калужских чудотворцев: преподобного Тихона Калужского, праведного Лаврентия и преподобного Пафнутия, игумена Боровского, нашей святой обителью с ее почившими великими старцами Львом, Макарием, Амвросием, архимандритом Моисеем, игуменом Антонием и прочими сокровенными Оптинскими угодниками Божиими.

Всё это — Калуга, и счастливы вы, что Господь привел вас пожить в таком огражденном месте. И знайте, что очень часто название местности, в которой вы живете, фамилия лица, с которым вы встречаетесь, — словом, название или имя в самих себе носят некий таинственный смысл, уяснение которого часто бывает небесполезно. Смотрите, в Ветхом Завете почти всякое имя что-нибудь да означает: Ева — жизнь, ибо она стала матерью всех живущих; Сам Бог повелевает Авраму называться Авраамом, «ибо, — говорит, — Я сделаю тебя отцом множества народов, а Сару — Саррой, не «госпожею моею», а «госпожею множества»...

Итак, во всей Библии — название и имя всегда имеют сокровенный и важный смысл. Сам Господь нарек Себе имя человеческое — Еммануил, что значит «с нами Бог», и Иисус, «ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Видите, как это значительно и важно.

— Вижу, батюшка.

— Но кроме этого, так сказать, языка имен и названий существует еще и язык цифр, тоже сокровенный, значительный и важный, только не всякому дано расшифровывать его тайну. На что велика была тайна воплощения Бога Слова, а и она была заключена в таинственном счислении родов потомства Авраама: «от Авраама до Давида, — говорит св. евангелист Матфей, — четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов». Замечаете цифру *14*? Она повторяется трижды.

— Замечаю.

— Она составлена из удвоения цифры 7, а 7 есть число в Библии священное и означает собою век настоящий, а веку будущему усвоена цифра 8, которою век этот и обозначается. Видите, что и цифры имеют свой язык?

— Вижу, батюшка.

— Ну, и хорошо делаете, что видите: быть может, это вам когда-нибудь и пригодится.

Вспоминаю я эти слова о. Варсонофия, и приходит мне на мысль: нашего ересиарха, Льва Толстого, многие зовут предтечей антихриста; так, кажется, его называл и покойный о. Иоанн Кронштадтский. Если Толстой действительно духовный предтеча антихриста, то кому иному это звание как духовному предтече Наполеона должно быть усвоено, как не Жан-Жаку Руссо? Как Толстым открылась новая эра в литературе, основанием которой легло сперва «непротивление злу», а затем и открытый союз со злом, так и Жан-Жаком Руссо своими «Эмилем» и «Общественным договором» положен был первый камень в основание школы энциклопедистов, духовно подготовивших французскую революцию 1793 года, а следовательно, и ее порождение — Наполеона I.

Попробуем обратиться к языку цифр.

Жан-Жак Руссо родился в 1712 году.	Наполеон I родился в 1769 году.
Через 57 лет.	
Лев Толстой родился в 1828 году.	Новый Наполеон родился (?) в 1828 + 57 = 1885 году.

Не может ли быть годом воцарения этого нового Наполеона в качестве всемирного, скажем, «супер-арбитра» (идея арбитража теперь усиленно навязывается народам) год *1915-й,* когда ему исполнится 30 лет от рождения? И число имени его 666?

Как знать? Язык цифр — тайна, но он существует.

Числа имени Наполеона я не знаю, но имя это, написанное по-гречески и разложенное по слогам в указанном ниже порядке, подтверждает слова о. Варсонофия, что и имена имеют свой сокровенный смысл и значение.

Ναπολεων — Наполеон
πολεων — государств
λεων — лев
ων — сущий

Наполеон — лев государств.

Язык имен, названий, цифр.

Тайна!

Но нет тайного, что бы не сделалось явным. Откроется, долго ли, коротко ли, и эта тайна.

4 апреля

Дни радости и дни плача. — Старец Исидор Гефсиманский и мой путь. «Ховье-Цион». «Ганнибал у ворот».

Вот прошла, как чудный сон, и Светлая Седмица... Есть ли еще место на Руси, кроме ее святых обителей, где бы так торжественно и весело-радостно празднова-

лась Пасха Господня? Думается, что нет... И вот, после дней радости, вспоминаются мне дни плача моего...

Было это во дни, непосредственно предшествовавшие страшным дням октябрьских «свобод». Доходил до конца сентябрь 1905 года. В эти дни и в моей личной жизни совершился перелом великий, и стоял я, как в былине витязь, на распутье; а на распутье том столб, а на столбу слова:

«Прямо ехать — живу не бывать,
Нет пути ни прохожему,
ни проезжему, ни пролетному...»

А мне хотелось идти прямо, а не околицей...

У преосвященного Никона, в то время епископа Серпуховского, викария Московской митрополии, я встретился с одним из ближайших его сотрудников по изданию «Троицких Листков» и «Божией Нивы» Д. И. Введенским. Встретились, разговорились и порешили, что надо мне повидаться перед принятием какого-нибудь решения в обстоятельствах моей жизни со старцем Гефсиманского Скита иеромонахом Исидором.

— Дороже всего вам помолиться у своего угодника, преподобного Сергия, — говорил мне Введенский, — потом жалуйте ко мне, а от меня к старцу, тем более что он вас знает по тем статьям, которые вы пишете.

Введенский был тогда преподавателем Вифанской семинарии и жил в Вифании.

Так я и сделал.

И сказал мне старец Исидор:

— То, что ты замыслил, не твой путь; а читай-ка ты почаще житие преп. Феодота-Корчемника: это тебе больше подойдет. Память этого Божьяго угодника празднуется 18 мая. Возьми Четь-Минеи, да и читай почаще это житие.

Так я и сделал. А в житии том, между прочим, сказано следующее:

«Тогда бысть Христова Церковь, аки корабль посреде волн зельных бедствуяй, и погрязновения боящься: нечестивии бо нападающе на домы верных, расхищаху вся, извлачаху же мужей и жен, юнош и девиц безстудно, и овыя к нечистотам своим сквернии человецы, овыя же ко узам и темницам влечаху: и несть мощно изрещи беды оныя, во время тое на Церковь бывшия. Иереи от храмов Господних бежаша, двери отверсты оставивше, и не обреташеся бегающим от беды место, в немже бы скрытися. Разграбленным же бывшим имениям, належаше глад, паче всякия муки тягчайший: тогда ходящии по пустыням и крыющиися в горах и вертепах мнози, не стерпевше глада, вдашася в руки нечестивых, надеющеся некия от них милости. Тяжко убо бе тое зло беглецем оным, изряднее же тем, иже во многом довольстве и изобилии бяху воспитани, а тогда корение грызяху пустынное и зелием дивиим от нужды питахуся...

Феодот же блаженный... не корчемствоваше бо тако, якоже неции о нем мнят, аки бы да злато соберет, но нарочно корчемствовати притвори себе, да корчемницу свою пристанище и покой безбоязен сотворит гонимым братиям...»

И вот, едва ли не с первых дней переселения нашего в Оптину, началось на нас с женой исполнение слова Гефсиманского старца Исидора: дом наш, по обилию посетителей, стал действительно походить на гостиницу.

Кого, кого только в нашей «корчемнице» за протекшие годы не перебывало! Даже один французский виконт пожаловал, а своих, русских, не перечислить!..

Похоже ли современное состояние Православной Церкви Божией на то, в котором она находилась во дни преподобного Феодота-Корчемника? Сбываются ли на ней слова старца Исидора? Думается, что и тут не прошло мимо его прозорливое слово: той силы явного, открытого гонения еще как будто не видно, но скрытое,

упорное, последовательное уже началось, и притом не со вчерашнего дня.

Не за горами завтрашний день, а за ним — и явное.

В «Колоколе» от 15 февраля сообщено, что на этих днях в Одессе открылся съезд евреев-палестинофилов («Ховье-Цион»). Ведется агитация о немедленном переселении в Палестину.

В книге моей «Великое в малом», издания 1905-го года, в статье «Антихрист как близкая политическая возможность» говорится так: «Наступает время, перед которым побледнеет Пугачевщина и Разиновщина. И пока мы внутри себя будем сводить огнем и мечом беспорядочные домашние счеты, русский и европейский Израиль, прикрываясь движением так называемого сионизма, выберется в Палестину, как черные тараканы из дому, которому угрожает пожар, и оттуда мановением жезла своего всемогущего синедриона бросит на русских и европейских богоотступников в полной безопасности для себя несметные желтокожие орды, вооруженные на капиталы Сиона по последнему слову братоубийственной науки»[1].

Нарыв всемирной бойни, по всем признакам, назревает; России предназначается стать его стержнем, окруженным воспалительным процессом со всех сторон: с юго-запада — ожидовленная ротшильдовская Австрия; с запада — Германия Блейхредера, Мендельсона и К°; с севера — Финляндия Мехелина, Воймы и жидовских агитаторов из «Речи»; с юга — Кавказ и скрытая армянская революция, поддерживаемая Турцией, находящейся в когтях жидов из младотурецкого комитета «Единение и прогресс» и, наконец, с востока — желтый поток «обновляемого» Китая во главе с «обновленной» нашей кровью на деньги американских жидов

[1] «Великое в малом». Изд. 2-е, 1905 г. С. 416.

Японией — это ли не гениальный план всеобщего разрушения, достойный его вдохновителя — диавола?!

«Великая» французская революция и плод с ее дерева — Наполеон — не жалкая ли это игрушка в сравнении с той мировой катастрофой, которая теперь подготовляется на виду у всех, кто только хочет видеть?

Hannibal ante portas! «Ганнибал у ворот!»

Новый Наполеон уже где-то дозревает... Где только?

До открытого им гонения на Церковь Божию близко. На западе Европы оно идет уже давно.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас!

6 апреля

Сказание одного из наших богомудрых о монахе Савватии и иеродиаконе Филарете.

Заходил сегодня один из наших богомудрых.

— Какие люди были прежде, а какие теперь стали! — сказал он к разговору. — Какие тогда были монахи, а мы-то!.. — и он горестно махнул рукой. Я подумал с еще большей горечью: если ты про себя так говоришь, батюшка, то мы-то что тогда?..

А он продолжал:

— Уж не будем поминать наших почивших старцев, — это были при жизни чудотворцы, — возьмем рядовых монахов: ну хоть Савватия, иеродиакона Филарета больничного — это все почти наши современники, трудники монашеского подвига 80-х годов только что кончившегося столетия: не более тридцати-сорока лет нас от них отделяет, а насколько выше они стояли в подвиге даже лучших из нас, теперешних! И каких зато они откровений удостоивались! Нам о таких и думать не приходится... Вот расскажу вам об одном из таких откровений. Скончался преподобно и праведно иеродиакон Филарет, при жизни с необыкновенной любовью несший послушание в больнице, но немало страдавший от клеветы человеческой. О. Савватий

его очень любил и горевал, что лишился в нем сердечного себе друга. И вот, занездоровилось как-то о. Савватию; прилег он на скамеечке у себя в келье, заснул и видит такой сон: вошел он будто бы в святые ворота неизвестного ему монастыря, а в монастыре том три храма. Захотелось ему осмотреть этот монастырь. Сначала он направился в тот из храмов, который был от него направо, подошел к нему, да у входа остановился, боясь войти туда, и стал прислушиваться. Вдруг слышит, что внутри храма кто-то разговаривает. Сотворил о. Савватий молитву; ему ответили: аминь! Он вошел, но очутился не в храме, как предполагал, судя по внешности, а в какой-то келье, в которой сидело три молодых монаха в подрясниках и шапочках наподобие афонских, каждый за маленьким столом с письменными принадлежностями. Комната имела вид канцелярии.

Монахи разговаривали о том, какую пользу приносит усопшим поминовение, при этом они вспоминали некоторые места из Священного Писания, из св. Отцов, поминали они в разговоре и слово св. Григория Двоеслова и других.

— Какой это монастырь? — спросил о. Савватий.

Ему ответили:

— Симонов.

— Что же это за храм направо стоит? — продолжал он спрашивать, — и почему около него такая зелень и деревья в цвету, тогда как везде зима?

(О. Савватий сон свой видел в ночь с 29-го на 30 января 1886 года).

— А в этом храме, — отвечают ему, — приносится бескровная Жертва за души новопреставленных. Милосердием Божиим усопшие получают от поминовения великую пользу: грешникам прощаются грехи их, а праведники получают большую благодать.

Такое рассуждение молодых монахов очень понравилось о. Савватию и он сказал им:

— Вот у нас недавно умер очень хороший и близкий мне человек...

— Это вы про о. Филарета говорите? — спросили они его.

— Да, про него.

— А не хотите ли вы его видеть?

Сердце о. Савватия так и замерло от радости.

— Да, я бы желал! — сказал он робко.

Тогда тот из монахов, который казался постарше, сказал младшему:

— Доложите, что желают видеть о. Филарета.

Тот пошел и, возвратившись очень скоро, позвал о. Савватия следовать за ним. Ввел он его в соседнюю комнату, внутри которой находилась лестница, с которой как раз в это время сходил юноша лет восемнадцати, в светлом стихаре.

— Вам о. Филарета? — спросил он о. Савватия, — пожалуйте за мной!

Они пошли вверх по очень крутой лестнице, и о. Савватий, несмотря на свою обычную боль в ноге, которой он страдал издавна, не чувствовал ни боли и ни малейшей усталости и шел как будто по воздуху.

Долго поднимались они, пока не достигли опять какого-то храма огромных размеров, с необыкновенно высоким куполом. Храм был круглый, и в нем иконостаса не было. Под куполом были видны лики святых, расположенные группами, как будто на облаках. Между ними о. Савватий рассмотрел лик мучеников, лик святителей, преподобных и других святых, от века благоугодивших Господу. Внизу под ними был виден ряд икон, а наверху, несмотря на отсутствие окон, изливался откуда-то необычайный свет. О. Савватий остановился в немом восхищении перед этим дивным светом, и видит, что все изображения святых внезапно ожили, начали двигаться и беседовать между собою.

Это крайне поразило о. Савватия.

— Вы о. Филарета ищете? — спросил его кто-то из них. — Его еще здесь нет. Ему готовится место с праведниками и юродивыми.

Тогда о. Савватий, обратясь к своему спутнику, шепотом спросил его:

— Разве он лишен монашества?

— Не лишен, а еще повышен, — отвечал он.

Пошли они дальше и, повернувши направо, вошли уже в настоящий храм, которому тот храм служил как бы преддверием. Оба храма эти были соединены аркою. Боковых приделов там не было. Везде горели лампады. Кругом храма шли хоры.

О. Савватий стал глядеть на иконостас, но, заметив, что проводник его смотрит кверху в противоположную сторону, быстро повернулся и, взглянув туда же, увидал на хорах о. Филарета.

— Филарет, ты ли это? — воскликнул он.

— Я, — ответил, кланяясь ему, о. Филарет.

Лицо у о. Филарета было очень веселое; одет в светлый стихарь, перекрещенный орарем. Стоит, опершись обеими руками на перила хоров, и, держа в руках бумажный свиток, ласково смотрит на о. Савватия.

— Можно ли мне с тобой повидаться? — спросил о. Савватий.

— Можно! — сказал улыбаясь о. Филарет.

Стал искать о. Савватий лестницу, чтобы подняться на хоры, но лестницы не оказалось. И говорит он о. Филарету:

— Где ж к тебе войти?

— Входи, — ответил о. Филарет, — я помогу тебе.

Думая, что он подаст веревку, о Савватий спросил его:

— Почему же здесь нет лестницы? Как же ты-то взошел сюда?

— Меня вознесли сюда, — ответил о. Филарет, — клеветы человеческие. Прежде я стоял там же, где и ты теперь стоишь.

И лицо о. Филарета из веселого вдруг сделалось печальным.

И только о. Савватий успел помыслить в сердце своем: Филарет, ты был при жизни так милостив к клеветникам твоим! — а уже о. Филарет в ответ на эту мысль говорит:

— Я всегда сожалел и прежде о тех, которые клевещут, а теперь и еще более того жалею о них. Теперь я на опыте узнал, что клевета на брата вменяется клеветнику в тот же самый грех, в котором он оклеветал брата. В этом же грехе он и осудится, если только не покается.

И опять подумал о. Савватий: Филарет, у тебя столько было любви к ближнему! И на эту мысль опять Филарет ответил ему:

— Только здесь и можно узнать, какое великое воздаяние бывает от Господа за любовь и милость к ближнему. Вам, сущим еще на земле, и понять этого невозможно!

— Хорошо ли тебе? — хотел было спросить его о. Савватий. А тот молча уже развернул свиток, который держал в руках, и о. Савватий прочел написанное там большими блестящими буквами:

«Праведницы вовеки живут,
И в Господе мзда их».

При конце каждой строчки Божественных слов этих стояло по золотой, ярко сиявшей звездочке.

Тут как будто на хорах отворилась дверь, и о. Филарета кто-то позвал, и он, поклонившись, удалился.

На этом о. Савватий проснулся.

Болезни, которую он чувствовал, ложась спать, как не бывало; больные ноги стали как здоровые. Душа его была преисполнена неизъяснимой радости и восторга.

Такое-то вот сказание слышал я сегодня от одного из наших богомудрых, удостоивших посетить наше пустынножительство.

И хотел было я предложить ему вопрос: можно ли каким бы то ни было снам верить? Но не предложил, ибо ***и моя душа была преисполнена неизъяснимой радости и восторга.***

20 апреля

Видение в Шамординой. — О. Памва, простец Оптинский и протоиерей о. Александр Чагринский (Юнгеров). — «Христианин» и мужик. — «Антихриста дождемся».

Давно не заглядывал в свои записки: все это время был занят приготовлением к печати рукописи своей «Святыня под спудом» и разбором старых писем. Много их накопилось за последние годы; многие из них обречены на уничтожение, но есть такие, с которыми не только жаль расстаться, но хочется их перенести даже на страницы моего дневника, чтобы как-нибудь не затерялись...

Вчера к нам заглянули и чай пили у нас о.о. Нектарий, Варсис и Памва. О. Варсис служил на днях в Шамординой. Его сестра ездила в Петербург, в Иоанновский монастырь, вернулась на днях обратно и заказывала у себя, в Шамординой, заупокойную обедню по о. Иоанне Кронштадтском. За «Херувимской» одна больная монахиня внезапно увидела о. Иоанна, который вместе с великим входом вошел в алтарь Царскими Вратами. Монахиня закричала:

— Батюшка, возьми меня!

К ней подбежали, думая, не случилось ли с ней чего.

— Да разве вы не видели батюшки? — изумилась она, — ведь он только сейчас вошел в алтарь!

Раньше ничего подобного с этой монахиней не случалось.

О. Памва — один из простецов Оптинских; старик, годам к семидесяти; уроженец самарских степей. Много он мне рассказывал про ихнего самарского о. Александра (Юнгерова), протоиерея, кончившего земную жизнь свою

в Чагринском женском монастыре. По рассказам о. Памвы да и по другим в разное время доходившим до меня слухам, истинно великий был этот пастырь словесных овец Христовых. Это он направил о. Памву в Оптину.

— По грехам твоим, — говорил он о. Памве, — давно бы тебе надо было гореть в геенне, да сердцем-то ты прост, и за то милует тебя Господь. Только бросай, брат, свои скверные дела, рассчитайся с міром и иди в Калужскую губернию, в Оптину Пустынь; там поработай Господу и обители, сколько сил хватит, и, Бог милостив, спасешься. Прост ты и неграмотен, этим ты не огорчайся; таким Господь тайны Свои открывает, а от премудрых и разумных скрывает. Увидишь ты и блаженное царство жизни будущего века, и муку вечную — много такого даст тебе Господь видеть, о чем грамотные и в уме не содержат...

— ...И все это, — обращаясь ко мне, сказал о. Памва, — я видел, да и теперь, братец ты мой вижу.

— Что же ты, о. Памва, видишь?

— Бесов вижу, все козни бесовские вижу... Мне и о них о. Александр сказывал, что я их буду видеть: вот и вижу.

— Какие они? — спросил я о. Памва.

— Ну, братец, — сказал он, — о них лучше тебе не знать и не спрашивать.

— А что?

— Больно гнусны уж! Я, бывает, их вижу, да и не рад, что и вижу. И силу ж они теперь забрали над миром! Не сдобровать миру!

— А крест-то на что?

— Крест?! Крест, братец ты мой, сила неодоленная там, где кресту веруют и по Кресту живут. А в міру, братец ты мой, как живут-то теперь? В міру живши, не Кресту теперь служат, а диаволу и всей похоти его. В міру, братец ты мой, не Христа теперь на помощь призывают, а диавола зовут. Вон мужики мимо гостиницы о. Пахомия дрова в Козельск на станцию возят; послушай-ка их: кого они

всё поминают? Да всё «его» ж! Прежде хороший крестьянин что бы ни делал, все — «Господи Иисусе Христе», да «Господи Иисусе Христе!» Потому-то он и был «христьянин», что Христа поминал. А теперь он стал мужик, да не простой мужик, а вражий, а всё потому, что к каждому слову или «врага» поминает, или мать позорит и проклинает. Враг-то сам по себе, без зову, бы не пришел и не мог бы прийти, — ему благодать крещенская доступу бы к человеку не дала, — ну а ежели самовольно, самосильно зовут его?.. Ну, тогда он тут как тут, с нашим, значит, удовольствием! И стал, братец ты мой, мір теперь уж не Божий, а вражий... Мне покойный о. Александр еще годов с двадцать тому назад сказывал, что антихрист в миру одной ногой уже стоит, а другую заносит: скоро, значится (о. Памва говорил не «значит», а «значится»), придет время ему и на царство поступать; не миновать — дождемся!

— Если не покаемся, — возразил я.

О. Памва махнул рукой:

— Ну, этого-то вряд дождемся!

Много разных чудес из своей сокровенной жизни сказывал мне простец о. Памва, но мое сердце больше всего задели его слова об антихристе. Протоиерей о. Александр Юнгеров, прославленный своей богоугодной жизнью и прозорливостью во всем саратовском и самарском Поволжье, я, человек книжный, и сын простого народа, когда-то пахарь, а теперь монах — духовидец — и все мы трое одномысленны: антихриста дождемся!..

Да, дождемся, если не обратим сердец наших к покаянию и не принесем плодов, его достойных.

22 апреля

«Будем записывать!» 1905 год в России и на Афоне. — Записки моего приятеля: иерусалимские впечатления; Великая суббота в Иерусалиме.

Дождемся ли мы антихриста или не дождемся, про то Бог весть, а дело свое делать нужно. Вложил мне Господь

в руки перо, посадил на берегу Божьей реки, у ограды оптинской: пиши, раб Божий Сергий, записывай всё, что, как Божий дар, в часы твоей молитвы внесет река в раскинутые мрежи.

Будем записывать!

Эти дни что-то потише стало в нашем доме. И в самой Оптиной народу поменьше, особенно из так называемой «интеллигентной публики»: можно подольше беседовать со своими записками.

Вот передо мною лежат записки с Афона одного сердечного моего друга по вере и общим христианским упованиям. Писаны они были им в виде дневника в памятный 1905 год. Долго год этот будут помнить и Афонские иноки, и русские люди! Недаром мы — родные братья по духу с Афоном.

«Возьмите, — говорил мне мой друг, — эти записки и делайте с ними, что хотите. У меня они пропадут, а вам, быть может, для чего-нибудь и пригодятся».

Вот дошел теперь черед и до этих записок.

Приятель мой был торговец и в 1905 году ушел на Старый Афон искать «Небесного Иерусалима». Теперь он опять торговец, но любви к доброму монашеству не утратил, и, когда есть время, наезжает в Оптину помолиться Богу, поговеть, побеседовать со старцами, поплакать со мною о том, что было и что стало на земле родной...

Хороший человек, святая душа!

Записки его охватывают период времени от 20 марта 1905 года по 30 мая 1906-го.

Тогда на Афоне тряслась земля[1] а у нас — великое русское царство.

Знаменательное совпадение!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[1] Известное землетрясение на Афоне.

«Господи, благослови!»

Так начинаются записки моего друга.

«Сего 1905 года, марта 20-го дня, в воскресенье, выехал я в Киев, где на Благовещение приобщался Святых Христовых Таин. В тот же день выехал в Одессу, откуда 29 марта на пароходе «Лазарев» отправился через Константинополь в св. град Иерусалим.

В пути я обрел себе двух компаньонов, одного из Кимр, а другого из Одессы — оба простосердечные, хорошие люди, с которыми мы беспечально совершили путешествие до самого Иерусалима. Море было поразительно хорошо.

Константинополь дивно прекрасен по местоположению, но зато население его — это нечто невыносимое по внешней грязи, производящей удручающее впечатление. Если бы не подворье афонских монахов, то добром бы и не помянуть мне Константинополь.

Попутные города не лучше.

10 апреля 1905 года, на Вербное воскресенье, в 6 часов пополудни мы прибыли в святой град Иерусалим. На другой день с неразлучными своими спутниками отправился в желанный великий и святой храм Воскресения Христова, где Голгофа, где Гроб Господень, откуда «воззста Господь, яко от чертога».

Сердце билось и трепетало, как голубь крыльями...

Но, увы, уже на пути к храму чувства мои были парализованы частью утомлением от большого морского переезда, но больше обстановкою того пути, по которому пришлось идти к храму: гул и гам от крика и говора всевозможных представителей народностей, со всего света собравших своих представителей в этот духовный центр всего міра, рев ослов и других животных; вид калек и грязных, нахальных нищих, назойливо требовавших подачки; улицы грязные, узкие, усеянные бродячими собаками — все это расхолаживающе и угнетающе

действовало на мою впечатлительность, и, входя в храм, я уже не испытывал чувств никаких.

В храме опять грязь греческого неблагоговейного хозяйничанья, жадность проводников — умиления как не бывало. Наш проводник, желая поскорее от нас отделаться, чтобы захватить новую партию паломников в добычу, толкал нас чуть не по шее, заставляя на рысях прикладываться к показываемой святыне. Это переполнило чашу нашего терпения, и мы ушли с горечью, чуть не плача от разочарования.

На другой день — другое искушение. Прошли в храм и пожелали в нем остаться на ночь. Турецкая стража на ночь запирает его от 8 часов вечера до 3 или 4 утра. На меня и на моих спутников напал сон, и нам предложили уснуть на хорах, где были разостланы грязные ковры с грязными тюфяками и подушками. Не более двух-трех часов пролежали мы на них и набрались такого множества всевозможных насекомых-паразитов, что потом долго от них не могли отделаться.

Но всем искушениям настал конец перед неописуемым величием и силой впечатления дня 16 апреля, Великой Субботы, во время так называемой Благодати схождения святого огня, благодатно сходящего свыше на Гроб Господень. Собственно говоря, по торжественной праздничности этот день в Иерусалиме и есть Пасха: к этому-то именно дню и стекаются паломники со всего света: кто ревнитель благочестия, кто ради праздного любопытства или приключений и сильных ощущений, — словом, люди всякого сорта и всевозможных национальностей.

Уже со Страстной пятницы город кипел народом, улицы, и без того тесные, стали непроходимы, в воздухе шум и гомон стояли невообразимые...

Храм еще с вечера на субботу был оцеплен турецкими войсками и постепенно наполнялся народом, заблаговременно покупавшим себе места ценою от 50 копеек на наши деньги до 10 рублей.

Мы решили идти в храм в субботу в 9 часов утра. В нашей миссии нам было объявлено, что служба в Воскресенском храме перед «Благодатью» начнется около часу дня. Народ огромными толпами направлялся к храму. Лавки все были закрыты. Близ храма народу было — пушкой не прошибешь. Солдаты-турки отгоняли народ плетьми, но и это мало помогало — народная волна все приливала и приливала.

...Что будет дальше? Как нам пройти?.. Господи, благослови!— и мы нырнули в толпу, как в океан, который нас на гребне своей волны вынес в самый храм.

На наше счастье, по милости Божией, еще оставались продажные места для присутствования в храме на Богослужении. Мы заняли места в первом ряду, близ Кувуклии, но турецкая стража схватила нас за шиворот и вытолкала в главный храм. В главном храме нас ожидала та же неприятность: там паломники спихнули нас с передовых позиций. Показное смирение уступило место грубому эгоизму, каждому было дело только до самого себя. Повсюду слышалась брань, все толкались. Но, к радости нашей, то не были наши русские паломники, а греки и другие иностранцы. Эти без всякого стеснения готовы дать по шее, лишь бы самим занять место поудобнее.

Тяжело было бороться за место, да жара к тому же стояла невыносимая, но нечего было делать — надо было держаться до часу начала Богослужения, до получения благодатного огня, этого великого чуда милости Божией.

С двенадцати часов дня греческое духовенство начало готовиться к Богослужению. Нами и всеми присутствовавшими стало овладевать лихорадочное нетерпение. И, Боже милостивый! — что только тут начало твориться с арабами, коптами и абиссинцами — с темнокожими нашими единоверцами! Такой поднялся топот и гомон, что этого и передать невозможно... От такого неблагочиния состояние моего духа понизилось еще на несколько градусов. Впору было уйти вон из храма...

Наконец, около часу дня Патриарх в одном хитоне вошел в Кувуклию и был заперт там. Ожидание стало еще более лихорадочным. И вдруг шум затих, все замерло, и наступила такая тишина, что слышно было только биение одного тысячегрудного сердца всей массы находившихся в храме. Минуты переживались неописуемые неизобразимого, священного, какого-то никогда не испытанного духовного томления...

Около двадцати минут второго в отверстии Кувуклии показался патриарх Дамиан с пуком огня, и от этого огня мгновенно запылал весь храм.

Что было со мною, писать отказываюсь: такой восторг, такой подъем духа, такой трепет!.. Я был вне міра, где-то над землей, в надмирной вечности, в пещи огненной с тремя отроками, неопаляемый пламенем ее седмеричного разжжения. И действительно, я был в море огня, который не опалял и не жег, несмотря на то что кругом меня люди совали себе его в рот, огнем крестили лицо, волосы, руки. Я и на себе самом испытал это необъяснимое, дивное свойство этого неопаляющего благодатного огня.

Такое свойство благодатный огонь сохраняет в себе только несколько минут, после чего становится обыкновенным, стихийным.

На первый день Пасхи Иерусалим наполовину опустел. Мы этот нареченный и святой день встретили в нашей миссии по-российски, но не так восторженно-радостно, как дома: благодатный огонь несколько умалил красоту этого Великого дня, подавив силою впечатления все наши чувства.

Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! (Лк. 12, 49).

Ты и низвел его, Господи! Он со дней Твоих земных невещественно горит в сердцах Тебе верных, а вещественно — каждогодно на честном Гробе Твоем в Иерусалиме.

Слава силе Твоей, Господи!

23–30 апреля

Продолжение записок моего приятеля: Афон. — О. Никодим. — Путешествие по Афону. — Отъезд паломников. — «Будничный» Афон и землетрясение 1905 года. — Конец афонским запискам и послушанию моего приятеля.

Из Иерусалима мы отправились на Афон, куда прибыли, с Божиею помощью, благополучно в мае 1905 года.

Афон нас поразил своим величием и красотою. Пантелеймоновские монахи встретили нас чрезвычайно радушно, чем еще более, конечно, расположили нас к Афону. Особенную любовь к богомольцам проявлял начальник фондарика[1], известный всем афонским паломникам о. Никодим[2]. Об этом любвеобильном человеке я слышал еще на пути из Иерусалима, почему и направил свои стопы прежде всего в монастырь св. великомученика Пантелеймона, чтобы от о. Никодима испросить благословение остаться навсегда на Святой Горе Афонской. Но в Пантелеймоновском монастыре, как большом и шумном, у меня не было намерения оставаться.

О. Никодима я удостоился увидать в самый день моего приезда, и, действительно, старец поразил меня своею любовью. Рассказал я ему вкратце свое положение, объяснил ему, что предпочитаю стать бродягою на Св. Горе, чем вернуться обратно в мір, и в ответ услышал от него такое слово: «Довольно! Клади три поклона перед св. великомучеником Пантелеймоном: отныне ты будешь ему служителем. Господь привел тебя сюда».

И я безропотно решил навсегда остаться в этой обители, привлеченный к ней любовью о. Никодима.

Прибыли мы на Афон в пятницу и в Пантелеймоновском монастыре пробыли до понедельника, а в понедельник, после обеда, о. Никодим отправил нас с монахом С. путешествовать по Св. Горе.

---

[1] Гостиница.

[2] Ныне умерший.

К вечеру мы пришли в Андреевский скит. Ничего я не нашел в нем достопримечательного, кроме грандиозного собора: во всем же остальном этот скит — копия монастыря св. Пантелеймона, только значительно ниже своего оригинала.

На следующий день мы посетили Георгиевскую келью, расположенную у подошвы горы — шпиля. От нее надо было совершить восхождение на вершину Афона. Мне очень не хотелось этого, тем более что трудность восхождения не окупалась красотою видов, так как шпиль Афонской горы почти всегда покрыт облаками и туманами. И действительно, очень крутой подъем на шпиль оказался крайне затруднительным и продолжался около трех часов, измучивши меня до того, что пот лил с меня градом, когда я и мои спутники добрались наконец до вершины, где мы увидели греческую церковь, по обыкновению бедную и неопрятную, как и все доселе виденные мною греческие церкви. В этой церкви мы прочитали акафист Покрову Пресвятыя Богородицы.

Если подъем на гору был тяжел, то спуск был прямо ужасен, угрожал нам ежеминутно падением в пропасть и конечною гибелью. Но, слава Богу, спустились мы благополучно, употребив на спуск около двух часов. Видов из-за тумана никаких не видали, да и ничего, кроме камней, холодных и бесплодных, тоже не видели, ибо растительности сверху, кроме редких цветов по расщелинам, нет никакой.

После спуска зашли в Георгиевский монастырь; оттуда, подкрепившись пищею, отправились в греческий Афанасьевский монастырь и в нем ночевали. Наутро пошли на источник св. Афанасия, явившийся по повелению Царицы Небесной, и в его святых, чистых струях удостоились омыться. Какое обилие воды! И что за вода! — светла, как хрусталь, и сладка, как манна. Все поклонники были необычайно утешены и со свежими силами двинулись оттуда в греческий Иверский монастырь, где слушали

обедню и прикладывались к чудотворной Иверской иконе Божией Матери, Вратарницы Афонской и Московской Заступницы, красы Первопрестольной. Икона эта невольно вызывала во мне воспоминание о недавно покинутой мною Москве, об оставленных в ней близких...

Облобызав несколько раз с умиленными слезами эту святыню, отслужили перед нею молебен, приложились к почивающим в обители мощам и к обеду отправились в Артемьевскую пустынь. Чудная пустынь — чистенькая, приветливая, хлебосольная!..

Ильинский скит, куда мы прибыли к поздней обедне, был последним этапом, где наше общее путешествие кончилось. Отсюда я с одним из своих спутников отправился в Сретенскую пустынь, до которой от Андреевского скита не более получаса ходьбы. Там я должен был встретиться с о. В., подвижником этой пустыни, с которым я познакомился в пути от Одессы и который звал меня в свою обитель с тем, чтобы в ней и обосноваться для монашеского подвига. К великому нашему горю о. В. не было дома: он уехал по делам в Солунь. Вероятно, насельники его келлии были уже им предупреждены о возможности нашего прихода, ибо нас приняли так радушно, что мы забыли даже и об о. В., и о неудавшемся с ним свидании. Впечатление и от пустыни, и от братии было самое лучшее; к тому же и местоположение с чудным видом на Андреевский скит и Карею нам чрезвычайно понравилось.

В пустыни находится небольшое жилое здание, ветхое, но уютное, окруженное хорошим, хотя тоже небольшим, садом и огородом. На всем какой-то семейный, а не казенный отпечаток. Есть церковь, есть звонница, трапезная и другие монастырские постройки, как и в больших монастырях. Служба отправляется тоже по чину больших афонских обителей.

Пока нам готовили чай, мы, по предложению заместителя старца о. В., диакона, молодого и очень добросердечного человека, осматривали пустынь, которая на нас

произвела самое отрадное впечатление. Церковка маленькая, человек на пятнадцать, но чистенькая и убранная с необыкновенной любовью. Все было дешевенькое, но все блистало чистотой и благоговеинством. И пришло мне на ум: не такова ли была первая церковь апостольская? Не здесь ли любовь неотпадающая? Не здесь ли братское между собою единение? Не здесь ли все общее, един дух и едино сердце?.. Но как узнать это?..

Трапезная устроена также человек на пятнадцать. И в ней тоже чистота отменная. Вся она украшена священными изображениями. Келлии маленькие — с трудом поместиться одному. Настоятельская келья побольше, но все-таки не более как на полтора человека. В ней меня и поместили на ночь.

На кровать старца я, однако, не посмел лечь, под свой ночлег занял то место в келье, которое могло быть занято только полчеловеком; на нем я и устроился, хотя и не без труда, но спал отлично.

Наутро о. диакон водил нас осматривать сад и огород. Всего понемногу, но все там есть: и виноградник, и плантация масличных деревьев, и смоковницы, и другие фруктовые деревья. Мы видели также небольшой источник ключевой воды с резервуаром.

Но вот нас попросили на террасу к чаю, который был подан с отличным свежим вареньем и вкусным белым хлебом. Поблагодушествовав за чаем, мы с о. диаконом пошли в церковь, где он начал править вечерню со своими и с соседними келлиотами. Это было под воскресенье.

После вечерни нас опять пригласили на трапезу. Все было приготовлено замечательно вкусно. Трапеза состояла из трех блюд, подаваемых прямо с огня. Видно было, что готовил мастер своего дела. С тех пор как мы уехали из дома, мы ничего подобного не только не ели, но и не видали. Потеряв тут меру строгого монашеского правила, мы, не стесняясь, уписывали предлагаемое. Отцы поощряли нас, подкладывали и подливали; и оказалась

трапеза наша более чем обильной по вине все того же искусника-повара, живавшего, оказывается, в міру в лучших кухнях. Много мы были ему благодарны за угощение. В пустыне он живет первый год.

После трапезы мы пошли с о. диаконом в церковь править повечерие, после которого нам было предложено подкрепиться сном, а сам о. диакон отправился просить священника, чтобы наутро ради воскресного дня служить утреню и литургию.

Утреня была в 2 часа ночи, а за нею вслед обедня, отслуженная очень парадно, с красным звоном и с певцами из других келлий. Товарищ мой был от всего в полном восторге.

По окончании службы нас попросили к чаю. С нами были приглашены и служивший священник, и гости, монахи-келлиоты. Все были одеты чисто, по-праздничному. У всех монахов были приятные, простые, добродушные лица.

Хорошо нам было в этом обществе!..

После чаю все отправились на трапезу, где все вели себя чинно, но вместе с тем и вполне непринужденно, весело, по-праздничному. Обед состоял из трех блюд, великолепно приготовленных, и с хорошим вином в изобилии. В заключение нам двоим подали чай с душистым вареньем и сдобными баранками. Потом мы с соседским священником, служившим в келлии литургию, опять сходили в церковь, где кое-что пропели и сделали отпуст. Мы не находили слов благодарности за такой радушный прием. Монахи дали нам провожатого, и мы с большим сожалением расстались с этим благословенным уютным уголком.

Когда из паломничества по афонским святыням мы вернулись в Пантелеймоновский монастырь, то там нам было объяснено, чтобы мы с понедельника начали говеть к четвергу для приобщения в этот день Св. Христовых Таин. В этот же четверг желающие могли отправиться на пароходе в Одессу.

В четверг я приобщался за ранней обедней на фондарике, в церкви Преображения Господня.

После обедни о. Никодим отслужил отъезжающим поклонникам напутственный молебен, после которого сказал им теплое прощальное слово. Потом была трапеза, после которой о. Никодим принимал всех отъезжающих у себя в келье. Всем им он надавал и книг, и икон на благословение и вновь сказал несколько задушевных слов. После благословения у себя в келье о. Никодим повел поклонников к о. Архимандриту, где они все до единого вновь получили благословение и книгами, и иконами, и просфорами. Надо было видеть восторг поклонников от всей этой благодати!

В 4 часа отъезжавшим была предложена вторая трапеза, после которой они отправились на пристань Дафну, находящуюся в пяти верстах от Пантелеймоновского монастыря, чтобы там сесть на пароход, отправляющийся в Одессу.

В местной монастырской бухте к 6 часам вечера, 19 мая 1905 года, уже была готова к отплытию в Дафну флотилия монастыря. На баркас и две лодки уселись около трехсот паломников. Багаж их уже был уложен раньше. Общий любимец всех поклонников, о. Никодим, сам вышел их провожать. И тут происходили умилительные сцены прощания. Энтузиазму, казалось, не было предела.

«Прощай, дорогой Афон! Прощай, дорогой отец Никодим! — раздавались крики. — Благослови нас, чтобы благодать Афонской горы пребывала всегда с нами и с нашими близкими!»

Пока готовились отчаливать, некоторые по нескольку раз выходили из лодки, чтобы передать что-либо о. Никодиму или еще раз принять от него благословение, поцеловать еще раз его руку и одежду. И он с неиссякаемой любовью отверзал свои объятия всякому из случайных духовных чад своих, которых отпускал теперь с благословенного Афона в далекую Россию... А что делалось в лодках, того и не изобразить пером! Все друг перед другом

старались погромче, чтобы быть услышанными, прокричать свой прощальный привет Афону и святому старцу:

«Прощайте! Благословите!»

Умилительная картина! У многих отъезжающих текли слезы.

«Благослови, о. Никодим, отчалить!» — крикнул вахтенный.

О. Никодим поднял руку и благословил: «Отдай!»

И с этим словом отданы были чалки, буксирный пароходик запыхтел, закачались лодки — и флотилия двинулась. Паломники запели пасхальные стихиры и стали медленно удаляться от берега.

В день причастия, ради величия Таинства, я стараюсь безмолвствовать. Но как было тут безмолвствовать, когда с отъездом двух моих товарищей по путешествию порывались для меня последние две ниточки, связывавшие меня с дорогой моей родиной, с Россией?! Они стояли в лодке, на виду у меня, и делали мне рукой прощальные знаки. На сердце у меня защипало, холодом одинокой тоски повеяло в душе, но, с Божией помощью, я скоро оправился и предал себя всецело в волю Божию.

Скоро утешил меня Господь: с пятницы на субботу, во время обедни, отвели меня к о. архимандриту Нифонту. Он вежливо, но кратко спросил меня, что мне нужно. Я ему ответил довольно несвязно, что хочу монашества. Он спросил: почему? И задал еще несколько кратких вопросов. Затем благословил и сказал, что примет.

— Седмицу, — сказал он, — походите по монастырю.

— Нельзя ли поскорее?

— Хорошо! — ответил он.

Я поклонился и, утешенный, вышел. Все представление о. Архимандриту, решавшее, казалось, всю мою судьбу, продолжалось не более 2–3 минут.

Вместо седмицы прошло почти полторы.

Через полторы недели, в среду, меня опять повели к о. Нифонту. Раньше меня принял благословение на поступление в монастырь один нижегородский старик, из

богомолов. О. Архимандрит послал его на послушание в красильню. Давая мне благословение после него, о. Архимандрит сказал:

— И вы тоже пойдете в красильню.

Вот сегодня, в четверг, 2 июня 1905 года, отведут меня, раба Божия Димитрия, на место моего монастырского послушания, начала моего монашеского подвига. Что ждет меня? Прощай, брат мой Ваня, прощай, сестра, прощай, вся семья Ванина, такая мне дорогая и близкая!.. Конечно, ничто меня не смущает, я на раны готов: сам препоясываться не хочу — пусть Он, Господь мой, Сам меня препояшет и ведет. Всему я очень рад. Наконец-то наступило время служения моего Богу безраздельно! Какое бы ни назначили мне послушание — почетное или унизительное — Его святая воля да будет! Желал бы я только одного, чтобы время не тратилось без пользы для монастыря и спасения моей души и чтобы Бог помог приладиться к послушанию да чтобы уж не слишком ломался внутренний строй моей жизни.

Царица моя Всеблагая во всем заступит и вразумит меня. Ей, Премилостивой, себя я поручаю в святом жребии Ея Афонском...

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

Сегодня благочинный, о. Д., при о. Архимандрите, отвел меня и старика-нижегородца на место послушания к отцу В., заведующему красильной. Благочинный заставил нас сделать по два поклона перед иконами, а третий отцу В. При этом о. благочинный посмотрел на меня и изрек:

— Как я тебя провижу, не прожить тебе здесь более двух недель!

Горько мне стало. Да не будет сего!

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

О. В. отпустил нас до вторника. В субботу, под Троицу, Бог сподобил меня причаститься в Покровском соборе. Бдение под Троицын день совершалось по новому

афонскому уставу от 12 часов ночи до 10 часов утра. На этот раз Господь привел стоять без особого труда. Парадная вечерня совершалась в 4 часа пополудни с коленопреклонением, а повечерие — с чтением акафиста Пресвятой Троице.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сегодня вторник, 7 июня, день начала моего послушания. Я встретил его совершенно спокойно. Был в церкви и после ранней обедни, в 12 часов дня, представился отцу В. как его послушник. Со мной пришел и старик-нижегородец. О. В. ласково к нам отнесся и поручил своему монаху отвести на трапезу и накормить (трапеза мастеров бывает раньше общей).

Первое послушание нами выполнено было блистательно.

Затем нас одели в рабочую монашескую одежду, надели на голову войлочный черепенник, дали маленькую краскотерку и заставили тереть краски. Это было мне по силам. Затем, когда я стер краски, заставили таскать щелочную золу. Это уж мне не было по духу, но я и это послушание понес без ропота, убеждая себя, что послушание есть венец монашеских подвигов. Тут за стариком-товарищем пришел благочинный и перевел на другое послушание.

На другой день, в среду, таскал в сарай сено с монастырской пристани.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Трудно мне привыкать к моему послушанию: оно грязно и непосильно — тяжело для меня; здоровье мое мне не позволяет быть на черных работах. Но во всем полагаюсь на Царицу Небесную. Решил терпеть даже до крови.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Благочинные не скупятся на дерзкие выговоры: каждый день я получаю их в изрядной порции. Для новоначальных, быть может, это и требуется, но для меня трудно переваримо: такое обращение противоречит словам послания св. апостола Павла — *вы, духовные, исправляйте таковых духом кротости, все любовию у вас да бывает* или — *носите немощных немощи...*

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Решился отправиться к о. Архимандриту просить облечь в послушническую одежду и дать келью. Едва до него добрался. Меня, кажется, от него оттирают. Не успел и рта я разинуть, как о. Нифонт сейчас же приказал выдать мне одежду, но насчет кельи вопроса не решил.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

19 июня оделся в послушническую одежду и на этот же день получил записку о переводе меня в канцелярию, под начальство к отцу С. Тут уже совсем другая атмосфера: писаря — народ деликатного обращения, и если куснут, то с вежливостью и исподтишка.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Атмосфера в канцелярии другая, а люди-то всё те же. Главный наш всех порок — болезненно развитое самомнение и самолюбие; все — учителя, и никому не хочется учиться. В солдатах, в новобранцах, мне приходилось испытывать нечто подобное тому, что довелось понести в канцелярии. Казалось бы, что общего? А между тем всё то же: внешний устав соблюдается, снаружи благочинно, а любви нет. Благодарение Господу, старец-начальник, о. С., человек, кажется, кроткий, доступный и снисходительный, да кроме того и тактичный, ибо умеет улаживать отношения и приводить к миру.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Понемногу начинаю свыкаться со своим писарским званием. На товарищей стараюсь меньше обращать внимания, а все-таки тяжело за себя и за них.

Где цель наша — искание чистого монашества? Вечно в пересудах, зависти, нелюбовности; всё думаем о себе, что мы нечто, тогда как мы ничто без руководящего нас Господа.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Надоедают послушания во время утрени на кухне, надоедают и не нравятся. Кроме того, отрывают и на иные послушания: то в прачечную, то на кладбище, то в усыпальницу, куда кладут черепа и кости, отрываемые из могил после трех лет со дня преставления.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сегодня я был назначен с другими четырьмя братьями сторожить тела двух утонувших по неосторожности в споре рабочих. Это случилось в ночь с 26-го на 27 июня. На горестное и вместе полезное размышление навело меня это послушание. Стоя против трупов, уже смердящих, лежащих на полу в рогожах (здесь так убираются тела усопших), тянул я четки и поминал утопленников — Димитрия и Иоанна. Ужасное совпадение! Это имена — мое и моего брата, о котором болит и плачет мое сердце и которого с волнами житейского моря я теперь оставил бороться без моей помощи. И нужно же было из тысячи Пантелеймоновских монахов попасть на это послушание мне!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Но не все для меня темно в обители, много и свету в ней для моего измученного сердца: постоянно, когда не на послушании, в церкви; благочестие и религиозность не вышучиваются, как в міру, и не высмеиваются. Приобщаться новоначальных обязывают раз в каждые две недели. Монахи причащаются еженедельно. Это ли не милость?

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

С радостью примечаю, что раздражительность моя начинает ослабевать и на ее место водворяется мир, почти ненарушимый; совесть уязвляется реже, мирской мятеж слабо отражается в сердце, несмотря на то что из России доходят слухи о наших тяжких поражениях на Дальнем Востоке, о буйствах внутри родной страны, в Одессе в особенности. Волнует это все душу, но только пока слушаешь сообщение... А у меня не пылка ли любовь к родине! Но предаешь и себя, и все Богу и становишься опять мирен.

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

24 июня приобщался Св. Христовых Таин. Вот уже с Троицы не пью чаю во избежание простуды. Здесь многие болеют от простуды, несмотря на стоящие жары... Присматриваясь построже к своей духовной жизни, убеждаюсь, что она у меня замерла и в обитель Царицы Небесной и св. великомученика Пантелеймона я прибыл как раз вовремя, а то нельзя было бы уж и возбудить к жизни мою омертвевшую душу. Да и теперь — дышит ли еще она? Жива ли? Чуть слышно мне биение ее пульса. А мусору-то, мусору-то сколько! Много нужно поработать, чтобы очистить всю грязь и копоть греховную и воскликнуть вместе с пророком: *Жив Господь, и жива душа моя!*

Помилуй меня, Господи!

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

Кроме главного моего писарского занятия, идут своим чередом и неожиданно на меня налагаемые частные послушания: сегодня — уборка в трапезной, а 30-го читал Псалтирь по усопшим. Благодарение Господу, житейские мои скорби и превратности приучили меня к терпению, а то бы не вынести этой монашеской пробы моего характера. О. о. благочинные ни одного дня не пропускают без выговора в самой грубой форме то за поклоны, то за шапку, которую забываю вовремя снять в церкви

во время Богослужения. Все это — мелочи, но они раздражают и повергают в некоторое расслабление и даже уныние. Может быть, такое обращение и правильно — судить не берусь, — но я покоряюсь ему с большим принуждением и очень смущаюсь. По-моему, оно не отвечает учению свв. Отцов и руководителей монашеской жизни; нетактично и неспасительно применять ко всем без различия такую грубую, озлобляющую систему духовного воспитания. Я пришел в монастырь закаленным злобою міра, от скорби великия, а то бы исполнилось на мне предречение благочинного о. Д.: не прожил бы я и двух недель в обители...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Время идет невидно: работа и передышка следуют друг за другом; некогда даже и на афонскую природу полюбоваться. Все имеет свою хорошую и дурную сторону: хорошо на Афоне, но много и тяжелого...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

27 июня, в 5 часов утра по местному времени (по нашему в половине первого ночи), было довольно сильное землетрясение. Я спал и проснулся, не понимая, в чем дело. Повернулся на другой бок и заснул, избежав тем тягостного страха и волнения. Говорят, такие землетрясения на Афоне бывают довольно часто. Найдется, кроме того, и другое кое-что — частые разбои и нападения греков на русских келлиотов...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Все неприятности с Божией помощию переношу благодушно. Нашлись и благодетели, которые ободряют меня. «Все пройдет», — говорят они и называют новоначалие в монастыре временем самого тяжелого искуса. Обещают скорое пострижение.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Это время (по 8 июля) шло мирно. Кроме писарского, других послушаний не нес из-за пореза пальца на левой руке. Только в прачечной, где я в первый раз мыл свое белье, произошло у меня легкое столкновение. Простое это дело — стирка, но к нему все-таки нужно приспособиться. Расположение духа было неважное. Попросил у одного молодого монаха указания, как приступить к этому новому для меня делу, и получил насмешливый ответ:

— Сам узнаешь!

Этого было довольно, чтобы лишить меня мирности, и я ответил ему дерзкой фразой. Мы побранились, к счастью, не слишком горячо. Горечь этого события сменилась вскоре удовольствием: первый опыт стирки прошел довольно удачно, и белье мое мне показалось довольно чистым.

Мытье белья здесь обязательно для всех, даже для старцев-иеромонахов. За деньги здесь ничего не делают, и я уже второй месяц не знаю употребления денег и их совсем у себя не имею.

Это ли не рай на земле?!

Сегодня, 8 июля, в день Казанской Божией Матери я сподобился причаститься Св. Христовых Таин и теперь благодушествую в ожидании перехода из фондарика (гостиницы) в свою келью в монастыре. Время идет, но перемен в моей жизни не видится. У служб бываю только у литургии и повечерия: остальные службы заменяют послушаниями, чаще всего приходится быть на кухне. Послушание это тяжелое и грязное, да кроме того дышишь плохим воздухом.

* * *

С большим интересом ожидал я главного монастырского праздника св. великомученника Пантелеймона. Перед праздником в монастыре всё мылось, прибиралось и чистилось для встречи гостей. Гости эти — большею частью почетные монахи Св. Горы, их приближенные и сиро-

махи, т. е. пустынники, живущие в самых диких местах Афона.

Гости прибыли в монастырь накануне праздника, утром.

Их встречал о. настоятель с братиею торжественно, колокольным звоном и ружейной пальбой. Гостей собралось около тысячи. Это была как туча черная. Вид сиромахов был ужасен: худые, бледные, изможденные; одежда рваная... Между ними попадались и иконописные лики маститых старцев, как видно, не вотще текущих.

С назначением меня к пожарным рукавам для поливки монастыря во время вечерни наблюдения мои кончились. Я не видел знаменитого бдения, начинающегося в полночь и оканчивающегося почти в полдень: эту ночь и утро я провел на послушании в кухне. От ранней обедни на самый день праздника я тоже был отправлен до вечера на кухню, и это меня очень огорчило.

В день этот мне пришлось участвовать в кормлении сиромахов. Они с жадностью набрасывались на всякую пищу, какая только им ни попадала под руку. Монахи с ними обращаются с большим пренебрежением, не как с гостями, а как с презренными нищими, едва не толкая их по шее. Терпению и выносливости их я удивлялся. Покормивши их, им дали денег, и к вечеру во всем монастыре уже не оставалось ни одного сиромаха.

На второй день праздника монастырская жизнь потекла своим обычным порядком.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

За время моего пребывания в обители со мною случилось два серьезных искушения: заели было паразиты и вернулась старая моя болезнь; но милосердием Божиим оба эти искушения скоро меня оставили. Много меня в это время утешал о. Никодим.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

На этих днях меня освободили от частных послушаний. Это громадная для меня льгота.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сегодня, 11 августа, через о. В. из Сретенской кельи получил письмо от сестры из России: брат мой, Ваня, умер. Это известие меня как громом поразило. Первою моею мыслью было сейчас же лететь утешать сирот и заменить им собою отца. Но подумал и решил предать и их, и себя в волю Божию.

Господи! Не до конца прогневайся на нас, не погуби нас с беззакониями нашими. Обрати, Господи, гнев Твой на милость, не помяни грех юности нашей и неведения нашего, Человеколюбче!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Вот уже несколько дней прошло, как я получил келью и ключ от нее. Остается испросить благословение настоятеля побелить и переходить. Что будет мне келья эта: гроб ли или добрая жизнь?

Пресвятая Богородице, помоги!

На Преображение приобщался Св. Христовых Таин и, кажется, утолил несколько скорбь об умершем брате. Но что будет с сестрою нашей, что будет с сиротами?..

Сегодня понедельник, 22 августа. Перебрался в келью. По первому впечатлению, хорошо. Размеры кельи $5^1/_2$ аршин на $3^1/_2$. Внутри обелена известкой; мебель деревянная: кухонный стол, крашеный, внизу шкафчик, табурет, шкаф с занавеской для платья, кровать — доски на козлах — вот и всё, да больше ничего и не нужно.

Но вскоре обнаружились и неудобства: единственное окно моей кельи выходит к конюшням и помещениям наемных рабочих. Несмолкаемый их говор и крики мулов — это неприятно, да кроме того и помещение-то мое находится вне монастырской ограды. Самого-то главного и дорогого — монастырской тишины — я, оказывается, и ли-

шен, да к тому же и удален от центра всей своей деятельности, которая вся проходит внутри обители. Говорят еще, что в холодное время вредный ветер дует именно с той стороны, куда выходит единственное окно моего помещения. Пока это еще не страшно: хотя и 1 сентября, но жара стоит невообразимая, и солнце палит ужасно. И такая-то погода стоит с мая, от которого до сих пор было не более двух-трех дождей. Ежедневная температура — от 35 до 40°. Для меня это невыносимо. Хорошо еще, что по временам дует прохладный горный ветер.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Масса больных дизентерией и другими болезнями. Больницы переполнены до того, что уже нет места для новых больных. Трудненек мне Афон, но Царица Небесная не дает совсем падать духом. Все мои старые болезни, которые я когда-либо имел, здесь все ополчились на меня сразу, как грозные кредиторы, с неутолимым требованием расплаты. Невольно напрашивается мысль: на что я годен? Работать не могу, писать трудно, петь и читать вредно. То не могу, то не умею, то вредно — весь немощен, весь ни к чему не потребен. Хочу носить немощи других, а сам для них являюсь бременем.

Но не в немощах ли наших сила Божия совершается?!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Вот уже и 18 сентября. Вчера приобщился Св. Христовых Таин. Какое истинное утешение и благо! Его не заменить никакими земными благополучиями и утехами...

Вчера вспоминал молитвенно моих имениниц и крестниц — дочерей моего усопшего брата, а с ними и других близких. Болезненно заныло мое сердце при этом воспоминании: что теперь с ними?

Здоровье мое несколько улучшилось.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

На днях ходил на виноградники, принадлежащие Пантелеймоновскому монастырю, для резания винограда. На это послушание, по обычаю, ходят все монахи — и старые, и молодые — как на прогулку. Этим послушанием я остался очень доволен. Завтра отправлюсь в дальние келлии монастыря на 3 дня резать виноград.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2 октября. Вот уже второй день и Покрова. Это местный праздник, подобный дню св. великомученика Пантелеймона, но почему-то без особенной сутолоки. И этот праздник прошел торжественно и спокойно.

Накануне праздника, в 2 часа пополудни, прибыл настоятель Андреевского скита и с ним братии до десяти монахов. Встретили их со звоном, со славою, ввели в Пантелеймоновский собор, отслужили краткий молебен, а затем проводили на покой в царский фондарик, где гостям было предложено угощение. Здесь с давних пор заведено, что во время праздников настоятели обоих монастырей замещают друг друга для совершения Богослужения: Пантелеймоновские праздники служит в Пантелеймоновском монастыре Андреевский настоятель, а Андреевские в Андреевском — наш о. архимандрит Нифонт.

Сиромахи уже с утра толпились в нетерпеливом ожидании удовлетворения главного и неизменного их кредитора — чрева.

Увы, увы! Насколько велико здесь стремление к удовлетворению телесных потребностей, физического голода, настолько мал запрос на духовное питание. У всех на уме трапеза и «утешение» — сухарики, бараночки, конфеты, сливочное масло, яблоки, всякие сласти и... вино.

Чрево и самолюбие — это две главные пружины афонской жизни; все остальное, чем жива душа человека, замерло. Есть, конечно, и добре подвизающиеся, — иначе бы

не стоять Афону, — но их не видно, они скрывают себя, и я их не знаю.

Поживу подольше, может быть, и увижу...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Накануне праздника меня назначили в чайную, чтобы поить сиромахов, а после них арагатов[1]. Сиромахов пришло на праздник человек триста. Были и молодые, и старые — и те, и другие оборванные и худые как скелеты. Аппетит у них волчий. Они пили чай с неимоверной жадностью и все умоляли подбавлять сухарей из белого хлеба, которых им разнесли несколько больших мешков. Чаю они выпили неисчислимое количество. Нас, служащих, было десять человек, и мы едва успевали подавать, несмотря на то что чай с сахаром уже заранее был приготовлен в больших котлах, и наше дело было только разливать готовое. Бог с ними! Эти были хоть благодарны. Не то арагаты: им ничем нельзя было угодить, и они пили и ели чуть не с проклятием.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

6 октября. Погода здесь, как у нас в августе.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

24 октября тихо и безболезненно скончался праведной кончиной Архимандрит Нифонт. Несколько раз приобщался и был пособорован. Царство ему небесное! К телу Архимандрита прикладывались монахи, был допущен и я. Лежит он на диване в своей келье, в обстановке довольно бедной, в монашеском келейном одеянии, совершенно как живой.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Прислушиваюсь к разговорам и толкам, вызванным кончиной настоятеля, и вывожу заключение, что мы

---

[1] Монастырских рабочих.

точно не аввы лишились, а какого-то дальнего родственника: большинство совершенно равнодушно, были бы и еще равнодушнее, если бы не неожиданность кончины. Шел толк о том, какие будут гости да какое будет угощение. Смущает это меня, немощного.

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

26 октября. Сегодня на день моего Ангела, св. великомученика Димитрия Солунского, удостоился причаститься Св. Таин. Кончилась служба в храме, где я был, а через полчаса кончилась и литургия в Покровском соборе, где стояло тело почившего нашего настоятеля. Из Покровского собора тело после литургии было перенесено в Пантелеймоновский, где полагается отпевать всю старшую братию. Монашествующего люда собралось множество во главе с архиереем, несколькими архимандритами и игуменами. Картина отпевания была торжественная. При перенесении тела из собора в собор производилось фотографирование процессии.

Блажен почивший, избежавший бедствий, грядущих на вселенную, в частности — на начальников монастырей! У меня невольно вырвалось восклицание: «Блаженны умирающие о Господе!..»

Отпевание длилось около трех часов. Поминальная трапеза началась только в пятом часу, и ею закончилось земное странствование архимандрита Нифонта.

После вечерни я пришел в свою келью и поблагодарил Бога за то, что день моего Ангела прошел так мирно и благочестиво. Вспомнилось, что в мiру не так проводился этот день... Нет, в монастыре все-таки лучше!..

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

Наступила ночь. В 4 часа утра я лег спать. Только что я заснул, как проснулся от страшного стука, повторившегося два раза: это, как оказалось, бушевал психически больной, живущий в нашем коридоре. Какое-то смутное

беспокойство закралось мне в сердце, но я все-таки вновь заснул на короткое время. Без четверти шесть я проснулся, но по лености своей опять лег, хотя до заутрени оставался только час, и его надо было употребить на канон. Без четверти семь я снова проснулся и только хотел было встать, как — о ужас! — затряслось все наше здание и запрыгали в моей комнате все предметы, как живые. Я вскочил и бросился на колени пред образом Спасителя, затем стремглав побежал в собор к утрени, чтобы хоть там обрести себе успокоение, ибо страшно был испуган. На этот раз все монашествующие, без отсталых, были в храме, и все в великом страхе. И было с чего: живущие более 40 лет в монастыре старцы говорят, что таких толчков они еще не испытывали на Афоне.

Перед началом утрени затряслось опять, но толчки были слабее. К общему удовольствию, вместо утрени начали служить молебен Божией Матери. Всем хотелось молиться, и молебен на всех подействовал успокоительно. Но вот пошли опять толчки все сильнее и сильнее; заколебалось и застучало здание храма, в котором мы молились. Но все-таки и это землетрясение не было сильным. После молебна началась утреня, во время которой толчки повторялись. Молодежь едва владела собою, но старцы были довольно спокойны... Толчки продолжались, но легкие... Вот тут-то и постиг я впервые отчетливо-ясно все непостоянство и суетность земного...

Только что возгласили: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим», — как ударил такой сильный толчок, что тут и старые, и молодые — все утратили душевное равновесие и устрашились. И было с чего, когда на наших глазах стали расседаться своды, а в алтаре из куполов посыпалась штукатурка и полетели кирпичи.

— Вот и конец тут всему!..

Сердце заколотилось в груди, готовое из нее вырваться.

Утреня прервалась. Диакон взволнованным голосом стал тянуть четку:

— Пресвятая Богородице, спаси нас!

Все стали метать поклоны. После сотницы стали продолжать утреню и, слава Богу, окончили ее благополучно. Толчки повторялись, но уже не такие сильные.

После утрени во всех храмах начались ранние обедни, а после них назначен был крестный ход вокруг монастыря. Во время ранней обедни был изрядный толчок, а затем все стихло.

В начале второго часа дня ударили в колокол в крестном ходу. Монахи собрались все до единого, и начались толки: один рассказывал, что видел знаменательный сон; другой, что это землетрясение было предсказано каким-то подвижником и т. д., и т. д. Стенные часы, оказывается, остановились у всех вместе с курантами на колокольне.

Крестный ход окончился благополучно, хотя почва все еще продолжала колебаться, но не сильно, не угрожающе. В 6 часов вечера все утихло, и все приступили к обычным своим занятиям.

В 8 часов вечера вновь начались довольно сильные толчки, и земля опять заколебалась, и опять всеми овладел жуткий страх. Под землей слышался гул. По монастырю всюду повреждены храмы и здания, сломаны дымоходные трубы, съехали черепичные кровли, своды и стены дали значительные трещины. Со всей горы идут известия о катастрофе, сопровождаемой повсеместным разрушением. Страшно!

На повечерии опять сильно трясло, но только с расстановкой. После службы мало кто и пошел на отдых в свои кельи, боясь оказаться погребенным под их развалинами. Нервы у всех были напряжены до последней степени. Некоторые монахи ночь провели в кущах, а кто пошел в свою келью, тот не спал. Я часочка два от сильного утомления успел вздремнуть, хотя небольшое трясение продолжалось еще всю ночь. Понемногу даже и к нему

начинали привыкать, но спокойствие едва ли кому удалось вернуть.

28 октября опять трясло и за заутреней, и за ранней обедней. В трапезе на три дня назначили пост. На занятия явились, но без всякой энергии — у всех руки точно отвалились. Земля все еще колебалась. В 10 часов вечера был опять сильный толчок, за повечерием тоже. Эту ночь опять провели без сна. Толчки продолжались всю ночь.

Так же беспокойно прошел и день 29 октября. 30-е пришлось на воскресенье. Назначено бдение и крестный ход. Слава Богу, воскресный день прошел благополучно.

Общее несчастье благотворно отозвалось на взаимоотношениях старшей и младшей братии: сразу установилось нечто вроде равенства и братолюбия, чего до землетрясения не было и в помине, ибо послушники и монахи, иеромонахи в особенности, отстояли друг от друга, яко востоцы от запад.

Пришел пароход из России, и с ним прибыли новости одна хуже другой: в Одессе будто бы перебили уже более тысячи евреев; Царь подписал якобы конституцию; будто рвут и предают поруганию царские портреты. Не хочу верить всем этим мерзостям, не хочу о них и слышать; предпочитаю не удовлетворять возбужденного любопытства и умолять Господа о ниспослании сынам России Духа Божия, Духа разума, Духа ведения и благочестия, дабы прекратилось нестроение вражие на дорогой моей родине.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Легкие колебания продолжались 31 октября, 1-го и 3 ноября от пяти до шести раз в сутки. С горы идут слухи, что местами будто бы появилась лава и бывает виден вулканический огонь, но эти известия требуют подтверждения. Настроение у всех угнетенное, и оно способствует возникновению всякого рода дурных слухов. Из уст в уста передаются пророчества каких-то старцев о том, что

сильное землетрясение вскоре повторится и разрушит весь Афон.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

6 ноября. Землетрясение все еще продолжается до сего дня. Примечательно, что сильные точки бывают через определенные промежутки времени: в час пополуночи, после повечерия и в 7–8 часов утра, во время заутрени. Когда происходят такие толчки, то все здание трясется.

Погода у нас стоит все время теплая: ходим в летней одежде и в кельях все окна открыты. А в Москве уже, наверно, теперь зима.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

7 ноября. Слава и благодарение Богу и Царице небесе и земли: ни вчера вечером, ни сегодня не было больше колебаний почвы, не было и зловещего подземного гула, который не умолкал все время и наводил ужас на всех нас, грешных.

Сегодня торжественно, с красным звоном встретили нового нашего настоятеля, бывшего наместником и настоятелем на Одесском подворье. Имя его — Мисаил. Он приветлив, обращение его простое, но держит себя с достоинством, по-архимандритски. С его приездом стало как-то спокойнее на душе: случись опять землетрясение, и оно, кажется, не показалось бы таким страшным. Таково влияние на человеческую душу законной власти.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

16 ноября. До сегодняшнего дня все было почти спокойно. Если и бывали подземные толчки, то такие легкие, что даже не всем были заметны. Но вот сегодня в $4^1/_2$ часа утра опять началось сильное землетрясение. Я спал и проснулся оттого, что подо мной в буквальном смысле слова запрыгало мое ложе. Здание потрясалось, вываливались кирпичи, стены дали трещины. Не более 20 секунд

продолжалась эта встряска, но, как потом оказалось, она причинила огромные бедствия на всей горе Афонской и сопровождалась даже человеческими жертвами: в Иверском монастыре, в монастыре св. Анны было убито свалившимися с гор камнями несколько человек рыбаков. Камнями же было повреждено и даже совсем разрушено много калибок, т. е. маленьких келлий, в которых проживало по одному, по два монаха.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Опять стало тихо. Толчки не повторяются, но зато из России доходят страшные известия. Боже, что творится там! Убийства, бунты, кощунства в церквах, осквернение святыни. Куда девалось обезумевшее начальство, покинувшее свои посты? Где власть?.. Как-то вас, моих дорогих, в Москве Господь милует? Неужели мой вопль о вас не дойдет до Господа?

Помилуй и их и меня, Боже, Спасителю мой!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

24 ноября. Все это время было относительно покойно. Сегодня же опять в заутреню, в $6^1/_2$ часов и 8 часов утра, были сильные толчки, повторявшиеся с какой-то резкой отрывистостью. Опять все в страхе. Что же это будет?

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

12 декабря. Опять все спокойно. Но что творится на дорогой нашей родине! Там безумие достигает, кажется, своего предела, того предела, за которым неминуемо должно последовать разрушение русского царства, если только не оглянется Господь...

Увы! И у нас конец покою: сегодня в 9 часов 45 минут вечера вновь было землетрясение, сильное и отрывистое, но повреждений от него не было.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

14 декабря. Подземный гул опять не утихает, и опять трясется земля, хотя и не сильно.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

20 декабря. В нашем коридоре живет монах, по мнению одних — прельщенный, других же — просто сумасшедший. Собирался я сегодня в 3 часа дня идти на послушание и встретил при выходе из кельи этого монаха. Не успел я опомниться, как он подскочил ко мне и ударил с такою силой, что я пошатнулся и упал навзничь, ушиб и оцарапал при падении руку.

«Как ты смеешь меня бить?» — вскричал я и хотел было в свою очередь его ударить, но вместо того дважды осенил его крестным знамением. Монах стоял недвижимо и мне ничего не отвечал. Дело дошло до архимандрита, и ударившего меня монаха отправили в арестное монастырское помещение. Странно: от удара боли нет ни физической, ни нравственной.

Все это неважно. Но вот что важно: плохо духовное мое состояние, есть одно только доброе хотение, а дел не имею и все время творю не то, что хочу, а то, что не хочу, делаю. Время же улетает безвозвратно. Когда же восстану во всеоружии Божием, да освятит мя Христос Бог?..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

11 января 1906 года. Проводили Рождество Христово, новый год, Крещение — эти великие и святые дни для верующих. На Афоне праздники эти — не в церковной, конечно, жизни, а во внешней — мало чем отличаются от обыкновенных дней. Если бы не церковные службы, не календарь да не особые кушанья в трапезной, я бы не заметил и праздников. Не было духа праздничного.

Трапеза была следующая: первое блюдо было греческой кухни. Название его я забыл, но монахи говорили, что кушанье это долго готовится и дорого стоит — 50 копеек на человека. Это какая-то кисло-сладкая размазня острого

вкуса, и состоит из овечьего сыра, разных сортов орехов и других приправ. Мне это блюдо не понравилось. Второе блюдо — «мурун» — белуга, разрубленная на мелкие кусочки, в холодном соусе. При этом каждому полагалось по два апельсина и вино.

Чреву, стало быть, был праздник.

Сегодня был гром и молния, и льет дождь. Это вместо наших крещенских морозов... Землетрясения не было.

Но что в России? До нас доходят слухи, что в Москве совершается невообразимое революционное буйство. Молюсь за вас, мои дорогие, да не коснется вас эта казнь содомская! Где-то теперь вы? Что с вами?..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

20 января. Хочу поскорее связать себя с Афоном. Сегодня представился отцу настоятелю и просил его постричь меня в ближайший постриг, т. е. Великим постом. О. Мисаил советовал обождать еще год. Я настаивал.

— Слова не даю, — сказал мне настоятель, — поговорю со старцами.

Беседу эту я передал о. Никодиму. Он уверил, что постригут обязательно.

Буди на все воля Божия!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Земля, слава Богу, успокоилась, но мое сердце волнуется и едва выносит тот «мiр», который заполонил собою внутреннюю монашескую жизнь, загнав духовность в такой дальний угол, в котором ее и днем с огнем не отыщешь. Афон, Афон! Долго ли еще твоему стоянию потерпит Господь, и не отступает ли уже от тебя благодать Царицы Небесной, обещавшей блюсти тебя до скончания века, пока монахи твои сами блюсти будут во всей святыне свое монашество? Боюсь, что время гнева на тебя уже близко, и не к тому ли заколебалась под тобою с такою силой земля, что дела твои взвешены на весах право-

судия Божия и оказались слишком маловесными? Не за то ли и над сестрой твоей по духу, Россией, уже гремит гроза Господнего гнева, и брат восстает на брата, и льется потоками родная кровь? Не так же ли легковесны стали и твои дела, дорогая моя Родина?

Страшно!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

7 февраля. Вот уже и сырная неделя наступила, в міру «широкая масленица». Здесь ее не заметно. Только сегодня за вечерней поклонами показался пост, Великий и спасительный. Первая его неделя здесь может показаться многим непосильной: первые ее два дня — неядение для всех и только во вторник вечером трапеза, состоящая из ломтя хлеба и смоквы, от среды же и до субботы — сухоядение. Пост я встречаю с радостью, жду благодатной помощи, а также и того, чторечет о мне Господь, ибо желаю Ангельского образа.

Сегодня видел афонскую зиму: в воздухе покрутилось несколько снежинок, да со своей бороды смахнул их две или три — вот и вся зима. Холодновато, но мороза нет.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

12 февраля. Сегодня прощеное воскресение. Вечерня началась ранее обыкновенного — в 8 часов вечера. Необычен здесь час последней перед постом вечерней трапезы, которая бывает в два часа пополуночи. Промежуток времени между вечерней и этой трапезой проводится в хождении по духовным отцам, старцам и всей братии: у всех испрашивается прощение.

В половине второго пополуночи дали повестку на трапезу. Я с большим любопытством поспешил увидеть это, как мне говорили, необычайное зрелище. Действительно, вид ярко освещенной трапезной был великолепен: всюду зажжены фонари, как на иллюминации; множество ярких ламп и кроме того на каждом столе свечи — все это давало столько свету, что едва не ослепляло глаз, отвык-

ших от такого ночного освещения. На столах же были расставлены, по монашескому выражению, «вся благая»: щи из свежей капусты, холодная белуга под соусом (мурун), жареная свежая рыба, по одному вареному яйцу на брата, макароны с овечьим сыром и вино. Братии собралось душ восемьсот. Необычайно было видеть при таком ярком свете среди ночи черные фигуры пирующих монахов.

После ночного пира все отправились в Покровский собор для прощения с о. настоятелем и взаимно друг с другом. Кто не видал этого прощения, тот не может себе представить его умилительности. Меня этот древний монашеский обычай тронул до слез.

Это было одним из немногих моих истинно духовных впечатлений за все время моего пребывания на Афоне, и красота его сохранится моим сердцем на всю жизнь, где бы ни довелось мне ее окончить.

После прощения в канцелярии, на месте моего послушания, нам, канцеляристам, был предложен чай. Ровно в четыре часа утра все закончилось, и я отправился в свою келью на отдых до 8 часов утра.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

25 февраля. Вот и вторая неделя Великого поста. Всю первую неделю я провел без пищи и неопустительно посещал все службы. Занятий по послушанию ни у кого не было. Подвиг поста и молитвы мне здесь дался легко, и потому-то, должно быть, не было получено мною всей полноты того духовного утешения, какое, бывало, я получал, когда пост доставался мне с большим трудом. За легкий труд, видно, и малое вознаграждение... Теперь, во время поста, буду причащаться Св. Таин еженедельно. Великая это для меня милость, которой и цены нет на этом свете!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

19 марта. Сегодня годовщина тому, как я, бросив свое дело, уехал из Москвы, и поезд уносил меня в Киев. По настоянию своего духовного отца, о. Никодима, три раза был у настоятеля, прося постричь, но всякий раз получал неопределенный ответ. А мне-то так хочется поскорее скрепить свой союз с Афоном!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

27 марта. Вот и Страстная, великая и святая седмица. Правило этой недели то же, что и первой. Послушания прекратились, и всем предложено заняться «единым на потребу».

На днях было легкое землетрясение, но это здесь считается обычным делом.

Христос воскресе!

С вечера было чтение Деяний свв. апостолов до 4 часов. В 3 часа начали освещать храм, и о. архимандрит каждому благословлял, т. е. выдавал собственноручно большую свечу с тем расчетом, чтобы ее хватило на всю службу первого дня и на трапезу, во время которой свечи два раза зажигаются. В 4 часа началась полунощница, и в конце ее было прочитано пространное поучение. В начале седьмого часа (около 12 часов ночи по московскому времени) начали трезвонить, архимандрит служил в нижнем соборе св. вмч. Пантелеймона и, там начавши утреню, обошел собор крестным ходом и прибыл к нам в Покровский собор.

Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!

Утреня окончилась в 8 часов утра, а в 10 часов началась поздняя обедня. В 12 часов «веселыми ногами» отправились на трапезу, куда со звоном и «славою» прибыл и о. архимандрит.

Описывать ли трапезу? Думаю, что не стоит, ибо ей и без того, помимо моей воли, отведено в моих записках слишком много места.

«Ну, что? Каково у нас? — вопрошали не без гордости меня как новичка некоторые из монахов. — Ведь нигде этого торжества не встретишь? Не правда ли?»

Но мне приходилось встречать этот праздник праздников в бедных сельских церквах, при самой убогой обстановке, и не скажу, чтобы там мое сердце меньше трепетало от радости, чем здесь, во внешнем афонском богатстве и великолепии.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

17 мая. Сегодня — конец моему странствию и послушничеству: с подворья Андреевского скита из Одессы получил письмо со вложением письма от сестры из Москвы. О ужас! Она и сироты моего брата едва не умирают с голоду и взывают к моей помощи. Что делать?.. Бегу к дорогому моему о. Никодиму...

«Поезжай, спасай ближних! — воскликнул он, выслушав от меня мою повесть. — Это тебе выше монашества».

Батюшка дал мне 50 рублей на дорогу, и в ночь на 19 мая я уже отплывал от берегов Афона...

Прощай, Афон!

26 мая я уже был в Москве.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Таковы заметки моего приятеля о пребывании его на Афоне во дни всероссийской смуты 1905–1906 года. Не блещут они ни красотой стиля, ни особой глубиной замысла и наблюдений; но серый будничный Афон, недоступный наблюдениям обыкновенного паломника, восторженному взору которого Св. Гора представляется обычно только в праздничном уборе долгожданной радостной встречи, такой Афон нашел себе в этих записках верное отражение. И кто знает, не дух ли этого будничного Афона и вызвал те жестокие колебания твердынь его, под развалинами которых едва не погибли и сами Афонские святыни?

Образу благочестия без силы его не охранить ни Афона, ни Русской земли от гнева Божия...

9 мая

Письмо с Афона о нестроениях на Св. Горе. Чудо с юношей в Иверском монастыре.

От будничного Афона, отпечаток которого в записках моего приятеля я сохранил на страницах моего дневника, душа моя с новой духовной жаждой вновь стремится погрузить себя в освежающие, тихие струи Божией реки Оптинской, но... с Афоном, видимо, мне еще не суждено расстаться: сегодня получил от одного афонского подвижника письмо, в котором он, между прочим, пишет следующее: «...не особенно давно в грузинском Иверском монастыре, занятом греками, возникли тяжелые распри, превратившиеся в кровопролитные столкновения. В этом междоусобном столкновении было ранено 30 человек монахов. Греческие монахи не ограничиваются скандалами в своих монастырях, а совершают посягательства и на чужие: недавно они среди бела дня убили старого русского монаха Моисея; мало того что убили, а еще и над трупом его издевались... В Ватопеде состоялось совещание греческих монахов по следующему поводу: за последние десять лет старые и богатые русские люди начали весьма часто приезжать на Афон из России, убегая от внутренних в ней нестроений и желая остаток дней своих провести в молитве и мире. Зная, что они с деньгами и желают поселиться на Афоне, греки принимали их любезно и отводили им участки земли, конечно, за очень хорошую плату. Приезжие ставили келлии, отгораживали землю и обрабатывали ее. Теперь, с падением русского престижа на Востоке, греки одерзились до того, что после помянутого совещания в Ватопеде в отсутствие хозяев сожгли 10 келлий и вырубили лимонные и масличные деревья их садов. Когда вернулись

хозяева и увидели постигшее их разорение, то с плачем бросились жаловаться игумену Ватопеда, но он над ними только посмеялся... Таковы дела рук человеческих в жребии Царицы Небесной. Мудрено ли, что последним остатком его иноков, хотящих провождать жизнь сколько-нибудь духовную, испытывается страх пред ближайшим будущим Афона? Страх этот усугубляется еще и тем, что не так давно в Иверском монастыре произошел такой всякого удивления и ужаса достойный случай, вернее — чудесное событие, не без участия, думается, в нем Самой Царицы Небесной. Дело было, как рассказывают у нас, так: какой-то юноша, родом будто бы грузин, пришел в Иверский монастырь и попросил себе у келаря хлеба, сказав при этом, что он умирает с голоду, ибо несколько дней ничего не ел. Келарь отказал. До трех раз юноша этот приступал к келарю с этой просьбой, пока тот не вытолкал его вон за монастырскую ограду. Выгнанный юноша отошел неподалеку от монастыря, лег под куст и стал ожидать себе голодной смерти. Вдруг видит: подходит к нему необыкновенной красоты и величественности некая Жена[1] и говорит:

— Ты что тут делаешь, мальчик?

— Умираю от голода.

— Отчего же ты себе не попросил у монахов пищи?

— Просил, три раза просил, но мне не только не дали даже и корки, но еще и вытолкали за ворота.

Тогда величественная та Жена подала юноше золотую монету и сказала:

— Поди к иверским монахам и еще раз попроси у них хлеба; если тебе откажут и на этот раз, то подай им эту монету и на нее попроси подать тебе хлеба. И скажи им, мальчик, что та Госпожа, Которая тебе дала эту монету, от них теперь скоро уйдет.

С этими словами Жена та подала юноше золотую монету и удалилась. Юноша встал и опять направился

[1] Женщин на Афон не допускают.

в Иверский монастырь молить монахов о хлебе. Увидел его келарь и с места начал кричать:

— Ступай прочь, тунеядец: не будет тебе хлеба!

Тогда мальчик протянул келарю золотую монету и сказал:

— Не даешь даром, так дай хоть за деньги!

Взял келарь монету в руку, взглянул да как крикнет:

— Да ты не только тунеядец, а еще к тому же и вор: ты выкрал из иконы Царицы Небесной златицу. Тащите его, братия, к настоятелю!

И потащили юношу к епископу[1].

— Вот, Владыко святый, привели к тебе вора: он украл у Царицы Небесной златицу!

Взял настоятель в руки монету, смотрит: монета, действительно, та самая, которая была на иконе Царицы Небесной; монета та самая, но как мог похитить ее юноша из запертого киота? Пошли смотреть: киот заперт и невредим, а златицы нет — она обрелась в руках голодного юноши, которому отказали в куске хлеба монахи Иверские...[2]

Много об этом событии говорили на горе Афонской. А тут еще будто бы в Кутлумушском монастыре, в какой-то древней книге, сказывают, нашли пророчество о последних судьбах міра. У меня имеется выписка из этого «пророчества», и по нем выходит, что наступает время быть великой всемирной войне, а вслед за ней явиться антихристу и — конец сему видимому міру...

Перенесенное в 1905 году страшное землетрясение, отъятие внутреннего мира среди насельников Афонской горы, событие со златицей в Ивере, Кутлумушские предсказания и многое другое, о чем не леть ми и глаголати, — все это создает на Афоне, по крайней мере в сре-

---

[1] В Иверском монастыре настоятельствует ныне епископ.

[2] На месте явления таинственной Жены стоит теперь каменный крест и устроен водоем для дождевой воды. — *Прим. редактора архиепископа Никона (Рождественского).*

де думающих и чувствующих, атмосферу страха, жути какой-то, точно в преддверии неких событий едва ли не мирового значения, имеющих потрясти до основания ветхий мір, а с ним и наше вековечное монашеское гнездо.

Помилуй нас, Господи!»

Так пишут мне с Афона, четыре года спустя после пребывания моего приятеля на Афоне.

Аще в сурове древе сия творят, в сусе что будет? (Лк. 23, 31).

10 мая

Отношение Оптинских старцев к Афону. — Михаил Константинович Ребров — раб Божий. — Епископ на покое. — «Оправдана премудрость чадами ее». — Чудесное исцеление жены сапожника Коваева.

Великие Оптинские старцы не благословляли своим послушникам, стремившимся к высшему монашескому подвигу, уходить на Афон. В этом отношении и ныне здравствующие наши старцы не изменяют пути своих великих предшественников, и устремляющиеся к Афонскому безмолвию наши Оптинские иноки если еще и теперь иногда едут на Афон, то уже на свой духовный страх и риск, по самочинию, а не по старческому благословению. На моих глазах таких случаев ухода на Афон Оптинских послушников было всего три или четыре, не более, и все они в духовном отношении кончались обыкновенно весьма печально.

Вчера и третьего дня заходил к нам и у нас обедал раб Божий, некий Михаил Константинович Ребров (бывший канцелярский служитель в Московском Коммерческом суде, ныне послушник Соловецкой пустыни близ Симбирска), присный духовный сын одного из епископов, живущих на покое, известного многим верующим святостью своей жизни, а некоторым избранникам — и даром прозорливости и чудотворения, тщательно укрываемым от праздного любопытства «необрезанных сер-

дец». Я не знаю этого епископа лично, но много слышал про него не только доброго, но и такого, что его выводит из рядов простых смертных и что кладет на чело его печать особого помазания от Духа Божия. Помню, вскоре после открытия св. мощей преподобного Серафима Саровского мне довелось быть и в Дивееве, и в Сарове. Было это в первых числах августа 1903 года, когда на местах этого великого торжества Православной веры не успел остыть все еще горячий след Царского пребывания и общения его с душой коренного русского человека. Приехал я в Дивеев, ему первому поклонился нашею общею с ним радостью оправдания моей и его веры в святость великого старца Серафима. На «мельничке — питательнице» из-под ручного жернова дала мне одна из Дивеевских сестер горсточку тепленькой мучки и говорит:

— Был тут во время прославления Преподобного Владыка (она назвала имя того епископа, — Антоний, бывший Вологодский, живущий на покое в Донском монастыре, — о ком я веду здесь речь), зашел к нам на эту мельницу, а следом за ним привели глухонемую девочку под его благословение.

Владыка взял щепотку муки и дал девочке — девочка и заговорила. Кто был тут при этом чуде, аж застонал от дива этого дивного.

То было в Дивееве.

Поехал я следом из Дивеева в Саров. Под вечер, гляжу, один из знакомых мне монахов, — Игнатий, иеромонах, благочинный, — чинит в своей келье фонарь керосино-калильного освещения, которое только что было, торжества ради, введено в Сарове.

— Что это, — спрашиваю, — батюшка, вы тут делаете?

Он махнул рукой с негодованием.

— А, чтоб его! — воскликнул он с сердцем, — был тут перед вами один сумасшедший архиерей, он взял да и испортил мне фонарь этот!

Он назвал мне имя этого архиерея: это был тот, кто мучкой Серафимовой исцелил в Дивееве глухонемую отроковицу.

«И оправдана, — подумал я, — премудрость чадами ее...»

Так вот, этого-то архиерея мирской послушник, в лице М. К. Реброва, и навещал нас эти два дня, утешал нас своей беседой о делах и людях, начиная со своего Старца-святителя, таких, о которых міp не знает, а если и знает, то ненавидит, ибо ненавидит и Самого Подвигоположника нашего спасения, Господа Иисуса Христа.

Много рассказывал Ребров и о своем владыке, и о другом рабе Божием некоем Коваеве Димитрие Андреевиче, сапожнике и вместе миссионере, также относящемся к владыке как к Старцу... Есть, видно, еще и в наши кривые дни горячая, живая и чудодейственная сила!..

Заболела у этого Коваева жена. Стали ее лечить. Болезнь усилилась. Стали лечить упорнее. Начала помирать старуха. И принялся Коваев отмаливать ее у Господа; молится день, другой, а жене все хуже да хуже...

— Господи! — взывает Коваев, — Ты ведь знаешь, что у меня пять человек детей: помрет жена, на кого же они останутся? Я молюсь Тебе день и ночь: и на работе молюсь, и в храме, и на постели молюсь, а Ты точно не слышишь. Сотвори же здравой жену мою, чтобы я видел, что Ты, как обещал, внимаешь слезной человеческой молитве.

Так молился Коваев; но жена его оставалась все в том же безнадежном положении. И стало ей наконец так плохо, что вот сейчас и дух вон. Побежал Коваев в свой приходский храм, пал там на коленки и так стал молиться, что едва ли не весь пол под собою залил слезами. Помолился. Возвращается домой и слышит, что внутри его точно голос какой-то говорит:

— Очистись! освятись!

Понял Коваев, что ему нужно поисповедоваться и причаститься. Так и сделал. Опять стал молиться, опять плакать, жизнь жены у Бога вымаливать. А жена все в том же положении: и не умирает, и легче не делается. И пришло ему вдруг на ум Крестителю Спасову молиться. А тут, в соседнем женском монастыре, как раз и икона его чудотворная есть. Помолился он там Предтече Господню и, надо думать, крепко помолился...

Проходит день... Жене не лучше; лежит в полузабытьи... Сидит Коваев за утренним чаем и думает горькую думу: не слышит его Господь; помирает хозяйка... Вдруг входит в мастерскую какой-то странник; в руке палка, на ногах огромные сапоги...

— Здесь, — спрашивает, — живет Коваев?

Называет его по имени, отчеству и по фамилии.

Коваева точно в сердце пронзило от вопроса, а главное, от голоса, который его окликнул: что-то особенное ему почудилось в этом голосе, а что — и сам не знает. Поднялся он навстречу страннику...

— Здесь, — отвечает, — пожалуйте!

А странников Коваев любит принимать.

— Мир дому сему! — сказал гость.

— Да он, — говорит Коваев, — у меня никогда из дому и не выходит.

— А кто, — спрашивает странник, — здесь хозяин?

— Хозяин здесь я! — отвечает Коваев.

— Я спрашиваю: кто здесь хозяин? — опять настойчиво повторил свой вопрос странник.

— Ну, когда так, — ответил Коваев, — так хозяин здесь вон кто! — И указал на икону Спасителя.

— А я, — продолжал он, крестясь на икону, — у Него управитель.

Сели они вместе чай пить. Выпил странник стакан чаю, поднялся да прямо к постели страждущей. Не спросил даже, чем больна, а подошел к ней да и говорит:

— Вставай, Пелагия, вставай-ка, мать! Давай мне чистую рубашку да штаны!

Та и встала; пошла доставать белье. А у Коваева точно кто память отшиб, забыл, что жена больна была, что сейчас только чудом Божиим встала, а думает про себя только одно: принял странника как Христа, а он оказался вымогатель. Подумал он так-то, а странник ему:

— Не лукавь, Димитрий! Господь жену исцелил, а ты что помышляешь?

Взял рубашку и штаны, — к ним Коваев и сапоги трудов своих прибавил, — простился с хозяевами... Потуда его и видели.

Все это совершилось так неожиданно и так быстро, что супруги Коваевы точно во сне все это видели. Бросились вдогонку за странником, а его и след простыл.

Это мне сегодня рассказал раб Божий М. К. Ребров, духовный сын архиерея «на покое», исцелившего в Дивееве глухонемую девочку, и брат по духу тому, кто в своей сапожной мастерской удостоился принять в образе странника кого-то, чье имя и происхождение знать нам еще не дано, пока не будет оно открыто там, где все тайное наконец станет явным, где будем видеть лицом к лицу то, чему здесь можем только веровать или видеть только «якоже зерцалом в гадании», как бы сквозь тусклое стекло...

11 мая

Соблазнительное слово в старческой келье. — Ночная посетительница скитской кельи. — Материнское проклятие.

Заходил сегодня к старцу о. Иосифу и не дозвонился. Должно быть, пришел слишком рано, и келейники Старца отдыхали послеобеденным сном. Подергал я раза три за ручку дверного колокольчика, подождал, прислушался к звонку. Я уже собрался уходить, как вдруг взгляд мой остановился на изречениях подвижников духа, развешанных по стенам первой прихожей кельи Старца. Стал читать и, к немалому для себя изумлению и даже — не скрою — соблазну, прочел написанные четким полууставом слова: «Егда внидеши к старцу, то

удержи сердце свое от соблазна. Аще даже узриши старца твоего и в блуд впадша, не ими веры и очесем твоим».

Дословно ли так я записал эти смутившие меня слова, я не могу поручиться; за точность смысла ручаюсь.

И было мне это изречение в соблазн немалый. Хотел я дозвониться к отцу своему духовному и старцу, о. Варсонофию, но поопасался потревожить и его послеобеденный отдых. Так и ушел из Скита с соблазном в сердце.

Хорош тот старец, которого глаза мои застигнут на блудодеянии!.. Очень удобное изречение для ханжей и лицемеров!.. И как только оно могло приютиться в таком святом месте, как келья наших чистых от всяких подозрений и праведных старцев?..

Горько мне было... И вдруг я вспомнил... Было это в прошлом октябре. На день памяти одного из великих ветхозаветных пророков были именины одного из старых, почитаемых скитских монахов, о. Иоиля, сподвижника и помощника великого старца Амвросия по постройке Шамординского монастыря. Я был приглашен на чай к этому хрнителю Оптинских преданий. Собралось нас в чистенькой и уютной келье именинника человек шесть монахов да я, мирской любитель их и почитатель. За весело кипящим самоварчиком, попивая чаек с медком от скитских пчелок, повели старцы, убеленные сединами, умудренные духовным опытом, свои тихие, исполненные премудрости и ведения, монашеские беседы...

Господи мой, Господи! Что за сладость была в речах тех для верующего сердца!..

И вот тут-то, за незабвенной беседой этой, и поведал нам сам именинник о том, что было с ним в те дни, когда после кончины старца Амвросия управлял скитом и нес на себе иго старчества скитоначальник о. Анатолий[1].

---

[1] Зерцалов, скончавшийся года два спустя после кончины о. Амвросия. Мой духовник, о. Варсонофий, был его духовным сыном и учеником.

Призывает он меня как-то раз к себе наедине да и говорит:

— О. Иоиль, скажи мне всю истинную правду, как перед Богом: никто не ходит к тебе по ночам из мирских в келью?

— Помилуйте, — говорю ему, — батюшка! кому ходить ко мне, да еще ночью? Да где и пройти-то? ведь скит кругом заперт, и все ключи у вас в келье.

— А калитка, что в лес, на восток?

— Так что ж что калитка? и от нее ключ у вас.

— Вот, — говорит, — то-то и беда, то-то и горе: ключ у меня, а к тебе все-таки какая-то женщина ходит.

Я чуть не упал в обморок. Батюшка увидал это да и говорит:

— Ну, ну! успокойся. Я тебе верю, раз ты это отвергаешь. Это, видно, поклеп на тебя. Ступай с Богом!

— Батюшка, — спрашиваю, — кто донес вам об этом?

— Ну, что там, — говорит, — кто бы ни донес, это не твое дело; будет с тебя того, что я тебе верю, а доносу не верю.

Ушел я от него, а на сердце обида и скорбь великая: жил, жил монах столько лет по-монашески, а что нажил? Нет, при батюшке Амвросии такого покору на меня не было бы... Горько мне было, лихо!

Прошло сколько-то времени. Опять зовут меня к Скитоначальнику. Прихожу. Встречает меня гневный.

— Ты что же это? ты так-то!

— Что, батюшка?

— Да то, что я теперь сам, своими глазами, видел, как к тебе из той калитки сегодняшней ночью приходила женщина. Сам, понимаешь ли ты, — сам!

А я чист, как младенец. Тут мне кто-то будто шепнул: да это враг был, а не женщина. И просветлело у меня сразу на сердце.

— Батюшка! верьте Богу: невинен я! Это нас вражёнок хочет спутать, это он злодействует.

О. Анатолий взглянул на меня пристально-пристально, в самую душу сквозь глаза заглянул и, видимо, успокоился.

— Ну, коли так, так давай с тобой вместе помолимся Богу, чтобы Он извел правду твою, яко полудне. Давай молиться, а ночью, часам к двенадцати, приходи ко мне: увидим, что речет о нас Господь.

Усердно помолился я в тот день Богу.

Пришел близ полуночи к Старцу, а уж он меня ждет одетый.

— Пойдем! — говорит.

И пошли мы к той калитке, из которой, он видел, ходит ко мне ночью женщина. Стали в сторонке: ждем. Я дрожу как в лихорадке и творю молитву Иисусову. И что ж вы думаете? Около полуночи, смотрим, калитка в лес отворяется и из нее выходит закутанная с головой женщина, выходит, направляется прямо к двери моей кельи, отворяет ее и скрывается за ней в моей келье.

— Видишь? — говорит батюшка.

А я ни жив, ни мертв отвечаю:

— Вижу.

— Ну, — говорит, — теперь мы ее поймаем!

Подошли к двери, а она заперта. Была перед нашими глазами открыта, а тут вдруг заперта!.. Отворяю своим ключом. Входим. Никого!.. Осмотрели всюду, все норки мышиные оглядели — нигде никого. Перекрестились тут мы оба, и оба сразу поняли, от кого нам было это наваждение. С той поры о той женщине уже не было никакого разговора.

Этот рассказ о. Иоиля я вспомнил сегодня, и отошел от меня сразу соблазн на изречение, прочитанное мною в прихожей старца Иосифа.

Мне-то ясно это. Ясно ли будет тем, кому попадутся на глаза эти строки?..

И еще вспомнился мне рассказ того же о. Иоиля из дней его молодости, когда он еще жил в міру, в Ефремовском уезде, Тульской губернии.

— От родины моей неподалеку — так говорил нам свой сказ о. Иоиль в тот же незабвенный день своего Ангела, — находится уездный город нашей же губернии — Епифань. И вот, в этой-то Епифани на моей памяти произошел следующий случай. Пришла в ветхость одна градская церковь. Порешили ее сломать, а на ее место выстроить новую. Когда доломали церковь до фундамента и стали заводить основание для нового храма, то около старого фундамента нашли совершенно нетленного покойника. По облику и по одежде он, видимо, был из местных мещан и погребен был сравнительно недавно, годов так с 50–60, назад, не больше, судя по покорою одежды. Стали доискиваться да допытываться — кто б он был: великий ли Божий угодник, сподобившийся нетления, или уж такой грешник, что его и мать сыра-земля не принимает? Изнесли покойника из земли, перенесли в часовенку и стали по старикам епифанским дознаваться о роде его и о племени. Долго дознавались, все никак не могли дознаться. А покойник все стоит да стоит себе в часовенке, как живой, точно его вчера только в гроб положили. Наконец, разыскали где-то такую древнюю-предревнюю старуху, что и годов своих не помнит. Самые старые старики про нее сказывали, что когда они еще малыми мальчишками без штанов бегали, она уже была старой старухой.

Приступили к старухе:

— Не знаешь ли чего о покойнике?

— О каком?

— Да о том, что нашли у старой церкви.

— Знать, — говорит, — не знаю и ведать не ведаю.

Хотели свести показать покойника — не пошла. А старуха была пребодрая и в полном разуме. Заме-

тили, как будто что-то притаивает старуха, что-то как будто не договаривает, когда уж очень не с короткими приступают к ней с расспросами; заметили да и припугнули.

— Ну, — говорит, — коли дело на то пошло, так уж знайте, что если земля не принимает покойника, так, значит, это не кто другой, как мой сын, чтобы ему на том свете пусто было.

— За что же, — спрашивают, — ты его уж так немилосердно?

— А за то за самое, что бил он меня, свою мать родную, безо всякого милосердия, всю свою анафемскую жизнь бил, а под самый собачий конец свой так избил, что оторвал мне косу. Я тут же и прокляла его, а он, с моего материнского проклятия, и подох на месте, как бешеный пес. Когда его хоронили, я ему под голову свою косу и положила, чтобы за нее с ним и на Суде Господнем судиться, чтобы и там на нем проклятие мое не снималось. Если у него, у покойника-то вашего, найдете под головой в подушке косу, так и знайте, что это он, мой кровопивец.

Под головой у покойника, в подушке, действительно нашли материнскую косу.

Тут взялся за старуху священник того прихода, в котором нашли покойника, и стал ее увещевать простить сына, снять с него проклятие. А она все свое:

— Будь он, анафема, трижды проклят!

Но не даром совершилось чудо Божие: побился, побился со старухой батюшка и привел-таки ее в чувство.

— Ну, — сказала она, — пусть Бог его простит, а я прощаю.

Пошла проститься с покойником, взглянула на него, перекрестила, сама перекрестилась, поцеловала...

Покойник тут же, в виду всех, прахом рассыпался, а мать и трех дней не прожила — Богу душу отдала.

О любовь! о милосердие Божие!

12 мая

Чудо св. великомученика Пантелеимона в Торопецкой уездной управе. — Гибель адмирала Макарова в необычном освещении.

Сегодня, перелистывая свою записную книжку, я напал на копию с постановления Торопецкой[1] уездной земской управы, присланную мне одним боголюбцем в такое время, когда на родине моей, в Орловской губернии, ожидали холеры, и для встречи этой страшной гостьи принимали все меры, указанные «наукой». Прочитал я постановление это и скорбно задумался: куда, на какую «страну далече» отошли мы, дети, от отцов наших?! Мыслимо ли теперь в любом из земских собраний постановление, подобное нижеследующему, что постановили русские люди Торопецкого земства?

Постановление это я выписываю здесь во всей его неприкосновенности:

«С 1865 года, — так пишется в этом документе, — земские собрания и комитеты народного здравия почти во всех городах и уездах Империи стали принимать меры против ожидаемой в 1866 году эпидемической холеры. Земское собрание Торопецкого уезда, имея в виду, что в 1830 и 1848 годах в городе Торопце и его уезде холеры не было и зная твердую веру народа в милосердие Божие, не делало посему никаких особых распоряжений. Между тем Псковская земская управа просила Торопецкую сообщить ей, какие меры принимаются ею в случае появления эпидемии. Члены Торопецкой управы, сознавая ответственность свою перед обществом в случае непринятия ими мер при появлении холеры, решились, по совещании, отвечать так: хотя земским собранием указания на сей предмет не сделано, но Торопецкая управа просит Псковскую уведомить, какие

[1] Псковской губернии.

распоряжения делаются по сему предмету в других городах губернии, дабы и она в случае надобности могла сделать то же самое.

Когда составлено было такое отношение и писец Антонов стал переписывать его, то, написав, «что на принятие энергических мер к предупреждению эпидемии указаний от уездного земск...», поднял лист, чтобы посмотреть, хорошо ли им написано. В эту минуту сидевшие против него писаря — Кожевников и Черепенников — заметили на обороте листа какое-то неясное изображение.

— Ты пишешь на картинке, — сказали они ему и, рассмотрев лист, увидели как бы тень или слабый отпечаток изображения какого-то святого, о чем тотчас же объявили секретарю Райкову, а он доложил членам управы.

Случилось это в феврале 1866 года. Молва распространилась, и желавшие видеть это изображение находили, что оно есть лик святого Великомученика и целителя Пантелеимона, что впоследствии, по внимательном рассмотрении, оказалось действительно так.

Холера 1866 года, вырвав свои жертвы в окрестных уездах, и в этот, уже третий, раз миновала Торопец и его уезд; а в октябре того же года мощи святого целителя Пантелеимона[1] посетили Торопец.

Посему, члены управы, имея в виду:

1) что на единственной бумаге, в которой ***в первый раз*** управа выражала предположение человеческих средств против непонятной болезни, обозначился лик угодника Божия и целителя Пантелеимона;

2) что холеры в 1866 году в Торопце не было;

3) что бланк или лист, на котором было написано отношение в губернскую управу, печатанный в Москве, есть один из нескольких сот, имеющихся в управе, на котором оказалось изображение;

[1] Во второй половине 60-х годов прошлого столетия Афонским монахам из монастыря св. великомученика Пнателеимона был разрешен пропуск для служения молебнов по всей России. Монахи сопровождали св. мощи целителя Пантелеимона.

4) что мощи св. угодника Божия Пантелеимона в тот же год посетили г. Торопец, —

постановили:

В память вышеуказанных событий, лист с оттиском изображения угодника Пантелеимона просить освятить 14 октября и хранить в уездной управе в воспоминание милости Божией и угодников Его, избавляющих город Торопец и уезд его от холеры.

Подлинное подписали: председатель управы Петр Языков, член управы Иван Харинский, секретарь управы коллежский асессор Райков».

Как за какие-нибудь 45 лет изменилась Русь, когда-то Святая! Но та, прежняя, Русь рождала Суворовых, а теперешняя?..

И вспоминается мне герой несчастной Японской войны — адмирал Макаров, надежда русского флота, восходящая звезда его славы и... смерть его. В те великоскорбные дни, когда был пущен ко дну «Петропаловск» вместе с адмиралом Макаровым, в газете «Русь», служившей, как известно, целям революции и, следовательно, не имевшей, казалось бы, никакого отношения к явлениям и знамениям потустороннего міра, была напечатана корреспонденция из одного южно-русского города (помнится, из Кишинева). Там, в крайней бедности, проживала родная сестра погибшего адмирала[1].

В самый день и час гибели «Петропавловска» адмирал Макаров, как о том его сестра передавала корреспонденту «Руси», явился ей во сне. Вид его был жалкий, растерянный, печальный.

— Я не погиб еще, Варя[2] — сказал он, — взрыв был в кормовой части броненосца. Мне страшно тяжело, Варя, но я еще не погиб окончательно.

---

[1] Записываю я это по памяти. С тех пор столько событий вихрем промчалось над бедной моей Родиной и над моей головой, что мне немудрено и позабыть кое-какие подробности этой корреспонденции. Но все главное я сохранил здесь неизменным.

[2] Кажется, так было ее имя.

Сообщение это было записано корреспондентом, что называется, между прочим — не то ему, да и его читателям, было нужно, — а между тем в нем мне чудятся огненные слова: «Мене, Текел, Упарсин».

«Аще не покаетесь, вси такожде погибнете!»

Когда провожали на войну адмирала, то за ним в пути следом подвигалась армия газетных ищеек. Подхватывалось каждое его слово, каждый его жест фотографировался — все заносилось на страницы уличной печати, яркой представительницей которой в то зловещее время была газета «Русь». И вот на столбцах этой газеты в дни выезда Макарова из Петербурга навстречу смерти было напечатано следующее[1].

«Адмирал занял место в купе, куда к нему вскоре подсел старый его товарищ, теперь находящийся уже не у дел. Произошел, как водится, разговор на злободневные темы и, в частности, о последних событиях, вырвавших из строя нашей Тихоокеанской эскадры столько судов и человеческих жертв, погибших без славы и без пользы для дела.

— Ну, уж я-то не собираюсь так погибать! — воскликнул Макаров...»

И погиб.

И все мы так же погибнем, если не покаемся, и, кажется, уже погибаем, ибо не каемся.

Ах, как далеко нам до членов Торопецкой уездной земской управы состава 1866 года!

13 мая

Из воспоминаний епископа Сегюр. — Смерть генерала В.

Моя жена[2] находится в родстве с графами Ростопчиными. Одна из Ростопчиных, дочь знаменитого московского военного губернатора, была замужем за француз-

[1] Пишу по памяти.

[2] Урожденная Озерова.

ским графом Сегюр. В воспоминаниях ее сына, римско-католического епископа Сегюр, рассказан, между прочим случай весьма сходный с описанным мною вчера и касавшимся адмирала Макарова. Вот что пишет епископ Сегюр.

«Это было в России немного раньше войны 1812 года. Мой дедушка, граф Ростопчин, московский военный губернатор, был связан узами сильной дружбы с графом Орловым[1], настолько же безбожным, насколько и бравым. Однажды во время ужина с обильными возлияниями граф Орлов и один из его друзей, генерал В., такой же вольтерианец, как и Орлов, начали шутить над религией и в особенности стали прохаживаться насчет ада.

— А что, — сказал Орлов, — если что случайно окажется по ту сторону?

— Прекрасно! — возразил ему на это генерал В., — тот из нас, кто пойдет туда первым, пусть возвратится и уведомит другого.

— Превосходная мысль! — воскликнул Орлов.

И оба тут же дали друг другу честное слово не забывать об этом обещании.

Через несколько недель после этого русская армия отправилась в кампанию и генерал В. получил в ней высшее назначение.

Прошло две-три недели, как он покинул Москву. Однажды очень рано утром, в то время как мой дедушка занимался еще туалетом, дверь его комнаты вдруг с силой отворилась и в комнату вошел граф Орлов в халате, в туфлях, с растрепанными волосами, с угрюмым взором, бледный как смерть...

— Орлов, это ты? — вскрикивает Ростопчин, — в такое время и в таком костюме! Что тебе нужно, что случилось?

— Мне кажется, — ответил Орлов, — что я с ума схожу: я только что видел генерала В.

[1] Алексеем Григорьевичем.

— Да разве он возвратился?

— Ах, нет! — ответил Орлов, бросаясь на диван и хватаясь за голову, — нет, он не возвращался, и в этом-то весь ужас!

Ничего не понимая, дедушка попросил объяснения.

— Несколько времени тому назад, — сказал Орлов, — В. и я поклялись, что если кто из нас умрет первым, то должен будет прийти и сказать что-нибудь о потустороннем міре. Около получаса тому назад я преспокойно лежал в своей постели, совершенно о В. не думая. Как вдруг занавесь моей постели с силой раздвинулась, и я в двух шагах от себя увидел В. Бледный, прижав руки к груди, он сказал мне:

— Ад существует, и я там!

Сказал и исчез. Я тотчас же пошел к тебе. У меня голова идет кругом. Странно мне это, удивительно странно!

Дедушка успокоил его как мог. Потом приказал приготовить экипаж и отвез его домой.

Десять или двенадцать дней спустя курьер из армии привез известие о смерти генерала В. В то самое утро, когда его видел и слышал Орлов, даже в тот самый час, когда он явился в Москве, несчастный генерал, выходя, чтобы рассмотреть неприятельские позиции, был сражен пулею в грудь навылет и тот час же умер».

16 мая

Родительская суббота под Троицын день. — Общение праведников и грешников кающихся, Церкви торжествующей и Церкви воинствующей.

Сегодня ради родительской субботы пошел я к обедне помянуть наших дорогих усопших. В церковь пришел рано, до звона минут за десять. Со мною вместе вошел в храм наш старший свечник, иеродиакон Никон. Заказал я ему, какие и каким иконам поставить свечи, и дал разменять рубль. Стал о. Никон открывать ящик с выручкой, чтобы достать мне сдачи, и ахнул:

— Это что такое? откуда?

Смотрю, — в руках у него откуда-то взялась старинная маленькая медная нательная иконка и на ней два полуистертых временем изображения какого-то преподобного с потиром в руках, а над ним — Нерукотворенного Спаса.

— Да разве не ваша она? — спрашиваю.

— То-то что нет, — отвечает, — и откуда взялась? От утрени уходил, убирал ящик, ее не было.

— О. Никон, — говорю, — если нет и не найдется этому образку хозяина, дайте его мне, благословите им меня!

— С удовольствием.

И он трижды перекрестил им меня и отдал.

Спрятал я как великую драгоценность иконочку эту в левый свой боковой карман, — поближе, значит, к сердцу, — и с нею отстоял Литургию. Сердце радостно трепетало...

Пришел домой, перекрестился, поцеловал новое свое сокровище, взял лупу и в нее стал разглядывать едва заметную надпись у главы Преподобного. Прочел: «***Преп. Сергий***».

Христолюбцы! да что ж это такое? Канун Троицына дня! Родительская суббота! Храм Божий Введения во храм Пресвятыя Богородицы![1]. Обретение иконы Спаса Нерукотворенного и верного служителя Пресвятыя Троицы преп. Сергия, имя которого я, недостойный, недостойно ношу! и — благословение им меня от руки ктитора храма, иеродиакона, носящего имя преп. Никона, ближайшего ученика и сотаинника преп. Сергия!.. Сердце мое так и залилось волной какого-то необычайно радостного чувства... Неужели же и я, последнейший любитель истинного монашества и списатель чудес и тайн монашеского духа (я только что успел поставить последнюю точку в рукописи моей «Святыня под спудом»), неужели и

---

[1] Летний собор Оптиной Пустыни, как и сама св. обитель, посвящен Введению во храм Пресвятыя Богородицы.

я не забыт молитвами моего Ангела пред Престолом Пресвятыя Троицы? И кому отправляется моя рукопись? Епископу Никону, и он будет печатать ее в типографии обители преп. Сергия, Свято-Троицкой Лавры! И сам-то он, мой редактор, цензор и издатель, свое начало полагал в той же Лавре, под крылом того же Преподобного! И имя-то он носит то же, что и благословивший меня иеродиакон!..

Верою Раав блудница... не погибла с неверными (Евр. 11, 31).

Так незримо, но сердцу внятно, общается Церковь торжествующая с Церковью воинствующею, небо — с землею, праведники с грешниками, ищущими прощения и спасения.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Дней 10–12 тому назад в нашем же доме было дано и другое свидетельство попечения вышних о нижних.

Что-то около 1900 года в сонном видении преподобный Макарий Желтоводский вразумил меня соблюдать Петровский пост. Сон этот и глубоко назидательные обстоятельства, его сопровождавшие, были мною своевременно записаны, но по нерадению и из ложного смирения не были оглашены в печати для укрепления веры в братиях моих по вере. И вот, дней двенадцать тому назад, в нашей моленной, во время, кажется, чтения молитв на сон грядущим, образок преподобного Макария Желтоводского, висевший высоко в ряду других икон, каким-то образом без всякого сотрясения извне сорвался со своего места и упал на пол. Я приписал это падение недостаточной крепости гвоздика, на котором он был укреплен, повесил его пониже, приложился к нему и особого значения этому обстоятельству не придал. С этого времени мне пришлось наряду с другими иконами, до которых можно было достать, прикладываться ежедневно и к нему. И вот, всякий раз стал мне приходить на сердце помысл: да как же это ты, раб Божий, до сих пор не явил твоим читателям бывшего тебе

вразумления?.. И было это мне и раз, и два, пока я не сел и не написал владыке Никону для Троицких его листков о том, что сотворил мне Преподобный[1]. Написал, отослал по назначению и... иконы Преподобного на новом ее месте уже не нашел. Жена моя, которой я ничего еще не успел рассказать из совершавшегося в тайниках моего сердца и связанного с этой иконой, уже успела перевесить ее на старое место.

Совершилось это как бы само собою и сообразилось уже после того, как совершилось.

19 мая

Легкая смута. — Житие и подвиги схимонаха Феодора (с найденной рукописи).

Записал я под 16 мая со мною бывшее в храме Божием в канун Троицына дня и забыл упомянуть, что в самый день благословения меня образом Преп. Сергия меня за Литургией, на земном поклоне, неожиданно хватил так называемый «прострел», да так сильно, что не разогнуться: едва из церкви вышел. Я уже думал, что мне ни у всенощной, ни за Литургией с вечерней на Троицу и в церкви не бывать. Однако пересилил боль, кое-как доплелся до всенощной, а уже Литургию и вечерню на другой день выстоял как ни в чем не бывало.

«Кому-то» что-то не понравилось, и «он» мне хотел показать свои когти.

Тот же «он» хотел было из-за «Святыни под спудом» замутить и чистейшие мои отношения кое с кем из Оптинской старшей братии, но и это ему не удалось по милости Божией, хотя «он» и работал над этим более недели.

Но о делах вражиих не лет ми и глаголати.

В Оптинских рукописях мне довелось найти жемчужину — рукописное житие схимонаха Феодора, ученика великого молдавского старца Паисия Величковского. Паисий

[1] Напечатано в «Троицком Цветке» под заглавием «Небесные Пестуны».

Величковский для русского монашества конца 18 и 19 века, а также и для современных, добре живущих иноков был тем же, чем некогда для пустынножителей Египта и Ливии был Преп. Антоний Великий. От него повелось и великое Оптинское старчество, возглавленное старцем иеромонахом Леонидом, в схиме Львом. Схимонах Феодор, чье краткое рукописное житие я нашел в книгохранилищах Оптинских, был учителем и сотаинником старца Леонида. Понятно, с каким интересом я отнесся к найденной рукописи и с какой любовью перенес с ее зажелтевших листов драгоценные ее письмена в заветные свои заметки.

«Сын родителей благочестивых Феодор увидел свет в г. Карачеве, уездном городе Орловской губернии, в 1756 году по воплощении Бога Слова. Отец, которого он лишился в младенческом возрасте, был из купеческого сословия, мать — из духовного. Сирота-отрок был отдан родительницею в дом карачевского протопопа для обучения грамоте и пению. Скоро он обнаружил исключительные способности к быстрым успехам в учении; в особенности блистало в нем дарование к пению, соединенное с превосходным голосом. В то время как он чувственным языком пел церковные песни, таинственный язык этих песнопений неприметно проникал в его сердце: сердце отрока, младенчествующее злобою, не засоренное еще страстями, удобно растворяется для принятия божественных впечатлений. Изучение грамоты вручило ему ключ сокровищниц, хранящих крупный жемчуг мысленных приобретений, — говорю о книгах Священного Писания и отеческих. Добрые дела, послушание, простота, полезное чтение, самое время воспитывали в Феодоре ту мудрость и те чувства, которыми он впоследствии должен был возблагоухать на жертвеннике благочестия.

Из священнического дома возвратился он уже юношею в дом родительницы и по ее требованию занялся торговлей, завел лавочку в Карачеве и в этом занятии

провел около двух лет. Но сердце, познавшее вкус духовной сладости, не может примириться с мечтательною, обманчивою суетою: насильственно принужденный к образу жизни, противному его наклонностям и мыслям, Феодор вздыхал в глубине души о тихом пристанище, и в его уме стало созревать намерение покинуть мір и восприять легкое бремя иночества. Несильный противиться справедливым требованиям совести, сердечному чувству, которым человека обыкновенно призывает Сам Бог, он оставляет родительский дом, ночью уходит из Карачева и, не открыв никому своей цели, устремляется в Площанскую пустынь, лежащую от Карачева в 80-ти верстах. В ней Феодор скрывается от козней многопопечительного міра.

Площанская пустынь, управляемая тогда добродетельным и довольно искусным старцем Серапионом, украшалась и благонравием братии, и стройным чином церковного Богослужения. Здесь юный Феодор вступил в тризну иноческого послушания, дабы наружным рабством купить внутреннюю свободу, наружным уничижением выработать внутреннее душевное благородство, с послушанием старался соединить терпение, которым скрепляется и связывается все здание добродетелей. Терпение же он основывал на смирении...»

20 мая

И риторика бывает нужна и полезна. — Продолжение жития схимонаха Феодора.

Вчера начал я списывать житие схимонаха Феодора, ради заключающегося в нем некоторого великого откровения о жизни христианской богоугодной души в потустороннем міре, а сегодня задаю себе вопрос: не проще ли, отложив к сторонке риторство составителя этого творения, списать в свои заметки только то из него, что меня поразило как откровение?.. Нет, — решил я, —

буду продолжать, как начал: недаром же Господь лучшие Свои жемчужины скрывает в самой глубине моря, между скалами и рифами, под угрозой всевозможных опасностей, таящихся в его изменчивом коварстве. Итак, продолжаем!

«По прошествии недолгого времени родительница узнала, что сын ее живет в Площанской пустыни. Она спешит в сию обитель, исторгает юношу из защищенной и спокойной монастырской жизни и ввергает его в поток мирской молвы и соединенных с нею соблазнов. О любовь плотская! любовь безумная! недостойна ты святого имени, коим назвал Себя Сам Бог! Ты, по проречению Спасителя, часто вооружаешь ослепленных родителей беззаконным пламенем, и те, кто получил от них телесную жизнь, от них теряют душевную и истинную!..

Снова Феодор возвращается в лавочку, и снова чувства высоких желаний волнуют его душу; снова, пользуясь темнотою ночи, бежит он из дома, из города и достигает монастыря, известного под названием Белые Берега, тогда еще малозначащего. Из Белых Берегов он отправляется опять в Площанскую пустынь и опять из нее похищается насильно матерью, распаленною желанием подружить его с міром, желанием едва ли естественным...

Утомленный такими препятствиями, думая, что его предприятие воинствовать в мысленном воинстве не угодно Богу, Феодор хотел, по крайней мере, не лишиться сладостных животворящих заповедей Господних, хотел, придерживаясь их как за нить, выйти из лабиринта мирской жизни и мечом делания заклать чудовище, пожирающее всех, кто блуждает по этому лабиринту, не руководствуясь златосияющею нитью заповедей Христовых. Его ворота были открыты для странников; нищий не отходил от окна его, не обрадованный подаянием; больные утешались его состраданием и услугами; враги не могли сказать, что за зло он платил злом; свободное же время

он посвящал чтению, стараясь сладчайшее имя Иисусово лобызать непрестанно и устами и мыслию.

Но человек подвержен переменам; колеблется не одна молодость, ветренная и пламенная, колеблется и старость, гордящаяся постоянством и опытностью, часто мнимыми. Лишенный тишины пустынной, лишенный наставления старцев, обуреваемый нестройным вожделением юношеского тела, Феодор начал омрачаться мыслями преступными, и мало-помалу вкрались в его сердце сладострастные чувствования: он пал.

Приступим к трогательной и наставительной повести его тяжких поползновений, укажем ров беззаконий, в который он ввергся, и познаем великое могущество покаяния, когда увидим его на высочайшей степени добродетелей. «Кораблекрушение праведника, — говорит божественный Златоуст, — соделывается пристанищем грешнику: когда праведник упал с небес, то и я уже не отчаиваюсь в своем спасении. Изувеченные ранами войны сподобляются от царя особенных почестей, — так и подвижники умственной брани получают блистающие венцы, когда они являются пред лицо Царя царей, обагренные кровью своих падений, сими самыми падениями победив, посредством покаяния, победителя их, диавола».

В то время как Феодор продолжал упражняться в маленькой торговле своей, открылось в их городе выгодное приказчичье место, на которое и был приглашен юноша, благоразумный и ловкий. Хозяин дома скончался; его вдова, женщина целомудренная, но простодушная и лет преклонных, не могла сама входить в управление домом и вручила его Феодору. В этом-то доме и распростерты были сети, в которых запуталась нога его. Вдова была матерью четырех взрослых дочерей, прекрасных собою. Феодор увлеченный преступной страстью, погряз в беззаконное смешение сперва со старшею, потом и с младшею сестрою. Долгое время валялся он в этом болоте разврата, — сладострастие закрывает умственные очи

человека — и, наконец, желая прикрыть свои греховные раны, соединился браком с младшею сестрою.

Но узел преступления сим не развязался. Просыпается в нем совесть: он узнает цену потерянных им сокровищ; сердце его уязвляется желанием их возвращения. Он начинает посещать с прилежанием храмы Божии, — словом, удваивает старание о исполнении по силе своей всех обязанностей христианина. Но свет, прежде в нем сиявший от послушания иноческого, не получил прежней чистоты своей.

Проникнутый глубокой печалью, Феодор примечал во всех делах своих большие недостатки, примечал, что міръ рассыпал повсюду препятствия к житию богоугодному. Не в силах переносить тяжкой язвы скорби о потере утешительных чувств, не находя никакой отрады в суетных занятиях, он решился, наконец, оставить отечество, имение, супругу, младенца-дочь и, обнажившись всего, вступил снова в поприще, приятности которого он уже испробовал. Утаивая истинное намерение, он открывает подружию своему, что хочет побывать в Киеве и поклониться св. мощам преподобных отцов Печерских. С ее согласия, он отправляется в этот город, взяв с собою денег только четыре рубля и пятьдесят копеек. Там он предает себя молитвам угодников Божиих, а затем поспешно устремляется к границам России и Польской Подолии, переходит границу и отправляется в Молдавию, в которой сиял тогда великий светильник, старец Паисий Величковский, архимандрит Нямецкого монастыря.

Монастырь этот лежит в 120 верстах от Ясс, при подошве Карпатских гор. Под ведением этого монастыря было тогда около 700 человек братий. Чин церковного богослужения и духовного окормления монашествующих находился в цветущем состоянии: иго турок и нищета братии много способствовали успехам внутреннего человека. К сему-то стаду, руководимому воистину премудрым вождем, Паисием, захотел сопричислиться и Феодор.

Сам архимандрит Паисий находился тогда уже в болезненном состоянии и почти никуда не выходил из келии. Феодор умолял, чтобы его приняли приближенные, но получил отказ: ему представили многочисленность братии, недостаток в средствах. Юный странник Феодор находился в крайности: деньги, взятые им из России, были истрачены; летнее пальто, в котором он вышел из Карачева, обветшало от путешествия; наступала зима. Далеко зашедший в сторону, лишенный всего необходимого, отвергаемый приближенными Старца, Феодор просил, по крайней мере, чтобы его допустили принять благословение Паисия. Это ему было позволено, и он предстал земному ангелу.

Паисий, увидя рубище и отчаянное положение юноши, заплакал от сострадания, утешил его словами любви сильными и причислил к своему священному стаду. С этого времени святый муж строго запретил, чтобы впредь кому бы то ни было отказывали без его ведома.

Обрадованный Феодор был отведен в хлебню. Свободной кельи не было. Для откровения помыслов и душевного назидания врученный Паисием духовнику, старцу Софронию, Феодор исповедал перед ним, по обычаю той обители, все грехи, содеянные им от самой юности, и был отлучен на пять лет от приобщения Св. Таин Христовых.

Проведя несколько дней в хлебне, видит он в одну ночь во сне множество людей, как будто приведенных на суд; в числе их был и он. Перед ним пылал громадный огонь. Внезапно откуда-то явились какие-то необыкновенные мужи, извлекли его из толпы и ввергли в пламя. И стал он размышлять: отчего из всей этой большой толпы я один только брошен в этот страшный огонь? И на мысли его те мужи ответили:

— Так угодно Богу!

Проснувшись, он рассказал это видение Старцу и от него получил такой ответ:

— Огонь этот предзнаменует пламень искушений, которые должны тебя постигнуть на иноческом поприще.

Из хлебни Феодор поступил в послушание к строгому старцу, которому был поручен присмотр за монастырскими пчелами. Здесь Феодор таскал на своих плечах ульи, копал землю, — словом, занимался необычной для него черной работой. Трудно изобразить терпение, с которым он переносил подвиги телесные, укоризны начальника, непрестанно укоряя самого себя, со смиренною мыслью, что несет достойное наказание за многочисленные грехопадения свои. Пот трудов, чаша бесчестий, непрестанно им испиваемая, собственное смирение породили в нем чувство сокрушения и плача. Блаженная печаль эта, сокрушающая сердце, растворила молитву его особой силой. Иисус Господь, призываемый глубокими воздыханиями и нелицемерным сознанием немощей, мало-помалу очищал его ум, разгонял мрак страстей и возвеселял ученика Паисиевой обители и Своего странными и сладостными ощущениями, которых никогда не вкушала гортань мирянина, погребенного в житейских попечениях.

Так протекло около двух лет. Феодора за непорочность жизни отставили от тяжелого послушания на пчельне и сделали помощником на просфорне, находившейся в монастыре Секуле, зависившем от Нямецкого и лежавшим от него в двенадцати верстах.

Подробно не будем говорить о трудах его в этом послушании; перейдем к обстоятельствам, которыми Бог возвел его на высоту добродетелей.

В пустынном месте, при потоке Поляна-Ворона, в пяти верстах от скита того же имени, жил старец Онуфрий, украшенный сединами не одних преклонных лет, но и сединами божественной мудрости. Происхождением из русских дворян, Онуфрий возлюбил Христа с самых ранних дней своего нежного детства. В юности он в продолжение шести лет юродствовал Христа ради и, оставив

юродство, удалился на Украину с другом своим, впоследствии иеромонахом Николаем, и на Украине принял ангельский образ. Онуфрий и Николай проходили вместе царский путь умеренности и взаимного совета. Обрадованные слухом о высоких достоинствах Паисия, они переселились из Украины в Молдавию и вручили себя великому Старцу. Напитавшись чистою пшеницей его наставлений, получили от него благословение поселиться в пустыне, на потоке Поляна-Ворона, и там напоеваться потоками божественного созерцания.

Находясь в просфорне, Феодор все более и более приобретал чувство внутреннего умиления и горения сердечного. Чем более человек питается духовною пищею, тем более алчет ее. То же произошло и с Феодором. Душа его устремилась к жизни пустынной, и он стремление свое предал на суд старца своего, Софрония, прося его благословения послужить престарелому и ослабевшему уже в силах Онуфрию. Старец Софроний одобрил его намерение, тогда Феодор обратился с помыслом своим к великому старцу Паисию, и Паисий с любовью и радостью благословил его намерение и отправил к Онуфрию.

Переселившись к Онуфрию, Феодор вступил на путь совершенного и неограниченного послушания. Отсекая волю пред своим духовно искусным и святым старцем, исповедуя ему все, даже мгновенные помыслы, он постепенно умирал міру, совлекал с себя мрачную одежду пристрастий ветхого человека и облекался в светозарный хитон нового — в блистающее святостию бесстрастие. Блаженное древо послушания произрастило свой обычный плод — Христоподражательное смирение. «Смиренного, — говорит Лествичник, — Бог обогащает даром рассуждения».

Этим даром рассуждения и возблагоухал смиренный Феодор не наружно только, но и сердцем, внутренно.

Три подвижника эти — Онуфрий, Николай и Феодор — имели прекраснейший обычай ежемесячно при-

общаться Святых Пречистых Животворящих Христовых Таин и ими очищались, просвещались, укреплялись в духовных подвигах и распалялись огнем божественных желаний. Онуфрий и Николай жили как братья. В келью Онуфрия, обиловавшего даром рассуждения, стекались толпы удрученных недоумением. Николай внимал самому себе и, не испытывая в глубоком безмолвии помыслы своего сердца, служил жертвою чистоты Существу Чистейшему. Феодор проходил то делание, которое святые Отцы поставляют наряду с исповедничеством — святое послушание. Кажется, можно безошибочно сказать, что эти три земных ангела не только числом, но и самой жизнию сияли во славу Животворящей Троицы. Не буду говорить о их терпении, кротости и воздержании — повесть сделается слишком пространной, — довольно упомянуть о царице добродетелей, о той добродетели, именем которой назвал Себя Господь — о святейшей любви. Ее драгоценными узами соединялись эти три небесных человека воедино с Богом и друг с другом, горя пламенем чистейшей любви, усердно нося немощи немощных и отвергая всякое самоугодие. Николай и Феодор забывали себя, услуживая немощному телом Онуфрию, употреблявшему от немощи самую легкую пищу, и ту в весьма малом количестве. Онуфрий забывал свои немощи, духовным разумом своим облегчая им духовное делание.

Истинно, посреди их невидимо обитал несказанно сладостный Иисус, по неложному обещанию.

За единодушие их жизни посещены они были однажды тяжелым искушением, которое ясно засвидетельствовало благоволение к ним Домовладыки, сказавшего: «Его же люблю, наказую». Пошел Феодор в скит для Таинства исповеди и Святого Причащения. В его отсутствие, во время самого всенощного бдения, напали на их пустыньку разбойники, и, похитив их малые запасы провизии, находившиеся в келье, возложили преступные руки

свои на двух старцев, и оставили их израненными, едва дышащими. Заботливый и любящий уход за ними Феодора помог им поправиться. Тогда сам Феодор поражен был болезнью, которая едва не свела его в могилу. Но Бог хранил дни праведника для пользы грешников».

22 мая

Продолжение жития старца схимонаха Феодора. — Великие откровения этой части жития приснопамятного Старца.

«Приближается новая печаль: кончина старца Онуфрия. За двенадцать часов до смерти открылись его сердечные очи: явилось ему судилище, которое встречает всякую душу, излетевшую от тела, и судилище это было как бы зримо соратникам Онуфрия. Праведник, истязуемый существами, для окружающих невидимыми, томился и давал ответы, из которых ясно виделось, что строгое осуждение человеческих недостатков было причиной этого страшного томления.

Онуфрий преставился весной, в марте[1].

Предав земле священные останки отца своего, Феодор продолжал жить с Николаем. Но пустыня, лишенная Онуфрия, не казалась уже для него столь любезною: ему попущено было уныние, вероятно, для того, чтобы светильник не оставался под спудом. Он вышел из пустыни, в которой жил пять лет со старцем Онуфрием и полгода с Николаем. Уходя, он получил от Николая заповедь приехать за ним следующею весною и взять его с собою в Нямецкий монастырь.

Феодор с радостью был принят архимандритом Паисием и начал проходить различные монастырские послушания: переписывал книги Отцев, переводимые Паисием с греческого языка на славянский, пел на клиросе,

[1] Нетленная глава его и перси свидетельствуют по смерти о его несомненном спасении и святости.

на котором впоследствии сделан был уставщиком, и под руководством Паисия обучился искусству всех искусств — умному деланию, умно-сердечной Иисусовой молитве[1].

С этого времени его начала преследовать зависть и преследовала до гроба.

По окончании зимы он, получив благословение великого старца Паисия, отправился на поток Поляну-Ворону, откуда взял с собой смиренного и безмолвного Николая и вместе с ним возвратился в Нямецкий монастырь. Но недуги и глубокая старость стали истощать телесные силы Николая. На руках Феодора скончался великий Николай, и мощей его не коснулось тление.

Феодор пребывал в Нямце до 1801 года и присутствовал при кончине знаменитого Паисия. Преемник Паисия по управлению монастырем, согбенный летами, лишенный зрения старец Софроний, также уже приближался к своему закату.

Между тем на Российский престол вступил Александр Благословенный. Милостивый манифест, им изданный, дозволял свободно возвращаться в отечество бежавшим из него за границу. Софроний, видя расстройство своего монастыря, побуждаемый некоторым предчувствием, посоветовал Феодору воспользоваться Монаршею милостию и возвратиться в Россию. Феодор послушно оставил Молдавию и вернулся в Россию, облеченный в великий ангельский образ (схиму) старцем Софронием, питавшим к нему любовь необыкновенную.

Возвратившись в Россию, он явился к Орловскому архиерею Досифею и по его желанию избрал местом жительства Челнский монастырь. Здесь он занимался приведением в стройность чина Богослужения, копал пещеру и, что всего важнее, начал уделять ближним от тех духовных сокровищ, которые приобрел в Молдавии. Но злоба и зависть скоро восстали на Феодора, и он

[1] О ней см. в Добротолюбии.

перешел в Белобережскую пустынь, где был строителем иеромонах Леонид[1], несколько времени живший при нем в Челнском монастыре и питавшийся манною его учения. Но и здесь не укрылся он от зависти, ибо, по сказанию духоносцев, возвышался духовным совершенством, не имеющим пределов духовной высоты. Беспрестанно стекались в келью его братия, отягченные бременем страстей, и от него, как от искусного врача, получали исцеление. Не сокрыл он от них драгоценного жемчуга, хранимого в уничиженной наружности послушания, о котором он узнал не слухом только, но самим делом.

Он не погрузил в неизвестность таинства частого и стесненного призывания страшного имени Иисусова, которым христианин испепеляет сперва терние страстей, потом разжигает себя любовию к Богу и вступает в океан видений.

В то время в Белые Берега занесена была горячка. Ею заразились многие иноки. За ними ходил и прислуживал милосердный и любовный схимник Феодор. Но и его сломила болезнь. Он пришел в большую слабость; в течение девяти дней он не принимал никакой пищи; все думали, что для праведника пришел час смертный: в нем внезапно онемели все чувства; глаза широко открыты; дыхание едва заметно; движение членов прекратилось, но уста осветились райской улыбкой, и на лице играл нежный, яркий румянец.

Трое суток он находился в этом необыкновенном положении и затем очнулся.

Прибежал о. строитель Леонид.

— Батюшка! — спросил он, — ты кончаешься?

— Нет, — ответил о. Феодор, — я не умру. Мне это сказано. Смотри: бывает ли у умирающих такая сила?

И с этими словами подал ему руку.

[1] Впоследствии великий основатель Оптинского старчества.

В это время к о. Феодору вбежал его любимый ученик.

— Я почитал тебя великим, — сказал ему о. Феодор, — но Бог показал мне, что ты весьма мал.

Вслед за этим он встал с постели; в одной рубашке и опираясь на костыль, поддерживаемый учениками, он пошел к больным, о которых ему было что-либо возвещено во время его исступления.

Невозможно изобразить всего того, что ему было открыто во время его замирания: чувственный язык не может с точностью изображать предметов духовных, и потому о них можно говорить только иносказательно, и притом несовершенно; к тому же многие лица, о которых было открыто в видении, еще и поныне[1] наслаждаются временною жизнью, призываемые к покаянию.

Это состояние видения началось таким образом.

За несколько дней до болезни, однажды вечером, о. Феодор примирял одного своего ученика с настоятелем и внезапно почувствовал в сердце своем необыкновенное утешение. Не будучи в состоянии скрыть этого чувствования, всю его непомерную сладость, он открылся в них намеком о. Леониду. Затем началась болезнь, имевшая странное течение. Во все ее продолжение о. Феодор был в полной памяти, но на лице его обнаружилось обильное действие внутренней сердечной молитвы. Болезнь же тела проявлялась только жаром в теле и большой слабостью. Когда с ним началось состояние исступления и он выступил из самого себя, то ему явился некий ***безвидный*** юноша, ***ощущаемый и зримый одним сердечным чувством***; и юноша этот повел его узкою стезею в левую сторону. Сам о. Феодор, как потом рассказывал, испытывал чувство, что уже умер, и говорил себе: я скончался. Неизвестно, спасусь ли или погибну.

— Ты спасен! — сказал ему на эти помыслы незримый голос. И вдруг какая-то сила, подобная стремительному вихрю, восхитила его и перенесла на правую сторону.

---

[1] Писано приблизительно в 30-х годах прошлого столетия.

— Вкуси сладость райских обручений, которые даю любящим Меня, — провещал невидимый голос.

С этими словами о. Феодору показалось, что Сам Спаситель положил десницу Свою на его сердце и он был восхищен в неизреченно-приятную как бы обитель, *совершенно безвидную, неизъяснимую словами земного языка*[1]. От этого чувства он перешел к другому, еще превосходнейшему, затем к третьему; но все эти чувства, по собственным его словам, он мог помнить только сердцем, но не мог понимать умом.

Потом он увидел как бы храм и в нем близ алтаря как бы шалаш, в котором было пять или шесть человек.

— Вот, для этих людей, — сказал мысленный голос, — отменяется смерть твоя. Для них ты будешь жить.

Тогда ему был открыт духовный возраст некоторых его учеников. Затем Господь возвестил ему те искушения, которые должны были обуревать вечер дней его. В видении этом ему были даже указаны те самые лица, которые впоследствии устремили на него всю злобу. Но Божественный голос уверил его, что корабль его души не может пострадать от этих свирепых волн, ибо невидимый правитель его — Христос.

В короткое время, без лекарства, обновилось здоровье Старца.

---

[1] Спаситель многими обителями у Отца называет различные меры ума, водворяемых в оной стране, т. е. отличие и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере ума. Ибо не по разности мест, но степени дарований назвал обители многими. Как чувственным солнцем наслаждается каждый, соразмерно чистоте и приемлемости силы зрения, и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно, хотя свет не делится на многие светения, так в будущем веке все праведные нераздельно водворяются в одной стране, но каждый в своей мере озаряется умственным солнцем и по достоинству своему привлекает к себе радость и веселие как бы из одного воздуха, от одного места, престола, зрелища и образа. И никто не видит меры друга своего как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для него причиною печали и скорби» (Исаак Сирианин. «О Небесных Обителях». Слово 5-е.).

23 мая

Продолжение и конец жития схимонаха Феодора.

Желая более уединения и безмолвной жизни, о. Феодор объявил об этом желании настоятелю и братии, и они устроили ему келью в лесу, в двух верстах от обители. В этой келье о. Феодор поселился с добродетельным иеросхимонахом Клеопою. В скором времени к ним присоединился и о. Леонид, добровольно сложивший с себя достоинство строителя.

Но не может укрыться град, стоящий на вершине горы: скоро слава о великих достоинствах Феодора разнеслась повсюду. Беспрестанно толпились при дверях его кельи многочисленные посетители и нарушали безмолвие пустынножителей. Феодор и сотрудники его, утомленные молвою, начали умолять Бога, чтобы Он устроил по святой Своей воле. Вскоре в сердце их возбудилось единодушное чувство, понуждающее их переселиться в северные пределы России. Три года они не могли осуществить сего на деле. Провидение определило Феодору прежде своих товарищей оставить Белые Берега. Он взял с собою на дорогу тридцать копеек, которые ему подарил игумен Свенского[1] монастыря, и отправился в путь. Зная презрение праведника к деньгам, рожденное крепким упованием на Бога, один из его приверженцев, схимонах Афанасий, вложил тайно в суму его пятирублевую ассигнацию. По дороге, отойдя 60 верст от Белых Берегов, Феодор встретил престарелую нищую и отдал ей эту ассигнацию.

Феодор направился к Новоезерскому монастырю, лежащему в восточной части Новгородской губернии, начальником которого в то время был знаменитый Феофан. Любовно им принятый, Феодор был им приглашен возобновить Нилову пустынь и жить в ней со своими еди-

[1] В г. Брянске, Орловской губернии.

номышленниками. Получив от Феофана письмо к митрополиту Амвросию, Феодор отправился к митрополиту, но Амвросий не согласился на предложение Феофана и отправил Феодора в возобновлявшуюся тогда Палеостровскую пустынь, лежащую на северном острове Онежского озера.

Здесь Провидение судило Феодору вступить в огонь жестоких искушений. Настоятелем Палеостровской обители был некто Белоусов, происхождением купец, купивший себе дворянство, а затем и монашество вместе с достоинством строителя. Никогда не знавший послушания, не сообразжавшийся с заповедями истинного христианства и иночества, Белоусов заразился завистью к Феодору и начал его притеснять. Не удовлетворившись этим, он с разыми клеветами поехал на него жаловаться митрополиту.

От владыки Митрополита Белоусов вернулся с приказанием, в котором было сказано: «Схимонаха Феодора никуда не пускать и ни в какие монастырские распоряжения ему не входить; если же сделает что непристойное, противное своему чину, то, лишенный чина, будет послан в светскую команду». Это было прочитано в трапезе, причем Белоусов запретил добродетельному Старцу входить в келии к другим инокам, впускать их в свою, разговаривать с богомольцами.

— Все сие случилось, — сказал на это смиренномудрый Феодор, — за тяжкие мои грехи, за мою гордость и за невоздержанный мой язык. Слава Тебе, милосердному Создателю моему и Богу, что не оставляешь меня, многогрешного и скверного, но посещаешь и наказуешь меня за мои беззакония Своим милосердием и благоутробием отеческим.

Через несколько времени Феодор стал просить подать просьбу о переводе своем на Валаам, но получил отказ.

— Видно, — сказал он, — так угодно Богу. Буди имя Господне благословенно отныне и до века!

Вновь был послан указ, и в нем было сказано: «Феодора схимника из ворот монастырских никуда не выпускать и не допускать ни в какие советы».

— Милосердый Господь и Создатель мой, — сказал Феодор, — дай мне и сие, и что впредь может случиться за грехи мои, претерпеть с благодушием и благодарением. Дай мне отныне, по крайней мере, положить начало к житию по Твоей святой воле и к люблению Тебя, милосердого Бога, Создателя моего и Искупителя!

Вскоре после этого указа Белоусов послал ему приказание выйти на покос грести сено.

— Не могу выйти после указа, — отвечал Феодор.

Белоусов разгорячился и закричал:

— Я тебя посажу в погреб и буду кормить травою.

— Как вам угодно, так и делайте, — сказал Феодор, — однако верую милосердому Богу моему: мне сделать могут только то, что Он попустит за грехи мои; а что Он попустит, того я и сам желаю. Лучше мне в сем веке понести наказание, нежели в будущем веке мучиться.

Два года продолжались притеснения со стороны настоятеля. Два года, лишенный одежды и обуви, сплетал он себе венец терпения. Наконец, видя расстройство Палеостровской обители и непримиримую ненависть строителя, он решился явиться к митрополиту для личного объяснения.

Перемещенный им в Валаамский монастырь, он поселился в одном из его скитов, но за самовольную отлучку из Палеострова был на год лишен камилавки.

Еще прежде него переселились в Валаамский монастырь из Белых Берегов иеросхимонахи Клеопа и Леонид со многими другими приверженцами о. Феодора.

Около шести лет пребывал Феодор в этом знаменитом монастыре и привлек к себе почти всю братию. Это возбудило зависть начальствующих. Составилось сонмище, подобное преступной синагоге, предавшей на казнь

Сына Божия, и валаамские мнимые праведники захотели стереть с лица земли праведника истинного. Но об этом довольно будет, если скажем, что тогда сбылись самим делом откровения, виденные им в Белых Берегах, сбылось и избавление, обещанное ему Спасителем. События эти слишком недавни, и потому о них запрещено распространяться.

Предпослав Клеопу в обитель Георгия еще во время своего пребывания на Валааме, Феодор переселился с Леонидом в Александро-Свирский монастырь. Цепь дней его была цепью искушений... За полтора года до преставления его постигла тяжелая болезнь. В тяжкие приступы припадков недуга он твердил одно только: «Слава Богу!»

За день до кончины он имел видение: он видел себя в некоей великолепной церкви, исполненной белоризцев, и из их среды, с правого клироса, услышал торжественный голос покойного друга своего, иеросхимонаха Николая:

— Феодор! Настало время твоего отдохновения прийти к нам.

Это совершилось в пятницу Светлой седмицы 1822 года. В девятом часу вечера заиграла на устах Феодора радостная улыбка, лицо его просветилось, черты изменились божественным странным изменением. Ученики, окружавшие одр старца, забыли слезы и сетование и погрузились в созерцание величественной необыкновенной кончины. Благоговейный страх, печаль, радость, удивление овладели вдруг их чувствами: они ясно прочитали на челе отца своего, что душа его с восторгом излетела в объятия светоносных Ангелов.

Смерть праведника есть рождение для новой радостнейшей жизни; смерть праведника есть сладостнейшая жатва тучных класов, прозябших из семени искушений и подвигов; смерть праведника есть величественное исшествие души, сбросившей деянием и видением страстные оковы темницы тела. Душа эта на пути своем к небу не убоится встречи лукавых демонов. Смерть праведника

есть полет его, стремительный и неудержимый, на крыльях любви к Источнику любви, Господу Иисусу.

Отче святый! Ты ныне обитаешь в райских чертогах и ненасытимо наслаждаешься хлебом небесным, пролей о нас молитву пред Царем царей, не предай чад твоих челюстям вражиим, будь нам помощником в страшные смертные минуты и представь нас Лицу Всевышнего, да и мы соединим с ликующим гласом твоим наши слабые гласы и удостоимся с трепетом прославлять в вечные веки Триипостасного Бога, славимого всею вселенной. Аминь.

24 мая

Доброе слово памяти В. И. Аскоченского. — Нечто о «догмате непогрешимости» Римского папы, о чем вряд ли знают и римокатолики.

Сейчас у меня в руках был 21-й выпуск журнала «Домашняя Беседа» того же 24 мая, что и сегодня, когда записываются эти строки, но только сорок лет тому назад, 1869 года. Ровно сорок лет исполнилось сегодня пожелтевшим страницам этим, издававшимся в конце 50-х, в 60-х и 70-х годах знаменитым в то время борцом за коренные устои русской жизни, Виктором Ипатьевичем Аскоченским, крепким и бестрепетным стоятелем за веру Православную, за Царя Самодержавного, за великий верою своею и смирением на́род Русский. Либеральные мамаши тех годов именем Аскоченского детей своих пугали, как в доброе старое время няни — букой.

Царство Небесное подвижнику русского духа!

Надо же тому быть, что вчера я окончил выписку в свои заметки из оптинских рукописей жития в Православной вере подвизавшегося старца схимонаха Феодора, а сегодня в «Домашней Беседе» я нашел выписку из свода определений непогрешимости папы как догмата, установленного лжевселенским собором при папе Пие IX в 1869 году!

Может ли быть для ищущего вселенской правды что-либо назидательнее и любопытнее, как сопоставление друг с другом этих двух выписок?!

«Папа, — учат латины, — есть божественный человек и человеческий бог. Посему никто не может судить его или о нем. Папа имеет Божескую власть, и власть его неограниченна. Ему возможно на земле то же самое, что на небесах Богу. Что сделано папой, то все равно что сделано Богом. Заповеди его должно исполнять, как заповеди Божии.

Для него возможно все, кроме греха, как все возможно Богу. Только один Бог подобен папе; папа повелевает небесными и земными вещами. Папа в міре то же, что Бог в міре или что душа в теле. Власть папы выше всякой сотворенной власти, ибо она некоторым образом распространяется на предметы небесные, земные и преисподние, да оправдываются на нем слова Писания: «Вся покорил еси под нозе его».

Во власть и волю папы отдано все, и никто и ничто не может ему противиться. Если бы папа увлек за собою в ад миллионы людей, то никто бы из них не имел права спросить его: отец святой, зачем ты это делаешь?

Папа непогрешим, как Бог, и может делать все, что Бог делает. Папская консистория есть Божия консистория, в которой он состоит ключарем и привратником. Никто не имеет права приносить жалобу Богу на папу или на суд, произнесенный папою. Воля Бога, а следовательно, и папы, который есть наместник Бога, — первая и верховная причина всех духовных и телесных движений. Папа имеет верховную власть повсюду. Он опоясан двумя мечами, то есть властвует над духовными и мирскими: над патриархами и епископами, над императорами и королями. Все люди на свете — его подданные. Он всё, выше всего и содержит в себе всё. Что он хвалит или порицает, то должны все хвалить или порицать.

Папа может изменить природу вещей, делать из ничего что-либо. Он властен из неправды сотворить правду; властен против правды, без правды и вопреки правде делать все, что ему угодно. Он может возражать против апостолов и против заповедей, переданных апостолами. Он властен исправлять все, что признает нужным в Новом Завете, может изменять Самые Таинства, установленные Иисусом Христом. Он имеет такую силу на небесах, что из умерших людей властен возводить в святые, кого захочет, даже против всех посторонних убеждений и вопреки всем кардиналам и епископам, которые вздумали бы тому воспротивиться[1]. Папа имеет власть над чистилищем и адом. Он — владыка вселенной. Неограниченною своею властью он делает все единственно по своему произволу, может делать даже более, чем нам или ему известно. Сомневаться в его могуществе — святотатство. Власть его выше и обширнее власти всех святых и Ангелов. Никто не имеет права даже мысленно протестовать против его приговора или суда.

Власть папы не имеет меры и пределов. Кто отрицает верховную власть и главенство папы, тот грешит против Святаго Духа, разделяет Христа и есть еретик. Только папе предоставлена власть отнимать что бы то ни было у кого бы то ни было и отдавать другому. Папа имеет власть отнимать и раздавать империи, королевства, княжества и всякое имущество. Власть свою папа получает прямо от Бога, а императоры и короли от папы. Папа есть наместник Бога, и кто отрицает это, тот лжец. Папа есть вместоправитель Бога над добрыми и злыми ангелами; что совершается властью папы, то совершается властью Бога. Никто не имеет права входить в Божию консисторию иначе, как посредством папы и с его дозволения, потому что папа есть привратник жизни вечной. Кто

---

[1] Из буллы папы Климента V-го видно, что он может приказать ангелам вывести из чистилища и доставить на небо в рай души пилигримов, умерших на пути в Рим.

утверждает, что папа не есть глава Церкви, тот заблуждается в догмате веры. Кто не повинуется папе, тот не повинуется Богу. Все, что папа делает, угодно Богу.

Папу не может судить никто, потому что сказано: «Духовный востязует вся, а сам той ни от единаго востязуется». Власть его распространяется на небесное, земное и преисподнее. Он есть подобие Христа, и в теле его живет Святый Дух.

Папа есть государь всех, царь царей и причина всех причин. Один лишь он может разрешить и уничтожить присягу подданных своему повелителю. Папа превосходит всякое величие и все достоинства земные. Папа есть жених и глава Вселенской Церкви. Папа не может заблуждаться. Он всемогущ; в нем вся полнота власти. Он властен распоряжаться в противность естественному праву. Он выше апостола Павла, ибо по призванию своему стоит наравне с апостолом Петром. Он может поэтому возражать против посланий апостола Павла и отдавать приказания, противоположные его посланиям. Обвинять папу все равно, что грешить против Духа Святаго, что не прощается ни в сем веке, ни в будущем.

Тройственная корона папы означает тройственность его власти: над Ангелами на небесах, над людьми на земле и над бесами в аду.

Бог предоставил во власть папы все законы, а сам папа выше всех законов.

Если папа изрек приговор против суда Божия, то суд Божий должен быть исправлен и изменен.

Папа — свет веры и отражение истины.

Папа есть всё над всем и может всё...»

Таково изложение догмата непогрешимости папы. Осведомлены ли о нем те из рожденных в православии, кто в Римской церкви стремится обрести истину? Знают ли о нем и сами католики?

И вспоминаются мне слова пророка Исаии, обращенные к падшему херувиму деннице, ставшему богобор-

цем — диаволом. *«...Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю попиравший народы. А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему...» Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней»* (Ис. 14, 12–15).

Что осталось теперь от светской власти папы? велик ли авторитет его теперь и в самой-то Римской церкви?

«Разбился о землю попиравший народы!..»

25 мая

С. А. Манаенкова. — О том, как я поселился в Оптиной. — Слова о. Егора Чекряковского о нашем поселении в Оптиной. — Мой сон об о. Амвросии Оптинском. — Видение о. Амвросия в тонком сне. — Старец о. Иосиф и мой сон.

Приехала помолится, пожить и отдохнуть в Оптиной София Александровна Манаенкова. Эта раба Божия — дитя Оптинского духа: о ней стоит поговорить особо.

Наше знакомство впервые завелось в августе 1907 года, когда мы с женой приезжали из Валдая, где тогда временно проживали, в Оптину Пустынь помолиться Богу, поговеть и войти в общение с Оптинскими старцами, которых я любил и знал, но с которыми жена моя лично еще не была знакома. По моим рассказам она уже успела душой привязаться к ним: надо было привязанность эту закрепить личным свиданием, что и было сделано Успенским постом того незабвенного 1907 года, когда старцами было решено наше поселение на жительство с ними на благословенной земле Оптинской... Впрочем я, помнится, еще ничего не записал о том, как совершилось это важнейшее в нашей жизни событие. Запишу, пока оно еще свежо в памяти, а потом — честь и место Софье Александровне.

Дело было так.

В конце июля 1907 года говорит мне жена:

— Что же это мы всё никак не можем собраться в Оптину? Столько ты мне наговорил о ее духовной красоте, о ее старцах, о живописности ее местоположения, а как ехать туда, так ты все оттягиваешь. Напиши о. архимандриту и о. Варсонофию, что собираемся к ним погостить. Ответят, и тогда — с Богом.

Я так и сделал.

Вскоре от обоих старцев я получил ответ, с любовью нас призывающий под покров Оптинской благодати на богомолье и на отдых душевный, сколько полюбится и сколько поживется.

Мы наскоро собрались и поехали.

На жену Оптина произвела огромное впечатление. Про меня говорить нечего: я не мог вдосталь надышаться ее воздухом, благоуханием ее святыни, налюбоваться на красоту ее соснового бора, наслушаться ласкающего шепота тихоструйных, омутистых вод застенчивой красавицы Жиздры, отражающей зеркалом своей глубины бездонную глубину Оптинского неба...

О красота моя Оптинская! о мир, о тишина, о бемятежие и непреходящая слава Духа Божия, почивающая над святыней твоего монашеского духа, установленного и утвержденного молитвенными воздыханиями твоих великих основателей!..

О благословенная моя Оптина!

К Успеньеву дню мы готовились, а на самый Велик день Богоматери удостоились быть и причастниками Святых Таин. На следующий день, 16 августа, был праздник Нерукотворенному Спасу, день из-за родового нашего образа особо чтимый в моей семье. Мы были у поздней обедни. После отпуста мы с женой направились к выходу из южных врат храма. У самого выхода, у Казанской иконы Божией Матери, нас встречает один из старцев, иеромонах о. Сергий и, преподавая нам свое благословение, неожиданно для нас говорит:

— Как жаль, С. А., что вы от нас так далеко живете!

— А что?

— Да вот, видите ли, есть у нас помысл издавать Оптинские листки вроде Троицких: жили бы вы где-нибудь поблизости, были бы нашим сотрудником.

— За чем же, — говорю, — дело стало? Мы, слава Богу, люди свободные, никакими мирскими обязанностями не связанные: найдется для нас в Оптиной помещение — вот мы и ваши.

— Ну что ж, — говорит Старец, — Бог благословит. Переговорите с о. архимандритом и с о. Варсонофием: благословят они — и поселяйтесь с нами: что может быть лучше нашей Оптинской жизни?!

Мы были вне себя от неожиданной радости.

Разговор этот происходил во Введенском храме, как раз под Казанской иконой Божией Матери, у правого клироса Никольского придела.

И запали нам слова батюшки о. Сергия в самую глубину сердечную: и впрямь — что может быть лучше жизни Оптинской?!

Когда-то в Оптиной проживал на временном «покое» один из ее знаменитых постриженцев, впоследствии архиепископ Виленский, архимандрит Ювеналий (Половцев). Во внешней ограде монастырского сада он выстроил себе в конце 70-х годов прошлого столетия отдельный корпус со всеми к нему службами, прожил в нем лет десять и оттуда был вызван на кафедру Виленской епархии. С тех пор корпус этот перешедший в собственность Оптиной, стоял почти всегда пустой, изредка лишь занимаемый на короткое летнее время случайными дачниками. Вот об этом-то корпусе, вернее, усадьбе, я и вспомнил после знаменательного для нас разговора с о. Сергием под Казанской иконой Матери Божией. Решили пойти его смотреть. Послали в архимандритскую за ключами и, пообедав у себя в гостинице, пошли около часу дня присматривать себе новое жилище.

В этот час вся Оптина отдыхает.

На площадке между монастырскими жилыми корпусами и храмами не было ни души, никого даже из богомольцев не было видно на всем пространстве обширного внутреннего двора обители, когда я с женой и с одной валдайской старушкой, нашей спутницей, проходили по нему, направляясь в сад к ювеналиевской усадьбе.

Подошли к Казанской церкви. Я остановился перед нею, снял шляпу, перекрестился и, пользуясь тем, что кругом посторонних никого не было, вслух молитвенно сказал:

— Матушка, Царица Небесная, если Тебе угодно, чтобы мы здесь поселились под Твоим кровом, то Ты уж Сама благослови!

И не успел я до конца промолвить последнего слова «благослови», как неожиданно из-за угла Казанской церкви показался с полным ведром воды в руках один из старейших оптинских иеромонахов ризничий о. Исаия, некогда бывший старшим келейником великого старца Амвросия. Услыхал он мое слово, поставил свое ведро на землю и не без живости меня спросил:

— На что благословить-то?

Так нас эта встреча взволновала, что я едва был в состоянии толком объяснить о. Исаии, на что я просил благословения у Царицы Небесной. Снял батюшка с головы своей камилавку и, благословляя нас, растроганным голосом произнес:

— Бог да благословит вас! Да благословит намерение ваше доброе Сама Царица Небесная!

И пока благословлял нас о. Исаия, вокруг нас откуда ни возьмись собрались еще три иеромонаха: благочинный, о. Илиодор, о. Серапион и скитский иеромонах о. Даниил (Болотов), наш особо близкий друг и доброжелатель, — и тут все четверо благословили наше водворение под кров обители Оптинской, созданной и освященной в честь и славу Введения во храм Пресвятой и Пренепорочной Приснодевы Богородицы.

Для меня такое «совпадение» было знамением. Знамением же оно показалось и всем в тот час с нами бывшим.

Чего только? Тут ли на земле это откроется или там, на небе, — одному Богу известно.

О. Даниил — Царство ему небесное! — пошел с нами в наше будущее гнездышко и на коленях, милый и любвеобильный старец, помолился там с нами пред иконой Смоленской Божией Матери[1], чтобы укрыла Она нас в гнездышке этом от зла века сего, от клеветы человеческой.

До чего же нам тогда полюбилось ювеналиевское затишье!..

О, как было бы желанно в нем и жизнь свою кончить!.. С о. архимандритом уговор о жительстве нашем покончен был с двух слов; обычно же наш авва никому из мирских не позволяет подолгу заживаться в Оптиной. И это нам было тоже в знамение.

Съездили мы тут же с женой к о. Егору Чекряковскому[2], моему присному советнику в важные минуты жизни; он тоже благословил нам поселиться в Оптиной.

— Благословите, — говорю ему, — батюшка, поселиться нам в Оптиной до смерти.

— Да, да, — ответил он, — годочка два, ну — три, поживите, поживите! Только условие с монахами напишите, а то ведь их там не один человек: мало ли что может случиться?!

— Батюшка! — опять говорю, — уж вы до смерти нам там жить благословите!

А он свое:

— Годочка два-три поживете. Ведь вы сами знаете, что теперь почетных мест нет: какие теперь могут быть почетные места-то?!

Очень нам тогда слова эти были не по мысли.

---

[1] Домовая икона корпуса, Одигитрия-Путеводительница.

[2] О нем — в книге моей «Великое в малом». Село Спас-Чекряк, где священствует батюшка, от Оптиной на лошадях 55 верст.

Все это происходило в августе 1907 года, а первую ночь в новом своем оптинском приюте мы провели с 30 сентября на 1 октября того же года.

Первое утро нашей оптинской жизни, таким образом, было утром Покрова Божией Матери: милости Ее искали — милость Ее в Покрове и получили, под кровом Ее Обители в среде Ее верующих послушников Оптинских.

И это тоже было вере нашей в знамение.

И вспомнился мне тогда мой сон, виденный мною лет за семь или за восемь до нашего переселения в Оптину. Было это, стало быть, в начале 1900-х годов. В те годы я еще продолжал быть довольно крупным помещиком Орловской губернии. Скорби моей личной и помещичьей жизни тогда впервые меня затянули искать совета и утешения у Оптинских старцев, и тогда же я впервые ознакомился с поразившим мое чувство житием присноблаженной памяти великих старцев Льва (Леонида), Макария и, наконец, нашего современника Амвросия. С этого посещения Оптиной Пустыни прилепилось мое сердце к этому великому и святому месту узами неумирающей, святой любви и вечной благодарности; с этого жития и открылся мне тайник сокровенного Оптинского духа, выпестовавшего таких богатырей русской мысли, как братья Киреевские, напоившего до сытости и меня водами источника жизни, приснотекущего в блаженнейшую вечность и именуемого истинным старчеством, истинным монашеством.

Я не застал в живых ни великого Амвросия, ни великого Анатолия (Зерцалова), еще так недавно блиставших чистыми звездами на тверди Оптинской, но узнал и сблизился, в мере моей духовной скудости, с их еще здравствовавшими тогда сотрудниками и сотаинниками. И этого было для меня довольно-предовольно, ибо большего не могло бы вместить убожество моего сердца и духа.

— Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный! — воскликнул первоверховный апостол Петр Спасителю

міра, ибо наполнились лодки и стали тонуть от великого множества рыбы, пойманной им и другими с ним бывшими рыболовами... Не могло бы и мое грешное сердце вместить всего духовного оптинского улова, если бы он открылся мне во всей неизмеримой своей полноте, во всей глубине своей непостижимой...

И вот, вскоре после первой моей поездки в Оптину, я видел сон: иду будто из монастыря в Скит заветной дорожкой и несу к о. Амвросию великую и безнадежную скорбь моей души, обремененной всякими грехами, подхожу к скитским святым воротам и вижу, что на месте «хибарки»[1] стоит большое белое каменное здание; но я знаю, что это все-таки прежняя батюшкина хибарка. Вхожу в нее; меня встречает монах высокого роста, плотный и широкоплечий; волосы у него не очень длинные, белокурые, со значительной проседью, и вьющиеся природными мелкими завитками. Одет он в белом балахоне, какой летом у себя в келье носят Оптинские монахи...[2] Я знаю, что это келейник Старца.

— Батюшка! — обратился я к нему, — можно ли мне видеть отца Амвросия?

— Можно, — говорит, — он вас (при этом он встал со стула и пристально взглянул мне в глаза), он вас примет.

— Я слышал, что он все болен.

— Нет, — говорит, — он у нас совсем здоров, совсем здоров!

---

[1] «Хибаркой» у Оптинских старцев, живущих в Скиту, называется пристройка к их келье, отведенная для приема на совет женщин. Вход в эту пристройку с наружной стороны скитской ограды. Внутрь ограды вход женскому полу воспрещен.

[2] Я останавливаюсь на подробностях внешности этого монаха, потому что именно с этими подробностями я признал теперь, уже спустя 7–8 лет, в виденном мною во сне монахе Оптинского старца, о. Анатолия (Зерцалова), портрет которого я на днях увидал в келье о. Варсонофия, нашего духовника и старца. Портрет этот писан искусной рукой о. Даниила (Болотова) и, сказывают, похож как две капли воды на свой оригинал.

И с этими словами монах повел меня внутрь «хибарки». Ввел он меня в просторную, высокую, под сводами, комнату, сияющую ослепительной белизной своей побелки. Огромное, во всю стену, окно освещает эту комнату яркими и теплыми лучами чудного летнего дня. В комнате стоит аналой, на аналое Крест и Евангелие. Никакой мебели в комнате этой не было.

— Подождите здесь, — сказал мне монах, — к вам батюшка сейчас выйдет.

Сказал и вышел.

И он вслед вошел, небесный человек и земной ангел! Вошел в епитрахили и в поручах, светлый, благостный, любвеобильный, старенький, седенький, но живой в движениях и быстрый, и... такой, такой добрый, такой любящий, такой всепрощающий...

Я упал ему в ноги и залился слезами...

И плакал я долго, безудержно, безутешно плакал и, плача у ног его, все говорил, все говорил ему, прерывая слова свои рыданиями, про все скорби мои, про грехи юности моей и неведения, про грехи знания и противления моего, про соблазны и соблазненных мною, любящих меня, любимых мною моих дорогих и близких — про все, про все свое я говорил ему. И когда я все сказал, все выплакал под ноги великому и святому Старцу, тогда он поднял меня с полу, и стал мне в свою очередь что-то говорить, и говорил долго, ласково, любвеобильно. И по мере того как он мне говорил свои, сердцу моему сладкие, речи, тоска и скорбь моей души начинали от нее отходить мало-помалу и все светлее и светлее становилось на сердце, измученном неправдою моей нехристианской жизни. Но что мне говорил великий Старец, того не запомнил я ни во сне, не помнил и тогда, когда проснулся... И после речей своих, забвенных мною, покрыл меня батюшка своей епитрахилью, отпустил мне грехи мои многие, дал поцеловать Крест и Евангелие, положил мне свою руку на левое плечо и сказал такое слово:

— Ну, вот что, друг, скажу я тебе: и прокурором будешь, а Исаакия все равно не минуешь. Господь с тобою!

И я весь в слезах проснулся, а в ушах еще звенели последние слова великого Старца.

И подумалось мне: Старец скончался во дни настоятельства в Оптиной Пустыни архимандрита Исаакия... Уж не монахом ли мне быть в его обители? Мирской человек со всеми своими привязанностями и чувствами, я отогнал эту мысль, как нелепую, но сон этот не мог уйти из моей памяти...

И вот я — в Оптиной: Исаакия, стало быть, не миновал, успокоенный, утешенный святыней Оптинского духа и всем, чем наделил меня от щедрот Своих Господь...

Что значит: «и прокурором будешь?..» Сейчас не понимаю. Когда-нибудь узнается, если будет угодно Богу...

Вскоре после поселения нашего в Оптиной Пустыни жена в тонком сне, ночью, видела отца Амвросия в нашем доме: вышел старец из нашей моленной, прошел к нам в спальню, подошел к нашей кровати и о чем-то долго со мною говорил, но о чем — жена не слыхала.

Я в эту ночь спал крепко и никаких снов не видел. Про этот сон свой жена рассказала другу нашему, отцу Даниилу (Болотову).

— С нашими старцами, — сказал он, — это бывает: поселится кто в обители новый, они его навестят непременно, посмотрят, как живет, иногда вразумят, наставят, а то и наказанием взыщут.

Про свой сон об о. Амвросии я рассказывал старцу о. Иосифу. Он не без волнения рассказ мой выслушал и признал его истинным, но объяснения ему не дал. Говорю — «не без волнения», потому что я видел, как во время моего повествования глаза батюшки Иосифа затуманились слезой и одна тихо-тихо скатилась по его ланите...

И вот уже седьмой месяц доходит второго года, что мы живем здесь, в тихом нашем пристанище, тихо и радостно. Что будет дальше?

Твори, Господи, волю Свою!

26 мая

С. А. Манаенкова. — Кощунство над девятичиновной просфорой. — Беснование как наказание за кощунство. — Исцеление Манаенковой на могиле старца Амвросия Оптинского.

София Александрова Манаенкова[1], о приезде которой я упомянул вчера, обязана жизнью своей души святыне и дерзновению перед Богом молитв почивших и живых Оптинских старцев.

Вот что с ней было.

«Происхожу я, — рассказывала мне Софья Александровна, — из потомственных дворян Орловской губернии. У родителей моих было маленькое именьице в Елецком уезде. Доходов с имения этого едва хватало нашей семье, чтобы еле-еле сводить концы с концами, питаясь, как говорится, с хлеба на квас. Когда я подросла, меня родители отдали в орловский институт, который я и кончила благополучно в 80-х годах прошлого столетия. Не успела я окончить курса, как передо мною во весь рост встал роковой вопрос: чем существовать? У матери моей, с ее крохотными средствами к жизни, сил не было содержать меня в праздности. В руках у меня был диплом. Недолго раздумывая, с помощью добрых людей, я открыла в Ельце школу для девочек, постепенно развертывая ее в частную женскую гимназию с правами казенных гимназий. Дело мое пошло настолько хорошо и стало на такую прочную почву, что мой годовой личный заработок начал давать мне средства к жизни в полном довольстве, без роскоши, но ни в чем себе не отказывая.

Неподалеку от имения матери, в нашем же уезде, находилось и имение одной моей институтской подруги, вышедшей к тому времени замуж за известного в Орле доктора Голостенова[2]. Во время летних вакаций я жила

[1] Главное действующее здесь лицо названо с его разрешения полным его именем.

[2] Голостенов Николай Николаевич.

в деревне у матери, и мы часто виделись с моей подругой и с ее семьей, проводившей лето тоже в своей усадьбе. У мужа моей подруги была сестра, молодая девушка, с которой я тоже подружилась. Все мы были молоды, здоровы, полные сил и энергии; всем нам жизнь улыбалась — жилось, словом, уютно, дружно, весело, беззаботно не забивая головы никакими сложными вопросами да и сердца не отягчая ничем, что могло бы заставить его биться сильнее обыкновенного.

И вот в такую-то беззаботную, чуждую всяких духовных запросов жизнь, проникло, наконец, извне и нечто от духа: муж моей подруги, доктор Голостенов, увлекся гипнотизмом и спиритизмом и увлечением своим заразил и нас. Завелись в нашем кружке собеседования по этому вопросу, появилась целая литература предмета, возбудился горячий интерес к изучению на практике явлений из области того же духа. «Коего духа» были эти явления, никто из нас не интересовался: какое кому было до этого дело — было бы только интересно и весело да вносило бы оживление в однообразие захолустной деревенской жизни! Взбудоражился наш тихий мирок, обрадовавшись, как дитя, новой пряной духовной пище, которой ему не была в состоянии дать ни казенная наука, ни то, что нам тогда казалось нашей религией. Религия!.. Мы все были православные по крещению, по диплому, в котором были обозначены наши «успехи» в Законе Божием, но по духу, по проникновению в великое таинство нашей веры и нашего спасения мы ничем не отличались от язычников. Мы были круглые невежды в нашем Православии, мы были даже хуже язычников.

И вот углубились мы по уши в изучение новых духовных возможностей. От теории, обильно уснащенной примерами практики, мы не замедлили перейти и к самой практике: стали заниматься внушением и отгадыванием мыслей, стали вертеть блюдечко и вступать в общение с невидимым міром по способу и указке той «науки»,

которой до сих пор увлекаются сознательные и бессознательные отступники от веры Христовой. К занятиям этим наиболее способными из нашего кружка оказались я и сестра мужа моей подруги, и мы до того увлеклись производством «чудес» из области новой для нас «науки», что ради новых радостей духа часто готовы были даже позабыть и об утешениях плоти.

И вот наступил, наконец, день расплаты за наше безумие. Был день Ангела моей подруги. Все мы были в сборе у нее в доме. Подруга моя утром была у обедни в своем селе. Мы ждали ее с чаем, с пирогом, с разными подарками. Настроение у всех было приподнятое, праздничное... За чаем было шумно и весело... Отпили чай. Что будем делать? Давай за свое, что более всего захватывало в то время нашу душу — за внушение. Решено было, что я должна уйти в дальнюю комнату дома, там что-нибудь задумать и задуманное внушить сделать сестре мужа моей подруги.

Дальняя комната была спальней и кабинетом моей подруги и ее мужа.

Я не долго думая побежала в эту комнату, конечно, одна, оставив остальную компанию под взаимным надзором в столовой, где пили чай. Первое, на что упал мой взгляд в кабинете, была девятичиновная обеденная просфора, которую от Литургии принесла моя подруга. Просфора лежала на письменном столе и, как предмет для него необычный, прямо мне бросилась в глаза. Я схватила ее и перенесла на умывальник. Пусть, — задумала я, — она (сестра мужа моей подруги) возьмет ее с умывальника и переложит обратно на письменный стол. Задумала и крикнула:

— Готово!

На мой крик сбежались из столовой все, а та, которой я внушила исполнить мною задуманное, нимало не колеблясь, кинулась сперва к письменному столу, от него — к умывальнику и только было хотела протянуть руку к

просфоре, как внезапно, точно отброшенная чьей-то могучей рукою, перевернулась вокруг себя один раз и грохнулась на пол в обмороке, а я на том же полу уже билась в конвульсиях припадка падучей. Внушенная оправилась скорее, а меня, внушительницу, отходили только через три часа, несмотря на помощь доктора, мужа моей подруги. Обе мы ничего не помнили, что с нами было, не понимали, как и отчего могло это с нами произойти. Ничего, конечно, не понимал в этом и доктор.

И вот, с самого этого памятного и страшного дня, перевернулась до неузнаваемости вся моя жизнь. Никогда не знавшая никакой болезни тела, души же и того менее, я стала подвергаться припадкам так называемой падучей болезни, эпилепсии, как зовется она людьми науки. Сперва изредка, — раз в три месяца, — затем каждое новолуние, а потом, повторяясь и по нескольку раз в день, припадки эти меня довели до полного изнеможения, до потери всякой способности к какому бы то ни было труду. Пришлось уйти от любимого моего дела, от источника моего пропитания. И чем дальше, тем все хуже и хуже становилось мое состояние. Дошло до того, что мною овладело полное отчаяние, и я стала посягать на свою жизнь. Счету нет, сколько раз покушалась я на самоубийство.

И стала я всем в тягость, а себе ненавистна, как лютый и беспощадный враг. В таком состоянии, в немоготу себе и людям, прожила я что-то около пятнадцати лет... Из молодой, здоровой девушки, видите, в какую я теперь превратилась старуху?..[1]

Болезни моей, от которой меня лечили всякими средствами, конечно, никто не понимал. Не понимала ее и я.

Как-то раз, в скитаниях моих по родным с одного хлеба на другой, поселилась я на временное жительство к родной своей сестре. Замужем она за начальником станции. Жалованьишко у мужа небольшое; семья огромная.

[1] Когда мне С. А. все это рассказывала, ей с небольшим было лет 40–45, но на вид она казалась гораздо старше.

Жутко мне было сидеть на их спине нахлебницей, да еще припадочной, а делать было нечего — пришлось сидеть. Муж сестры — человек простой, без особого образования, но добрый и глубоко, по-старинному, верующий.

— А что, Соня, — спрашивает он меня как-то раз, — давно ли ты говела?

— Да с тех пор, — отвечаю, — как больна, ни разу не говела.

— Ах, матушка, — воскликнул он с живостью, — да разве ж так можно? И не нашлось у тебя ни одного доброго человека, кто бы об этом позаботился. Да так-то и без болезни болен сделаешься. Непременно поговей, поисповедайся да причастись Святых Христовых Таин: Бог милостив, глядишь, и выздровеешь.

Я не отказалась.

Поговела я, походила в церковь, поисповедалась... Припадки мои меня как будто оставили... Наступил день Причащения. Литургию я стояла всю хорошо, чувствовала себя сносно, как будто даже здоровой... Открылись Царские врата...

— Со страхом Божиим и верою приступите!..

И что ж вы думаете? Меня, изможденную, и обессиленную пятнадцатилетними страданиями, к Святой Чаше, к Источнику жизни, едва могли подвести девять человек: такая явилась во мне невероятная сила противления святыне, такая ненависть к Св. Таинам, что ярости внезапно во мне проявившейся силы едва могли противостоять девять человек из числа богомольцев, помогавших сестре моей со мной справиться.

Я — институтка, барышня образованная, благовоспитанная, не верившая ни в беснование, ни в кликушество, смеявшаяся и издевавшаяся над этим «бабьим невежеством и притворством», я сама оказалась бесноватой.

Это был такой ужас, такой ужас, что об нем и вспомнить страшно... Слава Богу, что все это теперь прошло, но и теперь еще, когда вспомнишь об этом прошлом, во-

лос дыбом становится. Корень болезни, однако, был найден, и с этого дня началось уже правильное мое лечение: по совету верующих людей, я часто стала причащаться, стала ездить, насколько позволяли мне средства, к святым местам. Припадки падучей почти прекратились, припадки явного беснования становились все слабее, но им на смену явилось в сердце моем чувство такой неописуемой, нечеловеческой тоски, что если бы не милость Божия, меня тайно поддерживавшая, я бы не была в силах противиться ее давлению, я бы умерла с этой тоски.

Исполнялось уже восемнадцать лет с того дня, как я дерзнула произвести опыт внушения с девятичиновной просфорой. Одна боголюбивая женщина уговорила меня поехать с нею к Оптинским старцам. Достали мне даровой билет по железной дороге, и я с женщиной этой добралась до Оптиной.

В Оптиной мне все очень понравилось. Понравились ее храмы, чин ее Богослужения мне тоже полюбился, как полюбилось и местоположение этой чудной Обители; но ни к старцам, ни к старческим могилкам я идти ни за что не хотела, как ни упрашивала меня моя спутница: внутри меня точно все переворачивалось при одной мысли о старчестве вообще и в частности о подвижниках Оптинских. Глухой, прямо им враждебный протест поднимался во всем существе моем: «На что они мне? Что в них такого, чего нет у других им подобных людей? Ну их!..» И я упорно обходила во время своих оптинских прогулок и кельи их, и могилы их великих предшественников.

Тоска, меня глодавшая, немного затихшая было вскоре по приезде в Оптину, вновь принялась грызть мое сердце пуще прежнего. Моя спутница уговорила меня говеть, и мы с ней вместе стали готовиться. Вот в это-то время и произошло со мною нечто великое, что навеки связало мою жизнь с Оптинскими старцами несказанною к ним благодарностью.

С тоской, которая мне не давала ни отдыху, ни сроку, у меня было связано еще одно чисто физическое ощущение: я чувствовала в груди, под сердцем, как бы клубок какой, который даже ощущался иногда на ощупь. Этот клубок подкатывался под самое сердце, и тогда я готова была кричать от тоски и от боли. И еще было у меня горе — я не могла плакать: потребность плакать была, но не было слез; слезы точно сдавлены были этим страшным клубком и наружу не изливались.

Как же это было ужасно!

И вот, в дни говения, перед исповедью у о. Серапиона[1], я решилась, наконец, — не знаю сама как — пойти на могилу о. Амвросия. Решила одна сама с собой, одна и пошла на могилу. И когда я вошла в открытую часовенку над этой могилой, преклонила колени у ее беломраморного надгробия и приложила к нему свою горемычную голову, вот тогда-то я впервые за все восемнадцать лет своей нечеловеческой муки почувствовала, что открылся исток моим слезам, что слезы безудержным потоком из груди хлынули к горлу и излились на вольную волю горькими, покаянными рыданиями. И долго, долго плакала я, склонясь головой своей бедной на надгробие заветной могилы, пока не изошло из груди моей слезами все мое многолетнее страшное горе. И тут я почувствовала, что свалилась вдруг с меня какая-то тяжесть и что не стало и в груди моей давившего ее столько лет страшного клубка.

Отец Серапион, которому я на исповеди рассказала всю мою жизнь и то, что со мной произошло на могиле старца о. Амвросия, выслушал меня внимательно, с большой любовью, разрешил мне грехи, содеянные мною от семилетнего возраста и исповеданные ему во время этой памятной исповеди, взял потом требник и стал меня по нему отчитывать. Я кричала, билась, вырывалась из кельи, а потом затихла.

---

[1] Тот же о. Серапион, который первый призвал нас жить в Оптиной.

С того часа и поныне припадков моих со мною больше не повторялось. Душевно я стала совершенно здорова.

После Причастия я пошла на могилу батюшки Амвросия и тут внезапно почувствовала, что исцелилась совсем, окончательно и навсегда исцелилась. И низошла на меня тут такая блаженная радость, что не только от тоски моей не осталось и помину, но я думаю, что ей и места уже никогда не будет в сердце, раз испытавшем это неизъяснимое блаженство. И представьте себе, что чувство блаженства этого меня не покидало в течение целого года по возвращении моем из Оптиной домой, целый год мне даровано было наслаждаться таким душевным миром и счастьем, что я вполне была вознаграждена за восемнадцать лет моей муки, понесенной мною в наказание за грех моего кощунства.

Восемнадцать лет! Ровно по два года за каждую часть просфоры!.. Отстрадала здесь, — там, Бог даст, страдать не буду».

Такова незаурядная история Софии Александровны, мне рассказанная ею самою Успенским постом 1907 года.

27 мая

Мед с Оптинских цветков: беседа с отцом Иаковом о старце Амвросии.

Есть у нас в Оптиной слепец монах, о. Иаков. Долгое время он нес в обители послушание канонарха, затем стал терять зрение, а под конец и вовсе ослеп. Очень расположено мое сердце к этому слепенькому подвижнику.

Как-то раз, идя из церкви после всенощной домой, я обогнал о. Иакова, ощупывавшего палочкой перед собою дорогу, приостановился, подождал его и повел его под руку в его келью. Прощаясь со мной у порога своей лестницы (его келья во втором этаже), он придержал меня за рукав и говорит:

— Зайдите как-нибудь ко мне: мне есть кое-что рассказать вам из жизни старца Амвросия и моего с ним общения.

Долго я все никак не мог собраться к о. Иакову. Сегодня пошел в час, когда после обеденного покоя по всем монашеским кельям раздувают самоварчики, — это едва ли не единственное утешение плоти, которое позволяют себе Оптинские монахи. Постучался, помолитвился.

— Аминь! — отозвался из кельи голос о. Иакова. — А, это вот кто пожаловал! — просим милости, — радостно приветствовал меня хозяин кельи, — милости просим! А я думал, что вы уже и забыли про убогого Иакова.

— Не забыл, а все некогда было, мой батюшка, по поговорке «Дела не делаю и от дела не бегаю». День за днем, вот под упрек и угодил к вашему преподобию — простите!

А самоварчик кипел уже и у о. Иакова. Присели мы к этому сотаиннику скорбей монашеских, и вот что поведал мне за чайком мой слепенький молитвенник.

— Было это, — сказывал он мне, — лет двадцать пять тому назад. В то время я еще был только рясофорным послушником и нес послушание канонарха. Как-то раз случилось мне сильно смутиться духом, да так смутиться, что хоть уходи вон из монастыря. Как всегда бывает в таких случаях, вместо того чтобы открыть свою душевную смуту Старцу, — а тогда у нас старцем был великий батюшка о. Амвросий, — я затаил ее на своем сердце и тем дал ей такое развитие, что почти порешил в уме своем уйти и с послушания, и даже вовсе расстаться с обителью. День ото дня помысл этот все более и более укреплялся в моем сердце и, наконец, созрел в определенное решение: уйду! здесь меня не только не ценят, но еще и преследуют; нет мне здесь места, нет и спасения! На этом решении я и остановился, а Старцу, конечно, решения своего открыть и не подумал... Вы это, мой батюшка С. А., поимейте в виду: в случаях, подобных моему,

теряется и вера к старцам — такие ж, мол, люди, как и все мы грешные... И вот, придя в келью от вечернего правила, — дело это было летом, — я в невыразимой тоске прилег на свою койку и сам не заметил, как задремал. И увидел я во сне, что пришел я в наш Введенский собор, а собор весь переполнен богомольцами, и все богомольцы, вижу я, толпятся и жмутся к правому углу трапезной собора, туда, где у нас обычно стоит круглый год Плащаница до выноса ее к Страстям Господним.

— Куда, — спрашиваю, — устремляется этот народ?

— К мощам, — отвечают, — святителя Тихона Задонского!

«Да разве, — думаю я, — Святитель у нас почивает? ведь он в Задонске!..» — Тем не менее, и я направляюсь вслед за другими богомольцами к тому же углу, чтобы приложиться к мощам великого угодника Божия. Подхожу и вижу: стоит передо мною на возвышении рака; гробовая крышка закрыта, и народ подходит и прикладывается к ней с великим благоговением. Дошла очередь и до меня. Положил я перед ракой земной поклон и только стал всходить на возвышение, чтобы приложиться, смотрю: открывается предо мною гробовая крышка и во всем святительском облачении из раки поднимается сам святитель Тихон. В благоговейном ужасе падаю я ниц и, пока падаю, вижу, что это не святитель Тихон, а наш старец Амвросий и что он уже не стоит, а сидит и спускает ноги на землю, как бы желая встать мне навстречу...

— Ты что это? — прогремел надо мною угрозой старческий голос.

— Простите, батюшка, Бога ради! — пролепетал я в страшном испуге.

— Надоел ты мне со своими «простите»! — гневно воскликнул Старец.

Передать невозможно, какой ужас объял в ту минуту мое сердце, и в ужасе этом я проснулся.

Вскочил я тут со своей койки, перекрестился... В ту же минуту ударили в колокол к заутрени, и я отправился в храм, едва придя в себя от виденного и испытанного.

Отстоял я утреню, пришел в келью и все думаю: что бы значил поразивший меня сон?.. Заблаговестили к ранней обедне, а сон у меня все не выходит из головы, — я даже и отдохнуть не прилег в междучасие между утреней и ранней обедней. Все, что таилось во мне и угнетало мое сердце столько времени, все это от меня отступило, как будто и не бывало, и только виденный мною сон один занимал все мои мысли.

После ранней обедни я отправился в Скит к Старцу. Народу у него в это утро было, кажется, еще более обыкновенного. Кое-как добрался я до его келейника, о. Иосифа[1], и говорю ему:

— Мне очень нужно батюшку видеть.

— Ну, — отвечает он, — вряд ли, друг, ты ныне до него доберешься: сам видишь, сколько народу! да и батюшка что-то слаб сегодня.

Но я решил просидеть хоть целый день, только бы добиться батюшки.

Комнатку, в которой, изнемогая от трудов и болезней принимал народ на благословение Старец, отделяла от меня непроницаемая стена богомольцев. Казалось, что очередь до меня никогда не дойдет. Помысл мне стал нашептывать: уйди! все равно не дождешься!.. Вдруг слышу голос батюшки:

— Иван! (меня в рясофоре Иваном звали), Иван! поди скорей ко мне сюда!

Толпа расступилась и дала мне дорогу. Старец лежал весь изнемогший от слабости на своем диванчике.

— Запри дверь, — сказал он мне еле слышным голосом.

Я запер дверь и опустился на колени пред старцем.

---

[1] Преемник о. Амвросия по старчеству. Почил о Господе 9 мая 1911.

— Ну, — сказал мне батюшка, — а теперь расскажи мне, что ты во сне видел!

Я обомлел: ведь о сне этом только и знали что грудь моя да подоплека... И при этих словах изнемогший Старец точно сразу ожил, приподнялся на своем старческом ложе и, бодрый и веселый, стал спускать свои ноги с дивана на пол совсем так, как он спускал их в моем сновидении... Я до того был поражен прозорливостью батюшки, особенно тем способом, каким он открыл мне этот дар благодати Божественной, что я вновь, но уже въяве пережил то же чувство благоговейного ужаса и упал головою в ноги старца. И над головой услышал я его голос:

— Ты что это?

— Батюшка, — чуть слышно прошептал я, — простите, Бога ради!

И вновь услышал я голос старца:

— Надоел ты мне со своими «простите»!

Но не грозным, как в сновидении, укором прозвучал надо мною голос батюшки, а той дивной лаской, на которую он только один и был способен, благодатный Старец.

Я поднял от земли свое мокрое от слез лицо, а рука отца Амвросия с отеческой нежностью уже опустилась на мою бедную голову, и кроткий голос его ласково мне выговаривал:

— Ну, а как же мне было иначе вразумить тебя, дурака? [1] — кончил такими словами свой выговор батюшка.

А сон мой так и остался ему не рассказанным: да что его было и рассказывать, когда он сам собою в лицах рассказался! И с тех пор, и до самой кончины великого

---

[1] См. Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского 3 декабря «Житие пр. Иоанна молчальника», 63. Благочестивая диаконисса Раиса пожелала видеть Преподобного в Лавре Саввы Освященного, куда доступ женам был запрещен. Преподобный послал ей сказать: «Пребуди на месте, идеже еси ныне. Аз имам явитися тебе в видении сонном...» В некую же нощь спящей ей явися в сонном видении преподобный глаголя: «Се Бог посла мя к тебе, глаголи убо мне чего хощеши...».

нашего Старца, я помыслам вражиим об уходе из Оптиной не давал воли.

Кончил свой сказ слепенький мой собеседник, а слезы у меня кап да кап! И самоварчик наш откипел и отшумел, и чай остыть успел в наших чашках...

О глубина старческой святыни! О простота и глубина бездонная великих чудес твоих, смиренная, кроткая, тайнодействующая простота, не расширяющая воскрилий своих, не ищущая первоседаний и чтобы ей говорили «учителю, учителю!» — но в смиренной тайне своей учительная и спасающая бесчисленные души, сумевшие обрести тебя вдали от горделиво напыщенных и широко шумящих распутий міра, обрести и укрыться под твоей любовью и жалостью от вражды и бессердечия одевающихся в мягкие одежды сынов века сего и служителей богов его, золотых, серебряных, медных, каменных и деревянных, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить[1]...

О радость исполнения веры Христовой, превозлюбленной! И вспомнились мне слова великих Оптинских старцев:

— Придет и Оптинскому старчеству конец, но горе тому, кто ему конец положит!

Кто же положит конец старчеству в Оптиной, кто дерзнет решиться на такое святотатство? Кому же другому, как только антихристу или явным слугам его!.. Неужели же мы доживем до дней этих? Предания наших великих старцев мало дают надежд на продолжительное стояние міру... Помилуй нас, Господи!..

— Батюшка! — обратился я к о. Иакову после раздумья о слышанном, так глубоко захватившем мою душу, — ну а после отца Амвросия к кому вы прибегаете со своими скорбями и помыслами?

— Куда теперь, мой батюшка, ходить убогому Иакову! — ответил мне моей собеседник, — храм Божий да келья, — только и есть у слепого две привычные дороги,

[1] Апок. 9, 20 .

по которым он ходит с палочкой и не спотыкается. А в больших скорбях сам Бог не оставляет Своею милостью. Было это, скажу я вам, осенью позапрошлого года. В моей монашеской жизни совершилось нечто, что крайне расстроило весь мой духовный міръ. В крайнем смущении, даже в гневе, провел я тот день, когда мне эта скорбь приключилась, и в таком состоянии духа достиг я времени совершения своего келейного молитвенного правила. Приблизительно в девять часов вечера того памятного дня, нимало не успокоившись и не умиротворившись, я без всякого чувства, только лишь по 36-летней привычке, надел на себя полумантию, взял в руки четки и стал на молитву в святом углу, пред своею образницей. К тому времени, когда со мною случилась эта скорбь, я уже почти совсем ослеп — мог видеть только дневной свет, а предметов уже не видел... Так вот, стал я на молитву, чтобы совершить свое правило, хочу собраться с мыслями, хочу привести себя в молитвенное настроение, но чувствую, что никакая молитва мне нейдет и не пойдет на ум. Настроение моего духа было приблизительно такое же, как тогда, двадцать пять лет тому назад, о чем я вам только что рассказывал... Но тогда еще жив был о. Амвросий, — думал я, — старец мой от дня моего поступления в обитель, ему была дана власть надо мною, а теперь я и убог и совершенно одинок духовно — что мне делать[1]? Осталось одно: изливать свои гневные чувства в жестких словах негодования, что я и делал. Укорял я себя в этом всячески, но остановить своего гнева не мог.

И вот совершилось тут со мною нечто в высокой степени странное и необычное: стоял я перед образами, перебирая левой рукой свои четки, и внезапно увидел какой-то необыкновенный ослепительный свет. В то же

[1] Старцы продолжали свое преемственное дело в Оптиной и по смерти о. Амвросия, но кто терял своего духовного руководителя, особенно если он был подобен такому великому старцу, как о. Амвросий, тот поймет чувство духовного одиночества моего собеседника.

мгновение глазам моим представился ярко освещенный этим светом необыкновенно красивый, дивными цветами цветущий луг. И вижу я, что иду по этому лугу сам, и трепещет мое сердце от прилива неизведанного еще мною сладкого чувства мира души, радости совершеннейшего покоя и восхищения от красоты и света этого и этого неизобразимо прекрасного луга. И когда я в восторге сердечном созерцал всю радость и счастье неземной красоты этой, глазам моим в конце луга представилась невероятно крутая, высочайшая, совсем отвесная гора. И пожелало мое сердце подняться на самую вершину горы этой, но я не дал воли этому желанию, сказав себе, что человеческими усилиями не преодолеть страшной крутизны этой. И как только это я помыслил, в то же мгновение очутился на вершине горы, и из вида моего пропал тот прекрасный луг, по которому я шел, а с горы мне открылось иное зрелище: насколько мог обнять взор мой открывшееся предо мною огромное пространство, оно все было покрыто чудной рощей, красоты столь же неизобразимой человеческим языком, сколько и виденный ранее луг. И по всей роще этой были рассеяны храмы разной архитектуры и величины, начиная от обширных и величественных соборов, кончая маленькими часовнями, даже памятниками, увенчанными крестами. Все это сияло от блеска того же яркого, ослепительного света, при появлении которого предстало восхищенным глазам моим это зрелище. Дивясь великолепию этому, я иду по горе и вижу, что предо мною вьется, прихотливо изгибаясь, узкая горная тропинка. И говорит мне внутреннее чувство сердца моего: тебе эта тропинка хорошо знакома, иди по ней смело, не заблудишься! Я иду и вдруг на одном из поворотов вижу: сидит на камне незнакомый мне благообразный старец — таких на иконах пишут. Я подхожу к нему и спрашиваю:

— Батюшка, благоволите мне сказать, что эта за удивительная такая роща и что это за храмы?

— Это, — ответил мне старец, — обители Царя Небесного, ихже уготова Господь любящим Его!

И когда говорил со мною старец, я увидел, что из всех этих храмов ближе всех стоит ко мне в этой дивной роще великолепный, огромных размеров храм, весь залитый сиянием дивного света. Я спросил старца:

— Чей это, батюшка, храм?

— Это храм, — ответил он мне, — Оптинского старца Амвросия.

В это мгновение я почувствовал, что из рук моих выпали четки и, падая, ударили меня по ноге.

Я очнулся.

И как стал я в девять часов вечера на молитву, в том же положении я и очутился, когда очнулся от бывшего мне видения: стою в полумантии пред своими иконами, только стенные часы мои мерно постукивают маятником. Заблаговестили к заутрени: был час пополуночи.

Видение мое продолжалось, таким образом, четыре часа. И отпала от меня всякая скорбь, и со слезами возблагодарил я Господа, утешившего меня за молитвы того приснопамятного, чей храм в обителях Царя Небесного стоял ко мне ближе всех остальных виденных мною храмов.

Таков мед с цветов Оптинских достался мне сегодня из улья слепенького моего молитвенника.

Не даром, слава Богу, прошел для меня день сегодняшний.

Как же не любить мне моей Оптиной?..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Из посмертных чудес митрополита Павла Тобольского

В дни моей молодости мне довелось некоторое время служить в Симбирске и там на месте наблюсти едва ли не единственную в міре «игру природы»: к красавице Волге, катящей свои могучие воды с севера на юг, у

самого Симбирска подбегает шаловливою рябью другая речка, Свияга, бегущая с юга на север. Близко, близко подступает она в Симбирске к Волге, и, кажется, еще одно слабое усилие с обеих сторон — и обе реки вот сольются в общем потоке. Но, нет! — ударяясь о кряж симбирского нагорного берега, Волга несколько уклоняется к востоку, а Свияга — к западу, а затем обе реки выпрямляют свое течение и текут почти параллельно, в небольшом расстоянии друг от друга в противоположные стороны: Волга на юг, Свияга же прямо на север. И текут они так не версту, не две и не три, а пока не сольются своими волнами у Свияжска, Казанской губернии, к северу от Симбирска верстах в двухстах, если не более...

Мирно текли воды «Божьей реки» моих оптинских записок, день за днем, месяц за месяцем, как вдруг вплеснулась в них могучая волна иной великой реки и воды моей понеслись в иную сторону...

...Прошу прощения, читатель дорогой, но на этот раз я изменю хронологическому порядку моих записок и внимание твое от 1909 года отвлеку к 40-м годам прошлого столетия: в перспективе вечности, к которой призывает нас с тобою Господь, тысяча лет яко день вчерашний, воды и Волги и Свияги текут все в то же Хвалынское море, а «Божии реки» — в безбрежное море великих Господних чудес.

27 мая текущего 1914 года, на день памяти преподобного Нила Столобенского, я получил неожиданно письмо от неизвестного мне до этого времени преподавателя одного из духовных училищ юга России...

Ах, как бесценно дороги такие письма!..

Написано так: «...Посылаю вам рукопись с описанием чудес святителя Павла, митрополита Тобольского, надеясь, что вы ею воспользуетесь и в «Троицком Слове» сообщите о чудесах угодника Божия, совершившихся в 40-х годах прошлого столетия. Это сделать ныне весьма благовременно, так как по благословению Святейшего

Синода, предположено церковное прославление и торжественное открытие мощей сего святителя в следующем 1915 году, в год трехсотлетнего юбилея Киевской Духовной академии, имеющей счастье считать святителя Павла своим воспитанникам и учителям.

Сию рукопись я получил недавно от протоиерея Цехановского[1], однокашника по Полоцкому кадетскому корпусу приснопамятного старца Оптинской Пустыни схиархимандрита Варсонофия, с которым отец протоиерей находился в отношениях духовной дружбы и духовного родства до последних дней жизни почившего. Что же касается о. протоиерея, то он, в свою очередь, рукопись эту получил от Софии Павловны Янчуковской, дочери протоиерея Киевского военно-Никольского собора, служившего в соборе том в 40–50-х годах прошлого столетия. В рукописи описание чудес святителя Павла ведется со слов архимандрита Петра, с 1833 по 1844 год бывшего наместником Киево-Печерской Лавры.

«Читаешь рассказ этот, — пишет далее мой корреспондент, — и невольно чувствуешь сердцем, что здесь содержится живая действительность, не подлежащая сомнению, вызывающая одно чувство умиления и благоговения».

Умились над этой рукописью и ты, благоговейный читатель!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Вот точная копия этой рукописи:

«Записано со слов Ег. В. А. П.[2]

В начале 40-х годов приехала сюда[3] помолиться помещица Черниговской губернии, девица Екатерина П., немолодых уже лет, цветущая здоровьем и очень полная, чем она даже тяготилась.

---

[1] Цехановский, о. Мефодий, настоятель церкви в Прозоровской башне, в Киеве, бывш. благочинный Киевского военного духовенства.

[2] Его Высокопреподобия архимандрита Петра.

[3] В Лавру.

Однажды приходит она ко мне и говорит:

— Отец наместник, я имею к вам великую, особенную просьбу. Я видела необыкновенный сон: передо мною стоит в архиерейском облачении старец и говорит, называя меня по имени: «Ты приехала сюда помолиться. Доброе твое дело!.. Теперь пойди к Н. А. П. (наместнику архимандриту Петру) и скажи ему, чтобы он тебя провел ко мне. Я лежу в приделе архидиакона Стефана под спудом. Если он будет отказываться, потому что туда не ходит никто, то скажи ему, чтобы испросил благословения у Митрополита»[1]. — Я только что хотела его спросить: кто же вы? — как он уже говорит: «Я митрополит Павел Тобольский; там меня увидишь».

Долго я рассуждал о сем; правда, сделал возражение, что действительно мы туда не ходим; но, по неотступной ее просьбе, обещал испросить на сие благословение и разрешение митрополита, который выслушав мой рассказ о ее убедительной просьбе, дозволил открыть склеп и повести ее туда. Тогда я ей назначил день после поздней обедни; без народа велел открыть склеп, и мы с ней, в сопровождении двух братий, сошли вниз. Я открыл гроб; поклонились, с молитвою и благоговением приложились к руке Святителя. Сняли воздух, покрывавший его лицо. Она вскрикнула:

— Это он; его видела!

Долго смотрела она и плакала, и молилась...

Спустя несколько дней снова подходит она ко мне и говорит:

— Знаете ли, когда мы были у святителя Павла, я, видя его мощи, думала: вот муж святой, изнуривший себя постом, трудами, подвигами, удостоен нетления; я же, проводя жизнь роскошную, толстею не в меру; беспечно уходят дни мои, и буду обильною пищею червей. Как бы

[1] Киевским митрополитом в то время был благостнейший архипастырь приснопамятный Святитель Божий Филарет (Амфитеатров). — *Прим. моего корреспондента.*

мне хотелось исхудать, чтобы сколько-нибудь быть похожей на тебя, святитель Божий! — Эта мысль весь день занимала меня... Только что ночью я задремала, Святитель снова стоит предо мною и говорит: «Ты, стоя у гроба моего, думала об излишней полноте своей. Желаешь похудеть. Смотри не скорби: Бог пошлет тебе болезнь — совсем похудеешь. Но эта болезнь будет еще не к смерти... Тебе хочется здесь жить, — знаю желание души твоей. Поезжай домой, все устрой, никого не обидь и, возвратясь в Киев, будешь посещать Лавру, пещеры, и в мою могилу приходи[1]. Так, живя, приготовишься к переходу в вечную жизнь. Я буду о тебе молиться Господу, и, когда придет время, я тебе возвещу».

По слову святителя Павла, она уехала в имение; всем распорядилась и приехала уже совсем в Киев, чтобы доживать последние свои дни. Заметна была в ней перемена: куда делась полнота; худела она с каждым днем более и более. Часто заходила она ко мне и в беседе нашей все говорила:

— Уже меня эта жизнь не привлекает: хоть бы умереть!

Все ее мысли и разговоры были направлены к переходу в вечность; ничто земное ее не занимало.

По ее желанию дозволено ей было ходить изредка ко гробу святителя Павла; не раз она просила отслужить по нем панихиду.

Прошло около года. Наступила глубокая осень. Здоровье ее становилось все хуже. Один раз она была в Лавре, исповедовалась и приобщилась Святых Таин; была в пещерах у святителя Павла; зашла в мою келлию и говорит:

— Я видела во сне Святителя; он мне сказал: «теперь время близко — не бойся! Надо тебе поговеть, пока еще ты можешь быть в церкви. Будешь в Великой Церкви[2],

[1] Под спуд, в усыпальницу.

[2] В Киево-Печерской Лавре.

пойди в пещеры, зайди ко мне: это уже твое последнее посещение будет. Побывай у наместника, скажи ему, что когда ты совсем заболеешь, чтобы он над тобой совершил таинство Елеосвящения». — Я стала его просить, чтобы вы меня похоронили. Святитель ответил: «Нет! Архимандрит Петр будет тебя напутствовать больную, когда ты уже не в силах будешь приехать в церковь; ты скажи ему от меня, чтобы он приехал пред кончиной твоею исповедовать и приобщить тебя Святых Таин и благословил тебя перед смертью; но хоронить тебя будет Н. Ар. Ав.; положит на Ас. м., вблизи места моего погребения»[1]. Я дерзнула спросить: почему не батюшка архимандрит Петр похоронит меня — я так почитаю его? — Слышу ответ: «Он в это время будет больной: нельзя будет ему из келлии выходить, хотя он и сам очень этого желает. Но так Богу угодно. Молиться мы оба о тебе будем, и в 40-й день он будет служить за тебя. Не смущайся сим и уготовляй себя к переселению в жизнь вечную».

Все совершилось по словам угодника Божия. Немного дней спустя, я сам невестил больную. Вижу, очень уже она ослабела и просит меня приехать к ней, чтобы исповедовать и приобщить ее Святых Таин, что я и исполнил в назначенный ею день. Уходя от нее, думаю: верно, это последний раз ее вижу. Тяжело стало на душе моей, но виду ей не показываю... Она вдруг говорит:

— Батюшка, я не прощаюсь с вами; а вот в такой-то день, ради Бога, будьте у меня и, по слову святителя Павла, благословите меня к переходу в жизнь вечную.

В назначенный день я посетил ее, совсем безнадежную; но бодрость духа ее удивляла: так она небоязненно, с совершенным упованием на милосердие Божие, —

---

[1] «Это место, — пишет мой корреспондент, — я читаю так: «Но хоронить тебя будет Никольский архимандрит Авель; положат на Аскольдовой могиле, вблизи места моего погребения». Я, как киевлянин, знаю, что вблизи Лавры находится монастырь Николая Пустынного и при нем кладбище «Аскольдова могила».

конечно, и на ходатайство святителя Павла, — переходила в будущую жизнь, как будто собиралась в дальний путь. Все время сидел я, всматривался в нее, вслушивался в ее предсмертную беседу: ничего ее не смущало. Какое спокойствие было в ее душе!.. Когда я встал, чтобы проститься, слезы подступили у меня к горлу. Читаю — «ныне отпущаеши» и не могу читать. Она тоже заплакала. Благословляю ее и в смущении духа говорю ей: прости и молись о мне, грешном!

Она же мне сказала:

— Это уже, батюшка, последний раз вижу вас здесь, на земле: более нам не видеть друг друга.

Вышел я очень расстроенный. Приехал, занялся своим делом. Поздно вечером присылают сказать, что Екатерина тихо, мирно скончалась и пред самым исходом просила, чтобы сейчас же известили меня о ее кончине. Делаю распоряжение о ее погребении, и думаю наутро поехать отслужить панихиду, и предполагаю сам и хоронить ее на Аскольдовой могиле. Пошел к заутрени. Придя домой, лег уснуть. Что сделалось? Боль в ногах нестерпимая; утром встать с постели не могу — весь разболелся. Послал в Никольский монастырь просить архимандрита Ав., как и предсказал святитель Павел. Так ее без меня и похоронили...

Мысли о моем недостоинстве смущали меня весь день. Ночью уснул. Вижу Екатерина как бы живая, светлая лицом стоит предо мною и говорит:

— Не смущайтесь, батюшка — так Богу угодно. Благодарю вас за все попечение ваше о моей душе; буду молиться о вас.

Только что я хотел спросить: где ты ныне обитаешь? — как в ответ на мою мысль она сама сказала:

— Слава Богу! за молитвы святителя Павла Господь меня переселил в райские блаженства. Немного я потерпела на земле, а теперь душа моя приняла радость нескончаемую. Вас прошу на 40-й день отслужить обедню и па-

нихиду о моей душе. К тому времени вы выздоровеете. За все благодарю.

Она стала невидима.

Понемногу я оправился. Первый мой выезд был на ее могилу, и в 40-й день я исполнил ее просьбу: служил Божественную Литургию и панихиду о упокоении души ее богоугодной».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Такова Православная вера наша. Такова любовь Божия. Таков угодник Божий, святитель Павел Тобольский.

Я знаю, что за нарушенный порядок моих записок не посетует на меня мой читатель.

30 мая

Письмо из Больших Солей. — Из воспоминаний прошлых лет: св. «Микола Амченский» — мой покровитель. — О. Варнава от Черниговской. — Лето в Николо-Бабаевском монастыре и великое оправдание монашеской веры.

Сегодня получил письмо от одного духовного друга из села Большие Соли, Костромской губернии. Верстах в трех от этого села, при впадении речки Солоницы в Волгу, стоит знаменитый Николо-Бабаевский мужской монастырь. Знаменит он чудотворной иконой Святителя Николая, частью его св. мощей[1], и как местопребывание на покое святителя Игнатия Брянчанинова, обретшего в нем и вечный покой свой до последней трубы Архангельской.

В гостях у этой святой обители мы с женой имели счастие прожить без малого полгода от конца апреля до первой половины октября 1906 года.

Полученное из тех краев письмо воскресило в моей памяти жизнь нашу под покровом обители Святителя Николая, а вместе и некоторые события, с ней связанные,

---

[1] Насколько мне известно, это единственное место во всей России, если не во всем міре, где имеется такая большая часть мощей Свят. Николая, кроме г. Бари, конечно, где они почивают.

не лишенные общехристианского интереса, хотя касаются они частных лиц и в их числе и моей немощи.

Начну издалека.

В тех краях, где до 1905 года было мое поместье, в Мценском уезде, Орловской губернии, великой славой и верой пользуется чудотворная икона Святителя Николая. Икона эта, в рост человека, вырезана из целого куска дерева и, по преданию, явилась на камне близ того места, где и поныне стоит соборный храм г. Мценска. В этом же соборе и находится это чудотворное изображение великого из великих чудотворцев Православной Церкви.

Святитель Николай — покровитель Мценского края, а с ним и мой: как бывший поместный дворянин Мценского уезда, владевший там наследственной землей, я иной родины, иного родного гнезда не знаю. С Богом всюду хорошо: «Господня земля и исполнение ее, вселенная и вси живущии на ней», но нет и не может быть роднее на земле места, про которое говорится: «Где родился, там и годился».

Родился-то я, положим, в Москве, но родной землей — амчанин[1], оттого и «батюшку Миколу Амченского» почитаю «собинным» — особенным — своим небесным покровителем, не менее близким, чем данный мне во Святом Крещении мой Ангел Преподобный Сергий Радонежский.

А что на самом деле это так, а не одни мои предположения, тому есть и некоторые свидетельства из міра, живущего не по одной плоти, но и по духу.

Было это в 1901 году. Сын мой только что кончил курс Орловской гимназии. Экзамены его кончились в начале июня, а с начала сентября для него должна была начаться новая студенческая жизнь по «своей», что называется, «вольной волюшке»; где уж студента опекать хотя бы и любовью родительского попечения?! Отдохнул он с не-

[1] Уроженцы Мценского уезда зовутся по местному «Амчане», а город Мценск — «Амченск».

дельку после экзаменов на просторе и приволье деревенских радостей, я и говорю ему:

— А что, — говорю, — хорошо бы нам с тобой съездить к нашему Преподобному, к Троице-Сергию, в Лавру да там испросить у нашего с тобой Ангела[1] благословения тебе на новый путь? Ты как об этом думаешь?

На великое мое и его счастье, сын мой не отрекся от веры отцов своих.

— Да, с радостью, папа! — ответил он мне, и мы поехали.

Заезжали мы по дороге и к о. Егору Чекряковскому[2], отцу моему духовному, и в святую Оптину Пустынь, и, наконец, удостоились поклониться и своему Преподобному. Вот тут-то мы, амчане, и узнали от одного из живых в то время Божьих угодников, что неложна наша вера в Святителя и что он есть истинный наш покровитель и заступник.

Отстояли мы с сыном молебен Преподобному Сергию, обошли святыни и достопримечательности лаврские.

— Поедем, — говорю, — в Гефсиманию, к Черниговской, и в Вифанию: до поезда еще времени много.

И вспомнилось мне, что у Черниговской, в Скиту живет один из столпов современного монашества и старчества, о. Варнава, известный высотой своей подвижнической жизни и даром прозорливости. Решили принять его благословение. Говорю сыну:

— Великий это, как слышно, человек пред Богом. Советов у него спрашивать не будем, так как старец наш, отец Егор, уже указал тебе путь[3], а принять благословение и просить молитв у такого человека для нас с тобой чрезвычайно важно. Пойдем непременно к нему, если только он дома: пусть и он благословит тебе твой новый путь.

---

[1] Сына, как и меня, зовут Сергием.

[2] О нем в книге моей «Великое в малом»

[3] На университетские курсы московского Лицея в память Цесаревича Николая (Катковский лицей).

У Черниговской поклонились чудотворной иконе Черниговской Божией Матери.

— Старец о. Варнава, — спрашиваю, — дома?

— Дома-то, — отвечают, — он дома, только его сейчас нет в келье.

— А где же он?

— У генеральши Кротковой.

— Это где ж?

— За Вифанией. Домой часа через два-три будет.

— Видно, — говорю сыну, — не придется нам видеть старца.

А про себя думаю: и получить его фотографию. Почему явилась у меня такая мысль, не знаю, тем более, что ни у кого из духовных знакомых мне лиц я никогда портретов в то время не просил. Помню, я даже осудил себя за такой помысл: точно, мол, у мирской знаменитости просить хочешь — какие у монаха могут быть фотографии!..

Так и отъехали мы от Черниговского скита, не повидав отца Варнавы.

В Вифании, куда мы приехали от Черниговской, кроме нас никого не было. У святых ворот стоял один послушник, а другой, там же встреченный, взялся нас водить по Вифанским святыням. Поклонились мы гробу Преподобного Сергия и только что успели положить поклон последнему на земле жилищу митрополита Платона — его гробнице, как увидали бегущего к нам послушника, кличущего нас:

— Батюшка Варнава вас обоих к себе требует!

Мы подхватились что есть духу бежать к св. воротам. Бежим и спрашиваем:

— Как он о нас узнал?

— Ничего, — отвечает, — не знаю; велел позвать, а сам вас дожидается у святых ворот.

У святых ворот стояла запряженная в одну лошадь, крытая, с поднятым верхом, плетеная пролетка; на козлах сидел кучер, из-под верха пролетки, нагнувшись

вперед, выглядывала на нас седенькая головка старичка монаха с необыкновенно живыми, добрыми и ласковыми, проницательными глазками. Это и был всероссийски известный православному люду старец Варнава от Черниговской...

— Вам, — встретил он нас такими словами, — мое благословение нужно; а тебе, — обратился он непосредственно к сыну, — благословение нужно на новый путь; так езжайте за мной, я домой сейчас еду.

Посмотрел пристально на меня и неожиданно спросил:

— А ваше здоровье-то как?

Я был совершенно здоров и по самочувствию, и по виду.

— За ваши, — ответил я, — святые молитвы, слава Богу!

— Ну, езжайте же за мной ко мне!

И о. Варнава быстро покатил по направлению к Черниговскому скиту. Мы едва поспевали за ним на паре заморенных извощичьих клячонок.

— А ведь это я вам отца-то Варнаву оборудовал, — сказал, обернувшись к нам вполоборота, извощик, — это я его оборотил к вам, когда он проехал мимо Вифании.

Холодной водой обдали меня эти слова. Бедный малый думал угодить, а не ведал, что «род сей», к которому принадлежал и я, «знамений и чудес ищет», и что его извощичья услуга сразу в моем сердце низвергла прозорливости Старца с высот чудесного до низин обыденной человеческой встречи.

...Ну, что ж! — подумал я, — отец Варнава, все-таки иеромонах: получим и простое, но все же иерейское благословение. И опять мелькнула мысль: а я попрошу у него портрет с надписью.

Подъехали мы к Черниговской вслед за батюшкой. Забежал он в лавочку, что у св. ворот, взял мелочи, дал своему кучеру и быстрой походкой пошел с нами по направлению к своей келье.

Поджидавшего его народа было довольно много, и все теснились к Старцу, оттирая нас от него...

— Батюшка, а батюшка! — так и сыпались на него со всех сторон призывные восклицания. Нас, было, совсем от него оттеснили.

— Ну, вы подождите! Подождите, говорю я вам! — громко сказал Старец теснившей его толпе, — а вот вы-то со студентом, со студентом-то идите за мной.

Толпа раздалась и пропустила нас к Старцу.

В это время Старец уже поднимался по ступенькам своего крылечка. И опять он неожиданно спросил меня:

— Ну а здоровье-то ваше как?

Мне что-то стало вдруг не по себе от повторения этого вопроса.

— Слава Богу! — ответил я смущенно.

Каким-то не то крюком, не то палкой батюшка сунул в отверстие замка своей двери, открыл ее и в темненькой своей прихожей опять обернулся ко мне и в третий уже раз предложил мне в той же форме все тот же вопрос о моем здоровье; и опять я еще смущеннее ответил:

— Слава Богу!

Старец пристально взглянул на меня, помолчал, что-то подумал, а может быть, и помолился — продолжалось это одно мгновение — и вдруг точно повеселел и радостно воскликнул:

— Ну, если слава Богу, так и — слава Богу!

И с этими словами ввел нас обоих в первую комнатку своей кельи.

На стар採еньком письменном столе, покрытом ветхой клеенкой, лежала какая-то небольшая икона. Батюшка взял ее в руки, поднял над нашими головами — мы стали на колени — и, благословляя ею наши склоненные головы, сказал:

— Вам было нужно мое благословение: да благословит вас Господь сей святой иконой Чудотворца Николая.

Запомните ж мое слово: Святитель Николай и в сем веке, и в будущем есть и будет ваш заступник и ходатай.

Потом, благословляя тою же иконой сына, сказал ему:

— Да благословит Господь, молитвами Святителя Николая, твой новый путь!

Подумал немного, поглядел на меня...

— А тебе, — сказал он, — я еще и свой «патрет» дам.

Так и сказал — «патрет».

У меня от сердца к горлу подступили слезы... Верующие знают это сладкое чувство.

Так вот он какой, этот старец Варнава!

А уж он из соседней комнаты вынес свою фотографическую карточку и, подавая мне ее, сказал:

— Вот тебе и патрет мой!

— Батюшка! — воскликнул я, задыхаясь от волнения, — благоволите что-нибудь написать на ней своей ручкой!

— Эх, друг, некогда... ну да ладно!

И о. Варнава на обороте карточки написал: «Иеромонах Варнава 1901 Июния 18».

Святыня эта и поныне у меня цела.

— А я тебе и еще свой патрет дам, — сказал старец, — вот тебе книжка об моей обители Иверской, а в ней тоже патрет мой есть. Возьми себе да навести когда обитель-то!

И разгорелось тут мое сердце великой любовью к прозорливому Старцу; припал я к его ножкам и говорю:

— Помолитесь, батюшка, чтобы сын мой до конца дней своих имел в сердце своем страх Божий!

— Будет, будет у него страх Божий в сердце, — ободрил меня Старец, — он у тебя пятую заповедь помнит. И скажу тебе, друг, — продолжал батюшка, — как моя мать звала меня своим «кормильщиком», так я тебе про твоего сына скажу: он будет твоим кормильщиком... Как имя твое?

Я ответил:

— Сергий!

В соседней комнате показался батюшкин келейник.

— Запиши-ка, — обратился к нему батюшка, — двух Сергеев: за них помолиться надо!.. Ну, да благословит вас Господь! А про Святителя Николая-то не забудьте: он в сем веке и в будущем ходатай ваш и заступник.

Это были последние слова к нам старца Варнавы. С тех пор я уже не видал больше батюшки, а осенью того же года заболел такою тяжкою болезнью, что в январе 1902 года едва не умер. Спасло чудо Божие, не без молитв, верую, великого старца Варнавы от Черниговской, утвердившего во мне уверенность в том, что наш «амченский» угодник, Святитель Николай, Мир Ликийских Чудотворец, мой ходатай и заступник и в сем веке, и в будущем.

Прошло пять лет. Наступил апрель 1906 года. В тот год весна была необыкновенно ранняя: уже в последних числах апреля север России, от Петербурга начиная, был окутан зеленой дымкой берез, ракит и тополей, сквозящих теплом и светом на изумрудной зелени торжествующей весны. Стояли дивные, солнечные, теплые дни; даже вечера и ночи теплы были, как в конце мая. Природа как-то по-особенному красовалась и благоухала. Не то было с природой человеческой: взбаламученное недоброй памяти революцией, народное море все не могло успокоиться, искусственно волнуемой всеми новшествами, которых не знала раньше смиренная и Святая Русь; непотухшие еще головешки бунтов и непокорств чадили еще во многих местах, местами вспыхивая и разгораясь в зловещее пламя...

Страшное было время, — не тем оно будь помянуто!..

В те дни и в моей меленькой жизни совершалась великая революция, и следствием ее было то, что мы с женой очутились как бы за бортом жизни, не зная, куда деваться и где главы подклонити.

Великая то была милость Божия мне, грешному. Да будет благословенна память о ней во все дни моей жизни!

И тут Святитель Николай незримо протянул руку помощи и скорбь и плач в радость претворил и утешение.

А дело было так.

Помолились мы с женой у иконы Царицы Небесной Казанской и решили уехать из Петербурга куда глаза глядят, только бы не оставаться в этом городе, где столько пришлось испытать всякого горя. Взяли мы билеты по железной дороге до Твери, а в конторе пароходства «Самолет» — от Твери по Волге до Нижнего и направили свой путь через Нижний — Арзамас в Саров и Дивеев к Серафиму Преподобному, от которого я столько чудес и милости на своем веку видел.

Что за красота и успокоение было путешествие наше по Волге! Оно было так прекрасно, что даже отдельные эпизоды его, напоминавшие о той буре, которую только что пережила и еще продолжала переживать Родина, — вроде негожих речей и пения революционных песен, — даже и эти отголоски мерзости житейской не могли нарушить гармонии и безмятежия дней этого чудесного путешествия. Так доехали мы до Ярославля.

Пока стоял и грузился наш пароход в Ярославле, у нас в распоряжении было около трех часов, и мы воспользовались ими, чтобы съездить поклониться ярославским святыням, и тут мы вспомнили, что ниже Ярославля по Волге находится знаменитый Николо-Бабаевский монастырь, особенно нам дорогой и известный тем, что там погребен один из любимейших наших духовных писателей, епископ Игнатий Брянчанинов. О том, что там есть часть мощей Святителя Николая и его чудотворная, прославленная на все Поволжье икона, о том мы не знали, а если и знали, то в то время не вспомнили.

Заедем в этот монастырь, ночь переночуем (из Ярославля мы уходили часов в семь вечера, а на «Бабайки» пароход приходит часа три спустя), проведем день в монастыре, а на следующем «Самолете» поедем дальше, в Нижний. Так говорили, так и решили.

И так нам все там понравилось, так все пришлось по духу, начиная со святыни бабаевской и простоты монашеской, что вместо одного дня прожили мы там на гостинице без малого шесть месяцев. Так, верую, угодно было Святителю Николаю, нашему ходатаю и заступнику перед Святой Троицей. Там состоялась наша встреча с о. Иоанном Кронштадтским, окончательно определившая дальнейший путь моей жизни и деятельности, примирившая мое прошлое с моим настоящим и... будущим. Дивное это было для меня и многознаменательное свидание, такое дивное, что о нем не леть ми и глаголати по моему недостоинству: только небесным предстательством моего небесного покровителя и можно было получить то велие утешение, какое в те дни нашей скорби я получил от великого Кронштадтского пастыря. И как бы в утверждение этой веры о. Иоанн дважды благословил меня с женой двумя иконами, — одной Бабаевской, а другой своей келейной, — и обе иконы те были Святителя Николая Мир-Ликийских Чудотворца.

И там же, под покровом Святителя Николая, состоялось и другое для меня и моей деятельности не менее того многознаменательное свидание с епископом Вологодским, преосвященным Никоном[1], в то время только что назначенным на самостоятельную кафедру в Вологду. С того свидания и началось бессменное мое сотрудничество в изданиях владыки, моего редактора и цензора.

И чего только там, на Бабайках, не сотворил нам дивный угодник Божий, утешая нас утешением всяческим и научая жить не по своей, а по воле Божией!..

Величаем тя, Святителю отче Николае, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Перезнакомились мы за время нашего пребывания в Николо-Бабаевском монастыре со всею братиею, начиная

[1] Мирское имя — Николай.

с только что назначенного туда настоятелем архимандрита Адриана и кончая последним, вновь поступившим послушником. Особенно мы по духу сошлись с одним уже немолодым рясофорным послушником, слепцом о. Иаковом. Замечательный раб Божий был (быть может, он и теперь еще жив) этот о. Иаков, труженик и молитвенник, исполненный чистейшей детской веры в Бога и в свое призвание. Церковные службы он, как клиросный певчий, посещал все неопустительно, а в свободные от службы часы умудрялся ходить в соседний с монастырем лес, иногда версты за три, за четыре от монастыря, надрать там корней от разных кустарников и вернуться домой с тяжелой ношей и всегда без провожатого. У о. Иакова ресницы росли внурь глаз. Болезнь эта сопровождалась тяжкими страданиями и постепенно ослепляла Божьего трудника. Мы всегда дивились трудам о. Иакова и тому, как он мог обходиться, совершенно слепой, без посторонней помощи, когда ходил за своими корнями, и как он мог плесть из этих корней удивительно искусно сработанные корзины.

Вот уж истинно, Господь умудряет слепцы!

Всегда и во всяких случаях своей монастырской жизни был благодушен наш о. Иаков, но и в его закаленном в терпении и смирении сердце таилась одна великая скорбь: девять уже лет был он примерным монастырским послушником и, несмотря на свои пятьдесят пять лет и примерную жизнь, даже еще и приукажен не был.

— Что буду я делать, если меня какой-нибудь новый настоятель возьмет да выгонит за ненадобностью? куда я, слепец, тогда денусь?

Так обмолвился он мне раз за беседой и заплакал.

Как-то, к слову, я сказал о. архимандриту об этой скорби о. Иакова. Он принял ее близко к сердцу и в тот же день, зайдя с нами вместе в келью своего слепого послушника, предложил ему постричь его в тайную мантию.

— Мы тебя, о. Иаков, — сказал архимандрит, — пострижем как бы на одре болезни, а там отрапортуем о сем Владыке; тогда тебя поневоле приуказят.

Архимандрит был внове и не решался представлять к открытому пострижению.

Подумал немного о. Иаков и что же ответил?

— Нет, ваше высокопреподобие, — сказал о. Иаков, — не тот это путь: не хочу я у Бога обманом брать монашество — я же ведь всем — благодарение Господу, здоров. Спаси вас, Господи, за любовь, но неправды я боюсь. Уповаю на милость Царицы Небесной: уж пусть Она Сама совершит надо мною Свою волю.

Разговор этот был на первый Спас, — только что заговелись на Успенский пост, — а 4 августа, совершенно неожиданно для «Бабаек», приехал в монастырь епархиальный владыка Тихон. Идет он по монастырю с архимандритом, а из собора, от вечерни, навстречу им бредет наш слепец, ощупывая пред собою палкой дорогу в свою келью. Ни Владыка, ни архимандрит не заметили, как из-за поворота аллеи наткнулся прямо на них о. Иаков, наткнулся и опешил от возгласа архиерея:

— Это что у вас — слепец, что ли?

— Послушник Иаков, ваше преосвященство, — ответил архимандрит, — истинный раб Божий, примерной жизни.

— Давно он тут?

— Девятый год идет, да вот все не приукажен, Владыко.

— Чего ж вы ждете? На Успеньев день извольте его постричь в мантию и мне донести о постриге на основании моего словесного приказания... Подойди-ка поближе, раб Божий Иаков, я хочу сам тебя благословить... Да благословит тебя Царица Небесная принять на день Ее честного Успения ангельский образ! Молись обо мне.

И вместо тайного пострига, на велик Богородичен день, в присутствии бесчисленного множества молящихся, о. Иаков был пострижен в мантию с именем Илии.

Вот что вспомнилось мне сегодня при чтении письма из краев, что около святой обители Николо-Бабаевской.

1 июня

Божии рабы Вера, Сержик и Колюсик. — «Пустите детей приходить ко Мне»...

Сегодня уехала из Оптиной новая наша знакомая, за короткое время ее пребывания в обители ставшая нам близкой, как сестра родная, ближе еще — как сестра по духу Христову.

Назову ее Верой, по вере ее великой[1].

В начале января нынешнего года я получил из города Т. письмо, в котором чья-то женская христианская душа написала мне несколько теплых слов в ободрение моей деятельности на ниве Христовой. Письмо было подписано полным именем, но имя это было мне совершенно неизвестно.

25 мая стояли мы с женой у обедни. Перед Херувимской мимо нашего места прошла какая-то дама, скромно одетая, и вела за руку мальчика лет пяти. Мы с женой почему-то обратили на нее внимание. По окончании Литургии, перед началом Царского молебна[2], мы ее вновь увидели, когда она мимо нас прошла к свечному ящику. Было заметно, что она «в интересном положении», как говорили в старину люди прежнего воспитания.

Вот раба-то Божия! — подумалось мне, — один ее ребенок с детских лет, а другой еще в утробной жизни — оба освящаются молитвами и святыми впечатлениями матери, — умница! Благослови ее Господь и Матерь Божия!

В эту минуту она подошла к иконе Божией Матери Скоропослушницы, перед которой мы обычно стоим во Введенском храме, и стала перед ней на коленях молиться. Я нечаянно увидел ее взгляд, устремленный на икону. Что это был за взгляд, что за вера излучалась из этого взгляда, какая любовь к Богу, к Божественному, к свя-

---

[1] Серафима Николаевна Вишневская; живет в Тамбове.

[2] 25 мая — день рождения Государыни Императрицы Александры Феодоровны.

тыне!.. О, когда б я так мог молиться!.. Матерь Божия! — помолилось за нее мое сердце — сотвори ей по вере ее!

При выходе из храма северными вратами, у иконы «Споручницы грешных», мы опять встретили незнакомку. В руках у нее была просфора...

— Вы не Сергей ли Александрович Нилус? — обратилась она ко мне с застенчивой улыбкой.

— Да... с кем имею честь?

Оказалось, что это была та, которая мне в январе писала из Т.

Эта и была Вера с пятилетним сыном Сережей, которых мы сегодня провожали из Оптиной.

На этой христолюбивой парочке стоит остановить свое внимание, воздать за любовь любовью, сохранить благодарной памятью их чистый образ, отсвечивающий зорями иного, нездешнего, света...

— Сегодня, — сказала нам Вера, — мы с Сержиком поготовимся, чтобы завтра причаститься и пособороваться, а после соборования позвольте навестить вас. Теперь так отрадно и радостно найти людей по духу, так хочется отдохнуть от тягостных мирских впечатлений — не откажите нам в своем гостеприимстве!

И в какую ж нам радость было это новое знакомство!..

В тот же день, когда у иконы «Споручницы грешных» мы познакомились с Верой, мы проходили с женой мимо заветных могил великих Оптинских старцев и, по обычаю, зашли им поклониться. Входим в часовенку над могилкой старца Амвросия и застаем Веру и ее Сережу; Сережа выставил свои ручонки вперед, ладошками кверху, и говорит:

— Батюшка Амвросий, благослови!

В эту минуту мать ребенка нас заметила...

— Это уж мы с моим Сержиком так привыкли: ведь батюшка-то Амвросий жив и невидимо здесь с нами присутствует, — так надо ж и благословения у него испросить, как у иеромонаха!

Я едва удержал слезы...

На другой день я заходил к батюшке о. Анатолию в то время, когда он соборовал Веру с ее мальчиком. Кроме них, соборовалось еще душ двенадцать Божьих рабов разного звания и состояния, собравшихся в Оптину с разных концов России. Надо было видеть, с какой серьезной сосредоточенной важностью пятилетний ребенок относился к совершаемому над ним таинству Елеосвящения!

Вот как благодатные матери от молока своего начинают готовить душу дитяти к Царству Небесному! Не так ли благочестивые бояре Кирилл и Мария воспитывали душу того, кого Господь поставил светильником всея России, столпом Православия, — Преподобного Сергия?..

— Когда я бываю беременна, — говорила нам впоследствии Вера, — я часто причащаюсь и молюсь тому угоднику, чье имя мне хотелось бы дать будущему своему ребенку, если он родится его пола. На четвертый день Рождества 1905 года у меня скончался первенец мой, Николай, родившийся в субботу на Пасхе 1900 года. До его рождения я молилась дивному Святителю Николаю, прося его принять под свое покровительство моего ребенка. Родился мальчик и был назван в честь Святителя. Вот этот, Сержик, родился на первый день Рождества Христова, в 1903 году. О нем я молилась Преподобному Сергию... С ним у меня произошло много странного по его рождении и, пожалуй, даже знаменательного. Крестины, из-за его крестного, пришлось отложить до Крещения Господня, а обряд воцерковления пришелся на Сретение. И с именем его у меня произошло тоже нечто необычное, чего с другими моими детьми не бывало. Молилась я о нем Преподобному Сергию, а при молитве, когда меня батюшка спросил, какое бы я желала дать ребенку имя, у меня мысли раздвоились, и я ответила: «Скажу при крещении».

А произошло это оттого, что в том году состоялось прославление св. мощей Преподобного Серафима, которому я всегда очень веровала. К могилке его я еще девушкой

ходила пешком в Саров из своего города. А тут еще и первое движение ребенка я почувствовала в себе как раз во время всенощной под 19 июля. И было мне все это в недоумение, и не знала я, как быть: назвать ли его Сергием, как ранее хотела, или же Серафимом? Стала я молиться, чтобы Господь открыл мне Свою волю; и в ночь под Крещение, когда были назначены крестины, я увидела сон, что будто я с моим новорожденным поехала в Троице-Сергиеву Лавру. Из этого я поняла, что Господу угодно дать моему мальчику имя Преподобного Сергия. Это меня успокоило, тем более, что и батюшка преподобный Серафим очень любил великого этого угодника Божия, и с его иконочкой и сам-то был во гроб свой положен...

Я внимал этим милым речам, журчащим тихим ручейком живой воды святой детской веры, и в сердце мое стучались глаголы великого обетования Господня святой Его Церкви: «И врата адова не одолеют ей!»

Не одолеют! истинно, не одолеют, если даже и в такое, как наше, время у Церкви Божией могут быть еще подобные чада.

И опять полилась вдохновенная речь Веры:

— Вам понравился мой Сержик; что бы сказали вы, если бы видели моего покойного Колю! Тот еще и на земле был уже небожитель. Уложила я как-то раз Колюсика своего спать вместе с прочими детишками. Было около восьми часов вечера. Слышу, зовет он меня из спальни.

— Что тебе, деточка? — спрашиваю.

А он сидит в своей кроватке и восторженно мне шепчет:

— Мамочка моя, мамочка! посмотри-ка, сколько тут Ангелов летает.

— Что ты, — говорю, — Колюсик! где ты их видишь?

А у самой сердце так ходуном и ходит.

— Да всюду, — шепчет, — мамочка; они кругом летают... Они мне сейчас головку помазали. Пощупай мою головку — видишь, она помазанна!

Я ощупала головку: темечко мокрое, а вся головка сухая. Подумала, не бредит ли ребенок; нет! — жару нет, глазенки спокойные, радостные, но не лихорадочные: здоровенький, веселехонький, улыбается... Попробовала головки других детей — у всех сухенькие; и спят себе детки, не просыпаются. А он мне говорит:

— Да, как же ты, мамочка, не видишь Ангелов? Их тут так много... У меня, мамочка, и Спаситель сидел на постельке и говорил со мною...

О чем говорил Господь ребенку, я не знаю. Или я не слыхал ничего об этом от рабы Божией Веры, или слышал, да не удержал в памяти: немудрено было захлебнуться в этом потоке нахлынувшей на нас живой веры, чудес ее, нарушивших, казалось, грань между земным и небесным...

— Колюсик и смерть свою мне предсказал, — продолжала Вера, радуясь, что может излить свое сердце людям, внимающим ей открытой душой. — Умер он на четвертый день Рождества Христова, а о своей смерти сказал мне в сентябре. Подошел ко мне как-то раз мой мальчик да и говорит ни с того, ни с сего:

— Мамочка! я скоро от вас уйду.

— Куда, — спрашиваю, — деточка?

— К Богу.

— Как же это будет? кто тебе сказал об этом?

— Я умру, мамочка! — сказал он, ласкаясь ко мне, — только вы, пожалуйста, не плачьте: я буду там с Ангелами, и мне там очень хорошо будет.

Сердце мое упало, но я сейчас же себя успокоила: можно ли, мол, придавать такое значение словам ребенка?! Но, нет! прошло немного времени, мой Колюсик опять, среди игры, ни с того ни с сего, подходит, смотрю, ко мне и опять заводит речь о своей смерти, уговаривая меня не плакать, когда он умрет...

— Мне там будет так хорошо, так хорошо, дорогая моя мамочка! — все твердил, утешая меня, мой мальчик.

И сколько я ни спрашивала, откуда у него такие мысли и кто ему сказал об этом, он мне ответа не дал, как-то особенно искусно уклоняясь от этих вопросов...

Не об этом ли и говорил Спаситель маленькому Коле, когда у детской кроватки его летали небесные Ангелы?..

— А какой удивительный был этот ребенок, — продолжала Вера, — судите хотя бы по такому случаю. В нашем доме работал старик плотник, ворота чинил и повредил себе нечаянно топором палец. Старик прибежал на кухню, где я была в то время, показывает мне свой палец, а кровь из него так и течет ручьем. В кухне был и Коля. Увидал он окровавленный палец плотника и с громким плачем кинулся бежать в столовую к иконе Пресвятой Троицы. Упал он на коленки пред иконою и, захлебываясь от слез, стал молиться:

— Пресвятая Троица, исцели пальчик плотнику!

На эту молитву мы с плотником вошли в столовую, а Коля, не оглядываясь на нас, весь ушедший в молитву, продолжал со слезами твердить свое:

— Пресвятая Троица, исцели пальчик плотнику!

Я пошла за лекарством и за перевязкой, а плотник остался в столовой. Возвращаюсь и вижу: Колюсик уже слазил в лампадку за маслом и маслом от иконы помазывает рану, а старик плотник доверчиво держит перед ним свою пораненную руку и плачет от умиления, приговаривая:

— И что ж это за ребенок, что это за ребенок!

Я, думая, что он плачет от боли, говорю:

— Чего ты, старик, плачешь? на войне был, не плакал, а тут плачешь!

— Ваш, — говорит, — ребенок хоть кремень и тот заставит плакать!

И что ж вы думаете? ведь остановилось сразу кровотечение, и рана зажила без лекарств, с одной перевязки. Таков был общий любимец, мой Колюсик, дорогой, несравненный мой мальчик... Перед Рождеством мой отчим, а его крестный, выпросил его у меня погостить в свою

деревню, — Коля был его любимец и эта поездка стала для ребенка роковой: он там заболел скарлатиной и умер. О болезни Коли я получила известие через нарочного (тогда были повсеместные забастовки, и посланной телеграммы мне не доставили), и я едва за сутки до его смерти успела застать в живых мое сокровище. Когда я с мужем приехала в деревню к отчиму, то Колю застала еще довольно бодреньким; скарлатина, казалось, прошла, и никому из нас и в голову не приходило, что уже на счету последние часы ребенка. Заказали мы служить молебен о его выздоровлении. Когда его служили, Коля усердно молился сам и все просил давать ему целовать иконы. После молебна он чувствовал себя настолько хорошо, что священник не стал его причащать, несмотря на мою просьбу, говоря, что он здоров, и причащать его нет надобности. Все мы повеселели. Кое-кто, закусив после молебна, лег отдыхать; заснул и мой муж. Я сидела у постели Коли, далекая от мысли, что уже наступают последние его минуты. Вдруг он мне говорит:

— Мамочка, когда я умру, вы меня обнесите вокруг церкви...

— Что ты, — говорю, — Бог с тобой, деточка! мы еще с тобой, Бог даст, живы будем.

— И крестный скоро после меня пойдет за мной, — продолжал, не слушая моего возражения Коля.

Потом помолчал немного и говорит:

— Мамочка, прости меня.

— За что, — говорю, — простить тебя, деточка?

— За все, за все прости меня, мамочка!

— Бог тебя простит, Колюсик, — отвечаю ему, — ты меня прости: я строга бывала с тобою.

Так говорю, а у самой и в мыслях нет, что это мое последнее прощание с умирающим ребенком.

— Нет, — возражает Коля, — мне тебя не за что прощать. За все, за все благодарю тебя, миленькая моя мамочка!

Тут мне что-то жутко стало; я побудила мужа.

— Вставай, — говорю, — Колюсик, кажется, умирает!

— Что ты, — отвечает муж, — ему лучше — он спит.

Коля в это время лежал с закрытыми глазами. На слова мужа он открыл глаза и с радостной улыбкой сказал:

— Нет, я не сплю — я умираю. Молитесь за меня!

И стал креститься и молиться сам:

— Пресвятая Троица, спаси меня! Святитель Николай, Преподобный Сергий, Преподобный Серафим, молитесь за меня!... Крестите меня! помажьте меня маслицем! Молитесь за меня все!

И с этими словами кончилась на земле жизнь моего дорогого, ненаглядного мальчика: личико расцветилось улыбкой, и он умер.

И в первый раз в моей жизни возмутилось мое сердце едва не до ропота. Так было велико мое горе, что я и у постельки его, и у его гробика не хотела и мысли допустить, чтобы Господь решился отнять у меня мое сокровище. Я просила, настойчиво просила, почти требовала, чтобы Он, Которому все возможно, оживил моего ребенка; я не могла примириться с тем, что Господь может не пожелать исполнить по моей молитве. Накануне погребения, видя, что тело моего ребенка продолжает, несмотря на мои горячие молитвы, оставаться бездыханным, я было дошла до отчаяния. И вдруг, у изголовья гробика, где я стояла в тяжком раздумьи, меня потянуло взять Евангелие и прочитать в нем первое, что откроется. И открылся мне 16-й стих 18-й главы Евангелия от Луки, и в нем я прочла: «...пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие».

Для меня эти слова были ответом на мою скорбь Самого Спасителя, и они мгновенно смирили мое сердце: я покорилась Божией воле.

При погребении тела Колюсика исполнилось его слово: у церкви намело большие сугробы снега, и чтобы гробик пронести на паперть его надо было обнести кругом всей церкви. Это было мне и в знамение, и в радость.

Но когда моего мальчика закопали в мерзлую землю, и на его могилку лег холодный покров суровой зимы, тогда вновь великой тоской затосковало мое сердце, и вновь я стала вымаливать у Господа своего сына, не зная покоя душе своей ни днем ни ночью, все выпрашивая отдать мне мое утешение. К сороковому дню я готовилась быть причастницей Святых Таин и тут в безумии своем дошла до того, что стала требовать от Бога чуда воскрешения. И вот, на самый сороковой день, я увидела своего Колю во сне, как живого. Пришел он ко мне светленький и радостный, озаренный каким-то сиянием и три раза сказал мне:

— Мамочка, нельзя! Мамочка, нельзя! Мамочка, нельзя!

— Отчего нельзя? — воскликнула я с отчаянием.

— Не надо этого, не проси этого мамочка!

— Да почему же?

— Ах, мамочка! — ответил мне Коля, — ты бы и сама не подумала просить об этом, если бы только знала, как хорошо мне там, у Бога. Там лучше, там несравненно лучше, дорогая моя мамочка!

Я проснулась, и с этого сна все горе мое как рукой сняло.

Прошло три месяца — исполнилось и второе слово моего Коли: за ним в обители Царя Небесного следом ушел к Богу и его крестный.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Много мне рассказывала дивного из своей жизни раба Божия Вера, но не все поведать можно даже и своим запискам: живы еще люди, которых может задеть мое слово... В молчании еще никто не раскаивался: помолчим на этот раз лучше!..

Пошел я провожать Веру с ее Сержиком через наш сад по направлению к монастырской больнице. Это было в день их отъезда из Оптиной. Смотрю: идет к нам на-

встречу один из наиболее почетных наших старцев, отец А., живущий на покое в больнице. Подошли мы под его благословение; протянул и Сержик свои ручонки...

— Благословите, — говорю, — батюшка!

А тот сам взял да низехонько, касаясь старческой своей рукой земли, и поклонился в пояс Сержику...

— Нет, — возразил Старец, — ты сам сперва — благослови!

И к общему удивлению, ребенок начал складывать свою ручку в именословное перстосложение и иерейским благословением благословил Старца.

Что-то выйдет из этого мальчика?

5 июня

Еще о старце Варнаве от Черниговской.

Была у меня в Москве одна хорошая знакомая, Татиана Егоровна Жиченёва[1]. По профессии акушерка[2], она имела очень хорошую практику во многих именитых московских домах, где ее уважали и любили и где принята она бывала не только как специалистка своего дела, а как друг тех семейств, в которых она «принимала». Сколько помнится, она по своему делу близка была и дому нашего Рафаэля, Виктора Михайловича Васнецова, дети которого едва ли не все увидели свет Божий при помощи Татианы Егоровны...

Чудный была человек эта девушка с хорошей чисто русской православной душой. Коли жива, дай ей Бог доброго здоровья, а померла — Царство Небесное!

Вот вспомнил вчера про отца Варнаву, — приходится теперь вспомнить и о ней, ибо и в ее жизни великий Старец от Черниговской сотворил немалое как прозорливец и духовный руководитель и, кто знает, не спас ли ее душу для вечной жизни?

---

[1] Скончалась 19 декабря 1916 года.

[2] Всегда работала со Снегиревым.

Было время, когда Татиана Егоровна, которую я зазнал уже исповедницей чистого, беспримесного Православия, веровала по-своему: от Церкви не отставала, но церковное принимала не все, а по выбору — что нравилось. Монашества и монастырей, например, она не признавала и знать не хотела: ее время было временем поклонения новоявленному божку — общественной деятельности, — а монах, разве он общественный деятель в глазах тех, кто этого божка лепил на замену христианского делания? О том, что «много может молитва праведника ко благосердию Владыки» и что ради только десяти беспопечительных праведников Бог обещал помиловать тысячи многозаботливых содомлян с их городами, об этом умникам того времени и в голову не могло прийти; а жизнь текла, как и теперь течет, по руслу, которое указывали эти умники образованным людям. Татиана Егоровна была образованная, жившая самостоятельным трудом девушка и потому монашеского «тунеядства» не переносила.

Впрочем, она, кажется, ни в одном монастыре «из принципа» и не бывала, а монахов встречала вблизи только изредка на московских улицах.

В последний раз я видел Татиану Егоровну после моей встречи с о. Варнавой.

В разговоре с нею речь у нас зашла на тему этого ее былого суеверия. Под впечатлением от моего недавнего общения с батюшкой Варнавой я спросил Татиану Егоровну, слыхала ли она об этом Старце.

— Отца Варнаву я знаю, — был ответ, — и не только знаю, но почитаю в нем Божьего угодника и истинного прозорливца. Он разбил все мои мудрования о монастырях и о монашествующих и уверил собою, что и в наше лукавое время есть еще святые на нашей грешной земле.

И тут Татиана Егоровна поведала мне следующее:

— Вы, вероятно, помните тот шум в московском интеллигентном обществе, который наделала одна английская дама, некая Кэт Марсден, открывшая среди инород-

цев Сибири целые поселки, зараженные проказою? Подняла она тогда на ноги не только в одной Москве, но, кажется, и во всей России всё, что еще не утратило сердца, способного отзываться на скорби ближнего. Задела она тогда за живое и мое сердчишко; и задумала я бросить все и ехать туда, в Сибирь, к прокаженным: казалось мне, что выше служения этим несчастным нет и подвига на свете. Завела я по этому поводу и переписку с уездным начальством той местности, где Кэт Марсден сделала свое страшное открытие; и стало мое дело налаживаться так, что оставалось только распродать свои пожитки да и ехать. И всю эту переписку свою, и даже самое свое намерение, я таила на своем сердце и никому, даже ближайшим мне людям, своих замыслов не открывала.

Почти накануне окончательного сведения счетов моих с московской жизнью я была у всенощной в храме Христа Спасителя, — это мой любимый и ближайший к моей квартире храм, — а от всенощной зашла к одним моим близким знакомым: потянуло меня открыть им тайну моего сердца и дать им прощальное целование. О перемене моего решения не могло быть и речи.

Знакомых моих я застала в каком-то особо приподнятом настроении. На мой вопрос, что случилось, мне ответили, что с минуты на минуту к ним ждут о. Варнаву.

— Кто такой этот отец Варнава? — спросила я с неудовольствием.

— Да вы разве не знаете отца Варнавы от Черниговской, что у Троице-Сергиевой Лавры? — ответили мне вопросом, в котором мне почудилось что-то вроде упрека.

И стал мне этот гость после этого еще неприятнее: очень мне уж обидно показалось, что вечер мой у близких людей его приездом будет испорчен. Я замкнулась в себе, как улитка в своей раковине, и решила посидеть немного из благовоспитанности и удалиться до встречи с неприятным монахом. Но не успела я привести свое намерение в исполнение, как в передней послышался звонок

и вслед за звонком в столовую, где мы сидели за чайным столом, вошел старичок иеромонах с наперстным крестом, сопровождаемый толпой прислуги моих знакомых. Я отошла к сторонке, чтобы не мешать излияниям чувств домохозяев, втайне желая как-нибудь ускользнуть от нежеланной встречи.

Зоркий взгляд отца Варнавы сразу меня заметил.

— А это у вас кто? — спросил он, указывая на меня.

Меня представили.

— Э! — воскликнул он радостно, — да какая ж ты у меня хорошая!

В сердце у меня шевельнулось враждебное чувство: и с чего, мол, он у меня заискивается? видит меня в первый раз, а уж похваливает! Вот оно монашеское ханжество и лицемерие... А о. Варнава не унимался, — охватил руками мою голову да и говорит:

— Хорошая-то хорошая, да нехорошее думает. Пойдем-ка, дочка, со мною в другую комнату, поговорим по секрету!

Подчиняясь какой-то неведомой мне власти в голосе Старца, пошла за ним в соседнюю гостиную.

Отец Варнава затворил за нами дверь и сел на диван, посадив меня с собою рядом.

Опять что-то враждебное и гадкое закопошилось в моей душе. Старец взял мою руку в свою... Мне стало еще тяжелее...

— Скажи-ка мне, дочка, — заговорил Старец, — что это ты задумала в своей головушке? Иль тебе здесь дела нет? иль ты здесь совсем бесполезна и никому не нужна? Скажи ж мне, родная, зачем ты ***туда*** собралась ехать?

Я так и обомлела. Старец сразу мне сделался что отец родной.

— Батюшка! — воскликнула я, — там страданье, там подвиг! Некому утешить, некому прийти на помощь; там гибнут люди, отверженные людьми, а здесь...

Батюшка перебил меня:

— А здесь нет разве страданий, дочка? разве на том деле, к которому тебя приставил Господь, не нужна твоя помощь? разве нет страданий, которые ты можешь облегчить? Не нужно утешение, которое ты могла бы дать и делом, и словом? На кого ты бросишь тех, кто привык доверяться твоему опыту? и для чего? чтобы бежать неведомо куда, неведомо зачем, к людям, которых ты и языка-то даже не знаешь, на дело, которому ты не обучалась, в обстановку жизни такую, которой и не снесешь? Тебе дан крест твоей жизни, указан путь, и на нем ты полезна, потому что он дан тебе Богом, и на него тебе отпущены и нужные силы, и нужные знания. А то, что ты задумала, то — крест самоизвольный, и на него сил не будет тебе дано от Бога, потому что это не подвиг, а духовная гордость: не хотим незаметного делания в малом винограднике Христовом, предуказанном нашим силам, давай нам большого да видного... — Передать нельзя, с какой властью говорил мне батюшка; слова его тяжким молотом разбивали все мои намерения, как черепки старой глиняной посуды, и — странно! от ударов этого молота все легче и яснее становилось у меня на душе...

— Слушай же, дочка! — сказал мне под конец беседы Старец, — скажу тебе я, грешный иеромонах Варнава: нет тебе пути туда, нет тебе на него Божьего благословения! Оставайся тут, а ***туда***, если будет нужно, Господь пошлет иных делателей.

Батюшка говорил мне эти слова, а я, склонясь головой к его старческому плечу, рыдала, как малый ребенок, легко, и радостно билось мое бедное сердце; точно гранитную скалу снял с моих плеч великий прозорливец... Я плачу, а он-то, благодатный, сидит со мною, гладит своей ручкой мою голову и с невыразимой любовью в голосе приговаривает:

— «Так, так, дочка! Так, моя радостная, так, родимая!»

Я не поехала к прокаженным. И как же благодарю теперь за это Бога, тем более, что и Кэт Марсден-то оказалась впоследствии едва ли не теми бубнами, что славны за горами.

Отходят на небо от нас один по одному великие праведники. Кто их заменит?

7 июня

Посещение епископом Оптиной и нас. — О. Н. меня смиряет. — Искушение. — Юродство о. Н.

3 июня Оптину Пустынь посетил ангел Калужской Церкви, преосвященный Вениамин. Провел он под кровом обители около суток, служил Литургию, обошел монастырь и Скит, побывал в некоторых кельях, заехал и к нам, в наш дорогой уголок. У нас он побыл минут с двадцать, был очень сердечен с нами и со всеми нашими домочадцами и уехал, оставив по себе самое светлое воспоминание.

Жаль, что погода была плохая, и владыке не пришлось как следует насладиться всей красотой Оптинской.

4-го у о. архимандрита был обед с архиереем. Мы с женой были в числе приглашенных. Владыка очень много говорил со мною за обедом. После трапезы вернулись домой, я застал у нас нашего друга о. Н. и говорю ему:

— Устал я, мой батюшка; все время за обедом пришлось быть центром, около которого сосредоточивалась беседа.

— Ну, уж и центр! — засмеялся о. Н., — хорош центр, нечего сказать! Поставили вас в угол — вот и весь центр ваш!

И то правда! где уж тут, стоя в углу, мнить себя центром?! Но если мое оптинское уединение, в котором так хорошо и думается, и живется, и работается, — угол как бы в наказание за многие грехи мои, то да

будет благословенна вовеки та воля, которая меня этим углом наказала!

«Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Готовимся к 8-му быть причастниками Святых Христовых Таин. Враг не дремлет и сегодня перед исповедью хотел было угостить меня крупной неприятностью, подав повод к недоразумению с отцом настоятелем, которого я глубоко почитаю и люблю. Но не даром прошли для меня два года жизни бок о бок с монашеским смирением Оптинских подвижников — смирился и я, как ни было это моему мирскому самолюбию трудно. Было это искушение за поздней обедней, после которой мы должны были с женой идти на исповедь к нашему духовнику и старцу о. Варсонофию. Вернулись после исповеди домой, а дома — новое искушение: вхожу на подъезд, смотрю, — а на свеженаписанном небе моего этюда масляными красками кто-то углем крупными буквами во все небо написал по французски — La nuee[1].

Я сразу догадался, что виновником этого «озорства» не мог быть никто другой, кроме нашего друга, о. Н.: это так было похоже на склонность его к некоторому как бы юродству, под которым для меня часто скрывались назидательные уроки той или другой христианской добродетели. Это он, несомненно он, прозревший появление тучки на моем духовном небе; он, мой дорогой батюшка, любящий иногда, к общему изумлению, вставить в речь свою неожиданное французское слово!.. Заглянул я на нашу террасу, а он, любимец наш, сидит себе в уголку и благодушно посмеивается, выжидая, что выйдет из этой шутки.

— Ах, батюшка, батюшка! — смеюсь я вместе с ним, — ну и проказник!

---

[1] Туча.

А «проказник» встал, подошел к этюду, смахнул рукавом своего подрясника надпись и с улыбкой объявил:

— Видите, — ничего не осталось!

Ничего и в сердце моем не осталось от утренней смуты.

Несомненно, у друга нашего есть второе зрение, которым он видит то, что скрыто для глаза обыкновенного человека. Не даром же и благочестного жития его в монастыре без малого сорок лет.

14 июня

Припадочная Груша. — Ее болезнь и видение. — Предотвращенный пожар. — Чудо спасения Груши от отравы.

К дому нашему привилась и в нем прижилась едва ли не с первых дней водворения нашего на жительство в Оптиной припадочная крестьянская девушка из деревни Стениной. Зовут ее Грушей. Раба она Христова и великая страдалица от детских лет. Теперь ей годам к сорока, а мучается она от своего недуга, кажется, с пяти лет. Болезнь ее — падучая, а по-ученому — эпилепсия. Бедная! что только с ней творится во время приступов этой болезни!.. Я узнал от нее, что ей это приключилось во время какой-то семейной ссоры между старшими.

— Черным словом, — сказывала мне Груша, — дюже ругались; тут-то меня и схватило: как вдарит об земь, так и стала я как без памяти, а изо рта пена, а сама колочусь об пол чем ни попало. Так вот из-за черного слова-то и бьюсь я до гробовой крышки.

Припадки у Груши бывают иногда по нескольку раз в день и без всякой видимой причины: стоит или сидит, что-нибудь делает— и вдруг хлоп о земь, головой о что ни попало, и бьется в страшных судорогах, испуская изо рта пену...

— Бог милостив, — говорю, — Груша, не до гробовой крышки это тебе будет: когда-нибудь пройдет.

— Нет, — возразила она, — это до гроба. Да и слава Богу, — добавила она весело, — ведь, это ж душе моей на пользу: ведь это ж воля Божия!

Во время одного из припадков Груша раз без памяти пролежала «под святыми» трое суток. Ее отец, семидесятилетний старик Павел говорит мне:

— Думали, что померла, да больно живности в лице много было, — так хоронить побоялись.

Во время этого припадка Груша удостоилась видеть святую великомученицу Варвару, которая ее водила по разным небесным обителям, показывала места блаженства и мучения, учила, как надо молиться Богу, как стоять в церкви, как жить, как разуметь волю Божию. Груша наша «не письменная», да к тому же еще и страшно заикается, когда волнуется, и потому многого из ее повествования и не поймешь. Но одно для меня из ее рассказов ясно — это то, почему так умиляется мое сердце от слов Евангелия:

В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение! (Лк. 10, 21).

Как совершилось поселение у нас Груши, я теперь не очень помню. Припоминается, что мое внимание сперва остановил на себе ее отец, старик Павел, ежедневно по всякой погоде и дороге прибредавший из Стениной[1] молиться в Оптинские храмы. Сначала с ним завелось знакомство, а затем, как-то само собой, и с Грушей. Помню еще, что когда она у нас поселилась, то нас предупреждали:

— Смотрите, как бы она вас не спалила: долго ли ей во время припадка уронить лампу и сделать пожар.

Мы поблагодарили добрых людей за предостережение, но Грушу оставили жить у себя — помогать на кухне чистить картошку.

---

[1] Версты полторы от Оптиной, по ту сторону реки Жиздры.

Не прошло и месяца, прибегает встревоженная Груша с надворья на кухню и, страшно заикаясь от волнения, объявляет:

— Ой, девочки! никак у нас где-то горит: чтой-то гарью пахнет!

Было это часов в одиннадцать ночи; у нас уже собирались укладываться спать.

— Где горит? что ты, Груша?

Выбежали на крыльцо, понюхали; обошли дом, заглянули в сарай для дров, на ледник, в кладовую (все это в деревянном строении под одной крышей, в пяти шагах от дому). Нигде ничего, и гарью не пахнет. Посмеялись над Грушей: припадочная, мол, — что с нее взять?! На шум и беготню вышел и я.

— Что тут у вас случилось?

Рассказали со смехом. Я дозору их не поверил и пошел с фонарем осматривать сарай. И что же? у самой стенки сарая, сколоченной из толстых досок, сухих как порох, отыскал деревянную кадушку с золой, а под золой уже разгоравшиеся угли. Клепка прожглась, начинала уже тлеть и стенка сарая. Еще полчаса, и мы бы горели. Чья-то умная голова у одной из здоровых прислуг умудрилась выгребать горячую золу в деревянную кадушку и чуть не сделала пожара, а больная припадочная Груша оберегла от пожара и самих хозяев, и здоровую прислугу.

Так и «оправдалась премудрость чадами ее».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Вот с этой самой Грушей нынче ночью и совершилось чудо чудное, диво дивное.

Вчера, в субботу, Груша с нашей кухаркой Дуней были причастницами.

Сегодня ночью — стало быть, под воскресенье — с Грушей приключился один из обычных ее припадков. После припадков она бывает некоторое время как бы вне себя и плохо сознает, что кругом нее творится. Захотелось

Груше после припадка пить. В людской все спали. И сказал ей точно чей-то голос:

— Пойди в святой угол: там стоит в бутылке святая вода — возьми и выпей!

Так она и сделала. Но только она успела влить себе в рот с глоток из бутылки, как тут же и выплюнула: показалось ей, что вода ей обожгла губы. Так не пивши и заснула. Проснувшись утром, смотрит: передник весь прожжен и висит лохмотьями, а был новый, крепкий, — и угол рта у губы тоже обожжен. Оказалось, что вместо воды Груша себе в рот влила серной кислоты: та же прислуга, что было нас спалила, она же и бутылку с кислотой умудрилась поставить к образам в божницу... Узнали мы о том, что сотворил Господь Груше, как Он спас ее от страшной отравы, и все пошли дивиться на Грушу, на обоженную губу ее и на ее передник, от которого одни только клочья остались.

«Аще смертное что испиете, не вредит вам».

И как все это просто здесь совершается! Впрочем, и там, в мiру, не так же ли просто совершаются в жизни каждого христианина ежедневные проявления чудес милости Божией? Только их там мало примечают: некогда!

16 июня

Петроградский протоиерей. О. Н. — о «знатной даме».

Несколько дней в Оптиной погостил один известный петербургский протоиерей[1], близкий нам по духу и по давности дружеских отношений. Он, конечно, с высшим образованием, академик; но сердце его, к счастью, не засушено академической схоластикой и способно воспринимать и чувствовать красоту и глубину не мудрствующей лукаво детской веры. В прошлом году, проездом с кумыса (он каждое лето ездил в самарские степи на кумыс), о. протоиерей заехал на денек навестить нас в Оптиной, от-

[1] О. Павел Левашев, настоятель церкви Главного Штаба

нюдь не имея никакого желания знакомиться с жизнью ее духа. Я свел его к нашим старцам, и теперь он — оптинец. За год не третий ли уже он раз приезжает в Оптину?

Вчера он уехал.

Заходил о. Н.[1] — и ни с того ни с сего завел речь о какой-то знатной даме, которую нам нужно ждать к себе — что бы это была за дама? Наш друг спроста не говорит.

19 июня

«Знатная» дама — путаная головка. — Кафедра церковного красноречия и притча по ее поводу о. Н о слове сельского иерея, «пронзившем» сердце Царево, и о слове епископа Макария. — Послушник Стефан и «авторское самолюбие».

К нам просится О. Ф. Р.[2] давнишний наш друг и большая наша любимица. Сегодня от нее получили письмо, — она давно нам не писала, — и в письме этом она умоляет принять ее в общение с нашей жизнью. Пишет, что готова жить хоть в Козельске, лишь бы поближе быть к тому источнику, из которого мы черпаем живую воду, жить тем, чем жива душа наша.

Не наша ли Липочка (ее имя Олимпиада) та знатная дама, которую нам предвозвестил о. Н.?[3] Не знатна она родовитостью и богатством, но душа ее поистине знатная — добрая, любящая, кроткая... Головка вот только у нас путаная: живя постоянно в Петрограде в общении с людьми нового толка, не исключая духовных лиц обновленческого направления, наша Липочка соскочила с оси подлинного Православия и теперь мечется из стороны в сторону, нигде не обретая себе покоя.

Найдет ли она его у нас? — ведь мы из непримиримых: стремимся жить по старой, подлинно старой вере и

[1] О. Нектарий

[2] Олимпиада Феодоровна Рагозина.

[3] О. Нектарий

никаких обновленческих новшеств не приемлем. Однако написали ей сегодня же ответ, что ждем ее к себе с великой любовью и радостью.

Дошло до моего слуха, что один довольно мне близкий по прежним моим связам с Орловской губернией человек имеет намерение по смерти своей оставить значительный капитал на учреждение при одной из Духовных академий кафедры церковного ораторского искусства. Скорбно мне стало такое извращение понимания хорошим человеком источника церковного проповедничества. Беседовали мы на эту тему с отцом Нектарием... Говорил-то, правда, больше я, а он помалкивал да блестел тонкой усмешкой в глубине зрачков и в углах своих ярких, светящихся глаз.

— Ну а вы, — спрашиваю, — батюшка, что об этом думаете?

— Мне, — отвечает он с улыбкой, — к вам приникать надобно, а не вам заимствоваться от меня. Простите меня великодушно: вы ведь сто книг прочли, а я-то? утром скорбен, а к вечеру уныл...

А у самого глаза так и заливаются детским смехом...

— Нуте, хорошо! (это у о. Н. такое присловье). Нуте, хорошо! Кафедру, вы говорите, хотят красноречия завести при Академии. Что ж? может быть, и это к добру. А не слыхали ли вы о том, как некий деревенский иерей, не обучившись ни в какой академии, пронзил словом своим сердце самого Царя? да еще Царя-то какого? спасителя всей Европы — Александра Благословенного!

— Не слыхал, батюшка.

— Так не поскучайте послушать. Было дело это в одну из поездок царских по России, чуть ли не тогда, когда он из Петрограда в Таганрог ехал. В те времена, изволите знать, железных дорог не было, и цари по царству своему ездили на конях. И вот, случилось Государю проезжать через одно бедное село. Село стояло на царском пути, и проезжать его Царю приходилось днем, но оста-

новки в нем царскому поезду по маршруту не было показано. Местный священник это знал, но по царелюбию своему все-таки пожелал царский поезд встретить и проводить достойно. Созвал он своих прихожан к часу проезда к храму, у самой дороги царской; собрались все в праздничном наряде — вышел батюшка в светлых ризах, с крестом в руках, а обок его дьячок со святой водой и с кропилом — и стали ждать, когда запылит дорога и покажется государев поезд. И вот, когда показался в виду царский экипаж, поднял священник крест высоко над головой и стал им осенять грядущего в путь Самодержца. Заметил это Государь и велел своему поезду остановиться, вышел из экипажа и направился к священнику. Дал ему иерей Божий приложиться ко кресту, окропил его святой водою, перекрестился сам и сказал такое слово:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Царь земный! вниди в дом Царя Небеснаго, яко твое есть царство, а Его — сила и слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.

И что ж вы, мой батюшка С. А., думаете? ведь так пронзило слово это сердце царское, что тут же Царь велел адъютанту выдать священнику на церковные нужды пятьдесят рублей. Мало того: заставил повторить слово и еще пятьдесят рублей пожертвовал. Во сто целковых оценил Государь краткое слово сельского батюшки...

Прервал свой сказ о. Нектарий и засмеялся своим детским смехом...

— Впрочем, — добавил он с серьезным видом, — вы, батюшка-барин, изволили сто книг прочесть — вам и книги в руки.

Потом помолчал немного и сказал:

— Когда посвящал меня в иеромонахи бывший наш благостнейший владыка Макарий, то он, святительским своим прозрением проникнув в мое духовное неустройство, сказал мне по рукоположении моем тоже краткое и тоже сильное слово, и настолько было сильно слово это,

что я его до сих пор помню, — сколько уж лет прошло, — и до конца дней моих не забуду. И много ль всего-то и сказал он мне? Подозвал к себе в алтарь да и говорит: «Н...й! Когда ты будешь скорбен и уныл и когда найдет на тебя искушение тяжкое, то ты только одно тверди: Господи, пощади, спаси и помилуй раба Твоего, иеромонаха Н...я!» — Только всего ведь и сказал мне владыка, но слово его спасло меня не раз и доселе спасает, ибо оно было сказано с властью.

«Да, — подумалось мне, — власти этой, кроме как от Бога, ниоткуда не получишь, хотя бы с академической кафедры, которую имеет в виду устроить мой орловский знакомый».

От какой беды спасло нашего друга слово владыки Макария, того он мне не поведал, да я и спросить не решился. Мало ли скорбей и бед наводит враг рода человеческого на монаха, особенно если он старается «добре подвизатися» на тесном и прискорбном пути монашеского подвига!..

Сегодня тот же отец Нектарий, в беседе о тесноте монашеского пути, вспомнил об одном своем товарище по скиту, некоем отце Стефане, проводившем благочестное житие в обители двадцать пять лет и все-таки не устоявшем до конца в своем подвиге. И с какою тонкостью поведен был вражий приступ на Стефана с той стороны, откуда можно было ожидать не врага, а ангела света!

— Этот Стефан, — сказывал мне о. Нектарий, — был богатого купеческого рода Курской губернии, и за ним в его родном городе числился и капиталец порядочный, и дом двухэтажный; а брат его родной, так тот и городским даже головой был на его родине, — словом, из именитых людей был наш Стефан в міру, да и в обители у нас тоже пользовался доброй славой. Пришел он к нам еще совсем молодым человеком, прожил у нас двадцать пять лет послушником, получил рясофор (тогда у нас даже рясофор был великое дело); и так он хорошо и вни-

мательно жил, что был приближен и к старцу Амвросию, и к отцу Ювеналию Половцеву[1]; отец Ювеналий так любил Стефана, что когда получил назначение наместником в Киевскую Лавру, то звал его ехать с ним, чтобы посвятить в иеромонахи.

— Будь только со мною, — говорил ему о. Ювеналий, — и прими священство, а я тебе, если жалуешься на слабость здоровья, и послушания даже никакого не назначу.

Такого, значит, высокого о Стефане мнения был о. Ювеналий. И что же впоследствии вышло? Стефан как человек книжный и любитель святоотеческих писаний особенно занимался изучением св. Иоанна Златоуста и из его творений делал выписки. Привел он эти выписки в порядок, а затем, не сказав никому ни слова, взял да и издал их на свой счет под своим именем, с указанием точного своего адреса. К имени своему он и прозвище придумал — «монах-мирянин» — и прозвище это тоже пропечатал рядом со своим именем. Издание это, к слову сказать, в свое время среди мирян имело успех немалый... Дошла эта книжонка и до рук Оптинского настоятеля, архимандрита Исаакия. Позвал он к себе Стефана да и говорит, показывая на книжку:

— Это чье?

— Мое.

— А ты где живешь?

— В Скиту.

— Знаю, что в Скиту. А у кого благословлялся это печатать?

— Сам напечатал.

— Ну, когда «сам», так чтоб твоей книжкой у нас и не пахло. Понял? Ступай!

Только и было у них разговору. И жестоко оскорбился Стефан на архимандрита, но обиду затаил в своем серд-

[1] В то время Оптинскому иеромонаху, впоследствии архиепископу Виленскому.

це и даже Старцу о ней не сказал ни слова. Как пришло время пострига, — его и обошли за самочиние мантией; взял Стефан да и вышел в мір, ни во что вменив весь свой двадцатипятилетний подвиг. Прожил он на родине, в своем двухэтажном доме, что-то лет с пять да так в міру и помер. Рассказал мне о. Нектарий скорбную эту повесть, заглянул мне в глаза, усмехнулся и сказал:

— Вот что может иногда творить авторское самолюбие!

А у меня и недоразумение-то мое с о. архимандритом возникало на почве моего авторского самолюбия. К счастью, не возникло.

И откуда о. Н. это знает? А знает и нет-нет да и преподаст мне соответственное назидание.

Уходя от нас и благословив меня, о. Н. задержал мою руку в своей руке и засмеялся своим детским смехом.

— А вы все это непременно запишите!

Вот и записываю.

25 июня

На этих днях наши аввы — о. архимандрит [Ксенофонт] и о. игумен [Варсонофий] уезжают в Троице-Сергиеву Лавру на монашеский съезд. Виделся сегодня с о. Нектарием.

— Каковы, — спрашиваю, — мысли ваши о предстоящем монашеском съезде?

— Мои мысли? — переспросил он меня с улыбкой. — Какие мысли у человека, который утром скорбен, а к вечеру уныл? Вы, батюшка-барин, сто книг прочли: вам, стало быть, и книги в руки.

Мне было знакомо это присловие о. Нектария, и потому я не отчаялся добиться от него ответа, хотя бы и притчей, любимой формой его мудрой речи. Я не ошибся.

— Помните вы свое детство? — спросил он меня, когда я стал настаивать на ответе.

— Как не помнить — помню.

— Вот и я, — говорит, — тоже помню. Набегаемся мы, бывало, ребятенки, наиграемся; вот и присядем или приляжем где-нибудь там, в укромном местечке, на вольном воздухе, да и давай смотреть на Божие небушко. А по небу-то, глядишь, плывут-бегут легкие облачка, бегут — друг дружку догоняют. Куда, задумаешься, бывало, путь они свой держат по голубой необъятной дали?.. Эх, хорошо было бы на облачках этих прокатиться!.. «Высоко дюже — нельзя! — со вздохом решает компания. — Не взберешься... А хорошо бы!» И вот среди нас выискивается один, наиболее смышленый: «Эхва, — говорит, — уж и раскисли! Как так нельзя? Здесь нельзя — над нами высоко, а там, — показывает на горизонте, — там рукой их достать можно. Бегим скореича туда, взлезем, да и покатим!»

И видим все мы, что «смышленый» наш говорит дело, да к тому же он и коновод наш: ну что ж? — Бежим! И уж готова от слов к делу перейти стайка неоперившихся птенцов-затейников, да вспомнишь про овраг, через который бежать надобно, а в овраге небось разбойники, про дом свой вспомнишь, — а в доме у кого отец, у кого мать да бабушка: еще вспорют чего доброго!.. Вспомнишь да и махнешь рукой на свою затею: чем по небу-то летать, давайте-ка лучше по земле еще побегаем!

Сказал батюшка свою притчу и улыбнулся своей загадочной улыбкой: понимай, мол, как знаешь!

Я не удовлетворился таким ответом.

— Вы мне, — говорю, — батюшка, скажите прямее: неужели толку не выйдет из съезда?

— Осердится на них Преподобный Сергий, — ответил о. Нектарий.

— На кого — на них?

— Да на наших, что туда едут. Чего «собираться скопом?» Ведь это запрещено монашеским уставом. Монашеский устав дан Ангелом: не людям же его менять-стать да дополнять своими измышлениями... Плакать

надо да каяться у себя в келлии наедине с Богом, а не на позор собираться.

— Как на позор? Что вы говорите, батюшка?

— На позор — на публику, значит, на вид всем, кому не лень смеяться над монахом, забывшим, что есть монах... Какие там могут быть вопросы? Все дано, все определено первыми учредителями монашеского жития. Выше богоносных отцов пустынных кто может быть?.. Каяться нужно да в келлии сидеть и носу не высовывать — вот что одно и нужно!

— Что бы, — говорю, — вам сказать все это аввам?

— А вы, — вместо ответа сказал мне батюшка, — не поскучаете ли еще послушать сказочку?

И батюшка продолжал:

— Жил-был на свете один вельможа. Богат он был и знатен, и было у него много всяких друзей, ловивших каждое его слово и всячески ему угождавших. А вельможа тот был характера крутенького и любил, чтобы ему все подчинялись... Вот как-то раз на охоте с друзьями отошел к сторонке тот вельможа да в виду всех взял и лег на землю, приник к ней одним ухом, послушал, повернулся на другой бок, другим ухом послушал да и кричит своим приспешникам:

— Идите-ка все сюда!

Те подбежали.

— Лягьте — слушайте!

Легли, слушают.

— Слышите? Земля трещит: грибы лезут.

И все закричали в один голос:

— Слышим! Слышим!

Только один из друзей встал с земли молча.

— Чего же ты молчишь? — спрашивает вельможа. — Или не слышишь?

— Нет, — отвечает, — не слышу.

И сказал вельможа:

— Э, братец, ты, видно, того — туговат на ухо!

И все засмеялись над ним и с хохотом подхватили слова вельможи:

— Да он не только туговат: он просто-напросто глухой!

Сказал свою сказочку батюшка и замолк.

— И всё тут? — спрашиваю.

— Всё. Чего же вам больше?

И то правда: чего же мне больше?[1]

26 июня

Гнев Божий. — Дурные вести из деревни. — Пророка надо. — Монах Авель и участь его как пророка.

Третий день стоит такая погода, что, кажется, еще немного — и задохнешься: дождит, парит, а тяжелые тучи спускаются так низко, что задевают иногда за верхушки яблонь нашего сада. За всю свою жизнь я не запомню такого ненастного и грозного лета. С Козельском сообщение на лодках по новому разливу Жиздры. Луга уже в цвету затоплены, а вода все прибывает и прибывает.

Гнев Божий!

Да как и не быть ему?.. Приходит сегодня отец нашей припадочной Груши, просит чайку.

— Ну, как, — спрашиваю, — живут у вас, Павел, на деревне? Опоминается народ?

А я знал и по рассказам, и по личным наблюдениям, что жизнь в деревнях стала, что называется, «не приведи, Господи!»

— Какое там, — махнул безнадежно рукою Павел, — опоминается! Опомнится он? час от часу все хужеет народ, звереет, точно и смерти на него нет: ни Бога, ни души — ничего не стал признавать. За то и дохнуть стали, как скоты: где застала смерть без покаяния, там и

---

[1] Какое дивное прозрение и поучение заключается в этом сказании: как не вспомнить исход вышеизложенной «Оптинской смуты» [см. соответствующий раздел Материалов данного издания]. Не «осердился» ли Преподобный Сергий? — *Прим. И. М. Концевича.*

помирают. Сколько их у нас по полям да по дорогам поперемерло и не перечесть!

— Что ж? иль хворь какая зашла?

— Нет, так просто — с удару, что ль, или там от сердца: ударит в голову иль под сердце подкатит, и дух вон. Плохой, совсем плохой народ стал!

Это я уж давно не от одного Павла слышу.

Анархия в человеке — анархия и в природе. Воздвигни, Господи, пророка міру, да призовет его к покаянию! Не явится пророк, не обратит отступнического сердца к Богу, — не миновать предреченной «скорби, какой не было от века и не будет...»

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Виделся с о. Н. Поговорил на эту тему.

— Пророка бы надо! — говорю.

— Пророка? — вопросительно повторил за мною это слово отец Н., — вот что я расскажу вам на это. Во дни великой Екатерины в Соловецком монастыре жил-был монах высокой жизни. Звали его Авель. Был он прозорлив, а нравом отличался простейшим, и потому, что открывалось его духовному оку, то он и объявлял во всеуслышание, не заботясь о последствиях. Пришел час и стал он пророчествовать: пройдет, мол, такое-то время, и помрет царица, — и смертью даже указал какою. Как ни далеки Соловки были от Питера, а дошло все-таки вскорости Авелево слово до Тайной канцелярии. Запрос к настоятелю, а настоятель, недолго думая, Авеля — в сани и — в Питер; а в Питере разговор короткий: взяли да и засадили пророка в крепость... Когда исполнилось в точности Авелево пророчество и узнал о нем новый Государь, Павел Петрович, то, вскоре по восшествии своем на престол, повелел представить Авеля пред свои царские очи. Вывели Авеля из крепости и повели к Царю.

— Твоя, — говорит Царь, — вышла правда. Я тебя милую. Теперь скажи: что ждет меня и мое царствование?

— Царства твоего, — ответил Авель, — будет все равно что ничего: ни ты не будешь рад, ни тебе рады не будут, и помрешь ты не своей смертью.

Не по мысли пришлись Царю Авелевы слова, и пришлось монаху прямо из дворца опять сесть в крепость... Но след от этого пророчества сохранился в сердце наследника престола, Александра Павловича. Когда сбылись и эти слова Авеля, то вновь пришлось ему совершить прежним порядком путешествие из крепости во дворец царский.

— Я прощаю тебя, — сказал ему Государь, — только скажи, каково будет мое царствование.

— Сожгут твою Москву французы, — ответил Авель и опять из дворца угодил в крепость... Москву сожгли, сходили в Париж, побаловались славой... Опять вспомнили об Авеле и велели дать ему свободу. Потом опять о нем вспомнили, о чем-то хотели вопросить, но Авель, умудренный опытом, и следа по себе не оставил: так и не разыскали пророка... А вы, С. А., хотели бы, чтобы в наше-то время да чтобы пророк явился! Сто лет тому назад, вишь, куда пророков-то за слово пророческое сажали, а теперь, — усмехнулся он, — и слова сказать не дадут, как «за-клин» засадят.

Так закончил свою повесть о. Н. о Соловецком монахе Авеле.

О монахе Авеле у меня записано из других источников следующее.

Монах Авель жил во второй половине XVIII века и в первой XIX. О нем в исторических материалах сохранилось свидетельство как о прозорливце, предсказавшем крупные государственные события своего времени. Между прочим, он за десять лет до нашествия французов предсказал занятие ими Москвы. За это предсказание и за многие другие монах Авель поплатился тюремным заключением. За всю свою долгую жизнь — он жил более 80 лет — Авель просидел за предсказания в тюрьме 21 год.

Во дни Александра I он в Соловецкой тюрьме просидел более 10 лет. Его знали Екатерина II, Павел I, Александр I и Николай I. Они то заключали его в тюрьму за предсказания, то вновь освобождали, желая узнать будущее. Авель имел многих почитателей между современной ему знатью. Между прочим, он находился в переписке с Параскевой Андреевной Потемкиной. На одно ее письмо с просьбой открыть ей будущее Авель ответил так: «Сказано, ежели монах Авель станет пророчествовать вслух людям или кому писать на хартиях, то брать тех людей под секрет и самого Авеля и держать их в тюрьмах или в острогах под крепкою стражею»... «Я согласился, — пишет далее Авель, — ныне лучше ничего не знать, да быть на воле, а нежели знать, да быть в тюрьмах и под неволею». Но недолго Авель хранил воздержание и что-то напророчил в царствование императора Николая Павловича, который, как видно из указа Св. Синода от 27 августа 1826 года, приказал изловить Авеля и заточить «для смирения» в Суздальский Спасо-Евфимиевский монастырь. В этом монастыре, полагать надо, и кончил свою жизнь прозорливец.

В другом письме к Потемкиной Авель сообщал ей, что сочинил для нее несколько книг, которые и обещал выслать в скором времени. «Оных книг, — пишет Авель, — со мною нет. Хранятся они в сокровенном месте. Оные мои книги удивительные и преудивительные, и достойны те мои книги удивления и ужаса. А читать их только тем, кто уповает на Господа Бога».

Рассказывают, что многие барыни, почитая Авеля святым, ездили к нему справляться о женихах своим дочерям. Он отвечал, что он не провидец и что предсказывает только то, что ему повелевается свыше.

Дошло до нашего времени «Житие и страдания отца и монаха Авеля»; напечатано оно было где-то в повременном издании, но по цензурным условиям в таком сокра-

щенном виде, что все касающееся высокопоставленных лиц было вычеркнуто.

По «Житию» этому, монах Авель родился в 1755 году в Алексинском уезде Тульской губернии. По профессии он был коновал, но «о сем (о коновальстве) мало внимаше». Все же внимание его было устремлено на Божественное и на судьбы Божии. «Человек» Авель «был простой, без всякого научения, и видом угрюмый». Стал он странствовать по России, а потом поселился в Валаамском монастыре, но прожил там только год и затем «взем от игумена благословение и отыде в пустыню», где начал «труды к трудом и подвиги к подвигом прилагати». «Попусти Господь Бог на него искусы великие и превеликие. Множество темных духов нападаше нань». Все это преодолел Авель, и за то «сказа ему безвестная и тайная Господь» о том, что будет всему міру. Взяли тогда Авеля два некие духа и сказали ему: «Буди ты новый Адам и древний отец и напиши яже видел еси, и скажи яже слышал еси. Но не всем скажи и не всем напиши, а только избранным моим и только святым моим». С того времени и начал Авель пророчествовать. Вернулся в Валаамский монастырь, но, прожив там недолго, стал переходить из монастыря в монастырь, пока не поселился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, на Волге. Там он написал свою первую книгу, «мудрую и премудрую».

Книгу эту Авель показал настоятелю, а тот его вместе с книгой проводил в консисторию. Из консистории его направили к архиерею, а архиерей сказал Авелю: «Сия твоя книга написана смертною казнию», — и отослал книгу с автором в губернское правление. Губернатор, ознакомившись с книгой, приказал Авеля заключить в острог. Из костромского острога Авеля под караулом отправили в Петербург. Доложили о нем «главнокомандующему Сената», генералу Самойлову. Тот прочел в книге, что Авель через год предсказывает скоропостижную

смерть царствовавшей тогда Екатерине II, ударил его за это по лицу и сказал: «Как ты, злая глава, смел писать такие слова на земного бога?» Авель отвечал: «Меня научил секреты составлять Бог!» Генерал подумал, что перед ним простой юродивый и посадил его в тюрьму, но все-таки доложил о нем государыне.

В тюрьме Авель просидел около года, пока не скончалась Екатерина. Просидел бы и больше, но книга его попалась на глаза князю Куракину, который был поражен верностью предсказания и дал прочесть книгу Императору Павлу. Авеля освободили и доставили во дворец к Государю, который просил благословения прозорливца:

— Отче, благослови меня и весь дом мой, дабы твое благословение было нам во благое.

Авель благословил. «Государь спросил у него по секрету, что ему случится», а затем поселил его в Невской Лавре. Но Авель скоро оттуда ушел в Валаамский монастырь и там написал вторую книгу, подобную первой. Показал ее казначею, а тот ее отправил к Петербургскому митрополиту. Митрполит книгу прочел и отправил в «секретную палату, где совершаются важные секреты и государственные документы». Доложили о книге государю, который увидал в книге пророчество о своей скорой трагической кончине. Авеля заключили в Петропавловскую крепость.

В Петропавловской крепости Авель просидел около года, пока не умер, согласно предсказанию, Император Павел. После его смерти Авеля выпустили, но не на свободу, а под присмотр в Соловецкий монастырь по приказанию Императора Александра I.

Потом Авель получил полную свободу, но пользовался ею недолго. Написал третью книгу, в которой предсказал, что Москва будет взята в 1812 году французами и сожжена. Высшие власти осведомились об этом предсказании и посадили Авеля в Соловецкую тюрьму при та-

ком повелении: «Быть ему там, доколе сбудутся его предсказания самою вещию».

В Соловецкой тюрьме, в ужасных условиях, Авелю пришлось просидеть 10 лет и 10 месяцев.

Москва наконец была взята Наполеоном, и в сентябре 1812 года Александр I вспомнил об Авеле и приказал князю А. Н. Голицыну написать в Соловки приказ освободить Авеля. В приказе было написано: «Ежели живздоров, то ехал бы к нам в Петербург; мы желаем его видеть и нечто с ним поговорить». Письмо пришло в Соловки 1 октября, но Соловецкий архимандрит, боясь что Авель расскажет Царю о его (архимандрита) пакостных действиях, отписал, что Авель болен, хотя тот был здоров. Только в 1813 году Авель мог явиться из Соловков к Голицыну, который «рад бысть ему до зела» и начал его «вопрошати о судьбах Божиих». И сказывал ему Авель «вся от начала веков и до конца».

Потом Авель стал опять ходить по монастырям, пока не был, в царствование уже Николая Павловича, пойман по распоряжению властей и заточен в Спасо-Евфимиевский монастырь в Суздале, где, по всей вероятности, и скончался.

27 июня

Приехала к нам наша любимица и друг наш О[лимпиада] Ф[еодоровна] Р[агози]на, о которой я уже упоминал раньше, предполагая видеть в ней «знатную даму», предсказанную о. Нектарием... Ну и измочалил же ее, бедную, міръ...

Давно не бывавший у нас о. Нектарий сегодня пожаловал — точно предвидел приезд своей «знатной дамы» и с места завел разговор о звездах, уверяя, что на карте звездного неба он нашел свою «счастливую звезду».

Наша Липочка слушала его речи не без удивления, затем отвела меня к сторону и тихонько спросила:

— К чему это он все говорит?

— Не знаю.

— Вы ничего ему про меня не рассказывали?

— Нет.

— Странно.

— Что ж странного?

— Да то странно: я — именно я — всю жизнь искала свою «счастливую звезду» и не нашла ее до сих пор.

— А он, — говорю, — видите, нашел!

— Рассказывайте?!

— Присмотритесь поближе к Оптиной, к нашей жизни, к нашим интересам: быть может, и вы свою звезду найдете...

— А вы, — спросила Липочка, — вашу нашли?

— Видите, — говорю, — не ищем — стало быть, нашли!

Липочка задумалась, но, кажется, речам моим не очень поверила.

1 июля

Зашел о. Нектарий. Преподав мне благословение, задержал мою руку в своей и говорит серьезно с какой-то торжественной расстановкой:

— В дому Давидову страх велик.

И засмеялся — куда вся серьезность девалась!

— Что это, — спрашиваю, — значит?

Отец Нектарий опять стал серьезен.

— Некто из наших скитян, — ответил он мне, — сон на днях такой видел: будто он[1] [о]глядывается в сторону Царских врат и к ужасу своему видит, что там стоит изображение зверя...

— Какого зверя?..

— Апокалипсического. Вид его был столь страшен, что не поддается описанию. Образ этот на глазах имевшего видение трижды изменил свой вид, оставаясь все тем же зверем.

Сказал это отец Нектарий, махнул рукой и добавил:

---

[1] Полиграфический брак в изд. Концевича; вероятно, пропущена строка. — *Сост.*

— Впрочем, мало ли что монашескому худоумию может присниться или привидеться!

Не придавайте, мол, значения речам моим...

5 июля

Обращение сестры о. Феодота из раскола в Православие.

У одного из монастырских друзей моих, о. Феодота, живет в городе Уральске родная сестра, Александра. Она старше своего брата лет на десять. Сестра вышла замуж за раскольника и лет двадцать тому назад и сама уклонилась в раскол, в секту, именуемую «старушечья». Секта эта, как сказывал мне о. Феодот, с Церковью не общается, священства не признает и заменяет его «благочестивыми» старухами. Лет пять тому назад муж Александры, ярый раскольник, отправился на заработки в Сибирь, и с той поры о нем не стало ни слуху ни духу. Об этом о. Феодот знал от третьих лиц; сама же Александра с братом уже давно прекратила всякое общение.

И вот, в конце прошлого мая она внезапно приехала в Оптину.

— Посмотреть, — сказала она, здороваясь с братом, — спасаешься ли ты, или погибаешь.

Оптина произвела на нее такое сильное впечатление, что у нее, как мне говорил о. Феодот, «открылись источники слез», и она решила воссоединиться с Православною Церковью, поговеть и причаститься Св. Таин, которых в безумии своем была лишена столько лет.

— Я все двадцать лет, — говорила Александра брату, как скованная была, а последние годы стала ровно каменная. И мучило это меня, и камнем лежало на сердце, а поделать с собой ничего не могла, хотя и сознавала, что это у меня от моего отпадения от Церкви. А тут еще и хозяйка моя, раскольница, все пугала меня «лицевыми книгами».

— Что это за книги? — спросил ее о. Феодот.

— А это такие раскольничьи книги с картинками. На картинках изображена Православная Церковь, как пре-

стол антихристов, а священники ее — как эфиопы или мурины[1]. В книгах этих есть, например, такая картинка: священник помазывает народ елеем, а рука его в это время обвивается страшным змием; сам же священник изображен с копытами вместо ног и с хвостом, торчащим из спины.

— Неужели ты и у меня, — засмеялся о. Феодот, — и хвост, и копыта видишь?.. Ну, — сказал сестре своей о. Феодот, — живи, смотри, ко всему присматривайся, молись, ходи на могилки к старцам, а там уж сама как знаешь, так поступай: у тебя самой свой разум есть.

И всем сердцем обратилась сестра о. Феодота к покинутой родной матери Церкви.

Перед исповедью Александра говорила брату, что у нее глубоко засело и сидит враждебное чувство к таинству покаяния.

Меня, — говорила она, — двадцать лет наставляли в том, что исповедоваться вздор. Кому исповедоваться-то? Попу? — да он и сам-то сплошь бывает хуже и грешнее тебя...

Когда сестра от исповеди пришла к о. Феодоту, он, сам не зная почему, спросил ее:

— А что, ты в эту ночь ничего во сне не видала?

— Ничего. Почему спрашиваешь?

— Да так — спросилось.

И тут о. Феодот рассказал что-то из области знаменательных сновидений, подходящих к ее обстоятельствам.

Александра прослушала со вниманием и говорит:

— Правду сказать, сон-то и я нынче ночью видела, только такой поганый да глупый, что я его и за сон почесть не могу.

— А что видела?

— Да себя самое: будто я такая грязная, лохматая, растрепанная, а по мне по всей ползают вши. Я их оби-

[1] Мурин то же, что и эфиоп — черный негр. В житиях святых под муринами нередко разумеются бесы.

раю, а кто-то около меня стоит и вшей этих обирать помогает.

— Как же ты сон этот за ничто почитаешь? — подивился о. Феодот, — ведь он тебе показал, что такое есть исповедь: была грязная и вшивая, а задумала исповедоваться — и стала вшей обирать. Вши — грехи, а кто помогал тебе их обирать, тот иерей Божий, без чьей помощи тебе бы и во веки не обобраться.

Когда же Александра причастилась Святых Таин (ее присоединение совершено было келейно — исповедью), то на следующую за Причастием ночь она увидела такой сон: стоит она пред могилками трех великих Оптинских старцев — Льва, Макария и Амвросия — и видит: окружены могилки эти таким сиянием, что глаза ломит от света. И вдруг между могилками вырывается сноп такого света, что слепнут очи, и из света этого слышит Александра голос:

— Не думай, что исповедовал тебя священник: тебя исповедовал Сам Я, Господь и Бог твой. Смотри, как сияют эти могилы! Это все исповедники Мои, творящие Мою волю и таинством покаяния приводившие ко Мне кающихся грешников. Не буди неверна, но верна!

Слезами обливалась Александра, когда это рассказывала.

7 июля

Порок куренья. — Старцы о куреньи.

Сегодня ночью со мною был тяжелый приступ удушливого кашля. Поделом! это все от куренья, которого я не могу бросить, — а курю я с третьего класса гимназии и теперь так насквозь пропитал себя проклятым никотином, что он уже стал, вероятно, составною частью моей крови. Нужно чудо, чтобы вырвать меня из когтей этого порока, а своей воли у меня на это не хватит. Пробовал бросить курить, не курил дня по два, но результат был тот, что на меня находила такая тоска и озлобление, что

этот новый грех становился горше старого. О. Варсонофий запретил мне даже и делать подобные попытки, ограничив мою ежедневную порцию куренья пятнадцатью папиросами (прежде я курил без счета).

— Не всё сразу, не всё сразу, — говорил мне Старец, — всему свое время: придет ваш час и куренью настанет конец.

Старец Иосиф велел мне молиться святому мученику Вонифатию и сказал:

— Надейся, не отчаивайся: в свое время, Бог даст, бросишь!

То же и почти в тех же выражениях говорил мне и о. Анатолий. И тем не менее, я все курю да курю, несмотря даже на раздирающий мои внутренности курительный катар дыхательных путей.

Было время, я в Сарове, в источнике пр. Серафима, исцелился на некоторое время от своего кашля, но курить не бросил, хотя саровский духовник мой и очень на этом настаивал, — и вновь вернулась ко мне моя болезнь, от которой я так мучительно страдаю.

В ограде нашей усадьбы живут два Оптинских подвижника; один из них — мой любимец, о. Вонифатий, — буду просить его святых молитв к его Ангелу: на свои-то я плохо надеюсь.

8 июля

День Казанской Божией Матери. — Странности Липочки. — Мое куренье и о. Вонифатий. — «Переоценка математики». — Наука в безумии. — Знамение антихристова времени. — Награда сторицею.

В Оптиной храмовый праздник — день Казанской Божией Матери, но народу было немного в храме Божием. Не пошла ни ко всенощной, ни к обедне и наша Липочка, ссылаясь на нездоровье. Со дня своего приезда она не была ни в храме, ни на могилках старцев, ни к живым не пошла, как мы ее ни уговаривали. Становится нервной,

беспокойной, как только заведешь об этом речь, и волей-неволей приходится от нее оступаться и не настаивать, видя, какое на нее производят действие наши уговоры. Вывел ее как-то за нашу ограду в лес погулять и, гуляя, в беседе с ней, незаметно для нее стал приближаться к Скиту. Липочка понятия не имела об окрестностях Оптиной и, где расположен Скит, не знала. Вдруг она остановилась и, прервав разговор, тревожно спросила:

— Вы не в Скит ли к старцам думаете меня вести?

— И не думал, — ответил я ей. (Признаться, такой помысл был.)

— Нет уж, нет, пожалуйста, — заторопилась Липочка, — я в Скит не пойду: мне холодно, сыро; я и без того простужена. Пойдемте домой... Это когда-нибудь в другой раз, а теперь пойдемте домой поскорее — я озябла.

И голос-то какой-то точно чужой!.. Странно мне это показалось.

Встретил у нашей садовой калитки о. Вонифатия.

— Батюшка, помолись своему угоднику, чтобы я курить бросил.

— Я и то, — говорит, — об этом молюсь: барин ты хороший, а привычка твоя плохая. Молюсь, молюсь! — успокоил меня о. Вонифатий.

А я, грешник, вслед — не утерпел — закурил свое зелье.

«Бедный я человек!.. умом служу — хочу служить — закону Божию, а плотью закону греха. Чьи молитвы избавят меня от моего порока?..»

Наша гостья дала нам в разговоре такой образец путаницы и анархии мысли, что просто жутко слушать.

Сидели мы с ней за обедом и вели беседу о том, что теперь творится в міре, из которого она только что приехала и от которого мы, слава Богу, давно уже отстали.

— Знаете ли вы, — обратилась к нам Липочка, — что теперь идет такая всему переоценка, что даже математические аксиомы и те поколеблены. Вы вот небось

до сих пор уверены, что две параллельные линии не пересекаются в бесконечности, а теперешняя наука это отвергает и доказывает, что линии эти в бесконечности сходятся.

— Липочка! — воскликнули мы все, сидевшие за столом, — да ведь это ж — безумие!

— Нисколько! — возразила с горячностью, — никакого нет в этом безумия! Станьте на железнодорожном пути, посреди рельсы, на длинной прямой, и посмотрите на них вдаль: разве вы не увидите перед своими глазами точки, где линии рельс пересекаются?

— Липочка! да ведь это ж оптический обман! Кто же на обмане математические теории строит?!

— Ну да, ну да, — обман! — кричала Липочка, — но в мiре видимом все только наше представление о нем и ничего больше, а наше представление о мiре тоже обман...

Батюшки-светы, чего тут только мы не понаслушались! Возражать было бесполезно, ибо для Липочки вся ерунда переоценки математики была основана на авторитете ее родственника, одного небезызвестного профессора, — не тем он будь помянут.

— Послушайте, — обратился тут ко мне один из разделявших с нами трапезу, — я все не мог склонить своего сердца к тому, чтобы поверить вашему убеждению в близости антихриста; но если правда, что наука дошла теперь до подобного безумия, то начинаю верить, что «презренный» действительно близко, ибо большей анархии мысли, чем эта теория, мiру не дождаться.

— И обратите внимание, — заметил тут еще один из собеседников, — теория эта, при всей ее видимой бессмысленности, не лишена некоего прикровенно сатанинского смысла: заставляя верить лжи пересечения параллельных в бесконечности, она отвергает бесконечность, а следовательно, вечность, стало быть, и Самого Бога.

Не знамение ли это времени? — подумалось и мне.

Конечно — знамение.

Но когда та же Липочка отрешает себя от влияния на нее переоценщиков духовных ценностей и говорит свое, а не наигранное на ней, как на граммофоне, тогда и в ее речах и рассказах обретаются такие перлы, которые могут служить украшением любой сокровищницы.

Зашла речь о прошлом Липочки, — а оно у нее было не из легких, — жена и вспомнила то время, когда впервые завязались ее отношения с нею. Слово за словом, и Липочке пришел на память один эпизод из того времени, который она тут же и рассказала:

— Было это, — вспомнила она, — лет тридцать тому назад. Я тогда еще была совсем молоденькая, хотя уже и с немалым горем на плечах: у меня на руках был муж, страдавший тяжелой формой умопомешательства. Средств к существованию у нас не было никаких. Бог не без милости: нашлись добрые люди, определили нас — меня к месту, а мужа в лечебницу для душевнобольных, и я могла зажить сколько-нибудь спокойно, без страха за завтрашний день. Трудновато, правда, было мне и на месте: жалованье было маленькое, и оно почти все целиком уходило на содержание и лечение больного мужа; но стол и квартира были казенные, и я хотя с грехом пополам, да перебивалась. Большой для меня в то время нравственной поддержкой была моя сестра, которая с мужем жила на Удельной: к ней я часто ездила мыкать свое горе.

Чтобы попасть к сестре на Удельную, мне надо было садиться на конку на Михайловской площади и ехать до Финляндского вокзала. И вот села я раз в открытый вагон на Михайловской площади и вижу, что около конки стоит какой-то простой рабочий с окровавленной рукой в повязке. Потянулось к нему мое сердце: очень мне его жалко стало. Я встала со своего места, подошла к нему.

— Что это у тебя с рукой? — спрашиваю.

— На работе руку, — отвечает, — сломал, сударыня.

Вижу — сложный перелом: кровь сочится.

— Тебе, — говорю, — в больницу надо поскорей!

— Да, вот, — говорит, — был в Обуховской, а там не приняли: мест нет. Дали больничный билет на Удельную, а мне туда ехать не на что — денег нет.

Садись, — говорю ему, — со мной; я тебя довезу до Удельной.

Рабочий мой сам взлезть в вагон не мог; я попросила близстоявшего городового помочь ему; сама помогла чем могла: кое-как усадила его с собой рядом, и мы поехали. И показалось мне тут достойным внимания то, что из публики, на все это глядевшей, не нашлось никого сочувствующего; напротив — на меня смотрели с нескрываемой насмешкой: делать, мол, бабе нечего — вот и рисуется своей добродетелью!

Казалось ли мне это или на самом деле было так, но мне впору было бы отказаться от своего намерения, если бы не жалость — и жалость преодолела ложное смущение.

Довезла я рабочего до Удельной. На станции меня встретил зять; с ним вместе мы и устроили страдальца в больницу. Дала я ему полтинник на чай и на сухарь, заглянула в кошелек, хотела прибавить на булку, а в кошельке уже и нет ничего: было около четырех рублей, а осталось немного мелочи — только на обратную дорогу домой. Три рубля, ровным счетом, стоил мне мой раненый рабочий.

— Барыня! — со слезами на глазах спросил он меня, когда мы с ним стали прощаться, — скажи мне твое имя, чтобы знать, как поминать тебя на молитве.

Я сказала. С тем мы и простились, и я уже более никогда рабочего этого не видала.

Пошли мы с зятем из больницы к нему на дачу. Я иду и думаю: жить тебе, Олимпиада, до жалованья еще больше недели, занять негде: с чем ты теперь осталась? А было бы три рубля-то дома, если бы... Я поймала тут себя на лукавой мысли и в ответ на нее чуть вслух не сказала: «А Бог-то! ведь Он же сторицею обещал воздать за всякое добро, сделанное ближнему: да будет Его святая воля — Он уж как-нибудь обо мне промыслит».

Подходим мы с зятем к их даче, а сестра, завидя нас с терассы, еще издали мне кричит:

— Липочка, поздравляю! Иди расписывайся скорее: тебе на наш адрес сейчас с почты триста рублей принесли!

У меня от нечаянной радости едва ноги не подкосились. Распечатываю конверт и глазам не верю, лежат три радужные бумажки и при них письмо от совершенно неизвестного мне господина. Пишет: «Я — давнишний друг вашего мужа и был ему должен триста рублей. Узнал, что он болен, а вы находитесь в тяжелом положении, и решил свой долг уплатить вам». Только всего и было в письме; я даже и подписи разобрать не могла. Так и не узнала и не знаю, кто был мой благодетель... Но вы подумайте только: три рубля пожертвовала вдовьей своей лепты, а триста тут же получила! Бог-то, Бог, что только Он делает!

Мы все бросились целовать нашу Липочку, растроганные, умиленные...

— А помните, Олимпиада Феодоровна, — спросила ее жена моя, — как вы тропарь празднику Казанской Божией Матери выучили?

— Еще бы не помнить! — с живостью воскликнула Липочка, — разве такие вещи забываются?

— Как? что? — посыпались на нее расспросы, — расскажите, милушка!

— Весь и рассказ-то мой, как и самое дело — всего-навсего три слова: Матерь Божия выучила!

— Как так?

— Да, видите ли, вот как! Я всегда очень чтила икону Казанской Божией Матери и много на себе самой от нее чудес испытала. Вот кто-то мне и скажи: «А тропарь-то вы Казанской Царице Небесной знаете?» — А я как раз и не знаю. Стала я его учить — а он такой длинный[1] — и не могу выучить. Ну вот что хотите, не дается он мне да и полно! Один раз, твердя его, я даже до слез

[1] «Заступнице Усердная».

дошла: ну ни в зуб, что называется, толкнуть, — только и помню что «Заступнице Усердная», а дальше — ни слова. И вот, заснула я раз ночью и вижу: пришла Сама Царица Небесная и говорит мне:

— Отныне тропарь Мой ты будешь знать и помнить до самой твоей смерти!

От невыразимого умиления я проснулась в слезах и, конечно, тропарь этот до сих пор помню[1].

И зачем только наша Липочка, с таким-то сердцем, возится с разными профессорами, переоценивающими ценности?!

10 июля

Спор с Липочкой. — Смерть курсистки и видение рая.

Опять спор с Липочкой.

— Христос Своею крестною смертью, — кричит она на меня, — всех искупил! всех, всех, — слышите ли, — всех! Я знать не хочу ваших средневековых понятий о Христе как о каком-то инквизиторе...

Бедненькая наша Липочка была в свое время ревностной посетительницей известных в Петрограде «религиозно-философских» собраний: там-то ей больше всего и спутали головку.

— А что и неверующие, и даже противящиеся Христу, и те не лишатся части своей в Царстве Света, на это я вам приведу свое доказательство!

— Приводите! — попросил я.

— И приведу, — заартачилась Липочка, — да еще такое, против которого у вас и возражений не найдется.

— Что же это за доказательство? — спрашиваю.

— Доказательство свыше — видение, — ответила она мне уже спокойно — серьезно.

---

[1] Достойно замечания, что друг наш, Олимпиада Феодоровна, скончалась 14 октября 1911 года, и 9-й день ей, таким образом, пришелся на 22 октября, на **Казанскую**.

Я знал тонкую духовную природу нашей Липочки и верил ее способности кое-что видеть из того міра, куда редко кому дается безнаказанно заглядывать — тому я уже имел примеры. Я насторожился.

— У нас на курсах[1] училась одна курсистка, на редкость хорошенькая и пресимпатичная, но, к сожалению, внутренний ее человек был заражен и насквозь пропитан духом времени, и притом не только духом неверия, но и злейшим его — противления, вражды ко всему, что относилось к области веры... Заболела девушка эта, и наши врачи определили, что ей уж больше не жить на этом свете. Увидела я, что к ее земным счетам подводятся итоги, и стала я понемногу, исподволь, уговаривать ее обратиться к Церкви, а главное, поисповедоваться и причаститься Святых Таин. Куда тебе! — она и слушать не захотела, так и умерла во вражде к Православной вере... Если бы вы только знали, как тяжело мне было это!..

Вы знаете расположение помещений наших курсов и помните, что как раз над моей квартирой находилась наша домовая церковь. В эту церковь до отпевания и был поставлен гроб с телом почившей. Накануне погребения я зашла пред сном в церковь, помолилась у гроба, как только могла от всего сердца, о упокоении души моей курсисточки, сошла к себе вниз, помолилась на сон грядущий и легла спать с мыслью о ее загробной участи. Хотела было уже тушить свечку, да вижу, что от тяжелых дум заснуть не могу; прочла Евангелие... Не могу спать, лежу с открытыми глазами; свечка горит... В спальне моей было четыре окна: два в одной стене и два в другой, а между окнами было по простенку... И внезапно в одном из этих простенков явилась передо мною, как живая, фигура усопшей в том ее повседневном облике, в котором я ее привыкла видеть: в платье и косынке — форме наших воспитанниц. Явилась эта фигура и исчезла. В то же

[1] Олимпиада Феодоровна была долгое время заведующей одними небезызвестными в Петрограде женскими курсами.

мгновение другой простенок исчез, как бы раздвинулся, и перед глазами моими явилось нечто до того невообразимо прекрасное, чудесное, что сердце мое замерло от восторга. Я вскочила с кровати и только успела вскрикнуть — ах! — видение это исчезло. Пока я опомнилась, пришла в себя, картина виденного из памяти моей уже изгладилась, и только сердце все еще продолжало трепетать от восхищения перед тем, чему нет слов на языке человеческом.

Когда несколько улеглось мое волнение, я схватила бумагу и карандаш, — она у меня всегда лежала на спальном столике, — хотела записать хотя бы тень и... не могла, ибо нет образа виденному ни на земле, ни в представлениях и понятиях человека... И подумалось мне в ту минуту — Суд Божий не есть суд человеческий: я печалилась о загробной участи моей воспитанницы, а милость Божия открыла мне то райское селение, в которое она призвала ее для вечного наслаждения.

Не без волнения выслушал я рассказ этот: сердце чувствовало, что все в нем святая правда, именно — святая, а не лживая, не прелесть вражия, но то же сердце не могло мириться с тем выводом, который из этого видения вывела «путаная головка» Липочки.

— Липочка! — переспросил я ее, — вы как вашу курсистку видели? она была в одном простенке, а райское видение — в другом?

— Да!

— И в раю том, — продолжал я, — вы ее не видели?

— Нет.

— Ну, тогда ясно, что ваше толкование неверно. Да оно и не могло быть верно, ибо вражду на Бога и Христа Его не соединить с любовью Божественной в Эдеме сладости. И душе вашей воспитанницы, и вам был показан рай, — это для меня несомненно, — но врата рая для души той оказались затворенными, и она не вошла туда и не могла туда войти — иначе надо отречься от всей

веры нашей, чего вы ни себе, ни даже врагу вашему не пожелаете.

Сказал я это с большой горячностью, и, к удивлению моему, Липочка, склонная на каждом шагу спорить со мною зуб за зуб, на этот раз ничего мне не возразила.

Записываю я события и речи дня с возможной точностью, занес на страницы своего дневника и этот удивительный рассказ нашей Липочки, и свои речи. А теперь думаю: вправе ли я произносить такой категорический суд над душой воспитанницы Олимпиады Феодоровны? Даже Отец наш Небесный не судит никого, а весь Суд предоставил Своему Сыну[1].

Буди над покойницей воля Божия и милость Суда Спасителя нашего и Бога, а не наши пересуды.

13 июля

Искушение и утешение. — Преп. Серафим и монахини. — Вразумление скитскому послушнику.

Вчера вечером заходил ко мне студент 4-го курса Московской Духовной академии, некто С. И. В.[2].

— Это ведь вы, — спрашивает, — опубликовали беседу о цели христианской жизни преподобного Серафима с Мотовиловым?

— Я.

— Мне было бы желательно узнать: действительно ли вы ее нашли в бумагах Мотовилова или же сами эту беседу составили?

— Иными словами, — переспросил я, — вам желательно удостовериться, не налгал ли я на Преподобного?

— Ну зачем же так грубо? просто: не выдали ли вы своего за чужое?

Подивился я вопрошавшему, но конфузить молодого человека не захотел.

Ответил ему безгневно:

---

[1] Ин. 5, 22.

[2] Сергей Иванович Воинов, ныне иеромонах Серапион.

— Да не будет ми лгати на святого.

— Да ведь я почему так спрашиваю, — спохватился он, — дело в том, что я очень близко стою по духовным своим отношениям к пустыни (он назвал очень известную в Центральной России пустынь), и там некоторые монахи сожгли вашу брошюру с этой беседой, находя ее еретической.

«Я-то на Преподобного не солгал, а вот монахи-то той пустыни не плод ли твоего, друже, измышления?» — подумалось, но не сказалось.

Сегодня наш благочинный привел к нам двух монахинь: казначею и просфорню одного из монастырей Т. епархии. С ними пришла еще и вдова их бывшего священника.

— Если бы вы только знали, — сказала мне м. казначея, — какую пользу христианской душе приносит книга ваша! Сколько духовной радости дала нам обретенная вами беседа преподобного Серафима с Мотовиловым!

С сегодняшней Литургии мы с женой начали готовиться[1] к 19 июля, ко дню преп. Серафима; надо же было за эти сутки случиться двум таким встречам?! Кто их подготовил? кто их осуществил?

Дивное дело!

— Мы к вам с просьбой, — продолжала м. казначея, — не найдете ли вы полезным записать, что с нами было по милости преподобного Серафима?

О Божья река моя! бездонны глубины, неистощимы недра твои, таящие в себе тьмочисленные уловы, которых не вместить в себе и мрежам целого міра, если бы только захотел мір отдать себя этой ловитве! Но молва его и шум, и купли житейские не дают слуху его слышать, оку, чтобы видеть, чтобы обратиться ему, да исцелит его Господь...

Первой повела рассказ свой мать Агния, просфорня.

[1] «Готовиться» — говеть, чтобы в известный день удостоиться Причащения Святых Таин.

— Было это, — сказывала она, — в тот год, когда наш Батюшка-Царь справлял войска на войну с японцами. Помните, он, кормилец, все ездил тогда по городам, где полки наши стояли, еще не ходившие на войну, и царским словом своим и благословением напутствовал их в поход на Дальний Восток. Так вот, в том самом году, в начале августа, собрались мы с одной нашей монахиней в Саров поклониться преподобному угоднику Божьему Серафиму. Из обители нашей, чтобы попасть в Саров, путь лежал нам на Рязань, а с Рязани на Сасово, а с Сасова на лошадях в Саров. В Рязани нам была пересадка, и угодили мы к ней как раз в тот самый день, когда Государь был в Рязани и все поезда по этому случаю были задержаны. По расписанию нам из Рязани надо было бы выехать на Сасово около полудня, а выехали мы только в 10 часов вечера. На рязанском вокзале народу от скопившихся поездов было видимо-невидимо, так что яблоку упасть было негде. Дорожных пожитков с нами было по чемоданчику у каждой да по свертку. В одном из чемоданов было положено все, что нам более всего для дороги было необходимо: деньги, даровые проездные билеты от станции нашего города до Оптиной (мы после Сарова должны были ехать к Оптинским старцам), — словом, в чемодане этом было все, без чего нам и шагу двинуться было нельзя. С собою, по карманам, было ровно столько, сколько нужно было, чтобы доехать до Сарова.

Когда подали казанский поезд, с которым нам надо было ехать, забрали мы наспех наши вещи и бросились поскорее к вагонам, чтобы успеть занять место. Толкотня и давка были ужасные. Едва мы кое-как примостились, как поезд наш тронулся. Пока успокоились, осмотрелись, поезд уже был далеко от Рязани. Хвать! а чемодана-то самого нужного и нет. Стали искать, припоминать, соображать... Нет чемодана! Что было делать? Потужили мы тут, наплакались вволю, а как слезами горю не поможешь, то и порешили предать себя на волю Божию и на

милость угодника Божия. Однако доехали до Сасова и смалодушничали: увидали жандарма и заявили ему о пропаже чемодана.

— Да где он у вас, — спрашивает, — остался?

— На платформе, — говорим, — у входа в вагон!

— Ну, — говорит, — пишите тогда — пропало!

Мы и сами ровно так же думали: не стоило и малодушничать!

С последними крохами добрались мы кое-как до Сарова, оттуда до Дивеева, прожили там дней десять, помолились, поплакали, поговели и с помощью добрых людей пустились в обратный путь в свою обитель. Об Оптинских старцах и думать было нечего.

И уж как же мы молились и плакали у преподобного, один только батюшка, угодник Божий знает!

Приехали в Рязань. Пошли в вокзал дожидаться своего поезда в наш город. Хотели было сделать заявку о своей пропаже станционному начальнику, да порешили — не стоит: больше десяти дней прошло — какие там заявки?!

Сели мы на вокзале за столик, положили рядом свои вещи на пол, взглянули нечаянно под столик, а под ним — наш чемодан! Поверите ли, мы даже испугались: может ли это быть? Смотрим — он! щупаем — он! Приподняли — не порожний ли? Нет, тяжелый, с вещами, как и быть должно, целехонький. Господи, да что же это? Руки дрожат, насилу ключ вставили. Открыли: все до нитки цело-целешенько. Ну и радость же тут была нам, какой, кажется, во всю жизнь нам не бывало! Плачем от радости и благодарим Преподобного впричет:

— Спасибо тебе, батюшка, спасибо, угодничек Божий!

Смотрим: метет вокзальную залу мальчик лет пятнадцати. Подозвали его.

— Ты, — спрашиваем, — мальчик, всегда тут убираешь?

— Всегда.

— И после Царя тоже ты убирал?

— И тогда убирал. Я всякий день тут, после каждого поезда убираю.

— Не видал ли ты тут, — показываем на место, — чемодана, похожего на этот?

— Нет, — говорит, — ни такого и никакого тут не было!

— Вот какие дела-то и в наши времена бывают от Божьих угодников, — такими словами закончила рассказ свой мать Агния.

А по ней и мать Августа, казначея, сообщила мне следующее:

— То, что я хочу вам поведать, было со мною в 1901 году, за два, стало быть, года до открытия мощей преподобного Серафима. Я тяжко заболела: была у меня ифлюэнца, после нее воспаление легких, а за воспалением — гнойный плеврит. Смерть моя пришла. Пригласили ко мне лучшего нашего хирурга, собрали консилиум и так как сердце мое едва работало, то на операцию прокола не решились и предоставили меня воле Божией. Невыразимы были тогда страдания мои. Довольно вам сказать: не имея ни днем ни ночью покоя, я провела без сна и пищи ровно месяц и девять дней. Придет ночь, думаю: ну, может, Бог даст, ночью будет легче! День придет: авось днем полегчает! И так — 39 суток!.. И вот наступила сороковая ночь. Я сидела в кресле в своей келье — лежать я не могла. В келье со мною не было никого... Перед креслом моим два окна, и в них льется яркий лунный свет. Я томлюсь без сна, хочу принудить себя заснуть и заснуть не могу... Вдруг вижу: стоит предо мною в епитрахили, высокого роста, но несколько сгорбленный старец-иеромонах...

— Ты что это, — спрашивает, — не спишь? ведь цари и те спят!

Тут старец наложил мне на голову свою руку, и я тотчас же заснула. Была полночь. Проснулась я в час ночи, и хоть сна моего было всего час один, но я себя почув-

ствовала окрепшей настолько, что навестивший утром меня доктор решил мне сделать прокол, который я перенесла легко, и вскоре и совсем выздоровела.

Кто был Божий угодник, меня навестивший, я не знала: думала на священномученика Антипу-врача, или на кого-нибудь из прославленных святых Православной Церкви, но на Саровского старца не думала никак, веры к нему не имела и даже лица его не знала. После саровских торжеств приехал к нам наш епархиальный владыка и в дар нашему монастырю привез икону преподобного Серафима, освященную на святых мощах его. Как взглянула я на эту икону, так сразу и признала в ней моего целителя...

. . . .

Записываю я эти речи по уходе моих посетительниц и слышу, кто-то обращается ко мне из соседней комнаты:

— Боже наш, помилуй нас! К вам можно?

Оборачиваюсь: скитский рясофорный послушник, о. Никита[1].

— Давно, — говорит, — у вас не был; а вот сегодня точно сила какая-то невидимая меня к вам потянула. Здравствуйте!

Вошел в кабинет.

— Я вам помешал: вы что-то пишете?

— Хочешь (мы с ним приятели) послушать?

— Благословите: очень хочу!

Я прочел.

— Ну, — говорит, — видно сам угодник Божий потащил меня сегодня к вам!

— А что? — спрашиваю.

— Да, видите ли, ему в субботу положен, полиелей, а я ему мало верую и на полиелей идти не хотел. В воскресенье, думал я, ему все равно праздник; в субботу бдение: чего, мол, себя еще лишний раз утруждать? Вот,

[1] Никита (Сучков), теперь Нестор.

батюшка мой, как опасно мы ходим! — вздохнул о. Никита, сокрушаясь о своем нерадении и неверии.

О. Никита родом из раскольничьей семьи и с молоком матери всосал недоверие к святости всех подвизавшихся после Патриарха Никона угодников Божиих. Он сознает в себе эту неправду, борется с ней, но она, как притаившаяся змея, нет-нет да и выпустит свое ядовитое жало...

. . . .

Сообщила мне и вдова монастырского священника случай ее исцеления от чахотки молитвами преподобного Серафима еще в те времена, когда не молебны ему пели, а служили на его могиле панихиды, но таких чудес его милости как звезд на тверди небесной...

14 июля

Весть о кончине моего духовника. — Последнее его письмо ко мне. — Весть о кончине Валдайского протоиерея.

Вчера, в четвертом часу дня, я получил телеграмму из Орла, и в ней четыре слова: «Скончался отец Петр Рождественский».

Царство Небесное святой его душе!

Отец Петр, протоиерей Георгиевской церкви в Орле и член Орловской Духовной консистории, был долгое время моим духовником, другом духовным и неусыпным молитвенником. В прошлом году в «Троицких Беседах» я напечатал брошюру под заглавием «Жатва жизни» и в ней описал, между прочим, смерть Митроши-праведника. Митроша этот был сын о. Петра. Когда вышла в свет моя брошюра, я послал ее батюшке и в ответ получил от него горячее, исполненное любви, письмо. В письме этом он благодарит меня за утешение и пишет: «Прочитав ваше повествование о кончине нашего Митроши, я, действительно, крепко плакал, а жена не могла выслушать до конца вашего сказания о нем, расплакалась и удалилась в другую комнату. Думаю,

что она потом, когда я ушел из дома, прочитала его наедине, потому что книжка эта очутилась в ее комнате, на столе... Скажу вам, что я долго не видал покойного Митроши во сне, а незадолго, дня за три до получения от вас письма и книжки, я очень ясно видел его ходящим в комнате жены, одетым в сюртук. Митроша виделся мне в благодушном настроении. Обрадованный таким видением, я вскрикнул: «Митроша!» — и тут же проснулся. Сон этот я тотчас же рассказал жене, собиравшейся идти к обедне (служил в тот день о. Симеон), и приказал ей взять просфору и помянуть Митрошу...»

Письмо это я получил в декабре прошлого года. Тогда во сне видел о. протоиерей своего Митрошу, теперь, полгода спустя, видит его уже лицом к лицу в бесконечной неисследимой вечности.

Царство вам Небесное, дорогие мои усопшие, не оставьте меня там своими молитвами!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Странное совпадение! Сегодня из Валдая, где мы с женой жили в 1906 году, я получил письмо, извещающее меня о кончине 12 июля Валдайского соборного протоиерея о. Павла Лебедева. Мы очень любили этого прекрасного человека и чистейшего сердцем совершителя Таин Божиих. В один и тот же день на севере и в центре России скончались два протоиерея, близких нам по духу и по отношениям: один — Петр, другой — Павел. Быть может, и нет действительной духовной связи между этими двумя событиями, но в моем представлении они связались как будто в какое-то знамение.

19 июля

Серафимов день. — Странное поведение нашей гостьи. — Страшная смерть.

Серафимов день! Сколько с этим великим днем связано у меня святых воспоминаний!.. Да, глубокую бороз-

ду на ниве моей жизни вспахал угодник Божий благодетельным своим плугом, обсеменив ее семенем, могущим принести плод сторичный.

Увы мне, рабу неключимому!

Сегодня мы с женой причастники Святых Христовых Таин. Сотвори, Господи, соединение с Тобою в жизнь вечную!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Наша Липочка все еще с нами пребывает, но все продолжает под разными предлогами не ходить ни в церковь, ни к старцам. Сидит в ней точно какой-то дух противления всякой святыне, и она слышать не хочет выйти куда-либо за нашу ограду, кроме леса.

— Липочка, родная! — говорю я ей, — мне странно ваше поведение: приехали в старческую обитель и никого из старцев и видеть не хотите.

— Они, — отвечает Липочка тоном капризного ребенка, — страшные: возьмут да меня и обличат и осудят.

— Что вы, что вы, — говорю, — Липочка! К нам в Оптину за утешением к старцам ездят, а не за обличением.

— Нет! — уперлась она, — они страшные — я не пойду к ним.

— Липочка! это не вы старцев боитесь, а приставший к вам бес: он-то вас и не пускает ни к ним, ни в храм Божий, ни на могилки старцев.

— И откуда вы это взяли? — с негодованием возразила мне Липочка. — Бес? Откуда он ко мне пристал?

— Из религиозно-философского собрания, куда вы повадились бегать за новыми путями.

— Вы скажете! Не верю я в ваших бесов: никаких бесов нет, а если когда и были, то Христос их всех победил и разогнал, и их теперь больше нету.

На эту тему у нас с Липочкой уже не раз завязывался продолжительный диалог, переходивший в спор и заключавшийся неистовым на меня криком Липочки. То же произошло и теперь: я было оглох от ее крика.

А вот сегодня, за утренним чаем, та же Липочка, с пеною у рта отвергающая бытие бесов, сообщила нам из своих воспоминаний следующее:

— Когда на наших курсах школой заведовала как попечительница некто А.[1], дочь одной из очень высокопоставленных особ, близкой к Высочайшему Двору покойного Государя Александра III, — эта А. меня очень любила, звала «бессребреницей» и, несмотря на знатность свою, богатство и на то, что она была моим начальством, обращалась со мною запросто как с близкой, хорошей своей знакомой. В ее доме я бывала часто, и там иногда мне приходилось сталкиваться с ее матерью, княгинею В.[2] Боже мой, что это была за женщина! Сколько ни перевидала я на своем веку знатных и богатых, спесивых и надменных, но такой гордости и спеси, такой властности, такого пренебрежительного отношения к людям, ниже её стоящим в обществе, я в жизни своей ни в ком не встречала. Даже дочь ее, женщина чрезвычайно умная, самостоятельная и тоже властная, и та находилась под давлением неприступного величия своей матери. Сидишь, бывало, у А., пьешь с ней чай, беседуешь по душам. Вдруг докладывают:

— Княгиня В.!

Это — матушка, значит, А.. И что тут только делалось после этого доклада! Сама А., как маленькая девочка, бросалась навстречу своей матери чуть ли не в швейцарскую, а я, ничтожная козявка, уползала в самый дальний угол кабинета и там заблаговременно принимала самую что ни на есть униженную позу. Когда входила княгиня, я, не выходя из своего угла, творила перед ней такой поклон, что головой едва не касалась земли; и в ответ получала кивок не столько головой величавой княгини,

---

[1] Мария Васильевна Дурново.

[2] Княгиня Кочубей Елена Павловна, гофмейстерша Императрицы Марии Феодоровны, урожденная Быкова, по первому браку кн. Белосельская-Белозерская.

сколько ее бровями. Я любила всем сердцем А. и ради нее за грех не считала этой комедии.

И вот настало время и этому великолепию смириться до пути, общего и царям, и нищим: заболела княгиня к смерти и стала умирать; и была ее болезнь такая, что ей пришлось чуть не каждую минуту нуждаться в посторонней помощи, иначе от болезненного одра ее пошел бы смрад невыносимый. Каково это было переносить ее величию!.. Нужна была опытная интеллигентная сиделка, и А. выпросила в сиделки к матери лучшую в школе нашей воспитанницу, некую Зибольд, хотя и лютеранку, но очень верующую девушку. Говорила эта воспитанница свободно на трех европейских языках, кроме русского, и фельдшерское дело знала прекрасно. Эта З. провела у одра княгини все время ее болезни до последнего вздоха, который княгиня и испустила на ее руках. И что же это была за страшная смерть! Верите ли, что когда мне З. под свежим впечатлением рассказывала некоторые эпизоды этой кончины, то она сама тряслась как в лихорадке от только что пережитого ужаса, заражая страхом и мое испуганное сердце.

Невыносимы были страдания княгини, но, как ни были они тяжки, они не могли сломить тщеславия гордого сердца: в промежутках между припадками мучительных болей, когда ей становилось полегче, не о душе своей думала княгиня, не о вечной жизни, не о грехах своих, а только о том, почему не едут навестить ее те, которых она одних почитала выше себя. И когда это давно жданное событие наконец совершилось, тогда вслед за ним началось то, от чего долго не могла прийти в себя наша воспитанница. Только что закрылась дверь за высокопоставленными посетителями, княгиня, бывшая в возбужденно-радостном настроении, внезапно чего-то испугалась и закричала неистовым голосом:

— Спасите меня, спасите!

— Что с вами, княгиня? — подбежала к ней З.

— Спасите! Смотрите туда: разве вы не видите, как ко мне отовсюду лезут духи зла?.. Вот они, вон они!.. Вот дух гордыни... Спасите, спасите!

И с этого момента началась леденящая ужасом мука души от лютых бесовских видений и терзаний, и мука эта, длившаяся, казалось, без конца, не прерывалась ни на одно мгновение, пока на руках у З. гордая душа не покинула изнеможденного болезнью тела. Княгиня все это страшное время была в полном сознании, всех, кто только ни был у ее одра, узнавала и ко всем вопила только об одном — о защите от бесовских угроз и нападений. Моя З. долго не могла вспоминать без волнения пережитых тогда ужасов от этих душу раздиравших воплей, от ощущения присутствия незримой силы зла и человекоубийственной ненависти.

Липочка кончила свой рассказ, и у нее с женой моей начался оживленный разговор, основанный на общих воспоминаниях и о школе, и о А., и о кончине В., и о воспитаннице З... А я сидел и думал: какой логикой руководится наша Липочка, рассказывая такие истории и в то же время отрицая существование духов зла, которые в этих историях принимали такое непосредственное, живое и явное участие?!

Вот они, плоды искательства «новых путей» по разным философским и якобы религиозным собраниям! Лезут люди в «глубины сатанинские» и, как пошехонцы, запутываются «в трех соснах» на торжество и радость бесовским шайкам, бродящим теперь едва ли не безвозбранно повсюду...

21 июля

Возвращение наших авв с монашеского съезда. — Знамение времени. — Отъезд нашего друга.

Наши аввы вернулись с монашеского съезда: отец Варсонофий — 17-го, а о. архимандрит — 18-го вечером.

Сегодня о. архимандрит заходил к нам. Своей поездкой он остался доволен. Побыл он у нас минут с двадцать (это, кажется, его второе посещение нас за оба года нашего пребывания в Оптиной), кое-что сообщил из впечатлений от съезда и затем отправился в монастырь. Я пошел его провожать. Дошли до больницы. У больницы стоит подвода, запряженная монастырской лошадью.

— Вы любитель отмечать «знамения времени», — вот вам и «знамение», — сказал мне о. архимандрит, указывая на подводу, — шел сегодня к нам утром из Козельска малый, — сказывает, жил у нас когда-то. Повстречались ему на пути какие-то его приятели; пошли мирно вместе. Под Оптиной они о чем-то заспорили... слово за слово!.. И стали приятели приятеля бить; переломали ему руку, ребра, разбили голову и кинули в Жиздру. В Жиздре он опомнился от побоев, переплыл ее и дополз к нам в больницу. О. Пантелеймон (фельдшер) дивится, как он с такими повреждениями мог все это проделать. Теперь вот отправляем его к хирургу, в городскую больницу.

Если отмечать все такие «знамения» в дневнике своем, то ни места, ни времени не хватит: ими полна теперь вся соскочившая с рельсов горемычная русская жизнь.

Гнев Божий не за горами.

Сегодня уезжает от нас наша бедная Липочка, уезжает неудовлетворенная и расстроенная...

— Я хотела у вас слушать о Христе, а слышала только о диаволе. Не нашло мое сердце успокоения!

Ни в церкви, ни у старцев Липочка так и не побывала, кроме о. Анатолия, к которому жена моя каким-то образом ухитрилась-таки ее проводить.

Что делать! не нашей, видно, меры найти было доступ к сердцу Липочки, в котором, по всем признакам, свилось гнездо «обновленчеств» и «богоискательств» в

духе протестантствующего высокоумия. А как бы хотелось и ей, и себе побольше младенчества и в сердце, и в разуме!..

23 июля

Послание монашеского съезда. — Весть из Испании. — «Современный Калиостро». — Проповедь конца міра. — Идет подготовка к чему-то, чего еще не было.

В полученном сегодня номере «Колокола» напечатано «Послание монашеского съезда ко всем русским инокам». Кончается оно такими словами:

«О возлюбленная братия! Время подвига настало. Кто знает? Быть может, знамения времен исполняются; быть может, близок час грозного Суда Божия: час убо нам от сна возстати! Пора уготовать светильники свои, чтобы встретить Небеснаго Жениха... Если простые, богобоязненные люди, взирая со страхом на торжество зла на земле, внимая стихийным бедствиям — засухам и непогодам, голоду и эпидемиям — говорят: «Не настали ли уже последние времена»; если сама неодушевленная тварь, по слову Апостола, совоздыхающая и соболезнующая нам, содрогается и земля сотрясается, поглощая в ужасных землетрясениях тысячи людей и разрушая в несколько минут цветущие города, то не следует ли и нам прислушаться к гласу громов Божиих, грядущих на вселенную и готовиться услышать глас трубы архангельской, имеющей в последний день міра возбудить мертвецов от их гробов?.. Мы обращаем к вам свой скорбный глас, из наболевших сердец исходящий, призыв от гроба небесного нашего всероссийского игумена Сергия.

Господь близ: час уже нам от сна возстати! Аминь».

Это — из обители Сергиевой.

А из-за границы следующее:

'Daily Telegraph' телеграфирует из Барселоны: «десятки священников и монахинь были безжалостно пе-

ререзаны[1]. Некоторые из них убиты в алтарях, преклоненные пред Распятием, другие после мужественной защиты святынь от революционеров. Последние всюду поджигали дома. Весь город казался залитым морем огня. Чернь препятствовала каретам Красного Креста въезжать в монастырь. Монахини отталкивались от окон горевших зданий и гибли живыми в огне. Никто не оказывал гибнущим помощи... До десяти тысяч революционеров нескончаемыми процессиями проходили по улицам города, неся на палках и жердях головы и другие обуглившиеся части тел своих жертв с криками «виват» и пением Марсельезы.

Другая телеграмма:

Сервер. (Испания).

«Испанские газеты утверждают, что с 26-го по 30 июля (нов. ст.) сожжено 35 монастырей и церквей».

Такими-то известиями дарит нас Старый Свет из «страны Марии Пречистой», как еще в наши дни называли Испанию побывавшие в ней путешественники.

Но есть известия и из Нового Света, и эти вести, в связи с «Посланием монашеского съезда» и личными моими наблюдениями и предчувствиями, мне представляются еще того более страшными. Вести эти сообщаются американскими газетами. Беру их в извлечении двух петроградских газет — «Свет» и «Петроградский Листок».

Вот что пишет «Петроградский Листок» в статье, озаглавленной «Новости о современном Калиостро».

«Мы уже беседовали с нашими читателями о таинственном враче, кудеснике и предсказателе, явившемся в Бостоне и представившем документы, выданные одним из французских королей известному в истории Европы Калиостро.

«Все внешние признаки обоих Калиостро — современного и жившего полтора века назад — совпадают до мельчайших подробностей. Последние американские

[1] Во время восстания, организованного евреем-масоном Ферреро.

газеты дают новые сведения о бостонском враче, занявшем внимание холодных и практических янки. Нью-Йоркская сыскная полиция, крайне интересующаяся таинственною личностью современного Калиостро, докопалась до происхождения последнего. Оказывается, что незнакомец — сын бостонского садовника, Оскара Брауднера, живущего и до сих пор. Но подробности его появления в доме садовника очень загадочны и еще более взвинчивают любопытство американцев. Оказывается, что таинственный врач не родной сын Оскара Брауднера, а подкидыш. Накануне нового года[1] садовник услыхал стук в свои двери и заунывный вой собаки. Открыв дверь, Брауднер увидел небольшой пакет, в котором шевелился ребенок, а вдали, через огород, стремглав убегала черная собака.

Никаких следов человека не нашел Брауднер вокруг своего дома.

Этого-то подкидыша и воспитал садовник, с большим трудом научив его читать, так как мальчик был немым.

Четырнадцати лет от роду молодой Брауднер по имени Джон покинул дом приютившего его садовника и пропадал около пяти лет.

Возвратившись домой, он привез с собою много золота в слитках и объяснил, что он учился в горах около Салтилло у каких-то незнакомцев.

С этого времени Джон, хотя и с трудом, но уже мог говорить.

Тут он показал Брауднеру несколько странных опытов.

У садовника была злая лошадь, которую с трудом удавалось запрягать. Она кусала и била ногами подходивших к ней людей, и ее приходилось держать все время работы в наморднике. Молодой Брауднер вошел в конюшню и, смело подойдя к лошади, заглянул ей в глаза. Лошадь начала дрожать всем телом и с той поры совершенно успокоилась. Поймав ядовитую змею «туалу», моло-

[1] Какого?

дой Брауднер одним своим взглядом превращал ее в палку, а затем, поглаживая ее по спине, заставлял выпускать яд. Когда он шел по лесу, то птицы слетались к нему со всех сторон, как бы притягиваемые какой-то силой.

Пробыв два года дома, молодой человек уехал в Балтимору, где слушал курс медицинских наук, после чего путешествовал и лечил.

«Гипнотическая сила его, — говорит 'New York Herald', — безгранична: он приказывает одним взглядом и овладевает людьми и животными, лишь только коснется их своей длинной худой рукой».

Таинственный врач этот уехал теперь в Новый Орлеан, и к его шатру (он живет в шатре), на поле около боен, стекаются тысячи людей. Идут за исцелением, за внушением, за советом и за предсказанием. Последние он пишет на особых душистых кусочках дерева с неизменным знаком Д[1] на каждом и таинственным символом, изображающим ***треугольник в треугольнике, вписанном в круг.***

«Газеты удостоверяют массу случаев исцеления».

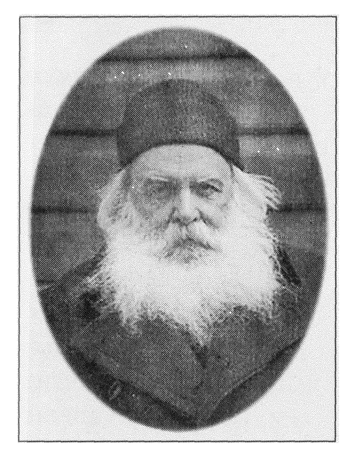
О той же таинственной личности газета «Свет» пишет так.

«Мы уже сообщали нашим читателям о враче, которого называют современным Калиостро. Теперь о нем передают новые, весьма странные известия.

В городе Чарльстоуне, удаленном на 48 часов пути от Бостона, где ныне проживает современный Калиостро, заболел местный крупный рыбопромышленник, мистер Питер Славен. Врачи, созванные со всего города, собравшись на консилиум, решили, что у Славена острый приступ

---

[1] Не G ли (Gnosis)? Гнозис — религиозно-философское учение, составленное из доктрин Востока, христианства, философии Платона и каббалы. Одним из наиболее типичных представителей этого сатанинского лжеучения был Симон Волхв (I век по Р. Х.), по нем Менандр, Керинф, Досифей, Филон и многие другие. Если же Д., то не диавол ли?



Сергей Александрович Нилус. Чернигов, 1927. Снимок в России публикуется впервые

Сергей Александрович Нилус в кругу друзей. Чернигов, 21 мая 1927 года, после Литургии в день именин Елены Александровны Нилус. На снимке: Ольга Митрофановна Комаровская (сидит впереди); во втором ряду сидят справа налево: Сергей Александрович Нилус, Елена Александровна Нилус, Наталия Афанасьевна Володимирова; сзади в центре стоит Митрофан Николаевич Комаровский, слева — хозяйка дома. Снимок в России публикуется впервые

Преподобный Варсонофий
(в миру Павел Иванович Плиханков; 1845–1913),
великий Оптинский старец, скитоначальник;
духовник Сергея Нилуса

Оптинский иеросхимонах преподобный Нектарий (в миру Николай Васильевич Тихонов; 1853–1928), учительный старец и мудрый собеседник Сергея Нилуса

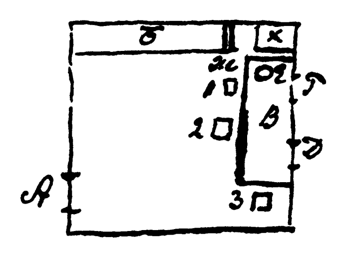
Оптина Пустынь. Общий вид.
Фото начала XX века

Монастырский дом в Оптиной Пустыни,
где жила чета Нилусов

Священномученик Серафим
(в миру Леонид Михайлович Чичагов; 1856–1937).
В пору последнего пребывания С. А. Нилуса в Оптиной
он был в епископском сане и состоял
членом Святейшего Синода

Страницы рукописи Сергея Нилуса.
Автограф. Первая публикация

Преподобный Серафим Саровский
у ближней пустыньки. Гравюра начала XX века



А. – входъ въ комнату
Б. – Диванъ.
х – Кресло блаженной
В – столъ
Г и Д – окна
1, 2, 3 – стулья, на которыхъ въ указанномъ вечеръ
рядкомъ [illegible], о. Іоаннъ и я.
Е. Миска съ монетами.
Ж. ручка дивана, у которой стояли палочки.

План кельи блаженной Паши Саровской,
составленный С. А. Нилусом

Блаженная Паша Саровская возле своего корпусочка
в Серафимо-Дивеевском монастыре

грудной жабы и что исход болезни, ввиду преклонного возраста пациента, внушает серьезные опасения. Отчаянию родственников не было границ. Кто-то вспомнил о таинственном бостонском враче, о котором так много говорили американские газеты. Схватились за эту последнюю надежду и отправили в Бостон телеграмму к одному родственнику мистера Славена, прося привезти врача. Но каково было удивление, почти ужас семейства Славенов, когда в тот же вечер, через час после отправки телеграммы, в их дом вошел таинственный, молчаливый врач из Бостона. Осмотрев больного, он дал ему каких-то капель, после приема которых задыхающийся больной крепко заснул. Молчаливый врач сидел все время у постели больного, но когда тот проснулся, он встал, пристально взглянул ему в глаза и улыбнулся.

Старик Славен начал благодарить своего спасителя за возвращение ему жизни, просил пользоваться его гостеприимством и предложил крупную сумму денег. Но современный Калиостро отказался от того и от другого. Он, по своему обыкновению, разбил палатку в поле, вдали от жилья, а насильно данные ему деньги тут же на улице раздал кому попало. На другое утро за город, к палатке таинственного врача, потянулись сотни людей, и все они получили помощь от Калиостро и унесли от него на память таинственные амулеты из душистого дерева.

Старик Славен оправился очень скоро и рассказывал, что когда он проглотил данные ему капли, то почувствовал как бы вспышку огня внутри, а затем сразу же впал в глубокий сон.

Интереснее всего то, что старый Славен был глуховат, но теперь он слышит совершенно ясно.

Журналист Доред, корреспондент нью-йоркских газет, беседовал с Калиостро по поводу его странного появления в Чарльстоуне без приглашения, которое не успело даже еще и дойти до него. На это загадочный врач написал на бумаге:

«Ровно три дня тому назад я услышал голос, звавший меня в Чарльстоун. Я всегда повинуюсь такому непонятному зову и потому поехал. На вокзале я взял в руки газету и прочел о болезни Славена, из-за которой не состоялось какое-то общественное собрание. Я пришел к Славенам».

Не лишено интереса сообщение американских газет, что таинственный врач из Бостона несколько недель тому назад начал давать амулеты, окрашенные в черный цвет, вместо прежних белых. На вопрос, что значит эта перемена, он ответил:

— Я чувствую, что дух черных людей сильнее белых. Идет великая победа черных, и в честь яркого огня их души я даю черные амулеты.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Оставлю эти полусказочные сообщения на совести сотрудников американских и русских газет. Я бы не придал им особого значения, будь наше время иное, но... в Испании ферреровцы жгут и разрушают церкви и монастыри, бросая в огонь священников и монахов; во Франции изгоняют из всех учебных заведений Крест Господень... А в России?.. Ведь только 3–4 года прошло с тех дней, когда обнаглевшие жиды открыто кощунствовали на городских улицах над нашей святыней и кричали: «Мы дали вам Бога — дадим и царя!»

Да! Не то теперь время, чтобы не прислушиваться к тому, что творится в міре, и не стараться уловить в шуме быстро сменяющихся событий их сокровенного смысла, освещая тайники его светом Св. Писания и Предания. По всему міру видимо для желающих видеть идет подготовка человечества к чему-то, чего, по слову Божию, еще не было и... не будет.

25 июля

И вратам адовым не одолеть Церкви Божией. — Преп. Макарий Желтоводский и Петров пост. — Кончина Валдайского протоиерея. — «Обновленцы». — Как опасно не исполнять старческих заповедей.

Но как ни устремляются «врата адовы» на Церковь Христову, отвлекая от нее немощных в вере чудесами и знамениями ложными, а жизнь верных по-прежнему управляется Промыслом Божиим, и Божия река христианского пришельства и странничества все так же невозмутимо и мирно катит свои прозрачно-светлые, глубокие воды в безбрежное святое море дивной страны незаходимого Света.

Пишет жена, а теперь вдова Валдайского протоиерея, о. Павла Лебедева: «...Собиралась я посетить в этом месяце Оптину Пустынь, но покойный меня отговорил:

— Потом съездишь: теперь постройка!

Мы строим дом. Не думала я, что достраивать его придется мне одной.

В понедельник мой дорогой Павел Васильевич отправился к заутрени, а я заснула. Вдруг слышу голос женский:

— А не достроит тебе отец Павел дом!

Оборачиваюсь во сне на все стороны, но никого не вижу. Спрашиваю:

— Как же так он мне не достроит? Почему?

— Так надо! — получаю ответ.

— Да ведь, — говорю, — у нас долг есть: на что же я дострою?

— Так надо — на то воля Божия, так надо! — ответил голос, и я просыпаюсь.

Сон этот все время у меня с ума не шел, и сердце болело. Рассказала покойному. Он сказал:

— Все может быть: может быть, и не дострою!

В субботу, когда он совсем слег, сказал Сереже (сыну):

— А должно быть, мамин сон исполняется, и я умру!

В четверг, до обеда, писал бумаги, в пятницу лежа диктовал Сереже, в субботу говорит, что вечером пойдет в Зимогорье[1], а в воскресенье в 9 часов утра его не стало».

Боже мой, как это просто! как величаво — просто и трогательно!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Прошел слух, что кто-то из Оптинских советует о. архимандриту спилить для лесопилки вековые сосны, что между Скитом и монастырем: все равно-де на корню погниют от старости.

Приходил сегодня наш скитский друг о. Нектарий.

— Слышали? — спрашиваю.

— О чем?

Я рассказал о слухе.

— Этому, — с живостью воскликнул о. Нектарий, — не бывать, ибо великими нашими старцами положен завет не трогать вовеки леса между Скитом и обителью; кустика рубить не дозволено, не то что вековых деревьев.

И тут он поведал мне следующее:

— Когда помирал старец, о. Лев, то завещал Скиту день его кончины поминать «утешением» братии и печь для них в этот день оладьи. По смерти же его нашими старцами — о.о. Моисеем и Макарием — было установлено править на тот же день соборную по нем панихиду. Так и соблюдалась заповедь эта долгое время до дней игумена[2] Исаакия и скитоначальника Илариона. При них вышло такое искушение. Приходит накануне дня памяти о. Льва к игумену пономарь Феодосий и говорит:

— Завтрашнее число у нас не принято собором править.

Игумен настоял:

— А я хочу!

---

[1] Зимогорье — большое село, смежное с Валдаем.

[2] Впоследствии — архимандрита.

И что же после этого вышло? Видит во сне Феодосий: батюшка Лев схватил его с затылка за волосы, поднял на колокольню на крест и три раза погрозил:

— Хочешь, сейчас сброшу?

И в это время показал ему под колокольней страшную пропасть. Когда проснулся Феодосий, то почувствовал боль между плечами. Потом образовался карбункул. Более месяца болел, даже в жизни отчаялся. С тех пор встряхнулись, а то было хотели перестать соборне править.

А в Скиту в тот же день келейник о. Илариона Нил, стал убеждать его отменить оладьи.

— Батюшка! — говорит, — сколько на это крупчатки уходит, печь их приходится на рабочей кухне, рабочего отрывать от дела, да и рабочих тоже надо потчевать: где ж нам муки набраться?

И склонил-таки Нил скитоначальника — отменили оладьи. Тут вышло нечто посерьезнее Феодосиева карбункула: с того дня заболел о. Иларион и уже до конца жизни не мог более совершать Божественную службу; а Нила поразила проказа, с которой он и умер, обессилев при жизни до того, что его рабочий возил в кресле в храм Божий. Мало того: в ту же ночь, когда состоялась эта злополучная отмена «утешения», на рабочей кухне в скиту угорел рабочий и умер. Сколько возни с полицией-то было! А там и боголюбцы муку крупчатую в скит жертвовать перестали... Видите, что значит для нас преслушание старческой заповеди? — добавил о. Нектарий к своему рассказу и заключил его такими словами:— Пока старчество еще держится в Оптиной, заветы его будут исполняться. Вот когда запечатают старческие хибарки, повесят замки на двери их келлий, ну — тогда!.. всего ожидать будет можно, а теперь — «не у прииде время».

Батюшка помолчал немного, затем улыбнулся своей светлой добродушной улыбкой и промолвил:

— А пока пусть себе на своих местах красуются наши красавицы-сосны!

Действительно — красавицы.

3 августа

Бунт в Барселоне. Ферреро — «носитель масонского идеала».

Все предшествующие дни не до записок моих мне было: то то, то другое отвлекало меня от этого занятия, ставшего для меня за протекшие полгода привычным и приятным трудом. С тех пор как на него о. С. призвал еще и благословение Божие, я стал смотреть на труд этот как на произведение свое, на делание в том уголке вертограда Христова, который Божественным Промыслом предуказан мне, слабейшему из делателей единодесятого часа. Одного только я себе представить не могу, кому понадобиться могут мои записки, через кого и как, в какой форме они могут увидеть свет, чтобы исполнилось на них батюшкино слово и чтобы они послужили славе Божией и делу спасения чад Святой Христовой Церкви. Но сила Божия в немощи нашей совершается. Буди, буди.

Намедни поминал я о том, что внимательному христианскому наблюдению становится все более и более очевидным, что в міру идет подготовка таких событий, каких от века не было и не будет. Пришлось попутно отметить ужасы ферреровского бунта в Барселоне. Теперь читаю в одном французском епархиальном органе некоторые подробности этого сатанинского деяния и поражаюсь силе того зла, которое извращенная человеческая воля ищет поставить на месте благого ига Христова. Вот что прочел я в этом журнале.

«Барселонский бунт был поднят под самым ничтожным предлогом. Произведенные бунтовщиками поджоги и убийства вынудили испанское правительство объявить в городе осадное положение... Ферреро как подстрекатель был арестован; но, вместо того чтобы его тут же на месте расстрелять, его предали военному суду. Суд приговорил его к смертной казни, и приговор этот получил утверждение. Вслед за этим, как по мановению

волшебного жезла, во всем мiре, совершенно, казалось бы, чуждом Ферреро, началась агитация: в газеты всех частей света были отправлены лживые телеграммы, в которых сообщалось, что Ферреро не было дано законной защиты, что его защитника арестовали, и все это благодаря вмешательству в дело духовенства и папы. «Окровавленная рука Церкви, — пишет по этому поводу газета «La Lanterne», — вела все это дело, а королевские пенсионеры были только исполнителями ее велений. Все народы должны восстать против этой человекоубийственной кровавой религии». При этом нарисована карикатура, изображающая священника с кинжалом в руке. Вслед за тем на испанского короля и папу посыпались и в Мадриде, и в Риме смертные приговоры. По Парижу, Риму, Брюсселю, Лондону и Берлину[1] были разосланы петиции, распространявшиеся в огромном количестве экземпляров, с протестом против осуждения Ферреро. Когда Ферреро был казнен, то вслед за его казнью во всех главных городах Европы и Франции были произведены манифестации, местами не обошедшиеся без кровопролития, а в Париже сопровождавшиеся, как бы под охраной войск полиции, безмолвно присутствовавших при них, пением самых кощунственных революционных песен.

57 городов Франции постановили имя Ферреро дать одной из своих улиц.

Подобное сверхъестественное единство и внезапность действий по делу, совершенно чуждому интересам различных стран, ясно указывают на существование некоторой организации, распространяющей свою деятельность на все народы, проявляющей свое влияние даже на самые безвестные уголки земного шара.

В числе документов, представленных следственною властью суду в Барселоне, были такие, которыми было установлено, что Ферреро состоял членом одной из вли-

[1] По Петрограду, Москве и по всем русским университетским городам — добавим от себя.

ятельнейших лож международного масонства, принадлежал к тому таинственному очагу, из которого по всему міру распространяется зараза и тайная власть этой сатанинской силы.

За доказательствами ходить недалеко — само масонство выдает себя в этом деле с головой: совет масонского ордена «Великий Восток» в Париже разослал по всем своим отделениям и по всем ложам міра нечто вроде манифеста — протеста против казни Ферреро. Манифест этот открыто признает Ферреро членом этого ордена. «Ферреро, — заявляет он, — был наш. Он чувствовал, что в масонском деле воплотился наивысший идеал, какой только может быть осуществлен человеком. И Ферреро остался нашим принципам верен до конца. В нем реакция стремилась поразить не человека, а самый идеал масонства. Пред бесконечным движением прогресса человечества воздвигнута задерживающая сила тормоза, цель которого ввергнуть нас в мрак беспросветной ночи средневековья».

На этот манифест «Великого Востока Франции» не замедлил ответить и «Великий Восток Бельгии»; «Бельгийский Великий Восток», — так говорится в этом ответе, — вполне разделяя благородные чувства, вызвавшие появление обращения «Великого Востока Франции», присоединяется от имени бельгийских лож к его негодующему протесту, адресованному Всемирному Масонству и цивилизованному міру против бессовестного приговора, который был безжалостно приведен в исполнение над братом нашим, Франциском Ферреро».

В том же духе высказался и «Великий Восток Италии», а с ним, вероятно, и прочие масонские ложи...

Таким образом, масонство и словом и делом засвидетельствовало, что оно считает Ферреро своим и в нем защищает воплощение «масонского идеала». В чем же состоял идеал самого Ферреро? Его открыл сам Ферреро в мае 1907 года в педагогическом обозрении «Humanidad

Nueva», в котором он излагает принципы «Современной школы», основанной им на деньги, вymаненные не совсем чистым путем у благочестивой и верующей христианки. «Когда шесть лет тому назад, — пишет Ферреро, — нам удалось к великой нашей радости открыть «Современную школу» в Барселоне, мы поспешили объявить, что система воспитания в ней будет научно-рационалистической. Нам желательно было предварить общество в том, что наука и разум суть естественные противоядия против всякого догмата и что, в силу этого, в нашей школе не будет места никакой религии. И чем больше нам старались указать на безумие нашей смелости, дерзающей открыто противостать Церкви, доселе еще всемогущей в Испании, тем больше мужества мы ощущали в себе, чтобы настаивать на проведении в жизнь наших проектов. Необходимо при этом заявить, что цель и назначение «Современной школы» не ограничивается одним лишь намерением изгнать из сознания религиозные предрассудки. Несмотря на то что предрассудки эти более всего мешают освобождению сознания личности, но с одним их исчезновением мы еще не добьемся полной свободы и счастья человечества, ибо можно создать человечество без религии и в то же время несвободным. Если рабочие классы, освободясь от религиозных предрассудков, сохранили бы, тем не менее, предрассудок права собственности в его современном виде, если бы рабочие продолжали бы неустанно веровать притче о необходимости бедности и богатства, если бы рационалистическое обучение удовлетворялось сведениями по гигиене и наукам, подготовляя только лишь хороших учеников, хороших рабочих, хороших приказчиков во всевозможные профессии, — мы бы в таком случае только лишь продолжали жить более или менее здоровыми и крепкими, скромно питаясь от скромного своего заработка, но мы не освободились бы никогда от рабства капитала.

«Современная школа» поставила себе целью одолеть все предрассудки, противоборствующие полному освобождению личности, и в этих целях усвоила себе так называемый гуманитарный рационализм. Этот рационализм заключается в прививке юному возрасту желания познать происхождение всех социальных несправедливостей с тем, чтобы преодолеть их с помощию тех знаний, которые преподает им школа.

Наш рационализм ведет борьбу против братоубийственных войн как междоусобных, так и внешних, против эксплуатации человека человеком, он борется против того рабского положения, в котором в наше время находится в общественной жизни женщина, — словом, рационализм наш борется против всех врагов всемирной гармонии, против невежества, злобы, гордости, против всех пороков и недостатков, разделяющих человечество на два класса: эксплуататоров и эксплуатируемых».

В одном из своих писем к другу Ферреро еще яснее выразил идею своей школы. «Чтобы не испортить людей, — пишет он, — и не давать государству предлога для закрытия моих заведений, я их называю «Современная школа», а не «Школой анархистов». В целях моей пропаганды, говоря откровенно, заключено образование в школах моих убежденных анархистов. Мой обет — революция. В данный момент нам приходится довольствоваться обсеменением юных мозгов идеями бурных потрясений. Молодежь должна узнать, что против жандармов и рясы есть только одно средство: бомба и яд».

Следствие по делу Ферреро привело к открытию на вилле «Germinal», где он жил, документов, спрятанных в подземелье, превосходно замаскированном и имевшем несколько выходов наружу. Документы эти доказали, что Ферреро был душою всех революционных движений в Испании, начиная с 1872 года. Приводим из этих документов выдержки из циркуляров, помеченных 1892 годом: «Товарищи! Будем мужественны, раздавим подлых буржуа...

Прежде чем приступить к созиданию, предадим разрушению все... Если кто из ведущих политику обратится с призывом к вашей гуманности, убейте его... Отмена всех законов, изгнание всех религиозных обществ... Роспуск администрации, армии, флота... Разрушение церквей...» И, наконец, отметка рукой Ферреро на клочке бумаги: «При сем рецепт для фабрикации панкластита (всеразрушителя)». Таков человек, которого масонство представило міру в качестве «носителя масонского идеала»...

29 августа

Масоно-еврейский заговор. — «Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле». — Цели масоно-еврейства. — Служение сатане. — Необыкновенное сновидение жены моего друга.

То, что я выписал и перевел из французского епархиального журнала как характеристику «носителя масонских идеалов», для меня не новость: еще в 1905 году была издана мною вторым изданием книга «Великое в малом», вторая часть которой, названная «Антихрист как близкая политическая возможность», была посвящена раскрытию «тайны беззакония», действующей в союзе масонства с богоотступническим еврейством. «Носитель масонского идеала» Ферреро — только эпизод из сатанинского эпоса этого всемирного заговора против Христовой Церкви на земле и Богоучрежденной Царской власти. Цель заговора: разделить мір на мелкие, якобы национальные республики, соединить их в федерацию[1] Всемирных Соединенных Штатов и отдать над этой федерацией всю власть в руки заговорщиков под верховным правлением того, кого народ еврейский ждет как своего мессию, а Церковь Христова — как антихриста. Теперь я подготовляю к выпуску 3-е издание своей книги, и в нем 2-я часть будет называться еще определеннее — «Близ

[1] Союз.

грядущий антихрист и царство диавола на земле»: так много накопилось у меня данных для того, чтобы от возможности и предположений перейти к уверенности[1]. Религия будущего владычества антихриста, президента Всемирных Соединенных Штатов — сатанизм, или люциферианство, поклонение диаволу как богу и антихристу как Христу.

Совершившееся некогда отпадение от Бога сатаны с третью ангелов найдет перед концом міра свое отображение и на земле: последнее человечество не раскается *в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить*; и не раскается оно *ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем* (Апок. 9, 20 и 21).

А что даже и у нас, в Православной России, настало время, когда люди, отступив от Христа, стали поклоняться бесам, совершая отцу их, диаволу, служение по чину и обряду, известному жрецам сатанинского суеверия, — тому свидетельство в необычайном распространении в обеих столицах и даже в провинции спиритизма и оккультизма и прочих бесовских лженаук и лжеучений. Явление это, как болезнь интеллигентного общества, общеизвестно и доказательств своего существования не требует: книжный рынок завален произведениями в этом роде, готовящими богоотступников к новой вере и к новому «богу».

Пишет мне из Петербурга один близкий, можно сказать, ближайший мне по духу человек:

«Во второй половине текущего месяца августа жена моя видела удивительный сон, продолжавшийся с перерывами до 26 августа.

---

[1] Антимасонская литература на Западе Европы достигла огромного развития. У нас она только еще зарождается. Вниманию читателя могу рекомендовать книгу Селянинова «Тайная сила масонства».

Живем мы в доме № X по улице[1], в верхнем этаже, и сон этот связан с примыкающей к нашей спальне квартирой соседнего дома под № 2.

В первую ночь жене приснилось, будто она проснулась и, к ужасу своему, видит, что стена спальни, примыкающая непосредственно к соседнему дому, в части своей, не занятой святыми иконами, начала как бы исчезать. Получилось впечатление открытой арки. Сквозь эту арку жена увидела сперва как бы в легком тумане, а потом совершенно ясно соседнюю комнату с обстановкой и лицами, находившимися в этой комнате.

Надо заметить, что ни в доме этом, ни в квартире ни жена моя, ни я никогда не бывали и никого из обитателей этого дома не знали.

Из тех лиц, которых жена увидала в этой квартире, она особенно заметила сидевшую лицом прямо к ней полную, лет пятидесяти, даму и высокого роста худого мужчину, с небольшой бородкой лопатой, бледного брюнета, с очень открытым жилетом (не то во фраке, не то в смокинге)... У жены в это время было чувство, что присутствовавшие в комнате 6–7 лиц не подозревали, что жена наблюдает за ними... Дама была, по-видимому, хозяйкой квартиры или главным действующим лицом в том, что в этой квартире совершалось.

У двери, ведущей в соседнее помещение, для жены невидимое, сидела с левой стороны другая пожилая дама, а с правой находился небольшой ореховый темный шкафик, на изогнутых резных ножках, с полочкой наверху. На этой палочке лежали три или четыре большие черные книги. Напротив этого шкафика сидел помянутый худощавый господин. Господин этот что-то очень оживленно говорил, часто вставал со своего места и поворачивался лицом к моей жене. Его лицо, таким образом, и лицо хозяйки квартиры ясно запечатлелись в памяти моей жены; лица же остальных присутствовавших, в

---

[1] И № дома, и улица мне известны.

числе которых были и молодые девицы, остались как бы в тумане.

Обстановка комнаты, часть которой была видна моей жене, состояла из мягкой будуарной мебели, крытой кретоном цвета «крем» с темными цветами и листьями.

Жена чувствовала, что в недоступной для ее наблюдения части комнаты находилось еще несколько лиц.

Разговоров всех этих лиц жена не слыхала, но ясно понимала значение происходившего перед ее глазами как оккультного сеанса.

Вскоре по предложению хозяйки, все встали перед темным шкафиком и стали, по-видимому, произносить как бы некие заклинания. Жена поняла, что это вызывают духа.

Прошло немного времени, и из шкафчика выскочил страшного вида, серый, худой, маленький котенок с горящими как огонь глазами, с большими черными когтями и со взъерошенной шерстью. Выскочил котенок этот и начал прыгать и ласкаться у ног присутствовавших на сеансе лиц.

Жене снилось, что при начале этого «радения» она будто бы осторожно встала с постели и, не желая меня тревожить спящего, вышла на середину спальни, чтобы лучше и ближе рассмотреть все, что виделось ей в этой квартире. Страшный котенок сразу ее заметил и стал, по-кошачьи крадучись и пригибаясь к полу, пробираться к нам в спальню. Чувствуя, что это не котенок, а нечистая сила, жена стала его усиленно окрещивать, непрерывно читая Иисусову молитву и стараясь его раздавить ногою. Котенок извивался и всячески увертывался, но жене удалось все-таки правой ногой надавить на него поперек туловища, и, когда она его придавила, он извернулся и когтем больно оцарапал ей ногу. Жена вскрикнула от боли и проснулась в страхе.

Боль в оцарапанном месте чувствовалась и по пробуждении.

Через два-три дня после этого сна жене опять привиделось, будто она просыпается и видит, что там же, что и в предшествующем сне, стена спальни вновь начинает как бы утончаться, колебаться, делаться прозрачной, и жена опять видит ту же комнату, те же лица, но на этот раз уже *слышит* все их разговоры. И видит жена, что собравшееся в той комнате общество находится в каком-то возбужденном состоянии и очень неприязненно относится к нашей квартире, хотя, как понимает жена, оно нас не видит.

«Так невозможно! — слышит жена, — там (то есть у нас) нам мешают, могут все испортить».

Та же дама, которая казалась хозяйкой и играла главную роль в первом сне, волновалась и теперь больше всех и в конце концов предложила перенести их «моленную» на другой конец квартиры, в крайнюю комнату, «в ту, — говорила она, — что на конце».

На все происходящее жена смотрела скорее с любопытством, чем со страхом, совершенно забыв о первом сне и не отдавая себе отчета в том, что все видимое ею теперь является прямым продолжением предшествующего сна.

Среди присутствующих жена увидела вдруг новое лицо, поразившее ее своим отвратительным, отталкивающим видом; лицо это навело на ее душу леденящий ужас. Это был некто в образе человека, лет средних, с лицом темным (но не чернокожим), с курчавыми волосами и блестящими, раскосыми глазами, толстыми губами, без усов и бороды, с низким лбом. Лицо это одето было в какое-то длинное черное платье, наподобие пальто до пят или лапсердака. Движения этого неизвестного были какие-то извилистые, как бы змеиные.

В существе этом жена сразу почувствовала диавола. Когда то общество стало возмущаться нашим соседством, не видя, однако, что между нами и им стены уже не существует, тогда страшное это существо, извиваясь и как

бы проползая между присутствующими, стало крадучись двигаться по направлению к нашей спальне. Жена в страхе увидала, что оно, устремив злорадно свой взгляд на меня спящего, начало приближаться уже и к моей кровати. Вскочив в ужасе со своей постели, жена быстро повернулась к висящей над нашими кроватями иконе Тихвинской Божией Матери, почитаемой нами за чудотворную[1], и с отчаянием увидала, что Матери Божией на обычном ее месте в киоте нет и что лампада горит перед пустым киотом. У бедной жены замерло сердце, и вся она похолодела, как бы окаменев от мысли, что в такой страшный миг Матерь Божия покинула нас. Взглянула она, в страхе за меня, в мою сторону и, к несказанной своей радости, в то же мгновение увидела, что святая Тихвинская икона стоит на ночном столике рядом с моим изголовьем и сияет таким светом, что виден отчетливо в темноте и весь Лик Пречистой.

Тем временем, не замечая еще нашей Спасительницы, диавол продолжал, пристально глядя на меня, придвигаться к моей кровати. Приблизился он уже к средине кровати и в этот самый миг, как огнем палимый, отшатнулся, пригнулся к самому полу, схватился со злобой и отчаянием за голову и стал изрыгать в сторону иконы непередаваемые кощунственные ругательства, заключив их словами:

— Ты всегда стоишь на моей дороге!

В ту же минуту жена моя внезапно почувствовала прилив необыкновенной храбрости и бодрости, вскочила с постели, обежала вокруг диавола, стала пред ним лицом к лицу и со словами: «Пресвятая Богородице, помоги нам!» — стала наступать на диавола, окрещивая его и опаляя именем Пресвятой Богородицы. Диавол стал отступать от жены моей, но как-то вяло и неохотно. И вдруг жена почувствовала, что силы покидают ее, и рука

[1] Она спасла раз моего друга от смерти.

ослабела до того, что уже не может творить крестного знамения. Послышался диавольский злорадно-торжествующий хохот. Жена вновь обратилась с мольбой к Божией Матери и тут увидела, что Тихвинская икона опять стоит на обычном своем месте. В то же мгновение силы к моей жене вернулись, и она с удвоенной энергией начала вновь наступать на диавола, творя крестное знамение, под которым диавол извивался как червь и, отступая, шипел со злобою:

— Да ухожу, ухожу!

И с этими словами он исчез, а жена проснулась в таком страхе, что разбудила меня, прося окрестить все кругом и с ней вместе помолиться.

Что касается меня, то я во время этихжениных сновидений спал совершенно спокойно и ничего особенного во сне не видал.

Но дело этим не кончилось.

В ночь с 25-го по 26 августа жена не спала, а находилась в каком-то особенном состоянии, как бы в полузабытьи, в полудремоте. Опять в том же месте, как и в предыдущих снах, ближе только к окну, жена увидела около окна высокую фигуру, много выше человеческого роста. Одета она была в голубую одежду, препоясанную розовым орарем с золотыми крестами. В волосах явившегося была узенькая розовая лента. Жена с радостью почувствовала в своем сердце, что явившийся — Ангел.

В том месте, где в стене открывалась как бы арка, обои вдруг отошли и обнажилась штукатурка. Ангел указательным перстом правой руки начертал на известке крест, который остался видимым и по начертании; и затем, обратясь к жене, сказал ей Ангел:

— Теперь будьте покойны!

С этими словами Ангел стал невидим, а обои вновь появились на своем месте.

Вчера жена была в Петергофском соборе и там впервые увидела изображения чинов Ангельских. То одеяние,

в котором она видела Ангела, было, по этому изображению, одеянием Начал и Властей Ангельских».

Это поразительно!

Друг мой и единомышленник окончил некогда Петроградский университет со степенью первого кандидата математических наук, а жена его — бывшая воспитанница Смольного института. Оба далеко еще не старые и оба глубоко православные, готовые за веру постоять даже до крови, если то угодно будет Богу.

К тому, кажется, и приближается нынешнее время... Господи, помилуй!

30 августа

Борьба с пороком куренья. — О. Амвросий о куренье. — Наш друг и его рассказ об архиепископе Калужском Григории и о своем «баловстве». — Подземная работа. — Бригадный генерал о евреях в армии.

Продолжаю свою мысленную брань с пороком куренья, но пока все еще безуспешно. А бросить это скверное и глупое занятие надо: оно чувствительно для меня разрушает здоровье — дар Божий, и это уже грех.

Приснопамятный старец, батюшка о. Амвросий, как-то раз услыхал от одной своей духовной дочери признание:

— Батюшка! я курю, и это меня мучает.

— Ну, — ответил ей старец, — это еще беда невелика, коли можешь бросить.

— В том-то, — говорит, — и горе, что бросить не могу!

— Тогда это грех, — сказал старец, — и в нем надо каяться, и надо от него отстать.

Надо отстать и мне; но как это сделать? Утешаюсь словами наших старцев, обещавших мне освобождение от этого греха, «когда придет время».

Покойный доброхот Оптиной Пустыни и духовный друг ее великих старцев, архиепископ Калужский Григорий, не переносил этого порока в духовенстве, но к курящим мирским и даже к своим семинаристам, пока

они не вступали в состав клира, относился снисходительно. От ставленников же, готовящихся к рукоположению, он категорически требовал оставления этой скверной привычки, и курильщиков не рукополагал.

Об этом мне сообщил друг наш, о. Нектарий, которому я не раз жаловался на свою слабость.

— Ведь вы, — утешал он меня, — батюшка-барин, мирские: что с вас взять? А вот...

И он мне рассказал следующее:

— Во дни архиепископа Григория, мужа духоносного и монахолюбивого, был такой случай: один калужский семинарист, кончавший курс первым студентом и по своим выдающимся дарованиям лично известный владыке, должен был готовиться к посвящению на одно из лучших мест епархии. Явился он к архиепископу за благословением и указанием срока посвящения. Тот принял его отменно ласково, милостиво с ним беседовал и, обласкав отечески, отпустил, указав день посвящения. Отпуская от себя ставленника, он, однако, не преминул его спросить:

— А что ты, брате, куревом-то занимаешься или нет?

— Нет, высокопреосвященнейший владыко, — ответил ставленник, — я этим делом не занимаюсь.

— Ну и добре, — радостно воскликнул владыка, — вот молодец-то ты у меня!.. Ну-ну, готовься, и да благословит тебя Господь!

Ставленник архиерею, по обычаю, — в ноги; сюртук распахнулся, а из-за пазухи так и посыпались на пол одна за другой папиросы.

Владыка вспыхнул от негодования.

— Кто тянул тебя за язык лгать мне? — воскликнул он в великом гневе. — Кому солгал? Когда солгал? Готовясь служить Богу в преподобии и правде?.. Ступай вон! Нет тебе места и не будет...

С тем и прогнал лгуна с глаз своих долой, лишив его навсегда своего доверия... Так-то, батюшка-барин, — добавил о. Нектарий, глядя на меня своим всегда смеющим-

ся добротой и лаской взглядом, — а вам чего унывать, что не афонским ладаном из уст ваших пахнет? Пред кем вы обязаны?.. А знаете что? — воскликнул он, и лицо его расцветилось милой улыбкой, — вы не поверите! я ведь и сам едва не записался в курильщики. Было это еще в ребячестве моем, когда я дома жил сам-друг с маменькой... Нас ведь с маменькой двое только и было на белом свете, да еще кот жил с нами... Мы низкого были звания, и притом бедные: кому нужны такие-то?! Так вот-с, не уследила как-то за мной маменька, а я возьми да и позаимствуйся от кого-то из богатеньких сверстников табачком. А у тех табачок был без переводу, и они им охотно, бывало, угощают всех желающих. Скрутят себе вертушку, подымят-подымят да мне в рот и сунут: «На — покури!» Ну, за ними задымишь и сам. Первый раз попробовал — голова закружилась; а всё-таки понравилось. Окурок за окурком — и стал я уже привыкать к баловству этому: начал попрошайничать, а там и занимать стал в долг, надеясь когда-нибудь выплатить... А чем было выплачивать-то, когда сама мать перебивалась, что называется, с хлеба на квас, да и хлеба-то не всегда вдоволь было... И вот стала маменька за мной примечать, что от меня как будто табачком припахивает...

— Ты что это, Коля (меня в миру Николаем звали), никак курить стал поваживаться? — нет-нет да и спросит меня матушка.

— Что вы, — говорю, — маменька? — и не думаю!

А сам скорее к сторонке, будто по делу... Сошло так раз, другой, а там и попался: не успел я раз как-то тайком заемным табачком затянуться, а маменька — шасть! — тут как тут:

— Ты сейчас курил? — спрашивает.

Я опять:

— Нет, маменька!

А где там — нет — от меня чуть не за версту разит табачищем... Ни слова маменька тут мне не сказала, но

таким на меня взглянула скорбным взглядом, что, можно сказать, всю душу во мне перевернула. Отошла она от меня куда-то по хозяству, а я забился в укромный уголок и стал неутешно плакать, что огорчил маменьку, мало — огорчил, обманул и солгал вдобавок. Не могу и выразить, как было это мне больно!.. Прошел день, настала ночь, мне и сон на ум нейдет: лежу в своей кроватке и все хлюпаю[1], лежу и хлюпаю. Маменька услыхала.

— Ты что это, Коля? никак плачешь?

— Нет, маменька.

— Чего ж ты не спишь?

И с этими словами матушка встала, засветила огонюшка и подошла ко мне; а у меня все лицо от слез мокрое и подушка мокрехонька...

И что у нас тут между нами было!.. И наплакались мы оба и помирились мы, наплакавшись, с родимой, хорошо помирились!

Так и покончилось баловство мое с куреньем.

Такова была исповедь о. Нектария, одного из наших в кажущейся простоте своей «премудрых». И вспомнилась мне невольно бедная наша Липочка: «Я боюсь ваших старцев: они строгие, страшные!»

Да, — строгие, страшные, только не для нас, грешных, а для тех «невидимых», кто нас на грех толкает: тем, действительно, страшны наши Оптинские неусыпающие в любви и молитвах стражи. Только бы нам не лишиться стражей этих за грехи наши многие!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

А подземная работа «адовых врат» идет. Из Сибири пишут: и у нас во множестве распространяются прокламации, и все по большей части такого содержания.

«Христианскому рабству, которому уже давно подпали европейские государства, приходит конец. Это рабство должно быть уничтожено, и народы Европы долж-

[1] Плачу потихоньку (Орловский говор).

ны получить свободу, которую им могут дать только евреи, некогда казнившие позорною смертью Того, Кто это рабство создал...»

Помилуй, Господи!

«Не идите, — пиш[у]т далее в прокламациях, — в Союз Русского народа и в подобные ему организации, потому что они ничто, а вся сила у нас, евреев. Промышленность и торговля у нас; весы европейского равновесия в наших руках; общественное мнение и печать с нами и за нас; железные дороги наши. Мы проникаем и проникли в правительственные учреждения. Мы перенесли свою деятельность и в армию, которая тоже будет нашей.

Наконец, в наших руках золото всего міра. Идите к нам, потому что мы и только мы — сила. Мы, евреи, дадим свободу и избавим вас от рабства, в которое ввергло вас христианство».

Что прокламации эти не пустое бахвальство обнаглевших жидов, тому я на этих днях имел свидетельство от одного генерала, приезжавшего говеть в Оптину и заходившего к нам перед возвращением к своей части (он командует бригадой). Генерал этот мне сообщил, что жиды у нас успели пролезть даже в Генеральный штаб, а в полках его бригады на 1800 человек мирного полкового состава жидов приходится до 120 человек.

Мудрено ли малому квасу заквасить все тесто?!

1 сентября

Новый церковный год. — «Господи, как я мал пред Тобою!» — Сколько было истинных общежитий. — Наш друг и котенок.

Сегодня первый день нового церковного года. На целую четверть года мір отстал от Церкви, и так — во всем! От колыбели и до самой могилы идет теперь решительное и полное во всем отступление от матери-Церкви... А за могилой что будет?!

Погода сегодня дивная. Солнце по-весеннему греет и заливает веселыми лучами наш садик и чудный оптинский бор, с востока и юга подступивший почти вплотную к нашему уединению. Я вышел на террасу и чуть не задохнулся от наплыва радостно благодарных чувств к Богу, от той благодати и красоты, которыми без числа и без меры одарил нас Господь, поселив нас в этом раю монашеском. Что за мир, что за безмятежие нашего здесь отшельничества! что за несравненное великолепие окружающей нас почти девственной природы! Ведь соснам нашим, величаво склоняющим к нам свои пышно-зеленые могучие вершины, не по полтысячи ли лет будет? Не помнят ли некоторые из них тех лютых дней, когда злые татарове шли на Козельск, под стенами и бойницами которого грозный Батый задержан был на целые 7 недель доблестью отцов теперешних соседей Оптинских?.. И стою я, смотрю на всю эту радость, дышу и не надышусь, не налюбуюсь, не нарадуюсь...

— И вспомнил Иаков, — слышу я за спиной своей знакомый голос, — что из страны своей он вышел и перешел через Иордан только с одним посохом, и вот — перед ним его два стана. И сказал в умилении Иаков Богу: Господи, как же я мал пред Тобою![1]

Я обернулся, уже зная, что это он, друг наш. И заплакало тут мое окаянное и грешное сердце умиленными слезами к Богу отцов моих, и воскликнуло оно Ему от всей полноты нахлынувшего на него чувства:

— Господи, как же я мал пред Тобою!

А мой батюшка, смотрю, стоит тут же, рядом со мною, и радуется.

---

[1] Мне хотелось запечатлеть здесь в полной неприкосновенности слова нашего друга, но подлинный текст Св. Писания, откуда почерпнуты эти слова, таков: *Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты (Господи) сотворил рабу Твоему; ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана* (Быт. 32, 10).

— Любуюсь я, — говорит, — на ваше общежитие, батюшка-барин, и дивуюсь, как это вы благоразумно изволили поступить, что не пренебрегли нашей худостью.

— Нет, не так, — возразил я, — это не мое, а обитель ваша святая не пренебрегла нами, нашим, как вы его называете, общежитием.

Он как будто и не слыхал моего возражения и, вдруг улыбнувшись своей тонкой улыбкой, обратился ко мне с таким вопросом:

— А известно ли вам, сколько от сотворения міра и до нынешнего дня было истинных общежитий?

Я стал соображать.

— Вы лучше не трудитесь думать, я сам вам отвечу — три!

— Какие?

— Первое — в Эдеме, второе — в христианской общине во дни апостольские, а третье... — он приостановился... — А третье — в Оптиной при наших великих старцах.

Я вздумал возразить

— А Ноев ковчег-то?

— Ну, — засмеялся он, — какое ж это общежитие? Сто лет звал Ной к себе в ковчег людей, а пришли одни скоты. Какое ж это общежитие?!

Сегодня, точно подарок к церковному новому году, батюшка наш преподнес нам новый камень самоцветный из неисчерпаемого ларца, где хранятся драгоценные сокровища его памяти.

— Вот и у нас в моем детстве тоже было нечто вроде Ноева ковчега; только людишечки мы были маленькие, и ковчежек наш был нам по росту, тоже малюсенький: маменька, я — ползунок, да котик наш серенький. Ах, скажу я вам, какой расчудесный был у нас этот котик!.. Послушайте-ка, что я вам про него и про себя расскажу!

Под свежим впечатлением от рассказа записываю я эти строки и умиляюсь, и дивлюсь красоте его благоуханной...

— Я был еще совсем маленьким ребенком, — так начал свое повествование о. Нектарий, — таким маленьким, что не столько ходил, сколько елозил[1] по полу, а больше сиживал на своем седалище, ходя кое-как уже мог говорить и выражать свои мысли. Был я ребенок кроткий, в достаточной мере послушливый, так что матери моей редко приходилось меня наказывать. Помню, что на ту пору мы с маменькой жили еще только вдвоем и кота у нас не было. И вот, в одно прекрасное время, мать обзавелась котенком для нашего скромного хозяйства. Удивительно прекрасный был этот кругленький и веселенький котик, и мы с ним быстро сдружились так, что, можно сказать, стали неразлучны. Елозию ли я на полу, — он уж тут как тут и об меня трется, выгибая свою спинку; сижу ли за миской с приготовленной для меня пищей, — он приспособится сесть со мною рядышком, ждет своей порции от моих щедрот; а сяду на седалище своем, — он лезет ко мне на колени и тянется мордочкой к моему лицу, норовя, чтобы я его погладил. И я глажу его по шелковистой шерстке своей ручонкой, а он себе уляжется на моих коленках, зажмурит глазки и тихо поет-мурлычет свою песенку.

Долго длилась между нами такая дружба, пока едва не омрачилась таким событием, о котором даже и теперь жутко вспомнить.

Место мое, где я обыкновенно сиживал, помещалось у стола, где, бывало, шитьем занималась маменька, а около моего седалища, на стенке, была прибита подушечка, куда маменька вкалывала свои иголки и булавки. На меня был наложен, конечно, запрет касаться их под каким бы то ни было предлогом, а тем паче вынимать их из подушки, и я запрету этому подчинялся беспрекословно.

Но вот как-то раз залез я на обычное свое местечко, а вслед за мной вспрыгнул ко мне на колени и котенок. Мать в это время куда-то отлучилась по хозяйству.

[1] Ползал — по орловскому говору.

Вспрыгнул ко мне мой приятель и ну — ко мне ластиться, тыкаясь к моему лицу своим розовым носиком. Я глажу его по спинке, смотрю на него и вдруг глазами своими впервые близко, близко встречаюсь с его глазами. Ах, какие это были милые глазки! чистенькие, яркие, доверчивые... Меня они поразили: до этого случая я и не подозревал, что у моего котенка есть такое блестящее украшение на мордочке...

И вот смотрим мы с ним друг другу в глаза, и оба радуемся, что так нам хорошо вместе. И пришла мне вдруг в голову мысль попробовать пальчиком, из чего сделаны под лобиком у котика эти блестящие бисеринки, которые так весело на меня поглядывают. Поднес я к ним свой пальчик — котенок зажмурился, и спрятались глазки; отнял пальчик — они опять выглянули. Очень меня это забавило. Я опять в них — тык пальчиком, а глазки — нырь под бровки. ...Ах, как это было весело! А что у меня у самого были такие же глазки и что они так же жмурились, если бы кто к ним подносил пальчик, того мне и в голову не приходило... Долго ли коротко ли я так забавлялся с котенком, уж не помню, но только вдруг мне в голову пришло разнообразить свою забаву. Не успела мысль мелькнуть в голове, а уж ручонки принялись тут же приводить в исполнение. Что будет, — подумалось мне, — если из материнской подушки я достану иголку и воткну ее в одну из котиковых бисеринок? Вздумано — сделано. Потянулся я к подушке и вынул иголку...

В эту минуту в горницу вошла маменька и, не глядя на меня, стала заниматься какой-то приборкой. Я невольно воздержался от придуманной забавы. Держу в одной руке иголку, а другой ласкаю котенка...

— Маменька! — говорю, — какой у нас котеночек-то хорошенький.

— Какому же и быть! — отвечает маменька, — плохого и брать было бы не для чего.

— А что это у него, — спрашиваю, — под лобиком, иль глазки?

— Глазки и есть; и у тебя такие же.

— А что, — говорю, — будет, маменька, если я котеночку воткну в глазик иголку?

Мать и приборку бросила, как обернется ко мне, да как крикнет:

— Боже тебя сохрани!

И вырвала из рук иголку.

Лицо у маменьки было такое испуганное, что я его выражение до сих пор помню. Но еще более врезалось в мою память ее восклицание:

— Боже тебя сохрани!

Не наказала меня тогда мать, не отшлепала, а только вырвала с гневом из рук иголку и погрозила:

— Если ты еще раз вытащишь иголку из подушки, то я ею тебе поколю руку.

С той поры я и глядеть даже боялся на запретную подушку. Прошло много лет. Я уже был иеромонахом. Стояла зима; хороший, ясный выдался денек. Отдохнув после обеденной трапезы, я рассудил поставить себе самоварчик и поблагодушествовать за ароматическим чайком. В келье у меня была вода, да несвежая. Вылил я из кувшина эту воду, взял кувшин и побрел с ним по воду к бочке, которая в Скиту у нас стоит обычно у черного крыльца трапезной. Иду себе мирно и не без удовольствия предвкушаю радости у кипящего самоварчика за ароматной китайской травкой. В скитском саду ни души. Тихо, пустынно... Подхожу к бочке, а уж на нее, вижу, взобрался один из наших старых монахов и тоже на самоварчик достает себе черпаком воду. Бочка стояла так, что из-за бугра снега к ней можно было подойти только с одной стороны, по одной стежечке[1]. По этой-то стежечке я тихохонько и подошел сзади к черпавшему в бочке воду монаху. Занятый своим делом да еще несколько и

[1] Стёжка, стёжечка — узкая тропинка, по орловскому говору.

глуховатый, он и не заметил моего прихода. Я жду, когда он кончит, и думаю: «Зачем нужна для черпака такая безобразно длинная рукоятка, да еще с таким острым расщепленным концом? чего доброго, еще угодит и в глаз кому-нибудь!..» Только это я подумал, а мой монах резким движением руки вдруг как взмахнет этим черпаком, да как двинет концом его рукоятки в мою сторону! Я едва успел отшатнуться. Еще бы на волосок и быть бы мне с проткнутым глазом... А невольный виновник грозившей мне опасности слезает с бочки, оборачивается, видит меня и, ничего не подозревая, подходит ко мне с кувшином под благословение...

— Благословите, батюшка!

Благословить-то его я благословил, а в сердце досадую: экий, думаю, невежа! Однако поборол в себе это чувство, — не виноват же он, в самом деле, в том, что у него на спине глаз нет, — и на этом умиротворился. И стало у меня вдруг на сердце так легко и радостно, что и передать не могу. Иду я в келью с кувшином, наливши воды, и чуть не прыгаю от радости, что избег такой страшной опасности.

Пришел домой, согрел самоварчик, заварил «ароматический», присел за столик... И вдруг как бы ярким лучом осветился в моей памяти давно забытый случай поры раннего моего детства — котенок, иголка и восклицание моей матери:

— Боже тебя сохрани!

Тогда оно сохранило глаз котенку, а много лет спустя и самому сыну... И подумайте, — добавил к своей повести о. Нектарий, — что после этого случая рукоятку у черпака наполовину срезали, хотя я никому и не жаловался: видно, всему этому надо было быть, чтобы напомнить моему недостоинству, как все в жизни нашей от колыбели и до могилы находится у Бога на самом строгом отчете.

Прячу я жемчужину этого рассказа в свою сокровищницу, и вспоминаются мне слова библейского сказания о

явлении Бога пророку Илии: «И се дух велик и крепок разоряя горы и сокрушая камение в горе пред Господем, но не в духе Господь. И по дусе трус, и не в трусе Господь. И по трусе огнь, и не во огни Господь. И по огни глас хлада тонка, и тамо Господь».

Разве не «глас хлада тонка», не тихий, благоуханный ветерок вечной весны эта повесть нашего младенчествующего духовного друга?.. О глубина богатства премудрости Твоей, Господи!

4 сентября

«Нивы белеют...» Беседа с французом о «тайне беззакония». — Префекты Конго — жрецы сатаны.

Работая над разоблачением «тайны беззакония», деющейся в міре, все более и более убеждаюсь, что мір подготовляется к ее воплощению в лице «человека греха», антихриста.

Дня и часа его явления міру мы не знаем, как не можем знать дня и часа второго страшного пришествия Господня, но... «нивы белеют — близится жатва» — это для меня, по крайней мере, очевидно.

Сегодня за утренним чаем у меня по этому поводу была продолжительная беседа с одним французом, уже восьмой месяц пребывающим в Оптинской ограде[1].

Кого-кого только не видят в ограде своей ее белокаменные стены!

И вот за утренним чаем, в самой прозаически-мирной обстановке, повелась у нас с французом беседа о великом и страшном дне оном.

Какая смесь величия и грозности содержания беседы с самой заурядной обыденщиной!.. Такова вся жизнь человека на земле, где все переплетается, как узор на канве, в тонах и оттенках всевозможных цветов света и теней: великое и малое, высокое и низкое, трагическое и

[1] Француз этот перешел в Православие около года тому назад.

смешное, красота и безобразие, добро и зло — ткань противоречий и противопоставлений... Такова жизнь человеческая! Попробуй-ка без Христа и Его Церкви выбраться своими усилиями из этого лабиринта в расчете на мудрость века сего — и попадешь в положение современного человека, для которого истина везде, а, стало быть, нигде...

— Обратите внимание, — сказал я, между прочим, своему собеседнику, — на то, что в настоящее время вся мировая пресса или непосредственно захвачена евреями в свои руки, или же находится под влиянием кагала, прямым или косвенным. Я близок был одно время к ультраконсервативной газете, служившей со дней своего основания беспримесно-чистому монархическому принципу. И что же? Во главе ее иностранного отдела стоял еврей, который и составлял обычные руководящие статьи по иностранной политике. А газета та была влиятельная, и к ее голосу прислушивались и с ним считались даже враги ее направления. И что же на поверку вышло? Мойши левого толка грозились кулаками на Мойш правого и наоборот, а Мойши биржевые и международной политики, глядя на эти притворные бои своих единоплеменников, учитывали свои барыши на обоих рынках — биржевом и политическом, поражая наверняка и правый и левый лагеря христиан, воюющих между собою по указке все того же кагала.

Мой собеседник даже привскочил со своего места.

— Vola ce qui est absolument vrai! — воскликнул он. — Вот это истинная правда! Подумайте: наш «Gaulois» — главный орган католиков и монархистов-легитимистов управляется выкрестом из жидов Артуром Мейером, который и христианство-то принял за два года перед тем, как сделаться главным редактором этой газеты!

Много мы говорили с ним на эту тему.

— Но если это так, если так верно все, что вы говорите, — спросил он меня под конец беседы, — то почему же об этом молчат пастыри Церкви?

— Они и не молчат, по крайней мере, не молчали: преподобный Серафим Саровский, Илиодор Глинский, Амвросий Оптинский; в наши дни — о. Иоанн Кронштадтский — все эти великие светильники Церкви, все они в одни голос предупреждали верующих о близости конца міра, и Богу было угодно, чтобы слово их было слышно всему православному міру. Возьмите аудиторию о. Иоанна Кронштадтского, она была ни много ни мало вся Россия...

— Нет, — перебил меня собеседник, — не только Россия, но весь верующий христианский мір. Я, например, живя еще у себя в Лионе, изучал творения о. Иоанна.

— Ну, вот, видите, — продолжал я, — весь, говорите вы, христианский верующий мір. Стало быть, Церковь-то говорила и не ближайшим только, а на весь мір говорила, да слушать-то ее не все захотели, а кто и послушал, успел за делами и куплями житейскими позабыть. Кому охота жить под постоянной угрозой близости того, чего и сильнейшие духом Божьи угодники трепетали?

— Но епископы молчат.

— Не молчат и епископы, некоторые из них высказываются в том же духе. Еще недавно... Впрочем, разве вам неизвестно, что чем ближе событие, предвозвещенное пророками, к своему явлению, тем меньше число находится ему верующих? Вспомните ветхозаветный Израиль, живший весь от первосвященника до вдовы последнего поденщика мессианскими упованиями: многие ли из его среды донесли в сохранности свои чаяния до явления Самого Мессии? Пречистая Дева, св. Обручник да старцы: Симеон Богоприимец и Анна пророчица — всего только четверо. Не то же ли будет и пред Вторым Пришествием? *И Сын Человеческий пришед, обрящет ли Си веру на земли?*

В притче о девах мудрых и юродивых, ожидавших пришествия Жениха, сказано и о тех и о других: *воздремашася вся и спаху.* Все заснули. Теперь-то еще кое-кто бодрствует, но, *коснящу Жениху,* заснут и эти. Вспомните

Гефсиманию, когда любимейшие и довереннейшие ученики Христовы, несмотря на увещания своего Божественного Учителя, не возмогли преодолеть своего сна, пока Сын Человеческий не был предан в руки человеков грешных. Так будет и теперь. Под антихристом еще кое-кто встрепенется и откроет отяжелевшие от духовного сна вежды, но пред его появлением все меньше и меньше будет верующих в его пришествие как человека греха и сына погибели.

— Но не то же ли, что и вы, проповедуют и ваши сектанты: адвентисты, иоанниты и бесчисленное множество заведомых лжехристов и лжепророков, которых так много развелось в последние годы? — задал мне вопрос пытливый мой собеседник.

— Что же из того? — возразил ему я. — Так было пред первым пришествием Спасителя и во дни Его. Разве не кричали бесы, изгоняемые Господом: *Оставъ, что Тебе до нас Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий!* Разве не ожидали Сына от Девы языческие волхвы и прорицатели? Разве не волхвы узрели звезду Его на востоке и первыми пришли и поклонились Ему? В сектантстве, как и в бесовских прорицаниях, что опасно и страшно? Извращение истины, подлог под нее, а не истина. Церковная, святоотеческая истина в данном вопросе заключена в том, что Господь вторично явится судить живых и мертвых как Судия и Мздовоздаятель, но отнюдь не как царь земной. А подлог под эту истину состоит в том, что Господь явится царем земным, перекует мечи на орала и копия на серпы и даст мир всему міру, обратив его в единое стадо; Он и будет единым пастырем. Проповедь-то как будто одна — о втором пришествии, но какая разница! Церковная — о небе, сектантская — о земле; первая — о Христе, вторая — об антихристе. Предчувствие близости конца міра и Страшного Суда Господня в последнее время стало, можно сказать, обще всему верующему христи-

анскому міру: вот диавол и старается предчувствие это обратить в свою пользу, отвратить от истины этого предчувствия, аще возможно, прельстив и избранных. Церковное слово предупреждения о приблизившейся грозе конечного Божьего гнева было произнесено устами светильников Церкви и до времени явления особых посланников в лице Илии и Еноха умолкло. Пользуясь этим временным затишьем на церковной кафедре и воздвигая на проповедь второго пришествия сектантов и лжепророков, диавол устами их проповедует «хилиазм»[1] и тем подготовляет почву в сердцах им внимающих для принятия антихриста за Христа. С другой же стороны, делая проповедь конца міра достоянием заведомо сектантских лжеучителей, он подрывает веру верующих и к самой идее, положенной в основание этой проповеди. Поясню вам это примером: в Северной Америке уже «работал» не без чудесных чудес и знамений какой-то проходимец, выдававший себя за Илию-пророка. Несколько лет тому назад он умер и оставил после себя колоссальное состояние в несколько десятков миллионов долларов.

«Илии уже были, знаем мы этих Илий!» — скажут, когда явится Илия, все те, кому суждено дожить до дней его и кто не захочет принять его как пророка Бога истинного. «Проповедь о конце міра! — скажут тоже да уже *и* говорят. — Знаем мы эту проповедь и ее проповедников! Это сектантство, и кто ему может верить, кроме сектантов и темных людей, невежд в законе и слове Божием?»

Видите соблазн, угрожающий и верным? Но веруем и исповедуем, что не поклонятся антихристу все те, имена которых написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания міра[2].

Задумался мой француз.

---

[1] Хилиазм — ложное учение о тысячелетнем земном царствовании Господа Иисуса Христа.

[2] Апок. 13, 8.

— Да, — молвил он после некоторого раздумья, — мне кажется, что вы правы: мiру недолго стоять в том виде, до которого его довело современное отступничество. У нас во Франции и вообще за границей дело кончено: там труп. Но у вас в России разве то? Я видел сам храмы в столицах — они переполнены молящимися; я видел на улицах людей, не стыдящихся публично налагать на себя крестное знамение, открыто исповедовать веру свою. Это так отрадно и успокоительно...

— А в Иерусалиме во дни Господа не то же ли было и в храме, и в синагогах? Однако, — возразил я, — невзирая на всю его внешнюю праведность, Господь изрек на него великое и страшное Свое слово: *Се, оставляется вам дом ваш пуст!*

— Да, правда ваша! — согласился мой собеседник. — Вам степень зрелости плода отступления в вашем народе более известна, чем мне, и если уже в нем от веры отцов не сохранилось иной праведности, кроме внешней повапленности, то мiру не стоять. La monde ne peut rester encet etat — мiр не может оставаться в современном его положении. У нас во Франции диаволу уже почти открыто служат так называемые «черные мессы». В родном моем Лионе живет и действует некто доктор Брико, именующий себя Иоанном II, верховным патриархом гностической церкви, т. е. диавола. В нашем французском Конго, в Африке, диаволизм среди высших чиновников правительственной администрации достиг таких неслыханных пределов зверства, что даже наше правительство должно было уступить перед негодованием общества и отдать под суд двух префектов[1]. Эти исчадия адовы ради развлечения совали в рот ничего не подозревавшим неграм динамитные патроны и взрывали их, разрывая тела своих жертв на мельчайшие части. Фамилию одного из этих извергов я помню — его звали Nouguier, а другого запамятовал. Их судили, и на суде,

[1] Вроде наших губернаторов.

между прочим, был прочитан автограф одного из злодеев: это была пригласительная записка «на праздник жертвоприношения нашему богу — сатане» — подлинное выражение этой записки.

— Что же сделали с этими жрецами диавола? — спросил я.

— Их, — ответил мне француз, — осудили не слишком строго и не слишком снисходительно — ровно настолько, насколько это было нужно, чтобы успокоить общество, а затем, когда история эта забылась, — а у французов память короткая, — их опять куда-нибудь приткнули к той же администрации, только в другом месте.

— Как же так? — удивился я.

— Что же это вас удивляет? — с горечью ответил мне француз. — Вы же знаете, что такое масонство и на что оно способно: а у нас правительство и сливки республиканского общества — все масонизировано и иудаизировано. Довольно вам сказать одно: их бог — диавол, и они этого почти не скрывают даже сегодня, при кажущемся внешнем господстве христианской веры. Судите, что ждет мір завтра, когда не останется и этой внешности!..

5 сентября

Ночной посетитель. — Что было и что стало. — На людях и смерть красна.

Сегодняшнею ночью кто-то из обновленного «новыми свободами» человечества удостоил наш тихий уединенный приют своим посещением. Нетрудно догадаться, что и цели этого визита были тоже «освободительные», чтобы освободить нас от части нашего имущества, а при случае, быть может, и самую душу от грешного тела. С вечера наша дворная собачонка Мушка все время была очень беспокойна и поминутно лаяла, перебегая с места на место. Пока в нашей моленной жена оправля-

ла лампадки, я был в столовой и в открытое окно (у нас еще не вставляли рам) слышал свист, подманивающий собаку. В первом часу ночи слышен был какой-то шорох у парадной двери. Собака продолжала лаять в противоположной стороне. К счастью, я не придал особого значения этим ночным звукам и ночь проспал безмятежно. Ночевавший у нас француз не мог зато уснуть ни на минуту. Окно его комнаты выходит на террасу у парадной двери, где я слышал шорох, и, открыв внезапно на шорох этот занавеску у окна, он увидел на террасе человека. «Освободитель» тотчас же скрылся, но собака еще долго не могла успокоиться и все лаяла тревожным возбужденным лаем.

От этих ночных страхов на семейном совете решено было удвоить собачью стражу... Но «аще не Господь хранит град, всуе бдит стрегий». Вот вера-то моя, больше на словах, чем на деле. Умножь, Господи, веру!

И подумаешь, давно ль то было, когда при «старом», как теперь принято выражаться, «режиме», мы у себя в имении, вдвоем с покойной матерью, жили в отдаленном от людских доме совершенно одни, оставляя открытыми на ночь все окна и не запирая на ключ ни одной двери? В деревне, да страхи?! Какие могли быть страхи в старой, богобоязненной, честной деревне?.. Об этом я вспомнил сегодня вслух, после того как люди «нового режима» потревожили сон иностранца, изверившегося в правде своего народа и приехавшего ее отыскивать в «освобожденной» России. Теперь, видно, даже и близость такого святого места, как Оптина, не спасает, а о деревне и говорить уже, стало быть, нечего.

Ходил к старцам просить святых молитв в ограждение от ночных посетителей.

— Вот тоже, — сказал мне один из них, — на днях в один монастырь забрались (он и монастырь назвал), но только одиннадцатью рублями воспользовались.

На людях, стало быть, и смерть красна.

6 сентября

«Течение воздуха». — Корабль «князя силы воздушной». — Суть дела все та же. Меньшиковское — «свершилось». — Лаодикийская Церковь.

Давно что-то не заглядывал к нам наш друг и любимец о. Нектарий.

Легок на помине! Пришел как раз во время обеда и, по случаю воскресного дня, отведал нашего пирога.

— Трижды, — говорит, — порывался к вам заглянуть, да не мог.

— Какая причина?

— Такое уж, — отвечает, — течение воздуха было.

Подали почту. Развертываю «Новое Время» и читаю вслух.

«В солнечное утро, — пишет Меньшиков, — я подходил к Софийскому собору. Слышался издалека шум мотора. Вижу, какая-то женщина глядит на небо. Поднимаю голову. Боже, почти над головой моей в небесной вышине плывет чудовище в виде желтой акулы. Это был первый «воздушный корабль», какой я видел, наш «Лебедь», привезенный из Франции...»

Я прервал чтение.

— Не из Франции ли, — говорю, — батюшка, и у нас течение воздуха было?

— Почему думаете?

— Да потому что, думается, — там «его» гнездо.

— Чье?

— Князя силы воздушной: корабли даже, видите ли, нам свои посылает.

Француз наш услыхал мое замечание и спросил с живостью:

— Неужели вы это говорите серьезно?

— Конечно, серьезно.

— Но ведь это завоевание техники, гения человеческого!

— А Симон-волхв не летал?

— Летал.

— Чьей силой?

— Бесовской.

— Понимаете?

— Что ж тут общего? — воскликнул француз с ясно выраженным негодованием в голосе, — там — чародейство, а здесь — наука, ум человека.

— А источник этой силы все тот же, — возразил я спокойно, — разница только в способах ее проявления: проще было время — проще действовал и «князь міра»; осложнились мы — и он стал действовать сложнее. Возьмите прежних колдунов и ведьм и сравните их с теперешними спиритами и оккультистами обоих полов: какая разница! и тоже в якобы научном отношении, а суть-то дела все та же.

— Mais, vous savez, c'est par trop fort ce que vous dites, — вознегодовал француз, — это вы уже слишком перехватили через край. Неужели вы дошли до такой степени отрицания науки? ведь это же проповедь возвращения к первобытному состоянию.

— Именно.

— К состоянию дикаря Полинезии?

— Нет — к первозданному Адаму до грехопадения, вернее — к новому Адаму, искупленному кровию нашего Спаса, к «духу животворящему», для которого вся ваша наука есть зло и ничто.

Смотрю, мой батюшка сидит в своем уголку и посмеивается.

— А вы, — говорит, — извольте-ка прочитать, что дальше господин Суворин пишут.

— Не Суворин, а Меньшиков, батюшка!

— Это все одно. Почитайте-ка!

Я продолжал прерванное чтение.

«...Так для меня лично открылась новая эра в истории. ...Свершилось!.. Подавленный неизмеримостью вели-

кого события, я вошел в храм, где шла обедня. Чудное пение древних, когда-то священных для меня слов, прекрасный византийский купол над стройными коринфскими колоннами.

«Величит душа моя Господа»...

Это отошло, — подумал я, — или стремительно отходит, но храм не хуже воздушного корабля...»

Я опять остановился.

— Стоит ли оскорблять ваш слух, батюшка?

— Читайте!

«Всем казалось, что эволюция идет вперед, а в сущности она развертывалась, как заведенная до конца пружина. Дошло до смешного: на наших глазах воскресают гнусные восточные культы, от которых погиб греко-восточный мiр. Христианство не только отвергается публично, как во Франции, на него не только воздвигаются гонения, недавно дошедшие в барселонском бунте до Нероновых жестокостей, но столь же публично и торжественно восстанавливается, например, магизм, развратные мистерии и сатанизм. Служение доброму Богу сменяется верою и служением злым богам. Если формальное язычество не охватывает массы, то не вследствие ревности к христианству, а вследствие массового равнодушия к какой бы то ни было вере... Отходит христианство — вот событие куда покрупнее плавающих в небе акул...»

— Не христианство отходит, — остановил мое чтение батюшка, — а люди отошли от Христа и попали во власть диавола. Так продолжаться долго не может.

Если действительно, — подумалось мне, — человечество в своей массе дошло до полного равнодушия к какой бы то ни было вере, то ведь это значит, что мы вступили в последний, седьмой, период Христианской Церкви на земле — Лаодикийский, по Апокалипсису.

«И Ангелу Лаодикийской Церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало созда-

ния Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».

Да, несомненно, мы находимся в этой последней перед концом міра Церкви, перед извержением ее из уст Христовых.

Лаодикийский! — «народоправческий, если подстрочно перевести это слово с греческого. Разве не ясно выражено теперь во всем свете стремление к установлению «народоправчества» как последнего слова науки государственного права, взамен христианских монархий, якобы отживших свой век и не удовлетворяющих принципу гражданской свободы? Не сегодня завтра, в день ведомый Богу, отнимется «держай», и всемирная «Лаодикия» во всей ее безбожной необузданности возглавится «зверем» из бездны».

Господи помилуй!

О, если бы Русь моя родная могла всем сердцем обратиться к Богу, покаяться во вретище, как некогда Ниневия!..

9 сентября

Оптинские службы. — Бесноватые старого и нового фасона. — Влияние Оптиной.

Вчера, по случаю дня Рождества Пресвятыя Богородицы, поздняя обедня окончилась в половине двенадцатого, а всенощная накануне — около полуночи. Итого на торжестве праздника Богоматери мы провели в храме восемь с половиною часов, и без особой усталости.

Во время бдения пришлось повозиться с одной крестьянской женщиной, оказавшейся бесноватой. Перед величанием с ней начался припадок: она стала стонать и всхлипывать, а затем впала в бепамятство. К счастью, беснование в ней не сопровождалось бурными явлениями, а ограничилось тихими стонами да безудержными, обильными слезами.

Бедная страдалица! И сколько таких по градам и весям России, особенно по весям! Впрочем, теперь, с распространением грамотности и благодаря сближению «темной» деревни с «просвещенными» центрами, такой простой вид беснования уже стал переводиться, принимая новые, культурные, так сказать, формы. Беснования обоих полов остались и не только остались, даже умножились, но стали известны науке и людям под другим названием и с иным содержанием: неврастеники, истерички, декаденты... Эволюция та же, что и с колдунами и ведьмами: переменились клички, а суть осталась без изменения.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Софья Александровна Манаенкова, которую 18 лет бес мучил по старому фасону, не прикрывая себя и не утаивая под научной кличкой, все еще живет в Оптиной, утешаемая старцами и дивной ее церковной службой. В том городе, где ее постоянное местожительство, есть одна домовая церковь, где она прихожанка. Там священствует иерей лет уже пожилых, весьма неблаговолящий к Оптиной. Таково обычно, за редкими исключениями, отношение белого духовенства к монашествующей братии. На этой почве у Софьи Александровны с иереем происходили частые пререкания, доходившие подчас до явного немирствия друг на друга. Но любовь победила. Когда нынешним летом Софье Александровне пришло обычное время ехать в Оптину, а ехать было не на что, тот же иерей из своих скудных средств принес ей на поездку десять рублей; мало того — сам следом за нею приехал посмотреть, что эта за Оптина такая. Приехал на день, на два, а прожил без малого две недели.

Сегодня Софья Александровна получила от его жены письмо; пишет, что муж, лет пять тому назад поссорившийся с дочерью, тотчас по возвращении своем из Оптиной объявил неожиданно жене, что надо написать Лидочке. Лидочка — дочь.

«Затем подумал немного, — пишет матушка, — да и говорит: «Чем писать-то да откладывать в дальний ящик, давай-ка сами к ней поедем!» Поехали, примирились, и теперь там, где был гнев и ссора, царит мир, любовь и благословение. Лидочка с ребенком гостит у нас уже третью неделю, а дедушка, который обычно не терпит в доме никакого шума, целыми днями в свободное время возится и нянчится с внучкой».

Такова Оптина, таково ее влияние. Да и в немощах Софьи Александровны не сила ли Божия совершается?..

14 сентября

Всенощная под Воздвижение. — Да будет ми по глаголу святого. — Ангел говорит устами младенца.

Что творилось у нас вчера за всенощной под Воздвижение, того и описать невозможно — такая была уйма народу! В храме было до того тесно, что не было возможности перекреститься, а народ еще, кроме того, сплошной стеной окружал собор, не вмещаясь в стенах довольно обширного летнего храма.

Ровно в 11 часов о. архимандрит начал воздвизать крест, а бдение окончилось заполночь. Мы, с благословения о. архимандрита, всей семьей стояли на клиросе правого придела, и нам было исключительно хорошо, несмотря на то что народ стоял вплотную к самым Царским вратам придела. Величественное и трогательное было это зрелище! Вся эта огромная сила веры, подвигшая такое множество людей к подножию воздвизаемого Креста Господня, не обличение ли мне в моих эсхатологических ожиданиях и предчувствиях? Пусть, — думалось мне, — основанием их служит мое многолетнее изучение вопроса, но ведь ин суд Божий, и ин человеческий! Не ошибаюсь ли я? более того — не согрешаю ли, стремясь проникнуть пытливостью своею в такие тайны домостроительства Божия, которые не открыты были

даже и Ангелам? Вон сколько их еще, не подклонивших выи своей Ваалу! И это в одной Оптиной. А там? По церквам, монастырям и соборам всей великой России? Если здесь сотни и тысячи, то там — миллионы!.. Так думал я. Взглянул я на толпу, переполнявшую храм, и что же бросилось мне в глаза? Вся эта толпа состояла из одних только женщин. Были и мущины, но они, как одинокие камни в безбрежном просторе открытого моря, терялись в среде богомолиц, простых деревенских женщин, преимущественно среднего возраста и старше. Интеллигенции не было, не было и молодежи, кроме немногих девушек и женщин из Стениной. И опять подумалось: не такое ли же было множество народу при входе Христовом в Иерусалим, когда ваиями устилали путь Его и возглашали «Осанна Сыну Давидову?» Много ли дней прошло с того дня до предания Его и Креста, при котором были, за исключением любимейшего ученика, одни только женщины, как и теперь, в конце второй тысячи лет, при воздвижении того же символа нашего спасения?.. И чего, чего только не передумалось мне за этой навсегда памятной для меня всенощной! И решил я в сердце своем: да будет воля Божия, но то, что я считаю своим знанием, тем обязан делиться со всяким, кто пожелает от этого знания попользоваться.

Святой Кирилл Иерусалимский заповедь дал: «Знаешь признаки антихристовы, не сам один помни их, но и всем сообщай щедро».

Да будет ми по глаголу Святого.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Кстати об антихристе. Живет с нами девочка-сиротка, Любочка. Ей шестой год идет только. До детского ее слуха нет-нет да и долетит то или другое слово об антихристе. Сидит она как-то раз вдвоем с моей женой и что-то щебечет своим детским язычком. И вдруг:

— Тетя! скажи мне, что такое антихрист?

О Христе она уже многое знает.

Приноравливаясь к ее пониманию, жена ей дала довольно подробное объяснение вопроса; не забыла упомянуть и об антихристовой печати, без которой, не наложив ее на себя, нельзя будет ничего ни купить, ни продать.

— И хлебца нельзя будет себе купить без нее? — спросила Любочка.

— Ничего нельзя, — ответила жена.

— Но ведь мы, тетя, не дадим на себя накладывать эту поганую печать?

— С помощью Божией, конечно, не дадим, деточка.

— Тогда значит, умирать придется с голоду, — решила девочка.

Потом задумалась и вдруг радостно воскликнула:

— А Бог-то, тетя! Он ведь все может: Он и без хлеба сделает так, что мы сыты будем.

Рассказали мы об этом о. С., одному из отцов Оптинских.

— Это Ангел Божий внушил такое сильное слово Любочке: устами младенца изреклась сама истина; дал бы только Бог всю полноту веры, нужную для осуществления этой истины в то страшное время.

И тут опять влияние Оптиной. Счастливая Любочка!

17 сентября

День Ангела Любочки. — Нечто из Оптинских тайн. — «Дочка» Царицы Небесной. — Спиритизм и «теплохладность».

Сегодня день Ангела нашей Любочки, а у нас, как на грех, с утра всякие недоразумения в домашнем хозяйстве. К приходу наших сирот от обедни все они рассеялись, и вновь чисто и безоблачно стало домашнее наше небо.

О тех, кого я называю «нашими сиротами», о Любе и ее воспитательнице, Ляле, мне не миновать записать в свои заметки, только не сегодня: сегодня не о них поведется моя речь.

Недоразумения рассеялись, но «враженки» маленькие и побольше все же не унимаются и вьются, как летние комары, вокруг нашего тихого и мирного жития. Одного из них вчера обнаружил отец Ф., и мы общими с ним усилиями вывели все его козни на свежую воду. Произошло это при обстоятельствах, заслуживающих памяти, как характеристика той жизни духа, в которой мы, по великой милости Божией, живем и которою назидаемся.

Дело было так: ходил я к болеющему отцу Эрасту отнести ему одну брошюру, сердечно меня умилившую (мы с этим Старцем частенько видимся и обмениваемся мыслями и впечатлениями по поводу всего, что до слуха нашего доходит из міра внешнего). Посидел я у него с часок и пошел домой. Иду от него и у архимандритской встретился с отцом Ф. Принял его благословение и спрашиваю:

— Ну, как в Москву съездили?

А он только что вернулся из Москвы, куда ездил по одному важному для одной души христианской делу.

— Съездить-то съездил, — ответил на мой вопрос отец Ф., — только результатов от своей поездки никаких или почти никаких не добился. Но и за то, чего добился, и за то благодарение Богу. Но что с Москвой стало за эти десять лет, что я из нее выбыл: ее узнать нельзя! Люди стали как звери: говорить с ними ни о чем нельзя — все их раздражает; на собеседника, особенно в рясе, смотрят как на врага; любви совсем не осталось — там прямо ужас, что стало твориться!

Тут по дорожке, на которой мы беседовали, повезли дрова. Мы сошли с нее и приблизились к келье отца Ф.

— Зайдите ко мне, — сказал он, — ведь вы у меня еще в этой келье не бывали.

Не успел я перешагнуть ее порога, как был поражен, точно небесным видением, образом Нерукотворенного Спаса, прямо против входной двери сверкнувшим на меня своею лампадой.

— Откуда у вас такая красота?

— Работа отца Даниила[1].

Надо было видеть этот Божественный Лик, эти Божественные очи, проницающие в душу, чтобы понять сердцем, что не одна кисть отца Даниила воспроизвела эту святыню, а что кисти этой сила и вдохновение даны были свыше: человек от себя, одним своим искусством, не мог бы создать такой красоты небесной.

— У меня на исповеди и совете была одна монахиня, — сказал мне отец Ф., — монахиня эта сердцем ожесточилась до того, что решила снять с себя мантию и вернуться в мір. Как ни уговаривал я ее, как ни убеждал, она стояла на своем и меня слушать не хотела. Я упросил ее остаться одной в келье и помолиться перед этим образом. Когда я вернулся к ней, то застал ее в слезах, и от ее страшной решимости не осталось и следа.

Я опять взглянул на этот Пречистый Лик и едва мог оторвать взгляд от этого благодатию вдохновленного изображения; и самому окаменелому сердцу, правда, немудрено было перед ним раствориться... Отец Даниил, оказывается, написал его одному Оптинскому монаху за три рубля, — за цену красок и холст, — а тот за ту же цену переуступил отцу Ф.

Поистине, только в Оптиной и могут совершаться такие сделки.[2]

Слово за слово — разговорились мы с отцом Ф... Вдруг он прервал ход беседы...

— А знаете, С. А., — сказал он мне, — у меня ведь на сердце есть тень, налегшая на наши с вами отношения.

— Да что вы, батюшка? — испуганно спросил я.

— Да, да! — подтвердил он, — тень легла. И как же это меня во время моей поездки тяготило, я вам и ска-

---

[1] Отец Даниил Болотов. О нем в моей книге «Великое в малом», в очерке «Искатель града невидимого».

[2] О. Даниил окончил Петроградскую Академию художеств, если не ошибаюсь, в одном году с В. М. Васнецовым, и был в свое время в Петрограде весьма известным портретистом.

зать не умею, даже жутко было. Ну как, думалось мне, со мною в дороге да что-нибудь случится: поезд ли, в котором еду, потерпит крушение или еще что приключится, — как предстану я там, на Суде Господнем, не освободив души своей от этого чувства?

— Что же это такое? — спрашиваю я, не чувствуя за собой никакой вины перед батюшкой.

— А помните искушение с вашей рукописью «Святыня под спудом», когда мне пришлось с вами о ней договариваться по поручению отца архимандрита. Едва я тогда повел с вами этот дипломатический разговор, вы мне и слова не дали вымолвить, вскочили, махнули рукой и ушли в церковь, откуда я вас вызвал для разговора. Помните ли вы это? Меня это тогда больно кольнуло в сердце: я же ведь не при чем был в этом искушении, я был только лишь передаточной инстанцией и не заслужил к себе такого отношения. И вот тогда в сердце мое залегла тень некоторой на вас обиды, и лежала она на нем, и тяготила его, и страшило меня это чувство страхом ответа на Суде Христовом.

До того умилительна была тонкость ощущения греха, в котором и повинен-то был не отец Ф., а я, что я встал со стула и поклонился отцу Ф. в ноги...

— Простите, — кланяюсь я ему, — дорогой мой батюшка! Но Бог видит, что у меня и в мыслях не было нанести вам обиду.

Смотрю, и пожилой духовник Оптинский, одно из наиболее почетных лиц в обители, стал тоже передо мною на колени и кланяется мне чуть не со слезами в землю.

— И меня, — говорит, — Бога ради простите!

И так до двух раз просили мы друг у друга прощения, и, во второй раз поклонившись друг другу, благословил он меня и мы, по обычаю монашескому, в оба плеча расцеловались. И совершилось это таинство любви Христовой пред тем же Божественным ликом Нерукотворенного Спаса, который и строптивую монахиню привел к по-

слушанию и цена которому была на деньги только три рубля за холст да за краски.

Пришла от обедни наша маленькая именинница, вся сияющая, радостная, в новеньком беленьком платьице. На белом платьице голубые бусы, на белокурой головке голубые ленточки; поясок тоже голубой...

— Совсем точно дочка Царицы Небесной! — воскликнул «наш» француз.

А у верующих французов часто детей посвящали от рождения Матери Божией. Было это тогда, когда Франция была еще христианской. Таких детей до их конфирмации одевали во все голубое и белое — цвета Царицы неба и земли: голубое — небо; белое — невинность. Кому-то теперь детей своих посвящает Франция?

Но наша Любочка, к счастью, родилась в России, чей свят-корень еще не успел ко дню ее рождения отпасть целиком от веры отцов своих... И живет-то Любочка в Оптиной, и день рождения-то ее 26 марта, день собора святого Архистратига Гавриила, следующий за Благовещением день... Счастливая Любочка!

Откуда же у нас это дитя Божие, эта названная дочка Небесной Царицы, Матери Божией? Откуда Господь послал нам эту девочку?

Не хотел было говорить об этом сегодня, а, видно, придется, хотя бы и кратко. Было дело это в августе 1907 года. За два месяца до нашего поселения в Оптиной мы приехали пожить около ее старцев недельки две да и поговеть кстати, благо и время к тому было подходящее — Успенский пост. Стоим мы как-то за поздней обедней и видим: няня причащает на руках маленькую девочку. Платьице на девочке беленькое, поясок голубенький, голубенькая ленточка в белокурых, как чистый лен, светлых волосиках. Поднесла няня девочку к Святой Чаше, а девочка, как взрослая исповедница Христова, перекрестилась истовым крестным знамением, сложила ручонки крестом на груди, причастилась, опять также

большим крестом перекрестилась и благоговейно приложилась к краю потира. Дивное дело! — ребенка от земли не видать, а причащается так, как в наше время и из взрослых-то редкий кто умеет причащаться.

До слез это нас с женой умилило. Что же за сокровище, подумалось нам, мать этой девочки! Не утерпели мы, подошли к няне, поздравили и поцеловали ребенка.

— Чья это, — спросили мы у няни, — девочка?

— Это круглая сиротка, — ответила няня, — воспитывается она у оптинской жилички, Надежды Николаевны; а зовут ее Любочкой.

Это была наша первая встреча с Любочкой.

Потом поселились мы с 1 октября того же года на житье в Оптиной, узнали Надежду Николаевну, Любочкину воспитательницу, узнали и Лялю (Елену), которая жила с ними, — многое узнали из их жизни, за что их всех трех сирот полюбили; а померла после того через пять месяцев Надежда Николаевна, кормилица и поилица Любина и Лялина, они и перешли к нам, с благословения старцев, как близкие, родные, как дети общей с нами матери, Оптиной.

Просто это совершилось, проще чего и быть не может: друг другу в одолжение во имя любви Христовой и послушания старческого. Так и прибавилась наша семейка на полтора человека, на две души христианские — на Лялю и на Любу.

Но какое море слез пролито было Лялей о Надежде Николаевне! Да и было с чего: святая была покойница эта удивительная женщина! Не помянет ли она и нас в дерзновении своем пред Престолом Всевышнего, с Лялей и Любой своими вместе?!

Такова наша христианская вера. В міру на место Христовой веры стремятся ввести иную и, кажется, не без успеха. Для мира это как бы новое откровение, а для верующих христиан давно знакомые хитрости «бога»· «новой веры», древнего диавола.

В отделе «Маленькая хроника» сегодня полученного номера «Нового Времени» (№ 12037-й) читаю:

«У нас уже сообщалось, что известный английский публицист В. Стэд открыл в Норфолк-Стрите спиритический кабинет, где некая Юлия А. соединяла мертвых и живых за скромную плату в несколько шиллингов. Теперь Стэд в 'Matin' рассказывает чудесный случай из практики спиритического кабинета, причем мы, русские, сыграли видную роль в замечательнейшем явлении загробного міра.

Стэд встретил в Лондоне княгиню Вяземскую, которая его пригласила во Францию полюбоваться на полет ее сына на аэроплане. Полет предполагался близ Шалона.

В этот же день в спиритическом кабинете произошло следующее чудесное явление.

Некий голос возглашает:

— Если вы поедете в Шалон, я поеду с вами!

Стэд: «Кто говорит?»

Голос: «Я недавно умер; моя фамилия Лефебр».

Фамилия эта никаких воспоминаний в Стэде не вызвала. Как истый публицист, газет он не читает и о смерти авиатора Лефебра не знал.

Стэд: «Вы знаете аэроплан Болотова?»

Голос: «Знаю. Скажите молодому человеку, чтобы он был осторожнее. Пусть он внимательнее осмотрит свой мотор. Вы сами не садитесь в биплан».

Стэд: «Вы знакомы с Болотовым?»

Голос: «Нет, но я его встречал».

На другой день Стэд узнал, кто такой Лефебр, и решил задать еще несколько вопросов.

Стэд: «Что вызвало ваше падение?»

Голос: «Я не знаю: во время падения не думаешь».

Стэд: «Сохранили ли вы хладнокровие»?

Голос: «Я чувствовал, что падаю; но прежде чем коснуться земли, я потерял сознание. Мне показалось, что

душа моя вылетела из тела. Я витал в выси и видел свое тело распростертым внизу. Неприятного чувства я не испытывал. Какое-то высшее существо было около меня, и завтра это высшее существо попробует через ваше посредство писать на сеансе».

Стэд[1] телеграфировал Болотову предостережения Лефебра и выехал в Шалон. Хотя мотор, неоднократно испытанный, работал, по-видимому, исправно, но в момент полета с ним что-то случилось, и Болотову так и не удалось подняться...

Таков «чудесный случай», сообщенный «Новым Временем» своим многочисленным читателям. Такова пропаганда «чудес и знамений ложных» наиболее распространенной русской газеты. Так на виду у теплохладных христиан подрываются корни веры Божией *за то, что они не приняли любви истины для своего спасения... да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду* (2 Сол. 2, 10 и 12).

18 сентября

Еще о спиритизме. — Старинная русская верность.

День кончины старца-скитоначальника о. Илариона. Сегодня ему правят память. Ходили с женой к обедне, отстояли и панихиду. О. Иларион был келейником великого старца Макария, а я в день его кончины[2] не был в церкви: сегодняшним поминовением его келейника я как бы испросил у Старца прощение за леность свою и нерадение.

Вчера записал «чудесный случай» со Стэдом, вернее — со стыдом за тех, кто верует этой мерзости из так называемых «глубин сатанинских». Как мухи на мед, льнут «невежды в законе» христианском на спиритизм и развет-

---

[1] В 1912 году погиб на Атлантическом океане величайший в мире пассажирский пароход «Титаник», и на нем погиб и Стэд. Не помогли, видно, спиритические бесы!

[2] 7 сентября.

вления его — спиритуализм, оккультизм, иогизм, теософию и прочие выдумки всё того же врага рода человеческого, который ими запутывает человечество в свои тенета со дня падения первозданного Адама.

Вот что пишет о спиритизме один из глубочайших современных исследователей и знатоков «тайны беззакония», ныне деющейся в міре, мон-синьор Делассю (Delassus), доктор богословия и каноник кафедрального собора в Камбрэ, редактор-издатель местного епархиального журнала «La semaine Religieuse de Cambrai». Нигде нет такой обширной литературы по обличению козней диавола, как во Франции, ибо нигде и не превзойдена та мера отступления, какой достигла эта несчастная страна, руководимая жидами и масонами.

«У сатаны в наши дни, — так пишет Делассю, — есть своя оккультная церковь, своя паства, свои обряды, своя литургия — все это в виде пародий на Святую Церковь, на Христову паству, на христианскую Литургию Богочеловека Иисуса Христа. Это факт, существование которого оспорить нельзя, и над сынами противления власть сатаны громадна. Спириты составляют их большинство, примыкающее в главных своих догматах к гностицизму. Спиритизм известен не со вчерашнего дня: деятельность его можно проследить во все времена и во всех странах. С особенною же силою он действовал в язычестве. Цицерон сообщает[1], что друг его Аппий вопрошал мертвых, и у Аппия это было обычным занятием. Также и по соседству с Арпинумом, на Авернском озере, — читаем мы у Цицерона, — появились из глубины мрака вызванные тени умерших, еще с необсохшею на них кровью. Оракулы мертвых находились повсеместно: их вопрошали в Феспротии на берегах Ахерона, в Аркадии, в Фигалее, на Тонарском мысе, в Гераклее на Понте, в Кумах. И не одно только простонародье веровало в этих оракулов,

---

[1] «Tusculanes» I, 16.

но и цвет интеллигенции того времени: Периандр, один из семи мудрецов, велел сперва зарезать свою жену, а потом посылал за советом к ее вызванной тени[1]. Павзаний сам вызвал душу убитой им молодой девушки[2]. В свою очередь, старейшины Спарты заставляли фессалийских некромантов вызывать душу Павзания[3]. Тиверий казнил Ливия Друза за оскорбление величества при вызывании им душ умерших. Апион-грамматик вызывал тень Гомера, чтобы узнать от него об его отечестве и об его родных[4].

Подобные же вызывания совершались в средние века колдунами и магами.

Нет нужды доказывать верующим христианам, что ни люди, ни демоны не могут распоряжаться душами умерших по своему произволу и что на вызовы и на вопросы могут являться и отвечать только сами злые духи.

В наши дни занятие спиритизмом стало принимать такие размеры и значение, что нет возможности не предаться по этому поводу самым тревожным предположениям.

Спиритизм, по определению спиритов, есть система сверхъестественных сношений людей с чистыми духами. По утверждению последователей, спиритизм обладает известными ему средствами, чтобы, пользуясь ими, переступать границу, отделяющую царство людей от царства чистых духов, и вся система спиритизма основана только на том или другом сочетании этих средств в более или менее удачных комбинациях.

Несомненно, случаи обмана или заблуждения при спиритических сеансах бывают многочисленны, но не менее многочисленны и факты, характерные по своей сверхъестественной природе, и факты эти так были

[1] Геродот I, 92.
[2] Плутарх. Жизнь Кимона.
[3] Плутарх. Об отсрочке Божественного правосудия.
[4] Плиний Старший, XXX, 6.

подробно обследованы, что по отношению к ним никакое сомнение невозможно».

С какого времени в наши дни возобновилось пагубное увлечение спиритизмом?

«Князь тьмы, — пишет Делассю, — в 1874 году в Северной Америке возобновил в спиритизме ряд манифестаций, предназначенных распространяться по всему міру. Семейство Фокс, проживавшее в маленькой деревушке Хидервиль, в штате Нью-Йорк, было посещено духом, который обнаружил свое присутствие таинственными стуками в доме. Сначала Фоксы удивились и даже перепугались, но затем, когда страх уступил место любопытству, они решились вступить в общение с той силой, которая производила эти стуки. Молодые девушки из этой семьи стали щелкать пальцами, в ответ защелкали и чьи-то пальцы. Таким образом, установился и первый способ общения с тем, кто по приемам общения казался разумным существом. После того семья Фоке переселилась в Рочестер. С ними переселился и дух, и там для него открылось обширнейшее поле деятельности, явился сонм свидетелей «чуда», не замедливших стать апостолами «нового откровения».

Шесть лет спустя, в 1853 году, в Америке уже насчитывалось 500 тысяч человек, вступивших в постоянное общение с «душами умерших», а также и друг с другом при посредстве специальных газет и журналов. По подсчету Babinet, произведенному несколько лет тому назад, в одной только Америке было 60 тысяч медиумов[1]. В 1855 году Эмма Harding-Button насчитывала в одной Америке до 12 миллионов последователей спиритима. Немного позже судья Эдмонд, сенатор и президент палаты штата Нью-Йорк, открыл еще до 3 миллионов новых последователей.

[1] Медиум — посредник. Этим именем называется безразлично мужчина или женщина, при чьем посредстве происходит обыкновенно общение с миром духов.

К 1870 году на всем земном шаре их число определялось в 20 миллионов. Сколько же их теперь?

«Чрезвычайная популярность спиритизма, — говорит Jules Bois[1], — зависит от общедоступности его чудес. Все в нем просто, и бог его — бог на всякую мерку, бог-демократ».

Спириты собираются на свои международные конгрессы. Такие конгрессы были: в 1884 году в Брюсселе, в 1886 году в Барселоне, в 1889 году в Париже. 1899 год был юбилейным годом французской революции, и конгресс спиритов по этому случаю собрался в «Великом Востоке Франции»[2], в виде доказательства тайных сношений между франкмасонами, евреями-талмудистами и сатаной. На юбилейном этом конгрессе присутствовало 500 членов.

На конгресс 1900 года аббатом Жюлие были приглашены «все те католики Старого и Нового Света, духовные и мирские, которые не могут оставаться чуждыми научному обновлению, влекущему человечество к указанной ему Божественным Учителем цели»[3].

«Заседания конгресса, — сообщает Дюрвиль, — происходили в помещении Общества земледельцев Франции в присутствии значительного числа гипнотизеров, герметиков, теософов и независимых спиритуалистов, собравшихся на конгресс в значительном числе в качестве представителей спиритических обществ и групп всех частей света».

Некий Дени, уже председательствовавший на конгрессе 1889 года, был выбран председателем и на конгрессе 1900 года.

Открывая конгресс, он сказал следующее:

«На конгрессе 1889 года перед спиритизмом еще стояли многочисленные препятствия и движение его вперед

[1] «Le monde invisible», 307.

[2] Центральная масонская ложа Франции.

[3] «Revue du Monde invisible», сентябрь 1899.

не было уверенным. В настоящее же время с умножением числа его адептов заинтересовались им и публика и пресса. Адепты наши находятся и в міре науки, и в высших общественных сферах. Оккультные силы работают в этом направлении и поддерживают на нем современного человека. Настал час, исполненный надежд и обетований: народные массы приводятся в брожение глухой работой мысли; совесть и ум обращены к исканию нового идеала. Спиритизм есть тот могучий росток, который вместе с постепенным развитием своим видоизменит законы общежития, идеи, общественные силы... Спиритизм призван переделать науку, он же повлечет за собою и перемену религии, и реформу народного образования... Спиритизму теперь нет преград, ибо он проник в умы и сердца миллионов людей».

«На конгрессе 1900 года пастор Беверльюи (Beversluis) говорил так: «Спиритизм возвысит христианство, которое представлено Церковью, догматами и обрядами... и тогда — долой попов, долой принуждение совести! Прочь слепое подвижничество, прочь обоготворение одной книги[1], прочь страх пред жестоким Богом, прочь посредничество святых за людей перед Богом!»

И это пастор называет упрощенным и очищенным христианством!..

Программа этой новой религии делится на две части: 1) разрушение и 2) созидание. Часть первая подразделяется на отделы: разрушение христианской Церкви и искоренение веры в Господа нашего Иисуса Христа, социальная революция на почве анархии, которая должна поднять пролетариат против высших классов; ниспровержение идолов, т. е. ложных богов (подразумеваются Три Лица Пресвятой Троицы), царей, всякой аристократии, дворянства, духовенства и частных собственников. Часть вторая: создание культа, основанного на истине и

[1] Конечно — Евангелия.

разуме, коему будет усвоено именование «научного христианства» — «Christian-science».

Таким образом, намерения вождей спиритического движения направлены к тому, чтобы религиозное направление человечества было изъято из ведения Церкви и предано в руки людей, находящихся под руководительством духов, подготовляющих дорогу ко всемирному царству владыки их, падшего Денницы — Люцифера.

Такова грядущая новая «церковь» новой религии.

Спиритическое общество «Christian-science» было основано в 1879 году в Бостоне некоей мистрисс Эдди. Эта госпожа от последователей своих получила именование «матери научного христианства», а в 1907 году от французского правительства — патент на звание «officier d'academie».

Из Америки общество это распространилось повсеместно, и спустя 33 года после своего основания в нем насчитывалось уже 600 тысяч членов. Митрополия европейской «церкви сциентистов» находится в Лондоне. В Париже на улице Pasquiez у них есть свой храм. Альманах Нью-Йоркской газеты «World» на 1897 год сообщает, что у «сциентистов» 123 церкви и 131 пункт богослужебных собраний. В следующем же году, по подсчету их органа «Christian-science Journal», у них было 250 церквей и 127 богослужебных пунктов (за один, стало быть, год прибавилось 123 новые церкви), а в 1905 году у «Christian-science» уже было 908 церквей или обществ в С.-Штатах, в Канаде, в Мексике, на Филиппинских островах, во Франции, в Англии, в Норвегии, в Швейцарии, в Италии, в Индии, в Китае и в других местах. Коренная церковь «сциентистов» находится в Бостоне, и число ее членов доходит до 34 тысяч.

«Сциентизм», по мнению своей основательницы, менее чем в 50 лет будет религией, преобладающей во всем міре.

Может показаться странным, что секта, главной целью которой служит разрушение христианской веры, присвоила себе название христианской. Объясняется это тем, что под Христом «сциентисты» вовсе не подразумевают Господа нашего Иисуса Христа, а некий «мировой разум», или «великий магический возбудитель», другими словами — Люцифера. Собственно говоря, «сциентизм», или «Christian-science» есть религия сатаны, и к этой-то религии и ведут все спиритические сеансы».

Такова «тайна беззакония», о которой упоминает св. апостол Павел во 2-м послании своем к Солунянам (2, 7). Таково ее современное положение.

Как не думать о том, что времена антихриста близки?!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Есть в Оптиной в числе ее сокровенных святых один старичок-послушник. В міру он был когда-то крепостным графов Р.*, родственников моей жены с материнской стороны. Узнал он как-то об этом, и проникло старое и верное его сердце к нам особой любовью. Сегодня встретили мы с женою его: идет он с Амвросиевского колодца от Скита и несет кувшин с водою. Поровнялся с нами, остановился и говорит:

— Как увижу вас, так и возрадуется во мне сердце мое.

— Спаси вас, — говорю, — Господи, за любовь. Чем только мы ее заслужили?

— Ах, мои батюшки, — отвечает старец, — чем заслужили? да ведь вы мне моих графов напоминаете, старых моих господ я в вас вижу!

Старцу едва ли не под восемьдесят лет, господ его уже лет пятьдесят, никак, как и на свете нет, а он в нас их вспоминает и любит.

Вот она, старинная-то русская верность!.. Эх, Русь, когда-то святая, куда ты мчишься? Уж не домчалась ли?..

19 сентября

Слово от «препоясанного свыше». — Сны отца Арефы. — «Камни вопиют». — Плод веры в старцев.

Как бы в ответ на поставленный вчера вопрос, я сегодня получил письмо от одного человека, близкого к высшим сферам церковного управления. Пишет между прочим:

«Болит моя печень не на шутку. Боюсь, не образовалось бы нарыва: тогда прощайте до свиданья за гробом.

Отчего болит? Да как и не болеть при всем том, что приходится переживать? Жизнь духовная всюду гаснет, начиная с архиерея. Пастыри забыли «единое на потребу» и пекутся о многом. Чувствуется тяжелый гнет греха во всем. Вчера получил подарок — книгу профессора Беляева об антихристе: 1055 страниц, и только первый том. Вышла уже десять лет назад. Много поучительного в ней. Как быстро созревают плевелы сатаны! Ужели им отдаваться без борьбы?.. Но нам ли, столь немощным, столь грешным бороться? Разве только в самих себе, ибо и туда, в наше сердце, их корешки простираются. Как бы хотелось бежать, бежать не только со своего места, но и из России... да некуда! Разве на тот свет позовет Господь?..»

Такие-то вот теперь речи приходится частенько слышать даже от «препоясанных силою свыше»: что скажем о себе, бессильных?

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сказывал мне о. Арефа, один из наших манатейных монахов, человек в духовной жизни внимательный, что перед Японской войной он видел два сна, сильно его поразивших и старцем о. Иосифом признанных «зрением». В первом сне он видел Господа Иисуса Христа, окруженного сонмом Ангелов. Господь шествовал от востока, направляясь к западу, а на земле, опережая Его шествие,

в том же направлении стремительно двигались несметные полки каких-то нерусских воинов, и все это бесчисленное полчище вело безостановочную стрельбу по каким-то отступающим войскам. Во сне отцу Арефе чувствовалось, что отступающие были русские.

Второй сон: небо и земля свились в огромном столбе пламени, как бы в огне светопреставления.

Оба сна видены были в период 1903–1905 годов.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

С 1 августа не выпало ни одной капли дождя, а уже начались ночные заморозки. По дополнительным прошениям к ектениям можно ясно видеть, что мы под гневом Божиим: пол-лета молились о прекращении дождей, а другую половину лета и всю осень молимся о их ниспослании. За суетой жизни люди не обращают внимания на знамения, а их и в низшей природе такое изобилие, что поистине сказать можно: «камни вопиют»...

Наша Софья Александровна Манаенкова все еще живет в Оптиной: выехать не с чем, да и далее проживать здесь не на что. Загрустила бедняжка и всю сегодняшнюю ночь проплакала над портретом батюшки Амвросия.

— Ты можешь все выпросить у Бога, — причитывает она над портретом, — и знаешь, как мне необходима Оптина: помоги же!

Днем сегодня сидела она у себя в номерке грустная, готовая уже отчаяться. Неожиданно входит к ней одна купчиха из Т., мало даже знакомая, и говорит:

— Я слышала о вашей скорби. Сколько вам нужно ежемесячно, чтобы хватало на прожиток и на поездки в Оптину?

А купчиха, оказалось, на ходу была, чтобы отговевши обратно ехать домой в Т.

Замялась было от такого вопроса Софья Александровна...

— Двадцати пяти рублей, — не без удивления сказала она, — было бы довольно.

— Ну и хорошо! — воскликнула купчиха, — я сейчас уезжаю, а по возвращении домой вышлю вам денег, чтобы еще пожить в Оптиной, и на дорогу вышлю и вообще буду вам помогать, чтобы вы ни в чем нужды не имели.

Обнялись, расцеловались. Нечаянная благодетельница уехала, а Софья Александровна все сидит еще в своем номерке и от умиления молится и плачет, плачет — остановиться не может.

25 сентября

День Преподобного Сергия Радонежского. — Подарок старца о. Иосифа.

День Преподобного Сергия Радонежского и всея России Чудотворца. День моего Ангела. Вчера с вечера у нас в доме служили всенощную, и как же это было умилительно! И весь сегодняшний день сердце праздновало какою-то особенною праздничною радостью.

Ходили к старцам. Старец о. Иосиф поразил меня некоею неожиданностью, какой я от него никогда не видел и ожидать не мог. Принял он нас в своей комнатке. Сидел он слабенький, но очень благодушный на своем диване, одетый в теплый подрясник серого цвета из какого-то очень мягкого пушистого сукна. Подрясник был опоясан довольно тонким шнурком, сплетенным из нескольких шнурков — белых и красных. Мы стали перед Старцем на колени, чтобы принять его благословение. Батюшка благословил и, вдруг, порывистым движением снял с себя шнурок и со словами: «Ну, вот, на тебе!» — надел мне его на шею и ловко завязал его мне на груди узлом, на редкость красивым и искусным.

Что бы это могло значить[1]?

[1] Шнурок этот доселе хранится у меня, как святыня, в полной неприкосновенности.

1 октября

День Покрова Пресвятыя Богородицы. — «Два года» о. Егора. — «Разговор о свободе». — Лжепророки (Меньшиков и Самушия).

Сегодня мы причастники Святых Христовых Таин. Сегодня исполнилось два года, что мы под благословенным покровом Оптиной Пустыни, созданной в честь и славу Введения во храм Пресвятыя Богородицы.

Два года!.. «Ну да, ну да, — сказал нам о. Егор Чекряковский, благословляя нас на житье в Оптиной, — годочка два-три поживете, поживете! а то ведь почетных мест-то теперь нет, сами небось знаете, что нет!»

Неужели суждено исполниться словам нашего батюшки, неужели ладье нашей придется сняться с Оптинского якоря?.. Признаки тому, увы, начинают как будто примечаться: враг рода человеческого и завистник не дремлет.

Да будет воля Божия!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Прочел в № 12049-м «Нового Времени» фельетон Меньшикова — «Разговор о свободе». Не могу не выписать из этого фельетона следующих знаменательных строк.

«...Я держусь, — пишет Меньшиков, — мнения не нового, а скорее древнего, как история, что народы нуждаются в чужой воле, более совершенной, чем их собственная. Народы нуждаются в постоянном импульсе извне, более высоком, чем их собственная инертность. И только такой импульс путем повторения создает прогресс, культуру. Культура есть раскупоривание человеческой природы. Но раскупоривание есть акт внешней силы: ***нужно, чтобы кто-то пришел и отворил тайник, выпустил душу на свободу... Нужна признанная народом власть, нужен вождь, нужен мессия...***»

Так вот что теперь стал проповедовать этот выразитель дум и чувств среднего русского человека! — «Нужна воля более совершенная?» «Нужна признанная народом власть?» «Нужен вождь?» «Нужен мессия?»

А воля Божия? иль она недостаточно для г. Меньшикова совершенна?

А власть царская? иль она г.г. Меньшиковыми уже не признается?

А Самодержавный Вождь народа и воинства русского? иль его уже не стало?

А Господь наш Иисус Христос, Мессия истинный? иль г. Меньшиков уже успел перейти в антихристианскую веру? Разве же это не подготовка слугами антихриста к принятию антихриста за Христа? И в то время, когда Меньшиков зовет прийти мессию, как грибы из-под земли выползают «лжехристы», а «лжепророки» бродят по улицам столицы и проповедуют:

— Братия! пора покаяться: кончина міра близка, и не сегодня-завтра разверзутся небеса, земля расступится, огонь и молния со всех сторон нахлынут и сожгут нас[1].

В то же время на Кавказе, в с. Пиргюшад, Эриванской губернии, мусульмане-родители бьют сына, какого-то необыкновенного самородного счетчика, подозревая в нем «даждаля» (воплощение диавола — вроде нашего антихриста)[2].

«На днях, — пишет «Колокол», — некий Самушия, именующий себя монахом, подал на имя Кутаисского губернатора следующее прошение.

«Я — человек-богомолец с малолетства. В настоящее время, по повелению свыше, с марта сего года живу в келлии одиноким. То, что я живу в келлии (в пещере) известно господину Зугдидскому уездному начальнику. В настоящий момент, по повелению Божию, я имею сло-

---

[1] «Колокол», № 1064.

[2] «Русское Знамя», № 215.

во ко всем государствам. Когда я это слово передам всем государствам, и они не поверят, тогда низойдет справедливый гнев Божий на людей настоящей эпохи, без различия государств, веры и нации — голодом, всеобщей войной между государствами и заразными болезнями. Я прошу ваше превосходительство допросить меня о том, что я знаю свыше. Вы не примите меня за противника правительства или государства. Я являюсь противником тех, которые восстали против государственного режима и Царя, а существование Бога отрицают. Будьте уверены, что я силою Божиею верно могу сопротивляться тем г.г. безбожникам. Здесь же скажу вам, что после, т. е. ***в скором будущем, будет на всем земном шаре лишь один государь***, и какие законы тогда должны будут приняты, мною уже подготовлены, по приказанию свыше. Я человек, но я свыше просвещен».

И Меньшиков, и лжепророки, и этот полуграмотный Самушия — не от одного ли духа вещают? Удивительное единодушие от «хладных финских скал» и «до пламенной Колхиды», и притом в людях столь различных общественных положений! Кто творит такое единодушие в век распрей и разделения?

Не от Бога же ведется эта подготовка к принятию антихристова царства, антихриста за Христа...

5 октября

День Ангела Наследника Престола. — Наказанный кощунник. — «Святая Русь» начала XX века.

Были у Литургии; ходили молиться за Наследника Всероссийского престола, этого удивительного, по отзывам всех его знающих, царственного ребенка.

Сохрани его, Господи, и родителей его во славу Твою и на благо Родине!

На днях уехал приезжавший на богомолье в Оптину монах Вяземского монастыря и сказывал кое-кому из наших, что нынешней весной в одну из деревень Вяземского уезда прибыл к «вешнему Николе» на побывку фабричный одной из столичных фабрик, уроженец этой деревни.

Николин день он справил по-фабричному и к вечеру допился до такого остервенения, что, вернувшись с гульбища под кров родительский, выхватил с божницы иконы Святителя и с криком: «Ну, ты, поворачивайся — пляши со мною!» — пустился в пляс, обхватив икону обеими руками. Родные бросились его останавливать: не тут то было! — удержать его уже не было никакой возможности. С ужасом смотрят несчастные родители на эту дикую пляску, а безумец все пляшет да пляшет. Пляшет час, пляшет два, пляшет третий: кружится не останавливаясь по горнице, видно, уже не в себе и не своею силою. Смекнули тут, что это уже не пляска, а Божья кара — бросились за священником... Пока бегали за священником, успела собраться толпа зрителей со всей деревни, а несчастный кощунник все продолжает плясать и кружиться. Пришел батюшка, стали в соседнем помещении служить молебен, и только после продолжительной и усиленной молитвы священника остановилась эта страшная пляска и плясун рухнулся на пол, как мертвый. На другой день его свезли в вяземскую больницу, где он находится еще и по сие время.

— Теперь, — сказывал монах, — у нас после этого случая совсем тихо стало. А что до него творилось с народом-то, и вспомнить страшно! Доходило до того, что идет не вовремя грозовая туча, а мужики и бабы ей кулаки показывают, грозятся на небо и кощунствуют самыми скверными словами.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Приехала из Усмани монахиня, привезла мухояр[1] работы сестер обители и рассказывала, что монахиням не стало никакой возможности ездить по железным дорогам: нет той ругани, насмешки, проклятия, которых бы не изливали на их бедную голову сатанинская злоба, действующая теперь в сынах противления.

— Приходится, — говорила нам монахиня, — надевать на себя синюю юбку, чтобы похоже было на мирскую старушку, а то проходу не дают ругательствами на монастыри и на монашествующих!

20 октября

Тяжелые поминики. — Пещерка в лесу. — Пустынницы. —
О том, как все «там» на счету.

Ходили на соборную панихиду по Государе Александре III. Служил отец архимандрит и четыре иеромонаха. Пели панихиду по былой русской славе.

Тяжелые, горькие поминки!..

После обедни и обеда пошли всей семьей гулять в лес к пещерке, выкопанной для уединенной молитвы двумя отцами, поревновавшими о подвигах древних пещерников. Какие есть еще на Руси, по ее монастырям, наивные детские души в среде ее взрослых сынов!

От пещерки пошли низом, по лощине речки Железенки, по направлению к большой поляне на косогоре, к трем соснам. Это любимое место прогулки наших монахов в часы, свободные от церковных служб и послушания. Немного их у нашей братии. Посидели там на пенечках — один из них подо мною обвалился и обратился в гнилушечный порошок — и пошли дальше по направлению к избушке пустынножительницы матери Ольги[2]. Живет эта раба Божия в келлейке, рядом с избой лесного

---

[1] Грубая шерстяная ткань, из которой шьются оптинские монашеские мантии.

[2] Ольга (Васильевна), прозвищем «Лапеха» — не Лапина ли?

сторожа, и мы изредка ходим ее навещать. Мать Ольга — тайная монахиня, родом из дворянок Тульской губернии, поначалу устроилась было в одной из женских обителей, но «не понесла» монастырской жизни и устроилась при Оптинских старцах в лесу соседнего помещика. И не год и не два живет так-то мать Ольга, а уж лет едва ли не с десяток: ходит к службам в Оптину, а дома живет самдруг с прислугой, подобно птице небесной, мало заботясь о завтрашнем дне.

Не успели мы от трех сосен направиться в гору к нашей пустыннице, как смотрим, из-под горы, от ключа, взбирается на косогор еле дыша сама старушка, мать Ольга, и тащит ведерко с водою. От ключа до ее избенки добрая верста и всё на гору. Пожалели старушку и помогли ей снесть ведерко до дому. Пришли и уселись у нее на завалинке; пригрелись на солнышке и завели разговоры о том о сем, а больше об удивительной погоде, которая в конце октября растит на полянах весенние цветы и отпускает сережки на осинах.

К беседе нашей вышла погреться на солнышко и приехавшая в гости к матери Ольге сестра ее Анна Васильевна Рикман. От погоды слово перекинулось к поездке матери Ольги к Киевским угодникам (она нынешним летом ездила в Киев). На какую-то шутку сестры по поводу этой поездки мать Ольга ответила:

— Я-то, быть может, и плохо Киевским угодникам молилась, но зато они хорошо все слышат.

— Да, — отозвался я, — так слышат, что лучше и не надо; да мало того, что слышат, еще и ответы дают.

И я рассказал, что со мною было как знамение от пр. Иоанна Многострадального[1].

Рассказал я эту немудрую, но правдивую историйку на завалинке хатки матери Ольги, а сестра ее в ответ мне тут и свою рассказала.

[1] См. выше, в записи под 2 января.

— Ездили мы, — сказывала она, — с моим сыном-офицером к Преподобному Сергию. Помолились Божьему угоднику, сын уехал в Москву, а я осталась еще на сутки. Перед самым отъездом с постоялого двора, где мы останавливались, сын потерял свое пенсне, а без него он все равно что без глаз. Искали, искали, так и не нашли, и пришлось уехать сыну, как слепому. Было это дело зимою. В воротах постоялого двора снегу намело такую гору, что ворота едва можно было отворить, и для проезда через них оставалось места ровно на ширину крестьянских саней. Пошла я на другой день в Лавру к вечерне. Уже темнело. Передо мною в ворота только что ввезли бочку с водой. Вышла я на крыльцо, чтобы пройти этими воротами на улицу, и внезапно вспомнила, что мне один человек дал шесть копеек на просфору, вынуть за здравие, а я об этом забыла. Вот, думаю, грех-то какой! Завтра же выну. И не успела я это подумать, глядь, а перед моими ногами в воротах что-то блеснуло. Смотрю — пенсне моего сына. Вы только подумайте, сколько через него проехало и прошло за сутки народа! передо мною бочку с водой через него провезли, и никто его не заметил, и никто не раздавил. Заметила его и нашла только я, да и то когда? когда вспомнила забытое мною по небрежности поручение к угоднику и лепту в его обитель. Вот как там всё на счету и на виду у Божьих угодников! — так закончила рассказ свой сестра матери Ольги, сидя с нами на завалинке убогой ее избеночки в лесу, что под святой нашей Оптиной Пустынью.

21 октября

(День восшествия на престол Государя).

Преступные недра.

Да пошлет Господь Царю нашему помощь от святого! Ему, более чем кому-либо, нужна эта вышняя помощь, чтобы управить народ Свой в мире, тишине и благоден-

ствии. А как управить его, когда те, кто по рождению и воспитанию своему призываются стоять во главе и быть руководителями, а Царю помощниками, те вырождаются теперь в зверей-Гилевичей[1], а в недрах народных могут совершаться преступления, подобные следующему[2].

«В селе Пречистом, Любимского уезда, Ярославской губернии, священник о. Никандр Волков исповедовал в церкви и затем намеревался причастить Св. Дарами доставленную туда крестьянку Вологодской губернии Нефедову, как впоследствии выяснилось симулировавшую болезнь. Кроме совершавшего таинства священника и «больной» женщины, в церкви находился муж последней С. И. Нефедов и сын его Леонид, семнадцати лет, доставившие в церковь под руки мнимобольную, и, кроме того, церковный сторож Ступин.

Только что священник приступил к исповеди, как вдруг 17-летний Леонид Нефедов выхватил из кармана револьвер и произвел из него выстрел в церковного сторожа Ступина. Хотя пуля попала в последнего, но не причинила ему никакого вреда, застряв в толстом меховом пиджаке. Тем не менее Ступин от сильного нервного потрясения упал на пол.

После этого семнадцатилетний преступник побежал к совершавшему таинство священнику и направил в него револьвер, но, однако, о. Никандр не растерялся и быстро загородил себя исповедовавшейся мнимобольною. Руки преступника сильно дрожали, и он, по-видимому, плохо владел револьвером. Далее он совершенно неожиданно передал револьвер отцу, а сам бросился бежать и скрылся в соседнем лесу. Между тем оправившиеся от испуга священник и церковный сторож, таща за собою мнимобольную и прикрываясь ею, выбрались из церкви и захлопнули за собою двери. Таким образом, Нефедов-отец оказался запертым в церкви. Была тотчас же поднята

[1] Известное убийство в Лештуковом переулке, в Петрограде.
[2] «Колокол», № 1081.

тревога и немедленно сообщено проживавшему в селе становому приставу. Последний вместе с собравшимся народом, пытаясь арестовать преступника, вошел в церковь. Нашелся смельчак, сторож местного почтового отделения Петров, который приблизился к Нефедову с целью обезоружить его, но, сраженный сильным ударом по голове железным болтом, упал замертво на пол.

Двери снова были заперты. Вскоре из церкви послышались выстрелы. Войдя туда, увидали Нефедова лежащим в луже крови: он первоначально пытался имевшимся у него длинным кухонным ножом перерезать себе горло, а затем произвел в себя выстрелы из револьвера.

Причины этой необычайной по обстановке драмы пока в точности не выяснены. Нефедов-отец был церковным сторожем раньше Ступина.

Рана, нанесенная Петрову, оказалась смертельной. Нефедов находился в безнадежном положении».

Это ли не гибель души народной? Это ли не прообраз грядущей на место свято «мерзости запустения?»

Ой, страшно!

22 октября

День Казанской Божией Матери

Мір и вера. — Всенощная под Казанскую. — «Един от древних».

В Оптиной храмовый праздник: главный престол теплого храма освящен в честь и славу Божией Матери Казанского явления Ее чудотворной иконы.

Давно ли сила и слава этой иконы сияла на восточной границе Московского царства, этого ядра современной нам великой Российской империи? Давно ли свет ее чудотворный охранял наш ближайший Православный Восток от тьмы дальнего языческого Востока? И вот, нет уже этой силы, нет этой славы, нет этого света!..

Мір глумится: украли икону!

Вера плачет: ушла, грех наших ради, отступила от нас Царица Небесная!..

Пришли мы вчера с женой в храм задолго еще до начала бдения. Так и всегда приходим мы под великие Оптинские праздники, чтобы занять заблаговременно привычное наше место в храме, пока оно свободно от других богомольцев.

И как же любим мы этот последний получас перед началом торжественного звона к праздничной всенощной!

Вот вступаем мы на каменные ступени церковного крыльца. Отворяется перед нами стеклянная дверь, и впереди нас входит очередной пономарь-монах. Он друг наш, как и все оптинцы, по нашей к ним любви и дружбе; и мы это чувствуем, как чувствует это и он, вратарь храма, благоговейный служитель его святыни.

Если очередным пономарем случится быть отцу М.[1], монаху живого и общительного характера, то, открывая двери и стуча железным засовом и тяжелым замком о железную ее обшивку, он не преминет обернуться в нашу сторону и с ласково-приветливым кивком головы всегда примолвит:

— А, старички-то уж тут! — вот преподобные-то!

И он знает, — а мы и подавно, — что и тени нет в нас преподобия, что это привычная шутка благожелательного отца М.; и к шутке его и сами мы относимся с равною благожелательностью, а, главное, любим его и чувствуем, что и он также любит и считает своими, оптинскими.

И вот, первое впечатление при входе в Божий храм — благоухание братской любви. И с этим чувством любви мы переступаем порог дома Божия, осеняемся таинственным полумраком его сводов, едва выступающих росписью святых своих изображений из сгустившегося под ними мрака, напоенного благовонием фимиама кадильного.

---

[1] Маркелл. Теперь (1916) он иеромонах и старший келейник настоятеля.

«Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем», — шепчут уста, и чело преклоняется под знамением Креста Господня.

Хорошо, сладко!.. Таинственно и... жутко!

На аналое, в венке из искусственных ландышей и незабудок, уже возложена наша коренная Оптинская святыня, чудотворная икона праздника. В храме тепло; пахнет росным ладаном, ароматом чистого пчелиного воска от своих пчел, со своего свечного завода... Мы снимаем с себя теплые верхние одежды, кладем их на наши места и идем прикладываться.

«Заступнице Усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего...» И тут молитвенная память твоя подскажет тебе все дорогие и любимые тобою имена дорогих твоих и любимых, за которых молит сердце твое Пречистую, а Ангел-Хранитель невидимым рукавом незримой ризы своей возьмет да и смахнет навернувшуюся на твою ресницу слезу умиления и... грусти о тех далеких, живых и отшедших, за кого уста твои беззвучно шепчут слова сердечной молитвы: «Спаси и сохрани их от зла и соблюди их для блаженной вечности, Преблагословенная!»

Приложишься к чудотворной иконе и следом пойдешь прикладываться к другим иконам Казанского храма, а там к дорогим и близким сердцу надгробиям, скрывающим под собою святые останки великих восстановителей оптинской славы, родных по плоти и по духу братьев — схиархимандрита Моисея и схиигумена Антония. Трудились вместе во славу Божию, вместе и лежат под одной могильной плитой в одном и том же храме, угодники Божии. От Моисея и Антония подойдешь к архимандриту Досифею, недолго управлявшему обителью после схиархимандрита Исаакия, — его надгробие почти рядом, — его помянешь и его молитв попросишь. Оттуда сердце поведет на противоположную сторону храма — к схиархимандриту Исаакию... Как дороги, как

близки сердцу все эти подвижники Оптинские, управившие и себя и вверенные их духовному руководительству христианские души в Царство Небесное.

Царство вам всем Небесное, место покойное!

И вот, один по одному, а то и группами, начинают появляться богомольцы и постепенно наполнять обширный храм Царицы Небесной, Посвященный памяти чудотворного явления Ее иконы в Казани. Зажигаются привычной и ловкой рукой екклесиархов[1] бесчисленные лампады и свечи; в храме все светлеет и светлеет... Вот входят и становятся по своим местам темные и благоговейные тени монахов и послушников... И вдруг могучий медный удар шестисотпудового колокола... За ним, немного погодя, другой; за другим, с равным промежутком, третий — и широкой звуковой волной, заливая на далекое пространство все окрестные леса и луга, польется с высоты оптинской колокольни дивно-божественный зов полнозвучного металла к величавому праздничному Оптинскому бдению, к великому празднику чудной и славной во обителях российских Оптиной Пустыни.

Слава Богу, — дождались Богородицына праздничка!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Вчера бдение продолжалось от половины седьмого вечера почти до полуночи. Рядом со мною, как и всегда, стоял старец, отец Иоанн (Салов), великий подвижник и молитвенник, почитаемый всеми нашими старцами, начиная с отца архимандрита и отца Варсонофия. Совершенно слепой, глухой до такой степени, что надо уметь особым образом говорить ему в правое ухо, чтобы он слышал, этот дивный подвижник, на своих больных, изломанных ревматизмом и многолетним стоянием ногах выстаивает все продолжительные церковные службы, следя за ними по поклонам[2] ближайшего к нему монаха-соседа. Осязание

[1] Они же и пономари.

[2] Знакомому с уставом это будет понятно.

у Старца, как у всех слепых, развито до чрезвычайности, а службу он, как бывший в молодости канонарх, знает лучше всякого зрячего. Великий это подвижник Божий, истинно великий. Достойные неоднократно видели над ним в храме как бы столп огненный — пламень молитвы его к Богу умно-сердечной. Кто близко знает Старца, те и не зовут его иначе как «един от древних»[1].

Отец Иоанн старинного дворянского рода и, если не ошибаюсь, доводится двоюродным дядей недавно скончавшемуся члену Государственного совета Салову, бывшему председателю Инженерного совета Министерства путей сообщения. В Оптиной отец Иоанн подвижничает около 45 лет и до сих пор числится на «добровольном послушании», то есть не приукаженным послушником: таково смирение Старца, не считающего себя достойным мантии. «Добровольное послушание» Старца, с тех пор как он ослеп, состояло в заготовлении фитилей для оптинского свечного завода. Сучил он фитили, с таким искусством разматывая самые запутанные мотки ниток, что зрячие приносили ему распутывать и находить концы в своих мотках.

К великой нашей радости и счастью, Старец принял нас с женой в свое расположение и звал нас: меня — «мой барин», а жену — «моя птичка, моя пташечка».

И вот с таким-то столпом огненным подвижнической веры и праведности привел меня Господь, многогрешного, стоять рядом, плечо к плечу, молиться вместе за торжественными Оптинскими службами и знать, что в его лице даровал нам Господь крепкого за нас к Его милосердию молитвенника.

О премудрость и благость Божия!

К глухоте и слепоте Старца Господь приложил еще и крест тяжелых ревматических страданий. Иной раз стоит Старец в храме и вдруг опустился на свою лавочку с

---

[1] Отец Иоанн скончался в 1913 году, постриженный в схиму.

тяжким стоном: это значит, что и его железному терпению наступил предел, дальше которого ему терпеть в молчании нет силы. Вот и вчера этому преподобномученику было так плохо с начала всенощной, что, постояв немного, он сел на лавочку с тихой жалобой в мою сторону:

— Не могу стоять: и в голову вступило, и в ноги!

До слез стало мне жалко нашего батюшку. Я схватил его холодную старческую руку и прижал ее к своим губам.

— О родной мой, мой родненький! — прошептал Старец и тою же рукою, которую я поцеловал, крепко прижимая ее к челу, к груди и к плечам, троекратно перекрестился. Я почувствовал, что наградой за мое сочувствие к его страданиям была его молитва за меня, и, Господи Боже мой, что же тут с моим сердцем сотворилось, того и не выразить словам языка человеческого! В необычайном, хотя и мгновенном умилении вознес тут и я свою грешную молитву к Матери Божией за Старца, прося Ее облегчить нестерпимые его страдания. Забилось в молитвенном восторге сердце от осияния его благодатью старческой молитвы и сразу затихло. Все это произошло перед самым началом чтения паремий... К концу литии Старец вдруг встал и все шестопсалмие простоял, как вкопанный. Когда после шестопсалмия я хотел было его усадить на лавочку, он весело и бодро мне сказал с оттенком старческого вразумления моему не по разуму усердию:

— Нет, мой батюшка, во время ектении не садятся. Теперь я за ваши святые молитвы легко с вами достою бдение. Мне правда было очень тяжко: сперва вступило в голову, а из головы в ноги. Вот вы помолились, и мне стало легче, а теперь и вовсе прошло.

Молился-то он, а мое сердце только одно мгновение помолилось его молитвой, а он уже знал, что в моем сердце совершилось, знал, что в то же мгновение и жена моя за него помолилась. Это не было простым предположением, это было знание.

Когда я сегодня, поздравляя отца Варсонофия с праздником, рассказал ему об отце Иоанне и что вчера у нас с ним было, батюшка задумался и благоговейно молвил:

— Да, это душа совсем особого разряда.

25 октября

Грозное предчувствие.

Удивительная стоит в нынешнем году осень! Вот уже и 25 октября, а тепло все еще держится, и октябрь похож скорее на апрель, а осень на весну. Вечером вчера, гуляя за монастырской оградой в чудном оптинском лесу, я слышал майского жука, близко прогудевшего около моего уха. Это что-то как будто похоже на изменение стихий, предвозвещенное святыми Отцами Церкви на конец времен как знамение его приближения... Шли мы с женой из лесу, с Железенки, направляясь к своему дому от востока к западу. Лес стал редеть. Вечерняя заря горела над монастырем, как расплавленное с серебром золото. Небо казалось стеклянным и залитым жидкой, сквозящей огнем позолотой. Тихо, не шелохнет; ни звука в лесу; безмолвно в монастыре, ни души не видно — все замерло, точно притаило дыхание, чего-то как будто ожидает... Четко, как вырезанная в золотом небе, высится и тянется к нему Оптинская колокольня и храмы, монастырские корпуса, белокаменные стены. Глядишь на всю эту Божью красу сквозь редкие на опушке, стройные стволы могучих сосен — не налюбуешься... И вдруг откуда-то мысль, как молния, и с ней пророческие Спасителевы Слова: Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне... Жутко мне стало на душе. Неужели мне суждено дожить до ужаса видеть разрушение Святынь родной моей земли? И кто же осмелится их коснуться? Чья дерзновенно-святотатственная рука подымется на такое злодеяние, худшее из всех душегубств?.. И голос сердца

ответил скорбным вздохом... *От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земли пред глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе* (Иез. 28, 17–19). «И Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя!» Этими словами и вздохнуло мое смятенное сердце; не отвне, не от руки чужеземца, а от руки сынов твоей Родины, вскормленных и вспоенных святыней веры отцов их, падут эти великие здания за то, что «неправедной торговлей» мы осквернили святилище наше, ибо, по слову Божию, мiр есть торжище, жизнь наша — купля...

Ой, страшно!..

27 октября

Степан да Марья. — Дедушка Паня.

Сегодня приехали в Оптину на богомолье и зашли к нам простецы-паломники из Тамбовской губернии, Степан да Марья. Степан уже давний нам приятель, деревенский маляр и кровельщик из села Лысые Горы, Тамбовского уезда, а Марью мы видим в первый раз; она соседка Степану, из соседней с ним деревни. Оба они духовные дети одного близкого нам по духу священника Тамбовской епархии, отца Василия Тигрова, почитателя наших старцев и Оптиной Пустыни.

Вот рабы-то Божии, дети Христовы! Вот она, Святая великая Русь!

Рассказывал мне сегодня за чаем Степан про некоего старца из таких же, как он сам, простецов, про «дедушку Паню», к которому он относился как к Старцу. «Дедушка Паня» подвизался у них на селе, в келлейке, построен-

ной ему на задворках простецами-почитателями с благословения местного священника о. Василия (Тигрова), который, по кончине «дедушки Пани», и брошюрку о его праведном житии составил.

Рассказывает мне Степан про своего «дедушку Паню», а спутница его, Марья, слушает его речи и плачет от умиления над его рассказом. Гляжу я на них, и в моем сердце закипают слезы: как это среди почти поголовного деревенского растления хранит Господь Церковь Свою Святую, да так хранит, что и врата адовы одолеть ее не могут!..

— Ты, стало быть, близок был к дедушке? — спросил я Степана.

— Как же! — ответил он, — он у меня на руках и помер. А было это так: пришел я к нему, стучусь... Нет ответа. Постучался еще, постоял, прислушался: кто-то шевелится, стало быть, дома дедушка. Что же, думаю, он мне не отворяет? уж не случилось ли с ним чего? Бывало, идешь к нему, а он тебя на крыльце встречает, а нынче стучу, и нет от него привета. Постоял это я, постоял около его двери да и отошел со скорбью: видно, прогневил чем-нибудь, думаю, дедушку. На другой или на третий день после того был я в церкви и там встретил дедушку Паню.

Отошла обедня; пошли мы с ним к нему мимо погоста, я и спрашиваю: — «Как же это ты меня, дедушка, вчерась не принял? А я ведь к тебе из переплета книги твои приносил».

— Эх, — вздохнул дедушка Паня и взглянул на погост, — если бы ты знал все, Степа, что в міру деется и что мір ждет, то моря б слез не хватило всего оплакать!

А мне и невдомек, к чему это он говорит. Смотрю на него, а глаза-то у него красные, красные, точно он всю ночь напролет проплакал... Кто ж его знает: может, он про свое-то слезное море и говорил?

— Плохо мне, — говорит, — Степа, неможется что-то, ах как неможется!

Дошли до его келлейки. Сдал я ему книжки его и между ними Патерик Печерский — большая такая книга. В келлейке, кроме нас с ним, был еще и его племянник. Прилег старец, а меня от себя не отпускает.

— Посиди, побудь со мною, Степа! Ох, тяжко мне! Тяжко умирать грешнику, трудно!

— Дедушка, — говорю, — не причастить ли тебя, не пособоровать ли?

— И то, — говорит, — добежи, деточка, до батюшки!

Привел я батюшку; причастили и пособоровали дедушку. Как будто полегче ему стало. Досидел я у него до ночи.

— Сведите, — говорит он нам с племянником, — сведите меня на двор!

Свели.

— Ах, — говорит, — как хороши на небе звездочки! Как горят-то! Свечки Божьи горят, службу Богу справляют! А в каком послушании-то!

Вернулись мы с ним в келью. Он не захотел ложиться. Посидел немного и говорит:

— Дайте мне еще разок взглянуть на звездочки!

Свели опять. Когда вернулись, он спросил Серафимовой воды[1]. Выпил стакан и присел на лавку под образами. Видит племянник, что пободрел дедушка, и спрашивает:

— А кому, дедушка, ты Патерик отказываешь?

— Степану, — ответил дедушка. Сказал, посмотрел пристально на иконы, перекрестился, опустил на грудь головку и кончился. Тронули его, а он уж мертвый.

— Кончился дедушка, — говорит племянник, — давай его класть под святые.

— Нет, — говорю, — надо людей скликать: кто ж нам поверит, что он помер, когда, вишь, сидит?

Сбегали к соседям. Прибежал народ; видит — сидит дедушка Паня, только головку на грудь склонил.

---

[1] Из источника пр. Серафима Саровского.

— Да он жив! — говорят.

Слышим — плачет кто-то, шибко плачет. Смотрим, у ног дедушкиных бьется-плачет монашка, что келью ему построила, обливает ноги его горючими слезами.

— Прости, — плачет она, — что я на тебя соблазнилась: думала я ведь, что ты здоров, как тебя соборовали (а она тут в тот час была), нешто такие-то здоровые, думала я, помирают? А ты вон и мертвый-то сидишь как живой!

Так-то вот и отошел в царство небесное праведник наш «дедушка Паня» — закончил свой рассказ Степан; сам говорит, а сам плачет; слушает его Марья, и тоже слезы так и текут у нее ручьями по раскрасневшимся от душевного волнения ланитам.

— О чем, — спрашиваю, — Маша, плачешь?

— Больно жить хорошо на свете, — отвечает, — да речи такие слушать!

А в Марьиной семье она с детьми сама-четверта, да муж, да деверь со снохою — эти бездетны — живут друг с другом так, что, по выражению Степана, «и в Библии за редкость». А отец «мужьев» в монастырь ушел и там теперь мантийным монахом и ктитором.

— Уж утешаюсь же я, на жизнь их глядя, — восторгается Степан, — истинно утешаюсь! Ни у кого я такого согласия не видал. Ты посуди сам, какая между ими любовь-то! Пристанут к Марье ее детишки: «Мамка, исть (есть) дай!» А ей некогда, потому что у них со снохой дела наперебой идут, кто скорее за себя и за другую сделает. Потолкутся, потолкутся ребятки около мамки, видят, что ей не до них, и бегут к тетке, а матери кричат: «Ну коли так, так мы к хресной — к снохе то есть к материнской; а та уж тут как тут и всех, ровно мать родная, оделяет. И мужья-то ихние, — продолжал восторгаться Степа, — такие же: младший без старшего никуда, ни ногой. Зато и живут же! Дом полная чаша, а народу круг них сколько кормится!

Вот рабы-то Божии.

30 октября

Француз и Любочка. — Спиритизм и политика. — Что только творится!

Завтра в Оптиной постриги: постригают двух гостиников: нашего молитвенника, отца Вонифатия, к которому я обращался за помощью против порока куренья, и «открывают мантию»[1] одному из фельдшеров оптинской больницы. Великое это торжество в обители.

Завтра же вечером уезжает из Оптиной и тот француз, о котором я уже упоминал в своих записках.

Перед его отъездом к этому французу как-то особенно расположилось детское сердце нашей Любочки. Вчера у нее только и разговоров было, что о нем: то молебен нужно служить перед его отъездом, то ванну ему сделать, то чтобы успеть все белье ему перемыть... А сегодня она все ищет между своими образочками, каким бы из них его благословить на дорогу.

— А что, Ляля, — обращается она к своей воспитательнице, — будут служить ему молебен?

— Будут.

— Ну, тогда, — говорит, — надо будет ему на молебне пропеть и вечную память.

— С чего это ты выдумала на молебне панихиду петь?

Любочка обиделась:

— Ах, какая ты, Ляля! Он так далеко едет, а на дороге мало ли еще что может с ним случиться.

Сделали французу ванну. Любочка опять забеспокоилась и засуетилась:

— Тетя, есть ли у него мыло?

— Есть, — отвечает жена.

— Тетя, у него простыни нет.

---

[1] «Открыть мантию» — значит постриженного тайно (обыкновенно во время болезни) монаха объявить постриженным пред лицом Церкви. Совершается это, как и постриг, во время Литургии.

— Есть и простыня, деточка: я ему все дала.

— Все дали: и мыло, и мочалку?

— Да говорят тебе — все!

Ушла к Ляле, и там то же:

— Ляля! Вот видишь — и Коля куда-то ушел: кто ж ему поможет мыться?

А Коля-мальчик «на побегушках».

Засмеялась Ляля:

— Ступай сама помогать!

— Ах, Ляля, — огорчилась Любочка, — зачем только ты так говоришь? Ведь ни сама не пустишь, ни он не захочет.

Что-то выйдет из этой девочки?..

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

Принесли почту, и с ней в «Божью реку» оптинских впечатлений влилась гнилая и смрадная струя дел и событий міра внешнего, по ту сторону ограды оптинской.

В № 12079-м «Нового Времени», в статье «Спиритизм и политика», читаю такое сообщение.

«Спиритизм начинает мало-помалу проникать во все области жизни и, как то свидетельствует газета 'Daily Chronicle' стал проникать в сферу политики. Лихорадочное ожидание, которое сейчас переживает Англия, желая знать, примет ли палата лордов новый либеральный бюджет или же отвергнет, побудило известного английского журналиста Стэда (опять этот служитель диавола!) устроить спиритический сеанс и вызвать дух Гладстона с тем, чтобы получить от него сведения о будущей судьбе бюджета. На этом сеансе присутствовали Стэд, ясновидящая дама, медиум и стенограф. Результаты, в общем, получились довольно слабые: вызванный дух Гладстона долго сетовал на то, что его почему-то вызвали «на узкую и меланхолическую арену политической и партийной жизни, которая ему ненавистна», и в конце концов сказал, что было бы желательно, чтобы палата лордов

бюджета не отвергала, но добавил, что даже если палата лордов и отвергнет бюджет, то все же не следует распускать парламента. Затем дух Гладстона заявил, что ограниченность умственного развития ясновидящей не дает ему возможности высказать все, что ему было бы желательно, и, распрощавшись с политическими спиритами, скрылся в небытие, выразивши в последние минуты сеанса большую симпатию Ллойд-Джорджу»[1].

Чего тут больше: мошеннического ли шарлатанства или действительного общения с духами лжи и злобы поднебесной? Определить это трудно; ясно только одно, что, с какой стороны ни взгляни на этот вопрос, ничего другого в нем, кроме лжи, не усматривается; отец же лжи — сатана: с ним дети лжи и входят, стало быть, в непосредственное общение.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

«В субботу вечером, — так пишут в «Колоколе» (№ 1088-й), — во время всенощной, в Москве, в церкви Николы Явленного на Арбате, одна из молящихся плеснула какою-то едкою жидкостью в лицо священнику, совершавшему Богослужение. У священника пострадал левый глаз.

Что только творится!

31 октября

Где же возмездие? — Стенинский Павел и его сон. — Ночная тревога. — Под какими впечатлениями растут наши дети.

Постриг будет, оказывается, завтра, в воскресенье, а не сегодня, как мне говорили. Француз отложил свой отъезд тоже до завтра.

Боже мой, Боже мой! что же это стало твориться на Руси?

[1] Английский министр финансов.

«Сегодня, 28 октября, — пишут в № 12080-м «Нового Времени», — в окружном суде слушается очень интересное дело «о похищении двух еврейских девушек крестьянской девушкой Дарьей Шикуриной». В кратких словах обстоятельства этого дела таковы. В еврейскую семью Зары Почталиц поступила горничная, крестьянка Дарья Шикурина. Ей было всего шестнадцать лет. К этой русской девушке, очень религиозной и глубоко верующей, привязались всем сердцем малолетние дети Зары Почталиц, Бэлла — двенадцати лет и Дора — девяти лет. Дарья Шикурина читала им Евангелие, учила их молитвам, покупала на свой заработок религиозные книги, рассказывала им о страданиях первых христианских мучениц. Под влиянием силы ее веры уверовали во Христа и эти две еврейские девочки. Сначала сами родители ничего не замечали, даже тогда, когда мать нашла бумажку, на которой рукой Бэллы был написан православный псалом[1]: родители не знали, что их дети уже веруют во Христа. Не знали они и того, что дети их тайно с Дарьей Шикуриной ездили в Кронштадт молиться. Когда стало слишком заметно влияние горничной на девочек, Дарье отказали. Через два месяца после этого девочки исчезли. Они прислали из Москвы матери письмо, что они, «бывшие когда-то евреи», веруют сейчас во Христа. Поехали они из дома матери в Кронштадт одни, где и разыскали Дарью. Их по прошествии четырех недель нашли агенты полиции на пароходе, ехавшем из Кронштадта.

Девочки на пароходе ехали в сопровождении Дарьи, выдававшей их за своих детей. Когда девочек спросили: «Вы Почталиц?» — они ответили: «Нет, мы не еврейки, мы веруем в Господа Бога Иисуса Христа».

Девочки рассказали, что они уже крестились, крестил их в Москве какой-то священник в лиловой рясе. Когда

---

[1] Не тропарь ли или иная молитва? Что за «православный» псалом? Господа из «Нового Времени» в делах Православия далеко не все толк знают.

девочек привезли в Петербург, они не хотели возвращаться домой к матери, но впоследствии они вернулись.

Дарья Шикурина теперь судится: к ней предъявлено обвинение по 1084-й ст., карающей лишением прав и отдачей в арестантские роты на 3–4 года».

Волосы становятся дыбом от такого известия. Мы, православные, в Православной России дожили, стало быть, теперь до того, что исповедницу Христову уже влекут на суд, угрожающий ей суровым наказанием за ее апостольскую деятельность. Да что же это? Где же возмездие?..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Смотрю в окно: идет к заднему крыльцу утиной своей походкой с перевальцем стенинский старичок, Павел, отец нашей припадочной Груши. Я вышел к нему на кухню. Поцеловались.

— Что ты, Павел?

— Я к твоей милости. Есть у тебя времечко для беседы?

Я сел на табуретке в кухне, сел и Павел.

— Ну, — говорю, — сказывай, с чем пришел!

— Да вот что, родной, — ответил Павел, — хочу я тебе сон свой рассказать. Недели две тому назад сон этот я свой видел. Уж больно страшен сон той-то!

А Павел наш — ему уже под 80 лет, — из таких Божьих старичков, что сны его бывают не без духовного значения. Наши богомудрые его снами не пренебрегают.

— Вижу я, — продолжал Павел, — что я из хаты своей вышел на задворок, на поле, где я пашу. Гляжу, а там, откуда ни возьмись, гробница, большая такая, чугунная, а в гробнице монах. Испугался я и ну бежать оттудова, а монах кричит мне вдогонку:

— Куда бежишь? От меня все равно никуда не уйдешь. Ты постой-ка лучше!

Я остановился. Страх мой прошел. А монах и говорит мне:

— Ступай скажи всем людям, чтобы переменили жизнь, чтобы не жили, как теперь живут; а то идет на них то, чего от века никогда не было.

Мне так от этих слов страшно стало, что я проснулся. Ходил к Старцу, сказал ему свой сон, а он мне и говорит:

— Так, Павел, и будет.

— Как же, — говорю я ему, — быть мне теперь, батюшка, ведь мне сон-то приказано людям сказывать, чтобы они жизнь свою переменили? Кто же меня послушает?

— А ты, — ответил мне Старец, — говори его только хорошим людям, а остальным не к чему: те, если кто и из мертвых воскрес бы и стал бы звать к покаянию, и тому не поверят.

— Правильно! — вздохнул я, прослушав рассказ Павла.

— А ты, — спросил он меня, — что на это скажешь?..

— Да что мне после старца и говорить-то? — сказал я Павлу, — куда Старец, туда и я; каково его слово, таково и мое. Молиться надо Царице Небесной: Она всех грешных Споручница.

С этим и ушел от меня Павел. А я подумал: только успел я записать о нечестивом судилище над Дарьей-исповедницей и спросить: где же возмездие? А ответ не замедлил устами 80-летнего простеца-старца.

И ведь точно кто нарочно подослал его ко мне с ответом!.. Дивное дело!

Сегодняшний день закончился тревогой. Часу в одиннадцатом вечера, в час для Любочки совсем необычный, вбегает ко мне наша девочка и голосом, прерывающимся от волнения и испуга, восклицает:

— Дядя, милый! Мать Марфа сказала, что у нас в саду прячется какой-то оборванец. Она его сейчас видела.

Мать Марфа — полуслепая и глухая старушка, в числе других приютившаяся в одном из уголков нашей людской.

В одну минуту накинул я на себя пальто, схватил револьвер, фонарь и бросился в сад на поиски спрятавшегося оборванца. Схватил в руки палку и француз и тоже помчался мне на подмогу. Не отстала от нас и верная моя подруга и мигом очутилась рядом со мною в саду. Коля свистнул собакам, но собак дома не оказалось, кроме молоденького полущенка Рябки, готовой вилять хвостом перед кем угодно. Ночь темная, что называется, ни зги не видно. Холодно, ветрено; сосны шумят своими вершинами... Жутко! а тут еще и разбойник где-то прячется... Искали, искали, весь сад обыскали и никого не нашли. Пошли пытать мать Марфу.

— Ты когда его видела?

— Кого?

— Оборванца.

— Какого?

— Да что в саду спрятался.

— Это тот, что ли, про которого я Марине говорила?

А Марина, наша слуга премудрая, тут же стоит и трясется от страху.

— Тебе, — спрашиваю, — мать Марфа про оборванца говорила?

— Мне.

— Ну да, — кричу я матери Марфе под ухо, — тот, про которого ты Марине говорила.

— А, про того, — ответила старушка, — так тот, я видела, мимо нашего сада проходил. Это вчерась днем было.

Вот вам и — здравствуйте! Это значит, что мы сегодня ночью вчерашнего дня искали. Посмеялись над Мариной и над собой и вернулись домой успокаивать Любочку. Застали ее в кухне. Ляля замешивает к завтрему тесто на пироги, а Любочка ее уговаривает:

— Вот ты пироги месишь, а кому их завтра есть будет? ведь мы все лежать будем!

«Лежать» — на Любочкином наречии значит — убитыми быть. На этот раз тревога была ложная, слава Богу! Но под какими впечатлениями растут в наши дни, даже в Оптиной, наши несчастные дети!.. И вспомнилось мне тут, как в недавние дни в Петербурге рассматривал при мне один четырехлетний мальчик картинки субботнего приложения к «Новому Времени».

— Кто это? — спросил он меня, указывая на портрет только что назначенного министром внутренних дел Булыгина.

— Это, — говорю, — царский слуга, министр Булыгин.

— Его убили? — спросил ребенок.

Уж если «министр», так значит — «убили», вот что сложилось в головке современного ребенка как убеждение, вынесенное из опыта его детских впечатлений. Как измерить всю глубину бездны, на краю которой с ранних дней трепещет и замирает в наше жестокое время впечатлительное детское сердце?!

1 ноября. Воскресенье

Постриги. — Зима стала.

Сегодня за поздней Литургией постригли в Ангельский образ четырех рясофорных послушников. Народу на этом торжестве было много. Было торжественно и умилительно. На француза постриг произвел большое впечатление. Сегодня в 4 часа дня он уезжает на новое место жительства: Оптинский период его жизни кончился, наступает новый. Помоги ему, Господи!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Зима стала: два градуса мороза и снегу на пол-аршина. Прощай, золотая осень!..

6 ноября

Беспокойно мое сердце. — Вести из деревни. — Кончина монахини. — Два міра.

Второй день беспокойно мое сердце, а причины беспокойства не вижу: мір тот же, мы те же, а между тем что-то тревожное подступило к сердцу и давит его, и жмет. Духа уныния не даждь ми, Господи и Владыко живота моего!..

По случаю снежных заносов сегодня не пришла почта. Один день проведен без известий из внешнего міра, и то слава Богу! День проведем и не будем в событиях внешних расшифровывать тайну духовного их значения, не будем догадываться о том, что скрывают в себе эти события, чередующиеся теперь с такой головокружительной, безумной быстротой...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Отец Варсонофий не принимал сегодня и передал нам через келейника заочное благословение. Жена с Любочкой пошли на благословение к старцу, отцу Иосифу, а я остался их ждать у скитских святых ворот. Подполз ко мне на своих «культяпках» безногий Зиновий — «Зиневей» по-простонародному (это в Скиту как бы состоящий на вакансии второго привратника калека с отнятыми, отмороженными ступнями).

— Каково, — спрашиваю, — съездил, Зиневеюшка?

А он отпрашивался на три дня в деревню к дочери и только что оттуда вернулся.

— Лучше, — отвечает, — и не спрашивайте: три дня в деревне прожил — три дня в аду прокипел. Судите сами: старшина пьян, староста пьян, и все село пьяно. Такая, прости Господи, идет разволока, что надо быть хуже, да некуда.

— С чего же, — спрашиваю, — они пьянствуют? с каких радостей?

— Не с радости, батюшка, а с отчаянности, оттого, что от работы отбился народ: в господа все выйти захотели, никого не понимают[1] и ничего знать не хотят. Одно слово: пропадает Рассея.

А я-то было порадовался, что день пройдет без впечатлений от внешнего міра!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Показывал мне сегодня один из наших старцев письмо, полученное им от духовной дочери, монахини. Пишет:

«Уведомляем вас, родной наш батюшка, что ваша духовная дочь, новопостриженная монахиня Таисия Т. 29 октября мирно и тихо скончалась в 40-й день по пострижении. Причастилася около 9 часов утра, а полчаса одиннадцатого кончилась. Это за молитвы старцев Господь ее удостоил такой праведной кончины. Накануне смерти ее приобщал наш батюшка. Она попросила его на завтрашний день, то есть на сороковой день по пострижении, еще ее причастить, а келейным сказала:

— Я не нынче умру, а завтра. Я просила Матерь Божию умереть мне на сороковой день по пострижении.

29 октября у нас ежегодно бывает торжественный крестный ход по городу в память избавления города через Боголюбскую икону от моровой язвы. Боголюбская икона явилась тогда на воротах одного жителя нашего города, и трикратно в сонном видении Матерь Божия приказывала ему служить молебен этой иконе, обещая избавить город от смертоносной язвы. В этом же месяце приносят к нам из Вышенской пустыни и чудотворную Казанскую икону. И вот, когда крестный ход с этими иконами приближался уже к нашей обители и начался звон, вот тут-то мирно и тихо и скончалась наша мать Таисия. Она просит ваших старческих молитв за нее, чтобы ей пройти воздушный трудный путь безбедно за вашими отеческими молитвами...»

[1] Не признают никакой власти.

Вот они два міра рядом: наш христианский с матерью Таисиею, уходящей в лучший мір в назначенный день, под праздничный трезвон колоколов крестного хода, и тот мір, где «все пьяны» и где «все захотели в господа выйти».

Что между ними общего?

13 ноября

I. Еврейский вопрос

Много работал это время над выяснением вопроса о «тайне беззакония» и об «антихристовой печати». Наступившая зима сковывает ледяной рукой волны моей «Божьей реки», наносит метелями на ее берега такие сугробы, что ни пешему пройти, ни конному проехать. Самое время для того, чтобы зарыться в книги и с головой погрузиться в кабинетную работу.

Передо мной капитальный труд по раскрытию тайны масоно-еврейского заговора против христианского міра. Зовется он «Problema de l'heure presente» — «Задачи данного момента». Принадлежит он перу уже не раз упоминавшегося мной монсиньора Делассю, доктора-богослова и прелата-каноника епархии Камбрэ[1]. При общеизвестном масоно-еврейском засилии во Франции нигде в міре, как в этой несчастной стране, не развита так антимасонская литература; но с точки зрения христианских идеалов и чаяний только один Делассю взглянул на этот жгучий современный вопрос с той высоты, с какой только можно охватить его во всей полноте объема.

«Еврейский вопрос в наши дни, — пишет Делассю, — поставлен в первую очередь. Важность этого вопроса возрастает за последнее пятидесятилетие, можно сказать, не по дням, а по часам. Изучением его заняты и богословы, и философы, и историки, и политические деятели, и экономисты, и даже общество. Сколько уже появилось

[1] На севере Франции.

трудов, доказывающих всю важность задачи, поставленной еврейством міру! Особенно же много стало появляться таких исследований с тех пор, как Эдмонд Дрюмон[1] направил в эту сторону общественное внимание своими разоблачениями французского и всемирного еврейства.

Что же представляет собою еврейство?

Вопрос этот[2] в наше время с особой настойчивостью занимает все умы, внимательные к тому, что совершается в міре, и озабоченные будущностью своего отечества.

«В детстве моем, — говорит Жюль Леметр[3], — я знаком был с евреями только по литературным произведениям и склонен был окружать их некоторым поэтическим ореолом. Мне они казались живописными, и чувства мои к ним были те же, как к итальянским «pifferari»[4] или к цыганам... Я знал, что их когда-то подвергали гонению, и это меня умиляло. Я был убежден в том, что в этом именно и заключается объяснение и оправдание их наиболее заметных пороков... Несравненный труд Дрюмона «La France juive» («Ожидовленная Франция») переубедил меня, но не вполне. Мне виделся в нем некий свет, чудесно проникающий в темноту вопроса, удивительное прозрение историка, но все же в труде этом мне чудилось некоторое преувеличение, гиперболичность. В то время, сказать правду, у меня были кое-какие дружеские отношения в еврейском міре, и когда мне в моих фельетонах приходилось говорить об Израиле по поводу театральной пьесы или романа, я это делал с чрезвычайной осторожностью, подчеркивая свое беспристрастие. Впрочем, я был искренен: я боялся быть несправедливым».

Таково несколько лет тому назад было настроение умов большинства французов. Теперь оно стало совершенно иным.

---

[1] В замечательном труде «La France juive».

[2] Вся эта статья есть перевод из указанного труда Делассю.

[3] Известный французский критик и писатель.

[4] Бродячие музыканты.

Тот же академик Жюль Леметр пишет теперь так: «Евреи — я говорю не о всех, а о большинстве — те, по крайней мере, из них, которые на виду у всех, которые «делают шум», — все они открыто за эти десять лет стали соучастниками, более того — вдохновителями и господами самого подлого и обидного для нас режима, того режима, который пробудил с особой силой низменные страсти и в то же время обманным образом не дал им удовлетворения, того режима, который почти отнял оружие у национальной обороны и предал гонению французскую Церковь. Дух масонства, как известно, есть дух чисто еврейский. Яснее ясного, что еврейский дух в своей сущности, внушающий ненависть к церкви, прививающий нам варварскую утопию коллективизма и интернационализма, такой дух не сулит нам ничего, кроме гибели.

Странный народ, — восклицает Жюль Леметр, — загадка истории! Около двух тысяч лет прошло, как у него не стало отечества, но что-то в нем есть, что не дает ему усыновиться другому и с ним слиться, как со своим собственным. Это начинает, наконец, возбуждать тревогу, это делает евреев помехой во всех отечествах.

Что касается, в частности, нашего отечества, т. е. Франции, то Эдуард Дрюмон только и делает в последние пятнадцать лет, что обращает внимание своих многочисленных читателей на разлагающее влияние этой расы, чужой и земле нашей, и нашей вере, и нашему языку, нашим традициям и, несмотря на это, ставшей среди нас наиболее влиятельной. Власть над нами теперь в руках этой расы, и этой властью, которую мы допустили вырвать из рук, она пользуется только для нашего развращения, для разрушения взаимной нашей связи друг с другом и с нашими предками — словом, для того чтобы нас всех разъединить и в ближайшем будущем стереть Францию с лица земли.

Утверждая это, мы только повторяем слова самого еврейства. В наше время наиболее его ярким представите-

лем в нашей стране является Бернард Лазар. Он был душой дела Дрейфуса, и ему в награду за это дело в Риме гражданские и военные власти воздвигли памятник. Этот господин написал книгу под заглавием «Антисемитизм, его история и причины его возникновения». В этой книге самоопределение еврея выражается в таких словах: «Я — еврей и, следовательно, разрушитель и паразит. Как таковой еврей нападает на все народы, которые ему оказывают гостеприимство, и все свои усилия направляет на их дезорганизацию всеми способами, какими только может располагать. Когда христианство в конце средних веков вновь открыло ему свои двери, еврей создал протестантизм. Когда протестантизм, показалось ему, начал приходить в известный порядок и становиться менее фанатичным, тогда еврей устроил масонство. Когда король Франции даровал еврею права, он в благодарность за равноправие снял с короля голову. Французская нация присоединилась к великодушию своего короля в отношении к еврею — еврей ответил ей разорением всего, что составляет сущность нации. Европа в подражание Франции поступила с евреем с тем же великодушием, тогда еврей стал выкачивать деньги из Европы и сеять во всех народах социальную революцию. Франция, наконец, представила себе, что еврея можно обезоружить, доверив ему свое богатство, управление, народное образование, магистратуру, армию, торговлю, даже народные развлечения: еврейство ответило на это полной ликвидацией своей благодетельницы.

Таково естественное и роковое назначение еврейства».

Значит ли это, что мы желаем навлечь на евреев ненависть христиан? Избави, Боже! Для нас современный еврей не есть отпрыск Иуды, а только верный последователь фарисейства и диких противообщественных преданий Талмуда. Он не еврей, а *жид*, сектант-талмудист.

Нам нужно всегда помнить, что собою некогда представляли евреи и чем они еще будут, по слову Священного Писания.

Еще в зачатии своем будучи предызбран Богом для великого предназначения, которому он при самых тяжелых условиях сохранил верность, жестоковыйный народ еврейский в течение двух тысяч лет в самом центре языческого идолослужения пребыл упованием и честью народов, хранителем наследия Божественных обетований, исповедником Бога истинного, блюстителем веры, правды, поклонения в духе и истине Отцу, Иже на небесех, и благодати ожидания Спасителя міра. От самого Бога еврейский народ получил свой непорочный закон, уже заключавший в себе семя того совершенства, которое имело раскрыться в Евангельском благовестии; патриархи его, его пророки и великие цари были верными вестниками небесных откровений: их пророческое слово и пример поддерживали на должной высоте уровень веры и добродетели, чтобы он, спустившись ниже, не допустил неблагочестию и развращениию ввергнуть человечество в бездну проклятия и смерти. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Иуда, Моисей, Давид, Соломон и другие были прообразами Обетованного Мессии, Предвечного Слова Божия, имевшего воплотиться и вочеловечиться в Сыне того же еврейского народа, избранного для наивысшей славы, какою только Бог мог увенчать человечество.

И Приснодеве Марии, совершеннейшему созданию Божию, Чистейшей, Святейшей и Честнейшей горних Воинств, непорочной Матери Божией, надлежало тоже произрасти от корня Иессеева, и в Ней должны были прославиться и Девора, и Юдифь, и Эсфирь, и Сарра, Ревекка и Рахиль, и Анна, матерь Самуилова, воспетые и прославленные Божественным Писанием как провозвестницы и прообразы того высочайшего и неизобразимого совершенства святости, которому было предназначено

преклонить небеса и в девическое чрево Свое принять Слово Божие.

Это необходимо знать и помнить тем писателям, которые могли бы заслужить полное наше одобрение, если бы только в обличениях своих не преступали меры и не возносили хулы на имена, прославленные и Церковью, и Самим Духом Святым как достойные нашего преклонения.

До дней Господа Иисуса Христа еврейский народ пребывал в истине. Народ Божий как семя Авраамово был увенчан и освящен святостью Христовой. Соединив его с Собою неразрывными узами Своего вочеловечения, Господь тем самым поставил его в предмет почитания и признательности всем народам и племенам земным до скончания века.

Но между новым и древним Израилем богоубийство ископало пропасть, которую заполнить может только милосердие Божие, когда совершено будет дело правосудия. Тем не менее, и здесь необходимо иметь в виду, что истинное семя Авраамово, покорное и верное духу закона, познало время его исполнения: истинные и благие израильтяне, чьих сердец не коснулся обман, пришли к Тому, Кого ожидали их отцы в своих упованиях и молитвах. Этот Израиль исшел из храма, когда завеса его раздралась надвое, когда кафедра синагоги превратилась в место проповедования погибельного лжеучения, исполненного ненависти и лжи, а не закона Моисеева. Апостолы, ученики, новообращенные в день Пятидесятницы и все те, кто впоследствии вступил в ограду Доброго Пастыря, — вот кто были истинными чадами Авраама, отца верных. Они-то во главе со святыми первоверховными апостолами Петром и Павлом были основанием Церкви, краеугольным камнем Дома Божия, которому суждено было заключить в себе весь міp. Они — отцы наши в вере, и мы от них ведем свое происхождение не по плоти и крови, но по духу, привившись верою, по милосердию Божию, к доброй маслине, корень которой в сердце Самого

Господа Иисуса Христа. Таким образом, для отпавших евреев Авраам, Моисей и Давид то же, что для них св. апостолы Петр, Павел, Андрей, Иаков, Иоанн и прочие святые апостолы, не ближе, чем Приснодева Мария и св. Обручник Иосиф: они наши, а не их.

Голгофа расколола еврейский народ надвое: с одной стороны ученики Господа и все христиане, откликнувшиеся на зов их и составившие с ними одно тело Христово — Церковь, а с другой — палачи, богоубийцы, на чью голову по их призыву пала кровь Праведника, обрекая их проклятию до тех пор, пока будет длиться их противление.

Но в проклятой Богом части древнего Израиля, в современном еврейском народе, видимо обособленном от всех прочих народов и пребывающем под проклятием и гневом Божьим, сохраняется все та же его прежняя сила упругой стойкости, эластичной и легкой, но непокорной и пламенной; он и теперь все тот же, каким его сделали богоубийство и праведное возмездие за его безмерное преступление: он — неумирающая добыча в когтях вечно грызущей его и озлобляющей ненависти, понуждающей его без отдыху и сроку бороться из всех сил и всяким оружием против Спасителя, Которого он распял, против человеческого рода, который ему омерзителен, но более всего против Церкви, унаследовавшей вместо него благословение, которым он пренебрег и от которого отрекся.

Жид уже давно отступил от Моисеева закона, не принял он Евангелия. Он хранит Библию вопреки своей воле, чтобы осуществилось через него промыслительное милосердие Божие, доверившее ему хранение священных книг Ветхого Завета в целях непререкаемого удостоверения их истинности; но не в Библии черпает он и закон свой и веру, а в талмуде, возводящем в закон ненависть, самую бешеную, самую предательскую, самую непримиримую. Талмуд и Евангелие — это такие же противоположности, как преисподняя и небо, как сатана

и Господь наш Иисус Христос. Восемнадцать уже веков прошло с тех пор, как народ этот, наиболее упорный и неподатливый из всех народов, живет и дышит этой ненавистью. Ненависть эта, скрывая себя под разной личиной, присосалась с настойчивою ловкостью ко всем бунтам человеческого разума против Бога, Христа Его и против Церкви. Иудаизм проник в самую Церковь со дня ее основания с целью внести в нее смущение, разделение и ересь. Это было делом Симона-волхва, гностиков, Манесса, последователей их и подражателей. И в последующие времена жид во всех ересях является их покровителем, если не вдохновителем. И чем ближе кто стоит к изучению жидовской деятельности, тем яснее видно, что этот народ замешан решительно во всем том, что является противлением Духу Божию. В средние века жид предает христиан магометанам, несмотря на то что как в Испании, так и на Востоке мусульманство относится к нему с одинаковым презрением. Он и с альбигойцами против католиков, и с протестантами, и со свободомыслящими, и с якобинцами, и с социалистами, и с фран[к]масонами, и с нигилистами, подобно коршуну на поле битвы: сражаются другие, а он летит после резни на готовые трупы. И тем не менее Церковь всегда являлась для жида охраной от чрезмерного, хотя и законного, негодования обманутых им, ограбленных и изменнически преданных им народов. Церковь знала и знает все, что непрестанно против нее и против верных замышляет жид-каббалист, жид-чернокнижник, жид-ростовщик, шпион и предатель; но она не забыла его древней славы и ждет обетованного этому народу обращения, почитая в нем невзирая ни на что обломки народа избранного, народа Божия. Но, как мать осторожная и бдительная, Церковь для верующих чад своих установила по отношению к жидам правило, по которому, при условии сохранения им жизни и безопасности, запрещалось иметь с ними общение. И не будь пренебрежен этот мудрый закон современными

правительствами, не существовало бы и еврейского вопроса, не возник бы вопрос и социальный, а если бы и возник, то с разрешением его можно было бы легко справиться, не было бы ни Дрейфуса, ни прочих жидов, роковых для государств своими преступлениями.

И все-таки, каковы бы ни были их измены и злодеяния, всякий добрый христианин обязан иметь по отношению к жидам хотя бы малую долю тех чувств, которые изображены святым апостолом Павлом в таких словах: *Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы... и от них Христос по плоти, Сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь...* (Рим. 9, 1–5.)

Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение (Рим. 10, 1).

17 ноября

II. Жидовский закон со дней рассеяния еврейского народа и до наших дней.

Продолжаю выписки из Делассю.

«От дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и до наших дней истинным и единственным источником ортодоксальной правды и права для жида является не Моисеев закон, а талмуд. Весьма известный жидовский писатель Зингер подтверждает это такими словами: «Всякий, кому мнится, что он по Библии знаком с нашей религией, находится в полнейшем заблуждении. Религиозная жизнь еврея, начиная от первого его вздоха и до последнего издыхания, регламентируется творениями еврейского гения, создавшими все огромное здание талмудистского законодательства». Таким обра-

зом, по свидетельству самих же жидов, глубоко ошибаются те, кто принимает Ветхий Завет за свод религиозных законоположений для современного нам жида: свод его законов — это талмуд, который, по выражению Чиарини, «только для того и создан, чтобы во имя якобы Вечно-сущего затемнить здравый смысл и развратить сердце и его последователей».

В журнале «Univers Israelite»[1] (см. август 1866, XII. С. 568–570) так пишет о талмуде великий раввин Тренель, директор раввинской семинарии: «У Талмуда во все времена бывали и злобные хулители, и страстные апологеты. Он служил в течение двух тысяч лет и теперь продолжает служить для израильтян предметом священного почитания как свод законов их религии».

Но что такое талмуд?

Талмуд есть сборник, начатый неким Иудой-раввином приблизительно 150 лет спустя после смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, продолженный другими раввинами и оконченный только лишь в конце V века.

Сущность талмуда открыта нам ученым раввином Драхом, обратившимся и крещенным в христианскую веру. Вот что он пишет по этому поводу: «О талмуде я буду говорить как лицо, много лет, по положению своему, его преподававшее и объяснявшее его учение после долголетнего специального его изучения под руководством знаменитейших современных ученых Израиля... Говорить я о нем буду с ясным знанием трактуемого предмета и с полным беспристрастием... Покажу его и со стороны, достойной одобрения, и с той, которая заслуживает осуждения... Талмуд, по раввинно-еврейской терминологии, означает «учение, доктрину». Талмуд, в тесном смысле слова, есть общий свод всего жидовского религиозно-нравственного учения, над созданием которого в различные эпохи трудились наиболее авторитетные уче-

---

[1] «Еврейская Вселенная».

ные Израиля, — *это полный свод гражданских и религиозных законов синагоги.* Объект талмуда — *толкование Моисеева закона сообразно с духом устного предания...»*

«Если, — пишет далее Драх, — добросовестному читателю талмуда *часто* приходится с прискорбием останавливаться над странными уклонениями от здравого смысла разума, отлученного от истинной веры, если чувство стыдливости много раз принуждено бывает скрыть лицо свое от мерзостей раввинического цинизма, если Церковь приходит в возмущение от безумных и отвратительных клевет, распускаемых богохульной ненавистью фарисеев о всех предметах ее религиозного поклонения, — то христианскому богослову есть что почерпнуть в нем из области драгоценных преданий и сведений, проливающих свет на многие из темных текстов Ветхого Завета, могущих убедить противников веры как в святости, так и в древности христианских догматов».

У талмуда есть две редакции — иерусалимская и вавилонская, последняя издана в целях исправления недостатков первой. По словам Ахилла Лорана, члена общества востоковедения, наиболее глубокого из современных исследователей знатока еврейского вопроса, «Вавилонская редакция талмуда представляет собою единственный по своей полноте и последовательности сборник, состоящий по крайней мере из двенадцати томов в полный размер печатного листа. Это полное собрание законоположений религии современных евреев, совершенно отличное от законодательств евреев ветхозаветных. В этом сборнике заключены все их верования, и в нем сокрыты все те тайные причины, которые непрестанно восстанавливают человечество против рассеянных остатков Израиля. Из талмуда и его комментариев и вытекают все химеры каббалы, опасные заблуждения магии, вызывание «добрых» и злых духов — вся та огромная куча нравственных извращений, которая исходит из религиозной системы древней Хал-

деи и Персии... Комментарии к закону уничтожают самый закон теми принципами злейшей ненависти, которые заключены в них и направлены против всех людей, не приндлежащих к составу тех, кого талмуд именует народом Божиим»[1].

Таким-то, следовательно, образом и явился талмуд высшим провокатором самых противообщественных нравов и вдохновителем самой необузданной ненависти евреев к христианам.

Тот же раввин Драх сообщает, что с тех пор как в Европе распространилось среди ученых знание древнееврейского языка, еврейские типографы из осторожности стали выпускать в талмуде места, содержащие в себе духовно-нравственные мерзости и отвратительные советы, направленные против христианской веры. Ради этой предосторожности в новых изданиях талмуда оставляются пробелы, заполняемые раввинами от руки, «что, — говорит Драх, — и случилось с находящимся в моих руках экземпляром талмуда».

Главная цель талмуда заключается в том, чтобы привить евреям веру в превосходство над всем человечеством своей расы, предназначенной для господства над всем міром, и предоставить ей всякие средства к достижению этого господства.

Вот что пишет по этому поводу в своей книге Мерсье[2]: «Здравомыслящие политики, — пишет он в 1786 году, — не сумели предвидеть всех дурных последствий, которые произвести мог внезапный взрыв в народе многочисленном и непоколебимо-упорном в своих взглядах, образ

---

[1] Laurent. Relations des affaires de Syrie, etc. T. 11. P. 52–353.

[2] Себастьян Мерсье (Sebastien Mercier) был одним из виднейших представителей ложной философии XVIII века и впоследствии членом Конвента. В 1771 году он издал странную по содержанию и по названию книгу, озаглавленную «2240 год, или сон, если только он кому-либо в действительности привиделся». В книге этой были отчетливо изображены все события, имевшие совершиться только лишь 18 лет спустя после ее издания... В книге этой, между прочим, есть

мыслей которого столь отличался от идей прочих народов по жестокости и фанатичности своей, ибо таков был закон их, даровавший им от основания міра пышные обетования владычества над всей землей на том-де основании, что все остальное человечество было только ее узурпатором».

«Евреи, — продолжает Мерсье, — смотрят на себя как на народ, существовавший ранее христиан и созданный для владычествования над ними; некогда соединятся под одним вождем, коему припишут чудеса, могущие поразить воображение и заставить принять народ еврейский самые невероятные и великие решения. К тому времени число их, рассеянное по Европе, достигнет приблизительно двенадцати миллионов и, поддержанные сородичами своими на Востоке, в Африке, в Китае и даже во внутренней Америке, они произведут на нас сильнейший натиск...»

Это брожение и взрыв еврейского могущества, предчувствованные Мерсье в 1786 году, мы видим теперь в полном развитии. Вот уже целый век с помощью революции жиды с удвоенной энергией работают для достижения идеала их расы, захватывая для этого в свои руки все живые силы народов, имевших неосторожность допустить их как равных в свое общение на христианских началах, тогда как жидовство не знает иной морали, кроме талмудистской.

Таким-то способом и достигли жиды во Франции не только господства, но даже тирании над нами во всех областях: политической, административной, банковской и финансовой, промышленной и коммерческой, в печати и в общественном мнении.

указание и на будущее пробуждение Японии и восприятие ею начал европейской жизни. Автор рисует почти с фотографической верностью современных нам японцев, видит их одетыми по последней парижской моде, описывает и войска их, обученные чужеземными инструкторами, и конституцию, созданную по образцу «Духа законов», и юстицию, основанную на трактате Беккарии о преступлении и наказании...

«Религиозный закон правоверного жида исполнен ненависти ко всему нежидовскому міру и требует полной от него обособленности, и тем не менее, — говорит Гужено де Муссо[1], — жид не сбежит от вас, ибо он живет вами; око его пожирает вас всего без остатка, ибо кража, ростовщичество, грабеж — все это права его над вами, дарованные ему его религией: ведь всякий не-жид в его глазах простое животное, неспособное пользоваться правами собственности, и для жида собственность этого животного есть воровство. Нет закона в законе жида, повелевающего уважать чужую собственность, даже самую жизнь неверного, т. е. не-жида. Каково бы ни было ваше к нему отношение — дружеское ли или враждебное, он все равно присоединится к вам, но ближним вашим не станет, как бы вы ему ни благодетельствовали, и считать вас себе подобным не будет никогда».

Одним словом — противообщественное учение последователей талмуда есть смерть христианской цивилизации».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

На этом пока прекращаю свои выписки из Делассю: зима стала, лед укрепился, и вновь явилась возможность заняться ловлей духовной рыбы в моей «Божьей реке», опуская мрежи в окна-проруби ее ледяного покрова.

21 ноября

(Введение во храм Пресвятыя Богородицы).

«Сей пшеницу, отче Тимоне!»

Годовой праздник Оптиной Пустыни. Ходили поздравлять старцев с праздником. Отец Варсонофий сообщил жене следующее.

[1] Gougenot des Mousseaux — один из известнейших писателей XIX века, яркий представитель обличительной литературы, направленной против масоно-еврейства.

— Приходит сегодня ко мне молоденькая монашенка и говорит:

— Узнаете меня, батюшка?

— Где, — говорю, — матушка, всех упомнить? Нет, не узнаю.

— Вы меня, — говорит, — видели в 1905 году[1], в Москве, на трамвае. Я тогда еще была легкомысленной девицей, и вы обратились ко мне с вопросом, что я читаю? А я в это время держала в руках книгу и читала. Я ответила: Горького. Вы тогда схватились за голову, точно я уже и невесть что натворила. На меня ваш жест произвел сильное впечатление, и я спросила: что ж мне читать? И тогда вы посоветовали мне читать священника Хитрова, а я и его, и его мать знала, но о том, что он что-либо писал, и не подозревала. Когда вы мне дали этот совет, я вам возразила такими словами: «Вы еще, чего доброго, скажете мне, чтобы я и в монастырь шла». — «Да, — ответили вы мне, — идите в монастырь!» Я на эти слова только улыбнулась, — до того они мне показались ни с чем не сообразны. Я спросила: кто вы и как ваше имя? Вы ответили: «Мое имя осталось в монастырской ограде». Помните ли вы теперь эту встречу?

— Теперь, — говорю, — припоминаю. Как же, — спрашиваю, — ты в монастырь-то попала?

— Очень просто. Когда мы с вами простились, я почувствовала, что эта встреча неспроста, глубоко над ее смыслом задумалась. Потом я купила все книги священника Хитрова, стала читать и другие книги, а затем дала большой вклад в Х...в монастырь и теперь я там рясофорной послушницей.

— Как же, — спрашиваю, — ты меня нашла?

— И это было просто. Я про свою встречу с вами рассказала все своему монастырскому священнику, описала

[1] О. Варсонофий возвращался тогда в Оптину из Маньчжурской действующей армии, куда он был командирован в качестве священнослужителя в одну из частей.

вашу наружность, а он мне сказал: «Это, должно быть, Оптинский отец Варсонофий». Вот я и приехала сюда узнать, вы ли это были или другой кто? Оказывается вы. Вот радость-то!

И припомнились мне тут слова преподобного Серафима, сказанные им иеромонаху Надеевской пустыни Тимону:

— Сей, отче Тимоне, пшеницу слова Божия, сей ее и на камени, и на песце, и при дороге, сей ее и на тучной земле: всё где-нибудь и прозябнет семя-то во славу Божию.

Вот и прозябает.

22 ноября

«Введение ломает ледение».

Со вчерашнего дня, с праздника Введения, температура резко изменилась: стало тепло (+3° Р) и полил дождь. Дождь льет и сегодня. В г. Верном цветут розы и сирень, а в Тифлисе дозревают вторые яблоки и сливы. В Крыму холода и снег.

Что-то нездоровится. Как бы не заболеть?!

4 декабря

Новопреставленный замерзший Иоанн.

Пришлось-таки прихворнуть. Дневник мой заждался меня. Сегодня опять принялся за него, но ненадолго: начинаем готовится к 7-му, ко дню святителя Амвросия Медиоланского — дню Ангела великого Оптинского старца Амвросия — не до дневника будет с Оптинскими службами.

Читал я сегодня у жертвенника за проскомидией свой помянник. Слышу иеродиакон о. Никон[1], все время читавший свой помянник полушепотом, вдруг возвысил голос и громко сказал:

---

[1] Ныне покойный.

— О памяти и оставлении грехов новопреставленного раба Божия Иоанна.

И добавил:

— Замерзшего.

Я спросил:

— Кто это?

— А помните, — ответил о. Никон, — к нам частенько похаживал Богу молиться молодой такой паренек, Иваном звать, глупенький мальчик, годов шестнадцати, вроде, как бы вам сказать, дурачка что ли. Его покойный отец у нас долго в рабочих жил.

— Это не тот ли, — спросил я, — что в монастырь все хотел поступить?

— Вот-вот, — обрадовался о. Никон, — он самый и есть!

Помянул и я новопреставленного Иоанна.

— Как же он, — спрашиваю, — замерз?

— Да в Оптину шел, сбился, видно, с пути, да так неподалечку от дороги и замерз, сердяга.

Живо вспомнил я тут этого мальчика с большими, точно какою-то радостью удивленными, глазами. Я часто видал его в оптинских храмах, где он чувствовал себя совсем как дома, для незнавших его даже и соблазнительно по-домашнему: стоит, стоит, бывало, кладет усердные земные поклоны, а там, глядишь, заложит руки за спину, подымет глаза и голову кверху, а то и задом к алтарю станет и пойдет себе расхаживать по храму, как у себя в хате. Последний раз я его встретил на крыльце кельи отца Варсонофия. Это было в конце нынешнего лета. Он сидел на скамеечке крыльца, а около него с доброй и снисходительной улыбкой стоял отец Никита[1], старший келейник о. Варсонофия, и о чем-то с ним разговаривал. В это время о. Варсонофий был на женской половине своей кельи, и я присел подождать его возвращения на скамеечке, напротив Ивана.

[1] Теперь (1916 г.) монах Макарий.

— Вот, Иван наш тоже ждет батюшку, — сказал отец Никита.

— А зачем тебе батюшка? — спросил я Ивана.

— Да хочу у него чайку-сахарку попросить на дорожку. Пора домой, а то и так я уж тут загостился.

И он улыбнулся во весь рот широкой улыбкой. Он и говорил, как улыбался, широко растягивая слова, точно шагал ими, как огромными не по ноге сапогами... Я дал ему двугривенный.

— Ну вот, спаси, Господи!.. Меня мать небось зaждалась теперь дома, — протянул он неожиданно.

— А на что ты дома нужен? — спросил его отец Никита.

— Я-то? А кому ж дома лампадки-то оправлять? Без меня некому: вишь народ-то какой стал! А у меня лампадки, как ударят в монастыре в колокол, так и зажигаются... Я вот, — сказал он, немного помолчав, — все в монастырь прошусь, а архимандрит смеется да говорит: подожди, Иван, поживи пока так, поработай, а там и к себе возьмем, будешь жить у нас. Только ты, говорит, приходи с матерью, а то, ну — как она тебя одного не пустит? — А я говорю: пустит!.. Он — ничего, архимандрит хороший, меня любит.

И он опять улыбнулся.

— Вот раб-то Божий! — заметил отец Никита.

— Не обижают тебя деревенские ребятишки? — спросил я Ивана.

— Не-е! зачем обижать, когда я сам никого не обижаю. Ну когда там и толкнут или побьют маленько, так это что за важность? Ведь это не с сердцов, а в шутку. За что меня обижать им? Нет, не обижают... Мне бы вот только у Воптину, к старцам!

Вот он теперь и у старцев, там, в небесной, торжествующей Оптиной...

Счастливец!

7 декабря

Странник Алексей. — История его жизни.

С благословения Старца причащались вчера, на Николин день. Из нашего дома было четверо причастников. Слава Тебе, Господи!

Третий день у нас живет 70-летний странник Алексей, родом из медвежьего угла Меленковского уезда, Владимирской губернии.

Кого-кого только за год не перебывает в нашем дорогом скиточке!..

Этот странник Алексей знаком нам с первой зимы нашей жизни в Оптиной. Было это в конце Рождественского поста 1907 года. Шли мы с женой, уже близко к сумеркам, заветной дорожкой из Скита к монастырю, направляясь к дому. Мороз был сильный. Слышу, поскрипывают за нами чьи-то скорые, решительные шаги. Не доходя до монастыря шагов пятидесяти, я обернулся и увидел уже рядом со мною нагнавшего нас рослого, плечистого богатыря — мужика на вид лет пятидесяти. Одет он был в куртку выше колен, шея повязана платком, на ногах суконные онучи и лапти.

— Барин, — окликнул он меня, — почитай-ка мне, что мне за грамотку дал старец Иосиф.

Я прочел. С этого и завязалось наше знакомство.

Понравился нам Алексей какой-то особой своей величавой простотой и необычайным спокойствием, изливавшимся из всей его богатырской фигуры, от всего древнерусского, былинного его обличья: недаром и родная деревня-то его неподалеку — оказалось потом, — была от «того славного города Мурома, от того ли села Карачарова, где славный богатырь Илья-Муромец сиднем сидел тридцать лет и три года». Древнебогатырское нечто было и в Алексее-страннике, и оно потянуло к себе сердце наше великим к Алексею тяготением. И речь-то у Алек-

сея была старинно-русская, беспримесно-крестьянская, своя, простая, здравомысленная.

Зазвали мы Алексея к себе в дом, поприветили, пожил он у нас денька три, а там и снарядили его опять в путь-дорожку, по самое смерть, как поведал он нам, обетную. С тех пор раз в год, в разное время, стал появляться странник Алексей в нашем доме. Поживет день-другой у нас в усадьбе или на монастырской «странной», поговеет, причастится и опять в путь на неопределенные сроки.

Не из числа обыкновенных история его жизни.

От отца Алексей остался ребенком восемнадцати месяцев. Вскормила и воспитала его с пятью братьями мать-вдова, и когда старшему из братьев исполнились годы идти в солдаты, Алексей тогда вызвался идти за него отбывать солдатчину. Стал он просить на это материнского благословения, но благословения не получил.

— Ступай, — сказала мать, — когда выйдет твой срок, наравне со всеми, по жребию: жребий — святое дело.

Так и не пустила. В солдаты Алексей не попал — вынул дальний жребий, и стал ходить по заработкам на сторону. Работал он и в Ярославле, и в Рыбинске, все более в крючниках: кули на баржи и с барж таскал на богатырских своих плечах.

— По триста кулей в день, — сказывал он, — за день таскивал.

А в куле пять пудов: полторы, стало быть, тысячи пудов вынашивала за день на себе могучая спина Алексея, зарабатывая своему хозяину до 15 рублей в сутки. Живал Алексей и на юге, — в Ростове-на-Дону, в Таганроге, — живал и на севере, на ответственных должностях, а где и на черной работе; всяких видов повидала на веку своем Алексеева молодецкая бурная юность, даже азиатской лютой холеры до трех раз отведала. Так жил Алексей той былью, которая не в укор добру молодцу, до 24 лет, когда мать решила остепенить беспутную головушку и выбрала Алексею невесту.

День свадьбы круто повернул жизнь Алексея, так круто, что не только от прежней его жизни, но и от него самого ничего старого не осталось. Родной по отцу дядя Алексея был известный всему околотку колдун, которого вся округа боялась пуще самого беса. Алексей, как человек бывалый, его не побоялся и на свадьбу не позвал.

Это был вызов как бы самому нечистому, за который пришлось поплатиться бедняге так, что, не знай мы подобных историй из житий святых, и поверить было бы трудно такой расплате.

Когда молодые с поезжанами вернулись из церкви в дом жениха и свадебный пир шел горой, пришел и дядя к племяннику на свадьбу; пришел незваный, непрошеный, страшный, поздравил молодых, зло усмехнулся себе в бороду и потребовал водки.

— У меня на ту пору, — рассказывал Алексей, — была в руках начатая полубутылка, я ему ее и отдал. Он выпил, потребовал еще, я отказал. Дядя глянул на меня, сверкнул глазами, ничего не сказал и молча вышел из горницы. И не успел он перешагнуть порога, как из сенец, вижу, лезет медведь и прямо на меня. Я только успел крикнуть: «Гляньте — медведь!» — уже больше ничего не помнил... Год семь месяцев после того пролежал я без памяти. Приходил я в себя только на короткое время и тогда впадал в такое исступление и бешенство, что со мной десяток дюжих мужиков едва могли справиться. Я рвал веревки, которыми меня вязали, как нитки, пока не удавалось меня опутать ими, как паук муху паутиной: уж больно силен я бывал во время своих припадков... Святых Таин сообщаться я не мог, святыни никакой не переносил и всюду, и во всем видел страшного колдуна-дядю.

— Вон он, — кричал я, — вон он стоит за окошком. Дайте мне топор, я срублю его!

— Нет, его тут, — говорят мне.

— Как нет? — кричу, — вон он! Вы-то его не видите, а я хорошо вижу. Подайте топор, я зарублю его!

И я рвался и метался, беснуясь и крича не своим голосом. Меня вязали, и я вновь впадал в беспамятство.

Так продолжалось со мною полтора года.

Когда на второй год пошел седьмой месяц, я опомнился, пришел в себя, но уже вышла тогда из меня вся сила, и я, как малый ребенок, остался прикованным к своему ложу: меня из рук кормили, поворачивали с бо̀ку на бок; ни рукой, ни ногой я двигать не мог, пошевельнуться не был в силах. Мать умерла с горя, а жена ушла. Взялась тогда за мною ходить Христа ради одна наша деревенская вдова, Марья: она меня и поила, и кормила, она же меня и обмывала. Прежних припадков беснования и злобы со мною не было, но святости я переносить по-прежнему не мог никакой, не мог причащаться и Святых Христовых Таин.

Так продолжалось ровно четырнадцать лет.

Когда исполнилось муке моей четырнадцать годов, пришел по лету к нам как-то раз старичок, пришел ласковый такой да и говорит:

— Ну, — говорит, — полно тебе хворать, будет лежать, пора и вставать! Я тебе, — говорит, — напишу письмо к одному человеку, а ты письмо это отправь на почту. Придет тебе на письмо это ответ, ты все, что прописано будет в том ответе, сделай и будешь здрав.

Написал тут при нас с Марьей старичок тот письмо, отдал его нам, попрощался и вышел.

— Подь, — говорю я Марье, — вороти старика! Как же это мы у него, — говорю, — не поспрошали: ни кто он, ни откудова? Догони, верни!

А старичок как сквозь землю провалился: так и не нашла его Марья — потуда только его и видели.

Письмо мы послали, а куда и сами не знали. Только дней через десять или поболе получили мы на него ответ, и пришел он от отца Иоанна Кронштадтского, а в письме том — прочли нам — писано было так: «Отправляйся к Оранской Божией Матери, отслужи Ей два простых молебна, а третий с водосвятием и будешь здрав.

Прочитали мне письмо... Идти! Куда идти? Лежал четырнадцать годов и теперь лежу как колода: ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу.

Прошло три дня. Опять заявляется к нам какой-то старичок. Обличье у него как будто другое, что у первого, а сердцем я чую, что он все тот же; чую — тот же, а допросить почему-то не смею.

— Что ж, — спрашивает, — есть тебе письмо?

— Получил, — говорю.

— Что ж там прописано?

— Велят, — говорю, — идти к Оранской Царице Небесной, да как я пойду, коль я недвижим?

— Ну, — говорит старичок Марье, — свези его в село да причасти. Причастит его священник, благословит идти — он и пойдет тогда себе с Богом.

Сказал старичок эти слова и вышел. Марья за ним, а его опять след простыл. Видно, не из здешних старичок тот был, не из земных, а из небесных, что не могла его в оба раза найти Марья.

И вот свезли меня на село, в дом к священнику; на дому у него меня причастили. Причастился я спокойно, как будто и не было во мне нечистой силы; только по холоду внутри себя чувствовал, что все еще сидит она во мне, не вышла, а только притаивается; но припадков, слава Богу, со мной никаких не было... Причастил меня батюшка и оставил у себя ночевать. Когда в доме все заснули, захотелось мне выйти для своей надобности. И думаю я: что мне теперь делать? как бы, никого не беспокоя, ухитриться мне сделать это самому? И вдруг почувствовал я в себе силу встать; встал, прислонился к стенке да по стенке к двери, в сенцы; с сенец на крыльцо, а уж как с крыльца сошел я, того и не помнил от радости. Пал я тут на коленки и залился слезами благодарности к Богу. Сколько времени я простоял на коленках, молясь и благодаря Бога, тоже не помню. Помню только, что пришел, взыскавшись меня, на двор священ-

ник и поднял меня с колен. С его помощью я легко добрался до постели. И что тут только было — радость-то какая! и сказать того невозможно, — можно только плакать на радостях; до сих пор плачу, как вспомню.

Стали утром мы у батюшки чай пить, я и говорю ему:

— Благослови мне идти к Оранской Царице Небесной!

— Что ж, — говорит, — коли уж раз пошел, так и иди с Богом: Бог благословит!

— Ну, — говорю, — будет надо мною милость Божия, так вы уж меня до году не ждите: пойду ходить по святым местам.

И вот пошел я от батюшки, и все дивились на меня, как это мог я пойти, пятнадцать с лишком годов недвижим пролежавши. И в первый день я за весь день прошел ровно две версты до ближней деревни. На другой день — больше, а чем дальше, тем больше; а там и вовсе стали развязываться мои ноги. Так дошел я до Кутузова монастыря[1]. В Кутузовом мне сказали: «Ждем к себе Оранскую Царицу Небесную».

— Где, — спрашиваю, — Она теперь?

— В селе Теплове, — говорят.

А Теплово-село от Кутузова монастыря 35 верст. Поднялся я раным-раненько, до свету, да и пошел к Ней, к Матушке, во весь ход, как только раньше совсем здоровый хаживал; и отмахал я эти 35 верст так, что в Теплово угодил к запричастному. А Она, Матушка, Царица Небесная, стоит в тепловском храме Своею чудотворною иконою и точно меня, окаянного, дожидается... Кончилась обедня, я и заказал служить три молебна — два простых и один водосвятный. И вот, когда за водосвятным молебном стали погружать крест, тут-то и схватила меня нечистая сила и брякнула меня оземь без памяти, но не могла устоять перед Владычицей: опустилась в моей утробе книзу и из пальцев ног вышла вон. С тех пор на ножных пальцах у меня нет ногтей: все пооторваны бесами, вы-

---

[1] Нижегородской губернии, Ардатовского уезда.

шедшими из меня чудом Оранской Царицы Небесной. Меня долго отливали водой, святую воду в рот лили и привели, наконец, в чувство. И когда я пришел в себя, то сразу почувствовал, что не стало внутри меня того страшного холоду, от которого я так страдал прежде, и стал я с той поры всем телом своим здрав, как вчера родился; только вот руки мои трясутся — нипочем работать не в силах, не только работать, а и ложки держать не могут. И возблагодарил я тут от всей души Матерь Божию за чудесное свое исцеление и из Теплова прямиком пошел в Дивеев[1].

Тогда в Дивееве еще жива была Наташа блаженная. К ней я и пошел, порешил так жить, как она мне укажет. Когда я пришел к ней, блаженная лежала в сенцах своей кельи. Приняла она меня ласково, всю жизнь мою мне рассказала, когда и где какой я грех сотворил, даже что я когда думал, и то мне сказала; а потом и говорит:

— Ну, — говорит, — иди теперь по святым местам. Нападется тебе один человек — он и наставит тебя, как тебе жить, а мне это не открыто.

С тем и отпустила.

И пошел я из Дивеева по святым местам: из монастыря в монастырь, из города в город, от одного Божьего угодника к другому, пока не добрался до Одессы. Верст по семьдесят выхаживал я за летний долгий день: так легок я стал на ногу — откуда только силы брались.

Из Одессы я пошел берегом Черного моря, и шел я так почти до самого Новороссийска. До Новороссийска мало не доходя, приостановился я в одном мужском монастырьке. Маленький был такой монастырек тот да бедный, и братии в нем было человек с двадцать. Задумал я в монастырьке том причаститься Святых Таин и пошел к духовнику на исповедь. Духовник попался старенький, звать Иосифом. Я и говорю ему:

[1] Серафимо-Дивеевский женский монастырь — там же.

— Поисповедуй меня, батюшка: завтра хочу причаститься.

А он мне:

— Нет, — говорит, — друг, неладно так-то: ты поговей-ка у нас денька три, походи ко всем службам, а там приходи исповедоваться: будешь, Бог даст, достоин, тогда и причастишься.

«Вот он, — подумал я, — тот человек-то, которого мне предрекла Наташа блаженная».

Походил я три дня к службам; пришел на исповедь к о. Иосифу, взял меня старец на дух да как почал меня разбирать по косточкам, так и выложил меня перед собою со всеми моими потрохами да грехами, как на ладони, — всего разобрал и, разобравши, дал мне такую заповедь:

— Ходи отныне по самую смерть твою, где б тебе ни привел ее Господь, хо́ди по святым местам. Ни о чем не пекись, ни о чем не заботься. Терпи зной, терпи стужу, голод, жажду, непогоду — все терпи ради Христа, и Он не оставит тебя, все подаст тебе через человека. Лишнего только ни от кого не бери, хоть бы и давали. Так на ходу и живи до самой смерти, так и спасешься.

Принял я заповедь эту, причастился, получил благословение старца и отправился в путь обратный.

Ровно через год, день в день как вышел я из дому, я и домой вернулся. Дома меня и в живых уж не чаяли видеть. И рады ж мне были дома, особливо Марья!

Ну вот, пришел я домой. Телом я совсем оздравел. Дом у меня хороший, земли много, даже лесу надельного без малого с десятину осталось: жить тут при всем хозяйстве да поживать, добра наживать! И затеял я заповедь старца своего нарушить: чего, подумал я, мне зря шататься, когда в доме у меня всего полная чаша? И остался я дома хозяйствовать. Но не прошло и году, как вновь посетил меня Господь: отнялись у меня руки и ноги и опять я по-прежнему свалился недвижим, прикованный

к постели. Ну, думаю, это мне за нарушение старцевой заповеди! Помоги мне только, Господи, встать с одра своего, — пойду тогда к старцу просить прощения да так уж, видно, до смерти и буду странствовать, пока Господь упокоит мои косточки. Порешил я так-то в уме своем и стал выздоравливать, а там, немного погодя, и вовсе оздравел. Отдал я дом свой и все свое хозяйство Марье, простился с нею и с братьями и пошел опять к Черному морю, к старцу своему Иосифу. Застал я его чуть живым и едва успел ему покаяться, как он, Царство ему Небесное, и помер. И вот тридцать уже лет с той поры прошло, а я все хожу и хожу, дожидаясь, когда благословит Господь освободить мою душеньку за святые молитвы старца моего Иосифа.

Такова история странника Алексея из сельца Сала-Большая, что на реке Оке, в 12 верстах от села Карачарова, где во дни Владимира-князя, Красна Солнышка, тридцать лет и три года сиднем сидел святорусский богатырь Илья-Муромец, свет Иванович.

8 декабря

Исцеление бесноватой в Сарове. — Не хочу быть «афиняниным».

Наш странник Алексей сказывал, что на Покров, в нынешнем году, он был в Сарове, и при нем и при других многочисленных свидетелях из одной бесноватой, которую он помогал подводить к источнику преподобного Серафима, вышло 107 бесов в образе мелких лягушек. Лягушка выскакивала изо рта бесноватой и тут же пропадала из виду.

— Ты один это видел?

— Нет, все, — ответил он, — видели.

Диковинно это для нашего брата, интеллигента, обремененного патентами на образованность: бесы, бесноватые, лягушки, выскакивающие изо рта и тут же пропа-

дающие из виду!.. Верить всему этому — это значить отказаться от патентов и привилегий, связанных со званием образованного или, как теперь принято называть, культурного человека; не верить — отречься от Христовой веры, от всей силы ее, воплощенной в житиях святых ее подвижников, где немало примеров из жизни духа таких, которых тоже не могут вместить в своем убогом интеллекте современные «афиняне».

Не хочу быть «афинянином», хочу быть с «буими», хочу быть с теми, кому открыты тайны царствия Божия, а не с теми, к кому обращены только притчи!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Ночью шел сильный дождь. Температура, все дни колебавшаяся между плюс один градус Реомюра и два, сегодня повысилась до плюс четырех градусов. Алексей, собиравшийся уже уходить, отложил уход свой до завтра.

Сейчас (9 часов вечера) стало немножко подмораживать.

9 декабря

Алексей — Божий человек. — Странная история. — Циклон в Москве и юмор Алексея.

Сейчас (10 часов 45 минут утра) ушел от нас в свой обетный путь-дорогу странник Алексей. Всем нам, от мала до велика, вошел в душу этот раб Божий; даже со слезами кое-кто из наших проводил его за ворота. Что хорошо в нем, так это простота его обхождения с людьми, простота сердца, отсутствие того, что так мне не по духу во многих ему подобных, — это плохо скрываемое стремление выдать себя за кого-то великого, прозорливого, свыше одаренного, облагодатствованного и уж конечно святого. Народ зовет таких «пустосвятами». Вот этого-то пустосвятства и не было и тени в этом Божием

человеке — недаром и имя-то ему Алексей, что носил Алексий, человек Божий.

Перед прощаньем и сборами вышел Алексей к нам в столовую, присел и говорит мне:

— Рубахи у меня на смерть нет. Есть одна чистая, да негожа — красна.

Жена принесла мою белую ночную.

— Вот эта гожа!

Взял, спрятал, перекрестился на иконы, поклонился нам в ноги, расцеловался со всеми, взял в руки палку, вскинул за плечи котомку...

— Прощайте!

И заскрипел своими лапотками по подмерзшему за ночь снегу.

Ангелы в путь тебе, Алексеюшка!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сказывал странник Алексей.

«Переходил я нынешним летом из Новгородской губернии в Тверскую. Уже в Тверской губернии зашел я в одну деревню, закусил, попил чайку, отдохнул маленько и собрался идти дальше, по направлению к Кашину. Спрашиваю у хозяев, где останавливался:

— Далече отселева до следующей деревни?

— Да, — говорят, — не то наберется десять верст, не то нет.

— А какова, — спрашиваю, — туда будет дорога?

— Две, — говорят, — версты полем, да лесом верст с восемь.

Ну, думаю, пути мне этого часа на полтора, не более...

Вышел я из деревни часов около двух после полден и пошел себе полегоньку дальше. Прошел указанные мне две версты полем. Начался лес. По солнцу гляжу, шел я никак не больше получасу, и час, стало быть, был третий в половине. День был ясный, солнечный, и солнце еще высоко стояло на небе. Под самым лесом, вижу, идут впере-

ди меня два человека. Не стал я их нагонять, — надобности мне не было, — иду себе потихоньку сзади: не люблю я в пути компании. Прошел с версту лесом. Вдруг темнеть стало, как будто к ночи. Что, думаю, это за притча такая? Прибавил ходу, обогнал тех двоих; прошел еще с версту — и стало вовсе темно: ночь настала. Дорога пошла низом по сухому болоту, а тьма — хоть глаз выколи. По моему ж расчету, не больше на дворе было как час четвертый на исходу, и до вечера, стало быть, часов пять было в запасе. И такая темная тут ночь настала, что и поздней осени и той впору. Чувствую — сбиваюсь я с дороги: пни какие-то стали попадаться под ноги, кочки, и место сыреть стало — того и гляди угодишь в болото и поминай как звали! Жутко мне стало. Хоть бы, думаю, на жилье какое напасть!.. И взмолился я тут Николаю Угоднику: Никола милостивый, спаси! помрешь тут без покаяния, и костей твоих в этакой-то трущобе не разыщут — спаси, батюшка!.. Глядь, а в сторонке, неподалечку, как будто на пригорочке блеснул и загорелся огонек. Я — на него; вижу: стоит махонькая избушечка, а из окошка свет светится. Подошел я к оконцу, заглянул в избушку: хатка такая маленькая, образа в углу; перед иконами лампада теплится, и стоит старичок старенький, Богу молится. Постучался я в дверцу, помолитвился. Вышел старичок; в руках свечечка.

— Кто ты, — спрашивает, — раб Божий?

Я назвался.

— Пусти, — говорю, — переночевать, дедушка!

А тут, гляжу, подошли те двое, что я обогнал по дороге, и тоже к старичку на ночлег просятся.

— Ну, — говорит старичок, — двоих, так и быть, пущу (он указал на меня и на одного из них), а ты, братец, — сказал он другому, — и сам к себе никого ночевать не пускал, за то и я тебя к себе в избу не пущу: ночуй наружи под оконцем. Только, — говорит он нам, — братцы, ни я спать не буду, ни вам не велю: молитесь со мною все вместе до рассвета.

Вошли мы двое к старцу в избушку, а тот, третий, остался наружи. И всю мы ночь со старичком этим чудным промолились, и не было в нас устатку: век бы так весь молился!.. Стало светать; загорелись солнышком макушки деревьев. Простился я со старичком и пошел отыскивать дорогу, а поспросить его, кто он и откуда и давно ли здесь спасается, побоялся. Не прошел я и версты, а деревня, куда я шел, тут же, гляжу, под боком. Подивился я тому и спрашиваю первого встречного в деревне:

— Что за старичок тут у вас в версте от вас, в лесу живет?

— Какой, — говорит, — старичок? где?

Я показал на лес.

— Никакого там старичка не живет и не жило.

— Да в изобочке, — говорю, — такой махонькой?

— И изобки от нас близко, — говорит, — никакой не было и нету.

Подивился я сам в себе и пошел ни слова не говоря разыскивать сам ту избушку. Искал, искал, так и не нашел ни старичка, ни избушки, а ведь место, где она стояла, я хорошо заприметил и дорогу к ней запомнил — так и не нашел ничего»...

— Не заснул ли ты дорогой, Алексеюшка? — спросил я, — не во сне ли тебе все привиделось?

— Эва, что сказал! — возмутился Алексей, — заснул! Середь бела дня да спать? Я ведь после отдыху, чать, вышел и двух часов полных не успел пройти: когда ж тут спать было?

— Так что ж это с тобой было? — спросил я, — ты-то сам как об этом думаешь?

— Что тут думать? — воскликнул Алексей, — тут двух разов думать нечего: было это мне вражье наваждение, а спас меня от него Святитель Николай. Он и был самый тот-то, с кем мы всю ночь Богу промолились.

— Да ведь вас было трое, не ты один: так, стало быть, и тем двоим было то же вражье наваждение?

— Вестимо! а то как же?

— А они как об этом думали?

— Да я их потом не видел. А если бы и видел, так не стал бы их думок выпытывать: не велик я охотник до расспросов-то да до пустых разговоров, — ответил мне Алексей и перевел беседу на какую-то обыденщину.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Записываю я эту повесть странника Алексея и думаю: кому доведется ее от меня услышать, не скажет ли он: «Не любо — не слушай, а лгать не мешай?»

Пусть скажет, пусть не верит, а я? я верю.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Во время чудовищного циклона, сокрушившего в 1903 году часть Москвы, Сокольничью рощу и часть московских окрестностей, наш Алексей шел из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Страшная буря эта захватила его под Мытищами. Что было во всем этом дьявольском урагане необыкновенного, то многим памятно и по газетным известиям. Интересно мне то, что замечено было Алексеем как очевидцем.

— Меня самого, — сказывал он, — подняло высоко, высоко. Я уж думал, что мне тут и конец пришел. Однако на этот раз Бог помиловал, спустило на землю так легко, что я едва зашибся. Две зыбки[1] с малютками перенесло из разрушенных домов одной деревни за полторы версты в другую, а младенцы как спали, так и остались спать в своих зыбках. Один железнодорожный рабочий был застигнут бурей на рельсах. Он упал на полотно и схватился обеими руками за рельс; его подняло на воздух вместе и с рельсом. Этого здорово пришибло... А то видел я: сорвало с какого-то господина шляпу; шляпа от него, он за ней... Схватило тут на доме железную крышу, свернуло листы, закатало и катит их бурей

[1] Колыбельки.

прямо за тем господином. Только он наклонится, чтобы схватить шляпу, а крыша его по заду хлоп — он растянется, а шляпа — дальше. Подымется он, бросится бежать опять за шляпой, а крыша его опять — хлоп!.. Уж и не знаю, догнал ли он свою шляпу... Но все это поначалу только смешно было, а потом что было, — и вспомнить жутко!.. Кончилась буря; дошел я едва жив от страху до Мытищ; бежит мне навстречу дачница, перепугана насмерть и кричит мне:

— Ты откуда?

— Из Москвы.

— Как там?

— А у вас?

— У нас такой страх, такой страх, что я уж ни за что теперь на дачу не поеду!

Не без юмора раб Божий, наш Алексей-странник...

12 декабря

Святитель Спиридон Тримифунтский — друг наш. — Ужасы жизни. — Дьяволово отродье и сыны тьмы.

Со вчерашнего дня пошел снег, и температура к нынешнему дню понизилась до 5 градусов Р. Стало похоже как будто на зиму.

Ходили к обедне благодарить святителя Спиридона Тримифунтского за постоянные его к нам милости: сегодня день его святой памяти, и в нашей жизни не было еще случая, когда бы он отказал нам в своей помощи, по вере нашей, в дни хозяйственных наших затруднений.

У жены моей была одна знакомая старушка генеральша, любившая святых Православной Христовой Церкви как близких своих родных и знакомых. У этой рабы Божией часто с уст срывались такие речи:

— Я очень люблю Преподобного Сергия и Святителя Николая, ну а Святитель Спиридон это уж такой друг мой, такой друг...

И вся святая жизнь этой мирской праведницы прошла живым свидетельством того, что друзья ее из горнего міра были близки ей еще больше, чем друзья из міра здешнего, несмотря на всю силу любви к ней всех, кто только ни приходил в соприкосновение с этой святой и чистой душенькой.

Так и для нас: святитель Спиридон уж такой друг наш, такой друг, что и выразить невозможно!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Но что за ужасы творятся теперь на свете! «По случаю храмового праздника, в церкви хутора Казанского, Орского уезда[1], — так пишут в № 273-м «Русского Знамени», — было много молящихся. Служил уважаемый и любимый прихожанами священник, о. Василий. Причащаясь в алтаре, о. Василий заметил горьковатый вкус Св. Таин, но не придал этому большого значения, хотя попросил псаломщика попробовать вино. Последний, выпив немного, подтвердил, что вино испорченно. Затем они благополучно окончили Литургию и начали молебен. В средине молебна священник почувствовал себя дурно и, заявив псаломщику, что он не в состоянии дослужить молебна, просил скорее помочь разоблачиться. Выведенный за ограду церкви, священник, по словам «Биржевых Ведомостей», упал; начались страшные судороги. Прихожане унесли его домой, где он в страшных мучениях умер. Последними его словами было: «Умираю от яда. Берегите потир». Через несколько часов после смерти священника начались судороги и у псаломщика. Его удалось спасти. Как яд попал в вино, не установлено.

Страшное известие это «Русским Знаменем» перепечатано из жидовских «Биржевых Ведомостей». Возможно, что жиды это известие могли и выдумать с целью соблазнить немощных в вере. Но каково время, если на-

[1] Оренбургской губернии.

ходится почва для зарождения подобных слухов в стране Православной!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Дьяволово отродье — террористы, эти наемные убийцы, 8 декабря бомбой предательски разорвали на части начальника Петроградской охраны Карпова, а в Государственной думе некий Кузнецов[1] позволил себе сказать о Государевом правительстве следующее: «Мы не уверены, что у представителя Министерства внутренних дел, являющегося сюда, в Думу, для объяснения по тем или другим вопросам, в тот момент, когда он стоит на трибуне Государственной Думы, не окажется в кармане бомбы, которая может нечаянно взорваться и таким образом уничтожить Государственную Думу (рукоплескания слева)... Теперь мы обращаемся к пустующим скамьям Правительства с вопросом: господа представители Министерства внутренних дел, нет ли у вас здесь в кармане бомб?»

Наше несчастное время вынуждено терпеть и это.

А между тем жиды голос свой начинают возвышать до таких громогласных раскатов, что долетает и до таких укрытых от надвинувшейся мировой бури мест, как берег нашей «Божьей реки», святой нашей Оптиной Пустыни. Вот что пишут теперь открыто жиды в одном из своих заведомо жидовских органов «Бессарабская жизнь».

«Еврейство, — говорит эта газета, — рисуется воспаленному воображению антисемита в виде страшного зверя, грозящего кончиной арийскому миру. *И эти страхи имеют основание.* Такое же приблизительно жуткое чувство государства испытывают при виде возникающей среди них и быстро крепнущей новой и юной державы. *Подобно всем великодержавным народам еврейство имеет мировой размах, орлиный полет и львиную дер-*

---

[1] Этот «депутат» впоследствии попался в организации преступной шайки грабителей и воров-взломщиков, за что и несет теперь наказание по суду в каторжной тюрьме.

зость. В дерзании и проявляется державная природа нации. Кто смеет, тот и может. А еврейство смеет участвовать в самых рискованных шагах, в опаснейших событиях мировой жизни. В те бурные моменты, когда маленькие народы, подобно птицам перед грозою, прячутся в свои гнезда и боязливо умолкают, *евреи смело и властно действуют на авансцене.* Их мнение выслушивается, их воля учитывается гигантами. *Их нельзя не выслушивать, потому что они являются одним из факторов свирепствующей бури».*

Каков дерзостно-наглый тон! «Евреи смело и властно действуют на авансцене!» Это-то они, положим, врут: не авансцена была и есть их место, а глубочайшее беспросветное подполье, откуда эти сыны тьмы и диавола подводили мины в течение двадцати столетий под христианский мiр, — но что их теперь стали выслушивать и что теперь они являются уже многим известными факторами свирепствующей бури, — это не подлежит сомнению. И если сыны тьмы стали выбираться ныне из недр подземных на свет Божий, то это несомнительно знаменует, что наступает их время и область темная.

Господи, помилуй!

23 декабря

Резкие колебания температуры.

На дворе тепло; с крыш льет, как в середине марта; + 4 градуса Р. Идем из Скита с женой — солнце греет по-весеннему; я и говорю:

— Впору чай пить на террасе!

А ночью пошли к утрени, мороз хватил сразу до 23 градусов. По саду и по лесу такой треск пошел, что жутко становилось, точно шла учащенная ружейная перестрелка: это трещала и лопалась на деревьях кора от внезапной и резкой перемены температуры от тепла к лютому морозу.

24 декабря

Голос мне во сне. — Лжеюродивая.

Мороз все крепчает. Сегодня утром было без малого 30 градусов мороза, и притом с сильным ветром. Проснулся я под впечатлением слов, кем-то сказанных мне во сне:

— Невелик шаг от 1908 года до 1910-го — всего день один, а все люди с ума посошли.

Голос, сказавший эти слова, слышался мне при самом моем пробуждении.

В два часа дня приходил к нам наш монастырский благочинный и друг, взволнованный и огорченный: в оптинском храме одна лжеюродивая сделала скандал нашей бывшей прислуге и завела с ней драку к великому соблазну молящихся и братии. На пустосвятку эту составлен полицейский протокол, а нам скорбь, потому что эта прельщенная одно время довольно близка была нашему дому, и мы верили ее святости. Как надо быть осторожным теперь в отношении к тем, которые имеют весь образ внешнего благочестия, а работают во славу свою, а не Божию!..

31 декабря

Еще голос во сне. — Видение священнослужителю в алтаре в сочельник. — Заключение.

Морозы, продержавшись несколько дней вновь сменились оттепелью: тает и с крыш льет, как весной...

Получил с почты письмо от одной особы, знакомой мне только по переписке. Пишет мне между прочим: «...хотя у меня внутренние чувства и обострились, но никогда не вижу я снов; тем знаменательнее явление недавних дней, которые я и хочу сообщить вам. На днях, перед утренним пробуждением, я явственно услыхала голос, — чей, не знаю, — говоривший мне и будивший меня.

— Поди, — говорил он, — поведай людям, что свет Христа для мира померк и что антихрист близко, при дверях!

Я проснулась, и звук замиравшего голоса мне еще был ощутителен... Так как я уже в мір перестала посылать письма, то сообщаю это вам...»

Как странно это, особенно в сопоставлении с тем голосом, который и мною на этих днях был слышен, и тоже при пробуждении!..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сейчас вернулся от вечерни, смущенный и расстроенный, даже испуганный. Подошел ко мне в храме один из ближайших мне моих духовных друзей Оптинских и говорит:

— Вы всю службу стоять будете?

— Нет, до акафиста. А что?

— Мне кое-что надо было бы вам передать.

Я вышел с ним из храма и пошел в его келью.

— Великое знамение у нас нынче в алтаре во время службы сочельника явлено было одному из служивших в тот день священнослужителей (он назвал имя[1]). Стали читать паремии за вечерней во время Литургии. Вдруг в глазах этого священнослужителя все как бы смешалось: не стало видно ни алтаря, ни служащих, а на их месте он увидал огромное множество людей, в величайшем смятении и страхе беспорядочно бежавших от востока на запад и обратно. Что-то совершалось, по-видимому, необычайно страшное. И вдруг, явился светоносный Ангел, который, обратясь к тайнозрителю, сказал:

— Все, что ты здесь видишь, имеет совершиться в близком будущем.

Видение тем и окончилось. Что вы на это скажете? Тайнозрителя сего вы знаете — он раб Божий истинный и имеет дар видений, носящих печать того, что святыми Отцами зовется зрением.

---

[1] О. Игнатий («голосёна»).

— А вы что скажете?

— Святой Ефрем Сирин, вещавший о днях перед кончиной міра и явлении антихриста, не то же ли предвозвещал о имеющем в те дни быть великом смятении народов, когда люди, гонимые страхом, будут предаваться бегству в том же беспорядке, какой привиделся нашему священнослужителю? Мне думается, что это знамение, предвозвещающее близость именно этих дней.

То же и я думаю. Вот отчего смущенно и испуганно мое сердце, вот отчего смущением этим оно и оканчивает сегодня круг годичный лета от Рождества Господа нашего Иисуса Христа тысяча девятьсот девятое и с тяжким предчувствием вступает в новолетие тысяча девятьсот десятого.

Что несет с собой этот год и ближайшее к нему будущее?

Твори, Господи, Свою святую волю, и имя Твое буди благословенно отныне и до века. Аминь.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Заканчивая печатанием записки мои за 1909 год, составленные в незабвенные для меня дни пребывания моего в святой Оптиной Пустыни, прошу снисхождения у моих читателей к их разнообразным недостаткам, весьма мною чувствуемым и сознаваемым. Оправданием их да послужит их правдивость и искренность, а главное, христианская любовь и снисходительность читателя. Да будет ему ведомо, что печатанием их я не своих искал, а яже ближних в честь и славу Господа и Бога нашего Иисуса Христа, пришедшего искупить и спасти души наши и призвать к покаянию грешников, от них же первый есмь аз, сие написавый.

Если придутся записки мои по духу тебе, читатель дорогой, помяни в святых молитвах твоих имя грешного Сергия, их составителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предлагаемый некролог старца Варсонофия был напечатан в журнале «Кормчий», № 19, мая 1913 года. Эта статья найдена была после издания книги «Оптина Пустынь и ее время», где вкралась нежелательная ошибка. В этой книге сказано, что старца Варсонофия отпевал владыка Анастасий, тогда как, согласно некрологу, его отпевал владыка Трифон (в міру князь Туркестанов), викарный епископ Московской епархии.

Мы не только желаем исправить это упущение, но хотим дать читателю возможность ознакомиться с характерными чертами старца Варсонофия, здесь так ярко представленного. Он был начальником Скита в Оптиной Пустыни, когда С. А. Нилус там писал свой дневник «На берегу Божьей реки».

АРХИМАНДРИТ ВАРСОНОФИЙ.

Некролог.

Скончавшийся утром 1 апреля настоятель Старо-Голутвина Богоявленского монастыря, в міру Павел Иванович Плиханков, происходил из дворянского сословия. Получив образование в Полоцком кадетском корпусе, он проходил военную службу при штабе сначала Оренбургского, потом Казанского военных округов.

В конце жизни знаменитого Оптинского старца иеромонаха Амвросия, Павел Иванович познакомился с ним, под влиянием бесед с ним переродился духом, пленил свой разум в послушание веры и решил отречься от міра и покорить волю свою всецело Христу.

Устроив свои дела, он, уже ранее получивший благословение благодатного Старца на принятие иночества, теперь, в декабре 1891 года, 49 лет от роду, в чине полковника, пришел в Оптину, чтобы пасть в «объятия отча»... но не застал уже Старца в живых.

Приняв иночество с именем Варсонофия, он поселился не в самом Оптинском монастыре, а в принадлежащем Пустыни Предтеченском скиту, который на всю Россию прославился своими высокими добродетелями и благодатными дарованиями в Бозе почивающих подвижников — старцев: Леонида, Макария, Антония, Иллариона, Амвросия.

Здесь о. Варсонофий жил сначала под руководством скитоначальника схииеромонаха Анатолия и иеромонаха Нектария — будущего старца. Затем, будучи рукоположен в сан иеромонаха и возведен в сан игумена, он сам был в течение нескольких лет скитоначальником и старцем. Его знала вся Россия.

По неисповедимым судьбам Божиим переведенный настоятелем в Старо-Голутвин монастырь, с возведением в сан архимандрита весною прошлого года, о. Варсонофий прожил на новом месте служения Богу ровно год со дня выезда своего из Оптиной.

Но и здесь не укрылся светильник светяй и горяй благодатью Христовой, ибо и здесь стекались к Старцу души, жаждущие жизни в Боге и ищущие Царства Божия прежде достижения земных благ.

Ревностно, не щадя себя служил ближним своим старец Варсонофий — этот истинный раб и служитель Христа, но плоть его, истомленная и обессиленная непрерывным трудом, бдениями и постом, не выдержала, здоровье его наконец пошатнулось.

По 71-му году жизни Старец в Бозе почил после продолжительной болезни в 7 часов 7 минут утра в понедельник 1 апреля.

6 апреля при отпевании почившего старца преосвященный Трифон, епископ Дмитровский, викарий Московский, сказал прощальное слово, в котором владыка вспомнил то время, когда Старец, тогда еще недавно оставивший свой полковничий чин и удалившийся в Оптинский скит, проводил там строго подвижническую

жизнь. Там посетил его владыка в его убогой келлии, где стоял только стул, стол и голое деревянное ложе, ничем не покрытое. Смиренно приветствовал своего гостя о. Варсонофий земным поклоном, склонив свою седеющую голову перед молодым студентом-иеромонахом. Беседуя, о. Варсонофий говорил, как ему здесь хорошо и как он желал бы до конца жизни не покидать благоуханный Оптинский скит. Вспоминал Владыка, как во время Русско-японской войны старец Варсонофий был послан для священнослужения в армию и должен был оставить свой любимый Скит и вернутся в шумную военную среду, которую он когда-то покинул. Он заехал в Богоявленский монастырь попросить напутственного благословения у преосвященного, который и благословил его иконой св. великомученика Пантелеимона. Тогда о. Варсонофий говорил, что хотя ему и жутко ехать, но что в Скиту они борются с врагами, которые гораздо лукавее и злее японцев, — с врагами нашего спасения. Вспомнил владыка, как после 1905 года, измученный тяжестью переживаемого времени, он приехал в Оптину и там в беседах с любвеобильным Старцем нашел поддержку и утешение.

В глубоком молчании, стараясь не проронить ни единого слова, слушали все речь владыки. Но когда он перешел к воспоминанию последнего времени жизни Старца, рыдания потрясли церковь. Все плакали, вспоминая тяжелые события, которые все так живо помнили и которые переживали вместе со Старцем.

«Я как пастырь, — продолжал владыка, — знаю, что в наше время значат такие старцы. Его наставления тем были ценны, что с образованием он соединял высоту иноческой жизни. Как пастырь я знаю все море горя и скорби, в котором мучаются теперь люди, теряя веру в Бога, доходя до самоубийства. Бывают моменты, когда жизнь теряет всякий смысл, когда нет сил бороться, нет ниоткуда поддержки и когда человек сто-

ит на пороге отчаяния. Тогда является Старец, говорит ему: не бойся, ты не один, обопрись только на меня. Я тебя выведу на дорогу. И вот человек, казалось, погибавший постепенно выходит на истинный путь, находит силы для борьбы, воскресает для жизни. И много таких стоят теперь между нами».

После отпевания по иноческому чину гроб закрыли и с крестным ходом обнесли вокруг церкви и поставили в подвезенный к монастырю траурный вагон. Над гробом до самого вечера продолжалось служение панихид. Вагон не запирали. Кругом гроба стояли духовенство и певчие.

По прибытии в Москву утром 7 апреля у гроба служили панихиды. К четырем часам дня вагон был переведен на Брянский вокзал, и там снова началось служение панихид, не прекращавшееся до отхода поезда. Московские почитатели Старца съехались на вокзал попрощаться с его телом и густой толпой стояли на платформе у широко открытых дверей вагона. Вагон к этому времени принял вид часовни. На стенах, задрапированных черной материей, были прибиты хоругви, середину вагона занимал гроб, покрытый золотым покровом, с лежащими на нем цветами; за гробом стояли выносной крест и образ Богоматери, а также большой подсвечник, уставленный свечами.

В промежутках между панихидами оптинские монахи раздавали в последнее благословение и утешение «сиротам» Старца цветы из венков, свечи, ладан, лежавшие на гробе. В 10 часов траурный вагон двинулся в Оптину Пустынь, которую ровно год тому назад покинул старец Варсонофий.

Он ушел от нас... тихо ушел к «желаний краю — Христу», но никогда не изгладится его память в сердцах преданных ему учеников и духовных «пациентов». Блаженни умирающие о Господе!

1910 ГОД

1 января

Бдение под Новый год. — Бедная детская душа. — Протестующая плоть. — Духовные нити.

Наш новый 1910 год начался бдением в Казанской церкви и по окончании бдения — торжественным молебном. На молебен вышли о. архимандрит и одиннадцать иеромонахов с двумя иеродиаконами. Этот год мы всей семьей так же, как и прошлый, решили встречать в храме вместе с братией общей с ними молитвой. В храме нас радостно поразило множество народу, собравшегося из Козельска и из окрестных деревень молитвой проводить старый год и встретить новый. Было много даже деревенской молодежи, и среди них я заметил молодых фабричных из Москвы и Петербурга, приехавших праздники провести на родине. Стояли все чинно и выстояли почти до конца всю продолжительную Оптинскую службу. Я не мог без умиления смотреть на это зрелище, не мог нарадоваться, глядя на это многочисленное собрание обуреваемых на море житейском, повернувших корабль свой вновь к забытому, но всегда спасительному берегу, к тихой пристани веры и Церкви Христовой. Слава Богу, слава Богу, слава Богу!

Домой мы вернулись в половине двенадцатого ночи и новый год встретили за приветно и весело кипящим самоваром, в кругу семьи единомысленной и единонравной. Все одно думаем, одно чувствуем — все дети одной матери Церкви.

Хорошо, любо!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

За обедней сегодня причащали мальчика лет трех. Когда его подводили к Святой Чаше, он так орал и бесчин-

ствовал, что с ним едва можно было справиться и взрослым людям. Бедный ребенок! Его, должно быть, редко причащают, и духи злобы имеют, видимо, открытый доступ к его детской душе, оттого она и не переносит вида святейшего Соединения. Какое зло творят своим детям невежественные родители, лишающие детей своих частого причащения Пречистых Таин Христовых!..

Из церкви я с женой провожал домой в келию нашего слепенького старца о. Иоанна (Салова). Он еле-еле двигается, обремененный годами и тяжкими недугами. Прощаясь с нами у дверей своей кельи, он сказал:

— С новым годом вас, с новым здоровьем, с новым подвигом на молитву!

— Ну уж только не на молитву! — тотчас же запротестовала во мне плоть моя, утомленная и вчерашним бдением, и сегодняшней продолжительной соборной службой. Да! нет на свете труда тяжелее молитвы, той молитвы, которая «нудится», вынуждается человеческой волею у души, порабощенной плотью и обольщаемой диаволом, и без которой невозможно достичь внутри себя обетованного Спасителем Царствия Божия, благодатного и всерадостного Богообщения. Сколько уже лет топчусь я на земле, быть может, и конец моему земному испытанию уже близок, а молиться все еще не научился и первого ее этапа не прошел.

«Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?..»

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сегодняшняя почта, между прочим, принесла известие, что в 11 часов утра, в самый день Рождества Христова, в час, следовательно, совершения в петербургских храмах Божественной литургии, сгорел в Петербурге дворец Великого князя Николая Николаевича. В огне погибло много богатства и сгорело двое конюшенных служащих Великого князя.

Нет ли связи между этим событием и тем видением, которое в сочельник было в алтаре одному из служивших наших иеродиаконов? Духовным нитям, связующим великое и малое, высокое и низкое, кто положит преграду, кто помешает протягиваться в любом направлении, соединять даже и то, что кажется несоединимым?..

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Вот и вечер! День нового года окончился благополучно, в добром устроении духа всех членов нашего маленького общежития, благословенного сегодня всеми нашими старцами, у которых перебывали на благословении мы и все наши домочадцы.

2 января

(День преп. Серафима. Суббота)

Бесноватый отрок в храме. — Посмертное видение епископа Игнатия Брянчанинова в Петербурге. — Не бесноваты ли мы?

От дня Рождества Христова и до Крещения в Оптиной служат только одну обедню в день, так называемую среднюю, в 7 часов утра. Для любителей позднего вставания и праздник не в праздник, зато для монашествующей братии и особенно для священнослужителей и певчих это огромное облегчение молитвенному их подвигу. Мы ходили к обедне. Служил инспектор Калужской семинарии иеромонах Серафим. И опять во время причащения мы были потрясены кликами и воплями отрока, на этот раз уже довольно взрослого, лет 10—12-ти и, по-видимому, из состоятельной интеллигентной семьи. Его силою через весь Казанский храм тащили к амвону к концу запричастного две прилично одетые женщины. Одна из них была мать этого несчастного ребенка. Мальчик с ожесточением какого-то невероятного отчаяния отбивался от влекущих его к Святой Чаше, вырывался из

рук и неистово кричал на высокой, звенящей нечеловеческой тоской ноте: «Не надо, мама! не надо, мама! Не надо, не надо, не надо!»

И так без конца — одно слово, одна нота тоски, отчаяния и злобы. Причащали его, кроме священника и диакона, еще четверо и едва могли справиться. От Святой Чаши несчастный мальчик, насильно причащенный, бежал, точно огнем палимый, а к антидору и теплоте его уже и не подводили.[1] Мне никогда не забыть выражения лица этого явно одержимого отрока: такая отражалась на лице этом мука бессильной ярости, отчаяния и вместе чисто детской растерянности и беспомощности. Вот ужас-то! Я не мог удержать подступивших к самому горлу слез при виде этой муки детской души, неповинно страдающей за грех, — чей? родительский? среды? обще ли человеческий? или «да явятся на нем» в свое время «дела Божии»? Кто даст ответ?.. Но, Боже мой, как это страшно, как страшна эта одержимость той враждебной человеку силой, которая верою и Церковью именуется бесами! Здесь, при жизни, плоть и кровь наши туманят зрение души, не дают очам видеть того невидимого, окружающего нас міра, что доступен зрению только веры; но там, за гранью, называемой смертью, за пределом жизни временной, при переходе в жизнь вечную, там-то какой ужас ожидает освобожденную душу, если она явится туда неподготовленной, отчужденной от благодатной помощи надмирного сонма светоносных небожителей?..

Пишет в записках своих одна присная духовная дочь великого Святителя, Епископа Игнатия (Брянчанинова)[2]: «В последнее свидание с Преосвященным Игнатием, 13 сентября 1866 года, он, прощаясь, сказал мне: “С[офия] И[вановна]! Вам, как душе своей, как себе, говорю: готовь-

[1] См. 31 декабря [1909 года], в моей книге «На берегу Божьей реки» [Часть I].

[2] Из скитских рукописей. [Записано М. В. Чихачевым со слов Софии Ивановны Снессоревой. — *Сост.*]

тесь к смерти — она близка. Не заботьтесь о мирском: одно нужно — спасение души. Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о вечности!"

30 апреля 1867 года, в воскресенье (Неделю жен-мироносиц), Преосвященный Игнатий скончался в Николо-Бабаевском монастыре. Я поехала на его погребение, совершавшееся 5 мая.

Невыразима словом та грустная радость, которую я испытывала у гроба Святителя.

Прошло три месяца. 12 августа 1867 года, ночью, я плохо спала. К утру заснула. Вижу, пришел владыка Игнатий в монашеском одеянии, в полном цвете молодости, и смотрит на меня с грустью и сожалением.

— Думайте о смерти, — говорит он мне, — не заботьтесь о земном: все это только сон, земная жизнь только сон. Все, что написано мною в книгах, все — истина. Время близко: очищайтесь покаянием, готовьтесь к исходу. Сколько бы ни прожить здесь, все это только один миг, один только сон!

На мое беспокойство о сыне, владыка сказал:

— Это не ваше дело: судьба его в руках Божиих; вы же заботьтесь о переходе в вечность.

Видя мое равнодушие к смерти и исполнясь состраданием к моим немощам, он стал умолять меня обратиться к покаянию и чувствовать страх смерти.

— Вы слепы, — говорил он, — ничего не видите и потому не боитесь; но я открою вам глаза и покажу смертные муки.

И вот я стала умирать. О, какой ужас! Мое тело мне стало чуждо и ничто, явно как бы не мое. Вся жизнь перешла в лоб и глаза; мое зрение и ум увидели то, что есть в действительности, а не то, что нам кажется в этой жизни. И жизнь эта — сон, только сон! Все блага и лишения этой жизни — все это перестает существовать, как только наступает со смертью минута пробуждения. Нет ни вещей, ни друзей — одно необъятное пространство.

И все пространство это наполнено существами страшными, непостижимыми для нашего земного ослепления. Существа эти кишат вокруг нас в разных образах, держат нас как бы в постоянной осаде. И у страшилищ этих есть и тело свое, но особого вида, тонкое, похожее на слизь. Как они ужасны!.. Они лезли на меня, лепились вокруг меня, дергали меня за глаза, тянули мои мысли в разные стороны, не давали перевести дыхание, чтобы не допустить призвать Бога на помощь. Я хотела молиться, хотела осенить себя крестным знамением, хотела произнесением имени Господа Иисуса Христа избавиться от этой муки, отдалить от себя эти страшные существа, — но у меня не было ни сил, ни слов, ни молитвы. А эти страшилища кричали мне:

— Поздно теперь! После смерти уже нет молитвы!

Тело мое деревенело, голова становилась неподвижной; только глаза всё видели, и дух в мозгу все ощущал.

С помощью какой-то сверхъестественной силы я была в состоянии немного приподнять руку, донести ее до лба и сотворить крестное знамение. Это вызвало корчи страшилищ. Я усиливалась духом — уста и язык уже мне не принадлежали — представить имя Господа Иисуса Христа, и тогда страшилища прожигались, как раскаленным железом, и кричали на меня:

— Не смей произносить этого имени: теперь уже поздно!

О, неописуемая мука!.. О, если бы мне удалось хотя на одну минуту перевести дыхание! Но зрение, ум и дыхание были облеплены этими страшилищами, которые их тащили в разные стороны, не допуская их соединиться друг с другом и произнести имя Спасителя. О, что это было за страдание!..

И услышала я голос владыки:

— Молитесь непрестанно. Все истинно, что написано в моих книгах. Бросьте земные попечения; только о душе и заботьтесь.

И с этими словами он стал уходить от меня по воздуху, как-то кругообразно, все выше и выше над землею. Вид его изменялся и переходил в свет. К нему присоединился целый сонм таких же светлых существ — все как будто ступенями необъятной, необъяснимой словами лестницы. И владыка и все они по мере восхождения принимали вид невыразимо прекрасного солнцеобразного света. Смотря на них и возносясь духом за этой бесконечной полосой света, я уже не обращала внимания на страшилищ, которые в это время бесновались вокруг меня, чтобы на себя отвлечь мое внимание, поглощенное лучезарным видением. И увидела я, что и у тех светоносных сонмов было свое тело, и тело это было похоже на лучи какого-то дивного света, перед которым наше солнце ничто или тьма. И чем выше были ступени виденной мною лестницы, тем светлее были стоявшие на них сонмы небожителей. И я видела, что владыка Игнатий поднимался все выше и выше, пока не окружил его сонм лучезарных святителей и сам он не сделался таким же лучезарным.

Выше этой ступени зрение мое не проникало.

И с той высоты еще раз владыка Игнатий бросил на меня свой взгляд, исполненный любвеобильного сострадания. И тут уже, не помня себя и не помня как, вырвалась я из-под власти державших меня и воскликнула:

— Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, Преосвященного Игнатия, и святыми его молитвами спаси и помилуй меня, грешную!

И все ужасы мгновенно исчезли, и наступил мир, и великая тишина настала в душе моей устрашенной.

Я проснулась в жестоком потрясении.

Никогда и ничего я не боялась и охотно одна-одинешенька оставалась в целом доме, но после этого сновидения я чувствовала такой ужас, что одной мне оставаться было не в силу. Много времени после того у меня посредине лба ощущалось какое-то необыкновенное

чувство — не боль, а какое-то особенное напряжение: как будто вся жизнь моя сосредоточилась в этом месте.

И во время этого сна я уже на собственном опыте узнала, что когда ум сосредоточивается на мысли о Боге, на имени Иисусовом, тогда мгновенно исчезают виденные мною ужасные существа. Но лишь только мысль отвлекается, они вновь кишат вокруг, чтобы помешать мысли обратиться к Богу и сосредоточиться на молитве Иисусовой.

Видение это было в Петербурге».

Бедный, бедный одержимый мальчик, виденный мною сегодня в храме! Но не несчастнее ли еще его все взрослое поколение современного человечества, пришедшее володеть и княжити над землею; на чем, на чем, но не на мысли о Боге и не на имени Иисусовом сосредоточен ум его; и кто же, стало быть, умом этим владеет, кто управляет?.. Ребенок не несет на себе ответственности пред лицом Вечной Правды за грехи воспитывающих его ум и сердце; а мы-то, совершеннолетние, сознательные?.. Господи, помилуй! Уж не бесноваты ли и все-то мы, и если не все, то по крайней мере подавляющее большинство собратий наших, на наших глазах отступающих и уже отступивших от Бога и от Христа Его? Разве же не беснуется окружающий нас мір?

4 января

Еще посмертное явление Святителя Игнатия (Брянчанинова)

В той же рукописи, из которой я извлек сказание о посмертном видении святителя Игнатия Брянчанинова, бывшем в Петербурге одной из его духовных дочерей, я имел великое счастье, как милость Божию, обрести и другое, и тоже о посмертном явлении святителя на 20-й день по кончине его другой духовной дочери, некой А. В. Ж.[1] Это явление было в Москве 19 мая 1867 года.

---

[1] Александра Васильевна Жандр.

По силе и изобразительности проникновения в существо нашей Православной веры равного этим двум сказаниям я ничего не знаю; только «Беседа преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни»[1], только она одна из всех современных нам сказаний способна в той же мере окрылить упования столь ныне немоществуюшей веры нашей.

Пишет г-жа А. В. Ж.:

«Тяжелая скорбь подавила все существо мое с той минуты, когда дошла весть до меня о кончине владыки. Скорбь эта не уступала и молитве: самая молитва была растворена скорбью. Было невыносимо горько. Ни днем ни ночью не покидало сердца ощущение утраты незаменимой, ощущение духовного сиротства. И душа и тело изнемогли до болезни.

Так прошло время до 20-го дня по кончине владыки. На этот день я готовилась приобщиться Святых Таин в одном из московских женских монастырей... Так сильно было чувство печали, что даже во время Таинства покаяния не покидало оно меня; не покидало оно и во время совершения Литургии. Но в ту минуту, как Господь сподобил меня принять Святые Таины, внезапно в душу мою сошла чудная тишина, и молитва именем Господа Иисуса Христа, живая, ощутилась в сердце. Так же внезапно и для меня самой непонятно печаль по кончине владыки исчезла... Прошло несколько минут, в течение которых я отошла на несколько шагов от Царских врат и, не сходя с солеи, стала по указанию матушки игумении на левый клирос, прямо против иконы Успения Божией Матери.

В сердце была молитва. Мысль в молчании сошла в сердце... И вдруг перед внутренними глазами моими, как бы также в сердце, но прямо против меня, у иконы Успения, возле одра, на котором возлежит Царица Небесная, изобразился лик усопшего Святителя красоты, славы,

---

[1] См. книгу мою «Великое в малом», ч. 1, стр. 174–212, 3-е издание (Сергиев Посад, типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры).

света неописуемых. Свет озарял сверху весь лик, особенно сосредоточившись на верху главы. И внутри меня, опять в сердце, но вместе и от лика я услышала голос, — мысль-поведание, луч света, ощущение радости, — проникнувший все существо мое, который без слов, как-то дивно передал внутреннему моему человеку следующие слова: «Видишь, как тебе хорошо сегодня! А мне так без сравнения всегда хорошо, и потому ты не должна скорбеть обо мне».

Так ясно и отчетливо видела и слышала я это, как бы сподобилась увидеть владыку и слышать его лицом к лицу.

Несказанная радость объяла всю душу мою и живым отпечатком отразилась на моем лице, так что заметили окружающие.

По окончании литургии начали служить панихиду. И что это была за панихида!.. В обычных печальных надгробных песнопениях слышалась мне дивная песнь духовного торжества и жизни бесконечных. То была песнь воцерковления вновь перешедшего из земной воинствующей Церкви воина Христова в небесную Церковь торжествующих в невечерней славе праведников. Мне казалось, что был Христов день: таким праздником ликовало все вокруг меня...

А в сердце тихая творилась молитва.

Вечером того же дня, 19 мая, я легла в постель. Сна не было... Около полуночи в тишине ночи откуда-то издалека донеслись до слуха моего звуки дивной гармонии тысячи голосов. Все ближе и ближе приближались звуки; начали выделяться ноты церковного пения; ясно наконец стали определительно, отчетливо выражаться слова. И так полно было гармонии это пение, что невольно к нему приковывалось все внимание, вся жизнь... Мерно гудели густые басы, как гудит в пасхальную ночь звон всех московских колоколов, и гул этот плавно сливался с мягкими, бархатными тенорами, с рассыпавшимися серебром альтами и дискантами. И весь этот дивный хор ка-

зался одним голосом — столь полна в нем была гармония... И все яснее и яснее выделялись слова, пока я не расслышала отчетливо:

Архиереев Богодуховенное украшение,
Монашества слава и похвало!..

Вместе с тем для самой меня необъяснимым извещением, без слов, но совершенно ясно и понятно, внутреннему моему существу сказалось, что этим пением встречали епископа Игнатия в міре небесных духов.

Невольный страх объял меня, и к тому же пришло на память, что владыка учил не внимать подобным видениям или слышаниям, чтобы не подвергнуться прелести. Усиленно старалась я не слышать и не слушать, заключая все внимание в слова молитвы Иисусовой, но пение продолжалось помимо моей воли, так что мне пришла мысль, не поют ли где на самом деле в окружностях. Я встала, подошла к окну, отворила его. Все было тихо. На востоке занималась заря.

Утром, проснувшись, к удивлению моему я припомнила не только напев, слышанный мною ночью, но и самые слова.

Целый день, несмотря на множество случившихся житейских занятий, я находилась под необычайным впечатлением слышанного. Отрывками, непоследовательно, припоминались слова, хотя общая связь их ускользала от памяти.

Вечером я была у всенощной. То была суббота, канун последнего воскресенья, пятинедельного по Пасхе. Пели канон Пасхи. Но ни эти песнопения, ни стройный хор чудовских певчих не напомнили мне слышанного накануне: никакого сравнения нельзя было провести между тем и другим.

Возвратившись домой, утомленная, я легла спать. Но сна опять не было. И опять, только что стал стихать городской шум, около полуночи, слуха моего снова коснулись знакомые звуки; только на этот раз они

были ближе, яснее, и слова врезывались в память мою с удивительною последовательностью.

Медленно и звучно-торжественно пел невидимый хор:

Православия поборниче,
Покаяния и молитвы делателю и учителю изрядный,
Архиереев Богодухновенное украшение,
Монашества славо и похвало!
Писаньми твоими вся ны уцеломудрил еси,
Цевнице духовная, новый Златоусте,
Моли Слово, Христа Бога,
Его же носил в сердце твоем,
Даровати нам прежде конца покаяние.

На этот раз, несмотря на то что я усиленно творила молитву Иисусову, пение не рассеивало внимания, а еще кто-то неизъяснимым образом со мною повторял ее, и моя сердечная молитва сливалась с его молитвою в общую гармонию со слышанным пением, и сердце живо ощущало и знало, что то была торжественная песнь, которою небожители радостно приветствовали преставившегося от земных к небесным земного ангела и небесного человека, епископа Игнатия.

На третью ночь, с 21 на 22 мая, повторилось то же самое, при тех же самых ощущениях.

Это троекратное повторение утвердило веру, не оставило никакого смущения и запечатлело в памяти слова тропаря и тот напев, на который его пели, как бы давно знакомую молитву. Напев был схож с напевом кондаков в акафистах. После, когда я его показала голосом, мне сказали, что то был глас осьмой».

О, возлюбленная наша вера Православная! Нет на свете ничего вожделеннее тебя и краше!

5 января

Крещенский сочельник

Наша Любочка. — «Всякое дыхание да хвалит Господа».

До половины четвертого были в церкви не пивши, не евши. Зато имели великую радость присутствовать при освящении великой агиасмы — Богоявленской воды — и испить от ее сладости.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Наша Любочка растет под благодатным влиянием оптинского строя жизни совершенно необыкновенным ребенком. Вчера легла в постельку и на сон грядущий взяла у своей Ляли четки. Лежит, перебирает их и что-то шепчет.

— Ты что там шепчешь? — спрашивает Ляля.

— Молюсь.

— За кого?

—За неверующих: как же им, должно быть, тяжело жить на свете! А когда помрут, какое их ждет страшное наказание!

Вот оно христианское-то воспитание Святой Руси наших предков: уже с таких лет детская головенка начинала в былые времена приучаться жить и думать по-христиански, не о себе, а о ближнем! Теперь Любочка — исключение, а тогда такие Любочки были общим правилом, и когда вырастали, то рождали и воспитывали, в свою очередь, ту Россию, которая без малого тысячу лет являла в глубине народного сердца истинное на земле тысячелетнее царство Христово. Проникновенно-глубоко охарактеризовано это царство Ф. И. Тютчевым:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты Русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Сегодня вечером у жены разболелась голова. Пошли вместе проветривать ее на воздух. Взяли Любочку. Дошли до лесу. Таинственен и жуток лес наш морозною зимнею ночью: жутко стало ребенку, жмется ближе к нам, и слышу, что-то шепчет себе под носик.

— Ты что это, — спрашиваю, — нашептываешь?

Она не сразу ответила. Пришлось настоять на ответе.

— Богородицу! — чуть слышно ответила девочка.

На первый или на второй день Рождества нам принесли живого зайца: ребятишки-ученики из рухольной поймали его силком где-то на оптинских задворках и принесли нам «разговляться». Лапки у зайца были туго перевязаны тонкой бечевкой и потерты до крови; зайчиное сердчишко колотилось от страху так, что готово было выпрыгнуть... Я кликнул Любочку.

— Ах, заинька! — кинулась она к жертве ребячьей охоты. — Да какой же ты миленький, да какой же ты бедненький!

Я дал ребятишкам полтинник, а Любочке говорю:

— Возьми себе этого зайца и делай с ним что хочешь: можешь сказать, его приготовят в сметане; можешь воспитывать, чтобы он был у тебя ручной; а если захочешь, то и выпустить можешь его на волю. Распоряжайся как знаешь.

Уложила зайчишку Любочка на свою постельку, испятнала простынку зайчиной кровью, стала подкармливать капустой... Прошло с полчаса, приходит Ляля.

— Любочка послала, — говорит, — просит вас выпустить зайца на волю: на всенощной, говорит, поют «всякое дыхание да хвалит Господа» — так пусть и заяц хвалит!

И понесли мы с Любочкой зайца в лес, еще с нами целая компания домочадцев пошла смотреть, что будет делать со своей волей заяц... Принесли его на перекресток двух лесных дорог, развязали ноги, посадили на дорогу, а сами отошли к сторонке. Заяц сел на задние лапки и — ни с места, только ушами поводит.

— Любочка, — говорю, — крикни и хлопни в ладошки!

Как сорвется тут со своего места заяц, да как помчится вглубь леса по дороге — потуда его и видели!

Как же радовалась и смеялась тогда от радости Любочка. Сколько тогда усилиями общей фантазии было сочинено историй по поводу возвращения зайца домой к родителям, к жене, к малым детушкам!.. Очень утешалась тогда наша девочка.

20 января

Раскаленная лава начинает вливаться в Божию реку. — Из статьи проф. А. И. Введенского «Стражи Дома Израилева, бодрствуйте!» — Из письма студента-академика о духе Академии. — Стены вопиют.

Возвращаюсь опять к той же великой и страстной теме, которая все чаще и все стремительнее, как бурноогненный поток раскаленной лавы, стала вливаться в тихие воды моей Божьей реки. Пышноцветные луга и зеленокудрявые леса и рощи берегов ее, улыбающихся приветом и лаской Божественной любви, царственного покоя и мира о Дусе Святе, все темнее и мрачнее стали заволакиваться мглистым туманом уже начавшегося извержения великого вулкана осатанелого в гордом безумии міра. Мы, укрытые святостью Оптинской благодати, далеки еще как будто от вершины его, окутанной сгустившимся над нею мраком преисподней, блещущим крова-

выми зарницами геенского огня, близкого к извержению, — но уже и до нас доносится гул клокочущего вулкана, и под нами начинает сотрясаться земля, тревожа живых и уже отшедших ко Господу подвижников Оптинских.

«Только в периоды великих исторических потрясений, — так пишет в «Московских Ведомостях» профессор Московской Духовной академии А. И. Введенский[1], — кризисов, как говорят, мировых, даже и в поверхностные души закрадывается какая-то тревога и смутная догадка, что совершается что-то необычное, что судьбы людей взвешиваются на весах Божьей правды и творится «Суд міру»... Так было, например, в эпоху крушения средневекового миросозерцания. Так было пред и после великой французской революции.

Так многие чуткие настроены и теперь.

Покойный Вл. Соловьев чувствовал[2] явственное, хотя и неуловимое, дуновение грядущего антихриста — как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух, прежде чем увидит море. Над ним подшучивали и много по этому поводу злословили. Но оказалось, что он был прав в своих пессимистических предсказаниях и догадках: сначала «Желтый дракон», потом гидра русской революции, а *теперь уже все мы, как и он в свое время, чувствуем, что действительно —*

Есть бестолковица,
Сон уж не тот:
Что-то готовится,
Кто-то[3] идет...

...Наши идейные движения и влияния и даже самые настроения могут служить показателем того, что совер-

---

[1] Псевдоним «Басаргин».

[2] Мне лично представляется, что не только «чувствовал», но многое и «знал» как посвященный в тайны масоно-еврейского заговора раньше и глубже других «посвященных» современников. — *Прим. сост.*

[3] Курсив мой.

шается на Западе, по-видимому спокойном, но, в сущности, для внимательного взгляда также духовно взволнованном и возбужденном...»

Кончается эта замечательная статья[1] следующими словами: «Ужасное время!.. Стражи Дома Израилева должны быть теперь именно особенно на страже... Мы живем в очень тяжелое время, когда вековечная борьба двух миросозерцаний — христианского и антихристова — развертывается с особенным напряжением и остротой.

Стражи Дома Израилева, будьте особенно на страже!

Легко сказать!.. *Наша брань,* по Апостолу, да и по всему существу нашей христианской веры, *не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных* (Еф. 6, 12). Брань, стало быть, *духовная* с оружием *духовным.* А между тем те училища благочестия, из которых должны выходить и выходят уже много лет духовные вожди духовному стаду Христову, куют для питомцев своих не «меч духовный», не «шлем спасения», не «щит веры», которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, а нечто иное, чему свидетельством могут служить следующие строки из письма ко мне питомца одного из высших рассадников духовного любомудрия.

«Поистине, — пишет он, — огрубело, одебелело наше сердце в этой затхлой, душной обстановке «храма науки». Чему вы удивляетесь? Нашему долготерпению в сфере изучения того «мусора-щебня», каким окрестил Оптинский мудрец, покойный о. Даниил[2], нашу науку? Да, оно почтенно это изучение, оно достохвально! Что же удивительного, если из наших когда-то живых душ

---

[1] «Критические заметки». «Моск. Вед.» № 18 — критический разбор романа Торна «Когда наступил мрак».

[2] Болотов. О нем в книге моей «Великое в малом», ч. 1, «Искатель града невидимого».

сфабрикуют мумии в золотых облачениях? Хорошо, если правую веру сохраним, но не ту ли, какую имеют и бесы? В этом заслуга не велика: царства Божия за это не наследуют, ибо в трепет приводит такая вера, а не к внутреннему деланию... Что же мудреного, если и такой радостный праздник, как Рождество Христово, и тот «выжмет» из охладевшего сердца не более 5–7 слов на поздравительной карточке!..[1] О, молите Господа за нас, да не отяготит нас «Гефсиманский сон», да не разбежимся и мы от страха и «страха ради иудейска», как апостолы в ту страшную ночь Иудина предательства, да не оскудеет вера наша, долженствующая, по предъявленным к нам требованиям, не гору, а весь отпавший от Христа мiр двинуть к познанию Безначального. Да не иссякнет источник любви в нашем сердце, ибо без него мы будем грязными подсвечниками, хотя и на «свещнице», безводной Сахарой, хотя и с неисчерпаемыми золотыми самородками... Ждем реформы... Господь мне судил учиться в трижды реформированной Академии. Поистине, «огни и воды» пройдя, пройду и «медные трубы» — как говорит мудрая русская пословица... Дорогой мой! Одичал я здесь и сохну в этой душной атмосфере! Чувствую, что день ото дня глупею и, что было в голове, все потратил, износил... Сохнет мое сердце, слабеет воля, устал в этой борьбе с мельницами. Лишь обет послушания, как стальною цепью, приковал меня, подобно мифическому Танталу, к скале... Скоро ли конец этому?!»

Такова характеристика внутреннего устроения духовного юношества, из которого выходят стражи Дома Израилева.

Стражи Дома Израилева, бодрствуйте!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[1] Это в ответ на мой дружеский выговор за поздравление к празднику Р. Х. открыткой.

Каменные стены вопиют: бодрствуйте!

Вот что произошло на минувших праздниках в один из святых вечеров в каменных стенах. Зал собрания Петербургского благородного дворянства: «сборище жидов (жидовский концерт) всех классов и состояний торжествовало в первый раз открыто свою победу над христианством[1], неистово хлопая чуть не шансонетке, припевом которой служил предсмертный возглас Христа Спасителя... В подлой шансонетке, распеваемой жидами в качестве гимна победы и одоления, повторялись все те злобные слова, которые с трепетом великой скорби записывали свв. евангелисты: «Сойди с креста, Распятый, если Ты Сын Божий!» Эти слова возглашал современный кантор на эстраде благородного дворянского собрания в Петербурге, и возглас этот, переложенный на современный мотив, усугублял этим кровавое оскорбление... А русские православные люди слушали его и, не понимая смысла жидовского пения, прислуживали жидам-оскорбителям... Не будь мы отравлены жидо-масонским ядом, разве могли бы русские люди хладнокровно читать восторженные описания жидовского концерта, появившиеся в «Речи» и прочих противохристианских газетах?.. Эти газеты пояснили, чего русские люди не поняли... Газета, печатанная по-русски и читавшаяся русскими людьми, осмеливается совершенно откровенно пояснять, как жидовская публика «наслаждалась» куплетами, сюжетом которых было ***Распятие Христа***. Все мы,— пишет «Русское Знамя», — прочли чудовищное признание жидовского официоза: старые и малые, нищие и вельможи, мастеровые, купцы и сановники, — все узнали причину ликования и... молчим».

Стражи Дома Израилева! «Дня и часа» не знаем, но камни вопиют о том, что он уже близок, ибо Бог поругаем не бывает.

---

[1] Из статьи «Русского Знамени». Не над «христианством», конечно, а над христианскими отступниками.

21 января

В подражание былинному эпосу. — Завет старого дворянина сыну. — Бытовая оптинская картинка — убогий Зиновий. — Старик Павел — «одним судом судить будут». — Слепенькая Пелагея-схимница. — Старцу-слепцу о. Иоанну что-то мне сказать нужно.

Все эти дни приходилось заниматься разоблачением «близ грядущего» и в заметках своих, и в перерабатываемой книге моей «Великое в малом», приготовляемой к 3-му изданию. Устал от наплыва тягостных впечатлений, безмерно волнующих и сердце, и ум... Ах, кабы да силушки мне богатырской Илеюшкиной, святорусского богатыря, да Ильи Муромца, да меч бы мне его кладенец! Уж почал бы я тогда крушить врагов Церкви Божией и Царства Русского Православного, да не улицами и переулочками, а целыми бы площадями места Лобного, высокого, что при реке Москве стоит близ храма Василия Блаженного, стоит с полтыщи лет, не тронется, про врагов Царя-батюшки готовится. Эх, да кабы на помогу Илеюшке да бояре и дворяне старозаветные, да силушка старорусская крестьянская-христианская, да дух бы един в любви и согласии на Кресте Спасителеве целования постояти до конца за тую за правду Божию, чем крепко-сильна была земля Русская; и чего б Илеюшке втапоры не понатворити, не понадеяти! А от жидовина бы и праху не осталось со всеми волшебствами его и чародействами...

Где теперь эпос этот богатырский? Где дух дворянский? Где крестьянин-христианин? Куда девалась Русь, что Русью пахла?..

А еще так недавно мне довелось за счастье слышать от одного земляка-дворянина, мне ровесника, завет, переданный ему отцом от отцов своих:

Богу не ханжи,
Царю не льсти,
Народу не потакай.
За Бога — на костер,
За Царя — на штыки.
За народ — на плаху!
Вы, теперешние, ну-тка!

Господи! Да куда же, куда же это все подевалось?

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Пошли сегодня погулять с женой, пройтись по дивному нашему лесу, по заветной скитской дорожке. Ветер гудит и звенит обледеневшими ветвями и макушками сосен. Идет снег; с полян в лесу врывается в его чащу мокрая метель, на дворе тает... По скитской дорожке, по направлению к Скиту, обгоняем безногого Зиновия[1], шаркающего по мокрому снегу своими культяпками. Поздоровались со стариком, и пошли дальше. Вдруг слышим сзади себя его голос:

— Сергей Александрович! барин! батюшка!

Оборачиваюсь:

— Что тебе, Зиновеюшка?

— А у кого, — кричит, — из святых ключи от Царства Небесного?

— У апостола Петра.

— У Петра, стало быть, апостола?

— Да.

— А-а! — Протянул Зиновий и замолк, — видно, удовлетворился ответом.

До слез умилила меня эта бытовая оптинская картинка.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[1] Скитский богаделка; ноги у него отморожены и отрезаны немного ниже колен. Известен издавна всем постоянным оптинским богомольцам.

Вернулись домой. Является в кабинет прислуга и говорит:

— Там к вам Павел Антонов пришел из Стениной.

— Кто такой?

— Не знаю-с.

Догадываюсь, что это отец нашей припадочной Груши[1], которая третьеводни в страшном припадке упала и так разбила себе лицо, что оно обратилось в один сплошной сине-багровый кровоподтек, закрывший глаза огромной опухолью.

Я вышел к старому Павлу. Перед ним уже успели поставить кружку с чаем.

— Что тебе, Павел?

— Большая нужда: пожалуйте мне полтинничек!

Павел — не попрошайка и просит редко, если уж очень туго придется, — когда раз, когда два в месяц... Я дал ему 45 копеек — что в кошельке было — и говорю в шутку:

— Смотри, Павел, как я твою Грушу избил!

Павел всхлипнул. Тут же стоявшая Груша улыбнулась, и оба, отец с дочерью, как один человек, одним движением, одним порывом, осенили себя широким крестным знамением и в одно слово сказали:

— Такой уж крест. Слава Тебе, Господи! На все Его воля святая!

Я поцеловал Павла. Вот она, былая силушка крестьянская-христианская, старорусская!.. увы, только «былая»: Павлу моему уже за семьдесят лет!.. Бросился мне Павел в ноги...

— Нас с тобою, — воскликнул он в каком-то восторге, — одним судом судить будут на том свете; слышь — одним судом! Да будет, да будет! — заключил он, меня обнимая.

---

[1] О ней в книге моей «На берегу Божьей реки» (1909 год моих записок), 303–306 стр. Увы! кажется, эта Груша подпала под дурное влияние и стала теперь изображать из себя что-то вроде блаженной.

Надо знать страдальческую жизнь этого старика, его веру в воздаяние в вечности за бесчисленные его земные скорби, чтобы понять, какого блага пожелал он мне своим восклицанием.

Как-то утром пришел он ко мне, отозвал к сторонке и говорит таинственно и радостно:

— Ко мне ночью приходили два старца, постригли меня и сказали: «Ты теперь уже не Павел, а Гавриил».

И нашего старца, о. Иосифа, он видел в раю.

Таков наш Павел.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Под вечер пошли проведать слепенькую старушку, мать Пелагею, тайную схимницу. Она живет в маленькой комнатушечке, в гостинице о. Мардария. Была она когда-то в услужении у оптинской благодетельницы Тиличеевой, а по смерти ее Оптина дала ей приют по гроб — кров и пищу — за благодеяния ее хозяйки. Очень мы любим эту старушку.

Пришли к ней, застали ее; сидит на своей постельке, перебирает четочки. За беседой она неожиданно спросила:

— А читаете вы молитву (так и сказала) «Живый в помощи»?..

— Читаем, — ответил я, — матушка.

А сами не читаем. Надо читать.

— Я за вас, — сказала она, — постоянно молюсь, вот так!.. — Личико старушки осветилось, точно светом каким-то, засияло неземной улыбкой; стала она на коленочки и зачитала скороговорочкой:

— Спаси и помилуй, Господи, рабов Твоих, Сергия и Елену! Сотвори им вечное душе-телу спасение! Спаси их и сохрани их, Господи! Прости им все согрешения их, вольные и невольные!

Поднялась с коленочек, а слезы так и льются не ручьями, а потоками по старческим щечкам. Потом опять стала на коленочки и опять зачитала:

— Спаси и помилуй, Господи, рабов Твоих, Наталию и Сергия...

И опять те же святые слова любви и молитвы, и опять жаркие слезы... Эта-то уж достигла молитвенного плача, великого дара слез, святая угодница Божия Пелагея!..

От м. Пелагеи пошли к вечерне. От вечерни провожаем слепенького нашего старца о. Иоанна (Салова)[1], а он и говорит мне:

— Выберите времечко, зайдите ко мне: мне сказать вам кое-что нужно.

Зная, что это «душа особого разряда», как называет его батюшка о. Варсонофий[2], признаюсь, почувствовал в сердце своем некий страх: даром не позовет к себе великий старец.

23 января

Что сказал мне старец о. Иоанн Оптинский. Лишай.

Вчера ходили с женой к о. Иоанну узнать, что ему нужно было сказать мне, но дома не застали — он был у вечерни. Сегодня я не утерпел, пошел к нему один. Старец принял меня со свойственной ему в отношении к нам с женой радостной лаской.

— Берите табуретку, — сказал он, обнимая меня, — садитесь рядом со мною.

Я сел.

— Какие вы псалмы читаете? — предложил он мне вопрос.

Я смутился: обычно на коротеньком своем, чисто мирском, не правиле даже, а правильце, я никаких псалмов не читал.

— Знаю, — ответил я, — «Живый в помощи», «Помилуй мя, Боже»...

— А еще какие?

---

[1] О нем в книге моей «На берегу Божьей реки», стр. 311–312.

[2] Наш духовник и Старец, начальник Скита Оптиной Пустыни.

— Да я, батюшка, все псалмы читал и, хоть не наизусть, а все знаю; но правильце мое маленькое...

Старец перебил мое самооправдание:

— Не о том я хочу вас спросить, какое правило ваше, а о том, читаете ли вы еще псалом 26-й — «Господь просвещение мое?»

— Нет, батюшка, не читаю.

— Ну, так вот что я вам скажу! Вы как-то раз говорили мне, что на вас враг пускает стрелы свои. Не бойтесь! ни одна вас не коснется, никакой дряни не опасайтесь: дрянь дрянью и останется. Только возьмите мой совет за правило, послушайтесь: читайте утром и вечером перед вашей молитвой оба эти псалма — 26-й и 90-й, а перед ними великое Архангельское обрадование — «Богородице Дево, радуйся». Будете так делать, ни огонь вас не возьмет, ни вода не потопит...

При этих словах Старец встал со своего кресла, обнял меня и с какой-то особой силой, раскатисто-звонко, не сказал даже, а выкрикнул:

— Больше вам скажу: бомбой не разорвет!

Я поцеловал обнимавшую меня руку Старца. А он опять, прижавшись к самому моему уху, опять громко воскликнул:

— И бомба не разорвет! А на всякую дрянь вы и внимания не обращайте: что вам дрянь сделать может?.. Вот об этом-то я и хотел побеседовать с вами. Ну а теперь идите с Господом, да поклонитесь моей барыне!

И с этими словами Старец отпустил меня с миром.

Я знал того человека, точнее говоря — женщину, на которую намекал Старец, называя ее дрянью: к Оптинскому благолепнолиственному древу она прилепилась, как лишай, и долго ложной своей святостью и именем старцев морочила оптинских богомольцев. Я ее понял, и она мне за то мстила, где могла.

Бог с ней!..

24 января

Воскресенье

Мой отдых. — Милая парочка. — Страхи. — Дети Божьи. — Речи от времен Владимира Красна Солнышка. — Ангелы вам в путь, дети Божии!

Отдыхаю умом и сердцем на зеленой, цветоносно-душистой мураве благословенного берега моей тихоструйной, прозрачно-глубокой Божией реки Оптинской.

О тишина! О сладость!..

С кануна нового года, за всенощной, мы заметили в храме появление какой-то необычайно милой молодой парочки: он — широкоплечий, высокого роста богатырь, с приятным, открытым лицом; одет в дохе, несмотря на высокую температуру храма; стоит всю службу как вкопанный и усердно молится. Она — тоже довольно высокая, стройная, личико милое-милое, с румянцем во всю щеку, так и сияет лучистыми глазками; одета по-городскому, в коротенькой «гуляльной» (выражение покойной моей матери) кофточке и миленькой, как говаривали в старину, «комильфотной» шляпке. Словом, такая парочка, что лучше и не надо. Для мужа и жены они были слишком похожи друг на друга: мы решили, что это брат с сестрой, и от души пожелали им всякой милости Божией — очень уж они нам понравились.

Вечером числа 3-го или 4 января часов около семи к нам кто-то позвонил с парадного крыльца. На звонок выбежала наша новая прислуга Паша. По обычаю, усвоенному нашими домочадцами, вместо того чтобы коротенько узнать, кто и зачем звонит, и доложить, Паша застряла за входной дверью в длиннейших объяснениях с поздним посетителем. Я на всякий случай (мало ли что может случиться в нашем уединении!) вышел в переднюю... Является Паша и объявляет:

— Вас какой-то там мущина спрашивает.

— Какой мущина?

— Да — мущина! А я почем знаю?

Вижу, что от Паши толку не добиться, посылаю Филю (мальчик из оптинской столярки, мною помещенный туда в ученье). Польщенный ответственным поручением и втайне труся, Филя кинулся на парадную дверь, как на врага, с диким, воинственным кличем:

— Кто там? кто там?

За дверью никого не было: таинственный ночной посетитель скрывался где-то там за садовой калиткой. Тогда вновь с криком отчаяния и страха — «кто там?» — Филя ринулся к калитке. Я стоял у парадного крыльца в резерве. Через минуту Филя вернулся и подал мне письмо от близкого моему сердцу иерея Божия из черноземной полосы России. В письме этом мне были рекомендованы брат и сестра Е., земляки этому иерею, с просьбой принять и приласкать их по-оптински.

Прочел я письмо и спрашиваю Филю:

— Где они?

— Ушодцы[1] на гостиницу к о. Пахомию.

— Догони и верни!

Эти брат и сестра и были той милой парочкой, которую мы заприметили в Оптинском храме в канун нового года. И что же это оказались за чудные люди, что за детские, доверчивые, чистые души! И родит же еще Господь таких в наше страшное время! О дорогая моя Оптина! только ты одна и имеешь божественный дар открывать ищущему тех из седми тысящ неподклонивших выи своей Ваалу, которых соблюл Себе Господь, укрыв их даже от вещих очей великого Своего пророка. 29 декабря такие же чистые души блеснули нам светом красоты своей душевной — то были брат и две сестры З. из С-а, теперь эти Е. из Т-а: и те и другие одного духа, одного душевного устроения, одного устремления к Бо-

[1] Филя из Демьянского уезда Новгородской губернии — там так говорят.

жественному и вечно прекрасному, что таится и обретается только в сокровенных тайниках Христовой Православной Церкви, в тех святых обителях, где еще жив дух древлемонашеский.

Есть у меня знакомка, старозаветная старушка из простых крестьянок. Живет она при одной женской обители, но монашества не принимает, по смирению, что ли, или по другой какой причине... Удивительно образный и красивый у нее говор: в нем мне отзвук слышится тех речей, которыми в дни древние ласкался слух в хоромах княжьих Владимира Красна Солнышка.

Вот эта-то бабушка — звали ее Натальей — про людей одного духа выразилась однажды такими словами:

— Вот что я тебе, мой батюшка, скажу: был у меня только один свет (она назвала одного по духу близкого моему сердцу человека), свет пресладкий, приятный, любезный и красивый; а теперь стало два света — вы оба, светы лазоревые, одного духа, одного простосердечья, одного чистосердечья, не превозвышенные; любовь ваша душевная, одно слово — одного духа, одного полотна. Ходите статно, аккуратно, сзади поглядишь — как вырезанные.

Таковы эти мои милые Е. и те З. Соблюди их, Господи, во святыне Твоей! Благодарю Тебя за честь и утешение видеть и любить истых детей Твоих, чья душа красотою своею уже и здесь, на грешной земле, отражает сияющую светлость беспредельной красоты Твоего лучезарного неба, подножия престола непостижимой славы Твоей и величествия!..

— Скажите, кто это такие? — спросил раз как-то, указывая на них за всенощной, помощник нашего благочинного отец Е.

Я сказал.

— Вишь ты! — подивился он. — Еще, стало быть, и в вашем быту есть рабы Христовы. Дивлюсь я, на них глядя.

А они, действительно, в храме стояли, как Ангелы Божии.

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

Уехали они 7 января — оба они служат на казенной службе, — проведя почти целый день у нас. В одиннадцатом часу вечера того дня мы с женой пошли их провожать через лес на гостиницу о. Пахомия. Идут они величавым нашим лесом и все время восторгаются, мечтая на лето приехать в Оптину и на все время летних каникул поселиться и пожить в ней всей семьей — с отцом, с матерью, да еще и брата с собой прихватить, студента. Святая мечта! Как только их съютить [соединить] с постановлением монашеского съезда, наложившего запрет на монастыри принимать к себе на жительство мирских, именуемых «дачниками»? Как бы и нам самим не угодить под эту категорию!..

Пока шли лесом, зашумели макушки сосен, стало снежить. Начала подниматься метель с мокрым снегом; в лесу-то еще тихо, а там, в лугах Жиздры, по дороге в Козельск, так прохватит, за мое почтение. Глядим мы на «гуляльную» кофточку...

— А будет у вас, — спрашиваем, — чем укрыться, когда завтра рано утром поедете на станцию?

— Как не быть! — выкликнул богатырь-брат. — На мне ее доха. Отчего ж я все время в ней и страдаю: я приехал в тулупе, но в тулупе неловко ходить в церковь, а пальто свое я не взял, чтобы не брать с собою лишнего багажа: вот в дохе я и щеголяю.

А он «щеголял», простаивая в ней как изваяние все продолжительные службы в теплых наших Оптинских храмах.

— Ну, вот, — говорю я им на прощанье, — вам теперь открылась новая жизнь, о которой вы и не подозревали, живя в міру; ее вам открыла Оптина и батюшка о. Варсонофий (они стали его духовными детьми): будете ли вы теперь помнить об Оптиной?

— Это не жизнь, — воскликнула в восторге молодая девушка, — это преддверие рая!

На этом мы обнялись с ними и простились.

Ангелы в путь вам, дети Божии!

25 января

Обитель любви, веры и... нищеты.

Сегодня была у нас мать Мария, рясофорная послушница из Д[угненско]й обители, основанной во имя Царицы Небесной, в память явления одной из Ея чудотворных икон и святителя Иоанна Милостивого. Не монастырь, даже еще и не община. Смиренное это общежитие жен и дев, пожелавших уневестить себя Христу, а в нашем сердце ему отведено такое обширное место, что хоть бы и великой лавре впору. Такова сила и власть любви, живущей и управляющей этой обителью в лице ее настоятельницы, человека исключительной духовной красоты и разума Христова, и единодушных с нею и единоправных сестер ей о Христе Иисусе. Ни обители этой, ни настоятельницы ее я еще и в глаза не видал, но такова сила любви, что и невидимое становится как бы видимым, а сердечному оку ближе даже иногда, чем иное видимое.

Кто свел нас духом с этой дивной обителью любви, веры и... нищеты, вожделенной Евангельской нищеты духа, которой обещано Царство Небесное, и той нищеты, от которой немощной плоти, увы, бывает иной раз до слез и холодно и так голодно-голодно?!. Кто свел нас, кто первый проторил нам дорожку к ним, к этим чистым душам, искательницам Божьего Иерусалима, града невидимого?

Великая немощь человеческая — та горькая «послушница без послушания», о которой у меня записано было под 10-м января прошлого года[1]: ей, бесприютной, гони-

[1] См. о ней книгу мою «На берегу Божьей реки», 37 стр. Теперь она покойница, звали ее Софией Александровной. Помяни ее, читатель, в святых молитвах твоих.

мой и, по правде сказать, в общежитии едва терпимой, был дан приют в этом общежитии; там вновь ее измученному сердцу улыбнулись небесной улыбкой любовь и сострадание. Через нее «наше» отозвалось туда, а оттуда «их» повеяло благоуханием святости к нам — и мы заочно стали родные.

Так сила Божия в немощи совершается...

Заочное наше знакомство около года тому назад повело и к письменному.

В феврале прошлого года я получил оттуда письмо, в нем мне писали так: «Возлюбленный о Христе брат, Сергий Александрович! Простите за беспокойство, что отрываю вас от обычных ваших занятий, зная, что вы не откажетесь помочь нам в том, в чем Господь даст вам силу и способности помочь. Я обращаюсь к вам по послушанию своей матушке-настоятельнице, еще незнакомой вам лично, но верящей в осуществление с вами личного общения, когда на то будет воля и указание Божие, без которых она старается и шагу не ступить. И вот, я стучусь к вашему сердцу помочь нам из прилагаемого жалкого материала о нашей обители составить душеполезный очерк, поместить его в какой-нибудь духовный журнал или же издать отдельной брошюрой. Нам верится, что из этого малого Господь поможет вам создать живую картину великой нашей немощи и отразить в ней тот слабый луч света Божия, который доступен нам в искании чистоты иноческой жизни.

Наша обитель бедна и ничтожна, но в ней полтораста душ, жаждущих Христова утешения и пришедших сюда, как в тихий оазис, из духовной пустыни многошумного и суетного міра, чтобы послужить ему и себе чистотою сердца и молитвою. Знойно и душно там от усилившегося развращения обычаев и нравов. Женская душа во все времена тяготела к любви и вере сильнее и горячее мужской, понимала и искала Божественной правды в міре, а теперь более, чем когда-либо, ибо в міре ныне

въяве вместо имени Божия и Его власти призывается имя и власть Его противника и исконного человекоубийцы, вместо истины царствует ложь, вместо чистоты ума и сердца — распущенность. Ныне более, чем когда-либо, исполняются слова Спасителя: *Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир Я пришел принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его* (Мф. 10, 34–36). Ныне жена не стала понимать мужа, занятого только пустыми материальными расчетами, муж — жену, ищущую Бога; ныне брат восстает на сестру за ее любовь к целомудрию, а мір презирает, гонит и попирает решительно все, что может напомнить ему о Христе и Его заповедях. Теперь именно настал тот великий духовный голод, о котором предсказал великий Псалмопевец и Царь словами: *Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишася истины от сынов человеческих* (Пс. 11, 2). Душа задыхается в міру, одурманивается и, если не убежит от міра, скоро умирает мучительною смертью или самоубийства, или конечного отпадения от Бога и сатанинской вражды на Него. Жалкая, чуткая душа, еще не успевшая оскверниться в чаду угара мирской жизни и грехов человеческих, стремится вырваться из міра, уйти туда, где небо чисто, где дышится ей легко, где воздух не заражен изменой Богу, чтобы там вздохнуть легко и набраться сил для борьбы со злом, грехом, со своею плотью, воюющей на душу, и с пакостником ее, богоборцем-диаволом. Вот причина и разум основания и возникновения ныне то там, то сям многочисленных, все умножающихся женских обителей, к числу которых, как их младшая и немощнейшая сестра, относится и наша юная обитель, такая убогая, такая немощная, как гнездо слабых ласточек на чужом окне, под чужою кровлей. Жива она чудом Божиим, хранима, поддерживаема и утешаема любовью Того, Кто Сам есть Любовь истинная. Чудом Господним полтораста нищих на

чужой земле, при чужой церкви живут в этом уголке и не умирают, мало того, еще и чужих, заброшенных детей содержат в созданном ими приюте. А как теперь мір смотрит на обители, как заботится о поддержании существования молящихся за него Богу их обитателей, считая всех монашествующих тунеядцами?..»

Кончается письмо это словами: «Помогите нам словом вашим, если на то есть воля Божия».

Видно, не было тогда воли Божией: думал я думал, как и чем мне помочь нищете этой непокрытой, горем да бедами, как пеленами, повитой, и ничего-ничегошеньки не мог придумать для убожества святых этих подвижниц. Писать о них, взывать о помощи? Кто мне поверит? да и кто теперь каким бы то ни было словам и писаниям верить станет, если уже святейшему слову Священного Писания не стали веровать? А я-то кто?.. Думал, думал, ничего не придумал и с плачем в сердце ответил бессилием на веру и надежду взывавших к моей помощи.

Казалось бы, по законам міра, и быть тут концу всякому общению: но ин суд Божий и ин человеческий, отказ мой в помощи обручил нас с обителью вовек неумирающею взаимною любовью. На письмо мое, адресованное самой настоятельнице, я получил от нее характерный для нее и для ее дочек следующий ответ: «Дорогой друг мой Сергей Александрович! Простите меня: я поступила необдуманно и без благословения батюшки о. Варсонофия[1] послала вам очерк нашей обители. На меня нашло какое-то затмение: благодаря просьбе одного доброго для нас священника и по слабости ума, характера да еще по гордости я решилась на подобный поступок. Теперь вы меня вразумили и, кроме виновности, я ничего не чувствую. За ваше письмо и за все, что в нем, как умею, благодарю Господа. Вашей добрейшей супруге потрудитесь передать мой искренний привет, целую ее

[1] У нас оказался общий духовник и старец.

душу. Да хранит вас Господь во все дни жизни вашей в мире, любви и уповании. О нуждах нашей обители я лично не могу почему-то ничего писать — это исполняют за меня мои детки. Вас обоих я храню в своем сердце, как некое сокровище, и рада Богу, что вы существуете на белом свете, что вы взысканы милостию Божиею. Если не трудно, то прошу помолиться о нас, грешных. Я помню вас пред Господом, и если бы было Ему угодно, то навеки и всей душой я была бы предана вам крепкою во Христе любовью. Недостойная настоятельница С[офия]».

Это после отказа-то, да вдруг такое письмо! Вот, подумалось нам, та любовь, которая *не ищет своего, не раздражается... все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит...* та любовь, которая по слову апостола, *никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится!* (1 Кор. 13, 5 и 7–8.) Сердце наше было умилено, и в нем от любви родилась любовь, угодная Богу и навеки предавшаяся и обители, и той, кому было дано затеплить ее в нашем сердце навеки неугасимой лампадой.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Обитель эта, о которой слезами любви и жалости наметывает эти строки перо мое, оказалась духовной дочерью нашей Оптиной и ее старцев. С благословения своей настоятельницы сёстры обители, наезжая в Оптину к своим духовным руководителям, кое-когда стали пользоваться нашим гостеприимством. Надо ли говорить, какая их у нас встречала любовь?! Мы да и все домочадцы на скиток наш стали смотреть как на подворье этой дорогой нашему сердцу обители; все крепче и крепче спаивались узы нашей любви... Под Рождество, в самый сочельник, когда внезапно наступившие после продолжительной оттепели морозы достигли 30° по Реомюру, из любимой обители нам прислан был куст азалий в полном цвету. Привезла его из Москвы послушница Мария,

ездившая по делам обители и отпущенная матушкой-настоятельницей на побывку к старцам за советом по какому-то для послушницы этой неотложно-спешному делу. Куст цветущей азалии среди зимы! И ни один цветок, ни один листик не тронут был морозом — вот она любовь, творящая чудеса! И дивились мы ей, и не могли на нее нарадоваться... Рождественские праздники и эти «на снегу цветы» заставили нас написать матушке и выразить ей со всей полнотой и искренностью те чувства, которыми преисполнилось наше сердце к ней и к сестрам за все ее и их, убогих и нищих, щедроты и милости. Ответ матушки я получил сегодня с той же послушницей Марией. Ответ этот так живописует заочного друга нашего и молитвенницу, что я умиленным сердцем и душою умиленною письмо это заношу на эти страницы. Вот что пишет нам этот ангел во плоти: «Господь посреди нас есть и будет. Получила я два письма ваших и, полная радости, припав головою к земле, благодарю Создателя за все Его милости и за это утешение особенно. Но из дорогих тех писем я заметила, что вы слишком беспокоитесь о каком-либо вещественном воздаянии нашей обители, так что даже очерк ее, посланный к вам по необдуманности, имеете на своем сердце как неоплаченный вексель. Не надо так, Сергей Александрович! Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Для Бога все ниже любви. Любовь соединяет и находящи[х]ся далеко. Так и молитва может принести величайшую пользу далеко находящимся друг от друга...» Кажется, глубокие чувства во Христе ничего не просят от любимых, сами в себе имея удовлетворение. А я вот радуюсь вашей святой любви к нам и прошу у ней молитвы, считая ее самой лучшей наградой. Буду и сама молиться как могу, невзирая на свое недостоинство, молиться будут и дети. Буду кричать Господу Богу о милости вам, как кричит малая лесная птичка, стоящая один грошик, но не забытая у Бога; буду любить вас обоих, как люблю ясные звезды или чистые Божии радости.

Увижу ли я вас когда-нибудь или нет, это меня мало заботит. Мне все думается, что я вижу души ваши, и всем сердцем желаю до последнего дня моей земной жизни, и если получу прощенье, то и там, в обители небесной, волею Божиею сохранить [sic] к вам всю силу самой высокой и нежнейшей любви, подобия которой не выразить здесь словами ограниченного человеческого разума.

Господи благий, благослови, укрепи и соверши во мне это! Многогрешная С[офия], настоятельница обители Пресвятой Богородицы N.

Простите!»

Так заводились и укреплялись в любви Божией мои с женою отношения к «малой лесной птичке, не забытой у Бога, кричащей к Нему» о милости не только к нам, но ко всему міру Христианскому, Православному.

Молитва праведного — стояние граду... Великая это милость Божия!

26 января

Чудо преп. Серафима. — «Христос вчера, днесь, Той же и во веки».

Сказывала нам м. Мария про великую обительскую радость: «Большая у нашей матушки вера к преподобному Серафиму. С тех пор как они у нас настоятельствуют, батюшке угоднику Божию в нашей обители ими установлено каждую пятницу на утрени служить акафист. Акафист этот у нас весь поется, читается только до слова «радуйся», а там — весь на 6-й глас поется. Так это у нас хорошо, умилительно выходит, что иной раз как схватит за сердце и не знаешь, будет ли еще на небе-то лучше: забудешь и про нищету нашу, даже и про то забудешь, что построили свои лачужки на чужой земле; что и храм-то, который весь обновили и куда ходим молиться, не наш. а приписной к соседнему — про все на свете забудешь... Повек бы так радоваться да мо-

литься! Просила матушка Св. Синод о том, чтобы нам храм этот отдали, а с ним и приписную к нему землю, десятин 448, что ли, или около этого. Долго ходило их-нее прошение по разным местам, и всё по нему никакого решения не выходило. Многих это слез стоило матушке. А дело не ждет: сестер год от году прибавляется, кельи строятся; имиже весть судьбами строятся корпуса для приюта, для общежития, для общих послушаний — и всё без грошика, всё слезами да молитвами, да чудом Божиим. На нас глядя, многие со стороны смеются: «вишь, — говорят, — залетели черные галки на чужие березки да по-птичьему и гнезда себе вьют. Разве с умом люди так делают?!» Даже и доброхоты нашей обители, и те уверяли, что только и будет толку из затеи нашей, что нас заводские[1] выгонят. Сколько плача нам наша жизнь стоила, и не перескажешь, а матушка наша, так та море за нас слез пролила... И вот, батюшка мой. С А., что сотворилось у нас нынче под преподобного Серафима и за его святые молитвы, так уж это истинно чудо-чудное, диво-дивное! Сказывать начнешь, плакать хочется. Об рождественских праздниках, близ памяти преподобного Серафима матушке вышел указ от консистори о том, что Св. Синод отдал нашей обители и храм, и землю при нем, но с тем, чтобы матушка внесла к какому-то там сроку пять тысяч рублей. Подумайте — скажите: пять тысяч! а у нас у всех и полста, хоть обыщи, не наскребется. И радость тут, и горе. Что тут делать? И вот, на память преподобного Серафима положила матушка при всех сестрах указанную бумагу к его иконе, в слух сестер ему и говорит:

— Батюшка, видишь, что я творю? Денег нет, а я уже ответила владыке, что деньги к сроку внесу; а взять, ты сам, батюшка, знаешь, нам, нищим, неоткуда.

Сказала так-то, а там обратилась к сестрам:

[1] Церковь обители и при ней кладбище приписаны были к соседнему заводу.

— Давайте, — говорит, — сестры, день и ночь плакать к Преподобному и веруйте, что он нас выручит.

И наплакались же мы тут, батюшка мой, вволю.

Так и осталась указная бумага лежать у Преподобного.

Прошло два дня, и ровнешенько, копейка в копейку, от неизвестных матушка пять тысяч и получила: присланы деньги и при них заказ молиться о здравии и спасении девиц Анастасии и Елизаветы. 4 января деньги были получены, а 9-го матушка уже их свезла к владыке. То-то было у нас опять слез, да ликования, да радования!»

Об этом чуде преп. Серафима написала мне и сама матушка.

«Поделюсь, — пишет она, — с вами еще недавней милостью Божией. На днях был получен нами указ Св. Синода о передаче церкви св. Иоанна Милостивого нашей обители, а также и земли при ней. За этот храм много душ страдало в продолжение 14-ти лет, и вот конец пришел. Одновременно нам было предписано внести за 47 десятин 5000 рублей, а денег, конечно, не имелось. На день памяти преподобного Серафима (2 января) положили мы к иконе бумагу своего обязательства, и через два дня совсем неожиданно и от незнакомых людей привезены были в обитель ровно пять тысяч. Как часто приходится убеждаться в истине того, что «Иисус Христос вчера и днесь, Той же и во веки»[1]. Аминь.

[1] Тебе хочется знать, читатель мой дорогой, где находится эта обитель? Я ее назову тебе и скажу, где она, ибо и поныне бедность ее все та же, что была и раньше, и так же, как и прежде, она нуждается в чудесах Божиих, в тех чудесах, что Господь являет рабам Своим через добрых и благочестивых людей, еще больше, пожалуй, нуждается, потому что нет с ней прежней ее матушки. Зовется святая обитель эта «Отрада и Утешение», зовется так по главной ее святыне, иконе Божией Матери того же явления. Адрес ее почтовый и телеграфный: Дугненский завод, Калужской губернии. Ехать туда можно тремя путями: круглый год — на станцию Ферзиково, Сызрано-Вяземской ж. д.; от станции 12 верст на лошадях. Летом, до схода вод, по Оке пароходом: или от станции Ока Московско-Курской ж. д., или от Калуги — до пристани Дугненский завод. Что

31 января

Воскресенье

8° тепла. — Матери православные, бойтесь проклинать детей своих! — Новый экзарх Грузии и знамение ему в Тамбове.

8° тепла на солнце. Диво да и только!

Сегодня из Оптиной уехала в свой Тамбов недавно приехавшая к нашим старцам за советом и молитвами некая многоскорбная вдова А. Е. К-а. Заходила она и к нам с письмом от наших друзей тамбовских. Приехала в горе, близком к отчаянию, а уехала утешенная, почти радостная.

Такова Оптина!

А было с чего ей скорбеть и плакать.

«В прошлом году, на первый день Пасхи, — рассказывала нам А. Е., — умер у меня скоропостижно муж и оставил меня с пятью малолетними детьми без всяких средств к существованию. Долго жили мы с мужем душа в душу, но последние годы нашей с ним жизни были сплошным кромешным адом для нас обоих; околдовала его какими-то чарами простая девка-поденщица, связала его с собою бесовской страстью и, ненавидя его, выматывала из него душу, хотя и прижила с ним трех ребят. Зла эта девка была, как сам диавол, била его, спаивала, подводила под скандалы, подстрекала его нас убить, законную его семью, путалась с разными босяками, подговаривала их убить его самого и тянула с него последние гроши. Все это бедняга мой муж и видел, и сознавал, чувствовал бездну своего падения, плакал, — у меня же

там за местность! Красота! Какой там воздух! Что за красавица Ока с ее высокими обоими берегами, увенчанными зелеными рощами, соловьиными песнями, обвеянными благоуханием бесчисленных цветов поемных лугов реки-красавицы, и... что за простосердечные и благоговейные молятся там святые души!.. Съезди — не раскаешься!

на груди, бывало, плачет, горе свое выплакивает и муку рассказывает, — но поделать с собою ничего не мог и продолжал валяться в невообразимой нравственной грязи, на самом дне нравственного падения.

Пришла Страстная. В Великий Четверг я с детьми пошла к 12-ти Евангелиям, мужа с нами не было — он был у ней, и дети, и я это знали. Приходит он от нее ночью уж, поздно.

— Был ли ты хоть, — спрашиваю, — в церкви у стояния?

— Был, — отвечает и свечку показывает.

А где там был! — и свечка-то, гляжу, необгорелая... Светлую заутреню, однако, и обедню мы молились всей семьей вместе, вместе и разговливались. Только разговелись, а его уже опять потянуло к ней.

— Анюта! — говорит, — дай мне валериановых капель: мне что-то скверно, не по себе.

Я дала.

— Пойду, — говорит, — на минутку к ней.

А меня много раз предупреждали, чтобы я его всячески старалась удерживать и туда не пускать, что там собирается у нее всякая что ни на есть грязь босяцкая; пьют на мужнины деньги водку, играют в карты, и идет у них там свальный грех да драка... Бьется мое сердце, разрывается, а разве его удержишь? Ушел. Часу не прошло, а уже оттуда бегут мне сказать: «Умер ваш муж!»

Так у нее на постели внезапно и помер... Понимаете ли вы теперь, — говорила нам А. Е., — мою скорбь? Места себе я с тех пор не нахожу — все горюю да плачу! А если бы вы только знали, какой это был хороший человек, мой муж! Он в управляющих по имениям живал. Как народ его любил! И где бы он ни жил, какую он по себе оставлял память, и все это до этой несчастной страсти! Плакали многие, как узнали о его смерти... И вдруг такая смерть!»

Наши старцы сумели ее ободрить, успокоить и утешить. По вере нашей, кто умирает на Пасху, того душа за честь и славу Христова Воскресения безбедно проходит все воздушные мытарства. А тут еще злые чары, и хоть грех велик, да велики же были и муки раскаяния... Ну, словом, побыла А. Е. в Оптиной и сама точно воскресла.

«Ведь и правда, — говорила она нам перед отъездом, — мужу моему, должно быть, прощены грехи на том свете. Видела я его на сороковой день во сне, под самое, стало быть, Вознесение. Видела я его так: нахожусь я будто в церкви, а посреди церкви насыпана свежая могила. У могилы стоит муж. Я знаю, что он умер, и боюсь к нему подойти.

А он улыбается и говорит мне:

— Не бойся за меня, Анюта, и не плачь; мне хорошо. А вот кому надо плакать так плакать! — И муж показал на свою мать, которая, оказалось, тут же стояла... На этом я проснулась».

Я как-то мало обратил внимания на конец этого сновидения, но жена моя любит докапываться до корня вещей и спросила А. Е., не было ли какой причины обращаться покойнику к матери с такими словами.

— Думаю, — ответила А. Е., — не оттого ли он так сказал, что лет за пять до своей смерти он проклят был своею матерью.

— За что же? — спросила жена.

— За вздор, за сущий пустяк! Он, видите ли, ей лошадью не угодил: купил как-то раз лошадь, не досмотрел, а она оказалась кривая. Свекровь так рассердилась, что прокляла его такими словами: «Чтоб тебя Бог покарал до конца твоей жизни!»

— Не с тех ли пор, — спросили мы, — и муж-то ваш так дурно стал себя вести?

— Да, — ответила А. Е., — с тех самых пор он и стал как будто сам не свой. Если бы вы только видели, как он

мучился и страдал от своей жизни! Не свой он был, не свой: весь был во власти злой силы.

Матери православные, бойтесь проклинать детей своих!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В письме, которое мне привезено из Тамбова А. Е., было сообщено между прочим следующее: «На прошлой неделе провожали экзарха Грузии Иннокентия. Слез было много. Он сам плакал сильно, земно у всех просил прощения и уехал с недобрым предчувствием. Когда был получен указ о назначении его в Тифлис, он пошел в свою домовую церковь поставить свечку перед иконой Божией Матери. Зажег свечу, поставил, а она тут же погасла, он снова зажигает и осторожно ставит — опять тухнет. Тогда он зажигает третий раз, и свеча в третий раз гаснет. Тут и руки у него опустились, не стал более зажигать и в скорби вышел...»

Не погаснуть ли самому архиепископу Иннокентию на свещнице Грузинской?.. Только бы не духовно?..

10 февраля

Скорби сердца и канон молебный Царице Небесной. — Знамение Ея милости.

Эти дни под впечатлением событий, творящихся во внешнем міре, — там, за оградой монастырской, — сердце мое было крайне тревожно, а тут подоспели и еще кое-какие злые вести, больно затронувшие мою впечатлительность, — *и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое*. Так мне было тяжело, так тяжело, что и сказать невозможно. Вчера к вечеру стало даже невыносимо тяжко, так что пришлось прибегнуть к испытанному в таких случаях средству — усердной молитве к Царице Небесной и к чтению Ей канона, известного под названием «Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый

во всякой скорби душевной и обстоянии». Читали мы его с женою вместе на ночь и, как всегда, стало после него сердцу легче, и я мог заснуть довольно спокойно.

А сегодня, как бы в знамение милости Царицы Небесной и в ответ на горячую к Ней молитву, к нам, точно с неба Ангел Божий, пожаловала матушка С[офия], настоятельница той обители, о которой любовь моя уже успела столько записать на страницы эти. Это была наша первая встреча лицом к лицу; и что же это была за радость всем нам, и какое это было ликование! — только на небе будет лучше, а на земле вне любви Христовой нет и не может быть никакого подобия этой радости, этому ликованию. В течение целого дня мы не знали, где мы — на небе ли или на земле, в теле ли или вне тела. Нечто подобное по силе чувства, исполнившего сердце любовию о Христе Иисусе, испытывал, представляется мне, «служка Божией Матери и Серафимов» Николай Александрович Мотовилов при встрече с преподобным Серафимом в ближней пустынке, накануне великой беседы о цели христианской жизни[1]. «Никакое слово,— пишет он,— не может выразить той радости, которую я ощутил в сердце моем... Я плавал в блаженстве. Мысль, что, несмотря на долготерпение целого дня, я хоть под конец да сподобился, однако же, не только узреть лицо о. Серафима, но и слышать привет его богодухновенных словес, так утешила меня! Да, я был на высоте блаженства, никаким земным подобием неизобразимой, и, несмотря на то, что я целый день не пил, не ел, я сделался так сыт, что как будто наелся до пресыщения и напился до разумного упоения. Говорю истину, хоть, может быть, для некоторых, не испытавших на деле, что значит сладость, сытость и упоение, которыми преисполняется человек во время наития Духа Божия, слова мои и покажутся преувеличенными и рассказ чересчур восторженным. Но уверяю совестью

[1] См. мою книгу «Великое в малом», 1 ч., 178 стр.

православно-христианскою, что нет здесь преувеличения, а все сказанное сейчас мною есть не только сущая истина, но даже и весьма слабое представление того, что я действительно ощущал в сердце моем».

Вот нечто подобное и по происхождению своему, и по силе чувства испытано было не одним мною, а всеми нами, отшельниками Нилусовского скита, в этот незабвенный день нашей первой встречи лицом к лицу с той, которую наше сердце уже больше года привыкло любить заочно.

Матушка приехала к старцам и к ним же привезла и шесть сестер-певчих. Вечером, после старцев, они все вместе со своею матушкой собрались к нам, и весь вечер было у нас ангельское пение, душой которого и украшением был голос самой матушки. И такое это было дивное пение, что — истину говорю, не лгу — ничего мы подобного никогда не слыхали. Вдохновение было свыше, сердце растворено было Христовой любовью, Божья радость улыбалась душе нашей — оттого так и пелось, оттого так и слушалось, и молилось в глубине сердечной воздыханиями неизглаголанными.

«Радовалась я, — говорила нам ангел-матушка, — что наконец увижу вас, мои радости, и подумала: обитель наша зовется «Отрада и Утешение» — чем их утешить? И решила взять своих певчих, думаю: и им полезно к старцам, и вам будет утешение».

И великая сила любви, говорившая нам эти речи, сопровождалась такой улыбкой, таким светом и теплом привета и ласки, что сердце замирало и таяло в невыразимой благодарности к Богу и к Той, Которая есть Отрада истинная и Утешение велие.

Это ли не знамение вышнего попечения о грешных людях Небесной Игумении? Вчера и сегодня — ад и небо! Все это так чудно, так знаменательно, так утешительно... Мы весь день едва удерживали умиленные слезы, а вечером, за акафистами Знамению Божией Матери и преподобному Серафиму, петыми целиком на глас 8-й и 6-й,

мы в полном смысле слова исходили слезами. Дивлюсь только, как все это могло сердце выдержать!..

Радуйся, Невесто Неневестная!

11 февраля

Те же радости

Сегодня было то же, что и вчера, — те же радости, то же умиление! Насколько сильно было впечатление вчерашнего и сегодняшнего дней, пережитых точно в благодатном сне, я сужу по тому, что все зло земли, над которым так болит, тоскует и плачет мое сердце, отступило, как силы нечистые под знамением Честнаго и Животворящаго Креста Господня: во всех неумолкавших беседах наших с матушкой мы ни разу его не коснулись, как будто его вовсе не существовало. Какое это было утешение!

После обеда опять от старцев пришли сестры-певчие и опять полились небесные звуки дивного пения. В самый разгар его пришел наш дорогой друг, отец Н[ектарий]. Надо было видеть его оживление и умиление!..

Вечером матушка со своими сестрами уехала в свою обитель.

Для нас эти два дня были как благодатный сон, как небесное видение. Как только благодарить за них Царицу Небесную?!

23 февраля

Видение о. Николая («Турка»), схимонаха Скита Оптиной Пустыни.

Кто читал книгу мою «Великое в малом», тому известен Оптинский подвижник, схимонах о. Николай, по прозванию Турка. В статье «Небесные обители» я рассказал со слов одного моего духовного друга о видении, бывшем этому подвижнику. Теперь в скитских рукописях я нашел краткое жизнеописание о. Николая и более подробный рассказ, записанный со слов его самого, о том, что уви-

дел он, по милости Божией, в жизни будущего века, в тех небесных обителях, куда призывает Господь всех любящих Его и куда уже призван ныне схимонах Николай-Турка, подвижник Оптинский.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Схимонах Николай, — так сообщает его биография, — в міре Николай Абрулах, казанский мещанин. Из представленного им свидетельства Херсонской духовной консистории видно, что он — бывший магометанин, имя его было Юзуф-Абдул-Оглы; бывший турецкий подданный, родом из Малой Азии. Служил в турецкой гвардии офицером. Когда он почувствовал желание креститься в православную веру и стал об этом открыто заявлять родичам своим туркам, то они так возненавидели его за это, что он дня по два, как «гяур», не мог найти себе пищи. Его мучили, вырезая куски из тела его. Ему удалось бежать в Россию. В Одессе, в Карантинной церкви, он был крещен в октябре 1874 года и назван Николаем. Восприем[ни]ками [sic] его были: Одесский градоначальник, тайный советник Николай Иванович Бухарин и 1-й гильдии купчиха Наталия Ивановна Глазкова. Затем он в Казани приписался в мещанское общество. 18 июля 1892 года, 63-х лет от роду, он поступил в Скит Оптиной Пустыни. Господь сподобил его духовных утешений: восхищен был в рай, где наслаждался созерцанием неизреченных райских красот. Отличался кротостью, смирением и братолюбием. Келья его была рядом с келлией монаха Мартирия (скончался иеродиаконом). Топил за него печи, и когда тот, удивляясь, спрашивал: «За что же это для меня делаешь?» — отвечал просто: «Я тебя люблю».

Скончался 18 августа 1893 года, 65 лет от роду.

«В четверг 13 мая 1893 года, — сказывал Божий угодник этот[1], — утром часу в третьем, я начал читать ака-

---

[1] Записано со слов о. Николая послушником Павлом Ивановичем Плиханковым, впоследствии начальник Скита Оптиной Пустыни, схиархимандрит о. Варсонофий.

фист Святителю Николаю Чудотворцу. Господь мне даровал такую благодать при этом, что слезы неудержимо и обильно текли из моих глаз, так что вся книга была омочена слезами. По окончании чтения утрени, я начал читать псалом 50-й «Помилуй мя, Боже», а после него Символ веры, и когда его окончил и произнес последнее слово — «и жизни будущаго века. Аминь», — в это самое мгновение невидимая рука взяла мои руки и сложила их крестообразно на груди, а голову мою со всех сторон объял огонь, похожий на цвет радуги[1]. Огонь этот, не опаляя меня, наполнил все существо мое неизглаголанною радостью, до того времени мне совершенно неизвестной и неиспытанной. Радости этой невозможно уподобить никакой земной радости. И тут, я не помню как и когда, я увидел себя перенесенным в некую дивно-прекрасную местность, исполненную света. Никаких земных предметов я не видел там, видел только одно бесконечное и беспредельное море света. В то же время я увидел около себя с левой стороны двух стоящих людей, из коих один по виду был юноша, а другой — старец. И мне сердечным извещением дано было знать, что один из них св. Андрей, Христа ради юродивый, а другой ученик его, св. Епифаний. Оба они стояли молча. И тут я увидел пред собою как бы занавес темно-малиноватого цвета. И, взглянув вверх, я над занавесом увидел Господа Иисуса Христа, восседающего на Престоле и облаченного в драгоценные одежды, наподобие архиерейских. На главе Его была надета митра, тоже похожая на архиерейскую. С правой стороны Господа стояла Божия Матерь, а с левой Иоанн Креститель. Одежды на них были подобны тем, которые обыкновенно пишутся на их иконах. Св. Иоанн Креститель в одной руке держал знамение Креста Господня. По сторонам Господа стояло двое светоносных юношей дивной красоты; в руках они держали пламенное оружие. Сердце мое преисполнено было неизреченной радости.

[1] В подлиннике — «желтый, похожий на цвет радуги».

Я смотрел на Спасителя и несказанно наслаждался зрением Божественного Его лика. На вид Господу было лет 30. И явилось тут во мне сознание, что вот, я, величайший грешник, хуже всякого пса, и вдруг удостоился от Господа такой великой милости, что стою пред Престолом Его неизреченной славы. Господь кротко смотрел на меня и как бы ободрял меня. Так же кротко смотрели на меня Божия Матерь и св. Иоанн Креститель. Но ни от Господа, ни от Пречистой Его Матери, ни от Крестителя Господня я не сподобился слышать ни единого слова. В это время я увидел пред Господом схимонаха нашего Скита о. Николая (Лопатина), скончавшегося в полдень 10 мая и еще не погребенного, так как ожидали приезда из Москвы его родного брата. 0. Николай совершил земное поклонение пред Господом, но только схимы на нем не было, а одет он был как послушник— в руках четка [sic] и голова непокрыта. И после сего я взглянул: и вот, с правой стороны великое множество людей, приближавшихся ко мне. По мере их приближения, я начал слышать пение, но слов не мог разобрать. И увидел я в среде их лиц и в архиерейских облачениях, и в иноческих мантиях; у иных в руках были ветви. И между ними я видел и женщин в богатых и прекрасных одеждах. В сонме святых этих я узнал многих по изображениям на святых иконах: пророка Моисея, державшего в деснице своей скрижали Завета, пророка и царя Давида, у которого в руках было некое подобие гуслей, издававших прекраснейшие звуки; увидел я и Ангела своего Святителя Николая. Среди этих великих Божьих угодников я видел и наших в Бозе почивших старцев: Льва, Макария и Амвросия, а также и некоторых из отцов нашего Скита, находящихся еще в живых. И все это великое собрание взирало на меня с любовью... И вдруг увидел я пред собою между мною и занавесом неизмеримо великую пропасть, наполненную мрака, и во мраке этом, на страшной глубине — самого князя тьмы, в том его виде, в ка-

ком изображается на священных картинах. На руках сатаны сидел Иуда, державший в руках подобие мешка. Возле князя тьмы стоял лжепророк Магомет в длиннополой одежде зеленого цвета и такого же цвета чалме. Вокруг сатаны, который представлял собою как бы центр пропасти, на всем ее беспредельном пространстве я видел уже множество людей всякого состояния, пола и возраста, но между ними никого знакомого не заметил. Из пропасти доносились до меня вопли отчаяния и невыразимого ужаса, не передаваемые никакими словами.

На этом видение кончилось.

После этого я был поставлен внезапно в ином месте. Это место исполнено было такого же великого лучезарного света, однородного, показалось мне, с виденным мною в первом месте. Святых Андрея и Епифания со мною уже не было... Что видел я там, то трудно передать словами. И как изобразить человеческим языком земнородных небесные красоты, неизреченные, предивные, поистине неизглаголанные? Все там безконечно прекраснее нашего. Видел я там как бы великие и прекрасные деревья, обремененные плодами, деревья эти расположены были как бы аллеями, которым и конца не было видно, вершины деревьев сплетались между собою, образуя как бы свод, устланы были аллеи эти как бы чистейшим золотом необыкновенного блеска. На деревьях сидело великое множество птиц, несколько напоминавших видом своим птиц наших тропических стран, но только безконечно превосходящих их своею красотою. Красоты и гармонии их пения никакая земная музыка передать не в состоянии — так оно было сладостно.

В саду этом протекала река, прозрачность вод ее превосходит всякое описание. И между деревьями сада я увидел дивные обители, как бы дворцы, по подобию виденных мною в Константинополе, но только без всякого равнения превосходнее и краше. Цвет их стен был как бы малиновый, похожий цветом и блеском на рубин. И я знал,

что место это — рай, расположением своим напоминавший мне отчасти наш Оптинский Скит, где иноческие кельи также стоят отдельно друг от друга, разделенные группами фруктовых деревьев.

Рай был окружен стеной, которую я видел только с южной стороны. На этой стене я прочитал имена 12-ти апостолов.

И увидел я в раю некоего мужа, облеченного в блестящие одежды и сидящего на престоле как бы белоснежном. На вид мужу этому было лет шестьдесят, но лик его, несмотря на седины, был как у юноши. Кругом него стояло множество нищих, которым он что-то раздавал. И внутренний голос сказал мне: «Это — Филарет Милостивый!»

Кроме него, я никого из праведных обитателей рая не сподобился видеть.

Посреди райского сада я увидел Животворящий Крест с распятым на нем Господом. Невидимая рука указала мне поклониться ему, что я и исполнил. И когда я преклонился пред ним, в то же мгновение неизреченная и великая сладость, подобно пламени, наполнила мое сердце и проникла все существо мое.

И увидел я после того великую обитель, видом подобную прочим, находящимся в раю, но неизмеримо превосходящую их своею красотою. Вершина ее, наподобие исполинского церковного купола, возносилась в бесконечную высь и как бы терялась в ней. В обители этой я заметил как бы подобие некоей террасы, и на ней, на богато изукрашенном троне, я увидел Царицу Небесную. Вокруг Нее стояло великое множество прекрасных юношей в блистающих белых одеждах, державших в руках подобие некоего оружия, но какого, того я не разглядел. Одежда на Матери Божией была такая же, как изображается она на святых иконах, но только разноцветная. На главе Ее была корона, наподобие царской. Царица Небесная милостиво глядела на меня, но слов от Нее услышать я не сподобился.

После сего, как бы в воздухе, я удостоился узреть Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, в подобии, изображаемом на святых Ее иконах; Бога Отца в виде святолепного Старца; Бога Сына в виде Мужа, держащего в деснице Своей Честный Животворящий Крест, и Бога Духа Святаго — в виде Голубя.

И казалось мне, что я долго ходил среди рая, созерцая дивные красоты, превосходящие всякое человеческое о нем представление.

Когда же я очнулся от этого видения, то долго не мог прийти в себя от великого и неизреченного утешения этого и весь этот день был как бы вне себя от радости, наполнявшей мое сердце. Ничего подобного сей радости до этого времени я никогда не испытывал».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

На этом в скитской рукописи заканчивается описание видения скитского подвижника, схимонаха Николая Турка.

«Ну что ты еще знать хочешь, чего допытываешься? — говорил он старцу схиархимандриту Варсонофию, в то время еще послушнику. — Придет время — сам увидишь. Что еще тебе сказать, да и как сказать тебе?.. Ведь на человеческом языке нет тех слов, которые могли бы передать, что там совершается; ведь на земле и красок-то тех нет, которые я там видел. Как же тебе все это передать?.. Ну вот, послушай, что я тебе скажу: ты знаешь ведь, что такое хорошая музыка?.. Ну вот я слышал ее, только что слышал: она у меня звучит в ушах, она поет в моем сердце — я все еще ее продолжаю слышать. А ты ее не слыхал. Как же, какими же словами могу я тебе рассказать о ней, чтобы и ты по моим словам мог бы ее слышать и со мною вместе ею наслаждаться?.. Ведь не можешь? Так и того, что я там видел невозможно пересказать человеку...»[1]

---

[1] «Великое в малом», ч. 1, 333 стр., изд. 3-е (Серг. Посад, 1911).

Видение это даровано было схимонаху Николаю 13-го мая 1893 года, а 18-го августа того же года, через 3 месяца и 5 дней после этого видения, не стало уже на земле в живых и самого святого схимника. О, сладкая наша вера! О, сладость исполнения небесных ее обетовании!..

24 февраля

Кончина послушника Миши. Посмертные его явления.

А вот и еще жемчужина, выловленная мною из тех же бездонных глубин бесценной моей «Божьей реки» Оптинской.

«1848 года, июля 6-го дня, — читаю я в пожелтевшей от времени рукописной тетрадке[1], — пополудни в седьмом часу, скончался в Козельской Введенской Оптиной пустыни кроткий послушник Михаил Степанов, на 19-м году от роду, болезнию холерою. За несколько дней он чувствовал головную боль, а утром 6-го числа во всей силе обнаружилась у него холера: понос, рвота и судороги. Употреблены были известные лекарственные пособия, но безуспешно. В 12-м часу дня, по исповеди, удостоился принять Святые Христовы Таины, в 6-м часу пополудни особорован и через полчаса по особоровании уснул вечным сном во время чтения отходной. 7-го числа, после поздней литургии, отправлено, по благословению о. игумена Моисея, соборное монашеское погребение в уважение благонравия покойного. При погребении была вся братия и богомольцев полна церковь. С теплыми слезами на глазах сожалели о разлучении с кротким сим братом и с пением и молитвою покрыли гроб землею. В лице брата Михаила обитель принесла первую невинную жертву свирепствующей повсеместно повальной болезни холере.

В самый день погребения Михаила, во втором часу пополудни, помощник пономаря, послушник Виктор пришел

[1] На полях рукописи отмечено карандашом: «Записано со слов монаха Моисея, рясофорного монаха Илии Бирюкова и послушника Виктора Панина».

в свою келью крайне усталый, прилег и тотчас уснул. И едва он уснул, как увидел во сне: будто он отворил в соборе дверь, чтобы мести полы, и видит покойного Михаила в соборе, пришедшего, как обычно, помогать ему в уборке собора. Михаил был в белом балахоне. Виктор очень ему обрадовался и сказал радостно:

— А, Миша! Ты опять к нам?

— Да, — ответил Михаил тихо и ласково, — я еще с вами.

В эту самую минуту Виктора разбудил пономарь, монах Николай, и позвал в собор.

После этого сновидения Виктор чувствовал в сердце некоторое утешение и спокойствие за участь покойного.

Прошло дней восемь. Рясофорный монах Илья Бирюков, прежде живший в одних кельях с Михаилом, изнемогши на утреннем пении, вышел из церкви до отпуста, укоряя себя в немощи. Пришел в келью, уснул и видит во сне: идет будто покойный Михаил по монастырю в белом, чистом балахоне, а монах Илья, обрадовавшись, подзывает его к себе и спрашивает:

— Ну, что, Миша, как ты умирал? Не тошно ли тебе было?

Покойный с прежней простотой и тихостью ответил:

— Да что, батюшка, сначала от болезни очень тошно было; видел и чувствовал, как отцы и братия трудились и помогали мне. А потом сделалось зелено-зелено, и я не заметил, как душа моя вышла из тела. Очутился как бы на облачке, и оно стало поднимать меня все выше и выше. Только тут я ни братии и ничего уже больше не видал.

Монах Илья спросил:

— Хорошо ли тебе теперь-то?

— Хорошо, — ответил Михаил, — только определения еще не было.

И пошел как бы на послушание, а монах Илья, смотря на него, проснулся с чувством умиления и радости за его участь.

Спустя несколько дней тот же монах Илья, уснувши в своей келье, опять видит во сне, будто Михаил по обыкновению обметает с братиею собор. Одет он опять в белом балахоне, а под носом у него точно выпачкано. Илья и говорит ему:

— Что же это ты, Миша, все еще тут с нами ходишь? А это, — указывая на нос, — почему не вытрешь?

— Вы, батюшка, — ответил Михаил, — в этом не сомневайтесь; мне там очень хорошо. Там даже и Ивану немому хорошо.

А Иван этот был глухонемой послушник, сапожник припадочный; умер внезапно в своей келлии 3 ноября 1846 года, в воскресенье, в 2 часа [по]полуночи.

Этот сон свой, по пробуждении, монах Илья рассказывал тогда же единомысленным братиям.

После того, в 28-й день по кончине Михаила, 3-го, стало быть, августа, иеродиакон Моисей (в его келье жил до самой смерти Михаил), придя от утрени, уснул и видит: вошел будто в переднюю комнату в белом балахоне Михаил и в руках держит два белых стекла, вырезанных как бы для вставки в рамки для портретов. Моисей обрадовался ему и тут же подумал: да как же это я его вижу въяве, когда он умер? Как объяснить это старцу?..

— Ах, Миша! — воскликнул он, — спасайся! Скажи, пожалуйста, как ты умирал? Не тяжко тебе было?

— Ничего, батюшка! — ответил Михаил, — сначала, как заболел, тошно было, а как умирал, не чувствовал.

— Ну, а как же ты проходил мытарства?[1]

---

[1] Св. Макарий Александрийский передает следующее ангельское откровение о состоянии душ умерших в первые сорок дней по разделении их от тел своих: душа в первые два дня пребывает на земле и в сопровождении Ангелов посещает те места, в которых творила правду. В третий день повелевается христианской душе вознестись на небеса для поклонения Богу. При восхождении своем на небо душа проходит путь воздушных мытарств, на которых она обличается бесами в содеянных ею грехах. Прохождение мытарств происходит на третий день. После поклонения Богу повелевается

— Какие, батюшка, мытарства? Я их не видал и не знаю. Я как умер, так меня вознесли как на крыльях.

Потом тихо добавил:

— Ведь я перед самой смертью сообщался.

О. Моисей будто не услышал, переспросил:

— Что ты говоришь?

Михаил так же тихо ответил:

— Я сообщался.

— Да говори же погромче! — сказал о. Моисей.

Михаил ответил громко:

— Я сообщался, батюшка, Святых Таин перед самой смертью; да еще в пятницу сообщался. Теперь мне очень хорошо.

— Куда же ты идешь теперь?

— К отцу Паисию: нужно сказать ему словечко.

А о. Паисий — иеромонах, помощник духовника, причащавший Михаила перед смертью.

— А ты, — сказал ему в шутку о. Моисей, — на меня ему наговоришь?

— Нет, батюшка, — ответил он, — я о себе только.

— Вот это и хорошо, — сказал о. Моисей, — что открываешь помыслы: так и старцы велят.

Тут Михаил вдруг стал невидимым.

Моисей, оставшись один, принялся будто за свое рукоделие — он работал ложки — и стал топориком обтесывать ложку за тем же станком, за которым при жизни и Михаил занимался, и в то же время думать: отчего-де это я ничего не спросил у Михаила о себе, хоть бы молитв его попросил о себе ко Господу? И вдруг видит:

душе показать различные обители святых и красоты рая. Это продолжается шесть дней. На девятый день душа опять возносится на поклонение Богу. После этого ей показывается ад со всеми муками, что продолжается тридцать дней. И наконец, в 40-й день по разлучении с телом, душа в третий раз возносится на поклонение Богу и тогда происходит над нею частный суд Божий (окончательный на Страшном Суде по всеобщем воскресении), и ей определяется соответствующее ее земным делам местопребывание.

спускается к нему над станком сверху, по воздуху, Михаил с лицом, умиленным любовью. Моисей в радости обхватил его ноги и воскликнул:

— А, Михаил! Теперь не уйдешь! Помолись обо мне, грешном, чтобы Господь избавил меня от всех козней диавола.

Михаил тихо ответил:

— Милостив Господь! За вас, батюшка, молится святая великомученица Екатерина, преподобный Арсений Великий, Соловецкие Чудотворцы и святой апостол Иоанн Богослов.

Говорил тут Михаил и еще что-то, но о. Моисей, проснувшись, не мог того припомнить».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Записано это сказание знакомым мне почерком о. Евфимия Трунова[1], летописца внутренней оптинской жизни времен великих Оптинских старцев Льва, Макария и архимандрита Моисея.

Вслед за сказанием тою же рукою приписано дословно следующее:

«Хотя видениям во сне и запрещается веровать без рассуждения из предосторожности, как св. Иоанн Лествичник и прочие св. Отцы поучают, но для утверждения и извещения в некиих сомнениях бывали откровения и через сонные видения, как например, Григорию, ученику преп. Василия Нового, о Феодоре и евреях и другим многим. Так и в настоящее время потребно малодушным успокоение, хотя через сонное видение, по случаю повальной болезни холеры, об участи за гробом ею пораженных. Не излишним будет воспомянуть о происхождении и благонравии покойного Михаила.

Родители его принадлежали прежде Полотняному Заводу, что Перемышльской округи, называемому Митин железный завод. Когда же расстроился и уничтожился

---

[1] См. мою книгу: «Святыня под спудом».

Полотняный завод, родитель покойного Михаила с семейством приписался в мещанское общество города Перемышля; старший брат поступил на фабрику в Серпухов, а Михаил с юных лет почувствовал внутреннюю наклонность к монастырской жизни. Имея тихий и кроткий нрав, он только через долгое время многими убеждениями едва мог преклонить родителя своего позволить ему жить в монастыре. Получив родительское соизволение, он поступил в Оптину Пустынь в июле 1846 года и с горячею юношескою ревностью предал себя святому послушанию без прекословия. Кротость и невинная стыдливость отличали его от других сверстников. Послушание его было на правом клиросе петь альтом. Усердие его к церковной службе было примерное. Кроме службы Божией, он и на других послушаниях обще с братией бывал неопустительно, сколько имел сил и возможности. Во всяком деле и всякому был уступчив с самоукорением и непритворною простотою. В свободные от послушания часы учился келейному рукоделию — деланию ложек — у жившего с ним иеродиакона Моисея и отнюдь не любил праздности. Без повеления или благословения от жившего с ним отца Моисея никакого дела не начинал, совершенно отсекая свою волю, и никуда из кельи не выходил. О душевном своем состоянии и находящих помыслах открывал духовному старцу своему и свято хранил его наставления. За такое благое устроение любим был всею братиею в обители.

Не более как за неделю до кончины Михаила приходили родные его навестить и готовились к приобщению Святых Таин в своей обители, а по отбытии их вскоре Михаил почувствовал головную боль и непонятную для него тоску. 6 июля (1848 года) с раннего утра у него начался первый приступ холеры. В 7 часов утра он вошел в келью иеромонаха Паисия, жившего от него через стену, молча облокотился на лежанку и, глядя на о. Паисия, горько зарыдал. О. Паисий спросил его с участием о причине его скорби.

— Ах, батюшка! — ответил он, — как мне тошно.

О. Паисий тотчас же пошел за живущим в обители на послушании штаб-лекарем М. В. Путимцевым. Когда они пришли, то застали Михаила со всеми признаками холеры совершенно обессилевшим; он лежал недвижим и только едва говорил хриплым и тихим голосом:

— Ох, сердце жжет!.. Пить!.. Дайте мне хоть минуту посидеть... Ногу судорога сводит...

Но сидеть он даже с поддержкой уже не мог. Что ни делали лекарь и братия, помочь не могли. После приобщения ему сделалось несколько покойнее, а во время соборования он и вовсе затих. По окончании соборования стал дышать реже и реже, все тяжелее, и в таком положении сей юный страдалец уснул сном вечным, окончив малое поприще своей земной жизни в надежде жизни вечной и неизменно-блаженной, по словам Премудрого: *скончался вмале, исполни лета долга: угодна бо бе Господеви душа его.*

Прилично сему выразился некто:

Кто возлюбил от юности Христа,
Ему в служеньи обручился
И, силе веруя спасительной Креста,
Страдал, терпел, крепился:

Тот тихо в вечность перейдет,
Не устрашится сна могилы:
Его безплотных встретят Силы,
И лоно Авраама ждет.

Сочинитель Кавелин

2 марта

Беседа с совопросником о ките и Ионе. — Лжепророк и лжечудотворец. — Неведомые міру святые. — Сила Животворящаго Креста (девочка Настя). — Разбойник Савицкий.

Весь февраль ушел у меня на выписки из оптинских книгохранилищ. Как дивно хороши эти свидетельства живой веры — видения схимонаха Николая Турка, посмертные явления послушника — полуребенка — Миши! Духом Миней-Четьих дышит от всех этих сокровищ, свидетельствующих о том, что и ныне, как во дни оны, жива и действенна святая вера наша и что Господь наш Иисус Христос вчера, днесь и во веки Той же.

— Неужели вы верите всему этому? — спросил меня некто, кому я прочел некоторые выдержки из своих записок.

— Конечно, верю; иначе зачем было мне терять столько времени над этими выписками? И не только верю, но и до слез умиляюсь при их изучении.

— Но эти «сады», «пропасти», «реки, плоды, птицы» — все это такое земное: может ли это быть небесным?

— А какими образами показать небесное земному человеку? Вы слышали, что сказал о. Николай-схимник отцу Варсонофию? «Ведь на человеческом языке нет тех слов, которые могли бы передать, что там совершается; ведь на земле и красок-то тех нет, которые я там видел» — помните? Стало быть, довольно с нас и этих образов, что даны нам видениями людей, угодивших Богу... Впрочем, не имеющему веры и свидетельства Священного Писания представляются малодостоверными. Про Иону пророка читали?

— Читал. Ну, и что же?

— А то же, что некий вам подобный совопросник возьми да и предложи одному старцу коварный вопрос: как-де, кит мог проглотить Иону, когда отверстие рта кита

так узко, что человеку и насильно пролезть в него невозможно? Знаете ли, что на это ответил старец?

— Нет, не слыхал.

— Старец ответил: если бы слово Божие поведало мне даже и то, что не кит проглотил Иону, а Иона кита, то я бы и сему поверил. Поняли?!

— Но то слово Божие, а это человеческое.

— А в Четьи-Минеях-то чье? — ответил я полувопросом.

— С вами не сговоришь, — пожал плечами мой собеседник и перевел разговор на иную тему. И — благо!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Приходит сегодня меня стричь парикмахер Николай. Мы с ним, как водится, большие приятели и во время стрижки ведем всякие разговоры.

— Что, — спрашиваю, — новенького у вас, Николай, в Козельске?

— А чему быть-с у нас новому? Жизнь, — отвечает, — у нас тихая, стоячая-с: совсем сонное царство-с... Впрочем, — спохватился он, — есть и новость: господина См[ольянино]ва изволите знать?

— Это того мага и волшебника, что духов вызывает, бесов изгоняет и пророчествует?

— Так точно, его-с!

— Ну, так что же?

— С ними маленькая, изволите видеть, вышла неприятность: угодили на два месяца в кутузку-с.

— За какие художества?

— Да, видите ли, у одних наших обывателей ребеночек умер, а господин См[ольянино]в взялись его воскресить... за плату, конечно-с. Денежки-то они взять взяли-с, а ребеночка не воскресили: отговорились, что поздно, мол, пригласили. Родители деньги потребовали обратно, а денег не вернули: вот за клин и угодили-с.

— Где же он теперь?

— Говорят, в Петербург подались теперь, от Козельского, значит, невежества на петербургскую образованность. Скатертью дорога! В Петербурге таких ищут...[1]

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

18 февраля на нашем кладбище у «Всех святых» похоронили одну из оптинских скотниц, схимонахиню Агнию. Когда рыли ей могилу, то обнаружили соседний гроб тоже монахини с оптинского скотного двора (мне называли ее имя, да я забыл). Погребена она была лет двадцать тому назад. При опускании в могилу гроба м. Агнии нечаянно зацепили гроб соседки: крышка отвалилась, а в гробу оказалось совершенно нетленное тело с четками в руках, как будто вчера погребенное. А грунт на нашем кладбище сырой и подпочвенная вода близко... Сколько же еще на этом кладбище святых мощей неведомых міру угодников Божьих?!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

---

[1] Пересматривая газету «Колокол» за февраль для какой-то справки, нашел статью под заглавием «Еще целитель» и в ней прочел следующее: «В Петербурге явился некто А. С. Смольянинов, заявляющий, что он приехал сюда с целью на глазах всех светил науки произвести грандиозный опыт моментального исцеления бесноватых, которые не могут даже слышать его имени и которые якобы к нему в Калужскую губернию приезжали за тысячу верст. Г[-н] Смольянинов объяснил, что 25 лет он был актером, а теперь по внушению свыше исцеляет одержимых. У него есть сын, не получивший образования, но тоже по внушению свыше пишет разные «богомудрые» сочинения».

Сбоку под этой статьей мои отметки: «Это и есть тот самый господин, который описан у меня в заметках под 4 марта 1909 г. и помянут в сегодняшней беседе с Николаем».

Ниже еще отметка: «1914 год. На петербургских улицах — главным образом на Невском — Смольянинов стал появляться уже в образе некоего «пророка», босой, с непокрытой головой, продающий брошюры своего изготовления о пришествии Христа и наступлении в 1932–1933 году Царства Божия на земле в жидовско-мессианском духе. Говорят, имеет успех».

Сегодня рано утром заходила к нам монахиня из Ч[ерниговск]ой епархии. Приехала за молитвами и благословением к нашим старцам: едет в Москву по монастырскому делу; а какому делу сладиться по-Божьему без старческого благословения?.. Зовут монахиню мать Досифея. Вот что она мне сегодня за чайком рассказала.

«Отправилась я из монастыря своего по сбору. Было это летом прошлого года. Начала я свой сбор с города П., который от монастыря нашего верстах в тридцати пяти. Отсюда путь мой лежал в Киев и другие южные города до самой Одессы. В П. я остановилась из-за буфетчицы местного железнодорожного вокзала, женщины, казалось, очень религиозной, посещавшей наш монастырь и ко мне относившейся как духовная дочь к духовной матери. Оставила я багажик свой у этой буфетчицы, а сама пошла по сбору на базар. И чего только, батюшка ты мой, Сергей Александрович, я на базаре том не понаслушалась! Истинно, последние времена наступили!.. Правда, П. городишко полуеврейский, ну а все же какие были в нем христиане, те дурно ли, хорошо ли, а по-христианскому, по-православному жили; в церковь ходили, праздники и иконы святые почитали, святые посты соблюдали... А тут, поди — слышу, от храма отбились, духовенство ругают и иконы все поснимали и из домов повыкидывали; обасурманился народ, хуже жидов стали! Горько это мне было слушать, и поплакала я над этим довольно... И вот, иду я с базара обратно на вокзал, прохожу задворками мимо чьего-то огорода и вдруг вижу: из густого бурьяна одним концом вышло наружу, на свет Божий, кем-то закинутое Распятие, Крест Господень. Я так и ахнула, глазам своим не верю. Подошла поближе, раздвинула крапиву: оно и есть, небольшое, уже довольно ветхое, и на нем распятый Господь наш, Спаситель міра. Живопись на Распятии уже полиняла, повыцвела, кое-где пооблупилась, а сам крест загажен птицами. Ой, как мне жутко и до слез больно было видеть такое ужасное поругание святейшего

орудия нашего спасения!.. Взяла я из крапивы крест, обтерла его своей ряской, омыла слезами, приложилась... Смотрю, идет на огород старушка.

— Бабушка! — окликаю ее, — откуда здесь в крапиве крест этот взялся?

— А это, — отвечает, — наши, видно, молодые хозяева его из дому выкинули. Я нянькой служу у них, у хозяев-то этих.

— Так если вам уж этот крест, — говорю, — не нужен, то я его возьму себе.

— Возьми, возьми, — отвечает, — матушка!

Принесла я крест этот на вокзал, на квартиру буфетчицы. А у буфетчицы была девочка-дочка, звали Настей, чудный ребеночек, чистый ангелочек. Увидела Настя мою находку, вцепилась в Распятие своими ручонками и ну его целовать; мне даже удивительно это было видеть в маленьком ребенке такое усердие к святыне. Рассказала я матери ее, как и где нашла я это Распятие, погоревали мы, поплакали о том, до чего дошли православные, а тут пришло мне время собираться на поезд. Стала я укладывать мой багажик, да второпях про Распятие и забыла, все уложила, а его так и оставила в ручках у Насти. Вспомнила я о нем уже в вагоне, когда поезд был далеко от станции. Ну, думаю, вернусь, тогда и возьму его у буфетчицы.

Лето все я проездила по сбору, уже только близко к осени стала я обратно к своему монастырю подаваться. Добралась, наконец, и до П. Выхожу на вокзал, чтобы повидаться с буфетчицей, подхожу к буфету. Как увидала она меня да как кинется на меня из-за стойки с кулаками...

— Злодейка ты! — кричит, — ты мою дочь на тот свет отправила!

Я аж затряслась вся.

— Что ты, что ты, в уме ли ты, — говорю, — матушка? Что я с твоей дочкой сделала, куда отправила?

— Не отправила, — кричит, — а отравила ты мою Настю! Крестом своим ты отравила моего ребенка: как при-

несла его да как поцеловала его моя Настя, так в ту же пору заболела и померла. Злодейка, ты, злодейка: ты нарочно мне крест, злодейка, этот подкинула.

И что тут с сердцем моим сталось, Сергей Александрович, как только я жива осталась, и не помню... А она все кричит, буянит, ругает меня и все тычет мне в самый нос кулаками. Каково это было мне, монахине, да при народе, да в наше-то время?! Как ушла я с вокзала, и не помню. Села я в вагон, забилась в свой уголок и всю дорогу до самой своей станции, где мне слезать, проплакала. От станции до монастыря 12 верст, и тут плакала, утешиться не могла. Пришла ночь, помолилась, опять поплакала; легла спать в слезах и вдруг вижу во сне батюшку о. Иоанна Кронштадтского: стоит будто он в каких-то воротах, сам светлый и одежда на нем светлая...

— Досифея, — говорит он мне, — мне сегодня у тебя надо быть: ты уж прими меня в свою келью!

— Батюшка, — кричу ему на радостях, — я вам всю келью свою уступлю, а сама на чердаке лягу!

— Ну да, ну да, — говорит, — тебе это не впервой, а я пока поживу у тебя.

И с этими словами батюшка дал мне приложиться к своему наперсному кресту, я проснулась в великой радости и горя моего как не бывало».

— Говорили вы, — спрашиваю, — обо всем этом старцам, матушка?

— Говорила.

— Что они вам сказали?

— А сказали они мне, что я к кресту привела ребенка, воспламенила его к кресту любовью и тем спасла его душу, которую взял к Себе Господь, не допустив ее дожить в теле до осквернения и гибели. А мне, — говорили они, — за крест пришлось понести крест клеветы и поругания и от креста же принять через о. Иоанна Кронштадтского и утешение... Ах, батюшка вы мой, Сергей Александрович, сколь великое дело этот Крест Гос-

подень, я сказать вам не могу! Слышали ли вы про разбойника Савицкого?[1]

— Слыхал.

— Что я про него-то вам и про Крест Христов расскажу: истинно, удивитесь бесконечному милосердию Божию.

И мать Досифея поведала мне дивную историю, которую я и записал здесь под живым впечатлением, боясь прибавить к ней или убавить лишнее слово.

«Было это, — сказывала м. Досифея, — 8 сентября; у нас шла всенощная под праздник святого покровителя нашей обители и всего Черниговского края, святителя Феодосия. Мы все были в храме, были и посторонние богомольцы. Вдруг во время богослужения раздался резкий окрик:

— Руки вверх и ни с места, будем стрелять!

Никто и опомниться не успел, как у свечного ящика и у входных дверей как из-под земли выросли разбойники с револьверами в руках и навели их на обезумевшую от страха толпу молящихся и на сестер, стоящих у свечного ящика. Наша старушка-игумения стояла у клироса.

На ней был ее золотой наперсный крест. Одна из наших старших монахинь, мужественная и росту высокого, встала перед ней и всю ее собой закрыла от разбойников. В это время крест на ней успели спрятать, и матушку нашу не стало возможности отличить от рядовой монахини... Часть разбойников во главе с атаманом (это и был Савицкий) вошли в алтарь и потребовали от священника, чтобы он указал, где у него в алтаре

[1] Разбойник Савицкий еще юношей был увлечен потоком смуты 1905 года, которая его захватила в школьном возрасте (он учился в реальном училище). Исключенный из училища, он набрал шайку головорезов и в течение двух-трех лет терроризировал Черниговскую губернию и смежные с нею уезды соседних губерний. Он был убит, помнится, в 1908 или 1909 году в перестрелке с посланными в погоню за ним стражниками.

монастырские деньги. Деньги там были, но положены они были без ведома батюшки, и потому он чистосердечно заявил, что денег в алтаре нет.

— Вы это можете заверить священническим словом? — спросил Савицкий.

— Заверяю.

Обшарили алтарь, но денег не нашли.

Выйдя из алтаря, Савицкий и его товарищи захватили с собой ту монахиню, что закрыла собой матушку игумению, и, приложив к ее виску револьвер, велели ей водить их по всему монастырю. Везде, где были замки, начиная со свечного ящика, они хотели их взламывать, но им давали от всего ключи и умоляли не портить имущества. Во всех кружках нашлось рубля три с копейками. Деньги эти они взяли, но несколько копеек оставили на «завод». Во всем монастыре из всех сундуков и хранилищ они не набрали и полутораста рублей.

— Да где же деньги ваши? — спрашивает Савицкий. — Мне достоверно известно, что у вас сорок тысяч капитала.

— Монастырский капитал в банке, — отвечают ему, — и всего-то его тридцать тысяч, а мы живем на проценты.

— Меня нагло обманули!— негодовал Савицкий. — Мне незачем было к вам и ходить.

Шарили на кухне в надежде хорошо закусить; нашли только хлебы, спеченные из ржаной муки с примесью картофеля. Попробовали.

— Тьфу, гадость какая! и вы это едите?

— Едим, — был ответ.

— Как же вы так можете жить? Чего ради вы так живете?

— Бога ради, — отвечали сестры.

— Ради Бога? — подивились разбойники; тогда окончательно смягчилось их сердце. Молодым послушницам они стали давать кому мыло душистое, кому духи, но никого не обидели ни действием, ни словом. Один только из

разбойников, по-видимому, жид — с жидовскими лицами их было несколько — хотел было обнять одну из наших девочек. Савицкий громко на него прикрикнул:

— Сказано вам, никого не обижать и не трогать!

Тот и отстал. Тут уж мы все осмелели, а то до полусмерти были напуганы, наслышавшись всяких ужасов о Савицком и об его шайке... И вот после этого произошло нечто, что даже и вовсе нас умилило. Подойдя к одной келье, Савицкий приказал монахине, его сопровождавшей, остаться в коридоре, а сам с товарищами взошел в келью, сказав, что хочет переодеться. Вдруг в келье что-то упало, и вслед послышалось пение тропаря:

— Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!

Пел тенор, молодой, красивый, задушевный. Монахиня не вытерпела, открыла дверь и увидела, что с божницы упал крест, а Савицкий поднимает его бережно с пола и поет. Поднял крест, приложился к нему и стал выговаривать товарищу за то, что тот его уронил. Не выдержала тут монахиня, весь страх свой забыла...

— Батюшка, — возопила она к Савицкому, — покайся, брось свои поганые дела: ведь еще горит в тебе искра Божия!

— Поздно, матушка, — отвечает ей Савицкий, — теперь уж поздно, назад возврата нет.

До чего ж, батюшка, Сергей Александрович, нам было это трогательно, и сказать невозможно! Мы Савицкому и его шайке весь свой страх и разорение простили за тропарь этот. Вскоре после этого вышел Савицкий на монастырский двор, посвистал своей шайке и с нею вместе скрылся, не причинив нам особого вреда, а только крепко напугав, да и то первое только время, пока мы с ним не освоились и не увидели, что ему нужны были только наши деньги, а не наши жизнь и тело. У нас даже и Богослужение не прерывалось, хотя петь уже клиросные не могли, а только читали...

Прошло некоторое время, шла всенощная. Смотрим, стоит в толпе Савицкий и с ним еще один из его шайки; одеты оба по-крестьянскому. Постояли недолго, должно быть, догадались, что замечены, и удалились.

Вскоре к матушке игумении приехала ее племянница.

— Ехала я, — говорит, — в вагоне с каким-то господином. Разговорились. «Куда едете?» Я говорю: в Р...й монастырь. Он говорит: «Я два раза в обители этой был и дорого бы дал, чтобы там хоть одну еще чашку чая выпить».

Стали расспрашивать, какой из себя господин этот. По приметам оказался Савицкий: лицо круглое, глаза черные и одного переднего зуба недостает — вылитый он.

Прошло еще какое-то время. Одна наша сестра видит сон: бежит Савицкий, а за ним гонятся преследующие. Савицкий бежит к нашему монастырю, падает от изнеможения на ступенях нашего храма и кричит в ужасе:

— Спасите меня! Вы одни меня можете спасти!

Сестра вслед пошла и рассказала сон матушке игумении. А матушка и говорит:

— А у меня вот и газета: пишут, что Савицкого только что убили.

Странным нам показалось и неспроста такое совпадение. Матушка припомнила нападение на нас шайки Савицкого.

— Все-таки, — говорит, — могли обидеть, да не обидели. — Про крест уроненный, про пение тропаря вспомнила...

— Не взять ли, — говорит, — нам этого несчастного на молитву?

И велела поминать о нем 40 дней на проскомидии. И что ж? Является Савицкий другой монахине во сне на 9-й день и благодарит за молитвы, а на 40-й день ей же снится такой сон: будто входит к ней в келью Савицкий, земно кланяется и говорит:

— Спасибо вам и сестрам великое: я спасен теперь вашими молитвами.

Сказал, сам светлый такой стал; потолок в келье раскрылся, и Савицкий исчез в небе.

Вот вам, батюшка мой, Сергей Александрович, какое и тут великое дело крест-то Господень сотворил: разбойника в едином часе спас для вечной жизни! И заметьте: после нашего погрома — как потом нам говорили — Савицкий ни одного более разбоя не совершил до самой своей смерти, когда был убит при преследовании не то войсками, не то стражниками.

Зато в одной из местных газет вражонок устроил нам подсаду: вскоре после нашего сорокоуста по Савицкому в ней напечатано было, что в Р...й — наш то есть — монастырь Савицким был сделан большой вклад с тем, чтобы его вечно там поминали: не мог известный клеветник не нанести на нас поклепа за душу, омытую кровью, спасенную покаянием, силою Честнаго Животворящаго Креста Господня, молитвами Церкви, бескровной жертвой и бесконечной благостию и милостию Божиею».

Записываю я сказание это и... плачу.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Нечто из моей записной книжки — только для внимательных.

Прошу моего читателя простить меня: я на этот раз откладываю в сторонку записки свои, веденные мною во дни 1910 года, когда я жил в благословенной Оптиной. Мне хочется под свежим еще впечатлением только что пережитого, прочувствованного и продуманного поведать о том, что приключилось в нашем доме на самых последних днях в богоспасаемом и пока еще тихом городке Валдае.

Прошу я прощения и думаю: а не все ли равно для моего читателя, куда потечет Божья река моя и куда понесет она его и меня в совместном плавании? Для такой реки, как эта, нет границ ни в пространстве, ни во времени, ибо струит она свои бездонно-ласковые глубины «амо же хощет», куда управит их не человеческое хотение, а

духовная польза христианской души, ищущей спасения в вечности...

Есть у нас друг, друг давнишний, по-всячески испытанный и верный. Друг этот — младшая возрастом подруга моей жены, женщина высокой православно-христианской настроенности и очень внимательная к духовной стороне своей жизни. Мы ее зовем Катюшей. Те из нашей семьи и друзей, кто ее знает, те ее в рассказе этом признают: а кому она не знакома, с того довольно знать, что она — милая, добрая, дорогая наша Катюша, чистое сердцем дитя Божие, преисполненная любовью к Богу и ближнему, а из ближних — к нам в особенности.

Но все это в виде предисловия, а теперь обратимся к моим запискам за текущий июнь и в них найдем дословно следующее.

«28 июня. Вторник

Вчера, в день рождения жены, мы с нею и Катюшей причащались Святых Христовых Тайн в Иверском монастыре, а сегодня, в 7 часов 20 минут утра, наш дом был осчастливлен посещением батюшки преподобного Серафима, явившегося в тонком сне[1] нашей Катюше в ее спаленке не в сонном мечтании, а истинно въяве. И было это так.

Катюша приехала к нам из Петрограда 10 июня. Ехала она на Дно и Старую Руссу.

— А со мною, — объявила она тотчас по приезде, — чудо-то какое было — послушайте! Ехала я к вам, как вы знаете, не на день, не на два, а по крайней мере недели на три; и пришлось мне поэтому взять багажа столько, что не могло уместиться в обычную мою укладку, — я и купила себе дорожную корзину. В эту корзину я уложила все свое носильное белье, платья, покупки для вас по вашему поручению — словом, все самонужнейшее.

---

[1] Под «тонким сном» подвижники благочестия, опытные в духовном делании, разумеют особое состояние человеческого сознания между сном и бодрствованием, то именно состояние, когда душа может зреть духовными своими очами вместе и земное, и потустороннее — в теле ли, или вне тела, Бог весть.

— Время военное, — говорю я мужу, — боюсь я отдавать корзину в багаж: ну как пропадет?!

— Чего, — говорит, — бояться: Бог милостив, не пропадет.

Приехали мы на Царскосельский вокзал спозаранку. Муж взял мои баульчики, а носильщик подхватил мою корзину и понес ее в багажное отделение; а там уже горы всякого багажа. Ну, думаю, не миновать пропасть моей корзине.

. . . .

На этом месте, сейчас (в 1 часов 5 минут пополудни) мне пришлось от неожиданности и испуга прервать свою запись: откуда ни возьмись зашла небольшая тучка, и по левую сторону от моего письменного стола за окном блеснула ярким пламенем и ударила молния; раздался такой страшный удар грома, какого я за всю свою жизнь не слыхивал. В пальцах обеих рук у меня закололо, как от сильного электрического тока, и перо едва не выпало у меня из рук... Ой как не любит враг преподобного Серафима!.. Открыл окно, смотрю, не загорелось ли где от громовой стрелы князя силы воздушной. Двое соседей, перепуганные, выскочили на улицу.

— Куда ударило? — спрашиваю.

— Тут где-то, — отвечают, — ну уж и удар был!

— У меня, — говорит один, — котенка с окна сшвырнуло за окошко.

— А я оглох, — жалуется другой.

Вижу, не горит нигде и начинает накрапывать дождик; закрыл окно, хочу продолжать записывать Катюшины речи и не могу, весь охваченный сознанием, что был на волосок от гибели и чудом жив. Да, именно чудом! — так сердце чувствует и не дает успокоиться на мысли о случайности происшедшего[1]. Преподобный Серафим отвел

---

[1] В книге моей «Сила Божия и немощь человеческая» в «Записках игумена Феодосия» напечатано следующее: «Изучая Священную Историю и Катехизис, — пишет игумен Феодосий, — я узнал,

стрелу вражию, никто, как он, дорогой наш батюшка!.. Достойно замечания, что в то же время, когда я писал свои записки и ударила молния, со мной в одной комнате сидела жена и Катюша: жена писала письмо сестре, описывая подробно явление Преподобного Катюше, а Катюша читала Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря.

Самый воздух, нас окружавший, казалось, напоен был благоуханием близости к нам Преподобного.

. . . .

Опять пришлось прервать свои записки: пришел сосед, старик кровельщик Илья Михайлович Богданов (он же Усачев), сказывает, что молния ударила на его огороде, — а огород его от окна, у которого я записываю эти строки, саженей 20–25 не более, — и зовет посмотреть, что там молния сделала. Я ходил смотреть. Молния, как бы изогнувшись от нашего дома стрелой, — это видела наша прислуга, мимо которой она промелькнула, — ударила у большого дерева на огороде в железные грабли.

что есть Ангелы, которые охраняют нас, и бесы, которые ищут нашей гибели. Не знаю как и почему, но мне пришла мысль испытать, правда ли это? И вот, сидя на крыльце нашей квартиры, когда родители мои отдыхали после обеда, задумал я эту мысль свою привести в исполнение: встал это я с крыльца, пошел на задний двор и дорогой вслух сказал: «Послушай, бес, если ты что-либо можешь сделать, то уверь меня в этом: принеси мне в амбар тонкую, хорошую веревку. Если ты это исполнишь, то я пойду в хлев, куда коров загоняют, и там удушусь на этой веревке... Вот-то удивятся товарищи мои, когда увидят меня повесившимся на перекладине!.. Ну, слышишь, бес, что я тебе говорю? Исполни ж мое желание!» На всем дворе в это время никого не было. День был жаркий, ясный. Бродили тучки по небосклону. Сказавши эти слова, я пошел к амбару, который был плотно затворен. По дороге к амбару в голове у меня мелькнула другая мысль: удушиться, подумал я, неприятно, а лучше брошусь-ка я в колодезь на заднем дворе. Колодезь этот был очень глубокий, и вода в нем была чистая и прехолодная. Принадлежал он соседу протопопу, и из него брал воду всякий, кто бы того ни пожелал. Был он выкопан между двумя дворами, у одной из стен. И вот, подойдя к амбару, я, растворивши дверь, к удивлению

Грабли стояли у изгороди железными клевцами кверху. Удар направился в деревянную рукоятку грабель и расколол ее надвое от железной трубки, в которую она была насажена, до самого ее конца. На диво ровный раскол этот был сделан точно рукой ловкого мастера, и тут же рядом в земле оказалось свежее углубление-ямочка, как от сильного удара железной мотыгой, и лежали две длинные лучинки, равные по длине расколотой рукоятке и из нее выщепленные, точно острым косарем отколонные, как по ниточке. И нигде ни малейшего следа огня молнии — ни ожога, ни опаления. И больше — ничего.

Много шуму из пустяков. А могло быть, пожалуй, плохо, если бы не защитил Преподобный. А почему у меня такая уверенность и почему все так вышло, то будет видно из дальнейшего повествования так неожиданно и чудесно прерванного рассказа.

Продолжаю рассказ Катюши.

— Носильщик мой оказался парень ловкий: быстро вскинул он на моих глазах корзину на весы; другой

своему, увидел целый моток новой, тонкой бечевы. Взял я его в руки и, миновав коровник, пошел к колодцу и нагнувшись стал в него смотреть. Глубоко-глубоко поблескивала в нем его холодная вода; а в мыслях моих точно кто-то говорил: вот когда я туда брошусь и, конечно, утону, тогда товарищи мои и многие другие будут удивляться, как это и почему я утонул в колодце. Я невольно улыбнулся в ответ на эти мысли и сказал: «Нет, бес, лучше уж я пойду удушусь. Вот тогда-то мои товарищи придут и будут удивляться, когда я буду висеть в петле!» С этими словами, развязав найденный моток новой бечевы, я сделал петлю и завязал конец. Оставалось только всунуть голову в петлю, и жизнь моя была бы прекращена. Я оробел... и вдруг громко и весело засмеялся, воскликнув: «Лезь же ты сам, проклятый, а я тебя поддерну!..». И в это мгновение из туч на небе блеснула ослепительная молния и раздался такой громовой удар, что я во всю свою жизнь подобного не слыхивал...

Об этом своем поступке я никогда никому не рассказывал, но с того времени убедился, что есть злые духи, и стал внимательнее и прилежнее молиться Богу и моему Ангелу-Хранителю». *(С. Нилус.* Сила Божия и немощь человеческая. Сергиев Посад. Типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1908).

кто-то мигом шлепнул на нее наклейку и скинул ее с весов. Тут откуда-то подскочил третий в красной фуражке.

— Зачем, — крикнул он носильщику, — ты эту корзину на этих весах вешал, неси на другие!

И я видела, как ее вновь взвесили на других весах, и мне тотчас же выдали на нее квитанцию с надписью «Валдай».

Тут бы мне и успокоиться, но нет, я вдруг увидела, что корзину мою перевернули вверх дном. Батюшки мои! — испугалась я, — что теперь будет с капотом моим и одеколоном? Прольется одеколон и сгонит всю краску с моего капота! — Так я встревожилась, что и сказать не умею.

Вышли мы после первого звонка на платформу к своему поезду, зашла я в свое отделение, разложила ручной багаж, а усидеть не могу, говорю мужу:

— Пройдемся по платформе: времени еще много. — Пошли.

— Покажи, — говорю, — где тут наш багажный вагон.

Он от моего вагона оказался не то третьим, не то четвертым. Я подошла к нему; смотрю: одна половина вагонной двери открыта и внутри багажный кондуктор разбирается в вещах. Я заглядываю туда и глазами ищу свою корзину.

— Вам, — спрашивает багажный, — сударыня, что угодно?

— Да вот, — отвечаю, — смотрю, с вами ли идет моя корзина?

— А куда она направлена?

— В Валдай.

— Нет, — говорит, — в вагоне у меня в Валдай нет ни одного места.

— Как же так, — взволновалась я, — когда вот у меня на нее квитанция.

— Позвольте взглянуть.

Я показала.

— А какая, — спрашивает, — видом ваша корзина? Вы можете мне ее указать?

— Могу.

— Пожалуйте в вагон.

Он протянул мне руку, и с его помощью я взобралась внутрь вагона.

— Вот она!

Корзина стояла ко мне задом, замком к стенке.

— А какой на ней, — спрашивает багажный, — замок? Один или два?

— Один, французский, и висит на железном засовчике: засовчик такой рогатый.

— Верно, — говорит, — корзина, видно, ваша, только наклейка на ней совсем в другое место. Пожалуйте вашу квитанцию, я сейчас все выясню.

Взял квитанцию, меня высадил на платформу и ушел.

Ну, — думаю, — теперь ни корзины, ни квитанции!.. Не прошло и пяти минут, прибежал багажный.

— Благодарите, — говорит, — Бога: если бы вы вовремя не спохватились, не видать бы вам вашей корзины, по крайней мере, с месяц, а то бы и вовсе пропала.

От души поблагодарила я тут багажного...

— Ну, скажите, — обратилась к нам Катюша, — разве ж не чудо все это? и не чудо ли, что в такое-то время Господь послал мне в лице багажного такого доброго человека?

«Правда, на чудо оно как будто и похоже», — подумали и мы и единодушно согласились с нашей Катюшей.

Но все это еще только присказ, а самый сказ впереди.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Прошло с приезда Катюши около трех недель. За это время она неоднократно возвращалась воспоминанием к истории с корзиной, дивясь бывшему. Настали, наконец дни нашего говения. С великим желанием и умилением

причастились мы 28 июня вместе с Катюшей Святых Таин в Иверском монастыре[1] и вернулись домой счастливые, довольные, радостные, в особо повышенном настроении. Перед обедом, часу в пятом, прочитали все вместе 9-й час и зажили после того вновь своей тихой обыденной, но все еще мирской жизнью.

Настал вечер. Поужинали мы на террасе, на вольном воздухе, попили чайку и от духовной настроенности целого дня незаметно для себя перешли к иным чувствам и настроениям: вспомнились прожитые дни в мiре, их полузабытые впечатления, музыка, опера, которую мы все одинаково страстно любили; пришли на память любимые напевы, арии, которые в былые времена и сами мы певали. Запела Катюша, — у нее когда-то был чудный голос, — запел и я... Куда девалась вся высота духовного полета души нашей, насыщенной утром святыми чувствами, живым общением с Христом в Пречистом Теле Его и Святейшей Его Крови?.. Я запел арию Хозе из 1-го действия оперы «Кармен»:

Ma mere, je la vois,
Oui je revois mon doux village...[2]

Жена у меня очень не любит этой оперы и уверена, что она — вдохновение вражьей силы.

— Сережа! — обратилась она ко мне с полуупреком, — не пой из этой гадости: ведь мы сегодня причастники.

Я было запротестовал: ведь в этой арии поется только о матери да о святых воспоминаниях детства, проведенного в деревне, — что тут гадкого? Запротестовал, но в сердце услышал упрек и тотчас смирился.

«От юности моея мнози борют мя страсти», — запела Катюша. Мы подхватили с радостью стихи «степен-

---

[1] Первоклассный мужской монастырь, основанный патриархом Никоном и расположенный на одном из островов чудного Валдайского озера.

[2] О, мать моя! ее я вижу и вижу вновь деревню тихую свою.

ны», стали петь разные церковные песнопения и неожиданно закончили вечер пением акафиста преподобному Серафиму.

Наутро вышли мы на террасу пить кофе. Вскоре пришла и Катюша.

— Ну, мои родные, — воскликнула она почти вне себя от волнения, — что только сегодня утром со мною было-то!.. Я видела преподобного Серафима.

Надо знать, как знаем мы, что за человек наша Катюша, чтобы понять, как мгновенно ее волнение при этих словах передалось и нам. Мы все обратились в слух.

— Спала я ночь великолепно, — взволнованно продолжала она, — и, засыпая, ни о чем не думала. Проснулась я, взглянула на часы: было ровно 7 часов 20 минут утра. Хотела было я опять заснуть, но перед тем, как закрыть глаза, посмотрела на дверь и увидела: стоит в ней преподобный Серафим, сгорбленный, седенький, в белом балахончике, в одной руке палочка, а другой показывает мне на мою корзину. Я ахнула и... вновь проснулась. Часы показывали то же время, что я раньше видела. В спальне никого не было, и кругом все было тихо. И тут взгляд мой упал на икону преподобного Серафима, которую я с собой привезла из Петрограда в той корзине, о которой я вам столько рассказывала. И, милые вы мои! столько раз рассказывала, а самое-то главное во всем этом и забыла, а вспомнила только тогда, когда сегодня утром на икону Преподобного взглянула: ведь главное-то чудо было в том, что сохранением в пути своей корзины я только преподобному Серафиму и была обязана. Стала я укладывать в нее свои вещи, а сердце болит: не миновать, чудится мне, пропасть моей корзине. Вынула я тут из киота икону Преподобного, помолилась на нее, перекрестила ею корзину, завернула в белый шелковый платок и поставила ее к стене внутрь корзины с чистым своим бельем. «Ну, — сказала я ему, как живому, — помоги мне сам, Батюшка!» Помолилась и вслед и о молитве своей к нему, и о нем самом

забыла, да так накрепко забыла, что только и помнила, и беспокоилась, что об одеколоне, да о капоте. И вот он сам, родимый, сегодня обо всем напомнил.

Надо было видеть Катюшу, когда она это рассказывала! Поглядеть бы и на нас, когда мы ее слушали!

Отпили мы свой утренний кофе и всем семейством пошли в нашу моленную петь акафист преподобному нашему покровителю и молитвеннику Серафиму Саровскому и всея России чудотворцу.

А в 1 час 5 минут дня, когда заносились эти строки в мой дневник, громовая стрела князя силы воздушной едва не убила самого писавшего с женой и Катюшей. И убила бы, если бы не Преподобный. Тако верую, тако и исповедую.

Не пой, раб Божий Сергий, бесовских песен в велик день твоего причащения, а пой хвалу Богу, дивному во святых Своих и в угоднике Своем, Серафиме.

Радуйся, правило веры и благочестия,
Радуйся, образе кротости и смирения...
Радуйся, преподобне Серафиме,
Саровский чудотворче!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

«Радующийся третий». Детский паралич.

Большой перерыв произошел у нас с тобою в беседах, читатель! «Божья река» моя, круто повернув свое течение от берегов Оптинских к иным далеким берегам, унесла и меня своим течением на страну далече.

Не сетуй и прости меня! На руках у меня была большая работа, которой я был вынужден отдать все время и силы мои. Если будет угодно Богу, она увидит свет в начале будущего года, когда выйдет из печати новая моя книга «Близ есть, при дверех». В эту книгу я вложил всю свою душу, все силы моего разумения и знания, и в ней я сказал все, что мне стало известным о том, чему люди

века сего не хотят верить и что так близко, так угрожающе-страшно близко...

Теперь я свободен. Dixi et animam levavi — сказал и облегчил душу. Теперь я опять зову, кто хочет меня слушать, на берег моей «Божьей реки», хотя и под другое, а не оптинское небо. Придет время — мы опять под него вернемся, а пока... пока я расскажу повесть с берегов Дальнего Запада, с берегов Северной Америки.

Повесть эта не моя: она вышла из-под пера двух евреев-корреспондентов «Биржевых Ведомостей», двух врагов веры нашей, Бога нашего, но тем назидательнее смысл ее и значение как для нас, верующих христиан, так и для добросовестных неверов, ищущих правды Божией, кто бы они ни были, не исключая и евреев, если еще есть между ними искатели этой правды.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В нумере, если не ошибаюсь, от 12 февраля текущего года «Биржевых Ведомостей» было напечатано письмо из Нью-Йорка некоего А. Коральника (бессомнительного еврея). Письмо это было озаглавлено «Радующийся третий». И вот что в письме этом было изображено дословно.

«Нью-йоркские старожилы говорят, что никогда еще в Нью-Йорке не праздновали так шумно, весело, бесшабашно и богато конец старого года и начало нового, как в этом году. Никогда и нигде, ни в одной столице нашей старой и милой Европы, я не видел подобных празднеств, подобного чествования отходящего, умирающего года.

Канун нового года Wall-Street — центр американских финансов, т. е. артерия, золотая жила всей Америки, а может быть, в ближайшем будущем и всего міра, эта улица бешеных спекуляций, этот узкий коридор, ведущий в храм «золотого тельца», — *плясала.*

В два часа дня, когда биржа закрылась, из здания биржи вышли биржевики, джентльмены во фраках и с цилиндрами на голове, джентльмены англосаксонской, кельтской,

германской, еврейской крови — откормленные, сытые, самодовольные, с блуждающим огоньком в умных, зорких глазах — вышли на улицу, взяли друг друга за руки и пошли в пляс. К ним присоединились и другие менее «джентльменские» типы из биржевого міра: уличные биржевики, мелкие маклеры, биржевые служащие, и все они отплясывали танец золота.

А вечером весь город праздновал. Broadway — «Широкая улица», Нью-йоркский проспект, был освещен миллионами лампочек, во всех ресторанах гремела музыка; все столики были заняты, все увеселительные заведения были переполнены, всякое место бралось с бою и за бешеные деньги... В иных шикарных ресторанах столик[1] обходился в 500 долларов[2]. Нью-Йорк провожал 1915 год благодарственно и торжественно.

Это был год небывалого «рекорда», фантастического роста американской промышленности, исполинского скачка всей американской хозяйственной жизни. До войны — в 1913 году — американский торговый оборот достиг четырех биллионов долларов; 1914 год несколько поколебал американскую хозяйственную жизнь, внес тревогу и беспокойство за страну. Но 1915 год вернул ей сторицей все потерянное. Баланс прошлого года показывает 5 355 580 003 долларов... В 1915 году ввоз золота в Америку равнялся 539 291 014 долларам, а вывоз — 23 736 680.

Германская торговля уничтожена, английский вывоз уменьшился почти вдвое, а Америка торжествует на развалинах. Она снова вошла в полосу благоденствия, prosperity — как говорят здесь — и оптимизма.

Однако любопытно то, что это благоденствие мало заметно в стране. Несмотря на могучий приток золота, благосостояние широких масс, рабочих и среднего класса не только не повысилось, но как будто даже понизилось.

---

[1] Отдельный столик в ресторане, за которым можно пообедать в компании. Собственно, плата лишь только за место.

[2] Более тысячи рублей.

Среди рабочих вы слышите постоянные жалобы на безработицу, низкие заработки, трудную, тяжелую жизнь и страшную дороговизну. Со всех сторон жалуются на «плохие времена». Только одна биржа ликует[1], только Wall-Street пирует победу.

Ибо этот год принес богатство исключительно только биржевикам и спекулянтам, счастливым владельцам акций стальных и амуниционных фабрик. Люди становились за ночь миллионерами. Играли наверняка, без риска и без страха. Волна повышения все росла и росла, и как будто нет предела ее росту. Разве только конец войны положит ему предел... А пока что Wall-Street пирует и отплясывает танец золота и крови.

Она — Tertius gaudens, «радующийся третий», в безумно-кровавой, убийственной схватке европейских народов. *И она диктует политику Соединенных Штатов*[2].

. . . .

Когда я, — так кончает свое письмо Коральник, — в последнюю ночь умирающего года протискивался среди огромной, возбужденной, шумной толпы по феерически ярко освещенному Broadway, мне вспомнились стихи одного американского поэта, которые я читал как-то на днях:

Пан[3] плясал по Нью-Йорку...

Пан плясал по Broadway, по Wall-Street, наигрывая на своей свирели свою песнь, песнь красоты и любви и зеленых дубрав. Но толпа не видела и не слышала Пана, козлоногого бога. Она спешила на поклонение другому, страшному двуликому богу — Мамону-Молоху...

---

[1] Читатель, вероятно, знает, что вся биржа в руках евреев.

[2] Запомни это хорошенько, читатель!

[3] Языческий божок, к концу язычества в Римской империи символизировавший собою самого сатану.

Так в феврале 1916 года писал в «Биржевые Ведомости» из Нью-Йорка некий еврей Коральник.

Прошло семь месяцев. В № 15837-м тех же «Биржевых Ведомостей» от 2 октября текущего года появилось из того же Нью-Йорка письмо другого (а может быть, и того же) еврея, пишущего под русским псевдонимом Осина Дымова. Привожу в подлиннике.

«Зимний сезон, — пишет этот еврей, — Нью-Йорк закончил с огромным барышом. Это был барыш на крови. Америка, точно огромная пиявка, насосалась золота из тела воюющих стран. Пожар Европы способствовал украшению Америки. Благоденствие (prosperity) разлилось по стране. Процветают науки и искусства. Процветает промышленность. Никогда не было столько роскошных балов. Никогда невесты не были богаче, красивее и изящнее, как в эту годину всемирного пожара. Война платит ростовщические проценты. Война сделала Америку вдвое богаче.

Зимний сезон был закончен. Америка «сосчитала цыплят» по весне. Впереди было лето отдыха, лето дач, курортов, флирта, идиллии и спорта[1]. Нью-Йорк готовился разъезжаться.

Неожиданно грянула беда.

Сначала газеты писали об этом глухо, не придавали значения. Быть может, газетная утка, пустая сенсация, живущая один день? Нью-Йорк еще не верил. Но малопомалу дело становилось все яснее и оттого, что яснее, — тревожнее, загадочнее. Уже газеты завели особую рубрику. Нет! это не сенсационный слух, это — правда.

Эпидемия детской смертности! Детский паралич! Загадочная болезнь, превращающая детей в калек или убивающая в три-четыре дня. Страшная болезнь, почти незнакомая докторам.

[1] Все эти иностранные слова означают праздное, иногда и развратное времяпрепровождение богатых людей, забывших звание христиан.

Эпидемия появилась вдруг, внезапно, и почему-то очагом заразы было предместье Нью-Йорка — Бруклин. Врачи растерялись. Еще больше растерялась публика.

Что-то библейское, сурово-жестокое чуется в этой загадочной болезни, постигшей именно детей. Точно чума во время пира — богатого пира, устроенного на крови. Гром проклятия поразил слабейших, невиннейших.

Эпидемия разразилась уже тогда, когда школы были закрыты. Родители стали увозить своих детей из Нью-Йорка и таким образом разнесли заразу по всей Америке. Было ошибкой со стороны властей допустить это, но тогда еще не предполагали, что болезнь примет такие размеры...

Сейчас Нью-Йорк насчитывает около девяти тысяч жертв. Все это почти преимущественно дети в возрасте от 2 до 7 лет. Из этого количества две тысячи умерло — процент огромный, устрашающий! Остальные уцелели в виде калек... Только незначительное количество поправилось быстро и окончательно. Это надо считать почти чудом.

Что больше всего пугает нью-йоркскую публику, это — загадочность болезни... В учебниках говорится кратко и неясно. Ее никогда не считали заразительной, так что заболевшего ребенка до сей поры даже не изолировали в больницах. Но если она незаразительна, то каким же образом она могла принять размеры эпидемии, и притом столь быстро и угрожающе?

Настоящая эпидемия, как это ни странно, не только не уяснила природу болезни, но как будто еще более затемнила ее. Целый ряд явлений ставит в тупик не только обыкновенного наблюдателя, но и человека науки. Так, например, опыт выяснил, что дети негров весьма мало склонны к заболеванию... Дети хилые, болезненные не так восприимчивы к заболеванию, сколько дети здоровые и жизнерадостные... Врачи были застигнуты врасплох. Способы лечения почти неизвестны. Способы предохранения от заражения — и того меньше. Бродили в

темноте, ощупью. Решено было очистить город. Мыли, чистили, жгли, скребли.

Между тем дети беднейших кварталов, нечесаные, немытые, преблагополучно выдержали эпидемию, а сын богача, за которым смотрели в десять глаз, заражался. Умирали дети миллионеров, в то время как дети дворников в подвале оставались живы и здоровы. Примечательно, например, что густонаселенная, небогатая, а местами и прямо бедная часть Нью-Йорка, так называемый Бронкс, очень мало пострадал от этой страшной болезни. В наиболее страшные дни, когда число жертв доходило до двух сотен, Бронкс давал не больше десяти-двенадцати!.. Сейчас в Нью-Йорке можно видеть жуткую картину: среди огромных домов вы видите дом, к фасаду которого прикреплена надпись, короткая и многозначительная: «Здесь случай детского паралича. Остерегайтесь. Карантин».

Окрестности Нью-Йорка тщательно охраняются. Детей ниже шестнадцати лет не впускают и не выпускают из города. На пристанях, на вокзалах особые дежурные инспектора. Требуются специальные свидетельства, выдаваемые департаментом здоровья. Страшное впечатление производят эти полевые карантины, установленные среди роскошной зелени лугов и лесов. На повороте дорог, на мостах, у станций электрических железных дорог дежурят инспектора. Осматривается каждый автомобиль, каждая повозка.

Дети исчезли. Их не видать...»

Письмо это заканчивается словами: «Нигде, кажется, так не любят детей, как в Америке. Дети эмигрантов, дети странников, собравшихся со всего света, они — надежда Америки, они — будущее, которое объединит разрозненные элементы в одно целое. Это — грядущая нация, это те корни, те ростки, которые пускает молодая почва новой страны. И страшный бич поразил именно детей.

Самое печальное лето за много лет. Среди грохота отдаленных выстрелов, приносящих Америке золото, тянутся маленькие гробы...»

Таковы два письма из Нью-Йорка.

Нам с тобой, мой читатель, смысл их понятен. Понятен ли он самим писавшим и их читателям? Будет ли он понятен, если только дойдет до их слуха, тем, кого во дни переживаемой великой народной страды зовут «мародерами тыла»?.. *Мене! Текел! Упарсин* [...]

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл сие младенцам (Мф. 11, 25).

Боже мой, какие времена переживаем мы!.. Мудрено ли мне, ловцу умного бисера в тихих водах Божьей реки, струящейся у берегов Оптинских, оставить свои мрежи на время там, у белокаменных стен святой обители, а самому устремиться вниманием и слухом туда, где льется потоками христианская кровь, откуда доносятся до меня вопли и стоны страдальцев, *дополняющих собою число убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели...* (Апок. 6, 9 и 11.)

Истинно апокалипсическое время переживает теперь все человечество, время, может быть, последнее пред великим и страшным отчетом на Страшном Суде Христовом! И только тот не слышит громов Божиих, кто намеренно слышать не хочет, тот только не видит молний гнева Господня, кто слепит свои очи фальшивым блеском блуждающих огней спустившейся на нас беспросветной духовной ночи...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В дни моей оптинской жизни Господь свел меня со скитским иеродиаконом о. Мартирием... Теперь он покойник — Царство ему небесное!.. Раб Божий верный был

этот смиренный инок, и Господь, дающий смиренным Свою благодать, не раз открывал ему в сновидениях или видениях — Бог весть — нечто от тайн Божественного Своего домостроительства.

Вот что однажды поведал он из этих тайн Божиих некоему своему сотаиннику:

— У нас в Скиту на днях что один брат-то наяву видел — послушай-ка! Стоял он в саду скитском, и вдруг сада не стало и явилось на его месте бесчисленное множество угодников Божиих, заполнивших собою все пространство от земли и до самого неба. И там, в небе небес, высоко-высоко, видит он, отверзлось подобие как бы узенькой калиточки, а до калиточки этой от сонма угодников только самое маленькое незаполненное местечко осталось. И услышал брат голос некий: «Видишь, как мало осталось свободного места. Заполнится оно, тут и Страшному Суду быть».

А брат, имевший это видение, был не кто другой, как сам отец Мартирий, только он из скромности так сказывал не от себя, а от третьего лица, как бы от некоего брата.

Видение это было о. Мартирию незадолго до его смерти, а скончался он осенью 1908 года...

Кто не помнит, во что после недоброй памяти «освободительных» годов обратилась наша деревенская Россия — о городской и говорить нечего (она и до пресловутых «свобод» в христианском образе своем давно была отпетая)? Откуда, казалось, набраться было угодникам Божиим, чтобы заполнить собою остающееся свободным пространство? Куда ни поглядеть, повсюду виделось одно отступление от правды Божией, жизнь по плоти, по стихиям міра, в служении богу чрева — мамоне. Откуда взяться было праведникам?

И вот, разразилось величайшее бедствие, какого еще не видывала земля, — всемирная война, человекоистребление по последнему слову братоубийственной науки.

Страшный гнев Божий, кара и казнь, но и... человеколюбие крайнее, и всепрощение безграничное, и милосердие Божие.

Когда война была уже в разгаре, *Ангел Божий поверг серп свой на землю, и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны были ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий* (Апок. 14, 19–20), — в те дни дошел до меня слух из Дивеева, от дивеевских «сирот» Преподобного батюшки отца Серафима:

— Блаженная «маменька» Прасковья Ивановна все радуется, все в ладоши хлопает да приговаривает: «Бог-то, Бог-то милосерд-то как! — разбойнички в Царство небесное так валом и валят, так и валят!»

За мученичество, значит, свое на войне от утонченного зверства культурных диаволов в образе человеческом, от разрывных пуль, от удушающих газов и, что всего для небесного Царства важнее, — за слезу покаяния, за одинокую слезу на поле смерти, вознесенную к Престолу Божию Ангелом-Хранителем.

И вот, в то же время, только в другом месте — в том маленьком захолустном городке, куда поселил меня Господь, одной рабе Божией, умом и сердцем препростой (я не назову ее имени, смирения ее ради) было даровано видение во сне судеб Божиих, сокрытых от разумения премудрых и разумных и открываемых младенцам. Очень скорбела эта раба Божия о тех ужасах войны, которые так нежданно-негаданно для многих (немногие-то ее уже давно ждали) обрушились на Россию. Было это, помнится, вскоре после многодневных жестоких боев на австрийской границе, увенчавшихся взятием Галича и Львова, после великих страданий армии Самсонова в Восточной Пруссии, словом, после великой кровавой жертвы, принесенной Россиею за грехи свои перед правдой Божией. И видит эта раба Христова: стоит она будто бы на незнакомом месте. Ночь. Небо темное. На земле ни зги не видать. И вдруг

разверзлось небо и в лучезарном блеске ослепительного величия и неизобразимой славы явился на небе пречудный, предивный град Сион, *великий город, святый Иерусалим. Он имел славу Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному* (Апок. 21, 10–11). Не находя слов к описанию дивного града этого, раба Божия в восторге от видения своего сказывала: «Ну, как Новый Афон, что ли...»

Так прекрасен был град тот. А краше и лучше Нового Афона раба Божия, его видевшая, ничего себе и представить не могла. Да и как вообразить себе и изобразить людям красоту небесную, когда ей на земле и подобия-то нет?!

И от града этого, Иерусалима святого, имевшего славу Божию, увидела она, спустилась до земли от неба величественная лестница. И устремилась к ней всем желанием своим имевшая видение, чтобы как можно скорее подняться по ней и взойти в град небесный, войти в славу его, насладиться небесной его красотою. Но, увы! — до земли не досязала лестница, и концы ее были от земли выше роста человеческого, так что и протянутым кверху рукам нижней ее ступени достать было невозможно.

«И отошла я, — сказывала раба Божия, — к сторонке и стала; смотрю и неутешно плачу о том, что недостойна я града того небесного. И что же, милые мои, вижу? Откуда-то взялись воины: идут в серых шинелях, винтовки за плечами, идут один по одному, целое огромное воинство, полки за полками, без числа, без счету, идут и проходят мимо меня; подходят к лестнице и без всякого труда, как бестелесные, восходят по ней и скрываются в открытых вратах небесного Иерусалима. И пред тем как вступить им во врата Иерусалима небесного, — вижу я, — загораются на них венцы такой красоты и сияния, что их не только описать, но и вообразить себе, не видавши, невозможно... И долго я стояла и смотрела на них и плакала, плакала. А они все шли да шли мимо меня

полки за полками, шли и возносились по лестнице к небу, и сияли своими венцами, как яркие звезды на тверди небесной... Проснулась я — вся подушка моя была мокрая от слез; и была я вне себя от умиления и радости, от благодарности милосердию Божию. И проснувшись, я опять плакала, слез удержать не могла: зачем я на земле оставлена, зачем недостойна я красоты той небесной, тех венков, которые, как звезды, горели на главах небесною славою прославленного воинства?»

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Прошел год войны, пошел второй.

Проездом по делу в Петрограде меня с женою навестили в нашем захолустье две давно знакомые и любимые монахини одного из монастырей Ч[ерниговск]ской епархии, того монастыря, что когда-то был ограблен разбойником Савицким. Я об этом ограблении уже рассказывал читателю «Троицкого Слова». Разговорились о войне, стали доискиваться ее духовного смысла и значения и, конечно, пришли единогласно к заключению, что не простая это война и что имеющему уши слышати и очи видети есть о чем над ней призадуматься. И вот что за беседой рассказала мне старшая из моих собеседниц, пожилая, образованная, а главное, духовно настроенная монахиня.

«Поблизости от нашего монастыря, — сказывала она, — есть помещичья усадьба. В этой усадьбе устроен теперь лазарет для раненых воинов. Зовется он Барышниковский лазарет. Много выздоровевших в этом лазарете раненых перебывало в нашей обители: вылечатся и идут к нам помолиться Богу, поблагодарить за исцеление и поговеть — кто пред возвращением в строй, а кто пред отправкой на родину для окончательного восстановления здоровья. И вот среди таких-то богомольцев мне раз довелось увидеть одного раненого солдата с таким особенным выражением лица, что оно приковало к себе все мое внимание. Что-то совершенно нездешнее, неземное, в

высшей степени одухотворенное было в лице этом, в глазах, во всем облике этого человека. Такое выражение только на иконах можно видеть, на ликах страстотерпцев-мучеников, когда от тягчайших испытаний плоти истомленная душа страдальца внезапно ощутит небесную помощь и узрит ниспосланного ей свыше Ангела-утешителя.

Подошла я к этому человеку.

— Откуда ты, — спрашиваю, — раб Божий?

— Сейчас из лазарета, а то был на войне.

— Заболел, что ли, или был ранен?

— Ранен, матушка, теперь, слава Богу, выздоровел. Вот у вас отговею и обратно в строй, к своим, туда, на Карпаты.

— Ну, небось сперва к своим домой съездишь? Ты, что ж, холостой или женатый?

— Женатый, матушка, — жену, двоих детей имею. Только я, матушка, домой теперь не поеду, а в строй, на позиции. Я своих всех поручил Царице Небесной — Она их и без меня ладно управит. Жду я, матушка, жду не дождусь, пострадать желаю за веру святую, за Царя-батюшку, за родимую мать — землю Русскую, за православный наш народушко, пострадать и помереть в сражении.

Я была поражена: нашему ли времени такие речи слышать? «Пострадать и помереть в сражении»?!

— Да откуда ж, — воскликнула я, изумленная, — откуда ж у тебя такие мысли и желание?

— Ах, матушка! — вздохнул он мне в ответ, — если б только знали вы, как я томлюсь в ожидании этой смерти, как жду ее, ищу ее, а она мне, как клад какой, не дается... С чего это у меня, спрашиваете вы? А вот с чего: было дело это за австрийской границей. Нашу часть пустили в обход одной горы, поверив жидам, что мы захватим врасплох австрийцев, а жиды нас предали: и попали мы под такой перекрестный огонь неприятеля, что от на-

шей обходной колонны мало кто и в живых остался. Меня тут контузило, и я упал без сознания. Когда опомнился, то стало уже темнеть. Бой продолжался, но не рукопашный, а огневой. Кругом меня живых никого — одни трупы, горы трупов и своих, и неприятельских. Почти совсем стемнело. И услышал я вскоре нерусский говор. Ну, думаю, австрийцы или немцы идут добивать наших раненых и грабить трупы. Смотрю: они и есть, только от меня еще далеко. Я поскорее — да под трупы убитых, залез под них и притаился, не дышу, словно тоже убитый... Прошли немцы, обшарили трупы, обобрали, кого штыком ткнули. Меня не тронули: не заметили — глубоко был зарывшись. Прислушиваюсь — ушли. Подождал я немножко и стал потихоньку вылезать из-под трупов на свободу. А уж стало — вовсе темно; только вспыхивали, как молнии, разрывы шрапнелей да повизгивали пули. И вдруг, матушка, такой свет увидел, тому и поверить, кажется, невозможно! Смотрю: идет между павшими в бою Сама Матушка Царица Небесная, сияет светом, как солнце, идет и ручками Своими пречистыми возлагает то на ту, то на другую голову павших воинов венцы красоты неизобразимой. Я как крикну:

— Матушка! Матерь Божия! Даруй и мне такой же венец из ручек Твоих пречистых!

Уж, видно, не в себе я был, коли так крикнул. А Она, Царица Небесная, на крик мой взяла да и остановилась, не побрезговала простым солдатом, да и говорит:

— Тебе не время еще. Иди и зарабатывай. Заработаешь, — такой же получишь.

— Куда ж, — говорю Ей, — пойду я? Кругом стреляют — меня убьют, и заработать не успею.

— Иди! — сказал Богородица и перстом Своим указала во тьме, куда мне идти было надобно.

И куда Она пальчиком Своим показала, там свет проложился, как дорожка; и по свету этому я дошел до своих невредимый, хоть и свистали, и щелкали вокруг

меня пули... И вот, с той самой ночи нет мне на земле покою, и все мне стало на земле немило. Ищу я заработать себе венец из ручек Матери Божией, да, видно, все еще не умею: во скольких боях был и все ни одной царапины. В последнем наконец ранило. Ну, думаю, заработал! Нет, опять выздоровел. Теперь выписался я из лазарета, отговел у вас, слава Богу, и причастился; скорее опять в строй — теперь-то уже, Бог даст, венец себе заработаю.

Так на этом мы с этим рабом Божиим и простились», — закончила свой рассказ моя собеседница-монахиня[1] из монастыря, который некогда ограблен был разбойником Савицким и в котором тогда жила еще такая любовь Христова, что могла и самому Савицкому исходатайствовать у Бога спасение.

Вот, стало быть, что значит, что приоткрылась одним уголком завеса, до времени скрывающая от нас Царствие небесное и славу венцов его нетленных: блеснуло на человека тем светом, пред которым весь свет наш тьма, и жить уж не стало охоты, и все стало немило, и все земное заслонилось одним видением, одним желанием заслужить и заработать венец на главу из пречистых ручек Царицы Небесной.

А поглядеть да послушать, что пишут да что говорят о войне газеты и умные люди!..

Исповедаютися, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем. Ей, Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою (Мф. 11, 25–26).

---

[1] Монахиню звали мать Людмила. Она происходила из румынского рода князей Гика. Рассказывала это при мне в Валдае Новгородской губернии, в 1915 году (Примечание Е. Ю. К[онцевич] // На берегу Божьей реки. Ч. 2. С.-Франциско, 1969. С. 138).

5 марта

Опять в Оптиной. — Письмо И. В. Киреевского к старцу о. Макарию о том, как произошло знакомство между ними. — Эпитафия на памятнике И. В. Киреевского в Оптиной. — «Спасаяй, да спасет свою душу». — Письма еклесиарха великой церкви о. Мелетия о болезни и кончине митрополита Киевского Филарета.

Пишет к старцу о. Макарию Иван Васильевич Киреевский, духовный сын старца и один из старших богатырей самобытного русского духа и русской мысли:

«1855-го года. 6 июля. Полночь. Искренне любимый и уважаемый батюшка! Сейчас прочел я ваше письмо из Калуги к Наталье Петровне[1] и теперь же хочу поздравить вас с получением наперсного креста. Хотя я и знаю, что ни это, ни какое видимое отличие не составляют для вас ничего существенного, и что не такие отличия вы могли бы получить, если бы сколько-нибудь желали их, однако же все почему-то очень приятно слышать это. Может быть, потому, что это будет приятно для всех любящих вас. Мы всё видели, как вы внутри сердца носите Крест Господень и сострадаете Ему в любви к грешникам. Теперь та святыня, которая внутри сердца вашего, будет для всех очевидна на груди вашей. Дай Боже, чтобы на многие, многие и благополучные лета! Дай Боже, многие лета за то и благочестивому архиерею нашему!

Другая часть письма вашего произвела на меня совсем противоположное действие. Вы пишете, что страдаете от бессонницы и что уже четыре ночи не могли заснуть. Это кроме того, что мучительно, но еще и крайне вредно для здоровья. Думаю, что сон ваш отнимают забота о всех нас, грешных, которые с нашими страданиями и грехами к вам относимся: вы думаете, как и чем пособить требующим вашей помощи, и это отнимает у вас спокойствие

---

[1] Супруга И. В. Киреевского.

сердечное. Но подумайте, милостивый батюшка, что душевное здоровье всех нас зависит от вашего телесного. Смотрите на себя как на ближнего. Одного вздоха вашего обо всех нас вообще к милосердному Богу довольно для того, чтобы Он всех нас прикрыл Своим теплым крылом. На этой истинной вере почивайте, милостивый батюшка, на здоровье всем нам. Отгоните от себя заботные мысли как врагов не только вашего, но и нашего спокойствия и, ложась на подушку, поручите заботы о нас Господу, Который не спит. Ваша любовь, не знающая границ, разрушает тело ваше».

Знакомство И. В. Киреевского с благостным старцем нашим о. Макарием произошло, по словам супруги Ивана Васильевича, Наталии Петровны, при следующих обстоятельствах:

— Сама я, — так поведала нам Наталия Петровна, — познакомилась с о. Макарием в 1833 году через другого приснопамятного старца, его предшественника о. Леонида, тогда же сделалась его духовной дочерью и с тех пор находилась с ним в постоянном духовном общении. Иван Васильевич мало был с ним знаком до 1846 года. В марте того года старец был у нас в Долбине[1], и Иван Васильевич в первый раз исповедывался у него; писал же к батюшке в первый раз из Москвы в конце октября 1846 года, сказав мне:

«Я писал к батюшке, сделал ему много вопросов, особенно для меня важных; нарочно не сказал тебе прежде, боясь, что по любви твоей к нему ты как-бы-нибудь чего не написала ему. Мне любопытно будет получить его ответ. Сознаюсь, что ему будет трудно ответить мне».

Я поблагодарила Ивана Васильевича, что он мне не сказал, что решился написать к старцу, и уверена была, что будет от старца действие разительное для Ивана Васильевича.

[1] Имение Киреевского, в Белевском уезде, Тульской губернии.

Не прошло часа времени, как приносят письма с почты, и два надписанные рукой старца — одно на имя мое, другое на имя Ивана Васильевича. Не распечатывая, он спрашивает:

«Что это значит? Отец Макарнй ко мне никогда не писал!»

Читает письмо, меняясь в лице и говоря:

«Удивительно! Разительно! Как это? В письме этом ответы на все мои вопросы, сейчас только посланные».

С этой минуты заметен стал зародыш духовного доверия в Иване Васильевиче к старцу, обратившийся впоследствии в усердную и безпредельную любовь к нему, и принес плоды в 60 и во 100, ибо, познав, «яко не инако сдержится премудрость, аще не даст Господь», он при пособии опытного руководителя «шел к Господу».

Иван Васильевич Киреевский и брат его Петр вместе с супругой Ивана Васильевича Наталией Петровной погребены у Введенского храма Оптиной пустыни рядом с могилами великих старцев: Леонида (в схиме Льва), Макария и Амвросия. На памятнике Ивана Васильевича начертана надпись;

«Надворный Советник Иван Васильевич Киреевский. Родился 1806-го года, Марта 22-го дня. Скончался 1856 года Июня 12-го дня.

Премудрость возлюбих и поисках от юности моея. Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст, приидох ко Господу.

Узрят кончину праведника и не уразумеют, что усоветова о нем Господь.

Господи, приими дух мой!»

Какую премудрость возлюбил Иван Васильевич, ясно видно из слов его Старца.

«Сердце обливается кровью,— так писал Старец одному своему духовному чаду, — при рассуждении о нашем любезном отечестве, России, нашей матушке: куда она мчится, чего ищет, чего ожидает? Просвещение воз-

вышается, но мнимое — оно обманывает себя в своей надежде, юное поколение питается не млеком учения Святой Православной нашей Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли этому продолжаться? Конечно, в судьбах Промысла Божьего написано то, чему должно быть, но от нас скрыто, по неизреченной Его премудрости. *А кажется, настанет то время, когда, по предрешению отеческому, «спасаяй, да спасет свою душу».*

Очевидно, не премудрость века сего возлюблена была и Ивану Васильевичу Киреевскому.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

18 декабря 1856 года писал нашему о. архимандриту Моисею еклесиарх Великой киево-печерской церкви, бывший наш скитский послушник, иеромонах Мелетий (Антимонов):

«Ваше высокопреподобие отец архимандрит Моисей, благословите.

Его высокопреосвященство милостивый Архипастырь наш[1] изволил сказать мне, что получил от вас письмо, в котором изволили поздравить его высокопреосвященство со днем святого тезоименитства.

За долговременное и неизменное к высокой особе его ваше благоговейное уважение и примерную вежливость он изволил радостно благословить вас и вверенную вам святую обитель архипастырским благостынным благословением.

«Хотел бы я сам ему написать, да видишь, как я слаб здоровьем: голова моя отказывается работать, руки мои не хотят делать, желудок не хочет варить, и ноги мои отказываются ходить, а душа радуется, что приближается время ее покоя. Так и напиши».

[1] Филарет [Амфитеатров], митрополит Киевский. Бывши на Калужской кафедре, он принимал живейшее участие в судьбах Оптиной Пустыни, которая ему обязана введением в ней старчества и постройкой Скита.

Вот собственные слова его Высокопреосвященства, которые, как драгоценный гостинец, имею честь вашему высокопреподобию на сем листочке доставить. Эти слова изволил говорить мне грешному в субботу перед вечернею, 15 декабря, в кабинете его. В воскресение, 16-го числа, по слабому здоровью и не служил».

Следующее письмо о. Мелетий писал от 24 декабря 1857 года батюшке о. Макарию и в нем извещал уже о кончине приснопамятного великого архиерея Божия и благодетеля нашей обители Филарета.

«Великий Святитель наш, — так пишет о. Мелетий, — декабря 1-го[1] изволил совершить Божественную литургию в ближних пещерах, в храме преподобного Антония, был и в дальних с поклонением святым мощам угодников Божиих, а последние часы того дня провел в безмолвии (не принимал никого) в келлии о. Парфения, что на ближних пещерах. После того силы его стали очень слабеть, иногда опять укрепляясь. 15-е число, 16-е и 17-е утро было ему очень трудно, вечером же стало получше. Призвал меня и изволил сказать: «Завтра, после ранней обедни, я желаю пособороваться маслом, сделайте распоряжение».

Память и слух очень чисты.

18-е число, в среду, в 8 часов утра, началось Елеосвящение. Таинство совершал преосвященный Стефан и шесть архимандритов. Владыка лежал в спальне на кровати. По окончании таинства, начал у всех просить прощения, и стала подходить братия для благословения. Между сим изволил говорить: «Поручаю вас благости Божией, поручаю вас Матери Божией. Молитесь Господу Богу, дабы даровал вам пастыря доброго, учительна и благонравна».

Я стоял в ногах его кровати и после всех подошел. Кланяясь в землю, целовал его руку.

«Ну, — сказал он, — отец еклесиарх, послужи Матери Божией. Матерь Божия тебя не оставит».

[1] День ангела митрополита.

Из глаз моих полились слезы, и с ними пришел к себе в келью.

Память, слух и зрение по-прежнему хороши.

19-го, в четверг, утром в половине 8-го часа, призвал меня и сказал: «Возьми алмазные андреевские знаки и цепь для сохранения в ризнице».

Взявши это, я поклонился ему в землю и сказал: «Преосвященнейший Владыко, помяните меня у престола Божия!»

«Хорошо. А ты послужи. Ты призван сюда по особому Промыслу Божию: на такую должность трудно сыскать человека — здесь особая нужна верность».

В 10 часов сего утра преосвященный Стефан, после обедни (он служил для ставленника и я с ним), взошел к владыке со мною вместе, сказал несколько слов и возвратился. Здесь поклонился я ему и просил благословения Оптиной Пустыни.

«Напишите, — промолвил он, — полное мое благословение, а я сам не могу писать».

Эти истинные его слова имею счастье, как драгоценный дар, принести Оптиной Пустыни.

Императрица Мария Александровна спрашивала два раза в день о здоровье; наконец потребовала от докторов положительно удостоверения на сие. Доктор отвечал 20-го числа, в пятницу, в 6 часов вечера: «Больной не принимает пищи, дыхание более на поверхности, силы еще упали, сознание полное, надежды нет».

Владыка потребовал: «Прочтите мне, что вы написали».

Начал читать, и когда последние слова произнесены — «надежды нет», — он сам изволил подтвердить: «И очень безнадежен».

В 11 часов ночи о. наместник присылает за мной в келью. Я явился. Говорит мне: «Приготовьте часть Св. Даров на случай, потому что владыка подозвал меня и сказал: «Ну, если я не доживу до ранней обедни, то приготовьте часть Св. Даров».

Еклесиарх тогда же и приготовил.

21-го. Суббота. Раннюю обедню приказал начать в 3 часа и дожидался Св. Таин с большим нетерпением. Наконец, приобщился и начал повторять: «Ныне отпущаеши раба Твоего» и проч.

В 8 часов 15 минут утра Святитель наш предал святую душу свою в руки Спасителя своего и нашего мирно, тихо, спокойно. Тело вынесено в Великую церковь 22-го, в воскресенье, в 3 часа пополудни. Погребение предположено на 2-й день праздника. Могила в церкви на ближних пещерах, против входа в пещеры. Место сие он сам прежде назначил и завещание написал.

Так умер праведный митрополит Филарет, благодетель Оптиной Пустыни и основатель ее Скита во имя святого Предтечи Господня и Крестителя Иоанна».

На этом заканчиваются мои выписки из скитских дневников послушника Льва Кавелина.

6 марта

Опять в Оптиной. — Елена Андреевна Воронова. — Вор-рецидивист и Святитель Николай.

В конце прошлого месяца, после поздней Литургии, подошла ко мне в Казанском храме незнакомая, скромно одетая дама.

— Не вы ли С. А. Нилус?

— Я. Чем могу служить?

— Я — Елена Андреевна Воронова. Вам это имя вряд ли что говорит, хотя мы оба с вами служим одному и тому же делу; я пишу во славу Божию о делах Его Промысла в жизни человека. А главное мое дело — это забота о духовном питании заключенных в тюрьмах Петербурга и даже в Шлиссельбургской крепости. В этом деле я являюсь как бы помощницей известной вам, вероятно, княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой.

С этого началось наше знакомство, очень быстро перешедшее в тесную дружбу с моей женою и со мною. Да и нельзя было не полюбить этого кротчайшего и любвеобильного создания Божия.

«Она — как Ангел Божий!»

Так про нее сказал кто-то из семьи моей. И это была истинная правда.

Утро и день эта раба Христова посвящала оптинским церковным службам и своему духовнику и старцу о. Варсонофию, а вечера, кроме дней говения, проводила у нас. И чего-чего только не понаслушались мы от нее великого и дивного из сокровенных тайников человеческой души, открывавшейся ее любви в крепостных казематах и камерах одиночного и общего заключения, не исключая камер так называемых смертников — лиц, приговоренных к смертной казни. Сколько из этих смертников, приведенных ею к распознанию своей вины и покаянию, спасла она от смертной казни, выхлопатывая для них иногда даже и полное помилование! Бог знает да еще митрополит Антоний Петроградский, через которого доводит до кого следует просьбы своих тюремных духовных детей наша Елена Андреевна.

Не успели познакомиться, а я ее уже называю «наша». Думается, что не только нам одним она «наша», а всем, кто бы только ни приходил в соприкосновение с душой этой ангельской[1].

Спросили ее, какого вида Бог? Ответила: «Нельзя сказать человеческими словами. Он стоял около меня».

---

[1] Господь удостоил эту праведницу венцом страдальческой кончины в день Страстей Своих, она скончалась в Страстную пятницу, 8 апреля 1916 года. Вот что писал нам о блаженной ее кончине один общий наш с нею друг: «...Со вторника на среду (Страстной седмицы) Елена Андреевна нам объявила, что страдания ее продолжатся до пятницы и затем умрет. Спросили ее, кто это ей сказал. Она отвечает: «Бог! Бог мне сказал: “У тебя доброе сердце — потерпи до пятницы, и тогда конец страданиям”».

И, действительно, она страдала до 12 часов ночи Великой пятницы, когда страдания ее прекратились. Она затихла, стала ровнее дышать, попросила все свои святыни. Положили ей крест на грудь. Она сама, своей рукою, закрыла себе глаза, и больше их не открывала, и тихо опочила. Была она все время в памяти. Почерк был твердый и ясный... После ее кончины пришел пристав, и кроме носильного платья да кое-какого старого белья ничего не нашлось...»

Записываю со слов Елены Андреевны нечто из ряда вон выходящее, что произошло с одним из ее духовных питомцев.

«В Выборгской тюрьме, — так рассказывала Елена Андреевна, — мне довелось встретить одного молодого вора-рецидивиста. Он теперь в Обуховской больнице умирает, если уже не умер, от злейшей чахотки, и потому я могу назвать его имя: зовут его Александр Гадалов. Несмотря на то что он, казалось, был неисправимый вор, в нем светилась такая чистая, детски-верующая, бесхитростная душа, что сердце мое при ближайшем с ним знакомстве не могло не полюбить его милой души, мимо которой, как это ни странно, пронеслась, не запятнав ее, вся внешняя грязь его преступлений. Теперь страданиями своими он уже искупил все, чем провинился пред Богом и человеками. Так вот, полюбила я душу Гадалова, и любовь моя настолько открыла мне его замкнувшееся в себе сердце, что, зная приближение своей смерти, он подарил мне свои записки — довольно объемистую тетрадь, в которой он наивно и необыкновенно-трогательно описывает свою горемычную жизнь от дней детства до теперешней его предсмертной болезни. В беседах его со мною он рассказал мне об одном бывшем с ним событии, настолько необыкновенном и поразительном, что удивило даже и меня, видавшую всякие виды.

— Вы, обеспеченные люди, — говорил мне Александр, — понять не можете нашего брата-вора, которого на воровство толкает неуменье и непривычка взяться за труд и такая безысходная нужда, такой волчий голод, что нет времени ни подумать, ни сообразить, есть ли какая безнравственность в покушении на чужое добро. Впору только об одном думать, как бы, где бы раздобыть чего-нибудь пожрать, а уж об остальном и головы себе не забиваешь. Так-то вот раз случилось и со мной, когда я в первый раз пошел на воровство. Подвело у меня в животе так, что впору из-за корки черного хлеба человека зарезать. Вот и подумал я что-нибудь украсть, чтобы сытым быть. Пошел воровать, а сам в душе молюсь Николаю Чудотворцу: угодничек Божий, батюшка, помоги!.. Ловко удалось мне тогда стибрить! Хоть и погнались было тогда за мною, да я за молитвы угодника от погони как в воду канул. И от второй, почти на второй день кражи я также легко скрылся оттого, что все время, пока бежал, на молитве угодника Божия Святителя Николая призывал и молил спасти меня от погони. Пошел на кражу я таким-то образом и в третий раз, как и прежде, усердно помолившись угоднику, но уж тут пришлось пережить такие страсти, что и вспомнить жутко. Было дело это на окраине города. На краже меня заметили, и украсть мне ничего не удалось; пришлось дать тягу. За мной погнались. Я — в огороды, погоня за мной. За огородами был лесочек, так, рощица небольшая; я — туда, думаю в кустах укрыться, а там чисто, ни одного кустика... За рощей голое поле, а кругом никакого прикрытия на большое расстояние. Ну, смекаю я, попался! А погоня за мной по пятам, вот-вот нагонят... И взмолился я тут Святителю: батюшка, выручай! выручишь, свечку тебе поставлю!.. Вдруг вижу: валяется невдалеке палая лошадь; брюхо огромное раздуто, как гора, и один бок проеден — дыра, как пещера, зияет. Долго думать было нечего: я в нее, в дыру-то эту самую, закопался в

нее с головой, да и с ногами в ней схоронился!.. Ну уж, матушка, Елена Андреевна, истинно, свет Божий не взвидел я в этом смрадном логове — чуть было не задохся. И что же? не нашла ведь меня погоня — мимо меня промчалась, а в тушу палую заглянуть и не подумала. Долго ли, коротко ли лежал я в падали, а вылезать пришлатаки пора. Высунул я осторожненько на белый свет голову да чуть было не ослеп от осиявшего меня внезапно необыкновенного света — у меня внутри даже все перевернулось от страху! Опомнился мало-маленько и вижу: стоит около меня сам Святитель Николай, строгий такой и говорит: «Ну что? хорошо тебе было в этом смраде?»

«Ой! — говорю, — тошнехонько!»

«Так-то, — говорит, — смраден Богу и мне твой грех. Три раза, — говорит, — я тебя жалел, а теперь больше жалеть не буду».

Сказал и стал невидим.

Ну уж и натерпелся я тогда страху, Елена Андреевна, как вспомню, так и посейчас трясусь от страху».

— Что ж? — спросил я Елену Андреевну, когда она кончила свое удивительное повествование, — что же с вашим Александром потом было?

— А было то, что он не утерпел и опять взялся было за грешное свое ремесло и, конечно, угодил в тюрьму. В тюрьме у него развилась злейшая чахотка и с нею по отбытии срока своего наказания он и был выпущен на волю. Да воля-то была хуже неволи: больной, еле дышащий, в рубище, без единой на всем свете сострадающей души он мотался несколько дней, питаясь днем кой-каким подаянием, а ночи проводя под мостами да на пустых барках, голодный, холодный, как жалкий дикий зверек, загнанный гончими собаками. Скитался он так, где день, где ночь, несколько дней и, наконец, не стерпя скитальческой своей муки, кинулся на какой-то пустынной улице на проходившую одинокую барыню и вырвал у нее из рук ридикюль, попробовал убежать и тут же

упал к ее ногам, захлебываясь хлынувшей у него из горла кровью. Спасибо, барыня-то доброй оказалась, пожалела бедного страдальца, Грех его простила да еще сама лично доставила в Обуховскую больницу, где он теперь и умирает в скоротечной чахотке, примирившись и с Богом, и с людьми горькой своей жизнью и тяжкими страданиями.

Такова жемчужинка из заветного ларца рабы Божией Елены Андреевны Вороновой. Высыпала она ее в мою кошницу и уехала 21 февраля, в воскресенье, обратно из Оптиной на делание свое: приводить к Богу и спасать озлобленные души для жизни в красоте и радости блаженной вечности.

Великое делание! Великая праведница!..

7 марта

Опять в Оптиной. — Сновидение о. Варсонофия. — Нечто от «клеветы человеческой». — Слова о. Егора Чекряковского. — О. Варсонофий о «Троицком Слове». — О. Н[ектари]й и помещица-пустынножительница. — Не грозится ли небо?

Ходили с женой на благословение к о. Варсонофию. Е. А. Воронова слышала от него, что он в ночь со среды 17 февраля на четверг 18-го видел сон, оставивший по себе сильное впечатление на нашего батюшку.

«Не люблю я, — говорил он Елене Андреевне, — когда кто начинает мне рассказывать свои сны, да я и сам своим снам не доверяю. Но бывают иногда и такие, которых нельзя не признать благодатными. Таких снов и забыть нельзя. Вот что мне приснилось в ночь с 17-го на 18 февраля. Видите, какой сон, числа даже помню!.. Снится мне, что я иду по какой-то прекрасной местности и знаю, что цель моего путешествия получить благословение о. Иоанна Кронштадтского. И вот, взору моему представляется величественное здание вроде храма, кра-

соты неизобразимой и белизны ослепительной. И я знаю, что здание это принадлежит о. Иоанну. Вхожу я в него и вижу огромную как бы залу из белого мрамора, посреди которой возвышается дивной красоты беломраморная лестница, широкая и величественная, как и вся храмина великого Кронштадтского пастыря. Лестница от земли начинается площадкой, и ступени ее, перемежаясь такими площадками, устремляются, как стрела, прямо в бесконечную высь и уходят на самое небо. На нижней площадке стоит сам о. Иоанн в белоснежных, ярким светом сияющих ризах. Я подхожу к нему и принимаю его благословение. Отец Иоанн берет меня за руку и говорит:

— Нам надобно с тобой подняться по этой лестнице.

И мы стали подниматься. И вдруг мне пришло в голову: как же это так? Ведь отец Иоанн умер: как же это я иду с ним, как с живым? С этой мыслью я и говорю ему:

— Батюшка! Да вы ведь умерли?

— Что ты говоришь? — воскликнул он мне в ответ. — Отец Иоанн жив, отец Иоанн жив!

На этом я проснулся... Не правда ли, какой удивительный сон? — спросил Елену Андреевну о. Варсонофий. — И какая это радость услышать из уст самого о. Иоанна свидетельство непреложной истинности нашей веры!»

Елена Андреевна надумала было просить благословения у Старца напечатать это благодатное видение. Старец даже за голову схватился...

«Помилуй вас Бог! Не для печати это вам рассказано, а для вашего назидания. И не думайте этого печатать»[1].

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Принял нас наш батюшка с обычной для него лаской, усадил меня на диван в той комнатушке своей кельи, которую он трогательно величает «зальцей», и стал мне

---

[1] Запрет этот наложен был на Е. А. Воронову, а не на меня, да к тому же теперь и Е. А., и старец о. Варсонофий — оба покойники, и таить благодатного этого сновидения теперь нет причины.

говорить о той радости, которую испытало его сердце от прочтения № 1-го «Троицкого Слова», издаваемого под редакцией епископа Никона[1].

— Вот это хорошо, мудро! — восторгался он. — Это доброе слово.

Вдруг батюшка прервал речь свою...

— А знаете ли, — сказал он, — против вас начинается восстание, да еще какое восстание!

— Откуда, батюшка?

— И извне, и изнутри, со стороны одной партии...

На этом слове в келью вбежал один из скитских послушников, письмоводитель батюшки, с тревожным возгласом:

— Батюшка! ему так плохо, что едва ли он уже не кончается!..

— Ну давай скорее епитрахиль и одеваться, — заторопился батюшка, — а с вами, С. А., уже до другого, видно, раза.

Батюшка благословил меня и поспешно вышел.

— Кто это кончается? — спросил я письмоводителя.

— Наш отец И[2].

. . . .

Не один уже раз с конца прошлого года начи́нал заводить со мной Старец речь о «клевете человеческой», и всякий раз беседа наша на эту прискорбную тему прерывалась на начальном полуслове столь же неожиданным образом. Знаю, что там где-то в пространстве кто-то что-то замышляет против нашего оптинского уединения, но кто и почему, так и не удается мне дознаться от своего Старца.

— Годочка два, ну, три поживите, — говорил нам в 1907 году о. Егор Чекряковский, благославляя нас на поселение в Оптиной. Два года исполнилось, начинаем жить

---

[1] 1910 год был первым годом издания «Троицкого Слова».

[2] О. И. здравствует и поныне.

третий, и «кто-то» уже начинает подрывать наши корни в святой земле оптинской.

Тому, видно, быть — не миновать! Буди воля Божия.

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

Вернувшись из скита домой, застали целое общество, в том числе дорогого нашего духовного друга о. Н[ектария] и одну помещицу, духовную дочь старца о. Амвросия, поселившуюся жить ради Оптиной и ее старцев в лесной сторожке соседнего с Оптиной помещика К[ашки]на.

— Мне К[ашки]на говорила, — так за беседой у самоварчика сказывала нам пустынножительница-помещица, — что по милосердию и любви Божьей все, даже нераскаянные злодеи и отступники, скорбями и земными страданиями спасутся. Мне это кажется правильным. Как думаете об этом вы, отец Н[ектари]й? — обратилась она к нашему другу.

— Два, — ответил он кратко, — разбойника висело на крестах рядом со Спасителем, а в рай вошел только один.

— Ах, какая правда! — воскликнула она. — Как же это мне не пришло в голову так ответить К[ашкин]ой?

«Оттого и не пришло, — подумалось мне, — что ты, матушка, не отец Н[ектари]й».

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

Посидели гости наши и вскоре ушли, а мы, в свою очередь, оделись и пошли вдвоем с женой гулять мимо заветных старческих могилок в чудный монастырский лес. Было уже довольно поздно. Солнце склонялось к закату, небо было покрыто мрачными тучами; кое-где на западе их пронизывали сверкающие, прощальные лучи заходящего солнца. Было довольно холодно и ветрено... От могилок великих старцев мы пошли по направлению к Скиту. В это мгновение солнце ударило из-под туч косыми лучами по верхам архимандритского корпуса, канце-

лярии и братских келий и заиграло на них таким густым, ярко-малиновым огненным светом, что мы остановились как зачарованные пред красотой волшебных красок, каких не найти ни на какой палитре. А когда мы вышли за ограду и обернулись еще раз взглянуть на монастырь, то даже ахнули от изумления: весь верх архимандритского корпуса стороною, обращенной к солнцу, горел, как пламенный уголь. Незабываемо-красивое и вместе почему-то жуткое было это зрелище... Но что творилось в это время в лесу, осеняющем скитскую дорожку, того ни в сказках сказать, ни пером описать невозможно. Лес горел, каждое его дерево горело и сквозило огнем, как сквозит и пламенеет полоса железа, только что вынутая из горна кузнечными клещами. Деревья не отражали кроваво-огненных лучей заката, а насквозь ими светились своим внутренним огнем. Это был пожар леса, но без дыма, без треска и шума пожара. До чего же это было красиво и... страшно, и глаз невозможно было оторвать от этой волшебной картины!

Не грозит ли небо духовным пожаром дорогой обители? Не огонь ли небесный готовится свыше излиться на міp великого отступления? Не оттого ли так и страшно, и жутко стало моему бедному, робкому человеческому сердцу?

Как знать?..

8 марта

«Николай-Подкопай».

Носил к о. архимандриту деньги за квартиру и задержался у него беседой о делах житейских. Невесело глядит и авва наш на то, что творится там, за оградой монастырской. За беседой я рассказал ему трогательную историю Александра Гадалова, сообщенную мне Е. А. Вороновой.

— Ну, что вы скажете, батюшка, — спросил я, — о чуде Святителя Николая с Гадаловым? Как вы к этому чуду относитесь?

— А вам, — на мой вопрос ответил вопросом о. архимандрит, — известно ли сказание о чудотворной иконе Святителя Николая в Москве, что в церкви, известной под именем «Никола-Подкопай»?

— Что-то не слыхивал.

— Ну, так послушайте! В какой местности Москвы находится эта икона, это мне неизвестно, но я твердо знаю, что она есть и носит именно то название, которое я вам сказывал. В том приходе, в церкви которого находится эта икона, жил один богатый купец. Человек он был честный и глубоко верующий, как и большинство русских православных людей того времени. Особенную же веру он имел к Святителю Николаю, икону которого в приходе своем чтил какой-то особенною, чисто сыновнею любовью, часто служил пред нею молебны и всегда усердно, с любовью молился. Случилось так, что его подвели в одном крупном торговом деле и, воспользовавшись его доверчивостью, кругом так обманули, что он лишился разом не только всего своего достояния, но запутал и других, веривших его честности. Положение его было во всех отношениях отчаянное. И усилил тут купец усердную свою молитву к Святителю Николаю, неотступно стал ему молиться день и ночь, умоляя его о помощи. И вот, помолившись ему както раз на сон грядущий с великой верой и обильными слезами, лег купец этот спать и видит в тонком сне, стоит перед ним великий Святитель Божий и говорит ему:

— Не плачь, я выручу тебя из беды. Ступай, сними с иконы моей ризу и продай ее. Что за нее выручишь, пусти в оборот; а как разбогатеешь, расплатишься с долгами, сделай на мою икону новую ризу, но только смотри, чтобы она было точка в точку такая же, как старая.

А риза на иконе той была богатейшая — чеканного золота, вся усыпанная бриллиантами и драгоценными каменьями большой ценности.

— Как же я это могу сделать, — спрашивает купец, — когда икона стоит в храме? Кто же мне это позволит?

— Позволю я, — сказал Святитель, — я ей хозяин, а ты слушай, что я тебе говорю. Вот придет ночь, ступай ты на церковный двор к храму, подкопай под ним стену и через подкоп влезь в храм да сними ризу.

— Да ведь это — святотатство! — возражает купец.

— Говорю тебе, я — хозяин! — ответил Святитель и стал невидим.

Купец проснулся весь в слезах от умиления и благодарности. Пришла следующая ночь. Помолился купец Богу и св. Николаю, взял кирку, лопату и пошел добывать ризу со святителевой иконы. Ризу добыл, принес домой, драгоценные камения вынул, а золото сплавил — все сделал без помехи, по святительскому благословению. Большие деньги выручил тогда купец за ризу эту, обернулся в своих делах и разбогател пуще прежнего. Когда вошел он вновь в силу и настало, стало быть, время исполнить повеление Святителя о сооружении на его икону новой ризы, тогда пошел купец к приходскому своему батюшке и говорит ему:

— Хочу послужить великому Божьему угоднику, Святителю Николаю: благословите, — говорит, — батюшка, соорудить ему новую ризу на икону.

— Доброе дело надумал ты, раб Божий, — благословляет его батюшка, — только к чему ему риза, когда на его иконе и старой ризе цены нет?

Такое чудо сотворил Святитель: ризы на его иконе давно нет, а она всем видится — никому и в голову не взойдет, что снята, продана, а купца — на корень поставила.

— Знаю, батюшка, — говорит, — что и старой цены нет, да таково мое усердие: хочу новой ризой украсить Святителя, да еще ровно такой, какая на ней и раньше была, чтобы и видом своим, и ценностью ничем не отличалась от старой.

Видит батюшка, что купца не переупрямишь, а жертва его богатейшая.

— Ну, что ж, — говорит, — с тобой делать? — Делай как хочешь: Бог благословит.

И вот, соорудил купец новую ризу, во всем подобную старой. Дивятся прихожане вместе со своим батюшкой, дивятся и радуются богатейшему вкладу. Когда пришло время облачать икону новой ризой, отслужили торжественно Литургию при полном храме молящихся. После Литургии, перед молебном Святителю, стали надевать ризу на икону, и еще больше дивятся прихожане: новую ризу надевают на старую...

— Да хоть бы старую-то сняли! — пронеслось тихим шепотом по Божьему храму среди молящихся...

Прижали к старой ризе новую, как пришили; хотели было начинать и молебен, да остановил жертвователь. Выступил он вперед, положил три поклона Святителю, оборотился к народу да и стал говорить ему про скорби свои, про явление ему Святителя и про святителево великое чудо. По церкви ровно стон пошел: кто верит, а кто не верит; ведь старую-то ризу все видели, и как на нее новую надевали, тоже все видели — что такое говорит он? Не с ума ли свихнулся?.. Слышит это купец да и говорит мастеру, что новую ризу делал:

— Сними ризу!

Сняли, а под ней никакой старой и нету. Что тут после того с народом стало, и пересказать невозможно...

Вот с той поры и зовется приходский тот храм «Никола Подкопай». Вот, мой батюшка, Сергей Александрович, — закончил свой рассказ, отпуская меня, о. архимандрит Ксенофонт, — какие в старину-то, еще недавнюю, чудеса на Руси Православной бывали!

Пришел я от о. архимандрита домой, рассказываю, что слышал, а наша Ляля:

— У нас в Тамбове, — говорит (она тамбовская), — еще на моей памяти точно такой же случай был со Святителем и с обедневшим сапожником: тоже явился сапожнику Святитель и так же велел ему для поправки дел

снять со своей храмовой иконы драгоценную ризу, а когда разбогатеет, сделать новую, подобную.

Трогательно, умилительно и как по-христиански! Одежду с себя снимает Божий угодник, чтобы одеть ею неимущего...

«Социализм это — завершение христианской морали, — внушают нам мудрецы века сего, — он есть не что иное, как ее последнее, современное, заключительное и совершенное слово».

«Социализм, — говорят христиане, — учит отнимать у ближнего его достояние; христианство — отдавать свое». Похоже!..

Поди-ка попробуй отнять у верующего православного его преисполненную чудес любви веру, его бессмертную надежду!..

9 марта

Ожидание близости Страшного Суда. — Съезд раввинов. — Банкир Шиф и «враг рода человеческого».

Сегодня получил письмо от одного иерея Божия, пишет:

«...Страшная мысль смущает ум, что признаки близкого пришествия Спасителя и Страшного суда Его уже открываются. Эти землетрясения, это наводнение в Париже[1] — все эти поразительные явления заставляют глубоко задуматься, тем более, что они предсказаны словом Божиим. И сбывается Писание, что в последние дни будут чудеса *и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма* (Деян. 2, 19). Знамения на земле мы уже видим, да и на небе показываются[2].

Эта комета, появившаяся на *западе* и вызвавшая столько толков, так ярко блеснувшая и так быстро исчезнувшая, не есть ли она вестник явления міру антихриста или его пророка, подобно звезде, некогда явившейся на *востоке*

---

[1] Известное наводнение среди зимы 1909/10 года.

[2] Комета Галлея.

и бывшей вестником рождества Спасителя Самого Христа? История человечества на всем протяжении своем имеет столько доказательств того, что небесные явления были знамениями для земли. Еще приводит в смущение это повсюдное стремление к единению: эти международные съезды и конгрессы, этот «волапюк» или эсперанто — международные языки. Не наводит ли все это на мысль, что человечество близко к соединению в единую государственную семью, пока внеконфессиональную, а затем с новой единой религией, общим для всех царем и... новым «богом»? Подножие престолу и алтарю этому новому царю и богу уже сооружено из всеобщего преклонения пред слитым всемирным иудеем золотым тельцом. Не замедлит явиться и «сидящий». И то, что прежде казалось странным, как это антихрист должен произойти из еврейского народа и быть обладателем всей земли (я, по крайней мере, не мирился с этою мыслью), то теперь с несомненной ясностью видишь, как жизнь всех народов опутана одними и теми же еврейскими нитями, которые все более и более стягиваются и ныне грозят всему человечеству одною общею мертвою петлею. И вижу я и чувствую теперь, что немного уже остается времени для исполнения всего, от века предреченного».

Так пишет иерей Бога Вышняго. Надо ли отмечать, что его мысль — ныне мысли всего искренне и истинно верующего христианского міра?!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В Петербурге директор департамента духовных дел Харузин открыл всероссийский съезд еврейских раввинов.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В Соединенных Штатах Северной Америки еврейский банкир Шиф, финансировавший Японию в войне ее с Россией, вновь грозит «страшной» войной России, этому, по его выражению, «врагу рода человеческого».

Он прав, этот еврейский финансовый король: Россия действительно враг человеческого рода, если только стать на точку зрения морали талмуда, по которой только одни евреи люди, а все остальное человечество — скот с человеческими лицами, предназначенный для рабского услужения «князьям міра», евреям. Пока Россия православна, она не склонит своей головы под пяту Шифа и компании. Как же еврею не называть Россию «врагом ро́да человеческого»?!

Все это знамения. Но кто за ними наблюдает? Кому до них дело?

10 марта

Никитушка-блаженный.

Пишет мне из женской обители одна раба Божия:

«...Извините меня. Может быть, я и затрудняю вас, но сама не знаю, зачем и почему хочется мне рассказать вам об одной своей сокровенной любви — о Никитушке-нищем. Душа моя при воспоминании о нем полна слез, и я, конечно, не передам желаемого так, чтобы вы совсем ясно представили себе духовный образ этого человека. Мы знаем Никитушку давно, хотя он ходит к нам в обитель очень редко (не чаще двух раз в год). Говорят о нем крестьяне, что прежде они его знали «умным» и богатым. Он когда-то хорошо торговал в Туле, но вдруг с ним что-то сделалось, и он переменился в корень: распродал почем попало свое имущество, сделался дурачком и пошел нищенствовать. Быть может, тысячи людей, среди которых ходит Никитушка, считают его за самого обыкновенного нищего, но я и, кажется, вся наша Община думает о нем как о великом человеке Божием, превратившемся уже в Ангела. Нельзя вспомнить о нем без волнения, нельзя не любить его любовью о Христе, бесконечной и пламенной. Хочется его так любить, как не любило его на земле ни одно человеческое сердце и как умеют любить и любят его только небесные силы Ангельские...

Никитушка наш роста довольно высокого, худощавый, широкоплечий, волосы стриженые с большой проседью; лицо всегда запачканное, и на грязном лице этом чудные, ясные, голубые глаза цвета чистейшего весеннего неба. Одевается Никитушка всегда — лето и зиму — в плохую, холодную одежку и лапти. На вид ему лет шестьдесят. Слух в народе ходит, что он иногда из своего тела вырывает куски мяса, но что пораженные места у него как-то необыкновенно быстро заживают; иногда пачкается рудой или грязью, вызывая тем против себя всякие издевательства со стороны всегда безжалостных деревенских мальчишек. Если бы знали вы, какое неизреченное смирение, золотое и совершенное — ужас какой-то смирение, — имеет этот нищий. Когда он приходит к нам в обитель, он целует пороги, полы, стены, камни, лужи, грязь; иногда языком делает на земле или на церковном полу крест... Говорит Никитушка очень мало и не всегда понятно. Както одна из наших монахинь, будучи больной, позвала его к себе в келью. К удивлению всех, он послушался и пришел. Монахиня попросила у него святых молитв, он тотчас же стал молиться перед ее иконами, только вместо молитвы он с невыразимой быстротой стал перечислять по парам разных животных и птиц: голубь и голубка, петух и курица, волк и волчица и т. д. Надо думать, что он испугался, как бы она не приняла его за святого, раз надумала у него просить святых молитв, вот он и поспешил изобразить из себя полоумного. А может быть, и иное что: кто может постичь вполне таких рабов Божиих?.. Только монахиня та не смутилась этой странности и осталась с твердой верою в его святость... Пришлось мне однажды, выходя из церкви, увидать его около церковного крыльца; в руках у него была старенькая деревянная чашечка на ремешке. Я обрадовалась его приходу, нежно-детскому виду и, целуя его худой кафтан, подумала: вот он, святой! Никитушка шепотом ответил на мои мысли вразумительно: «Все святии, все святии!»

Из благоговейного к нему страха, чувствуя свою греховность, я никогда не беспокоила его словами и отходила скорей, чтобы вниманием к нему не прогнать его из обители, так как стоит только отнестись к нему повнимательней, как он тотчас же удаляется с быстротою вспугнутой ласточки. На первый день Великого поста Никитушка был у нас. Я выходила от вечерни и встретилась с ним у крыльца. Он упал передо мной, приник головою к оледенелой земле, попросил благословения и молча, крепко поцеловал мне руки. Сердце мое всегда считает счастливым те мгновения, когда я стою перед ним. «Я всегда покоряюсь вашему благоволению», — скажет он с ясным светом в глазах и улыбкой младенца; и какое-то блаженное, трогательное чувство затрепещет в моей груди. После я долго плачу в своем уголке, думая о нем: где-то ты умрешь, дорогой мой, никому не понятный, неуловимый, всем чужой, но в моей памяти навеки запечатленный? Кто будет тебя хоронить? Кто станет, прощаясь, целовать твои грязные святые руки, омывая их слезами?.. Боже мой, Боже мой! Я верю, что на грязь той дороги, где будет умирать этот Божий странник, этот самоотверженный, так жестоко самораспявшийся смиренник, Ты пошлешь целый лик святых Твоих Ангелов, и они унесут его благоуханную душу в тот великий свет, которого нам никогда не видать! Там, Господи! приими его о нас, грешных, молитвы!..»

Кончается удивительное письмо это словами:

«Еще раз прошу прощения! Интересен ли вам наш Никитушка и моя к нему любовь? Думаю — мало. Но, написавши вам о нем, я почувствовала на душе облегчение. Возможно, что и вы заочно полюбите его...»

Какие есть у Тебя еще и доселе, Господи, сокровенные сердца и души! Какое богатство неизмеримое любви, смирения и всякой милости!

14 марта

Кончина монаха Феодосия. — Его тетрадка. Знамение у нас в крещенской воде.

На днях скончался мантейный монах о. Феодосий. Он был регентом за ранней обедней. За неделю перед кончиной был пострижен в схиму. Доброй и внимательной жизни был монах и, по нашим мирским понятиям, интеллигентный. Рода он был купеческого и годами нестарый — годам к пятидесяти пяти, не старше. Умер от какой-то хронической болезни сердца. Много терпел скорбей и даже раз выходил из Оптиной, но вновь вернулся и дожил свой век благополучно в родном монашеском гнезде. Пред кончиной ежедневно причащался Святых Христовых Таин.

Один из близких к покойному о. Феодосию монахов принес мне сегодня оставшуюся после него тетрадку, и в ней я нашел следующую его собственноручную запись:

«Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Я, многогрешный Феодор (до мантии его имя), недостойный раб Господа и Бога моего Иисуса Христа, рясофорный послушник святой Оптиной Пустыни, пишу эти строки не из какого-либо вымысла или лжи, но сущую и неложную правду. Да будет вам, отцы и братья мои, моя эта повесть не на соблазн, а для душевной пользы.

1893 года, декабря 16-го дня, Господь посетил меня болезнью, и я сделался жестоко болен инфлуенциею. Лечил меня врач Оптиной Пустыни о. Димитрий. 18 декабря вечером я сделался очень слаб. В это время меня посетил иеромонах о. Варлаам, пришел и врач о. Димитрий, который стал меня спрашивать о здоровье и начал мне примачивать голову эфиром. Тут я почувствовал во всех членах онемение, и в мгновение кровь моя совершенно застыла, и я сделался недвижим. И вот, слышу я, кто-то говорит: «Не бойся, ничего не страшись!»

В это время сделался страшный и непонятный шум и стук, как от множества едущих по каменной мостовой экипажей, и кто-то тут же ударил меня по голове каким-то орудием так сильно, что и покров моей келлии тоже слетел. И увидел я свое тело, как какое-то брошенное платье. Тут под руки меня взяли двое монахов, один — о. Варлаам, а другой неизвестный; оба в мантиях. Они подняли меня на воздух, и долго мы неслись в высоту. По всему воздушному пространству и на всем нашем пути мне ничего не было видно, но со всех сторон был слышен страшный шум. Определить его или применить к чему-либо земному никак нельзя, но только в это время душа моя трепетала. И когда донеслись мы, казалось, до самого предела неба, тут нас внезапно облистал необыкновенно-яркий свет, как бы луч какого-то ярчайшего солнца, бесконечно светлейшего нашего земного солнца. Это продолжалось только мгновение. И мы стали спускаться вниз. Но чудесное то осияние с такою силой запечатлелось в моей душе, что я от восторга во весь обратный путь книзу только и мог что твердить: «Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Ничего я плохого для себя не вижу».

И мы по воздуху опять спустились к моей келье. И вижу я, что над моей кельей на воздухе стоит некий муж и некая жена, но лиц я их не вижу. Когда же мы спустились в келью, то я увидел, что посреди ее на полу стоит гроб и в гробу мое тело. По сторонам гроба сидят два монаха. Один из них говорит: «Что нам нужно теперь делать?»

Жена, виденная мною, отвечает: «Возвратите его, а болезнь оставьте ему: пусть прославляет Бога, как прославлял Его».

В это время я посмотрел на северо-западную сторону и увидел провал земли, и из него вылетает пламя и страшный дым. От страха я очнулся и увидел себя лежащим на койке, и около меня не было никого.

Богу одному известно, была ли в это время душа моя в грешном теле или это представлено мне из сна, но как было от начала до конца, говорю, что видел, и это сущая правда.

Прошу вас, отцы и братия, помолитесь о мне многогрешном ко Господу Богу, да помилует меня. Грешный ваш собрат, Феодор Ширнин».

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

Отец Феодосий скончался 9-го или 10 марта. Видение его прообразовало последующую жизнь его и кончину: болезнь его была с ним неотлучной спутницей во все дни его жизни, а жизнью своею он, действительно, славил Бога. Замечательным показался мне конец его видения — провал, дым и пламя. Не пришелся ли конец земной жизни о. Феодосия к тем дням, которые в книге жизни предназначены стать днями пятого апокалипсического Ангела, когда *отворится кладезь бездны, и выйдет дым из кладезя бездны, как дым из большой печи, и помрачится солнце и воздух от дыма из кладезя?* (Апок. 11, 2.) Современность на то похожа...

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

В той же тетрадке о. Феодосия было записано его рукою следующее:

«Пристав 2-го стана Горбатовского уезда Нижегородской губернии получил от урядника донесение и письмо, написанное к уряднику церковным старостой села Епифанова Горбатовского уезда. В письме дословно написано было следующее:

«Сим имею честь просить вас, чтобы вы приехали к нам в село Епифаново сего года 21 мая, т. е. в воскресенье, к литургии, так что [sic] у нас будет освящение источника, который находится при часовне, где и чудотворная икона Тихвинской Божией Матери. Вот у нас в источнике сотворились чудеса, каких никто не слыхивал

и не видывал. Сначала этот источник замерз в конце месяца марта. 15 мая стали лед пробивать, но не могли пробить. Потом пришлось его разрыть. Разрыли и лед пробили. В этом льду оказались чудеса, такие чудеса! Было изображение нашего храма, паникадила, изображение Господа Иисуса Христа в темнице, Божией Матери, колокола и креста над ним. Прошу приехать без всякого отлагания. Церковный староста Иван Савин».

24 мая пристав 2-го стана составил в селе Епифанове протокол следующего содержания:

«Близ села Епифанова, приблизительно в полуверсте от него, находится деревянная часовня, в которой устроен колодец над родником. Родник этот издавна привлекал к себе не только жителей окрестных селений, но и дальний народ. Из него брали воду, которую считали целебной. Никто из жителей не помнил, чтобы родник этот когда-нибудь замерзал, и когда он замерз, то это крайне удивило прихожан, и они обратились к местному священнику о. Михаилу Студенецкому с просьбой о молебствии, которое и совершено было 8 мая. Однако вода не появилась. 16 мая стали рубить землю в часовне, чтобы вынуть чан, помещавшийся в колодец. Земля была настолько замерзшая, что с трудом поддавалась топору. 17 мая чан вынули с частью льда, и тотчас показалась вода. Затем из чана стали выламывать лед и выбрасывать его в сторону. Находившийся тут же крестьянин села Епифанова Савин обратил внимание на лед, который был необыкновенно светлый, поднял одну льдину величиною с поларшина и заметил в ней изображение паникадила, нескольких подсвечников и лампад; вещи эти казались в середине льда, как будто сделанные из серебра. Савин тотчас предъявил льдину и другим, и все видели те же самые изображения. Другие льдины после этого также стали поднимать, и в них оказались разные изображения; так, в одних ясно замечались присутствующими колокольня и отдельно колокол с крестом сверху; в других льдинах

были изображения Иисуса Христа в темнице, Божией Матери, пред Которой на коленях стоит молящийся. Все эти изображения представлялись сделанными из серебра. Изображения пропадали по мере таяния льда, но их можно было наблюдать в течение трех дней, пока лед окончательно не растаял. Слух об этом сверхъестественном явлении так быстро распространился, что за три дня приходили и видели изображения в льдинах тысячи народа. Упомянутые льдины с изображениями находили затем в течение трех дней, пока не растаяли, у священника Студенецкого, который и подтверждает изложенное в настоящем акте, написанном при дознании с показания очевидцев. Подписано священником Михаилом Студенецким, сельским старостой Андреем Лисиным, церковным старостой Иваном Савиным и многими крестьянами. Народ тысячами продолжает стекаться к роднику, и 21 мая было свыше 5[-ти] тысяч человек».

Таков акт дознания станового пристава, копия с которого найдена мною в тетрадке почившего о. Феодосия.

Сбоку приписка о. Феодосия: «Было это в мае 1900 года».

Читал я это вечером моим домочадцам, а Ляля и говорит:

— А помните, как в моей бутылке нынче зимой замерзла крещенская вода?

Я вспомнил: вода замерзла только внутри, а у стенок бутылки она оставалась талой. Замерзши же внутри, она своей льдиной представила точное подобие дерева, по виду — елки.

— Она потом у меня оттаяла, — продолжала Ляля, — и вновь замерзла, как и прежде, но уже не в форме дерева, а рыбы, хвостом вверх. И так это было похоже на настоящую рыбу, что даже видна на ней была каждая отдельная чешуйка. Наши на кухне все это видели и дивились.

Я объяснил Ляле, что образом рыбы первые христиане изображали Самого Спасителя, ибо греческое слово ιχδυς пятью своими буквами дает начертание пяти начальных букв имени Господа:

Ι — Ιησους — Иисус
χ — Χριστός — Христос
δ — δ(Θ)εου — Божий
υ — Υιός — Сын
ς — Σωτής — Спаситель

Ляля так и ахнула, когда я это ей разъяснил.

Вот такие чудеса заключены бывают в тайниках нашей веры.

О, дивная вера наша!

17 марта

Болезнь отца Н[ектари]я. — Его видение. — Умилительная сценка и диалог между старцами. — Старая и новая Россия.

Ходил сегодня в нашу оптинскую больницу навещать больного друга нашего, отца Н[ектария]. Уже 4-й день идет, как его привезли из Скита и поместили в ту самую келью, в которой только что скончался о. Феодосий. К великой радости, нашел батюшку на пути к выздоровлению. Отец Н[ектарий] встретил меня сообщением, что его всю ночь беспокоил страшный сон, виденный им с необыкновенной ясностью.

— Что же видели вы? — спросил я с особым интересом, зная духовную высоту нашего батюшки.

— Революцию в России видел, страшный мятеж.

Дальнейшее повествование прервано было появлением больничного монаха-фельдшера, пришедшего измерить температуру больного. К великой моей радости, температура оказалась уже нормальной.

По уходе фельдшера мне довелось быть свидетелем умилительной и незабвенной сценки. Не успели мы об-

ратиться к прерванному повествованию, как вошел, помолившись, один из самых уважаемых оптинских Старцев, живущий в больнице на покое. Смотрю: в рукавах у Старца что-то припасено вроде «утешения» для болящего... После взаимного приветствия взошедший Старец раскрыл свою ручку и на ее ладони, на чистенькой бумажке, оказались три фигурные мармеладинки. Старец с несравненно милой улыбочкой на детски-ясном лице стал степенно снимать с бумажки одну мармеладинку за другой и подносить их поодиночке нашему другу, приговаривая:

— Вот вам, батюшка, отец Н[ектарий], как изволите видеть, лапоточек. Простите только, что с подошвы его мы снежку стряхнуть не успели.

А снежок на мармеладном лапотке — несколько песчинок сахарного песку.

— А это, — продолжает в том же духе Старец, — среди зимы вам земляничка!

И «земляничка» таким же образом перешла из рук в руки о. Н[ектари]ю.

— А это, уж извините, один только ломтик апельсина.

И тут оба старца засмеялись таким ангельски-детским смехом, что глупые мои глаза даже слеза прошибла.

Принял о. Н[ектари]й богатые эти дары, положил их бережно на спальный столик и сказал:

— А лапоточек-то ваш, мой батюшка, вишь ведь что привел мне на память! Великий царь Петр до всего, как вам известно, старался доходить своим умом и личным опытом: он и плотничал, и столярничал, и на кузне работал; добрался, наконец, и до лаптей — задумал сам попробовать лапти сплесть. Вот он и стал их ковырять, плел, плел, а там взял их да и отбросил к сторонке, примолвив с неудовольствием: «Зело, — говорит, — дело многодельное и малоприбыльное». — Так вот, мой батюшка, захотелось царю лапти плести, а как не царское то дело, то пришлось и бросить.

И оба старца опять засмеялись до слез, без слов рассмеялись, и только старец-даритель сквозь смех успевал нет-нет да и вставить словечко:

— Ну и о. Н[ектари]й! Ну и затейник! И откуда только он все это знает?

А у меня слезы — кап, кап! Надо знать, как я, глубину смиренномудрия и духовного разума обоих святых старцев, чтобы по достоинству оценить успех и для них, и для меня этих невинных шуток, этого наивного смеха — всей этой евангельской чистоты сердца, этой детскости духа во плоти ангелов, выну зрящих лице Отца Небеснаго... Вот она, старая великая Россия!

Не поймет и не заметит
Чудный взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В красоте твоей смиренной...

19 марта

Мало «разумеющих». — Подробности видения о. Н[ектари]я.

Вчера исполнился год со дня кончины схиигумена Марка[1]. Когда перед самой кончиной его мне довелось иметь с ним беседу о событиях и знамениях времени, великий Старец сказал мне:

— Как мало, кто истинное их значение разумеет!

За истекший год еще более, думается, поредели ряды «разумеющих» и не только в міре, но даже в святых обителях.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

О. Н[ектарий] все еще в больнице. Сегодня я опять заходил навестить его. Спросил о его сновидении.

— Оно было мне почти во всю ночь, — сказал батюшка и поведал мне в общих чертах его содержание. — Во

[1] См. «На берегу Божией реки», 90–95 стр.

всех подробностях, — прибавил он, — слишком долго рассказывать. Вот главное: вижу я огромное поле, и на поле этом происходит страшная битва между бесчисленным полчищем богоотступников и небольшой ратью христиан. Все богоотступники превосходно вооружены и ведут борьбу по всем правилам военной науки, христиане же безоружны. Я, по крайней мере, никакого оружия при них не вижу. И уже предвидится, к ужасу моему, исход этой неравной борьбы: наступает момент конечного торжества богоотступнических полчищ, так как христиан почти уже и не осталось. По-праздничному разодетые толпы богоотступников с женами и детьми ликуют и уже празднуют свою победу... Вдруг ничтожная по численности толпа христиан, между которыми я вижу и женщин и детей, производят внезапное нападение на своих и Божьих противников, и в один миг все огромное поле покрывается трупами внехристовой рати, и все неисчислимое скопище ее оказывается перебитым, и притом, к крайнему моему удивлению, без помощи какого бы то ни было оружия. И спросил я близстоящего от меня христианского воина:

— Как могли вы одолеть это несметное полчище?

— Бог помог! — таков был ответ.

— Да чем же? — спрашиваю. — Ведь у вас и оружия-то не было.

— А чем попало! — ответил мне воин.

На этом окончилось мое сновидение.

Эту странную и чудную повесть услышал я сегодня из уст нелживых и облагодатствованных иерея Божия о. Н[ектария], иеромонаха святой Оптиной Пустыни. Сон этот привиделся о. Н[ектари]ю в ночи с 16-го на 17 марта сего 1910 года.

Как разуметь сон этот? Знаменует ли он победу Православной России над богоотступническим міром и продление Божьего благоволения грешной земле, или же он является провозвестником конечного торжества малого стада Христова над последним великим отступлением,

когда уже явится беззаконный антихрист, *егоже Господь Иисус убиет духом уст Своих и упразднит явлением пришествия Своего?*.. Поживем — увидим, если... доживем. Но сон этот неспроста и утешителен как в том, так и в другом смысле.

25 марта

Благовещение

«Врагу» неймется. — Резолюция преосвященного Григория.

По народному поверию сегодня даже и птица гнезда не вьет, так велик сегодняшний праздник. Но врагу рода человеческого неймется и в этот день. Приходил кое-кто из друзей оптинских и с горечью рассказывал о доносе, написанном на нашего авву-архимандрита кем-то из лжебратии. Один из присутствовавших, старожил оптинской, напомнил о подобном же случае, бывшем с восстановителем Тихоновой пустыни, игуменом Моисеем, выходцем и воспитанником оптинским. На него тоже враг-диавол воздвиг было гонение чрез некоторых братий, послушных его внушениям: тоже был написан донос и представлен епископу. Епископом тогда был великий монахолюбец и защитник доброго иночества, владыка Григорий. Вызвал к себе владыка доносчиков.

— Вы, — спрашивает, — это писали?

— Мы.

— А кто вас принимал в обитель?

— Игумен Моисей.

— А не вы его?

— Нет.

— Ну, так вот вам моя резолюция!

Взял и разорвал донос на мелкие клочки.

— Вам же, — продолжал он, — сказываю, что, если кто из вас вздумает еще пикнуть, того я обращу в первобытное состояние и упеку в такие края, куда и Макар телят не гонял. Поняли?

— Поняли.

— А теперь возвращайтесь в монастырь и в соборе при всей братии кланяйтесь в ноги игумену и просите прощения.

Игумена Моисея вслед за доносом владыка возвел в сан архимандрита. Тем дело и кончилось.

Увы! не те теперь времена, не те люди...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Часть II

«Назначение и цель христианского писателя — быть служителем Слова, способствовать раскрытию в Нем заключенной единой истины в ее бесконечно-разнообразных проявлениях в земной жизни христианина и тем вести христианскую душу по пути Православия от жизни временной в жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем».

Такими словами начал С. А. Нилус свою книгу «На берегу Божьей реки», вышедшую в свет полвека тому назад. Эта первая часть дневников его, изданная в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре архиеп. Никоном Вологодским в 1916 г., была написана в Оптиной Пустыни; а вторая, являясь продолжением первой, составленная во время его жизни в Валдае и позднее, после революции, в Полтавщине — ныне впервые появляется в печати. Однако столь долгий промежуток времени между двумя частями ничуть не умаляет силы и значения книги. Наоборот, на фоне свершившегося за эти 50 лет как на Руси, так и во всем міре, издание второй части последней кни-

ги Нилуса является прекрасным завершением всего того, что хотелось сказать любящему православному сердцу автора. Но значение Нилуса этой книгой не исчерпывается полностью. Его надо понять, зная его предыдущие книги, зная кое-что о его жизни, и видеть его в контексте той реальности Святой Руси, о коей он столь красочно свидетельствует, так нежно любит, о судьбе коей столь ясно прозревал и коей так удивительно послужил.

Книги Нилуса, по выражению святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, «чистый алмаз», суть следующие: ***Великое в малом,*** 1903 г.; ***Сила Божия и немощь человеческая,*** 1908 г.; ***Святыня под спудом,*** 1911 г.; ***Близ есть при дверех,*** 1917 г. и небольшая книжка ***Жатва жизни,*** 1909 г., которая, за исключением двух последних отделов, составляет четвертую главу нашего издания ***На берегу Божьей реки.***

В последней, описывая свое жительство в Оптиной, на берегу реки Жиздры, Нилус видит себя рыболовом, закидывающим свои сети в глубину живой воды Божьей реки оптинской и извлекающим оттуда своим неводом встречающиеся в міре проявления духовной жизни и свои встречи с подвижниками духа. Здесь мы встречаем имена праведников, с которыми автор имел личное соприкосновение и испытал на себе силу их духовных дарований, прозорливость и чудотворения. Его записи дышат живыми встречами. В них живо запечатлелась Святая Русь.

Невольно напрашивается сравнение между Нилусом и искателями духовных «алмазов» древних времен, как Палладий, Иоанн Мосх, Руфин, преп. Иоанн Кассиан, которые жили на заре христианства и описывали великих подвижников. Так и на закате христианства Господь явил великих Своих угодников, явил и описателей их, как Поселянин, еп. Никодим Б., Нилус. Но последнему Господь судил не только обогатить русскую агиографическую литературу, но осветить ценность подвига святых в перспективе надвигающегося царства тьмы, теперь уже почти

полностью поглотившего весь христианский міръ. В помощь последним христианам чрез него открылась міру великая ***Беседа преп. Серафима***, а ныне «Дивеевская тайна». Его писания в целом приобретают значение, выходящее из границ времени, и становятся уже достоянием церковного Предания.

Г[леб] П[одмошинский]

День пр. Серафима Саровского
19 июля 1969 г.

«Дар слова,— говорит Святитель Игнатий Брянчанинов,— несомненно принадлежит к великим дарам. Им человек уподобляется Богу, имеющему Свое Слово. Слово человеческое подобно Слову Божию, постоянно пребывает при отце своем и в отце своем — уме, будучи с ним едино и вместе отделяясь от него неотдельно. И слово человеческое ведомо одному уму, из которого оно постоянно рождается и тем выражает существование ума. Существование ума без слова и слова без ума мы не можем себе представить. Когда ум захочет сообщиться уму ближнего, он употребляет для этого свое слово. Слово, чтобы приобрести способность общения, облекается в звуки, или буквы. Тогда невещественное слово становится как бы вещественным, пребывая в сущности своей неизменным. И Слово Божие, чтобы вступить в общение с человеками, вочеловечилось.

При основательном взгляде на слово человеческое делается понятна и причина строгого приговора Господня, которым определено и возвещено, что человеки дадут отчет в каждом праздном слове. Божественная цель слова в писателях, во всех ученых, а паче в пастырях — наставление и спасение человеков. Какой же страшный ответ дадут те, которые обратили слово назидания и спасения в средство развращения и погубления!..»

«Не для всех возможно,— говорит И. В. Киреевский,— не для всех необходимы занятия богословские, не для всех доступно занятие любомудрием, не для всех возможно постоянное и особое упражнение в том внутреннем внимании, которое ощущает и собирает ум к высшему единству, но для всякого возможно и необходимо связать направление своей жизни со своим коренным убеждением веры, согласить с ним главное занятие и каждое особое дело, чтобы каждое действие было выражением одного стремления, каждая мысль искала одного основания, каждый шаг вел к одной цели. Без того жизнь человека не будет иметь никакого смысла, ум его будет счетной машиной, сердце — собранием бездушных струн, в которых свищет случайный ветер, никакое действие не будет иметь нравственного характера и человека не будет. Ибо человек — это его вера».

О том, в чем моя вера, и чему верует, и чем жило и живет мое сердце, — и поведет здесь немудрая речь моя.

Да благословит же Господь Бог Слово немощное моих записок послужить назиданию и спасению, а не развращению и погублению ближнего моего.

I

Глава первая

ОПТИНА

I.

От истоков оптинских, саровских и дивеевских к морю вечности. — Отъезд из Оптиной. — Первое знакомство с Оптиной. — Мой сон и о. Амвросий.

Духов день — праздник Святому Духу в 1912 году пришелся на 14 мая и совпал с днем празднования коронования Императора Николая Александровича. В этот день у лесных ворот ограды нашего благословенного оптинского уединения стояло два парных козельских извозчика, выносили на них последний наш ручной багаж и сами мы в числе четырех душ выходили, со слезами прощаясь едва ли не навеки с духовной нашей родиной, бесценно-дорогой, горячо любимой святой Оптиной Пустынью.

От истоков Божьей реки оптинской утлую ладью нашу повернуло и понесло течением временной жизни к далекому, а может быть, — то в воле Божьей, — и близкому беспредельному простору моря вечности.

Так изволися Богу. Буди воля Его святая благословенна вовеки.

И красен же был денек тот!.. Кто не видел Оптиной в весеннем уборе окружающих ее безмолвие фруктовых садов, могучего ее леса, вековых ее сосен, обрамленных веселой, молодой зеленью клена, осины, липы, рябины, орешника и молодого дубняка, — всей роскоши зеленого шума и звона торжественно-радостного шествия ликующей теплом и светом весны, тому не понять великой скорби нашего сердца, обливавшей слезами заветные могилки великих Оптинских старцев на прощанье с ними, со всей духовной красотой оптинских преданий и с красотой окружающей их природы.

Тако изволися Богу. Слава Богу за все.

И думалось мне тогда, следя задумчиво-печальным взором за убегающей из-под колес нашего экипажа святой землей оптинской, что, прощаясь с нею, прощаюсь я и с тою бездонною глубиною хрустально-чистых вод ее и моей Божьей реки, из чьей серебристо-струйной лазури так часто невод мой извлекал сокровенные в ней сокровища духа, что уже не петь мне Богу моему хвалы, дондеже есмь, что уже не бряцать перстам моим более на десятиструнной моей псалтыри, ибо с последним прощальным поклоном Оптиной иссякнет для меня чистейший источник вдохновений и захлестнет ладью мою и меня зловещая волна житейской мути.

Но не изволися тако Богу: опять я с тобою, дорогой мой читатель, и опять есть у меня что из дел Божиих тебе поведать, а тебе послушать.

Послушай же...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Оптину Пустынь впервые я посетил в июле 1901 года. В мае того года сын мой окончил курс орловской гимназии, и мы с ним решили ознаменовать начало нового этапа его молодой жизни паломничеством по святым местам.

Вскоре после первого посещения Оптиной я, выбрав свободное от хозяйственных забот время (я тогда еще жил и работал в своем имении), вновь поехал в этот великий питомник монашеского духа. Стояла глубокая, глухая осень. Пустынно было и в Оптиной, и в Шамординой и потому особенно хорошо для души, для сосредоточения ее в Боге и молитве, а где же было и молиться, как не в этих пустынных обителях?!

С благословения старца — отца Иосифа, я из Оптиной на время переселился в Шамординский монастырь собирать материалы для задуманного мною жизнеописания великого Оптинского старца о. Амвросия, основателя Шамординской обители. На третий или четвертый день пребывания моего в Шамординой заболели у меня глаза, я не обратил на это внимания, авось пройдет, и весь отдался захватившему меня делу. И вот, набегавшись за день по монашеским кельям и наслушавшись рассказов о недавнем прошлом Шамординой, тесно связанном с памятью о. Амвросия, я, поужинав и попив чайку в гостинице, лег спать и заснул крепчайшим сном. Проснувшись от рези в глазах слишком рано, я под утро вновь забылся легкой дремотой и увидел такой сон: иду я будто по прямой, широкой, мощеной круглым булыжником улице; по обеим ее сторонам проведены канавы, через них перекинуты мостки, и против каждого мостика вдоль всей улицы небольшие деревянные домики под тесовыми крышами, все фасадом в три окошечка на улицу. Между домиками тесовые заборы с воротами и калитками; за заборами дворы и садики — все в одном старинном провинциальном вкусе наших захолустных провинциальных городов. Улице и конца не видно... Иду я по середине улицы и вижу, что вся ее мостовая густо устлана цветами свежевысушенного, зеленого, душистого сена. Иду я и, на каждом шагу нагибаясь, большими охапками собираю эти ароматные цветы, и так цветов этих много, что весь я с головы до ног осыпаюсь ими. Смотрю: у калитки одного

из тех домиков стоит и чего-то, видимо, дожидается небольшая, душ в семь или восемь, кучка народа; среди них примечаю одного из своих старых товарищей по гимназии. Подхожу к нему, чтобы спросить, чего он ждет, и вижу, что калитка внезапно отворяется и из нее выглядывает быстрая фигурка знакомого мне скитского иеродиакона, о. Анатолия, бывшего келейника старца Амвросия. Оглядывая всех нас беглым взглядом и увидев меня, он быстро скороговоркой кликнул меня:

— Нилуса к Батюшке.

И я понял, что «к батюшке» значило к о. Амвросию, и следом пошел за о. Анатолием в калитку, вглубь двора, где виднелся такой же, что и на улицу, дом, только размером побольше. Войдя за о. Анатолием в этот дом, я увидел просторную горницу и в ней сидящего в глубоком кресле старца о. Амвросия. С величайшей радостью кинулся я к ногам его и стал целовать его ноги, обутые в полуботики коричневого мягкого сукна; целую их, а Батюшка, чувствую, положил мне свою руку на голову, гладит ее и приговаривает ласково таково:

— Ишь ты какой! ишь ты какой! ишь ты какой!

При звуках этого любвеобильного, ласкового голоса я проснулся в величайшем умилении, а голос все еще продолжал звучать в ушах моих непередаваемой лаской. Глаза мои загноились, и я с трудом едва мог раскрыть их. Резь усилилась, и начиналось что-то вроде светобоязни. Несмотря на глазную боль, я все-таки пошел к обедне и потом чай пить к игумении. Рассказываю ей под свежим впечатлением, а она мне:

— Вы,— говорит,— видали ли когда-нибудь, какую обувь носил наш Батюшка?

— Нет, и понятия не имею.

— Тогда,— говорит,— пойдемте сейчас в его хибарку, я вам ее покажу.

В одной связи с игуменским корпусом в Шамординой находится и та келья, в которой окончил свои подвижнические, многоболезненные дни о. Амвросий. В келье этой

вся обстановка сохранялась в том виде, в каком она была при его жизни, а в стоявшем там шкапчике за стеклом хранились все его носильные вещи. Матушка открыла шкапчик, достала с полки суконные ботики Старца: они были те самые, которые я целовал в утреннем сновидении, те самые до мельчайших подробностей, не исключая и цвета сукна, из которого они были сделаны... В изумленном благоговении я поцеловал их и приложил к больным глазам. Тут же в келье стоял кувшин с рудневской[1] водой; ею игуменья предложила мне омыть глаза и отереть тут же висевшим батюшкиным полотенцем, — и болезни моей как не бывало: ее рудневская вода в полном смысле слова смыла, как грязь какую.

Можно себе представить, в каком я был тогда состоянии!..

Сон этот, как оказалось впоследствии, предзнаменовал собою и предопределил всю мою последующую деятельность по собиранию цветов с духовного луга иноческого жития на Руси Святой, но, увы, уже не живых цветов, и не с цветущего луга, а из сена, хотя еще душистого, но уже убранного с луга жизни и выбрасываемого на попрание на бездушный, холодный камень улицы.

О Русь моя Святая! где ты? откликнись, отзовись!

Главы вторая и третья

СМЕРТНИК ИЛАРИОН

I.

Смертник Иларион

Одним из дел тюремного благотворения, которым с такою любовью отдавалась душа Елены Андреевны, было чтение арестантам слова Божия и всего, что могла дать духовная и светская литература полезного для души в

[1] Руднево — хутор Шамординского монастыря, куда иногда любил уединяться о. Амвросий. Там по его указанию был ископан колодезь, вода которого почитается целебной

незаглохшем еще стремлении ее к высокому при свете Христовой веры и учения Православной Церкви.

— Приехала я раз,— сказывала нам Елена Андреевна, — в тюремную больницу в Крестах[1], привезла с собою книжечки и нательные крестики, чтобы надеть их на тех арестантов, у кого их не было и кто бы от них не отказался. Меня там хорошо уже знали, и я всех знала; отношения у нас были дружелюбные, доверчивые. Трудно это с арестантами, но так уже Бог помог за молитвы старцев... Вхожу, поздоровались. Сажусь беседовать и читать и вижу: на больничной койке лежит новый, незнакомый мне арестант, больной и в кандалах, стало быть особо важный преступник — лицо суровое, мрачное, но интеллигентное... Окинул он меня неприязненным взглядом и тотчас отвернулся лицом к стене. Лицо его и весь его вид, особенно же кандалы на больном — все это произвело на меня сильное впечатление...

О чем вела я тогда беседу, что читала, того теперь не помню, помню только что Бог помог и все было хорошо.

После беседы я увидела, что привлекший мое внимание арестант уже не к стене лежит, а смотрит в мою сторону, и лицо его показалось мне менее сумрачно-враждебным.. Стала я раздавать крестики: просит тот, просит этот—все просят, крестов ни у кого из арестантов не оказалось. Подошла я и к этому арестанту, несмело подаю ему и хочу надеть на него крестик, а сама думаю: вот отвернется или что грубо-кощунственное скажет! а сама сердцем за него молюсь. Не отвернулся, но ничего не сказал, и я ему надела крестик на шею...

Прошло сколько-то времени. Приезжаю опять туда же. Того арестанта, смотрю, нет. Спрашиваю: где он? Отвечают, что его перевели в одиночную, что был над ним суд и его за политические преступления и за убийство пяти человек осудили на смертную казнь.

---

[1] Известная пересыльная тюрьма Петербурга, на Петербургской стороне.

«Уходя,— говорят мне,— велел вам сказать, что крестика вашего с себя не снял, и просил, не можете ли вы похлопотать, чтобы вам разрешили с ним свидание: он очень бы хотел вас перед смертью видеть!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Страшно на меня подействовало это сообщение, и я решила, с Божьей помощью, как бы ни было это трудно, добиться с ним свидания.

Разрешение это было дано, и тут я узнала, что имя ему Иларион, что его долго разыскивали и что он наконец был захвачен на квартире своей родной сестры, где, при аресте его полицией и жандармами, стрелял и, попав в живот своей беременной сестры, убил в ней ребенка. Это и было его пятым убийством. Словом, из всего было видно, что он был тяжкий преступник, что смертная казнь была для него вполне заслуженным наказанием, и тем не менее сердце мое влеклось к нему, чая и в его душе увидеть восстановление образа Божия.

Когда меня ввели в одиночную камеру, где заключен был Иларион, то вслед за мною захлопнули и заперли на замок входную дверь, оставив меня с ним с глазу на глаз. В первое мгновение мне стало страшно, и я едва не раскаялась, что пошла на это свидание. Осмотрелась и вижу, что Иларион, скованный по ногам и при входе моем лежавший на койке, начал вставать и уже спускает ноги, лязгая кандалами... Жутко мне стало...

«Спасибо, что пришли! — услышала я его голос, — а я боялся, что не придете. Спасибо! Я ведь креста вашего не снял: вам передавали это?»

«Передали!»

«Спасибо и им! Вы уже, вероятно, знаете, что я присужден к смертной казни и дни мои сочтены. Скажите,— вы ведь все так хорошо тогда там, в больнице, толковали — не растолкуете ли мне, что означает сон, который здесь я видел? Вижу я, что я где-то в каком-то чрезвы-

чайно грязном месте — не то в болоте, не то еще где-то того хуже — и весь я измарался, ни одного не осталось у меня места на теле не грязного, только ноги мои остались белы. Что бы это значило? Не понимаю, но чувствую, что сон этот к чему-то: такое уж он сильное по себе оставил впечатление. Не растолкуете ли вы мне его?»

И почувствовала я, что в разрешении этого вопроса заключено нечто чрезвычайно важное для души Илариона и от правильности его толкования не по своему человеческому ограниченному пониманию, а по внушению свыше, зависит, быть может даже крупный поворот этой озлобленной и грешной души от тьмы к свету, от диавола к Богу. Так же мгновенно, как в голове у меня мелькнула эта мысль, сердце мое с молитвой о вразумлении обратилось к Богу...

«Я думаю, Иларион,— ответила ему я,— что сон этот дарован вам свыше, чтобы показать вам, что как бы вы ни были грешны перед Богом и людьми, но и для вас есть милосердие Божие, при условии, однако, уже начавшегося вашего к Нему покаянного обращения: вы ведь не сняли с себя данного вам креста. На ногах ваших, даже во время вашей болезни, лежали железа оков, причиняя вам тяжкое страдание, и вот ноги ваши, как очищенные страданием, и показаны вам были белыми. Не назначена ли вам свыше смертная казнь и ее муки в конечное очищение, как крест благоразумному разбойнику, чтобы и вам с ним вместе быть в раю? Скажите только тоже с ним вместе то, что и он — сперва: «Я осужден справедливо, потому что достойное по делам моим приемлю», а потом: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем!»

Говорю я ему это, а сама едва удерживаю рыдание к горлу подступившего неизъяснимого сердечного умиления, почти восторга. Взглянула на Илариона, а у него по бледным щекам тихо скатываются две слезинки, как две крупные жемчужины... Он склонил голову и на мгновение молча задумался.

«Вы правы,— промолвил он,— мне надо пострадать, надо искупить все зло, что я наделал. Спасибо вам: вы великое для меня дело сделали — вы новый мір для меня открыли. Жить мне теперь не для чего на земле, а что осталось в моем распоряжении от жизни, то надо отдать на крест последнего предсмертного страдания. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

— Вы, конечно, поймете — обратилась ко мне и к жене Елена Андреевна,— что тут произошло в моем сердце. Я могла бы через митрополита Антония ходатайствовать о помиловании Илариона, о замене ему смертной казни другим наказанием, но у меня в то время даже и помысла о том не явилось: так сильно было действие внушения свыше о великой тайне искупления души временным страданием тела ради вечного ее блаженства, что язык не повернулся бы сказать об этом Илариону.

А он тем временем продолжал: «Я не подам теперь обычного в моем случае прошения о помиловании. Попросите ко мне тюремного священника: мне надо очистить душу покаянием и принять, если буду удостоен, Святые Таины — только бы удостоил Господь!.. И еще к вам последние две просьбы: первая —молитесь за меня! а вторая — есть у меня невеста. Она не знает ни моего настоящего имени, ни моего преступного прошлого. Я бы хотел ее видеть перед смертью и попросить прощения за все зло, что причинил ей и своей любовью и своими делами. Не откажите же в этих последних просьбах умирающему!»

— На этом мы обнялись оба в слезах с Иларионом и простились навеки, до встречи в вечности. Прошу и вас обоих, — обратилась к нам Елена Андреевна, — молиться за душу раба Божия, на кресте покаявшегося благоразумного разбойника, Илариона.

— Что же сталось с его невестой? — спросили мы, — видели вы ее?

— Видела. Обыкновенная простая девушка. Я ее нашла и передала ей последние желание того, кто считал

себя ее женихом, и вручила ей разрешение на свидание с ним. Они, я знаю, виделись, но, судя по тому впечатлению, которое она произвела на меня после свидания,— я ее тогда видела,— я не думаю, чтобы ее озлобленное сердце могло бы когда-либо простить осуждение Илариона осудившим его. Она мне показалась страшной в своей окаменелой ненависти. Спаси ее, Господи!

По слову Елены Андреевны, мы с женой поминаем на молитве о упокоении раба Божия Илариона.

Помяни его и ты, дорогой мой читатель!

II.

Княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова и прозорливость старца о. Варсонофия

Елена Андреевна, как уже было сказано выше, была помощницей княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, тоже рабы Божией, какой не часто можно встретить на этом свете. Родная сестра бывшего наместника Кавказа, она и по происхождению своему, и по связям принадлежала к высшему обществу и, несмотря на это, оставила «вся красная міра» во имя любви к Богу и ближнему. Замуж она не пошла и всю себя отдала на служение страдающему меньшому брату. В родовом дондуковском имении она устроила лечебницу для сифилитиков, в которую преимущественно принимались так называемые «жертвы общественного темперамента». Забывая себя, врожденную брезгливость, эта чистая, сострадательная душа сама обмывала им отвратительные гнойные раны, делала перевязки, не гнушаясь никакой черной работы около этих несчастных страдалиц. Она же стояла и во главе Петербургского благотворительного тюремного комитета. Живя всем существом своим только для других, она о себе настолько забывала, что одевалась чуть не в рубище и часто бывала жертвой паразитов, которыми заражалась в местах своего благотворе-

ния. К сожалению, вращаясь с молодых лет в обществе, где проповедовали свои и заморские учителя, вроде Редстока, Пашкова и других, она заразилась иргвинизмом, сектой крайнего реформатского толка, отрицающей веру в угодников Божиих и даже в Пресвятую Богородицу. Это очень огорчало православно-верующую душу Елены Андреевны, но что ни предпринимала она для обращения княжны в православие, ничто успеха не имело, потому главным образом, что сама княжна, несмотря на чисто сектантские свои суждения о вере, сама себя считала вполне православной, ходила в церковь, говела и причащалась... Одно близкое к ней лицо, узнав, что она приступила к Святым Таинам, и зная ее заблуждения, спросило ее:

— А исповедовали ли вы, Мария Михайловна, свое заблуждение?

— Какое?

— Да что вы — иргвинистка.

— Да я этого, — ответила княжна, — и за грех не считаю.

Конечно, при таком образе мыслей, мудрено было Елене Андреевне действовать на княжну словом убеждения, и пришлось ее любви обратиться к иному способу воздействия — к помощи свыше.

Приехала она как-то в Оптину к своему старцу о. Варсонофию и к нам и рассказывает, что, уезжая из Петербурга, она оставила княжну опасно больною, с сильнейшем воспалением легких, — а шел княжне тогда уже восьмой десяток.

— Прощаюсь с ней,— говорит,— и думаю, что не застану ее больше в живых!

Отцу Варсонофию Елена Андреевна и раньше говорила о своей скорби, что не может вдохнуть в святую душу княжны разумения ее заблуждения и потому боится за ее участь в загробном міре. Отец Варсонофий обещал за нее молиться.

В этот свой приезд Елена Андреевна, рассказав о том, в каком ныне состоянии оставила она княжну в Петербурге, усиленно просила Старца усугубить за нее молитвы.

Перед отъездом из Оптиной обратно в Петербург приходит Елена Андреевна прощаться с о. Варсонофием и принять его благословение на путь, а батюшка выносит ей в приемную из своей кельи и подает икону Божией Матери и говорит:

— Отвезите эту икону от меня в благословение княжне Марии Михайловне и скажите ей, что я сегодня, как раз перед вашим приходом пред этой иконой помолился о даровании ей душевного и телесного здравия.

Было же это около десяти часов утра.

— Да застану ли я ее еще в живых? — возразила Елена Андреевна.

— Бог даст, — ответил о. Варсонофий, — за молитвы Царицы Небесной не только живой, но и здоровой застанете.

Вернулась Елена Андреевна в Петербург и первым долгом к княжне. Звонит. Дверь отворяется, и в ней княжна: сама и дверь отворила, веселая, бодрая и как не болевшая.

— Да вы ли это? — глазам своим не веря воскликнула Елена Андреевна. — Кто же это воскресил вас?

— Вы,— говорит,— уехали, мне совсем плохо было, а там все хуже, и вдруг, третьего дня, около десяти часов утра, мне ни с того ни с сего стало сразу лучше, а сегодня, как видите, и совсем здорова.

— В котором часу, говорите вы, это чудо случилось?

— В десятом часу третьего дня.

Это был день и час, когда о. Варсонофий молился пред иконой Божией Матери, присланной княжне в благословение.

Со слезами восторженного умиления Елена Андреевна сообщила княжне бывшее и передала ей икону Царицы Небесной. Та молча приняла икону, перекрес-

тилась, приложилась к Ней и тут же повесила ее у самой своей постели. С того дня Елене Андреевне уже не было нужды обращать княжну в Православие: с верою в Пречистую и угодников Божиих дожила княжна свой век и вскоре отошла ко Господу. Жила и умерла по-православному.

III.

Елена Андреевна Воронова. — Ее исцеление.

У Елены Андреевны, при общем слабом состоянии здоровья, было очень слабое зрение: один глаз совсем не видел, и лучшие столичные окулисты ей говорили, что не только этому глазу уже никогда не вернуть зрения, но что и другому глазу угрожает та же опасность. И бедная Елена Андреевна с ужасом стала замечать, что и здоровый ее глаз тоже начал видеть все хуже и хуже...

Стоял лютый февраль, помнится, 1911 года. Приезжает в Оптину Елена Андреевна, слабенькая, чуть живая.

— Что это с вами, дорогой друг?

— Умирать к вам приехала в Оптину, — отвечает полусерьезно, полушутя всегда и при всех случаях жизни жизнерадостный друг наш, и тут же нам рассказала, что только что перенесла жестокий плеврит (это с ее-то больными легкими!).

— Но это все пустяки! А вот нелады с глазами — это будет похуже. Боюсь ослепнуть. Ну да на все воля Божия!

На дворе снежные бури, морозы градусов в пятнадцать — Сретенские морозы, а приехала она в легком, не то ваточном, не то «на рыбьем меху» пальтишке, даже без теплого платка; в руках старенькая, когда-то каракулевая муфточка, на голове такая же шапочка — все ветерком подбито... Мы с женой с выговором, а она улыбается:

— А Бог-то на что? никто как Бог!

Пожила дня три-четыре в Оптиной, отговелась, причастилась, пособоровалась. Уезжает, прощается с нами и говорит:

— А наш батюшка (о. Варсонофий) благословил мне по пути заехать в Тихонову пустынь и там искупаться в источнике преподобного Тихона Калужского.[1]

Если бы не знали великого дерзновения крепкой веры Елены Андреевны, было бы с чего прийти в ужас, да к тому же и Оптина от своего духа успела нас многому научить, и потому мы без всякого протеста перекрестили друг друга, расцеловались, распрощались, прося помянуть нас у преп. Тихона.

Вскоре после отъезда Елены Андреевны получаем от нее письмо из Петербурга, пишет:

«Дивен Бог наш и велика наша Православная вера!

За молитвы нашего Батюшки — отца Варсонофия,— я купалась в источнике преподобного Тихона при 10 гр. Реомюра в купальне. Когда надевала белье, оно от мороза стояло колом, как туго накрахмаленное. Двенадцать верст от источника до станции железной дороги я ехала на извозчике в той же шубке, в которой вы меня видели. Волосы мои, мокрые от купания, превратились в ледяные сосульки. Насилу оттаяла я в теплом вокзале и в вагоне — и даже ни насморка! От плеврита не осталось и следа. Но что воистину чудо великое милости Божией и угодника преп. Тихона, это то, что не только выздоровел мой заболевший глаз, но и другой, давно погибший, прозрел, и я теперь прекрасно вижу обоими глазами...»

Такова была наша Елена Андреевна. Такова была ее чудотворная вера.

IV.

Блаженная кончина Е. А. Вороновой. — Неизреченный Огнь.

Пришла наконец пора умирать и нашей дорогой праведнице. Месяца за три или четыре до ее праведной кончины мы с женой были в Петербурге и, конечно, у нее на

[1] Тихонова пустынь Калужской епархии. Славится чудотворным источником, подобным источнику преп. Серафима Саровского.

Подрезовой улице Петербургской Стороны. Елена Андреевна уже была больна: к ее коренной болезни легких присоединилась грудная жаба, и наша дорогая больная по временам задыхалась и тяжко страдала. Но когда приступы болезни утихали, она была все та же любвеобильная, жизнерадостная и духом бодрая Елена Андреевна, какою ее знали и любили все ее почитатели; только от всех ее «послушаний», как она называла, между прочим, и дела своего тюремного благотворения, ей пришлось уже окончательно отступиться, передав их другим близким ей лицам.

В Петербурге мы прожили недолго и с великой грустью распростились с дорогим нашим другом, сердцем предчувствуя, что прощание это навеки, до встречи на небесах, если удостоит Бог... Было это поздней осенью, а следующей весной она уже отошла в селения праведных к прежде нее отошедшим старцам ее Мефодию Псковскому и Варсонофию Оптинскому.

С начала Великого поста Елена Андреевна стала себя чувствовать очень плохо, припадки грудной жабы усилились и участились до того, что бедный друг наш, несмотря на все свое ангельское терпение, вынуждена была громко стонать и жаловаться Богу на нестерпимые муки. Стонет она в своих невыразимых страданиях и все причитывает:

— Господи, прости меня! Тяжело мне, Господи! Но я не ропщу, не ропщу я, Господи, пошли мне, нетерпеливой, терпения!

И в таких муках она неисходно пребывала от первой недели Великого поста до Великого Понедельника Страстной седмицы. В этот день, после особенно тяжелого припадка, она вся точно просветлела и говорит подруге всей своей зрелой жизни, с которой под одной кровлей скоротала не менее, если не более, тридцати лет:

— Соня! я умру в Великую Пятницу.

— Что ты, что ты — с чего ты это взяла? Ты еще, Бог милостив, скоро поправишься, и мы с тобой в Крым поедем.

— Нет, Соня, в Великую Пятницу я умру непременно.

— Откуда ты это знаешь?

— Мне это Сам Господь сказал: я Его видела. Он явился мне и сказал: «У тебя доброе сердце, так потерпи до пятницы: в день Моего распятия умрешь и ты.»

Подруга Елены Андреевны, София Ивановна Разумная, спросила, не веря слуху своему:

— Как же ты видела Господа?

— Это рассказать и объяснить невозможно: это выше человеческого разумения.

Как сказала, так в Великую Пятницу и умерла. В день крестных страданий Своих и смерти крестной Господь по обещанию Своему взял нашу праведницу в Свои вечные обители, страдания ее приняв как искупительную жертву за те преступные души, которые ее доброму и великодушному сердцу обязаны были своим покаянием и спасением.

— У тебя доброе сердце: потерпи до пятницы.

Она и претерпела... до конца... «Претерпевший до конца, той спасется». Спасая ближнего, — а ближнего она умела находить даже на самом дне человеческого греха и злобы, — она спасала и его и себя и удостоилась чести в страданиях и смерти своего Спасителя и Господа и, стало быть, в Его Воскресении.

Это ли не венец мученичества? Это ли не венец правды Божией!..

И какое для нас счастье, что мы не только были знакомы с этим земным Ангелом, но и считались ею в числе ее ближайших друзей!

За венец терпения ее и любви, помилуй, спаси нас, всещедрый и человеколюбивый Господи!.

Она страдала до двенадцати часов ночи Великой Пятницы, когда страдания ее прекратились. Она затихла, стала ровнее дышать; попросила все свои святыни. Положили ей крест на грудь. Она сама, своей рукой, закрыла себе глаза и больше их не открывала и тихо опочила. Была

она все время в памяти, обо всем подумала и даже извещение о своей смерти за три дня написала. Почерк был твердый и ясный... После ее кончины пришел пристав, и, кроме носильного платья, ничего не нашлось. Скончалась она 8 апреля 1916 года.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В Летописи Серафимо-Дивеевского женского монастыря есть одно чрезвычайно трогательное и важное сказание о праведной кончине Елены Васильевны Мантуровой, сестры великого мирского послушника преподобного Серафима, Михаила Васильевича Мантурова. Вот что сообщается в этом сказании.

«Трое суток до смерти Елена Васильевна была постоянно окружена видениями и для непонимающих людей могло казаться, что она в забытьи.

— Ксения! Гости будут у нас! — вдруг произнесла она, — смотри же, чтобы у нас все было здесь чисто.

— Да кто же будет-то, матушка? — спросила Ксения, ее крепостная бывшая слуга и послушница.

— Кто?! Митрополиты, архиереи и весь духовный причт.

В день смерти Елена Васильевна опять говорила:

— Ксения! Не накрыть ли стол-то? Ведь скоро гости будут...

Умирающая была окружена образами. Вдруг, вся изменившись в лице, радостно воскликнула:

— Святая Игумения! Матушка! Обитель-то нашу не оставь!

Долго, долго со слезами молилась умирающая и все об обители, но много, но не связно говорила она, а затем совершенно затихла. Немного погодя, как бы очнувшись, она позвала Ксению, говоря:

— Грядет, грядет!.. Вот и Ангелы, вот и мне венец, и сестрам венцы.

Видя и слыша все это, Ксения Васильевна в страхе воскликнула:

— Матушка! Ведь вы отходите: я пошлю за батюшкой!

— Нет, Ксенюша, погодите еще! — сказала Елена Васильевна, — я тогда сама скажу вам.

Много времени спустя она послала за о. Василием Садовским, особоровалась и причастилась Святых Христовых Таин...

По уходе о. Василия, Ксения, видя, что Елена Васильевна вдруг вся просветилась и отходит, испуганно к ней бросилась и стала молить ее:

— Матушка!.. тогда... нынче ночью-то я не посмела тревожить и спросить вас, а вот, вы теперь отходите... скажите мне, матушка, Господа ради, скажите: вы видели Господа!

— Б-о-г-а ч-е-л-о-в-е-к-а-м невозможно видети: на Него же не смеют чини ангельские взирати! — тихо и сладостно запела Елена Васильевна. Но Ксения продолжала молить, настаивать и плакать. Тогда Елена Васильевна сказала:

— Видела, Ксения! — И лицо ее сделалось восторженное, чудное, ясное... — Видела — как Неизреченный Огнь, а Царицу Небесную и Ангелов видела просто.[1]

«Видела — как Неизреченный Огнь!» Как это изъяснить человеческим языком? Недаром наш дорогой почивший друг Елена Андреевна на подобный же вопрос своей «Ксении» ответила:

— Это выше человеческого разумения!

А современное человеческое безумие вопит: «Нет Бога! Кто Его видел?..»

На это оно и безумие.

---

[1] Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Издание второе СПб, 1903. С. 419–423.

Глава четвертая

ЖАТВА ЖИЗНИ. ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ

Из личных воспоминаний и свидетельств истинных.

В чем застану, в том и сужу.

К читателю

В бедах и скорбях, тесным кольцом великой тяжести сдавивших со всех сторон твое странствование по путям и распутиям жизни, столь осложнившейся в последнее время, задумывался ли ты когда-нибудь, читатель, о конечной и для всех живущих на земле единственно общей цели всех земных трудов и усилий, всех горестей и радостей, надежд, любви и ненависти, добра и зла — всего, словом, того, из чего сплетается терновый венец твоей жизни? Да полно, знаешь ли ты даже, что это за цель такая? А если и знаешь, то помнишь ли о ней с той вдумчивостью, какой она по важности своей заслуживает?

Не думаю. Так позволь же мне, читатель мой и брат мой о Христе, напомнить тебе, кто бы ни был ты, — народов ли повелитель иль нищий бездомный, — что для жизни твоей нет иной цели, как смерть, как приготовление к смерти.

О слово и дело, великое и страшное! И как мало на свете людей, кто бы о нем думал!

«Помни час смертный и вовек не согрешишь», — взывает к нам Святая наша мать-Церковь. «Вовек не согрешишь!» — Слышишь ли, что говорит она? Забыли мы об этом для всех неизбежном часе и во что же грехами своими обратили мы теперь весь окружающий нас мір? Забыли думать о смерти; но она не забыла о нас и с силой ужасающей все больше и яростнее, день ото дня, час от часу все безжалостнее, вырывает она из рядов живых свои намеченные жертвы: война, голод, болезни, землетрясения, страшные и внезапные наводнения; обществен-

ные и семейные раздоры, доходящие до кровопролитий, в которых сыновья поднимают руку на отцов и матерей, брат на брата, мужья на жен, жены на мужей; междоусобная брань, в которой общественные отбросы и увлеченная богоборным учением обезумевшая молодежь наша в безумном ослеплении восстают на власть предержащую и на всех, кто живет по заповедям Божиим, а не по стихиям міра. Льется кровь потоками, и коса смерти пожинает такую обильную жатву, что сердце стынет от холодного ужаса. Наступают, по-видимому, времена, о которых верные христиане предупреждены грозным словом Св. Писания, что «до узд конских будет кровь тогда» и «если бы не сократились дни те ради избранных, то не было бы спасения никакой плоти». И тем не менее видят все это люди, видят все ужасы смерти и мало кто думает о смерти; как будто временно остающиеся в живых одни они имеют какой-то им одним известный залог вечной жизни на земле и только те, которые умирали, предназначены к смерти.

Нет, друг мой читатель, и тебе, и мне, и всему живущему на земле определено «единою умрети, а затем — Суд». Не обманывает тебя Богом в тебя заложенное предчувствие вечной жизни: она тебе дана, но только по смерти, как семени, которое «аще не умрет, не оживет». Весь вопрос заключен в том: как умереть и как ожить? Умереть ли для вечной жизни в грехе и в муке греха или же для нескончаемой радости в блаженстве для правды, в вечном созерцании Источника всякой правды Отца светов, Бога Истинного?..

«В чем застану, в том и сужу...»

Люта смерть грешников... Страшно грешнику впасть в руце Бога Живаго в том вожделенном міре, идеже лица Святых и праведницы сияют, яко светила!.. Не войдет туда ничто от скверны плоти и духа.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

И слышится мне в тиши моего уединения, как враг-диавол нашептывает внимающему речам моим:

— Не слушай его! Иди вслед за образованным міром, который уже давно на основании науки и разума отверг все эти басни отжившего свой век христианства. Что имело смысл для младенчествовавшего и темного человечества, то «сознательным» человеком рассеяно, как дым суеверия и невежества. Из рук своекорыстных жрецов алтаря вырвана теперь власть морочить людей угрозой вечной жизни по смерти в вечных муках, предназначенной будто бы для тех, которые рабски не следуют в этой жизни их правилам. Смотри, даже простой народ и тот уже понял, что он был окован в своей свободе, в свободном своем достоинстве человека, путами жреческой морали, на которой столько веков строилось рабство и угнетение личности во имя какой-то вечности в блаженстве, которой не видал никто, а все видели тиранию немногих над всеми, благополучие и довольство единиц, основанное на нищете, труде и горе миллионов. Довольно сказок о Царстве Небесном; нам подай по праву принадлежащее каждому царство земное!

Знакомые лукавые речи! Кто только не слыхивал их на своем веку и не только извне, но и в тайниках глубинных своего сердца!.. Но не прельщайся ими, читатель, — они обманут тебя, как обманули и погубили уже многих, — а последуй-ка лучше за мной в ту область, которая зовется міром своего и чужого опыта в духовной жизни, в мір наблюдений и воспоминаний как лично своих, так и тех людей, которые в той области тоже кое-что видели и наблюдали. Ведь и это тоже наука; но редко кто знает и хочет знать эту науку. Пойдем же, заглянем туда, где над нашим с тобой братом, русским человеком, таким же как ты и я, уже пронеслось грозное дыхание смерти, где бесшумно, но таинственно и важно совершилось величайшее таинство перехода от жизни временной в жизнь вечную.

Пойдем же за мной туда, пока мы еще с тобою живы, пойдем хоть из простого любопытства!..

I.

Праведная кончина инока

Передо мной лежит письмо, простое частное письмо от лица к лицу. Давнишнее уже письмо это, и время наложило на него печать разрушения: поблекли и пожелтели листы почтовой бумаги, повыцвели чернила; только любовь, которая его диктовала, все так же свежа, все так же благоухает, и время не имело власти над нею. Я знаю этих лиц, хотя они уже ушли из этого міра, и я на его распутиях не встречался с ними; но я знаю их по рассказам о них от близких им по духу, по общности нашей с ними веры и любви, по вере и любви к тем обетованиям, в которые веровали они и в которые всем сердцем верю и я: они близки и дороги мне, эти лица, как воплощение чистейшего идеала и величия духа простых сердцем русских людей, былых строителей великой моей Родины.

Пишет духовник Киево-Печерской Лавры иеромонах Антоний к именитому курскому купцу Федору Ивановичу Антимонову о последних днях жизни родного брата Федора Ивановича, еклесиарха Великой церкви архимандрита Мелетия[1]. Прочти его со мною вместе, мой дорогой читатель!

«Достопочтеннейший Федор Иванович! Сообщаю вам Божие благословение как поручение вашего любезного брата и моего духовного друга, отца Мелетия, вам и всему вашему потомству и всем родственникам вашим. Испросил я его у брата вашего от лица всех вас за восемь часов до блаженной его кончины, последовавшей 1865 года октября 17-го, пополуночи в пять тридцать утра.

Последняя телеграмма передала вам роковую сию весть, столь близкую вашему сердцу. Я обещал писать вам подробно, но доселе замедлил. Причины замедления заключаются в том, что мне пришлось исполнить весь долг

[1] В міру — Михаил Иванович Антимонов. Начало монашеству он положил в Предтеченском скиту Оптиной Пустыни.

христианский в отношении дорогого усопшего: уход за ним во все время его предсмертной болезни, напутствие его к смерти, погребение и, наконец, шестинедельное по душе его служение Божественной литургии — все это лежало на моей обязанности. И теперь еще, до исполнения сорока дней со дня его кончины, я не свободен, так как ежедневно совершаю службу в Великой церкви за упокой души дорогого почившего. Поэтому не взыщите за недостаточную связность изложения — пишу вам урывками.

Велик и важен предмет, о котором я пишу вам и о котором я ежедневно сообщал отцу Исаакию[1], ибо что может быть важнее для христианского сердца праведнической, безболезненной кончины христианина? А этим праведником и был покойный брат ваш.

3 октября, т. е. в воскресение, брат ваш служил в Великой церкви; служил с ним и я. Не могу вам объяснить того чувства, которое я испытывал при виде его, воздвигающим во время Херувимской песни руки свои горе: он представился мне тогда, несмотря на то что ничто не предуказывало его близкой кончины, праведнейшим мертвецом; именно — мертвецом, а не живым и священнодействующим Божиим иереем. Но тогда на это впечатление моей души я не обратил должного внимания, а между тем это прозрение сердца через две недели осуществилось на самом деле.

Во вторник брат ваш служил соборную панихиду. Во время вечерни он в сухожилиях под коленями внезапно почувствовал боль. Боль эта продолжалась всю ночь по возвращении его в келью, а поутру она уже мешала ему свободно ходить; поэтому в среду у утрени он не был. Днем, в среду, он почувствовал упадок сил, особенно в руках и ногах; аппетит пропал и уже не вернулся к нему до самой его кончины.

В четверг был легкий озноб. Чтобы согреться, он, по обычаю своему, лег на печку, после чего у него сделался легкий внутренний жар. Все это время мы с ним не ви-

[1] Родной брат о. Мелетия, настоятель Оптиной Пустыни.

дались: я страдал от зубной боли, а он не придавал значения своему нездоровью, полагая его простым, не опасным недомоганием, и потому не давал мне знать. Только в пятницу вечером я узнал о его немощи.

Когда в субботу утром я увидал его лежащим на постели, то он вновь мне представился тем же мертвецом, каким он мне показался во время Богослужения. С этой минуты я уже не мог разубедить себя в том, что он не жилец уже более на этом свете.

В этот день прибегли к лекарственным средствам, чтобы вызвать в больном испарину; но он, вероятно, чувствуя, что это для него бесполезно, видимо, принуждал себя принимать лекарство только для того, чтобы снять с окружающих нарекание в недостатке заботливости. С этого времени он слег окончательно, пищи не принимал, и даже позыв к питью в нем сокращался, как и самые дни его.

В понедельник над ним совершено было Таинство Елеосвящения, Святых же Таин его приобщали ежедневно. Во вторник ему предложили составить духовное завещание, на что он и согласился, чтобы заградить уста, склонные к кривотолкам. Затем ему было предложено раздать все оставляемое по завещанию имущество своими руками.

— А если я выздоровлю,— возразил он,— тогда я вновь, что ли, должен всем заводиться?

Я ему сказал:

— Тем лучше, что мы всю ветошь спустим; а что вам потребуется, то выберете в моей келье, как свою собственность.

— Когда так, — сказал он, — тогда делайте распоряжение, какое вам угодно...»

Со вторника истощение сил стало в нем быстро усиливаться. В среду я доложил о ходе его болезни митрополиту. Владыка посоветовал призвать главного врача. Я сказал об этом больному.

— Когда по благословению владыки, — сказал он, — то делать нечего — приглашайте!

В четверг его тщательно осматривал врач и дал заключение, обычное докторской манере: и да и нет — и может выздороветь, и может умереть.

В пятницу больной после причащения Святых Таин подписал духовное завещание и тогда же потребовал проститься со всеми своими сотрудниками и дать каждому из них на память и благословение какую-нибудь вещь из своих келейных пожитков. Я приказал собрать около кровати больного все вещи, предназначенные для раздачи, и сам, кроме того, принес из своей кельи сотни три финифтяных образков. И когда стали допускать к нему прощаться, то прощание это имело вид, как будто отец какого-то великого семейства прощался со своими детьми. Этот вечер вся братия лаврская, каждый спешил проститься с ним и принять его благословение. Я стоял на коленях у изголовья больного и подавал ему каждую вещь в руку, а он отдавал ее приходящему. Уже более часу продолжалось это прощание, и я было потребовал его прекратить, чтобы не утомить больного.

— Нет,— возразил он,— пусть идут! Это — пир, посланный мне милостью Бога.

Только ночь прекратила этот «пир», и он им нисколько не утомился. Глубокою ночью он обеспокоился о нашем спокойствии и настоял, чтобы мы шли отдыхать...

Возвратясь в келью, я получил от вас депешу, с которою в ту же минуту прошел к больному и сказал ему, что я об угрожающей его жизни опасности известил вас, а о. Исаакию каждый день сообщаю о ходе его болезни. Он тут много говорил со мною и благодарил меня за содействие к приготовлению его к вечности. Под конец он спросил меня:

— А знаешь ты Власову, монахиню в Борисовке?

— А что?

— Да вот, эту фольгову икону перешли ей. Ее имя — Агния. Этой иконой меня благословила ее тетка, когда я ехал в Оптину Пустынь, решившись там остаться. Икону эту я всю жизнь имел как дар Божий.

— Приказывайте, батюшка,— сказал я,— все, что вам угодно — исполню все так, как бы вы сами.

— Да пока — только!

— А что чувствуете вы теперь? — спросил я.

— Да мне хорошо.

— Может быть, страх смерти?

— Да и того нет! Я даже удивляюсь, что я хладнокровно отношусь к смерти, тогда как я уверен, что смерть грешников люта; а я и болезни-то ровно никакой не ощущаю: просто, хоть бы у меня что-нибудь да болело, и того не чувствую; а только вижу, что силы и жизнь сокращаются... Впрочем, может быть, неделю еще проживу...

Я улыбнулся. Он это заметил.

— О, и того, видно, нет?.. Ну, буди воля Божия!.. А скажите мне откровенно, как вы меня видите по вашим наблюдениям?

— Я уже сказал вам третьего дня, что вы на жизнь не рассчитывайте: ее теперь очень мало видится.

— Я вам вполне верю. Но вот досадно, что во мне рождается к сему прекословие... Впрочем, идите же отдыхайте! — вы еще не спали.

— Хоть мне и не хочется с вами расстаться, но надо пойти готовить телеграмму Федору Ивановичу.

— Что ж вы ему будете передавать?

— Да я все же его буду ожидать, хоть к похоронам вашим: все бы он облегчил мне этот труд, если бы он застал вас еще в живых и принял бы ваше благословение.

И много, много мы еще говорили, особенно же о том, чтобы расходы на похороны были умеренны.

— Да вы знаете, — сказал я, — что я и сам не охотник до излишеств; а уже что необходимо, того из порядка не выкинешь.

— Да, — ответил он,— и то — правда!.. Ну, идите же, отдохните!

Я поправил ему постель и его самого, почти уже недвижимого, и отправился отдыхать.

Отец Гервасий пришел за мною в 7 часов, чтобы я его приготовил к Причащению Св. Таин. Он его уже исповедовал в последний раз. Когда я стал его поднимать, он уже был почти недвижим; но когда я его поднял, он на своих ногах перешел в другую комнату и в первый раз мог сидя причаститься. После Причастия он прилег и около часа пролежал покойно, даже как будто уснул. С этого часа дыхание его начало быть все более и более затруднительным; но он все же говорил, хотя и с трудом. В это время к нему заходил отец наместник. Надо было видеть, с каким сердечным сокрушением он прощался с умирающим! Со слезами на глазах он изъявил готовность умереть вместо него... Потом я ходил просить Митрополита, чтобы он посетил умирающего, к которому он всегда относился с уважением. Не прошло и пяти минут после этого, как Митрополит уже прибыл к изголовью больного, который при его входе хотел сделать попытку приподняться на постели, но не мог.

— Ах, как мне стыдно, владыко,— сказал он в изнеможении,— что я лежу пред вами! Вот ведь какой я невежа!

Архипастырь преподал ему свое благословение.

В продолжение дня многие из старших и младших приходили с ним проститься и принять его благословение, а мы старались, чтобы он своими руками дал каждому какую-либо вещь на память. Умирающему это, видимо, доставляло удовольствие, и он всякого встречал приветливою улыбкой, называя по имени. Заходило много и мирских; и тех он встречал с такою же приветливостью, а мы помогали ему раздавать своими руками, что было каждому назначено... Начался благовест к вечерне; он перекрестился. Я говорю:

— Батюшка! что, вам трудно?

— Нет, ничего-с!

— А как память у вас?

— Слава Богу, ничего-с!.. А что приходящих теперь никого нету?

— Нет, все к вечерне пошли... Хороша лаврская вечерня!

— Ох, как хороша! — сказал он со вздохом,— вам бы пойти!..

— Нет, я не пойду: у меня есть к вам прошение.

— Извольте-с!

— Теперь,— так стал говорить я,— уже ваши последние минуты: скоро душа ваша, может быть, будет иметь дерзновение ко Господу; то прошу вас, друг мой, попросите у Господа мне милости, чтобы мне более не прогневлять Его благости!

— О, если, по вере вашей,— ответил он,— сподоблен я буду дерзновения, — это долг мой; а вы за меня молите Господа, чтобы Он простил все мои грехи.

— Вы знаете, какой я молитвенник; но при всей моей молитвенной скудости я всю жизнь надеюсь за вас молить Господа. Вы помните, какие степени проходила наша дружба? Но последние три года у нас все было хорошо.

— Да и прежде плохого не было!

— Позвольте же и благословите мне шесть недель служить Божественную литургию о упокоении души вашей в Царстве Небесном!

— О, Господи! достоин ли я такой великой милости? Слава Тебе, Господи! Как я этому рад! Спаси ж вас, Господи!.. Да вот чудо: до сего времени нет у меня никакого страха!

— Да на что вам страх? Довлеет вам любовь, которая не имеет страха.

— Да! правда это!

— Вы, батюшка, скоро увидите наших приснопамятных отцов, наставников наших и руководителей к духовной жизни: батюшку отца Леонида, Макария, Филарета, Серафима Саровского...[1]

— Да, да!..

[1] Все это современники о. Мелетия. Отец Леонид и Макарий — великие старцы Оптиной Пустыни, почившие о Господе, первый 11 октября 1841 года, второй — 7 сентября 1860 года. Филарет —

— Отца Парфения[1],— продолжал я перебирать имена святых наших современников...

И он как будто уже переносился восторженным духом в их небесную семью...

— Да! — промолвил он с радостным вздохом,— эти все — нашего века. Бог милостив — всех увижу!

— Вот,— говорю я,— ваше время уже прошло; были и в вашей жизни потрясения, но они теперь для вас мелки и ничтожны; но мне чашу их придется испивать до дна, а настоящее время ими щедро дарит.

— Да — время тяжелое! Да и самая жизнь ваша, и обязанности очень тяжелы. Я всегда смотрел на вас с удивлением. Помоги вам, Господи, совершить дело ваше до конца! Вы созрели.

— Вашей любви свойственно так говорить, но я не приемлю, стоя на таком скользком поприще деятельности, столь близком к пороку, к которому более всего склонна человеческая природа[2].

— А что, вы не забыли отца Исаакия? — спросил он меня.

— Нет!

— Вот, бедный, попался в ярмо![3] Ах, бедный, как попался-то! Бедный, бедный Исаакий — тяжело ему! Прекрасная у него душа, но ему тяжело... Особенно это время!.. Да и дальняя современность чем запасается? — страшно подумать!

— Вы устали! Не утомил ли я вас?

— Нет, ничего-с!.. Дайте мне воды; да скажите мне, каков мой язык?

известнейший подвижник и схиигумен Глинской пустыни, скончавшийся в 40-х годах прошлого столетия. Преподобного же Серафима ныне знает и чтит вся Православная Церковь.

[1] Иеросхимонах и подвижник Киево-Печерской Лавры.

[2] Духовничество. О. Антоний был духовником Лавры.

[3] Отец Исаакий, младший родной брат о. Мелетия, был избран и назначен настоятелем Оптиной Пустыни в 1862 году. Об этом-то «ярме» и соболезнует умирающий.

Я подал ему воды и сказал, что он говорит еще внятно, хотя и не без некоторого уже затруднения.

— Вот, — прибавил я, — пока вы хоть с трудом, но говорите, то благословите, кого можете припомнить; а то и я вам напомню.

— Извольте-с!

Я подал ему икону и говорю:

— Благословите ею отца Исаакия!

Он взял икону в руки и осенил ею со словами:

— Бог его благословит. Со всею обителью Бог его да благословит!

Подал другую.

— Этой благословите Федора Ивановича, все его семейство и все их потомство!

— Бог его благословит! — и тоже своими руками осенил вас.

Я ему назвал, таким образом, всех, кого мог припомнить; и он каждого благословлял рукою.

— Благословите,— сказал я,— ганешинский дом!

— А! Это благочестивое семейство, благословенное семейство! Я много обязан вам, что мог видеть такое чудное семейство. Бог их благословит!

Итак, я перебрал ему поименно всех; и он всех благословлял, осеняя каждого крестным знамением. Потом я позвал отца Иоакима; он и его благословил иконою. Братия стала подходить от вечерни; и всех он встречал радостной и приветливой улыбкой, благословляя каждого. С иеромонахами он целовался в руку.

Было уже около десяти часов вечера. Он посмотрел на нас.

— Вам бы пора отдохнуть! — сказал он.

— Да разве мы стесняем вас?

— Нет, но мне вас жаль!

— Благословите: мы пойдем пить чай!

— Это хорошо, а то я было забыл вам напомнить.

Когда мы возвратились, я стал дремать и лег на диван, а отец Гервасий остался около о. Мелетия и сел под-

ле него. Скоро, однако, о. Гервасий позвал меня: умирающему стало как будто хуже, и мы предложили ему приобщиться запасными Дарами.

— Да кажется,— возразил он,— я доживу до ранней обедни. Впрочем, если вы усматриваете, что не доживу, то потрудитесь!

О. Гервасий пошел за Св. Таинами, а о. Иоаким стал читать причастные молитвы. Я опять прилег на диван.

В половине третьего утра его приобщили. Он уже не владел ни одним членом, но память и сознание сохранились в такой полноте, что, заметив наше сомнение, — проглотил ли он Св. Таины, — он собрал все свои силы и произнес последнее слово:

— Проглотил!

С этого момента началась его кончина. Может быть, с час, пока сокращалось дыхание, он казался как будто без памяти; но я по некоторым признакам заметил, что сознание его не оставляло. Наконец, остановился пульс, и он тихо, кротко, спокойно точно заснул самым спокойным сном. Так мирно и безболезненно предал он дух свой Господу.

Я все время стоял перед ним как пред избранником Божиим.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Многое я пропустил за поспешностью... Один послушник просил на благословение какую-нибудь вещь, которую он носил.

— Да какую? — спрашиваю.

— Рубашку!

— Рубашки он вчера все раздал.

— Да я ту прошу, которая на нем. Когда он скончается, тогда вы мне ее дайте: я буду ее беречь всю жизнь для того, чтобы и мне в ней умереть.

Я передал об этом желании умирающему:

— Батюшка! вот брат Иван просит с вас рубашки на благословение.

— А что ж, отдайте! Бог благословит.

— Да это будет не теперь, а когда будем вас переодевать.

— Да, конечно, тогда!

— Ну, теперь,— говорю,— батюшка, и последняя рубашка, в которой вы умираете, и та уже вам не принадлежит. Вы можете сказать: наг из чрева матери изыдох, наг и из міра сего отхожу, ничего в міре сем не стяжав. Смотрите: рубашка вам не принадлежит; постель взята у других; одеяло — не ваше; даже иконы и книжечки у вас своей нету!..

Он воздел руки к небу и, ограждая себя крестным знамением, со слезами промолвил несколько раз:

— О, благодарю Тебя, Господи, за такую незаслуженную милость!

Потом обратился к нам и сказал:

— Благодарю, благодарю вас за такое великое содействие к получению этой великой Божией милости!

Во всю его предсмертную болезнь, — ее нельзя назвать болезнью, а ослаблением союзов души с телом, — ни на простыне его, ни на белье, ни даже на теле не было ни малейшего следа какой бы то ни было нечистоты; он был — сама святыня, недоступная тлению. Три дня, что он лежал в гробу, лицо его принимало все лучший и лучший вид.

Когда все имущество его было роздано, я вспомнил: да в чем же будем мы его хоронить?.. Об этом я сказал умирающему.

— Ничего-с, ничего-с! — успокоил он меня,— есть в чулане 60 аршин мухояру[1]. Прикажите сшить из него подрясник, рясу и мантию. Кажется, — достаточно? Они ведь скоро сошьют!

Утром принесли все сшитым. Он посмотрел...

[1] Грубая ткань ручной работы из черных шерстяных сученых ниток; ее работают обычно в женских монастырях, а носят только в строгих по жизни мужских и женских обителях.

— Ну, — сказал он, — теперь вы будете покойны... Да вот еще: вы бы уж и гроб заказали, кстати; только — попроще!

— Гроб у нас заказан.

— Ну, стало быть, и это хорошо!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Теперь я изложу вам о том, что происходило по блаженной кончине вашего праведного брата, т. е. о погребении его честного тела.

Тридцать с лишним лет были мы с ним в теснейшем дружеском общении, а последние три года у нас было так, что мы стали как бы тело едино и душа едина. Часто он мне говаривал, чтобы погребение его тела происходило как можно проще.

— Какая польза,— говорил он,— для души быть может от пышного погребения?..

И при этом он высказывал желание, чтобы погребение его тела было совершено самым скромным образом. Я дружески ему прекословил в этом, говоря, что для тела, конечно, все равно, но для души тех, которые усердствуют отдать последний долг своему ближнему, великая в том польза; потому и Св. Церковь усвоила благочестивый обычай воздавать усопшему поминовение в зависимости от средств и усердия его близких, а священнослужители, близкие покойному по родству или по духу — совершением Божественной литургии по степени своего священства. Отцу Мелетию и самому такое проявление дружбы к почившим было приятно видеть в других, но для себя он уклонялся от этого как от почести незаслуженной, по глубокому, конечно, внутреннему своему смирению.

Живой он удалялся от почестей, но мертвый он не ушел от них: они его догнали во гробе!

Когда отец Мелетий заснул навеки, мы одели его в новые одежды, им самим назначенные на случай его погребения, а я распорядился послать телеграммы вам и в

Москву. Отец Иоаким все это исполнил и еще мог написать отцу Исаакию и отцу Леонтию, а отец Гервасий — в Петербург. Когда принесли гроб, мы тотчас положили в него тело почившего, и я начал панихиду; затем — другую и третью с разными предстоящими и певчими разных церквей. Когда стали отходить ранние обедни, то все иеромонахи наперерыв начали служить панихиды, которые непрерывно продолжались до самого выноса, последовавшего в половине третьего. В 10 часов я с о. Гервасием ездил в Китаев выбрать место для могилы, которое Митрополит благословил выбрать «где угодно». Мы назначили при входе в церковь, по левую сторону от передней двери, аршинах в шести, не более.

В три часа наместник с соборными иеромонахами и с нами начал вынос, что очень редко бывает. Несли его в облачениях предстоящие иеромонахи. Гроб с останками почившего поставили в Предтеченский придел[1], где я в понедельник служил соборно Литургию. Во вторник, в день погребения, по особенному изволению Митрополита тело было перенесено в Великую церковь. Такого примера в наше время ни одного не было; только преосвященного Иоасафа, митрополита Филарета и князя Васильчикова отпевали в Великой церкви, да вот еще и нашего о. Мелетия, семнадцать лет и семь месяцев бывшего неусыпным блюстителем Великой церкви.

При переносе тела один иеромонах произнес краткую речь. На Литургии, после малого входа, труженик был поставлен посреди церкви. Божественную литургию служил Митрополит. На погребении был еще преосвященный Александр. Литургию пели митрополичьи певчие. Погребение начинали певчие, а антифоны пели лаврские клирошане, что придавало чину погребения необыкновенное

---

[1] Замечательное и знаменательное совпадение: отец Мелетий положил начало своему иночеству в Предтеченском скиту Оптиной Пустыни, а начало вечной своей жизни — в храме, посвященном тому же святому имени. Таковы судьбы Божии! (*Прим. составителя.*)

величие. День был будний, но народу было как в двунадесятый праздник. Два иерарха со всем собором провожали гроб за Святые врата. Против моей кельи, в память нашей дружеской любви, гроб был поставлен и была совершена соборная лития. В проходе крепости встретились две команды солдат, которые пред погребальным шествием выстроились во фронт и отдали честь усопшему воину Христову барабанным боем, а трубачи проиграли на своих трубах. Всех удивило это: точно нарочно войска были поставлены для отдания почестей усопшему... Нашлось много усердствующих нести тело до места погребения, но так как от Лавры до него будет 10 верст, то я на это не согласился, потому что уже было два часа пополудни; скоро должны были наступить сумерки и ночь, да к тому же на двух мостах по пути стояла страшная грязь. Поставили гроб на монастырскую катафалку, а сами сели в экипаж и со многими усердствующими поехали в Китаев. В Китаеве гроб был встречен преосвященным Александром с литиею. Отслужили в церкви соборную панихиду и так предали земле вашего достойного брата, память которого не умрет: он послужил достойным и святым украшением вашего рода.

Просил я его пред самой его кончиной молиться за вас и за весь род ваш пред Престолом Божиим, если он будет иметь дерзновение у Господа. Он сказал:

— Надеюсь, надеюсь на благость Божию!

Это были его предсмертные слова...

Сколько мог, между делом, набросал я вам это для вашего утешения; но когда кончу сорокадневное служение, постараюсь дополнить и исправить. Я бы желал и биографию его составить, но это дело будет не мое, а содействие Бога, дивного во святых Своих.

Да будет и преизбудет на вас и на всем вашем роде благодать, мир и благословение Божии, чего я, недостойный, всеискренне вам желаю. Многогрешный Иеросхимонах Антоний. 1865 года ноября 7-го дня. Киево-Печерская Лавра».

II.

Праведная кончина мирянина.

Так умирают православные монахи из тех, конечно, кто не отступил от обетов своего иночества, — вот о чем поведало мне и тебе, мой читатель, старое, забытое, завалявшееся в ветхом рукописном хламе письмо. Дополнять ли мне своими рассуждениями его содержание? Нет: оно само за себя говорит нашему с тобой сердцу, если только сердце это открыто для принятия в себя слова правды. Перейдем-ка лучше мы с тобой в область моих личных воспоминаний, и в ней, с помощью Божией, найдется кое-что нам на пользу.

В записках моих, куда я заношу все, что в моей или чужой, но знакомой мне жизни встречается как явное или хотя бы прикровенное, но сердцу внятное свидетельство Божьего смотрения о нас, грешных людях, смерть архимандрита Мелетия не стоит одиноко: на их страницах запечатлелся не один переход христианской души в блаженную вечность; и все те смерти праведников, о которых свидетельствуют мои записки, сопровождаются ли они небесными утешениями дивных видений и откровений или нет,— все они носят на себе один неизменный отпечаток «безболезненности, непостыдности (оправдания веры), мирности» и надежды на добрый ответ пред Судией нелицеприятным. И среди скатившихся с земного неба звезд христианских жизней, проложивших свой лучистый след на этих страницах, сияют в моей личной памяти звезды падучие разных величин и блеска; и умиленное сердце требует от меня отразить в слове своем свет их кроткий и чистый и благоговейной памятью воскресить их светлый облик в той красоте, которой не ведали в них люди, но на которую с нежной любовью светили Божьи очи...

Одна из первых близких мне смертей была смерть единственного сына моего духовника, протоиерея одной из

церквей того губернского города, около которого было мое поместье. Это был еще совсем молодой, даже юный, человек, служивший некоторое время кандидатом на судебные должности в местном окружном суде и только года за два, за три до своей кончины окончивший курс юридического факультета Московского университета. Посещая довольно часто своего духовника в его доме, принятый в нем как родной библейской четой отца и матери молодого кандидата, я долго не встречался с ним: он точно притаивался от меня и как будто избегал знакомства со мною. В первый раз, помнится, мне указали на него в храме, в котором настоятельствовал его родитель. Вид он имел тщедушный, некрасивый, небольшого роста, со впалой грудью, с большой головой на тонкой шее, жиденькой бородкой — словом, он показался мне настолько малопримечательным, что я после впечатления этой встречи и в своем сердце положил не добиваться с ним знакомства. А тут еще от кого-то из судейских я случайно услыхал отзыв о нем как о человеке совершенно ни к чему не способном; и этот отзыв еще более укрепил во мне первое впечатление. Пожалел я тут бедных родителей и только был рад тому, что нелюдимость молодого кандидата отвела меня от лишнего скучного знакомства.

Одна только черта в этом молодом человеке запала мне в сердце: кандидат прав старейшего университета, сын священника, а от Божьего храма не только не отбивается, но, видимо, даже любит его. Когда бы я ни зашел в его приходскую церковь в его свободные часы от судейских занятий, он стоит, смотрю, в каком-нибудь укромном местечке и смиренно молится. Не таковы, по большей части, бывают отпрыски семени служителей алтаря, когда они сходят со святого пути отцов и вкусят от плодов «высшей» человеческой мудрости: между отступниками веры нет злейших, как эти хамы, раскрывающие наготу отчую!.. И запала мне в душу мысль: нет, видно, оттого и плох для судейского міра молодой кандидат, что он не от міра...

Спустя некоторое время и сам он перестал избегать встреч со мною. Пришел я как-то раз к его старикам к вечернему чаю. Подали самовар; гляжу — и он является к чаю.

— А, вот и наш Митроша-затворник! — воскликнула с любовью старушка-протоиерейша. Так мы и познакомились.

Со дня или, вернее, с того вечера Митроша перестал меня дичиться, и, всякий раз как я его заставал дома, он выходил ко мне здороваться, и стал принимать со мною вместе участие в вечернем чаепитии, на которое я довольно-таки часто хаживал к отцу протоиерею. В простой, патриархальной обстановке старосвященнической семьи, не зараженной новшествами, отдыхал я душой от волнений и суеты своей мирской жизни: оттого-то и манил меня к себе вечерний самоварчик старика протоиерея и матушки Надежды Николаевны, его верного подружия.

Но хоть и выходил Митроша, а все же участия в общей беседе не принимал, изредка только кратко отзываясь на предлагаемые ему в упор вопросы; а затем, попивши чаю, опять скрывался в свою комнату.

— Наш Митроша совсем затворник, — не без некоторой горечи в голосе говаривала мне иногда старушка протоиерейша,— трудно ему с таким характером будет жить на свете!

Отец протоиерей помалкивал, но и ему, видно было, нерадостно глядело в сердце Митрошино будущее.

— Батюшка,— сказал я как-то о. протоиерею,— у вашего сына, сколько я замечаю, склад души совсем монашеский: нет ли у него желания уйти в монастырь, посвятить себя на служение Богу?

— Он мне ничего об этом не говорит. Да он и вообще-то с нами мало говорит. Как придет из суда, наскоро закусит и бежит в библиотеку нашего братства. Только к вечернему чаю он возвращается. А если сидит дома, то тоже больше духовные книги читает, когда нет работы на дом из окружного суда... Отдавал я его из семинарии в

университет, думал, что это будет для него лучше, а выходит, как бы не было хуже!

С полгода, не больше, встречались мы с затворником-Митрошей, но сближения не последовало между нами, несмотря на то что в душе своей я уже успел полюбить его одинокое сердце. По приветливой улыбке Митроши, когда он здоровался со мной при встречах, я видел, что и я ему стал не чужд; но внутренние тайники его духовного міра так мне и не открылись за эти полгода. Открылись они мне после, и как открылись-то!

Пришлось Митроше уйти из состава окружного суда: убеждение в неспособности его к службе среди вершителей судеб судейского муравейника укрепилось в такой степени, что волей-неволей, а надо было уходить и приискивать какое-либо другое занятие.

Тайный гонитель Митрошиной души, искавшей удовлетворения своим стремлениям в светлом міре духовной, созерцательной жизни, приискал ему это занятие... в акцизе, и Митроша был отправлен младшим контролером акцизного округа на винокуренный завод в имение одного весьма высокопоставленного лица. Это был последний удар заветным стремлениям Митрошиного духа. Догадались-то об этом уже потом, когда было поздно и когда бренной оболочке его души все стало безразлично; но в то время, когда состоялось это блестящее назначение, казалось, что лучше этого положения для Митроши нельзя было и выдумать.

Не прошло и четырех месяцев со дня Митрошиного определения на службу в акциз, как он заболел на своем винокуренном заводе настолько серьезно, что за ним спешно, по телеграмме, должен был выехать отец, чтобы привезти его спасать от смерти усердием светил губернской медицины. Но медицине делать уже было нечего с Митрошей: на него достаточно было раз взглянуть, чтобы ясно разглядеть все признаки злейшей скоротечной чахотки, против которой лекарство одно — могила.

Тяжело было видеть горе стариков родителей, пока на их глазах таяла догорающая свеча драгоценной для них жизни единственного сына. И моему сердцу близко было это безутешное горе; хотя я чувствовал, что для одинокой, затворнической души Митроши нет лучшего будущего, как приблизившаяся к нему так неожиданно вечность.

Скоро отступились от одра больного светила губернского медицинского неба и уступили место врачеству другого, истинного, неба — Христовой вере и Таинствам Церкви, приготовлению к переходу туда, откуда нет возврата. Вот тут-то и открылось мне и близким все величие, вся красота Митрошиной христианской души, вся полнота ее могучей, беспредельной веры. Угадав сердцем, что наука бессильна остановить недуг, Митроша весь углубился в приготовление себя к вечности. Тяжелые страдания, мучительная одышка не давали ему возможности лежать в постели, и его пришлось перенести с кровати на кресло, на котором он, обложенный подушками, проводил свои страдальческие дни и бесконечные томительные ночи. Его ежедневно приобщали Св. Таин, и это Таинство, видимо, давало ему силы без ропота, без малейшей тени уныния переносить самые тяжелые приступы разъедавшего его злого недуга. Всегда в молитве, с иконочкой Царицы Небесной на столике перед своим креслом, Митроша как будто еще и на земле всем остатком своей угасающей молодой жизни улетел на небо. Молитва и любовь ко Христу, которые он таил в себе, пока был здоров, сказались вдруг во время его двухмесячных страданий с такою силой, что даже родительское верующее сердце вострепетало: даже оно не могло предугадать того пламени веры, которым горело все существо их любимого сына.

— Отец, — говорил он, когда ослабевали приступы одышки и кашля, — отец! Как мы молимся, как веруем, как любим своего Бога? Разве так надо молиться. любить и веровать?.. Если тебя не жжет молитва, если сердце твое не тает как воск от огня от пламени слов молитвы,

исходящих из самой глубины сердечной и жгущих все внутреннее существо твое с такою силой, что вот-вот оно обратится в пепел, то ты не молишься, отец!.. Отец! если и любовь твоя — не пламень, поядающий всякую скорбь ближняго твоего и самое естество твое, самую душу твою не вплавляющий в душу твоего ближнего,— ты не любишь тогда, отец!..

И много, много говорил в такие минуты Митроша такого, от чего трепетало и билось в рыданиях родительское сердце...

— И кто же мог прозревать, какую силу таил в себе наш Митроша? — говорил мне, от слез едва переводя дыхание, старец протоиерей,— любя губили мы эту силу. Да Господи Боже мой, кто бы мог это подумать? Ведь он все мочал, с детства молчал; ни с кем ни слова, ни с кем не общался, ни с кем не был откровенен в том, что было святыней его души. Только в семинарии, с одним стариком преподавателем, Гавриилом Михайловичем П., он как-то сошелся близко. Это был глубоко верующий человек характера чисто исповеднического; с ним он был в постоянном общении и даже в университете находился с ним в непрерывной переписке. Но и Гавриил Михайлович был из таких людей, из кого лишнего слова не выжмешь; да и тот теперь скоро два года как умер, а с ним умерла и тайна Митрошиного сердца, которое ему одному и было открыто... Боже мой, Боже великий! Кто ж догадаться мог, что не в суде и не в акцизе место нашему Митроше?

И плакал бедный отец у Божьего престола в алтаре с воздетыми к небу небес руками, прося и вымаливая у Бога жизнь своему Митроше, своему любимому, непонятому, неоцененному сыну...

А как мать-то убивалась и плакала! — про то знать могут только одни матери, терявшие навеки дитя свое любимое...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

И вот наступили роковые предсмертные дни Митроши. Непрерывно, изо дня в день, продолжалось его общение со Христом в Таинстве Святой Евхаристии: каждый день от обедни духовник его, второй приходский священник, приносил Св. Дары, которыми умирающий и приобщался с пламенной верой. Страдания его как будто стали ослабевать; легче становилась одышка и кашель, убийственный зловещий кашель чахоточного, временами меньше терзал избитую иссохшую измученную грудь.

— Митроша! — радостно воскликнула мать, — тебе лучше, солнышко наше?

— Да, маменька, лучше!

— Вымолим мы тебя у Господа, вымолим!

Вдруг больной как-то весь съежился, сжался; глаза беспокойно и испуганно уставились в одну, ему одному видимую, точку за плечом у матери.

— Митроша, что ты? Иль ты что видишь?

— Вижу! — прошептал больной, и ужас послышался в этом жутком шепоте.

— Что же ты видишь? — переспросила испуганная мать, чувствуя, что и ее сердце забилось от какой-то неопределенной тревоги, смутного страха предчувствия незримой, но грозной опасности... Но Митроша молчал и только упорно продолжал смотреть все в ту же невидимую точку с тем же выражением безграничного, холодного ужаса, с трудом осеняя себя крестным знамением.

— Митроша, Митроша! — тормошила его испуганная мать, — да скажи же ты, что ты такое видишь?

— Их! — был ответ, и с этим ответом лицо его прояснилось.

— Теперь их нет, — со вздохом спокойной радости промолвил умирающий.

— Да как же это быть может? — допытывалась мать, — ведь ты же каждый день причащаешься, разве «они» могут иметь к тебе доступ?

— Доступа «они» не имеют, а ... дерзают!

Это произошло за несколько дней до кончины Митроши. Кто были «они» его видения, — умирающий сын видел, а скорбная мать-христианка не могла не догадаться. Продолжали ли «они» «дерзать» тревожить больного, я не знаю, но и одного раза «их» появления было довольно, чтобы исполнить сердце неописуемого ужаса и отогнать всякое нехристианское сомнение в неизбежности встречи души, готовящейся к вечности, с этой темной, зловещей, до времени от смертных глаз скрытой силой.

Дня за два до своей смерти больной чувствовал себя довольно хорошо. Опять после обедни его причастили. Неотлучная сиделка — мать — сидела у кресла своего сына. Вдруг лицо больного сразу озарилось светом какой-то неожиданной радости, и из груди его вырвалось восклицание:

— Ах!.. Гавриил Михайлович, это вы?

Пораженная этой внезапной радостью, этим восклицанием, не видя никого постороннего в комнате, мать замерла в ожидании...

— Так это вы, Гавриил Михайлович! Боже мой, как же я рад!.. Да, да!.. Говорите, говорите! Ах, как это интересно!..

И больной весь обратился в слух. По лицу играла блаженная улыбка... Мать боялась пошевельнуться, изумленная и тоже обрадованная...

Несколько секунд продолжалось это напряженное молчание. Оно нарушилось восклицанием больного:

— Уж вы уходите?.. Ну, хорошо! Так, стало быть, до свидания!

— Кого это ты видел, Митроша? С кем ты сейчас разговаривал?

— С П., Гавриилом Михайловичем!

— Да ведь он умер, Митроша! Что ты, что ты, деточка, Господь с тобою!

— Нет, мамаша, он жив: он был сейчас у меня и говорил со мною.

— Что же он говорил тебе?

Но что говорил Митроше старый его друг и наставник, осталось навсегда тайной того міра: больной закашлялся, с ним вновь начался приступ страшной одышки; и с этого часа наступил последний натиск болезни, от которого он едва приходил в сознание и то на короткие промежутки между припадками тяжелых страданий. Смерть властно вступала в свои права.

Часа за два или за три до кончины больной пришел в себя. Дыхание стало легче, сознание в полной ясности, как будто грозный призрак смерти отступил пред чьей-то великой властью.

— Прощайте, родные! — сказал он,— до свидания там, где больше не будет разлуки!

— Митроша, неужели ты умираешь? — застонала мать.

— Да, мама, умираю!.. Смотри, смотри, кто пришел! Святый Архистратиже Михаиле!.. Господи, приими душу мою в мире!

Так умер Митроша-затворник, сын губернского протоиерея.

Говорят, да и самому мне приходилось видеть,— смерть, накладывая печать тления, обезображивает человека. Какая смерть! Какого человека!..

Митроша в гробу лежал как живой. И как же он был прекрасен, этот тщедушный, некрасивый человек! Глаз не хотелось оторвать от этого лица, одухотворенного молчаливой, торжественной, созерцающей радостью полного совершенного покоя и удовлетворения. Не смерть, а жизнь, жизнь вечная, небесная, высшая, уму непостижимая, но сердцу внятная жизнь сияла на бледном, прекрасном лике праведника. Красотой чистой, непорочной девственности светилось это дивное, незабвенное для меня лицо: Митроша умер девственником — это для меня было вне сомнения. Три дня стояло его тело в теплой комнате, и тление его не коснулось. На второй день его смерти я читал у его изголовья Псалтирь, с полчаса читал и не ощутил ни малейшего запаха.

Так и скрыла могила «затворника-Митрошу» до всеобщего воскресения...

III.

Кончина кающегося грешника.

Как душе, совлекшейся своей земной оболочки, нет границ ни во времени, ни в пространстве, так нет их и для мысли: из пределов родного края, где я провел свое детство и юность свою, исполненную сладких мечтаний, где холод рассудочного опыта разбил в черепки и прахом развеял хрупкий сосуд грез детства, юношеского задора, энергии молодости, летит она оттуда, неудержимая, в иные края, под иное небо — из степей юга к лесам и озерам хмурого севера. Если не скучно, последуй и ты за нею, мой дорогой читатель!..

На твоих глазах поднялись и улетели к «третьему небу» два праведника, две чистые христианские души, из которых одна волею Божиею познала свое место на земле, свое земное назначение и отошла к своему Господу, совершив течение подвига доброго, достигнув полноты времени жизни, назначенного для земнородных[1]. Другой не было дано этого удовлетворения; но зато и сокращен был срок ее приготовления к вечности, и скорее призвана была она в небесные обители Отца света незаходимого, света всякой истины, всяческой радости. Кто познает пути Господни к вечному спасению и кто был Ему советником!..

Когда угодно было Богу с места моей родины и моей почти двадцатилетней деятельности переселить меня сперва в Петербург, а затем в благословенный уголок Новгородской губернии, в тихий и богобоязненный городок Валдай, где еще недавно «уныло» звенел «колокольчик, дар Валдая», под дугой ямщицких троек, теперь, увы! раздавленных новой железной дорогой — нам с женой пришлось встретиться и сблизиться там по вере христианской с одним из местных священников, который и стал

[1] Архимандрит Мелетий скончался на 72-м году жизни.

нашим духовным отцом. Как-то на исповеди он по какому-то случаю сказал моей жене:

— А ведь знаете, что и в наше даже время некоторые люди удостаиваются видеть своего Ангела!

Подробностей батюшка не сообщил жене, и я решил при первой с ним встрече расспросить его об этом как следует. Вот что по этому поводу записано в моих заметках.

«Сегодня (25 апреля 1907 года) я напомнил батюшке об исповеди жены и спросил его:

— Батюшка! что вы сказали жене на исповеди о явлении кому-то из ваших духовных детей Ангела?

— Да, — ответил он мне, — это дело было, но я знаю о нем из исповеди моего прихожанина, а исповедь — тайна.

Я не унялся и стал настаивать:

— А жив,— спросил я,— этот ваш прихожанин?

— Нет, умер!

— А если так,— сказал я,— то отчего же вам не рассказать, особенно если рассказ ваш может послужить и нам грешным на пользу?

Подумал, подумал мой батюшка да и рассказал следующее.

«Был у меня в деревне одни прихожанин, по имени Димитрий; был он крестьянин и человек жизни плохой: и на руку нечист, и сквернослов, и пьяница, и блудник — словом, последний, казалось, из последних. Долго он жил так-то, и не было никакой надежды на его исправление. Только как-то раз собрался он ехать в поле на пахоту; вышел из избы в сенцы и вдруг почувствовал, что кто-то с большой силой ударил его по затылку, да так ударил, что он как стоял, так и свалился лицом вниз прямо на пол и разбил себе лицо до крови. Никого на ту пору в сенцах не было, и сам Димитрий был совершенно трезв. Шибко его это поразило и испугало.

— Приехал я в поле,— рассказывал мне после на исповеди Димитрий,— лицо мое все в крови. Обмыл я лицо в ручейке, а за работу приняться не могу — все думаю:

за что же это такое со мною было?.. Сел я на меже и все думаю да думаю — жизнь свою окаянную поминаю. Долго я так-то думал и надумал порешить со старой своей грешной жизнью и начать жизнь новую, по-Божьему, по-христианскому. Стал я посреди своего поля на коленки, заплакал, перекрестился да и сказал громко Богу: клянусь Тебе Именем Твоим, что уже грешить теперь вперед не стану!.. И стал я с тех пор иной человек: все старое бросил — не воровал, перестал пить, сквернословить, блудничать...

— И что же,— спросил я Димитрия— неужели тебе после твоей клятвы и искушений не было?

— Как не быть? Были, батюшка: очень тянуло опять на старое; но Бог помогал — удерживался. Раз вот только было не удержался. Был в соседнем селе престольный праздник и ярмарка — я туда и отправился. Иду я по шоссе и вижу: лежит на дороге чей-то кошелек, да такой туго набитый деньгами, что я первым долгом схватил его да себе в карман; не успел даже и денег сосчитать — боялся, как бы кто не увидел. Только одно я успел разглядеть, что и бумажек и серебра в кошельке было много. Иду я, поднявши кошелек, да и думаю: ну уж этого-то кошелька я не отдам, если бы и встретился его хозяин — экое богатство-то мне привалило!.. Вдруг — хлоп! и растянулся я на шоссе лицом о шоссейный щебень, и опять, как тогда, разбил я в кровь все свое лицо, хоть и пьян не был. Поднялся я с земли и вижу: откуда-то посреди шоссе, где быть не должно, лежит четверти в полторы вышиною камень — об него-то я, значит, и споткнулся. Выругался я тут самым скверным черным словом, и в ту ж минуту надо мною, над самой моею головой, что-то вдруг как зашумит, точно птица какая-то огромная. Я вскинул глаза вверх да так и замер: надо мною лицом к лицу дрожал на воздухе крыльями Ангел.

— Димитрий,— грозно сказал он мне,— где ж твои клятвы Богу? Я ведь слышал, как ты дал их на твоем

поле, во время молитвы, я и на меже тебя видел. А теперь ты опять за старое?..

Я затрясся всем телом и вдруг осмелевши, крикнул ему:

— Да ты кто? из ада ли дьявол или Ангел с неба?

— Я — от верхних, а не от нижних! — ответил Ангел и стал невидим.

Не сразу я опомнился: а как опомнился, взял из кармана кошелек и далеко отшвырнул его от себя в сторону... На праздник я уже не пошел, а вернулся домой, все размышляя о виденном.

— Это,— сказал мне батюшка,— рассказано было мне Димитрием на исповеди. А далее вот что было: стали ходить о Димитрии слухи добрые и для всех его знавших удивительные — в корень переменился мужик к доброму... Прошло лет десять с явления Ангела; Димитрий оставался верен своей клятве. Только на одиннадцатом году приезжают за мной из Димитриевой деревни...

— Батюшка! Димитрий заболел: просит вас его напутствовать.

Я немедленно поехал. Вошел к Димитрию в избу. Он лежал на кровати с закрытыми глазами. Я его окликнул... Как вскочит вдруг Димитрий на своем ложе да как вскинет руками!.. Я перепугался и отшатнулся: в руках у меня были Св. Дары.

— Что ты, что ты? — говорю,— ведь у меня Св. Дары! Я и то их чуть из рук не выронил!

— Батюшка! — воскликнул, захлебываясь от волнения Димитрий, — я сейчас перед вами опять видел Ангела. Он мне сказал, чтобы я готовился, что я умру сегодня ночью.

— Да какой он из себя? — спросил я Димитрия.

— Я было совсем ослеп от его света! — ответил мне Димитрий в духовном восторге.

— А спросил ли ты его, простит ли Бог твои грехи? — опять спросил я Димитрия.

— Бог простит, что духовник разрешит,— ответил мне Димитрий отрывисто,— что ты здесь отпустишь, будет отпущено и там!

Я приступил к исповеди.

Причастил я Димитрия, и, грешен, на вид он мне показался даже и мало больным. Мужик он был еще не старый и крепкий. Уехал я от него в полной уверенности, что он выздоровеет; а об Ангеле не знал что и думать.

В эту же ночь Димитрий скончался».

Вот что рассказал мне по священству иерей добрый, настоятель одной из церквей тихого Валдая.

IV.

Смерть грешника люта.

Прочитывая сам свой помянник, когда за проскомидией иерей Божий вынимает частички за живых и умерших, я каждый раз с особенным молитвенным чувством поминаю записанные в нем с 20 июля 1902 года два имени: Андрея и сына его, отрока, его же имя Бог весть. И всякий раз при этом поминовении в памяти моей мгновенно восстает страшное событие явной кары Божией, разразившейся над этими двумя несчастными. Да простит их Господь за смерть их мученическую, за молитвы Церкви, а может быть, — кто это знать может, — и за то, что их горестный и всякой жалости достойный пример послужит чьей-нибудь душе, близкой к падению, в назидание и спасение.

Господи, всех нас прости и помилуй!

В те времена, когда совершилось это событие, я был еще довольно богатым помещиком и сам занимался своим хозяйством в селе Золотареве, Орловской губернии, Мценского уезда. В числе моих рабочих служил у меня крестьянин того села по имени Андрей Марин. На работу когда, бывало, захочет, золото был этот человек; ну а не захочет, что с ним приключалось нередко, то хоть кол у него на голове теши, ничего с ним не поделаешь. Жалко мне было малого, тем более что и парень-то он был мо-

лодой, лет 25–28, не старше, и все думал я: авось выправится, человеком станет, а уж я буду с ним биться, пока не переработаю. И сам-то я тогда еще был молод и много на свои силы надеялся...

Прожил у меня кое-как, с грехом пополам, Андрей Марин год; отслужил свой срок, нанимается на второй и прибавки еще просит, а староста мой и говорит мне:

— Не берите вы Андрея, барин: не выйдет из него толку. Ну какой прок будет в том человеке, который родную свою мать бьет под пьяную руку? Сколько уж она на него и в волость, и земскому жаловалась; да видишь, какие ныне пошли порядки: вдове да сироте негде теперь найти суда. Не берите вы Марина!

Но я не послушался своего старосты и оставил Марина на новый срок все в той же надежде, что сумею повлиять на него и исправить.

Вскоре, однако, мне на опыте пришлось убедиться, что природа современного рабочего из набаловавшихся по шахтам и отхожим промыслам моему старосте известна больше, чем мне: с Мариным я расстался; пришлось его рассчитать за какую-то провинность едва ли даже не в самый разгар рабочей поры, когда хозяину каждый рабочий дороже золота. Какая это была провинность, я уже теперь не помню, но надо думать, что она была не из маленьких...

Прошел год. Я Марина совсем потерял из виду. В родном селе его не было. Как-то раз я спросил старосту:

— Куда девался Андрей Марин?

— Подался, говорят, опять на шахты, — был ответ.

«Ну, — подумал я, — в конец теперь доконают малого шахты!..»

Кто жил, как я, жизнью нашей черноземной деревни, тому известно, какой переворот в народной душе совершили отхожие промыслы, особенно же работы в горнозаводской промышленности. Железные рудники, каменноугольные копи, отсутствие влияния семьи и Церкви, общение со всяким уже развращенным сбродом — все это так изломало и исковеркало эту душу, что от человека, осо-

бенно молодого, уже почти ничего человеческого не осталось: как будто близость и ядовитое дыхание самой преисподней коснулись народного сердца и сожгли в нем все добро, всю правду, которыми оно столько лет жило и строило величие и славу своей Родины...

За год этот и в моей душе совершился перелом великий. В скорбях и бедах, которые тогда по великой милости Божией налетели на меня гневным и бурным вихрем, я отправился искать помощи и утешения в паломничестве по святым местам, и тут впервые Господь удостоил меня побывать в Саровской пустыни, прославленной подвигами и чудесами великого старца Серафима. Это было в 1900 году, за три года до прославления св. мощей угодника Божия. Уже и тогда живая народная вера прибегала к его молитвенной помощи и, по вере своей, получала великое и дивное.

Получил и я тогда от преподобного Серафима все, чего искало мое испуганное и наболевшее сердце.

Из этой поездки в Саров и Дивеев я привез с собою память об одном добром и благочестивом обычае крестьян нижегородских и тамбовских, который меня глубоко тронул: на всех дорожных перекрестках и деревенских околицах, где только я ни проезжал, я встречал маленькие деревянные часовенки простой бесхитростной работы и в них за стеклом — образа Спасителя, Божией Матери и Божиих угодников. Незатейливо устройство этих часовен: столб, на столбу — четыреугольный деревянный ящик с крышкой, как у домика, увенчанной подобием церковных головок, и на каждой стороне ящика по иконе за стеклом, а где и вовсе без стекла. Но мне не красота была нужна, не изящество или богатство мне были дороги, а дорога была любовь и вера тех простых сердец, которые воздвигали эти убогие видом, но великие духом хранилища народной святыни. Вот этот-то обычай я и ввел у себя тотчас по возвращении своем из Сарова в родное поместье. Вскоре на двух пустынных перекрестках, вдали от жилья, воздвиглись две часовенки с иконами на четыре страны

Божьего света, и пред каждой иконой под большие праздники затеплились разноцветные лампадки. И что же это за красота была, особенно в темные летние ночи!..

Полюбилось это и окрест меня жившему православному люду.

— Дай же тебе Господь здоровья доброго, — так стал мне кое-кто сказывать,— вишь ведь что надумал! Едешь иной раз из города под хмельком, в голове бес буровит; едешь, переругиваешься со спутниками или там со своей бабой... Смотришь: иконы да еще лампадки — опомнишься, перекрестишься, тебе доброго здоровья пожелаешь — глядь, ругаться-то и забудешь!

Пришла зима. Стали поговаривать, а там и до моего слуха дошло, что мои часовенки великую пользу принесли народу православному и в осенние темные ночи, и в зимние метели; сказывали даже, что и от смерти кое-кого спасли эти Божьи домики: заблудится человек в зимнюю вьюгу, набредет на часовенку, стоящую на распутье, и выйдет на свою дорогу. Радостны были для сердца моего эти слухи добрые... И стал народ носить к часовенкам свои трудовые копеечки, грошики свои, трудом, потом да слезами политые; положат копеечки на земле, отойдут; а кто положил, — Бог знает. Приедут старосты с объезда и привезут когда копеек 7–8, а то и больше. Что делать с ними? И покупали мы на эти деньги свечи в храм Божий, и ставили их за здравие и спасение Богу ведомых душ христианских, тайных доброхотных жертвователей. Так лет около двух совершалось это по виду малое, но по духу великое дело христианской любви и веры...

Как-то раз пришел ко мне вечером за обычными распоряжениями мой староста и между прочими событиями дня сообщил мне, что в народе говорят, будто у одной из моих часовенок стало твориться дело недоброе: стал какой-то тать поворовывать доброхотные приношения.

Очень огорчило меня это известие: страшно мне стало за христианскую душу, так глубоко павшую, что решилась она покуситься на такое святотатство.

— А не слышно, — спрашиваю, — на кого народ думает?

— Слух есть на деревенского пастуха и на его сынишку-подпаска, — ответил мне староста, — замечали будто они — то вместе, то порознь — до выгона стада, куда-то бегают раным-ранехонько в поле по направлению к часовне.

— А кто пастух?

— Да Марин Андрей, что у нас жил когда-то.

— Быть не может!.. Да разве он вернулся с шахты?

— Вернулся. Пошел ни про что, вернулся ни с чем; теперь у мужиков нанялся стеречь стадо. Он им напасет того, что и жизни рады не будут. Самоидолом он был, самоидолом и остался: какого толку ждать от человека, который и родной матери не жалеет? Вы вот все верить мне не изволили, что не будет добра из этого человека!..

Это была колкость по моему направлению за то, что, вопреки совету старосты, я попробовал было удержать у себя на службе «самоидола». Характерное это было словцо — самоидол, и в устах старосты должно было означать человека, который, ради удовлетворения своих желаний, готов на все, даже на преступление: сам, мол, для себя идол и что, значит, захочет, то и принесет самому себе в жертву...

Пробовали мы изловить вора на месте преступления — не тут-то было...

— Ты его сторожишь, а он тебя сторожит: где его поймать, когда ему сам «тот-то» помогает? — объяснил мне мой староста и махнул рукой.

Махнул рукой и я на все это скверное дело, предоставив его Суду Божию.

И Суд этот наступил...

Приходилось ли тебе, читатель, видеть когда-нибудь деревенское стадо захудалой нашей черноземной деревни? Горе одно, а не стадо! Тощие коровенки, по одной на два-три двора, зануженные зимними голодовками, тощими летними пастбищами на «пару́», выжженном солнцем, заросшем полынью и воробьятником, вытоптанном,

как ток, с ранней весны овцами; коровенки, надорванные преждевременным тёлом, сыростью и холодом зимних помещений, нуждой своих хозяев, всем горем, всей мукой современной заброшенной черноземной деревни, — и таких-то одров штук двадцать-тридцать на сотню дворов густо населенной деревни! Десятка полтора-два свиней с подсвинками; сотни с три овец да бык-полутеленок, малорослый, полуголодный — вот и все деревенское стадо. Все это едва живо, едва бродит, полусонное, полуживое, обессилевшее...

Над таким-то стадом и был пастухом Андрей Марин со своим десятилетним сынишкой.

Через родное мое село, деля его на две половины, протекала речка, извилистая, красивая, но мелководная до того, что ее местами вброд могли переходить куры. Запруженная версты три ниже села, она в самом селе еще была похожа на речку и в летнее время оглашалась целыми днями радостным криком и визгом деревенской белоголовой детворы, полоскавшейся от зари до зари в ее мутновато-бурой полустоячей воде; ну а выше села, где по лугам после покоса паслось больше на прогулке, чем на пастбище, деревенское стадо, там наша речка текла таким мелким и узеньким ручейком, что все ее каменистое дно глядело наружу. Только в одном месте, где речка под невысоким отвесным берегом делала крутой поворот, она в своем дне течением и вешним половодьем вымыла под самой кручей яму сажени в полторы глубиною и не больше сажени шириною. Это было единственное глубокое место на всем протяжении речки, что было выше села, да и то такое, что взрослому человеку его можно было без особого труда перепрыгнуть.

Подходил Ильин день. Приток копеечек к моей часовенке совершенно прекратился: кувшин все еще, видно, ходил по воду; вор не ломал еще своей головы и только нагло посмеивался да зло огрызался, когда ему делали намеки на то, что плохим, мол, делом, Андрей, ты занялся, к плохому и сына поваживаешь.

— Врете вы все,— говорил он,— да какое вам до всего этого дело? Деньги не ваши, если бы я их и брал, и не перед вами я в ответе: чего лезете, куда вас не спрашивают? Куда ходил, что делал? Больно много тут вас учителей развелось!

Перед утреней на Илью-пророка кто-то из Андреевых соседок видел, как Андреев сынишка тайком, как звереныш, бегал в поле по направлению к часовне.

— Ох, Андрей, Андрей! — не вытерпела баба. — Не сносить вам с мальчишкой головы вашей! Ты только подумай, какой нынче день! А вы на Илью да еще такими делами занимаетесь!

Обругал Андрей бабу черным словом и прибавил:

— Ступай доноси! Я тебе покажу того, что ты у меня не одного Илью, а и всех святых вспомнишь. Велики для меня дела — твой Илья!

Все это я, конечно, узнал после: не любит русский человек доносить на своего брата да и судов боится, особенно теперешних...

По усвоенному обычаю, с разрешения своего приходского священника, я стоял в тот день утреню и обедню в алтаре нашего сельского храма. Полным-полнешенька была церковь, вся залитая жарким июльским солнышком и огоньками свечечек, принесенных в жертву Богу и великому чудотворцу, пророку Божьему, от трудов и потов православного народушка. Совершилось великое Таинство Евхаристии, принесена была бескровная Жертва за грехи міра Агнца, присно закалаемого, николиже иждиваемого; священник у жертвенника потреблял Св. Дары, а наш благоговейный дьячок читал благодарственные молитвы. Народ после молебна стал уже расходиться по домам. Я что-то замедлил в алтаре, дожидаясь выхода священника... Вдруг в алтарь вбегает мальчик и прерывающимся от волнения голосом, забыв святость места, кричит:

— Батюшка, Андрей с сыном утопли!

— Какой Андрей? Что ты говоришь?

— Да пастух Андрей! на нашем на лугу, под кручей!.. Оба как есть утопли! Их качали, качали, да не откачали. Мальчишка наш там с ними был на лугу и все видел: и как бык брухнул, и как утопли...

— Какой бык? Да расскажи ж ты толком!

Но от взволнованного и перепуганного мальчишки большого толку добиться было трудно. Вот что потом узнали.

Рано поутру, после набега Андреева мальчишки на часовенку, выгнал Андрей со своим сынишкой деревенское стадо и погнал его на луг, на то место, где под кручей было в речке единственное глубокое место. Когда солнышко поднялось уже высоко и стало пригревать по-настоящему, по-июльскому, мальчишка Андрея прилег отдохнуть на бережку, над самой кручей, да, видно, как рано бегал за неправедной добычей, не выспался и заснул. Андрей в это время один пас стадо. Коровы поулеглись, разморившись от зноя; только овцы да свиньи лениво еще бродили вокруг улегшегося стада, да похаживал бык, переходя от одной коровы к другой и схватывая по дороге тощую траву отавы. В это-то время и пришел к стаду тот мальчик, которому суждено было стать единственным очевидцем кары Божией над святотатцами. И вот на его глазах бык ни с того ни с сего подошел к обрыву, где спал Андреев сынишка, обнюхал его да как подмахнет ему под бок рогами! Глазом не успеть мигнуть, как мальчишка с визгом уже барахтался в воде под кручей. Увидал это Андрей и бросился за сыном в воду, да попал на то же самое глубокое место, а плавать не умел; так оба и захлебнулись в яме шириною в сажень, как в кадушке...

Так и умерли Андрей с сыном под острою секирой праведного Божьего гнева...

Много развелось теперь на Руси Святой святотатцев: только и слышишь, что там ограбили церковь, там убили церковного сторожа, а то и нескольких вместе; осквернили место святое не только кражей и убийством, а еще и невероятным по сатанинской злобе кощунством... Волос

становится дыбом, как послушаешь или прочтешь, что творят теперь злые люди, озверевшие, утратившие в себе образ и подобие Божие!.. И пишут в газетах, и передают из уст в уста, что стынет след злодейский и нет над ними кары человеческой: ловко помогают злодеям бесы укрываться от суда человеческого!..

Пусть так. Не всегда тяготеющая Десница Всевидящего падает с такой быстротой и явной силой, как в рассказанном мною событии: Бог все видит, да иногда не скоро скажет. Терпит Господь: злодей пусть злодействует, тать пусть приходит, крадет и убивает... Но чем дольше терпит Господь, тем сильнее бьет, тем страшнее наказывает: до седьмого колена воровского семени тяготеет над ним карающая Рука Божия. И если бы можно было проследить жизнь тех отверженных, кто, по-видимому, оставлен без наказания за свое преступление, то, ей! увидали бы мы, что еще и при жизни их и до них достигла Десница Вышнего. И только тот, разве, кто в злодеяниях своих достиг меры злобы сатанинской, кто уготован огню вечному, тот только оставляется без видимого наказания до страшного часа смертного, до Страшного Суда Божьего.

Господи, помилуй!..

V.

Еще о том же.

Рассказать ли тебе еще, дорогой мой читатель, что вслед за горьким примером смерти Андрея Марина с сыном просится под перо мое и что тоже произошло некогда на моих глазах, на глазах сотни свидетелей, больших и малых, в виду и в памяти того же родного моего села Золоторева? Боюсь утомить внимание твое, но еще больше боюсь скрыть дело Божие, совершившееся, чувствуется мне, не без участия великого заступника вдов и сирот, Святителя и Чудотворца Николая. Потрудись же, выслушай!

В том же, стало быть, родном моем селе и в то же приблизительно время, когда произошло рассказанное

событие с пастухом Мариным и его сыном, в двух крестьянских семьях — Павлочевых и Стефановых совершилось нечто не менее знаменательное, а пожалуй, и еще более грозное.

Село Золотарево, Орловской губернии, Мценского уезда, в котором я жил и работал в течение восемнадцати лет и где я провел наездами свое раннее детство, юность и безвыездно часть зрелого возраста, село это делится на две половины, на 1-е и 2-е золоторевские общества. Так стали называться эти половины со времени эмансипации, а прежде, по-старинному, они звались по фамилиям помещиков, одна — нилусовской, а другая — пурьевской. В деревенском обиходе, по-уличному, эти названия сохранялись еще до самого последнего времени, когда Богу было угодно вызвать меня на иное делание: крепко еще держалась в русском крестьянине привычка к старому патриархальному быту, и плохо мирилась она с казенной безжизненной нумерацией.

Теперь все стало не то: ко всему, видно, привыкать нужно...

Так вот, в нилусовской половине в 1893 или в 1894 году, точно не упомню, дошел черед умирать одному домохозяину. Звали этого раба Божия Максимом Косткиным. Был он еще человек не старый, годам так к сорока трем, был полон сил и здоровья, но страдал одной слабостью — любил не ко времени выпить. И вот, опоздниввшись раз в кабаке, шел он ночью домой да вместо того, чтобы попасть ко двору, попал в какую-то лужу, в ней заночевал, а домой приплелся только под самое утро. С этого утра захворал Максим; стал болеть, чахнуть да, проболевши так с полгода, и помер. За болезнь Максима и без того неисправное его хозяйство дошло до окончательного упадка, так что его семейным пришлось пойти под окошко побираться. Горя великого и муки мученической хлебнула тогда семья Максима, что называется, полной чашей; а была та семья ко дню смерти Максима не маленькая:

сам больной хозяин, да баба-хозяйка, да семь девок мал мала меньше; старшей — Таньке шел в то время пятнадцатый год, по ней второй, Аксютке — двенадцатый, а за ними шли все погодки — кому девять, кому восемь, а младшей было только два года. Максимова баба, звали ее Ульяной, с больным мужем да со старшей дочерью и тремя малолетками останется, бывало, дома, а Аксютка с двумя сестренками, что постарше, и пойдут себе «в кусочки» стучать под окошки христолюбцев:

— Подайте, милостивцы, Христа ради!

И зиму зимскую ходили побираться бедняжки. Что горя-то приняли они, разутые, раздетые, голодные, в эту памятную для них зиму! Ангелы их Хранители, видно, сберегли их, оттого и живы остались...

Наступал конец Великого поста того года, когда умер Максим Косткин (он скончался летом, во время самой рабочей поры); приблизилась седмица Страстей Господних. И говорит мне мой староста, Данила Матвеевич:

— Дозвольте доложить вам, сударь! Вы ведь изволите знать Ульяну Косткину, что к нам на поденную ходит? Так не прикажете ли нам помочь ей чем да нибудь? Совсем извелась баба.

И он мне рассказал всю историю горемычной семьи Косткиных. Вошла она мне и моим домашним в сердце, и в утро Светлого дня Пасхи, возвращаясь домой от обедни, я зашел проведать горемык, навестить больного и, кстати, убедиться, так ли велика их нужда, как о том мне сказывал мой Данила Матвеевич... И с этого Великого дня порешили мои домашние дать помощь этой несчастной семье и если не поднять ее на ноги, то, по крайней мере, не дать ей умереть с голоду!..

Так-то вот печется Господь о людях!

Когда умер Максим, а через два месяца после его смерти вдова его, Ульяна, родила сына, восьмого ребенка, вся косткинская семья была принята под покровительство моих домашних и поступила на иждивение эко-

номии, на месчину[1]. И надо отдать справедливость Ульяне: не даром она с семьей своей ела харчи, и чем могла, тем и работала, отрабатывая экономии за великую милость Господню, явленную ее сиротской доле. Глядя на это, мои семейные полюбили Ульяну, а полюбив, взяли ее с семьей на полное свое попечение: завалится двор — двор поправят; там печка неисправна — печку прикажут новую сделать; то с подельной землей распорядятся отдать ее под обработку надежному человеку — дома у Ульяны работать-то мужиковскую работу было некому; там, глядишь, подати спрашивают — оплатят и подати: взялись, словом, за Ульяну как за дочь родную.

И позавидовал враг человеческого рода Ульяне, и пошли по селу суды да пересуды, кто во что горазд: совсем было извели несчастную бабу, так что хоть вовсе отказывайся от помощи и опять ступай побираться по міру, если бы не была так велика нужда с такой-то семейкой — сама девятая. Пришлось смиряться да отмалчиваться, а когда тайком и горько поплакать. Этим-то путем смирения и победила Ульяна все вражьи наветы: унялась сплетня, порешив на том, что Ульяна — колдунья и «слово такое знает». Порешила сплетня да на том и успокоилась.

Но не унялась бесовская сила и всю свою злобу и зависть перенесла в сердца ближайших к Ульяне соседей, двух родных братьев, Ильи и Сидора Павлочевых. Эти уже просто, что называется, остервенились на Ульяну. И почтительна она к ним была, даже заискивала — так нет же, видеть ее равнодушно не могли и, кажется, разорвать были бы ее готовы, если бы не знали, что за ее сиротством стоят ее покровители и не дадут ее в обиду. Но чем более им приходилось сдерживать свою злобу, тем сильнее и яростнее жгла она их сердца, прорываясь на каждом шагу соседских отношений. Чего, чего только там

---

[1] В старинных или живших по старине дворянских поместьях «месчиной» называлась ежемесячная помощь продовольствием отдельному лицу или целому семейству, впавшему в бедность.

не было!.. Кто знает, как и в чем может проявляться мелочная злоба в деревне между соседями, тот и без слов поймет, какую муку терпела Ульяна от братьев Павлочевых. Доходило иногда до того, что в припадках бессильной ярости, истощив над Ульяной весь запас ругательств, отколотив ни за что, ни про что то ту, то другую из девочек, переломив спину дворовой собаке, искалечив поросенка, курицу — словом, понатворив то или другое неистовство, они за глаза грозились мне, грозились меня поджечь, убить... Мало ли еще чего сулили мне, чтобы запугать и без того на полусмерть перепуганную Ульяну.

— Ты, такая-сякая, на своих благодетелей надеешься! — кричали они Ульяне,— так мы и им и тебе покажем; мы вам зададим! Мы потрохи-то из вас выпустим!

И ярилась, и плевалась, и злобствовала бессильная ярость осатаневшего сердца, но дальше угроз переступить не могла: свои пути у Господа, и грань их не нарушить всей силе бесовского ополчения!..

С год или немногим больше продолжалась эта ненависть, горевшая в сердцах братьев Павлочевых, не потухая, а все более разгораясь; и кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не грянул над ними гром кары Божьего Суда и гнева. В год с небольшим и следа не осталось от обоих человеконенавистников. Началось с Сидора. Шел он из кабака домой, а дело было поздней ночью; было темно; путь ему лежал через речку, а в то время через речку перестраивали мост и перестилали мостовую настилку. Был устроен рядом временный мост, по которому и ходили все трезвые люди; ну а у пьяного человека всякая бывает фантазия — и отправься сильно подвыпивший Сидор по тому мосту, который перестилался. На мосту с одной стороны доски были уже положены, но еще не были пришиты гвоздями, а с другой только и было положено, что нужно было для перехода плотникам; в промежутке же зияла четырехсаженная пропасть в самую речку. Как уж это вышло, одному Богу известно, но только рано поутру, когда вышли

плотники на работу, то, к великому своему ужасу, увидели Сидора уже мертвым: висит несчастный вниз головою над пропастью, а ноги застряли между двумя досками мостовой настилки. Так и кончил жизнь Сидор медленной, мучительной, страшной смертью.

Не прошло, кажется, и году со дня несчастной смерти Сидора Павлочева, как грозный Суд Божий постиг и другого брата, Илью. К этому времени Илья остался жить бобылем: была у него жена — умерла; сын ушел на шахты и не давал о себе известий; была еще дочь-вековуша, девушка хорошей, благочестивой жизни, — та с отцом не жила, а может быть, тоже умерла — этого я не упомню; но знаю только, что Илья в то время жил одиноким, старым, сердито-хмурым стариком, не входившим в общение ни с кем, кроме Ульяны Косткиной, своей ближайшей соседки, которую он продолжал ненавидеть по-прежнему. И вот, накануне вешнего Николы, нашли Илью Павлочева в его избе с раскроенным надвое черепом...

В местности нашей, когда произошло это событие, преступления, подобные тому, которое совершено было над Ильей Павлочевым, были крайне редки: все наше село было потрясено событием, а становой, так тот заклялся, кажется, ни пить, ни есть, пока не разыщет убийцы. Но дело это оказалось не под силу нашему становому: убийца как сквозь землю провалился, не оставив по себе и следа, хотя много перетаскали народу и в становую квартиру, и к следователю, да все понапрасну — на убийцу таки и не напали.

И решено было властями предать это дело воле Божией...

Убили Илью Павлочева 5-го или 6 мая. Труп его был найден накануне Николиного дня, а убит-то Илья был двумя-тремя днями раньше, как определил доктор, производивший вскрытие. Шел Рождественский пост. В начале декабря или в самом конце ноября, тоже, стало быть, близ Николы, то, что было не по плечу властям земным,

легче легкого разрешилось властью небесной; и разрешилось так, что мы все, бывшие очевидцами, только руками развели да ахнули. А было с чего ахнуть!

В тот год сильно затянулась у нас осень: в начале декабря о снеге не было и помину. Выпадал, правда, снежок, да тут же и таял; затем землю схватило морозцем. Разъяснилось небо, морозы усилились и комками сковали дорожную грязь: много боялись тогда, что повымерзнут озими, не прикрытые от стужи зимним покровом... На нашу железнодорожную станцию к дорожному мастеру в такую-то погоду и дорогу, заехал повидаться старичок прикащик из соседнего с моим имения. Не успел он по приезде задать своей лошади корму, как она зашаталась в оглоблях, рухнула на землю и вмиг издохла. Старичок прикащик, человек бывалый и опытный, сразу распознал, что лошадь пала от сибирской язвы и тотчас послал на село привести кого-нибудь из мужиков, чтобы закопать ее вместе со шкурой. Пришли два брата Стефановых, договорились за работу получить целковый, привели в хомуте свою лошадь, связали падаль за ноги, закрепили ее веревкой за гужи и сволокли в овраг, в укромное местечко, а свою лошадь поскорее домой, чтобы не заразилась от издохшей. Вернулись Стефановы в овраг, чтобы закопать падаль, и тут вспомнили, что ведь шкура-то тоже денег стоит: рубль-то рублем, а от шкуры-то и четырьмя можно попользоваться; кто там узнает, что она с падали? Вздумано — сделано: содрали они шкуру, падаль коекак закопали в мерзлую глину оврага, а шкуру потащили к себе домой. Дело было уже поздно вечером, и уже настолько стемнело, что можно было смело тащить добычу — никто не увидит... Вот тут-то и совершилась над Стефановыми тайна воздаяния за грех их нераскаянный, от людей скрытый, а Богу ведомый. Несли они шкуру вдвоем, да в темноте наступивших сумерек, не разглядев под ногами обледеневшего комка грязи, наткнулись на него и слетели с ног. Один из них лоб себе до крови рассек,

а другой тоже до крови поцарапал руку. Поначалу-то дело было небольшое; обтерли себе кто руку, кто лоб и пошли себе дальше, волоча шкуру с дохлой скотины; ну а потом дело-то вышло великим. Не успели они дойти до дому да припрятать шкуру, как оба стали кончаться: проникла в их кровь зараза с падали от рук, которыми они сдирали шкуру, а потом свою кровь обтирали, и как громом поразила их сибирская язва. Пока сбегали за священником, одни брат уже успел покончиться, другой, хоть и был еще жив, но находился в таком исступлении, что священнику со Св. Дарами к нему нельзя было и подступиться. Так и этот брат умер без покаяния. И так была страшна смерть его, такими она сопровождалась проявлениями нечеловеческой злобы и ненависти ко всему святому, что трепетало от ужаса сердце всех, начиная со священника, кто лицом к лицу стоял перед этой леденящей душу смертью явно Богом отверженного человека.

И не успели остыть эти два трупа, как голос народный указал на покойников как на убийц Ильи Павлочева. Все это знали, но все молчали из страха пред убийцами: это были люди, способные на всякое зло, чтобы отмстить каждому, кто бы осмелился их выдать человеческому правосудию. Ну а против правосудия Божьего кто станет? Под «вешнего Николу» убили Стефановы Павлочева, а под «зимнего» сами лежали в гробу, сраженные гневом Божиим, отверженные, страшные в своей нераскаянной злобе, бессильные принести достойные плоды покаяния...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Дописываю эти строки и слышу: в открытые окна, прорезывая сгустившийся сумрак тихой летней ночи, из монастырской больницы Оптиной Пустыни несутся в мою комнату отчаянные вопли, крики и стоны нечеловеческих страданий. И так не день, не два, а скоро уже третья неделя, как, то затихая, то с новой, удвоенной силой возрастая, вырываются из человеческой груди эти нечелове-

ческие вопли... Это терзается и мучается умирающее тело насмерть обожженного, на две трети тела обгоревшего человека, лакея соседнего с Оптиной помещика. Что за страдания, что за мука!.. И эта мука, и эти страдания сопровождаются еще такими страшными видениями, что этот несчастный, полусгоревший человек находит в себе от ужаса силы подняться и бежать от своего страдальческого ложа...

Что-то вдруг тихо стало... Не смерть ли освободительница пришла и вырвала страдальца из ада, из огненной геенны его мучений?.. Должно быть, так! Упокой, Господи милосердый, его истерзанную душу.

Сегодня я узнал, за что постигла его такая кара: он бросил свою мать, которой он был единственным кормильцем и последней опорой беспомощной старости, и бросил из-за женщины. Много раз приходила она к нему, больная, слабая, дряхлая, и всякий раз он отгонял ее, мать свою, с бесчеловечной жестокостью. В последний раз она пришла к нему недели три тому назад и из уст своего единородного сына услыхала страшное, безумное слово:

— Уйди!.. хоть бы ты сгорела!

А на другой день он сам сгорел от вспыхнувшей спиртовой лампочки кофейника, на котором он готовил кофе своему господину... Опять кричит!.. он все еще жив, несчастный!.. Помилуй его, Господи! Спаси, Господи, его душу: она раскаялась, отстрадала и прощена той, которая его породила и которая теперь его же муками страдает, терзается и плачет!.. Господи помилуй!

Оптина Пустынь, 1 августа 1908 г.

VI.

«Ангелы их на небесах всегда видят лице
Отца Моего Небеснаго...» (Мф. 18, 10).

Только чистые сердцем Бога узрят. Эти чистые сердцем могут видеть и Ангелов, им открываются и тайны Царства Небесного. Кто же, кроме детей и достигших

бесстрастия великих подвижников, может быть чист сердцем в той мере, какая потребна для зрения лица Божия и святых Ангелов Его?..

Я знал одну женщину, которая в детстве своем удостоилась видеть своего Ангела-Хранителя. По ее словам, она видела его во сне. Но сон ребенка и явь в его жизни не один ли тот же сон? где кончается и начинается то и другое? Да и вся наша жизнь, пред обетованной и грядущею для нас вечностью, не тот же ли сон?

— Было мне 7 лет, — так сказывала мне эта женщина. — Ребенком я все любила смотреть на небо, на звезды, представлять себе Ангелов, беседовать с ними, — росла я, словом, ребенком мечтательным, живущим в мире заоблачных желаний и видений. Часто во сне я видала Ангелов, но сны эти позабыла. Один только сон мне так врезался в память, что я не могу с уверенностью сказать, сон ли то был или действительность...

Вижу я, что бегу по саду, мимо нашего войновского дома, со стороны девичьего крыльца. Балкон дома с колоннами выходит в сад, и против него разбиты были три клумбы с цветами; одна из них как раз против балкона, на клумбе росли кусты белых роз. Я бегу будто по дорожке мимо балкона и вижу: из клумбы белых роз выходит Ангел; рост его высокий, стройный; крылья и одеяние белоснежные, — Ангел, словом, такой, как пишут Ангелов на иконах. Я остановилась, преисполненная изумленной радости...

Ангел подошел ко мне, взял меня за руку и повел назад к девичьему крыльцу. Я держусь за руку Ангела и вижу, что на его пальце надето обручальное кольцо моей матери, которое мать, не снимая, всегда носила на руке[1].

Указывая на кольцо, я говорю Ангелу:

— Это кольцо моей мамы?

---

[1] Наши деды и бабки в браке носили два кольца: одно — обручальное, надеваемое, по молитве, иереем при обручении, другое — венчальное, при совершении Таинства брака. Первое было плоское золотое, второе — тоже золотое, закругленное.

— Да,— ответил Ангел,— это ее кольцо. Я ее Ангел-Хранитель и иду за нею, чтобы ее увести с собою.

Я почувствовала, что это значит — навсегда, и стала умолять его, плача:

— Не бери моей мамы! не бери моей мамы! оставь мне мою маму!

На мой плач Ангел приостановился и взглянул на небо, как бы обращаясь молитвенно к Богу, но потом опять повел меня к крыльцу. А я, заливаясь слезами, все твержу:

— Не бери, не бери, оставь мне мою маму!

Так мы взошли на ступени девичьего крыльца и вошли в девичью.

В девичьей стоял длинный стол; за ним обычно работали наши крепостные девушки[1] с вышиванием и другими рукодельями. За девичьей была другая комната, а за ней — спальня моих родителей. И я сердцем почувствовала, что если Ангел переступит порог девичьей и войдет в спальню, то все будет кончено и я лишусь своей матери навеки... С воплем отчаяния я ухватилась за одежду Ангела и стала его еще усиленнее умолять не отнимать у меня мамы...

На столе девичьей лежал белый покров, обшитый серебряным галуном — таким покровом покрывают покойников.

На мой детский вопль Ангел опять остановился, обратил взор свой к небу, постоял в молчании некоторое время, потом взял со стола в руки покров и сказал мне:

— Я умолил Господа: Он оставляет тебе твою маму. А это, — он указал на покров,— это тебе Покров Царицы Небесной!

На этом я проснулась и тут же рассказала сон этот своей няне.

Мать моя в это время была тяжко больна. Родив, как я потом узнала, двойню без докторской помощи и с плохой акушеркой, она истекала кровью и была при смерти. Когда

[1] Это происходило в 1855 году.

из ближайшего города привезли доктора, то он объявил, что она безнадежна. В ночь моего видения с ней был кризис, и ей внезапно стало лучше, и она вскоре выздоровела.

Когда я вышла уже замуж и родила свою первую дочку, не прошло после того и трех месяцев, как мать моя умерла, и, умирая, говорила мне:

— Зачем ты тогда вымолила меня у Бога? Я чище тогда была.

Но кто был советником Богу?..

Так видят Ангелов чистые детские души.

II.

Глава пятая

ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ БЛАЖЕННАЯ ПАРАСКЕВА ИВАНОВНА

I.

Было это в 1900 году. В тот год один близкий мне по духу священник видел во сне великого старца Саровской пустыни иеромонаха о. Серафима, молящегося в моем доме перед родовой моей иконой Спаса Нерукотворенного. Сон этот показался настолько знаменательным, что по нем я в том же году летом впервые съездил в Саров, где в источнике о. Серафима получил исцеление от многолетней моей хронической болезни и откуда посетил и Серафимо-Дивеевский женский монастырь, любимое создание великого Саровского старца. Поездка эта мною описана была в книге моей «Великое в малом», к этой книге я и отсылаю интересующихся, а теперь поведу речь и о той, кого на пути собирания цветов с духовного луга поставил Господь предо мною еще живым и жизнетворным цветом современного иноческого подвижничества. Цветок этот была великая дивеевская блаженная, Христа ради юродивая Параскева Ивановна — Паша Саровская, она же «маменька» сестер Дивеевской обители.

Вот что пишется о ней в «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря»:

«Блаженная Параскева Ивановна, всем известная по данному ей прозвищу «Паша Саровская» и почитаемая в обители за «маменьку», родилась в Тамбовской губернии, Спасского уезда, в селе Никольском, в поместье господ Булыгиных, от крестьянина Ивана и жены его Дарьи, которые имели трех сыновей и двух дочерей. Одну из дочерей звали Ириной — нынешнюю Пашу. Господа отдали ее семнадцати лет против желания и воли за крестьянина Феодора. Ирина жила с мужем хорошо и согласно, любя друг друга, и мужнина семья очень уважала ее, потому что Ирина хорошо работала, ходила на барщину, любила церковные службы, усердно молилась, избегала гостей, общества и не выходила на деревенские игры.

Так прожила она с мужем 15 лет, и Господь благословил ее детьми. По прошествии этих годов господа Булыгины продали их другим помещикам — немцам, господам Шмидт, в село Суркот. Через 5 лет после этого переселения муж Ирины заболел чахоткой и умер. Тогда господа взяли ее в кухарки и экономки. Несколько раз они вторично пробовали выдать ее замуж, но Ирина решительно сказала: «Хоть убейте меня, а замуж больше не пойду». Так ее и оставили. Но через полтора года стряслась беда в усадьбе Шмидта — обнаружилась покража двух холстов. Прислуга показала, что их украла Ирина. Приехал становой со своими солдатами, и помещики упросили его наказать виновную. Солдаты зверски ее били, истязали, пробили ей голову, порвали уши... Ирина продолжала говорить, что она не брала холстов. Тогда господа призвали местную гадалку, которая сказала, что холсты украла действительно Ирина, да не эта, и опустила их в воду, т. е. в реку. На основании слов гадалки начали искать холсты в реке и нашли их.

После перенесенного истязания невинная Ирина не была в силах жить у господ «нехристей» и в один пре-

красный день ушла. Помещик подал заявление о ее пропаже. Через полтора года ее нашли в Киеве, куда она добралась Христовым именем на богомолье. Схватили несчастную Ирину, посадили в острог и затем препроводили по принадлежности к помещику. Помещик, чувствуя свою вину, обошелся хорошо с Ириной, желая опять воспользоваться ее услугами, и сделал ее огородницей.

Более года прослужила она ему верою и правдой, но ее возвратили из Киева уже не той, какой она была: в ней произошла внутренняя перемена, которая явилась вследствие испытанных страданий, несправедливости и получения сердечной теплоты и света у старцев в Киеве. Теперь в сердце ее жил один Бог, единый любящий, нелицеприятный и милосердный Христос, и она поняла в Киеве, к чему должны стремиться люди и единственно чем могут усладить свое сердце на земле. Ирина жила, услуживала господам, но сердце ее укреплялось одними воспоминаниями о Киеве, о пещерах, угодниках Божиих и о своем духовном отце-старце. Видно было, что горело и билось в ней сердце любовию ко Христу и духовной жизни, если она, несмотря на все ужасы ареста в остроге и шествия по этапу, не выдержала и убежала вторично от своих господ.

Через год, по объявлению, ее опять нашли в Киеве и арестовали, и пришлось претерпеть страдания острога, этапного препровождения к помещикам. Когда же она возвращена была господам, то господа не приняли ее и выгнали раздетою, без куска хлеба, на деревню. Тогда и решилась ее участь, и она вступила на путь юродства Христа ради, на который ее несомненно благословили духовные ее отцы, киевские старцы.

Пять лет она бродила по селу, как помешанная, служа посмешищем не только для детей, но и для взрослых. Тут она выработала привычку жить все четыре времени года на воздухе, голодать и терпеть стужу и... затем исчезла.

За неимением сведений лично от блаженной Паши, мы не можем сказать, где она жила до переселения в саровский лес, или она прямо туда удалилась из господской деревни. Несомненно одно, что в Киеве она приняла тайный постриг с именем Параскевы и оттого называет себя Пашей. В саровском лесу она пребывала, по свидетельству монашествующих в пустыни, около тридцати лет, жила в пещере, которую сама вырыла. Говорят, что у нее было несколько пещер в разных местах непроходимого, обширного саровского леса, переполненного хищными зверями. Ходила она по временам в Саров и Дивеев, но чаще ее видали на саровской мельнице, куда она являлась работать на живущих там монахов.

В то время она обладала удивительно приятной наружностью. Во время своего жития в саровском лесу, долгого подвижничества и постничества Паша имела вид Марии Египетской: худая, высокая, совсем обожженная солнцем, она на некоторых наводила страх, несмотря на привлекательность своей внешности: босая, в мужской монашеской рубашке, свитке, расстегнутой на груди, с обнаженными руками, с серьезным и даже строгим выражением лица, она, приходя в монастырь, казалась некоторым страшной.

За четыре года до перехода своего в Дивеевскую обитель она проживала временно в одной из окрестных деревень. Ее уже и тогда считали блаженной, и прозорливостью своею она заслужила всеобщее уважение и любовь. Крестьяне и обращавшиеся к ней давали ей деньги, прося ее молитв, но исконный враг всего доброго в человечестве, диавол, внушил разбойникам злую мысль напасть на нее и ограбить. Негодяи избили ее до полусмерти, и блаженную Пашу нашли всю в крови. Она болела целый год и уже никогда после этого совершенно оправиться не могла: боль проломленной головы и опухоль под ложечкой мучили ее постоянно, хотя она на это, по-видимому, не обращала никакого внимания.

После побоев и под старость Параскева Ивановна начала полнеть. Типичная ее наружность по временам бывала очень изменчива, смотря по настроению ее духа: то чрезвычайно строгая, сердитая и грозная, то ласковая и добрая, то грустная. Но от доброго ее взгляда каждый человек приходил в невыразимый восторг. Детски добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражали настолько, что исчезало всякое сомнение в чистоте и праведности высокого ее подвига. Облекаясь в сарафаны, она, как дитя, любила яркие, красные цвета, а иногда надевала на себя несколько сарафанов сразу... Вид блаженной Паши с вьющимися седыми кудрями и чудесными голубыми глазами привлекал внимание каждого человека...

Случаев прозорливости Параскевы Ивановны невозможно собрать и описать!..»

Вот эту-то блаженную дивеевскую «маменьку» и привел Господь меня видеть и не только видеть, но и получить от ее великих духовных даров немалую пользу для многогрешной души моей.

Когда в первое мое посещение Дивеева, в конце июля 1900 года, меня привела к блаженной наша орловская помещица, гостившая в то лето в Дивееве, я застал блаженную лежащей на кровати и до головы укрытой одеялом. Лицо ее было обращено к стене, и я его не видел. При входе нашем она, как бы в полусне, прошептала: «Божечке свечечка, Божечке свечечка, Божечке свечечка!»

Очень хотелось мне тогда отнести эти слова к себе, ибо великой в то время любовью пламенело мое сердце к Богу, но как было дерзать моим грехам позволить себе такое сравнение? Недаром же тогда моя спутница и путеводительница по дивеевским святыням говорила мне: «Не ожидала я, признаться, видеть кого-либо из вашего рода в таком месте, как далекая от міра обитель Дивеевская».

Мне ли, представителю «міра», относить было к себе великие слова блаженной, да еще на первых моих таких неуверенных и робких шагах уклонения от пути служения міру и диаволу.

II.

В январе 1902 года посетил меня Господь тяжелою болезнью...

«Одно чудо могло вас спасти», — так говорили мне впоследствии врачи, делавшие мне в то время операцию. Чудо это, по вере моей, было вновь чудом еще не прославленного тогда во святых великого старца Серафима, в 1900 году исцелившего меня силою чудотворного своего источника... Операцию мне делали в январе, в марте выпустили меня полуживого из больницы, но до самого июня я все никак поправиться не мог и был так слаб, что едва двигал ноги. И подумалось мне тогда: чудом не дал мне угодник Божий умереть, ему же, видно, дать мне и окончательное выздоровление, и я решил ехать к нему вновь в Саров и Дивеев.

На ту пору Господь послал мне и спутника в лице одного хорошей души человека из интеллигентов, потянувшихся сердцем к простоте христианского ведения, пренебрегаемой сынами и премудростью века сего. По тогдашней моей слабости мне без него ехать и думать было нечего...

12 июня мы с ним выехали из Орла, вблизи которого было мое имение, а 15-го, с остановкой на ночлег в Арзамасе, были в Дивееве.

В Дивееве мы были встречены, как старые друзья. Там еще была свежа память о первом моем появлении в обители с первой вестью о близости прославления великого ее основателя и Старца, а потому Дивеевская обитель встретила меня и моего спутника, как желанных и дорогих гостей. О моей радости увидеть, да еще после болезни, угрожавшей смертью, великое и святое это место, освященное «стопочками Царицы Небесной», и говорить нечего. На мое счастье, радость моя передалась и моему спутнику. Да как было тогда не радоваться и не гореть духом, когда во главе Дивеева еще стояла великая старица, игуменья Мария, живая летопись дивеевских

преданий, восходящих до Серафима, а от Серафима до Самой Царицы неба и земли.

— На двенадцатой начальнице, — предсказывал сиротам своим великий угодник Божий, — у вас и монастырь устроится. И будет та начальница — Мария, Ушакова родом.

Эта-то игуменья Мария в то время и пестовала, и окрыляла духом своим и чисто серафимовскою любовью всех, кто с верою и любовью припадал к святыням дивеевским. В их числе оказались и мы с моим спутником: как же было не гореть нашим сердцам ответной любовью? И, видит Бог, они пламенели...

Накануне исповеди, было это 17 июня, я зашел к матушке игумении. За беседой она неожиданно обратилась ко мне с вопросом:

— А были вы у блаженной Парасковьи Ивановны?

— Нет, матушка, не был.

— А почему же?

— Боюсь.

— А чего же вы боитесь?

— Того боюсь, дорогая матушка, что вывернет она мою душу наизнанку, да еще при послушницах ваших, и тогда — конец вашему ко мне расположению. Снаружи-то как будто я и ничего себе человек, ну а внутреннее мое, быть может, полно такой мерзости, что и самому мне невдомек, а вам и подавно, а ей, как прозорливице, все это открыто. Бежать ведь от вас мне со стыдом придется, а душе моей так хорошо здесь у вас. Пожалейте меня, матушка!

— Ну, это вы, конечно, шутите.

— Нисколько не шучу, а скорблю о своем окаянстве и боюсь обличения.

— А если я вас о том попрошу, неужели вы откажете мне в моей просьбе? Я вас очень прошу: сходите к ней. Уверяю вас, бояться вам нечего.

Что было тут делать. Пришлось согласиться.

— Благословите, матушка.

Решили на том, что я на следующий день пойду к блаженной перед исповедью. Этот день был 18 июня, день празднования Боголюбской Божией Матери, икону которой я особо чтил по следующему случаю.

В 1888 году, оставив службу по министерству юстиции, я сел на хозяйство в своем имении. Несмотря на свое воспитание в духе равнодушия к вере, даже безверия, которым отличались шестидесятые годы прошлого столетия, годы моего детства и ранней юности, — я пожелал начать новую для меня и давно желанную деятельность с молитвою. Во флигеле, только что отстроенном, в котором я поселился, не было ни одной иконы, а я уже успел пригласить местного священника отслужить молебен в моем помещении и ждал его приезда с минуты на минуту. Спросил у экономки, не знает ли она, где достать мне поскорее икону, чтобы ее повесить во флигеле...

— Да,— отвечает она,— нет ли ее на чердаке в старом доме: там сундук старой барыни (моей матери), там, помнится, есть и икона.

Сходили и принесли: оказалась старинного письма Боголюбская Божия Матерь. Нашлась там, где и думали, — в сундуке, под коврами и разными домашними вещами... Повесили икону, отслужили перед ней молебен, и началась, и потекла с него моя деревенская жизнь на родной, такой дорогой моему сердцу ниве.

Прошел с молебна месяц. Получаю от матери письмо из Москвы, пишет: «От Лидии Васильевны (старая приятельница) из Риги я получила письмо и в нем она сообщает мне, что с месяц тому назад видела во сне покойную сестру мою, которая, являясь, ей говорила: «Напишите Наташе (моей матери), чтобы она достала с чердака золоторевского дома (в имении моем) из сундука, под коврами, икону. Напишите, чтобы достала непременно».

На это письмо я ответил матери, что это уже сделано, приблизительно в те дни, когда Лидия Васильевна видела во сне мою покойную тетку. После этого я снял икону Боголюбской Божией Матери с угла, в котором повесил,

чтобы к ней приложиться. Прикладываясь, посмотрел, нет ли чего на обратной стороне ее, и там увидел сделанную рукой моей бабушки, матери моей матери, надпись: «Дочери моей Наталии».

Такова сила материнского благословения, таково значение святых икон. А ни мать моя, ни тетка, обе давно уже покойные, в силу и значение святых икон при жизни не веровали.

Икона эта сопутствует мне повсюду, куда бы стопы мои ни направляла Божия воля.

«Участь наша горько-неизвестная:
В жизни скорбь, а по смерти — страх.
Но у нас есть Мать на небесах.
Радуйся, Невеста Неневестная».

И в этот-то для меня великий день мне предстояло впервые лицом к лицу встретиться с великой дивеевской блаженной.

Утром 18 июня мы пошли с моим спутником к обедне. В будни в Дивееве обедня бывала одна в 7 часов утра. Перед тем как идти в церковь, я сказал послушнице при гостинице:

— Сестрица, сходите в келью к блаженной и узнайте, в духе ли она сегодня, тогда придите мне сказать: я хочу ее видеть. А я слышал, что когда блаженная не в духе, то лучше к ней и на глаза не показываться: побьет и самого губернатора — не посмотрит.

Кончилась литургия. Я попросил священника отслужить панихиду на могилах благодетелей, первоначальников и первоначальниц дивеевских, на чьих трудах и подвигах основалась эта святая обитель. Пока служилась панихида, ко мне подошла послушница из гостиницы.

— Блаженная сегодня в духе, пожалуйте.

— Хорошо,— говорю я,— я к ней пойду, но только не сейчас. Поставьте мне самовар: промочу горло чайком, а тогда и пойду.

Я в то время курил, и по утрам, до чаю, меня мучил так называемый «курительный кашель» и сильно пересыхало в горле. Как окончилась панихида, вернулись мы в гостиницу, напились с моим спутником чаю, вдосталь накурились. Пора было идти к блаженной. А на сердце непокойно, жутко...

— Пойдемте,— говорю спутнику,— вместе: все не так страшно будет.

— Ну уж, увольте. Я сейчас нахожусь под таким светлым и святым впечатлением от всего переживаемого в Дивееве, что нарушать его и портить от соприкосновения, простите меня, с юродивой грязью, а может быть, бранью, если не того хуже, у меня ни охоты нет, ни терпения: не моей это меры, простите...

Отказался начисто и даже на меня как будто вознегодовал. Пришлось идти одному.

Иду я к блаженной и думаю: надо будет там дать что-нибудь — дам золотой. Тут же я вынул из кармана кошелек и переложил из него один пятирублевый золотой в жилетный карман, чтобы поближе было... Вхожу на крыльцо. В сенцах меня встречает келейная блаженной, монахиня Серафима.

— Пожалуйте!

Направо от входа комнатка, вся увешанная иконами. Кто-то читает акафист, молящиеся поют припев: Радуйся, Невеста Неневестная. Сильно пахнет ладаном, тающим от горящих свечей воском... Прямо от выхода коридорчик, и в конце его открытая дверь во что-то вроде зальца. Туда и повела меня мать Серафима.

— Маменька там.

Не успел я переступить порог, как слева от меня, из-за двери, с полу, что-то седое, косматое и, показалось мне, страшное как вскочит да как помчится мимо меня бурею к выходу со словами:

— Меня за пятак не купишь. Ты бы лучше пошел да чаем горло промочил.

То была блаженная.

Я был уничтожен.

Не успел я оглянуться, как ее уже и след простыл... С полу, где она сидела, тяжело поднимались две какие-то с ней сидевшие женщины из простонародья...

Как я боялся, так оно и вышло: дело для меня без скандала не обошлось. Приходилось с позором ретироваться. Я направился было к выходу, но меня с живостью удержала за рукав м. Серафима:

— Куда это вы, не уходите, останьтесь, отец Сергий.

— Какой я отец Сергий? — отдернул я руку с неудовольствием. — Разве вы не видели, как меня приняла блаженная, не захотела даже и минуты оставаться со мной под одной кровлей... Чего же мне еще ждать у вас!

Признаюсь, нехорошее тогда зашевелилось в моем сердце чувство и против Серафимы, и против всего уклада монашеского, сразу мне представившегося в том свете, в каком его видят современные недоброжелатели. Я приостановился в нерешительности...

— Нет, не уходите... — вновь воскликнула м. Серафима с такой сердечной искренностью и горячностью в голосе, что из сердца моего сразу вылетел и рассеялся весь туман закрадывавшейся в него недоверчивости. А м. Серафима продолжала:

— Не уходите же, говорю вам, отец архимандрит Сергий. Не так вы думаете, не в обличенье сказала вам это и ушла от вас маменька: она повела вас в храм Божий: чем-то вам в нем быть, чем-то вам служить Церкви Божией. Сколько ведь уж времени не была она в церкви, а как вас увидела, так прямо туда и побежала, да и весь народ с собой туда повела. Неспроста это, и вам это в знамение служения вашего Церкви Христовой. Не уходите же, дождитесь ее, а покамест почитайте-ка нам акафист Боголюбской Царице Небесной.

Сердце мое растворилось, и я согласился читать акафист. Между богомольцами, что были в келье блаженной, нашлись и певцы, и мы с чувством сердечного умиления пропели славу Царице Небесной. Кончили акафист,

а блаженной все нет. Хочу уходить, а м. Серафима не пускает.

— Прочли,— говорит,— Матери Божией, почитайте теперь Спасителю.

Прочел акафист и Спасителю, а блаженной все нет.

— Ну уж,— говорю,— матушка, простите, больше ждать не буду.

Перекрестился на иконы, поклонился и вышел. И только успел я выйти за калитку палисадника блаженной, как в то же мгновение из собора, смотрю, вышла и блаженная, окруженная толпою богомольцев, и стала сходить по ступеням высокого соборного входа, направляясь к своей келье. Я едва успел избежать новой с ней встречи.

III.

Перед всенощной того дня (служили полиелей св. апостолу Иуде, брату Господню) я зашел к матушке игумении и рассказал по порядку все, что произошло со мною у блаженной. Матушка задумалась, а потом, помолчав немного, и говорит:

— Серафима права: неспроста все это и не так, как вам сначала показалось. Сегодня вы будете исповедоваться, а завтра причащаться: сегодня, стало быть, вам будет не до того, а завтра, — уже я вас попрошу не простой просьбой, а за святое послушание, — завтра вновь сходите к блаженной, и тогда, Бог даст, все будет хорошо. Помните же — за святое послушание, а вы ведь уже знаете теперь силу и значение послушания.

Делать было нечего, пришлось, как ни трудно было, сказать:

— Благословите, матушка.

За всенощной, перед исповедью, напал на меня дух нечувствия: как пень какой-то стоял я в церкви, рассеянно следя за богослужением и мыслями витая где-то вне времени и пространства. Тщетно старался я сосредоточить ум свой на словах молитвенных песнопений, на предстоящей

мне исповеди, сердце до того оставалось холодным, что мне становилось жутко: с чем же предстану я завтра пред Святой Чашей, за Трапезой Господней.

Вдруг сзади меня, слышу, кто-то с тихими, заглушенными вздохами стал всхлипывать, да так жалобно, что сердце мое насторожилось, — я стал прислушиваться. Чей-то тихий женский голос с мольбой взывал к Царице Небесной: «Помоги, Матушка, помоги, Царица Небесная». Смиренно, но настойчиво: твердая вера слышалась в тихом шепоте молитвенной просьбы, пресекаемой едва слышными всхлипываниями молящейся. Я обернулся и невдалеке от себя, в темном углу храма, увидел стоящую на коленях и головой припавшую к полу женщину, слабо освещенную мерцанием лампады перед иконой Божией Матери. Точно кто-то шепнул внутреннему моему слуху: «Помоги ей».

Я вытащил из кошелька все, что на ту пору в нем было — золота и серебра рублей на пятнадцать, и все это, не считая, высыпал в руку уже поднявшейся с полу бедно одетой женщины. И в то же мгновение отступил от меня томивший дух нечувствия и великим умилением истинного покаяния преисполнилось внезапно мое совсем было окаменевшее сердце. И почудилось мне, что то был мне ответный дар свыше за милостыню, испрошенную у Царицы Небесной: ведь там все на счету у Отца Небесного.

Не успела изумленная женщина поблагодарить меня, как я уже был от нее далеко — в алтаре правого соборного придела, откуда манил меня мой духовник, призывая к Таинству покаяния. И как же оно было сладко тогда по милости Божией Матери. Наутро следующего дня, после Литургии, за которой мы с моим спутником причащались, пригласили мы нашего духовника пить с нами чай на гостиницу. За беседой, слушая рассказы батюшки о преисполненном чудес прошлом Дивеева и о великом его будущем, предвозвещенном Преподобным Серафимом, вдруг вспомнил об обещании идти к блаженной. Благодушно-радостное настроение сразу меня покинуло: надо

же было случиться такому искушению. Опять стало мне жутко. Я сказал об этом своим собеседникам.

— Чего же вам бояться идти к блаженной, — сказал мне батюшка, — ведь вы сегодня со Христом: вы причастник Святых Христовых Таин — чего же вам бояться. А пойти вам к ней сегодня следует не только ради послушания матушке, но и для своей душевной пользы: блаженная, истинно вам говорю, великая раба Божия. Было время, что я не доверял ей и не хотел видеть в ней подлинного подвига юродства Христа ради. Я, недостойный иерей, имел счастье быть очевидцем святого жития и подвигов предшественницы ее, блаженной Пелагии Ивановны Серебренниковой, получившей благословение на подвиг юродства от самого великого Саровского старца, отца Серафима: та была истинная юродивая, обладавшая высшими дарами Духа Святого, — прозорливица и чудотворица. И когда, по кончине ее, явилась к нам в Дивеев на смену ее Параскева Ивановна, то я, попросту говоря, невзлюбил ее, считая недостойной занять место ее великой предшественницы. Но вскоре случилось нечто, что в корне изменило мое к ней отношение, а было дело это так: в то время дома монастырского духовенства были построены из соснового леса, бревенчатые и тесом не обшитые. От времени бревна наружных стен обветрились и дали продольные трещины — ветряницы. Был жаркий летний день. В то время у меня в комнатах цвели и уже отцветали кактусы. Я выбрасывал за окно на двор ярко-красные, как огонь, отпадавшие цветы.

Сижу я, помню, у открытого окна и читаю книгу. Слышу, кто-то вошел на двор и бродит под окнами. Взглянул: Параскева Ивановна, в одной рубахе, подпоясанная каким-то обрывком, нечесаная, со всклокоченными волосами, ходит наклоняясь к земле и что-то подбирает. Смотрю: это она подбирает цветки кактусов и втыкает их в ветряницы бревен нашего дома, а цветки оттуда выглядывают огненными языками, как во время пожара. Чувство неудовольствия на блаженную, — чего-де она здесь

шатается, сменилось страхом: а ну как она пожар пророчит. Жутко мне стало... Блаженная вскоре ушла, бормоча что-то себе под нос и даже не взглянув на меня, но чувство страха, предчувствие бедствия, нам угрожающего от пожара, у меня осталось.

Наступил вечер, мы поужинали, семейные мои стали укладываться спать, а мне все не спится, боюсь и раздеваться: все мерещатся мне цветы кактуса, огнем выбивающиеся из бревен. Семейные мои все давно позаснули, а я все спать не могу. Взялся, чтобы забыться, за книгу, было заполночь. Вдруг двор наш осветился ярким пламенем: это внезапно вспыхнули сухие как порох соседние постройки и огонь мгновенно перекинулся на наши священнические дома. Засни я вместе с прочими, сгореть бы нам всем заживо, и то едва-едва успели выскочить в одном нижнем белье, а все имущество наше сгорело до тла вместе с домом — ничего не успели вытащить. И вот, с памятной той ночи я понял, что такое Параскева Ивановна, и стал на нее смотреть уже как на законную и достойную преемницу Пелагии Ивановны. Советую и вам отнестись к ней так же, тем более таково желание и матушки игумении, которую вы вместе с нами так почитаете. А бояться вам совершенно нечего — вы со Христом. А то, хотите, я с вами вместе пойду к блаженной, чтобы вам не так страшно было? Пойдемте.

И мы пошли с батюшкой. Не отстал от нас, несмотря на свой скептицизм и брезгливость, и мой спутник и тоже решился следовать за нами.

Пока жив, не забуду я того взгляда, которым окинула меня блаженная, когда мы втроем с батюшкой вошли к ней в келью: истинно, небо со всей его небесной красотой и лаской отразилось в этом взгляде чудных голубых очей дивеевской прозорливицы. Взглянула она на меня как-то снизу вверх, слегка назад откинув свою седую непокрытую голову, да и говорит с улыбкой (и что это была за улыбка!..):

— А рубашка-то у тебя ноне чистенька!

— Это значит, — шепнул мне в пояснение батюшка, — что душа ваша очищена Таинствами покаяния и причащения.

Я и сам это так же понял.

Поприветив меня этими словами, блаженная что-то, чего я не слышал, сказала и моему спутнику, и слова ее, видимо, поразили его скептицизм; мне показалось даже, что он побледнел немного.

— Это удивительно,— сказал он вполголоса.

Тем временем, забыв, что «меня за пятак не купишь», я достал из кармана кошелек и говорю блаженной:

— Помолись за меня, маменька: очень я был болен и до сих пор не поправился, да и жизнь моя тяжела — грехов много.

Блаженная ничего не ответила. Подаю ей золотой пятирублевый. Взяла.

— Давай,— говорит,— еще.

Я дал. Она взяла кошелек из моих рук и вынула из него, сколько хотела, почти все, что в нем было серебра и золота — рублей с тридцать или сорок, — кошелек с оставшейся мелочью отдала мне обратно, взяла деньги, завязала узелком в углу своего шейного платка, открыла шкафчик под угловым киотом с образами, спрятала в него платок с деньгами, шкафчик заперла на ключ и ключ положила к себе за пазуху. Все это она делала быстро, все время бормоча что-то, как будто даже с неудовольствием, но что шептала она, того ни я, ни мои спутники разобрать не могли. Спрятав мои деньги в божницу, блаженная пошла за перегородку, где виднелась ее кровать, пошел за нею и я. На кровати лежали куклы. Одну из них блаженная взяла, как ребенка, на левую руку и стала садиться на пол, а правой рукой потащила меня за борт верхней моей одежды, усаживая рядом с собою на пол.

— Ты что же,— говорит,— богатое-то на себе носишь?

— Я и сам богатого,— отвечаю,— не люблю.

— Ну, — продолжает она, — ничего: через годок все равно зипун переменишь.

И подумалось мне: и деньги из кошелька повыбрала в жертву Богу, и перемену «зипуна» предсказывает, и на пол с собою сажает — смиряет; не миновать, видимо, мне перемены в моей жизни с богатой на бедную. Что ж, на все воля Божия, а как бы хотелось, чтобы не так это было.

Рядом с нами на полу оказался желтый венский стул. Ободок его под сидением был покрыт тонким слоем пыли. Блаженная стала смахивать пыль рукою и говорит мне, глядя пристально в глаза:

— А касимовскую — пыльцу-то стереть надобе.

И что ж тут со слов этих с моим сердцем сотворилось! Ведь как раз под городом Касимовым, лет без малого двадцать перед тем назад, я совершил великий грех, нанес кровную обиду близкому мне человеку, грех не омытый покаянием, не покрытый нравственным удовлетворением обиженного, не заглаженный его прощением. За давностью я и сам-то стал о нем забывать, а знали о нем только наши Ангелы-Хранители, да мы двое. И вдруг грех этот восстал передо мною во всей его удручающей совесть неприглядной яркости. Сердце испуганно заколотилось... А блаженная, качая, как ребенка, куклу, продолжала, глядя на меня, говорить:

— У кого один венец, а у тебя восемь. Ведь ты повар. Повар ведь ты? Так паси ж людей, коли ты повар.

С этими словами она встала с полу, положила куклу на постель, а я, потрясенный до глубины души «касимовской пыльцой», вне себя вышел от блаженной и пошел на гостиницу, дивясь бывшему. Спутники мои вышли раньше меня и куда делись, я не спросил — не до того было: только и думки у меня было, что о совершившейся великой для меня Божией тайне, требовавшей со властью восстановления правды и любви к ближнему, столь тяжко некогда мною нарушенной. Теперь уж не помню, говорил ли я после того с матушкой игуменией, и если говорил, то, что говорил — все это вылетело из памяти: великое таинство совершившегося все остальное стушевало и изгладило. Я даже не очень тогда размышлял об остальных словах

блаженной: о «зипуне», о восьми венцах, о том, что я «повар», которому надо не кушанье готовить, а «пасти людей»: пред «касимовской пыльцой» все остальное утрачивало интерес и значительность — ее-то, «пыльцу» эту, когда я оскорбленного мною человека не только упустил из виду, но даже не знал, существует ли еще он на свете.

Прошло после того шесть лет. Осенью 1908 года я от одного старого своего приятеля получил письмо и в нем следующие строки:

«Я только что вернулся из касимовских краев домой. Там встретился с Н. (с оскорбленным мною человеком). Зашла речь о тебе. Н. с большой живостью отозвался о перемене, сотворившейся в твоей душе, и отнесся с большим сочувствием к новому роду твоей деятельности (я уже стал тогда много писать в духе Православной Церкви), но в то же время высказался в том смысле, что лично твоей-то душе эта деятельность вряд ли принесет пользу, ибо на ней лежит тяжкий грех, не заглаженный покаянием и прощением».

В великом волнении я вслед за получением этого письма, в котором мне был дан адрес Н., сел и написал ему покаянное письмо. Не прошло и месяца, я получил ответ, исполненный благожелательной любви и прощения: все забыто теперь, все прощено, было написано в том ответе, — как же я, Сергей, тому рад!..

Так, за молитвы прозорливицы дивеевской, стерта была «касимовская пыльца». И как же радовалось сердце грешного Сергея!..

А с «зипуном» вышло так: шестнадцать лет на моих руках было большое сельское хозяйство, дело, которому я отдавал всю свою душу, борясь всеми силами с кризисами, которыми так чревата была жизнь и работа сельского хозяина средней полосы России. Но трудно было переть против рожна финансово-экономической политики знаменитого разорителя России Витте, направленной к разрушению крупных сельскохозяйственных предприятий, и я, один в поле не воин, ясно видел, что мне не удержать в

моих руках хозяйства. Последняя надежда возложена была на урожай большого посева пшеницы, которой в том же 1902 году обещал быть чрезвычайно обильным.

Из поездки моей в Саров и Дивеев после описанного свидания с блаженной я вернулся совершенно исцеленным от своей болезни и, забыв о перемене «зипуна», преисполненным радужных надежд на близкий уже блестящий урожай (оставалось недели две до уборки),— и вдруг страшная туча с юга, с ураганом, ливнем и градом, и конец всем надеждам. Через год с небольшим я созвал на совещание всех, с кем вел дела и кому был должен, кто верил моей честности и моему делу, и объявил, что продолжать своего дела далее не могу, не рискуя запутать и их, и запутаться окончательно самому.

Так «через годок» и пришлось мне переменить «зипун», по вещему слову дивеевской блаженной. Сказано оно было мне 19 июня 1902 года, а в ноябре 1903 года «зипун» был с богатого переменен на бедный, не ровно через год, а именно «через годок» — год с месяцами.

Стал ли я «поваром» по своей писательской деятельности, готовит ли она здоровую пищу душе православной, упасла ли она на лугу духовном хотя бы одну из овец малого стада Христова, судить о том не мне, а Богу да моему читателю. Об одном молю и прошу Отца моего Небесного, чтобы «Божечке свечка» любви моей и веры стояла прямо в Православии пред Господом и не потухала до последнего моего вздоха и оправдала меня на близ грядущем Страшном и нелицеприятном Суде Господнем.

IV.

В Дивеев вновь Господь привел меня в дни прославления великого Божьего угодника преподобного Серафима Саровского.

Приехал я туда — еще не успел остыть след царского посещения — в первых числах августа 1903 года. Прямо из тарантаса, едва успев помыться с дороги, я бросился бежать прямо к блаженной. У крыльца ее стояло душ

с десяток женщин, поджидавших, видимо, ее выхода из кельи. Не успел я взойти на крыльцо, как дверь отворилась, и из нее вышла блаженная.

— Вишь, он какой: не успел прийти, как она к нему вышла. Мы-то тут все утро толчемся, а ее все никак не дождемся, а он... ну и счастье же людям... — послышался шепот не то негодования, не то сочувствия.

Но мне не до того было, чтобы в этом разбираться, — я весь был поглощен радостью давно желанной встречи.

— Маменька,— кинулся я к ней,— как же рад я вновь тебя видеть!

Блаженная взглянула на меня и, тихо отстраняя от себя рукою, в ответ на мою радость промолвила:

— Не тот, не тот: тот с крестом.

— Как, — говорю, — не тот, все тот же, любящий и тебя, и Дивеево, я все тот же.

— А я тебе говорю — не тот: тот с крестом.

И с этими словами блаженная повернулась и пошла в келью, даже и не взглянула на стоявшую у крыльца толпу.

До сих пор я не могу понять этих слов блаженной. Что значило «не тот, — тот с крестом»? Проникла ли она тогда своим прозорливым оком в намерение мое посвятить себя Богу в священном сане (намерение это тогда у меня было) и в то, что намерению этому не суждено было осуществиться, или что снят с меня некий крест моей жизни, — до сих пор, повторяю, не уяснил я этого себе. Я понял одно, что того креста, который она на мне прозревала духовным оком, его уже на мне нет, и что потому я «не тот», каким она меня видела раньше.

Пока я недоумевал о словах блаженной, она вслед вновь вышла из кельи и подала мне из-за пазухи два сырых яйца и, вынув оттуда же пригоршню колотого сахару, отдала его женщине, стоявшей в толпе у крыльца и протягивавшей к ней младенца.

— Вишь, счастливый какой, — заговорили в толпе, указывая на ребенка, — это она ему сладкую жизнь предсказала.

А блаженная тем временем уже опять направилась в келью. Я пошел за нею. В келье она села у стола, боком к божнице и большой иконе преподобного Серафима, взяла в руки чулок и стала его вязать. Я сел у того же стола, рядом с ней.

— Маменька, тяжело мне живется: помолись за меня.

— Я вяжу, вяжу, а мне все петли спускают, — ответила она мне с неудовольствием.

Значит: я молюсь, молюсь, а мне мешают молиться грехи ваши.

— Разве я тебе петли спускаю? — спросил я блаженную. В ответ на мой вопрос, она выбранилась и плюнула. Но потом переменила гнев на милость и что-то ласковое стала шептать, быстро шевеля спицами. Я протянул к ней два серебряных рубля.

— Брать или не брать, — обратилась она с вопросом к иконе преподобного Серафима, — брать, говоришь? Ну, ладно, возьму. Ах, Серафим, Серафим! велик у Бога Серафим, всюду Серафим!

Мне даже жутко стало: так близко ко мне был здесь великий Угодник, что с ним могла говорить блаженная. Так это было величественно просто: общение міра живых на земле и отшедших к Господу. Блаженная взяла и положила мои деньги под икону Преподобного, а затем встала из-за стола, перекрестилась и ушла опять на крыльцо к народу. Я остался один за столом. Взошла старшая келейница блаженной, схимонахиня м. Серафима. Обнялись, расцеловались в «плечики». Пошли расспросы, изъявления радости свидания: ведь все мне здесь родное, дорогое, близкое, да и сам я не чужой дорогой обители, — все интересно, обо всем и всех знаемых хочется расспросить: шутка ведь сказать — больше году не видались, а тут такое великое событие, как прославление Преподобного покровителя Дивеева и приезд Царя с Царицей и царской фамилии.

— И к нам с маменькой, — сказывала мать Серафима, — пожаловали Государь с Государыней. Наша бла-

женная-то встретила их по-умному: нарядилась во все чистое, и когда они вошли к нам вдвоем, — они только двое у нас и были, — она встала, низенько им поклонилась, а затем взглянула на Царицу да и говорит ей:

— Я знаю, зачем ты пришла: мальчишка Тебе нужен — будет!

Я затем вышла, а они втроем остались с блаженной и часа два беседовали. О чем беседовали, то и для всех осталось навсегда тайной.

Это мне сама мать Серафима рассказала дней десять спустя после отъезда царской фамилии из Дивеева. Ровно через год после этого, молитвами преподобного Серафима, Господь даровал первенца-сына, а русскому народу — наследника Царскому престолу. Государыне же, как мне было известно, целый ареопаг светил медицинского міра после бывшей у нее ложной беременности предсказал, что у нее детей уже больше не будет.

— Матушка, — спросил я м. Серафиму, — что означать должны собою два яйца, что мне дала блаженная?

— А какие яйца-то — печеные или сырые?

— Сырые.

— Ну, это к добру: вам, значит, предстоит с кем-то вдвоем новая жизнь и ваша жизнь тогда пойдет по-новому, по-хорошему. Вот когда она даст кому печеное яйцо, так это плохо: смерть тому человеку и всякие скорби перед смертью. А сырое яйцо — это залог новой жизни, два яйца сырых — новая жизнь вдвоем. Уж не свадьбу ли она вам напророчила? Похоже ведь что так.

А у меня и помысла не было о женитьбе: в сорок ли с лишним лет, как мне тогда было, думать было о свадьбе.

Прошло три года, и 3 февраля 1906 года я женился. И какую же радость послал мне Господь в лице моей жены и всей последующей затем совместной с ней новой жизни. Истинно. Богодарованная и, как Божий дар, чудная, благословенная жизнь!..

В том же 1906 году летом, когда жил я с женой на Волге в Николо-Бабаевском монастыре, я писал в Дивеев

Елене Ивановне Мотовиловой, вдове сотаинника преподобного Серафима Николая Александровича Мотовилова, и просил ее сходить к блаженной и спросить, как жить дальше. Блаженная ответила:

— Пусть Бога благодарит да молебны служит.

И по слову ее, мне, как показала впоследствии моя жизнь, другого нечего было и делать, как Бога благодарить да служить Ему благодарственные молебны: не жизнь пошла, а одно великое чудо безмерного милосердия Божия.

V.

Начав еще с 1900 года проповедовать сперва устно, а затем и печатно о близости явления в міре антихриста и Страшного Суда Господня, я неоднократно смущался тем, что, не имея помазания от Святого, будучи рядовым мирянином, я беру на себя дерзновение возглашать міру о таком высоком предмете, о котором, за исключением уже умолкнувшего навеки о. Иоанна Кронштадтского, молчит вся русская церковная кафедра. Кто я? да имею ли я право? — такими и подобными им вопросами задавался я и все просил и молил Господа, чтобы на пути моей проповеди встретить мне такого человека, устами которого, по вере моей, глаголал бы мне Бог. Простой авторитет, даже пастырский, архипастырский и старческий, не утверждаемый на лично и мне достоверно известной святости, и обладание высшими дарами Духа Святого — прозорливостью и подобными — для меня был бы недостаточен, ибо «тайна беззакония», деющаяся в міре, и степень ее развития мне по изучению этого вопроса трудом всей моей жизни, была известна ближе и изучена тщательнее, чем кем-либо из них. Удостоверение мне требовалось свыше — по Бозе, а не от премудрости человеческой, как бы высока она ни была. И Господь внял убогой просьбе моей и послал мне этот высший авторитет в лице все той же великой дивеевской блаженной, Христа ради юродивой Параскевы Ивановны, святости и истинно благодатной

прозорливости которой я веровал так же, как некогда преподобному Серафиму Саровскому веровал исцеленный им симбирский совестный судья, Николай Александрович Мотовилов. Мне нужно было знать и утвердиться в том, переживаем ли мы или нет действительно последние дни земного видимого міра? Кончается ли его «седьмое лето», о чем еще в 60-х годах прошлого столетия писал в Оптину Пустынь бывший обер-прокурор Святейшего Синода граф Александр Петрович Толстой[1], или еще долго стоять міру долготерпением Божиим? У Господа ведь тысяча лет, яко день вчерашний...

На все эти вопросы Господь мне, верую, Сам дал ответ 30 июня 1915 года устами Параскевы Ивановны, в день памяти Собора св. апостолов, в святой Дивеевской обители, за два месяца до праведной кончины великой прозорливицы. А было это так.

На Петров день 1915 года мы с женой, отговевши в Саровской пустыни, были причастниками Св. Христовых Таин и в тот же день со старой приятельницей моей жены, графинею Е. П. К., в имении которой по соседству с Саровым и Дивеевым гостили, отправились на лошадях графини в Дивеев.

Не доезжая верст шести до Дивеева, на перекрестке дорог в Дивеево и в свое имение старушка графиня, почувствовав себя утомленной, решила отпустить нас в Дивеево одних, а самой вернуться домой. Прощаясь, она передала моей жене гостинец, который везла было для блаженной Параскевы Ивановны — сколько-то в мешочке свежих огурцов и молодого картофелю. Еще в мае графиня была в Дивееве, и тогда ей дала блаженная заказ на этот гостинец.

«Привези мне,— сказала она графине,— свежих огурчиков и молодой картошки».

В мае для этих овощей было слишком рано, а к концу июня на паровых грядах и то, и другое подрасти уже успело.

[1] См. книгу «Близ есть при дверех».

Взяли мы этот гостинец и одни поехали в Дивеев.

Последний раз я там был в 1904 году. Одиннадцать долгих лет прошло с тех пор, и сердце мое трепетало и радовалось близости долго желанного и жданного свидания, в смутном ожидании от него чего-то для меня значительного и важного. Особенно этого я ожидал от великой блаженной, чудесную прозорливость которой я неоднократно уже успел испытать на себе.

В Дивееве, к великой моей радости, кто знал меня раньше, не успел забыть, и хозяйка гостиницы, матушка Анфия, встретила нас как самых дорогих, любимых родных. Сейчас же с дороги закипел самоварчик, подали закусить. Пришла сама матушка хозяйка.

— А у нас горе, — сказала она, — блаженная наша почти при смерти. Вчера ее причащали, а сегодня соборовали.

— Значит,— испуганно спросил я,— ее видеть будет нельзя?

— Пожалуй, что и так. Вот чайку откушаете, сходите ко всенощной, а там видно будет: может быть, к ней и зайти будет можно, — успокоила мою скорбь матушка.

Отстояв всенощное бдение, которое правилось Собору святых апостолов, мы с женой, в сопровождении послушницы, прошли в домик блаженной.

Был душный, жаркий вечер. Несмотря на близость заката, жара не сдавала, а в келлии блаженной Параскевы Ивановны было натоплено так, как зимой, и сама она, когда мы вошли к ней, лежала спиной ко входной двери и под целой горой одеял и теплой одежды. Ни лица ее, ни даже облика человеческого под этой грудой ваточников разглядеть было нельзя, а в температуре кельи и дышать было невозможно. Мы все-таки минут пять постояли у двери и были утешены келейницей блаженной, сказавшей нам, что «маменьке» много лучше после соборования и что завтра, Бог даст, она, быть может, даже и встанет.

На следующий день в конце обедни прибежал в церковь, узнав о нашем приезде, прежний мой Дивеевский

духовник, отец Иоанн Дормидонтович Смирнов, родной племянник сотаинника преподобного Серафима, протоиерея о. Василия Садовского. И что же это была за радостная встреча!..

Кончилась Литургия. После заветных дивеевских могилок мы втроем с о. Иоанном пошли к блаженной. Увидим ли мы ее? Познает ли она своим прозорливым оком то, чего ждет от нее душа моя и что она, блаженная, ей откроет? Не без трепета переступал я порог ее кельи. Еще нестарая келейница, которой я раньше не знал (м. Серафима уже давно скончалась), встретила нас и обрадовала словами, что «маменька» встала и что ее нам видеть можно.

Когда мы вошли в комнату блаженной и я увидал ее, то прежде всего был поражен происшедшей во всей ее внешности переменой. Это уже не была прежняя Параскева Ивановна, это была ее тень, выходец с того света. Совершенно осунувшееся, когда-то полное, а теперь худое лицо, впалые щеки, огромные, широко раскрытые, нездешние глаза, вылитые глаза св. равноапостольного князя Владимира в васнецовском изображении Киево-Владимирского собора: тот же его взгляд, устремленный как бы поверх міра в премирное пространство, к престолу Божию, в зрение великих тайн Господних. Жутко было смотреть на нее и вместе радостно.

На нас она даже не взглянула, устремив свой взор — показалось мне, — грозный — мимо нас, далеко за пределы стен ее кельи. Сидела она в конце стола, в святом углу, одетая так, как я ее не видывал никогда одетой: торжественно и важно, празднично — в розовый капот и с чепцом на голове. И поза ее, и одежда, и весь ее вид, сосредоточенно-серьезный — все это как бы говорило моему сердцу, что этот прием ее и то, что произойдет на нем, будет последнее и наиболее значительное, что когда-либо я получал от духа великой дивеевской блаженной.

По левую руку, под локтем блаженной, находился конец довольно длинного стола, и на нем, у самой ее руки, была поставлена круглая фаянсовая миска с молоком. К ней

блаженная сидела боком. Прямо перед ней, под прямым углом со столом, — рукой достать — стоял диван, вчерашнее ее ложе. У ручки дивана приставлены были две тоненькие ореховые палочки. Над головой блаженной висели иконы. Помолившись на иконы и поклонившись блаженной, мы сели за одним с ней столом в таком порядке: у угла стола, рядом с блаженной, села моя жена, вторым, рядом с нею, о. Иоанн, а за ним, на противоположном конце стола, третьим — я.

Не глядя на нас и как бы не обращая на нас никакого внимания, блаженная, едва-едва мы переступили порог ее кельи, быстрым движением руки отодвинула от себя миску с молоком и что-то почти беззвучно прошептала губами. Стоявшая тут же келейница так же быстро из соседней комнаты принесла и рядом с миской с молоком поставила такую же круглую белую фаянсовую миску с теми огурцами, которые накануне по приезде мы послали блаженной. Огурцы, как я заметил, были в миске разложены в порядке, а не как зря, и поверх их лежал очищенный и продольно разрезанный огурец.

— Посолить! — опять едва слышно прошептала блаженная.

Келейница подала и рядом с миской поставила солонку.

— Ложку!

Подана была круглая деревянная ложка.

— Отчего не серебряная?

Деревянную переменили на серебряную. И тут, вслед, началось нечто для меня совершенно непостижимое: сняв верхнюю половину очищенного и разрезанного огурца, блаженная испод ложки опустила в солонку и, сделав вид, что исподом этим солит, щепотью посолила огурец, стала от него откусывать беззубыми деснами по кусочку, быстро пережевывать и пережеванное бросать то в миску с молоком, то в стоявшую у ее ног плевательницу. Все это она делала попеременно и как-то необычайно быстро, точно торопясь, пока не дожевала и не доплевала и последнего кусочка обеих половинок огурца.

Я смотрел, старался уразуметь приточность действий блаженной, сердцем чувствовал, что весь их символизм относится ко мне, что это для меня крайне важно, чувствовал, но совершенно ничего понять не мог.

— Маменька, — решился я тут возвысить свой голос, — можно мне взять огурчика?

Тут блаженная впервые обратилась к нам лицом (раньше сидела в профиль), взглянула на меня и довольно громко сказала:

— Можно.

— А мне, — спросила жена, — тоже можно?

— Можно, — и прибавила, глядя на нас обоих, — вместе.

Мы поняли, что это значило, чтобы мы оба взяли один огурец и съели бы его вместе. Так мы и сделали, съев его вдвоем, как он был неочищенным и непосоленным.

Следом за нами и о. Иоанн спросил:

— А мне можно?

— Можно, — ответила блаженная.

Ближе всех к миске с огурцами сидевшая, моя жена протянула было руку, чтобы подвинуть миску ближе к о. Иоанну, но блаженная быстро схватила одну из стоявших перед ней палочек и коснулась ею головы моей жены, делая вид, что хочет ее ударить, и как бы показывая этим: не твое, мол, это дело! Жена покорно склонила под палку свою голову, и блаженная тотчас ее поставила на прежнее место. О. Иоанн так огурца и не получил.

Вдруг блаженная, устремив грозный взор в сторону изголовья своего ложа, как бы увидев там кого-то для нас невидимого, схватила другую палку подлиннее и ткнула ею в том направлении, точно отгоняя или поражая этого невидимого. Затем, ставя палку на место, она обратилась к жене и сказала:

— Что ж ты не вяжешь?

— Это значит,— объяснил шепотом о. Иоанн,— что ты не молишься.

Потом, выйдя из кельи блаженной, жена мне сказала, что она до этого втайне творила молитву Иисусову, но, заинтересовавшись последним действием блаженной, внезапно ее оставила. Не утаилось это от прозорливого ока блаженной: тут же заметила и обличила.

Вслед за словами: «Что ты не вяжешь?» — блаженная вдруг обернулась ко мне и жестом и выражением лица показала что-то, для нас непонятное. Жене представилось, что она этим хотела показать, что я в своих исканиях правды Божией и ее разумения хочу все знать — жажду познания, а я понял этот жест так, что мне угрожает или будет угрожать какая-то страшная опасность, но что она эту опасность устранила, отогнав «врага» своей палкой, а жене наказав не оставлять молитвы о муже[1].

После этого блаженная взяла в руки миску с огурцами и оставшиеся в ней огурцы разложила на дне ее, образовав из них полный круг, и стала их считать, отсчитывая справа налево неимоверно отросшим ногтем указательного пальца правой руки. Медленно их отсчитывая по одному, она насчитала их семь, отставила миску и, тем же пальцем указывая пред собой, с какою-то торжественною таинственностью промолвила:

— Семь!

Потом вновь с тою же серьезностью и в том же порядке пересчитала огурцы в миске и опять так же и с тем же жестом, указывая вперед, произнесла:

— Семь!

И, обратившись к нам и наклонив голову, развела руками в обе стороны жестом, показавшим нам или что она нам все открыла, или что всему пришел конец.

На этом мы стали прощаться, прося молитв блаженной, она в ответ:

---

[1] Последующая наша жизнь, особенно во время революции, показала, что мое предположение было ближе к истине и что только молитвами блаженной и моей жены мне и удалось сохранить свою жизнь от угрожавших ей опасностей.

— Простите, что плохо поприветила! Стара, больна стала. Не я звала — сами пришли!

Тут келейница поднесла было коробку с колотым сахаром, полагая, вероятно, что блаженная раздаст нам по кусочку «для сладкой жизни», но она на нее не обратила никакого внимания, да и мы с этого мгновения, видимо, перестали для нее существовать: духом она уже успела уйти туда, куда нам еще доступа не было.

Когда мы уходили от блаженной, келейница успела нам сказать, что как раз перед нашим приходом блаженная потребовала к себе наши огурцы, собственноручно отсчитала девять штук, расположила их по порядку в миске, очистила один из них, разрезала продольно и положила сверху. Ясно было, что это было сделано неспроста и должно было иметь некое символическое значение для всех нас, для меня же в особенности, как по моему деланию на ниве Христовой, так и по вере моей к блаженной. Символику эту мы видели, но ключа к ней не находили, а ум оказывался несостоятельным и отказывал в разумении без озарения свыше.

— Ну, что ж! — услышал я позади себя голос о. Иоанна,— ну, что ж! Все это хорошо: ведь вот, Сергей Александрович, блаженная вам дала вкусить от своей трапезы — это хорошо!

— Хорошо-то оно, может быть, и хорошо, — ответил я, — да вот беда-то в чем, что символику-то ее я вижу, а разуметь не разумею, хотя чувствую, что в ней для меня заключен какой-то таинственный и важный смысл. То-то мне и горе, что хочу понять, надо понять и не понимаю. Вот только дважды ею повторенное слово СЕМЬ как будто дает какой-то ключ к загадке, а все же я как в темном лесу и выбраться из него не умею.

— Семь, — сказал мне на это о. Иоанн,— число священное и собою означает «ИСПОЛНЕНИЕ ВРЕМЕН».

Это слово о. Иоанна, ***духовника моего и блаженной***, и было для меня тем озарением свыше, которого так ждала душа моя: как только произнес батюшка слово: «исполне-

ние времен» — все мне вдруг стало как день ясно. Понял я тут, что все то, чего я искал и домогался как Божьего откровения об «исполнении времен», о близости явления міру антихриста и Страшного Суда Господня, все то из уст великой дивеевской прозорливицы, как из уст Божиих, и получил я, да еще в такое для нее великое время, когда она причащением и соборованием готовилась к переходу в вечность к Отцу Небесному, во Своей власти положившему времена и сроки, установленные Им для всего мира.

«Семь,— сказал о. Иоанн,— число священное и означает собою исполнение времен». Я и сам это знал давно, а пришло, однако, это толкование как ключ к символике блаженной, не мне, а иерею Бога Вышнего, который «сего же о себе не рече, но архиерей сый лету тому»[1] как священник, и притом как общий наш с блаженной духовник. По тому же слову о. Иоанна открылось мне в словах и действиях блаженной следующее.

Провидя даром благодатного прозрения, чего именно искало от Бога мое сердце, а также и то, что Промысл Божий для утверждения в вере моей и делании приведет меня к ней, прозревая во все, что должно было быть связано с моим приездом и к графине, и к ней, она наперед заказала графине доставить ей все, над чем она символически впоследствии должна была утвердить меня в моих ожиданиях и проповеди и на ожидания эти и проповедь наложить ясную для меня печать истинности, благословить и утвердить вышним благословением.

Получив огурцы, блаженная собственноручно отобрала из них девять штук, один очистила от кожи и, разрезав продольно, положила его поверх остальных неочищенных. Огурец под кожей своей и мясом скрывает в семенах своих тайну жизни и потому удобен для символизирования той тайны мировой жизни, о которой я вел и веду проповедь свою доселе.

По климату Нижегородской губернии, других спелых к этому времени плодов, подходящих к данной цели не было,

[1] Ин. 11, 54.

потому и выбраны были блаженною огурцы, созревавшие к концу июня только лишь в культурных хозяйствах, где, как у графини, были и парники, и паровые гряды. Перед нашим приходом, как бы знаменуя для моей проповеди важность и значение предстоящего свидания, блаженная, несмотря на болезнь и слабость, приоделась так, как редко и только в особо торжественных случаях одевалась, и заняла место в святом молитвенном углу. Не для меня, конечно, все это сделано блаженною, ибо я — ничто, а для освящения проповеди, получившей Божиим изволением широкое распространение в верующем мірe. Так некогда преподобный Серафим утверждал и освящал Н. А. Мотовилова в разумении великой его с ним беседы о цели жизни христианской, говоря ему: «Не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого міра, чтобы все, сами утвердившись в деле Божием, и другим могли быть полезными»[1].

Так некогда, 14 июля 1906 года, при последнем моем свидании с о. Иоанном Кронштадтским в Николо-Бабаевском монастыре, и я, грешный, получил его благословение на делание мое. Не для меня, а для «целого міра», таким образом, облекла блаженная в такую торжественность наше свидание. которое Господь освятил, верую, в знаменование важности его значения и ею самою, и присутствием при этом свидании Своего иерея, общего нашего с блаженной духовника, племянника ближайшего друга и сотаинника самого великого основателя Дивеева, преподобного Серафима Саровского.

При входе нашем перед блаженной стояла миска с молоком. Как только мы вошли, она ее, не глядя на нас, а как бы повинуясь велению свыше, отодвинула от себя и поставила рядом с нею миску с огурцами, знаменуя тем, что нас надобно кормить не молоком, а твердою пищей сокровенных тайн Божиих[2].

Огурец очищенный и продольно разрезанный, положенный поверх прочих, который она будто бы ела, дол-

---

[1] Кор. 3, 2; Евр. 6, 13–14.

[2] «Великое в малом», изд. 1911 г., стр. 204.

жен был знаменовать, что ее твердая пища познания тайн Божиих выше познания других и очищена ее преподобно-мученическим житием, и потому Божия тайна ей так же открыта, как открыта внутренность во всю длину разрезанного огурца.

Требование блаженной — «посолить» — должно было означать, что познание тайн Божиих осолено в ней не только ее житием, но Божией благодатью, т. е. разумение их дано ей от Бога свыше.

Требование серебряной ложки должно было означать, что как литургийное преподание Тайн Христовых, так и приятие осоления благодатию должно быть преподаваемо при посредстве благородного металла — серебра или золота, а не простого дерева.

То, что блаженная не внутрь себя принимала разжеванные кусочки огурца, а выплевывала их в руку и бросала то в миску с молоком, то в плевательницу, должно было знаменовать, что ее «твердая пища», а быть может, и моя проповедь поступают в духовное питание в большинстве случаев или тем, кто духовно способен питаться только молоком, или же тем, кто изблевывает ее в попрание, как бы в плевательницу, в посмех и глумление; иными словами, что толкование таин судеб Божиих уже не может, за исключением только лишь малого стада избранных овец Христовых, обрести себе достойных слушания и тем не менее оно необходимо, и притом неотлагательно, спешно, подобно той быстроте, с которой блаженная совершала это свое приточное действие. Недаром же сердце мое чувствовало, вопреки разуму неразумевающему, всю важность и глубину значения этих символических действий блаженной.

Данное мне затем разрешение взять огурец и съесть его вместе с женой должно было знаменовать, что и я с подружием моим приобщился познанию тех же таин, что и блаженная, но не в ее, однако, мере, не в мере очищенности ее духовного зрения и осоления Божией благода-

тью. Это было показано тем, что огурец наш не был ни очищен, ни посолен.

Разрешение вкусить от трапезы блаженной было, как иерею, дано и о. Иоанну, но ему не пришлось им воспользоваться по причинам индивидуальным и мне недоведомым, быть может, просто в силу отсутствия у о. Иоанна особого интереса к вопросам этого порядка.

Жене моей блаженной преподан был урок не учительствовать: не предлагать своих услуг «освященным» — иерею — к уразумению Богооткровенных таин.

Отогнание палкою и угроза ею некоему «невидимому» и указание жене моей молиться — «вязать» — могло знаменовать какую-то опасность, угрожавшую мне от того «незримого», которого она отогнала своею силою, данною ей благодатию свыше, и молитвами моей жены. Кому известна моя деятельность по раскрытию «тайны беззакония» и обличения ее служителей, тот поймет, от кого и за что могла грозить мне опасность.

Заключительным же действием блаженной был счет оставшихся на дне миски и расположенных в виде круга огурцов. Их оставалось ровно семь. Толкование значения этого священного числа уже было дано о. Иоанном. Значение его — «исполнение времен» — ясно и указывает на выяснение всей глубины — дно миски — открываемой тайны, заключающейся по приточному толкованию блаженной в том, что круг земного жития уже заключен, что *времена и сроки ихже положи Отец в Своей власти* (Деян. 1, 7) уже окончились, и наступил — жест рукою — конец, что блаженною мне и было открыто.

Дважды повторенный подсчет огурцов и дважды повторенная цифра 7 могло означать, что сие истинно есть слово Божие и что вскоре Бог исполнит сие (Быт. 16, 32).

Важнее же всего во всем здесь изложенном было то, что по глубокой вере моей Господу Богу угодно было явить мне через великую блаженную старицу, а через меня, по слову преп. Серафима Мотовилову, — «всему міру, что

времена уже исполнились, что антихрист близок, что Страшный Суд Господень — «близ есть при дверех».

Два с половиною месяца спустя после великого для меня дня 30 июня 1915 года, в половине сентября того же года, великая дивеевская блаженная прозорливица, Христа ради юродивая, 120-летняя старица Параскева Ивановна, успе о Господе, а в декабре 1916 года 4-м изданием вышла в свет моя книга «Близ есть при дверех», волею Божиею ставшая известною и Старому, и Новому Свету — «всему міру».

VI.

«Глас хлада тонка».

В №№ 346–348 «Троицкого Слова» была помещена повесть моя о скончавшейся 22 сентября 1915 года великой дивеевской блаженной Параскеве Ивановне (Паше Саровской). В повести этой я как верный списатель поведанных в ней событий моей жизни, к которым была прикосновенна блаженная прозорливица, не обошел своим воспоминанием и волновавшие меня в то время мысли и чувства. Рассказывая о посещении мною блаженной, когда она убежала от меня в собор со словами: «Меня за пятак не купишь» и проч., я помянул о келейнице ее, теперь тоже уже покойной, монахине м. Серафиме, и о тех чувствах, которые были вызваны в моем сердце ее отношением к бегству блаженной в связи с моим к ней приходом. «Меня, — писал я, — так и передернуло от этих причитаний м. Серафимы: «за деньги,— подумалось мне, — льстивой монашке все обелить можно».

Из хода дальнейшего повествования можно было усмотреть, что «искренность, ясно слышавшаяся в голосе м. Серафимы», изменила до некоторой степени мое дурное расположение духа, впечатление, тем не менее, от слов статьи моей о «льстивой монашке» осталось в силе (по крайней мере, в моей душе), и мне, уже по напечатании моего рассказа, казалось, что я хотя и невольно, а все-таки погрешил перед памятью матушки Серафимы, недо-

статочно очистив ее от наброшенной на нее тени подозрения в сребролюбии и лукавстве. А между тем мать Серафима по высоте своего подвига как келейницы блаженной и по жизни своей сама была почти как блаженная. Так о ней мне и покойная старица игумения, м. Мария, говорила:

— Серафима у нас тоже как блаженная.

И было мне, что называется, не по себе, хотя формальной вины я на своей совести и не чувствовал: грубого нарушения закона Христовой любви и Божьей правды не было, а тонкое — сердцем ощущалось и сердце беспокоило, как бы налетом легкого, воздушно-сквозного облачка. И искало сердце, как бы найти ему путь к исполнению правды Божьей поцелуем любви Христовой памяти почившей.

И путь нашелся: указан был перстом Божиим незамедлительно и едва ли не чудесно. 12 декабря, на день святителя Спиридона Тримифунтского[1], подали мне почту, и среди писем, полученных в тот день, я нашел пакет с почтовым на нем штемпелем «Кустанай, Тургайской области» и с надписью: «Сергиевский Посад. В редакцию «Троицкого Слова» для передачи Сергею Александровичу Нилусу, адрес коего неизвестен». Внизу пакета подпись: «От священника Александра Седых». Распечатываю пакет и читаю:

«Дорогой Сергей Александрович! Простите, что, не будучи знаком, решился написать вам. К этому побуждают меня ваши литературные труды, которые мне являются как бы родными, так как говорят о близких моему сердцу местах. Я вторично переживаю то, что перечувствовал в 1903 г. в Сарове и Дивееве, за что весьма вам благодарен. Прочитав сейчас в № 346 «Троицкого Слова» ваше «На берегу Божьей реки», где упоминается м. Серафима, послушница «маменьки», я немедленно подвигся духом написать вам, чтобы, если найдете возможным, к вашей «реке» присоединился еще одни маленький, но чистенький ручеек. Дело в следующем.

Когда я в 1903 году был в Саровской пустыни на открытии мощей Преподобного, то прожил там с 11 июня

[1] См. о нем в книге «На берегу Божьей реки», 348 стр.

по 27 июля (уж очень хорошо там!). За это время два раза пешком (труда ради бденного) ходил в Дивеево. В первый раз я был в июне месяце и имел намерение зайти к блаженной, но, постояв около кельи и видя массу жаждущих ее видеть, я подумал: зачем буду беспокоить блаженную? Вопросов неразрешимых у меня нет; в Бога и Православную Церковь верую всею душою. Правда, грешный я человек, но для этого я поговею здесь. С этою мыслью я отправился к себе в нумер.

По дороге у меня явилась мысль: да! все это так: я верю. А как было бы хорошо получить подтверждение этой веры хотя бы каким-нибудь маленьким откровением через прозорливых! Но тут же я счел такую мысль искушением Бога, грехом, хотя сердце так сладостно желало этого. И что же? ведь не оставил Господь этой тайной мысли без ответа, и не дальше как на другой день я получил то, чего не только не искал, но и не смел просить, а пожелал лишь и то как бы украдкой.

Когда на следующий день я вышел из собора после Литургии, то увидел какую-то монахиню (потом я узнал, что это была м. Серафима), окруженную богомольцами. Она ходила между ними и просила у кого — сухарик, у кого еще чего. Я остановился в сторонке и стал — прямо скажу — любоваться этим, как картиной. Меня приводил в умиление вид монахини: спокойная, кроткая, с такими добрыми-добрыми глазами, с простою речью, она как бы говорила этим своим видом: бросьте суету, стремитесь к небу и будете счастливы! Глядя на нее, я даже подумал: уж не Паша ли она? Но нет, — та седая и уже старая, а эта много моложе. В это время она тихо подошла ко мне и сказала:

— Дай копеечку! Я знаю, у кого что просить.

Я достал кошелек и дал ей монету, а сам подумал: это и неудивительно — по одежде можно узнать.

— А был ли ты, — спросила она, — в келье матушки Александры?[1]

[1] Основательница Дивеевского монастыря, в міру вдова полковника, Агафья Семеновна Мельгунова.

— Нет, — говорю.

— А в келье батюшки Серафима, что за канавкой, был?

— Нет.

— А на канавке?

— Нет, — говорю, — нигде не был, матушка.

— Ну, — говорит, — сходи непременно, везде побывай.

— Слушаюсь, матушка, побуду непременно.

— Ну, а теперь, — говорит, — пойди, попей тепленькой водички: так Богу угодно (это ее точнейшие слова, которых я не забуду до гроба).

И она пошла дальше. Отправился и я к себе в нумер. Иду и думаю: что это за напутствие? Если это предсказание, то пойду и напьюсь чаю, — только и будет всего без всяких предсказаний. Подумал и бросил думать.

По дороге к гостинице я стал соображать, что мне делать, Завтра, — думал я, — я должен причащаться Святых Христовых Таин. Дома я готовлюсь к этому всю седмицу, а тут вовсе без говенья: как-то неловко! — надо поговеть, хоть этот день один. В нумер к себе я не пойду, чтобы мне не подавали монастырского сытного обеда; пойду лучше в лавочку, за ограду, куплю себе чего-нибудь из съестного попроще, съем немножко и потерплю до завтра.

Вышел я за ограду, а лавки, смотрю, заперты: был какой-то праздник, и торговли не было. Что тут делать? Со мною была маленькая сумочка, а в сумочке обычно необходимая провизия: чай, сахар и корки хлеба; на этот раз в ней только и было, что одна просфорка да кусочек сахару. За лавками был чайный барак, и я направился туда, в надежде напиться там чаю, чтобы не беспокоить служащей при гостинице подавать мне одному самовар в нумер. В бараке сестра с обычной приветливостью принесла мне два чайника: один большой с кипятком, а другой маленький, — я подумал — с чаем. Посмотрел, а там чаю не было ни крупинки. Это меня озадачило.

— Сестрица, — обратился я к послушнице, — а где же чай?

— Да у нас, братец, — ответила она, — не полагается: каждый пьет чай свой.

А у меня свой чай весь вышел. Вот тебе, думаю, напился чаю! Однако, чтобы не показалось смешным, промолчал об этом. Кто-то по соседству заметил мое положение и любезно мне предложил своего чаю. Не имея привычки пользоваться чужим, я ответил отказом; а сам думаю: да что же это я забочусь? то хотел поговеть, а тут из-за еды и пития уж расстроился. Питались же святые Отцы хлебом да водою. Возьму-ка я сам да так и сделаю: съем просфору с тепленькой водичкой да и потерплю до завтра! Перекрестился я, налил себе пустого кипятку в чашку, разломил просфору, омочил ее и стал есть. И когда я поднес чашку с полуостывшим кипятком ко рту, мне как будто кто-то взял да и напомнил слова матери Серафимы:

— Ну, а теперь пойди попей тепленькой водички: так Богу угодно!

Что сталось тут со мною, того не выразить словами. Я едва не выронил из рук чашки. И страх тут был, и радость, и Божие величие, и мое ничтожество, и Его всеведение, и Промысл — все как огнем неопаляющим озарило и согрело мою душу. Некоторое время я сидел, не отдавая себе ни в чем отчета, отдавшись весь нахлынувшему на меня чувству; затем от всего сердца возблагодарил Бога за Его внимание к моему недостоинству, съел свою просфорку, еще раз поблагодарил Бога и Его послушницу, подавшую мне «теплую водичку», и ушел из барака с чувством, что бывает на свете иногда такая «теплая водичка», которой по вкусу нет равного пития среди всех земных напитков.

Это событие научило меня искать и видеть «великое в малом»: стал я серьезнее и вдумчивее присматриваться к жизни и стал примечать повсюду действие Промысла Божия. От сего явилось в сердце молитвенное дерзновение к Богу и крепкая уверенность, что Он внемлет даже и грешной молитве, лишь бы она приносилась Ему от полноты покаянного сердца.

И теперь, когда стою пред Престолом Божиим, за Божественной литургией, особенно сильно чувствую я эту великую и простую истину, поминая всякий раз мать Серафиму прежде о здравии, а как узнал о ее кончине — за упокой. Тогда же, когда совершилось со мною все рассказанное выше, я расспросил о ней и узнал о ее строгой и святой жизни. Но тогда я ни слова не сказал никому обо всем этом. Теперь же считаю грехом молчать: она ***там***...»

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Таково было ко мне письмо от священника, о. Александра Седых, из Кустаная, Тургайской области, полученное мною на день святителя Спиридона, Тримифунтского Чудотворца.

И се дух велик и крепок, разоряя горы и сокрушая камение в горе пред Господем, но не в духе Господь. И по дусе трус, и не в трусе Господь. И по трусе огнь, и не во огни Господь. И по огни глас хлада тонка, и тамо Господь. (3 Цар. 19, 11–12).

Плакать хочется...

Глава шестая

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ

I.

«Мой Мотовилов воскрес!» — Петров пост и преподобный Макарий Желтоводский

Закончив свои воспоминания о великой дивеевской блаженной Параскеве Ивановне, я невольно мыслью своею перенесся в то уже давно минувшее время, когда жарким днем незабвенного для меня июля 1900 года я, в сопровождении трех дивеевских послушниц, из Сарова пришел пешком в Дивеев. Вспоминая то время, я и теперь, двадцать четыре года спустя, вновь переживаю то великое горение духа, которым сердце мое, преисполненное любви и веры к великому Саровскому Старцу, тогда еще не прославленному угоднику Божию Серафиму, пламенело

к моему Богу, Творцу всяческих. Каких времен и событий ни был я поставлен свидетелем, совершавшихся на моих глазах за протекшие с тех дней годы, чего только ни пришлось пережить и переиспытать за это чреватое величайшими мировыми событиями время: не стало России, не стало Царя, весь мір пришел в великое смятение, — а память о тех незабвенных днях, когда впервые облагоухала мою душу святыня Сарова и Дивеева, изгладить не могло ничто человечески великое: светит она мне живым и тихим сиянием, разгоняя тьму ниспавшей на мір непроглядной темной ночи, греет мне душу теплом и кроткой радостью незаходимого Солнца правды Искупителя душ наших.

И вижу я: кончается первая прослушанная мною в Дивееве Литургия. Подзывает меня к себе в храме Божием великая дивеевская старица игумения Мария, благословляет меня иконой Божией Матери «Радости всех радостей» в самый день Ее праздника и зовет прийти на беседу к себе в игуменские покои доведать подробно, что могло привести светского, в то время еще богатого и нестарого человека, из міра отступления и вражды на Бога в отдаленную и пустынную обитель сирот Серафимовых.

И еще вижу: накрыт чайный стол в покоях матушки игумении; за столом довольно большое собрание монахинь и мирских старушек, в общем фоне темных своих одеяний сливавшихся с монахинями так, что и отличить их друг от друга было невозможно; приносят послушницы чай... Начинается беседа, и я подробно и по порядку повествую обо всем со мною бывшем, начиная с января 1900 года, и такою горячею любовью разгорается внезапно мое сердце к Серафиму, великому Старцу, к вскормившему его духовно Сарову, к дивному Дивееву, что я едва удерживаю подступившие к самому горлу слезы умиления, и вдруг слышу ко мне обращенный восторженный возглас: «Да это мой Мотовилов воскрес!»

И сейчас еще слышу я это восклицание с характерным нижегородским ударением на букву «о»: «М*о*т*о*вилов в*о*скрес». Я взглянул в сторону голоса и увидел на

почетном месте — на диване, старушку, одетую во все черное с простенькой черной кружевной наколкой на голове. Лицо ее, приятное и милое, осветилось доброй и ласковой улыбкой, а живые, проницательные глазки так и светят на меня отсветом загоревшегося где-то внутри, глубоко, внутреннего огня, еще не застывшей под холодом старости чуткой и чистой души.

То была вдова сотаинника преподобного Серафима, симбирского совестного судьи Николая Александровича Мотовилова, Елена Ивановна Мотовилова.

С этого-то восклицания: «Мой Мотовилов воскрес!» — и завязалось мое знакомство с этой живой летописью Серафимова детища — обители Дивеевской, завязалось и не развязывалось до самой преподобнической кончины ее в декабре 1910 года, на второй день праздника Рождества Христова.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

1900 год, когда я впервые посетил Саров и Дивеев, был годом великого внутреннего перелома всего, казалось, крепко установившегося на либеральных устоях 60-х и 70-х годов строя моей внутренней духовной жизни.

«Я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился тому, что сжигал».

В первый раз за всю мою тогда тридцативосьмилетнюю жизнь я соблюл пост Великого поста, не по-уставному, правда, — никакого еще тогда устава я не знал,— но все же добровольно и доброхотно отказавшись от мясного и молочного. Подходил Петров пост — апостольский, про который деревенские свободомыслящие уже успели пустить в обращение крылатое слово, что он выдуман-де бабами для скопа, чтобы было из чего наготовить масла и творогу на зимнее маломолочное время.

В то время на моих руках и заботе было большое сельскохозяйственное дело. Приближалась горячая пора всяких полевых работ: начинался покос полевых посевных трав, подходить стали по верхам кое-где и луговые

травы; в полном разгаре была пахота под озимое и вывозка навоза; отцветала и готовилась наливать рожь: не за горами была уже и страда деревенская...

Занятый хозяйственными заботами, я совершенно забыл о том, что подходят Петровки — пост апостольский.

Кончился многозаботливый хозяйственный день: получили на следующий день распоряжения по хозяйству все доверенные по разным отраслям сложного экономического строя. Приходит позже всех экономка и спрашивает:

— Что прикажете назавтра готовить — скоромное или постное?

— Почему постное?

— Да со завтрашнего дня начинаются Петровки.

— Ну, — говорю,— Маша, это не Великий пост. Все домашние будут есть скоромное — для одного меня не стоит готовить постное: буду есть со всеми.

Так и порешили.

Преисполненный хозяйственных забот и думушек, — а тут еще подошли разные срочные платежи, — я и думать совсем забыл не только о Петровках, но и обо всем міре вне моего хозяйства.

Поздно ночью, едва успев лоб перекрестить, я заснул как убитый и под самое утро увидел такой сон.

Еду я будто в Москве на извощике по Страстной площади, мимо святых ворот Страстного монастыря. Смотрю, около них в самом здании часовенка; в часовенку с улицы открыты двери, и в глубине ее полумрака теплится лампада и горят свечи. Никогда я в этой часовенке не бывал и даже не знал о ее существовании, а тут меня потянуло забежать в нее и помолиться. Я остановил извощика и бегом устремился в нее, и прямо к большому Распятию, что стояло в ней вправо от входа. Помолился я пред ним, положил три земных поклона, приложился. Смотрю: влево от Распятия и других икон, точно при входе прилавок, за прилавком полки с книгами и церковными свечами и стоит благообразная, пожилая монахиня.

— Матушка,— обратился я к ней,— нет ли у вас для продажи жития какого-нибудь святого?

— Как не быть,— отвечает,— есть.

И с этими словами монахиня достала с полки и подала мне довольно толстую книгу в розовой обложке, — как сейчас ее вижу, — и на обложке крупными черными буквами было написано:

«ЖИТИЕ
иже во святых отца нашего
МАКАРИЯ ЖЕЛТОВОДСКОГО»

Я беру книгу в руки, подаю за нее три рубля и спрашиваю:

— Довольно ли этого, матушка?

— Довольно, — отвечает старушка, — довольно, батюшка!

И с этими словами берет от меня книгу, чтобы ее завернуть, а я тем временем на задней стороне обложки вижу: «Цена 2 р. 50 к.»

Вот, подумалось, хоть и монашка, а взяла с меня полтинник лишку. Ну, думаю, пусть идет ей или на монастырь Христа ради.

— А что, — спрашиваю, пока она заворачивала книгу, — нет ли у вас, матушка, в продаже колбасы с чесноком?

Удивленно взглянула на меня старушка, но ответила спокойно:

— Есть и это, батюшка

— Так отрежьте ж, — говорю, — мне фунтик.

Из-под прилавка она достала колбасу, отрезала от нее кусок, свесила, завернула в бумагу, подает мне и говорит, пристально глядя мне в глаза:

— Я вам, батюшка, колбасу-то продала как проезжему, в пути сущему, а следовало бы вам попомнить, что ныне пост-то святой апостольский.

На этом я проснулся. Солнышко было уже довольно высоко: шел шестой час утра.

— Э-э, — подумалось мне, — вот оно что: в пути сущему послабление поста, по нужде, хотя и не возбраняется, ну а мне-то повелевается «попомнить, что ныне пост-то святой апостольский».

Я позвал Машу и велел готовить себе весь пост постное.

II.

Но к чему явлена была мне во сне книга жития «иже во святых отца нашего Макария Желтоводского» и что это за святой, о котором я никогда ничего не слыхивал, того я никак уразуметь не мог. И тем не менее, и книга эта, и весь сон глубоко запали мне в памяти.

Прошел год, прошел другой и третий, — четыре года прошла с того сна. Сна своего я не забывал, посты стал держать исправно, но сколько ни допытывался у людей посвященных, ни от кого о Божьем угоднике Макарии Желтоводском узнать ничего не мог.

Помню, одни иерей в Белеве Тульской губернии на мой вопрос о нем ответил:

— Не наш ли эта Жабинский Макарий? его монастырь от Белева в двух верстах. Не он ли? не спутали ли вы?

И вправду не спутал ли я? может быть, и в самом деле Жабинский, а не Желтоводский? — звуковое-то сходство как будто и есть. Съездили с батюшкой в монастырь, поклонились надгробию преподобного (мощи его под спудом). Спрашиваю у гробового монаха:

— Есть у вас житие вашего угодника?

А сам думаю: вот сейчас увижу книгу в розовой обложке и на ней знакомые слова.

— Нет,— отвечает, — его жития у нас нет. Есть краткое о нем предание — оно изложено в книжке об основании нашего монастыря.

Принес тощенькую книжечку с не менее тощеньким содержанием. Нет, не то, совсем не то! И вовсе не Жабинский, а Желтоводский — не мог я этого спутать!

Наступил страшный 1904 год. Как гром с ясного неба ударила по России Японская война. В этот год, в августе,

мне пришлось быть в Перми. Еду оттуда я в обратный путь и уже неподалеку от Нижнего вижу на левом берегу Волги за высокими стенами стоит и глядится, отражаясь в Волге, большой белокаменный монастырь. Спрашиваю у матроса:

— Чей это монастырь?

— Макарьевский.

— Какого Макария?

— Желтоводского.

Я едва ушам своим поверил: неужели тут ключ к четырехлетней загадке? В то время пароход наш начал причаливать к противоположному берегу и пристал к пристани. В толпе, снующей от парохода и к пароходу, я после второго свистка заметил монахиню-сборщицу; в руках у нее была тарелка, а на тарелке небольшая, вершка в три, иконочка — не Макария ли Желтоводского? Я быстро по сходням сбежал на пристань и прямо к монахине.

— Из какого вы монастыря, матушка?

— А что напротив, на том берегу, от преподобного Макария Унженского.

— Как — Унженского? — переспросил я разочарованно, — мне сказали — Желтоводского.

— Да это все тот же угодник Божий: он именуется и Унженским, и Желтоводским.

— Так это,— спросил я, волнуясь,— его икона у вас на тарелочке?

— Его, — ответила она мне, видимо удивляясь моему волнению.

— Матушка, — воскликнул я вне себя, бросая ей на тарелку серебряный рубль, — пожалуйте мне ее, Бога ради!

А иконе той, от силы, цена в монастыре полтинник.

— Как же я ее вам продам, батюшка? — меня ведь ею сама матушка игуменья на сбор благословила.

— Матушка, Христа ради, не откажите!

А тут третий свисток, и начали убирать сходни.

— Ну, — говорит, — видно так самому Преподобному угодно — берите.

Едва успел я вскочить на пароход со своей драгоценной ношей, как он зашумел колесами и стал отчаливать. А монахиня стоит у конторки, и в след мой меня крестит, и сама крестится. Надо ли сказывать верующей душе, что я чувствовал? Завеса над тайной как будто приоткрылась, но ключа к загадке я все-таки еще не получил.

III.

Прошло еще два года. В корне изменилась вся моя жизнь: по слову блаженной Параскевы Ивановны «зипун» я переменил, оправдалась и символика ее с двумя яйцами, — Матерь Божия, по вере моей, даровала мне чудную по единодушию и единомыслию жену[1].

И свел меня Господь с путей и распутий міра и века сего и повел по пути Православия, от страны временного пришельствия и странничества туда, где верующему оку светит издалече красотою нездешнего света Небесный Иерусалим, Град Царя Великого.

Положили мы за правило ежедневно прочитывать по Четь-Минеям Святителя Димитрия Ростовского жития всех дневных святых, чтимых Православною Церковью. И так изо дня в день, из месяца в месяц — целый год. Шесть долгих лет прошло с памятной ночи моего сновидения. Поселились мы тогда с женой в тихом и в то время еще богобоязненном Валдае, на берегу Святого Богородицкого озера, омывающего своими прозрачно-голубыми волнами Иверский Богородичен монастырь, любимое детище великого патриарха Никона. Приближался Успенский пост. Надумали мы с женой из валдайского нашего безмолвия углубиться в безмолвие еще более совершенное и поехать поготовиться говеть в Иверский монастырь,

---

[1] Месяцев за шесть до моей свадьбы я видел во сне некую игумению, спускавшуюся с неба с сонмом монахинь. Обликом своим она была, казалось мне, похожа на покойную старицу-игумению Орловского Введенского монастыря Антонию, очень мною любимую. На груди ее был золотой наперсный крест, а в руках палочка. Подавая мне ее в руки, она обратилась к сопровождавшим ее монахиням и сказала: «Ему палочка нужна!» Опора эта и послана мне была в лице моей жены.

где уже успели у нас завестись друзья по духу и молитвенники среди насельников святой обители.

Как-то случилось так, что начиная с 20 июля у нас временно прекратилось чтение житий святых. Захватили мы с собой в монастырь июльскую и августовскую книги Четь-Миней, и в тишине монастырского безмолвия я под 25-м июля впервые обрел ключ к тайне моего сновидения: он нашелся в житии преподобного Макария Желтоводского и Унженского, память которого именно в тот день и празднуется Православной Церковью.

Вот что обрелось в житии этом.

«В лето бытия міра шесть тысящ девятьсот четыредесять седьмое (в 1439 г.) во дни благоверного великого князя Василия Васильевича бысть попущением Божиим нашествие агарянское на российские страны. Нечестивый бо царь Златыя Орды Улу-Ахмет из царства и отечества изгнан быв, к российским пределам приближися, и седши во опустелом граде Казани нача распространяти область свою, воевати же и опустошати российскую землю: и прииде с сыном своим Мамотяком ратью на Нижний Нов-град и на пределы того. И рассеявшеся сарацинстии вои повсюду, мечем и огнем опустошаху вся населения христианския. Проидоша и в пустынная в пределах тех места, и доидоша до Желтоводския Макария Преподобнаго обители, на нюже нечаянно нападоши, всех в ней обретшихся иноков и бельцов, овых мечных посечением, аки классы на ниве пожаша, овых же плениша и обитель сожегоша, Преподобнаго Макария, емше жива, ведоша с прочими пленники к воеводе своему. Милосердовав убо воевода агарянский, даде свободу Преподобному Макарию, еще же и прочия пленные свободи его ради. Бе же мирян плененных до четыредесяти мужей, кроме жен и детей, всех тех Преподобному дарова... едину заповедь Преподобному отцу дав ту, да не пребудут на тех Желтоводских местах. И соглашавше ити в Галические пределы... и помолившися Богу яшася пути непроходимы лесами и блатами страха ради поганых.

Бе же тогда месяц иуний.

Грядущим же им дни многи, не доста народу хлеба, и бысть скорбь велия изнемогающим от глада. И по Божиему смотрению молитвами же Преподобнаго Макария, обретоша дивияго скота, глаголемаго лося, в тесном месте, и яша его жива, и хотеша его заклати на пищу себе, и просиша у отца святаго благословения и разрешения поста: бе бо тогда пост апостольский, и еще три дня бяше до праздника святых верховных апостол Петра и Павла. Преподобный же не благословляше им разоряти поста от Церкви Святыя установленнаго, но веляше терпеливо ждати дне праздничнаго апостольскаго... и повеле да ятому лосю отрежут ухо и пустят его жива. Всемощный бо питатель Бог и без пиши облегчаше им глад.

Приспевшу же святых верховных апостолов дню и помолившусь святому, внезапу оный преждереченный лось, невидимой рукою приведен, обретеся посреде народа, и яша его руками жива, и видевше урезанное ухо, познаша, яко той есть. Людие же заклаша лося и испекше ядоша вси и насытишася довольно».

Так спустя шесть лет после знаменательного для меня сновидения и открылась мне его тайна в свидетельство непреложной истины, что земная жизнь всякого человека, ищущего спасения в вечной жизни, ныне, как и встарь, управляется всеблагим Промыслом Божиим или непосредственно, или же чрез небесных пестунов — угодников Божиих, подобных Макарию Желтоводскому и Унженскому.

Знаменательно в этом сновидении было и то, что обучение меня хранению святых постов, установленных Церковью, произошло как раз перед первой моей поездкой к преподобному Серафиму за исцелением тела и души: надо было сперва стать покорным сыном Церкви и только уже затем поститься, а не раньше.

IV.

Кому Церковь не Мать, тому и Бог не Отец

Сложилось уже давно сказание это в сердце моем, но не высказалось: кто такой я, чтобы снам моим да и во-

обще особе моей давать значение и занимать ими братию мою по вере Христовой? Домашние мои все то, что поведано было выше, знали, но, чтобы записать это или тем более печатать, мне того и в голову не приходило, пока не произошло следующее.

В том доме, в котором в Оптиной Пустыни нам благословили жить оптинские старцы, мы одну комнату, рядом с нашей спальней, отвели под моленную. У жены моей икон было много, а у меня и того больше: не держать же их в сундуке под спудом.

Небольшая иконочка преп. Макария, та, что я получил от монахини-сборщицы, в ряду других висела довольно высоко, и прикладываться к ней было нельзя.

Как-то раз, прикладываясь после молитвы к нижнему ряду икон, я увидел среди них на необычном месте и иконочку преп. Макария. Спрашиваю жену:

— Это ты ее сюда поставила?

— Я. Она почему-то сорвалась со своего гвоздика и упала, я ее сюда и поставила.

И вот, как начал я к этой иконе прикладываться каждый день, так точно кто стал мне внушать помыслом: что ж ты молчишь? что не поведаешь ради уловления хотя бы единой заблудшей души в церковное лоно и во славу Преподобного, с тобою бывшего? Сказалось так в сердце, и не раз и не два и три, пока не сел и не взялся за перо и не послал в «Троицкие Листки» сказания об этом под заглавием «Небесные Пестуны». И что же? Как только я это сделал, икона Преподобного вновь вернулась на свое место: жена моя, ничего не ведая о том, что творилось в моем сердце вплоть до отправки моего сказания в печать, взяла и перевесила икону на то место, где она прежде висела.

Но дело тем еще не кончилось.

Прошло с этого времени еще лет одиннадцать. За эти годы затемнился свет земли Русской. Жили мы на Украине, в Полтавской губернии. Дал нам Господь на это страшное время свою домовую церковь, а меня удостоил быть при ней и чтецом, и певцом, и сторожем, и ктито-

ром. Жена пономарила. Похаживали к нам в церковь молиться добрые люди и между ними один раб Божий, контролер соседнего сахарного завода со своей дочкой лет семи. Как-то раз в беседе с ним я рассказал ему повесть о том, как преподобный Макарий Желтоводский вразумил меня блюсти пост апостольский. Беседа эта происходила за неделю до конца Петрова поста 1922 года. Так она на моего собеседника подействовала, что по заключении ее он от всего сердца воскликнул, обращаясь к сидевшей с нами дочке Валентине:

— Ну, Валя, видно нам с тобой надо будет эту неделю попоститься!

Прощаясь, он уговорился со мной, что, как минует пост, он пришлет за нами лошадь и арбу, чтобы у него нам всем пообедать. Своей лошади у него не было, так решено было, что он попросит ее у одного нашего приятеля.

— Только помните, — говорю я ему, — что нынче Петров день падает у нас на среду — день постный: в этот день за нами не присылайте.

— Как постный! ведь это праздник?

— Праздник — праздником, а пост — постом: устав такой, рассуждать не приходится.

Пришел Петров день. Смотрю, в обеденное время подъехала от контролера подвода: пожалуйста, ехать!

— Там, видно, забыли, что сегодня день постный, и будут угощать скоромным, придется есть скоромное?

Жена объявила, что скоромного есть не станет и поста не нарушит. Прислуга, много лет у нас жившая, свой человек — Аннушка, женщина старого, крепкого закала, возмутилась:

— Оскоромитесь сегодня — весь ваш пост пропадет: будто весь пост ели скоромное!

Сестра хозяина того имения, в котором мы жили, тоже с нами приглашенная на обед, вставила и свое слово:

— Есть не будем — поставим хозяев в неловкое положение. А у контролера-то, всем нам известно, — едят

и вкусно, и сытно, а наша еда всегда в полупроголодь: время переживаем голодное; сколько людей за эти годы уже умерло с голоду. Искушение!

— Ну, — решаю я, — пусть, помолясь, нам ответит на все слово Божие!

Перекрестившись, открыл Библию. И что же открылось?

Третья книга Ездры, III глава, 21 стих: *С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь — и побежден так и все от него происшедшие*?

Нечего, стало быть, и думать о скоромном. А когда приехали к контролеру, то оказалось, что не из чего было и огород городить: обед был постный.

А у нас теперь уже и духовенство сплошь стало нарушать посты. За то и само оно, и весь народ, что пошел вслед за богом века сего, сидят зачастую голодные и холодные: у жита — без хлеба, у леса — без дров, у сахарных заводов — без сахара. Не хотим поститься в свое время волею — поголодаем и без времени неволею.

Богу нашему слава!

Глава седьмая

СУДЬБЫ РОССИИ

25 октября 1909 г.

I.

Судьбы России

В 1879 году в великой хранительнице православного духа, Глинской пустыни (Курской епархии), скончался великий старец, схиархимандрит Илиодор. Вот что из жития его известно мне от двух ближайших учеников его, иеросхимонаха Домна и игумена Иасона (в схиме Иоанна, списателя жития схиархимандрита Илиодора).

«Быв еще в сане иеродиакона с именем Иоанникия, в молодых летах, старец о. Илиодор настолько преуспел

в очищении сердца, что ему были открываемы знаменательные видения. Случилось это в конце царствования императора Александра I. «Однажды поздно вечером, — сказывал он, — я сидел в своей келье один, читая послания св. апостола Павла, я остановился на 2 главе 2-го послания его к Солунянам, на стихах 2—10 и т. д. На этих страшных известиях св. апостола я остановился и погрузился в размышление, рассуждая о явлении в міре человека греха, сына погибели, которого само явление будет по действу сатаны, так что этот ужасный человек сядет в храме Божием, выдавая себя за Бога и требуя себе Божеских почестей. Какой же, думал я, будет этот ужасный человек и какое будет то страшное время для живущих на земле! При этом, естественно, пришло желание не видеть того ужаса, а потому в уме остановилась основная мысль обращения к Господу в таких словах:

— Господи! не дай мне видеть то страшное время!

В это время я почувствовал, что кто-то сзади меня положил мне свою руку на правое плечо и сказал:

— Ты сам увидишь отчасти.

Почувствовав осязание плеча и услышав говорящий голос, я осмотрелся вокруг себя, но никого не оказалось, и дверь кельи была заперта на крючок. Осмотрелся я еще раз, чтобы увериться, что никого нет. Я удивился и стал рассуждать, что бы это значило и кто тот невидимый, что говорил и отвечал на мои мысли. Неужели же я увижу, хотя бы и «отчасти», то страшное время и как скоро оно будет? Долго я рассуждал и размышлял в недоумении и страхе, переходя от одного рассуждения к другому. Наконец возложившись на волю Божию, я совершил свое вечернее правило, прилег отдохнуть и только что забылся тонким сном, как увидел такое видение.

Стою я в ночное время на каком-то высоком здании. Вокруг меня было много громадных построек, как бывает в больших городах. Надо мною небесный свод, украшенный ярко горящими звездами, как то бывает в чистую безлунную ночь. Обозревая небесный свод, я любовался

красотою неподвижных звезд. Затем, обратив свой взор на восток, я там увидел выходящий из-за горизонта громадного размера овал; он был составлен из звезд различной величины. На середине овала, в верхней и нижней его части, были звезды большого размера, постепенно уменьшаясь, они с боков закругления становились весьма малыми. Посреди овала было изображено большими буквами имя — АЛЕКСАНДР.

Овал этот, взойдя на восток, шел тихо, величественно подвигаясь и склоняясь к западу. Смотря на величественную красоту движения овала, я размышлял и говорил себе: какая славная и великая Православная вера наша. Царь Православный! вот и имя его так славно и величественно на небесах...

Проводив глазами звездный овал, пока он скрылся на западе за горизонтом, я опять взглянул на восток и вижу — выходит оттуда второй звездный овал, столь же величественный и во всем подобный первому, а в середине его изображено было уже другое имя большими буквами — НИКОЛАЙ. И внутренний голос вещал мне, что после Александра I будет преемником его престола Николай. И было то мне в удивление, ибо наследником престола был не Николай, а Константин Павлович. Прошел и этот овал так же величественно по небосклону и, склонившись к западу, скрылся за горизонтом.

Проводив глазами и этот овал, я опять обратил свой взор на восток и вновь увидел там восходящий звездный овал, по форме во всем подобный двум первым, но мерою значительно меньший и составленный из звезд малого размера, и притом цвета как бы крови. В середине же овала изображено было кровавыми буквами имя — ***Александр***. И внутренний голос возвестил мне, что после Николая преемником его престола будет Александр, дни которого сокращены будут злодеянием. Прошел этот овал по небу и быстро скрылся за горизонтом на западе.

По сем с востока, в таком же порядке, взошел, прошел по небу и скрылся на западе с большой быстротой

овал, подобный первым, но только малого размера, со слабо начертанным в нем как бы в тумане именем *Александр*. И возвещено мне было внутренним голосом, что дни и этого Государя сокращены будут и непродолжительно будет его царствование над русским народом.

После этого на востоке, бледно и туманно начертанное, явилось имя *Николай*. Звездного овала вокруг не было; подвигалось оно по небу как бы скачками и затем вошло в темную тучу, из которой мелькали в беспорядке отдельные его буквы. После того наступила непроглядная тьма, и мне представилось, что все рушилось подобно карточным домам в момент кончины міра. Ужас объял меня, стоявшего в то время на возвышении и не связанного с разрушающимся міром».

И когда старец Илиодор сказывал о видении этом ученикам своим, то в страхе при одном воспоминании о виденном закрывал лицо свое руками и говорил:

— Нецые от вас, чадца, живыми предстанете на Суд»[1].

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В Валдайском Иверском монастыре скончался летом 1915 года благочестивой жизни старец-иеромонах, отец Лаврентий. Старого закала и истинно монашеского духа был этот человек, с молодых лет удостоившийся находиться под духовным руководительством известного в летописях подвижника благочестия XIX века, архимандрита Лаврентия, бывшего наместника Киево-Печерской Лавры, а скончавшегося настоятелем на покое Валдайского Иверского монастыря. Иеромонах Лаврентий, будучи еще послушником, а затем монахом, был долгое время бессменным келейником этого великого Старца. От него он и воспитание свое получил монашеское, а с именем его при

[1] Видение схиархимандрита Илиодора никогда не было опубликовано полностью. Князь В. Д. Жевахов — впоследствии епископ Иоасаф — был в Глинской пустыни уже после революции и там получил последнюю часть видения, касающуюся царствования Императора Николая Второго. Эта часть видения хранилась в тайне, пока не осуществилась.

постриге и от духа его приял в мере дарованных ему талантов. С этим подвижником благочестия я имел счастье быть в довольно близких отношениях и поражался его великому терпению в трудной, едва переносимой его болезни. (Он страдал хроническим воспалением лицевого нерва, и когда периодически болезнь эта обострялась, то страдания его доходили до крайней степени мученичества.)

— Самая страшная зубная боль, — говорил он мне, — ничто в сравнении с этою болью.

Был однажды и он, этот адамант терпения, на пороге к самоубийству от нестерпимых страданий, но успел милостью Божией духовным оком узреть лукавого советника, внушавшего ему эту пагубную мысль, и вовремя остановиться на краю обрыва, с которого хотел броситься в озеро и утопиться. Часто мне приходилось иметь с ним духовную беседу, и, конечно, большею частью беседа эта вращалась около вопроса о кончине міра. О. Лаврентий не мог примириться с мыслью, что царству Русскому приходит конец; а если ему, думал он, еще нет конца, то, стало быть, и антихристу приходить не время и потому до конца міра еще долго.

Горячий патриот, о. Лаврентий внимательно следил во время войны 1914 года за военными действиями и молил Бога о победе русского оружия. Но за полгода до своей праведной кончины, перед которой он удостоился зреть наяву Божию Матерь, о. Лаврентий увидел сон: читает он будто священную книгу о конечной судьбе земного міра и письмена книги этой изображены огненными буквами. Читает, ужасается и просыпается в величайшем страхе, запомнив из всего прочитанного только заключительные слова книги: «Но Господь не даст усилиться пагубному и ускорить кончину».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Писал мне протоиерей о. Александр Суровцов из Вологды в сентябре 1914 года: «В конце августа был у меня родственник по покойной жене, священник из женского

Крестовоздвиженского монастыря, Яренского уезда, Вологодской губернии. Этот уединенный монастырь известен строгостью жизни монашествующих сестер и расположен в глухом лесу, вдали от людского жилья. Приехавший иерей передавал, что к ним в монастырь ежегодно на 14 сентября приходит юродивый Зырянин. Прошлый (1913) год он был и предсказал нынешнюю войну. Затем, будучи в гостях у священника, он предсказал ему, что три года он проживет в монастыре благополучно, три года, если не перейдет, с большими скорбями, а затем с ним будет то, что если сказать, то «мати», жена, заплачет. Потом все-таки высказался, что священников будут избивать и скоро будет антихрист.

Зырянин сей даже не умеет говорить по-русски, а объяснялся через прислугу-зырянку. Предсказания этого раба Божия всегда сбываются с точностью. Если судить по указанным юродивым годам, то гонение на нас начнется годов через пять — в 1918 году.

«Через год, в 1915 году, тот же юродивый Зырянин, придя в монастырь на 14 сентября, ходил по монастырю и по кельям и возвещал:

— Беда, беда! Антихрист, антихрист!»

Так писал мне о. Александр из Вологды.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

В Нижнем Новгороде в начале тысяча девятисотых годов еще жива была многим боголюбцам известная благочестивая вдова Анна Павловна Хлебникова, имевшая от Бога дар видений и прозрения таин грядущего. Ей еще до Японской войны въяве показано было следующее видение: днем, во втором часу пополудни, при ярком солнечном свете в июле, явилась на небе Божия Матерь, сидящая в воздухе на Престоле в небесной славе, а на коленях Ее находился Господь в отроческом возрасте, имея меч в деснице Своей. Матерь Божия взялась было за десницу Господа, чтобы удержать меч Его, но Он опустил его на землю. На земле стояло множество народа, и вдруг

мечом Господа весь народ был объят огнем. Вид Господа был строгий, вид Божией Матери был жалостливо-умилительный. Видение продолжалось несколько минут.

Раба Божия Анна Павловна Хлебникова была строго благочестивой жизни, подвижница и великая молитвенница.

Записано в 1915 году со слов оптинского монаха Серафима.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Запись со слов Лидии Николаевны Пороховой, дочери камер-фрау Императрицы Александры Феодоровны:

«Занимаясь с мужем фотографией и имея свободный доступ в места летнего пребывания царской семьи, мы както раз в Петергофе попали на Царицын остров во дворецпавильон времен Екатерины Великой. Там нас, как старых знакомых его господ, встретил с низким поклоном смотритель дворца. Оказалось, что это был бывший слуга помощника управляющего Петергофскими дворцами, Квашнина-Самарина. Уходя в отставку, Квашнин-Самарин устроил слугу своего смотрителем этого уединения.

— Он у меня богомол, — говорил он нам, — пусть там себе на островке на покое подвижничает да Богу молится.

Этот «богомол» сказывал нам (было это в начале первого десятилетия нового века), что, выйдя раз ночью из своего помещения, он над большим Петергофским дворцом увидел на небе огромной величины огненный меч, и видел его не один он, а вся его семья и сослуживцы, которых он созвал наблюдать это грозное явление, вскоре после того так же внезапно исчезнувшее, как и появившееся».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Под 29 июня 1914 года, живший в Скиту Оптиной Пустыни иеромонах Ириней видел в сонном видении, что на востоке от Скита на небе появился крест, а под крестом огненный Херувим. После того на том же восточном небе он видел ножны от меча и падающий из них с неба меч.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Под 31 декабря 1909 года записано у меня в моих заметках: сейчас вернулся от вечерни, смущенный и расстроенный, и даже испуганный. Подошел ко мне один из ближайших мне моих духовных друзей оптинских и говорит:

— Вы всю службу стоять будете?

— Нет, до акафиста. А что?

— Мне кое-что надо было бы вам передать.

Я вышел с ним из храма и пошел в его келью.

— Великое знамение у нас нынче в алтаре, во время службы сочельника, явлено было одному из священнослужителей. Стали читать паремии за вечерней перед Преждеосвященной литургией. Вдруг в глазах этого священнослужителя все в алтаре смешалось: не стало видно ни алтаря, ни служащих, а на их месте он увидал огромное множество людей, в величайшем смятении и страхе беспорядочно бежавших от запада на восток и обратно. Что-то совершалось, по-видимому, необычайное и страшное. И вдруг явился светоносный Ангел, который обратился к тайнозрителю и сказал:

«Все, что ты видишь, имеет совершиться в ближайшем будущем».

Таково было грозное предзнаменование времен грядущих в Оптиной Пустыни.

II.

Сердце царево в руце Божией. — Предопределение.

...Было это во дни тяжелого испытания сердца России огнем японской войны. В это несчастное время Господь верных сынов ее утешил дарованием царскому престолу, молитвами Преподобного Серафима, наследника, а Царственной чете — сына-царевича — великого князя Алексия Николаевича. Государю тогда пошел только что 35-й год, Государыне-супруге 32-й. Оба были в полном расцвете сил, красоты и молодости. Бедствия войны, начавшиеся нестроения в государственном строительстве, потрясенном тайным, а где уже и явным брожением внутренней смуты — все это тяжелым бременем скорбных забот налегло на царское сердце.

Тяжелое было время, а Цусима была еще впереди.

В те дни и на верхах государственного управления, и в печати, и в обществе заговорили о необходимости возглавления вдовствующей Церкви общим для всей России главою-патриархом. Кто следил в то время за внутренней жизнью России, тому, вероятно, еще памятна та агитация, которую вели тогда в пользу восстановления патриаршества во всех слоях интеллигентного общества.

Был у меня среди духовного міра молодой друг, годами много меня моложе, но устроением своей милой христианской души близкий и родной моему сердцу человек. В указанное выше время он в сане иеродиакона доучивался в одной из древних академий, куда поступил из среды состоятельной южнорусской дворянской семьи по настоянию весьма тогда популярного архиерея одной из епархий юга России. Вот какое сказание слышал я из уст его.

— Во дни высокой духовной настроенности Государя Николая Александровича, — так сказывал он мне, — когда под свежим еще впечатлением великих саровских торжеств и радостного исполнения связанного с ними обетования о рождении ему наследника он объезжал места внутренних стоянок наших войск, благословляя их части на ратный подвиг, — в эти дни кончалась зимняя сессия Св. Синода, в числе членов которой состоял и наш владыка. Кончилась сессия — владыка вернулся в свой град чернее тучи. Зная его характер и впечатлительность, а также и великую его несдержанность, мы, его приближенные, поопасались на первых порах вопросить его о причинах его мрачного настроения в полной уверенности, что пройдет день-другой и он не вытерпит — сам все нам расскажет. Так оно и вышло.

Сидим мы у него как-то вскоре после его возвращения из Петербурга, беседуем, а он вдруг сам заговорил о том, что нас более всего интересовало. Вот что поведал он тогда:

— Когда кончилась наша зимняя сессия, и мы, синодалы, во главе с первенствующим Петербургским митро-

политом Антонием (Вадковским), как по обычаю полагается при окончании сессии, отправились прощаться с Государем и преподать ему на дальнейшие труды благословение, то мы, по общему совету, решили намекнуть ему в беседе о том, что не худо было бы в церковном управлении поставить на очереди вопрос о восстановлении патриаршества в России. Каково же было удивление наше, когда, встретив нас чрезвычайно радушно и ласково, Государь с места сам поставил нам этот вопрос в такой форме:

— Мне, — сказал он, — стало известно, что теперь и между вами в Синоде, и в обществе много толкуют о восстановлении патриаршества в России. Вопрос этот нашел отклик и в моем сердце и крайне заинтересовал и меня. Я много о нем думал, ознакомился с текущей литературой этого вопроса, с историей патриаршества на Руси и его значения во дни великой смуты междуцарствия России, переживающей новые смутные дни. Патриарх и для Церкви, и для государства необходим. Думается мне, что и вы в Синоде не менее моего были заинтересованы этим вопросом. Если так, то каково ваше об этом мнение?

Мы, конечно, поспешили ответить Государю, что наше мнение вполне совпадает со всем тем, что он только что перед нами высказал.

— А если так, — продолжал Государь, — то вы, вероятно, уже между собой и кандидата себе в патриархи наметили?

Мы замялись и на вопрос Государя ответили молчанием.

Подождав ответа и видя наше замешательство, он сказал:

— А что, если я, как вижу, вы кандидата еще не успели себе наметить или затрудняетесь в выборе, что, если я сам его вам предложу — что вы на это скажете?

— Кто же он? — спросили мы Государя.

— Кандидат этот, — ответил он, — я! По соглашению с Императрицей я оставляю престол моему сыну и учреждаю при нем регентство из Государыни императри-

цы и брата моего Михаила, а сам принимаю монашество и священный сан, с ним вместе предлагая себя вам в патриархи. Угоден ли я вам и что вы на это скажете?

Это было так неожиданно, так далеко от всех наших предположений, что мы не нашлись что ответить и... промолчали. Тогда, подождав несколько мгновений нашего ответа, Государь окинул нас пристальным и негодующим взглядом, встал молча, поклонился нам и вышел, а мы остались как пришибленные, готовые, кажется, волосы на себе рвать за то, что не нашли в себе и не сумели дать достойного ответа. Нам нужно было бы ему в ноги поклониться, преклоняясь пред величием принимаемого им для спасения России подвига, а мы... промолчали!

— И когда владыка нам это рассказывал, — так говорил мне молодой друг мой, — то было видно, что он, действительно, готов был рвать на себе волосы, но было поздно и непоправимо: великий момент был не понят и навеки упущен — Иерусалим *не познал времени посещения своего...* (Лк. 19, 44).

С той поры никому из членов тогдашнего высшего церковного управления доступа к сердцу цареву уже не было. Он, по обязанностям их служения, продолжал по мере надобности принимать их у себя, давал им награды, знаки отличия, но между ними и его сердцем утвердилась непроходимая стена, и веры им в сердце его уже не стало, оттого что сердце царево истинно в руце Божией и благодаря происшедшему въяве открылось, что иерархи своих сил искали в патриаршестве, а не яже Божиих, и дом их оставлен был им пуст.

Это и было Богом показано во дни испытания их и России огнем революции. Чтый да разумеет (Лк. 13, 35).

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Вскоре после революции 1917 года митрополит Московский Макарий, беззаконно удаленный с кафедры «временным правительством», муж поистине «яко един от древних», видел сон.

— Вижу я, — так передавал он одному моему другу, — поле. По тропинке идет Спаситель. Я за Ним и все твержу:

— Господи, иду за Тобой!

А Он, оборачиваясь ко мне, все отвечает:

— Иди за Мной!

Наконец подошли мы к громадной арке, разукрашенной цветами. На пороге арки Спаситель обернулся ко мне и вновь сказал:

— Иди за Мной!

И вошел в чудный сад, а я остался на пороге и проснулся.

Заснувши вскоре, я вижу себя стоящим в той же арке, а за нею со Спасителем стоит Государь Николай Александрович. Спаситель говорит Государю:

— Видишь в Моих руках две чаши: вот эта, горькая для твоего народа, а другая, сладкая — для тебя.

Государь падает на колени и долго молит Господа дать ему выпить горькую чашу вместо его народа. Господь долго не соглашался, а Государь все неотступно молил. Тогда Спаситель вынул из горькой чаши большой раскаленный уголь и положил его Государю на ладонь. Государь начал перекладывать уголь с ладони на ладонь и в то же время телом стал просветляться, пока не стал весь пресветлый, как светлый дух.

На этом я опять проснулся.

Заснув вторично, я вижу громадное поле, покрытое цветами. Стоит среди поля Государь, окруженный множеством народа, и своими руками раздает ему манну. Незримый голос в это время говорит:

— Государь взял вину русского народа на себя, и русский народ прощен.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Сон этот был мне сообщен в 1921 году, а в 1923 году бывший во время Европейской войны при Русском дворе французским послом Морис Палеолог издал книгу под

заглавием «Царская Россия во время мировой войны». В этой книге он, между прочим, писал следующее.

«Это было в 1909 году. Однажды Столыпин предлагает Государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай II делает движение скептическое, беззаботное, — движение, которое как бы говорит: «Это ли или что другое, не все равно?!» Наконец, он говорит тоном глубокой грусти:

— Мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю.

Столыпин протестует. Тогда Царь у него спрашивает:

— Читали ли вы жития святых?

— Да, по крайней мере, частью, так как, если не ошибаюсь, этот труд содержит около двадцати томов.

— Знаете ли вы также, когда день моего рождения?

— Разве я мог бы его не знать? — 6 мая.

— А какого святого праздник в этот день?

— Простите, Государь, не помню!

— Иова Многострадального.

— Слава Богу! царствование вашего Величества завершится со славой, так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием.

— Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность: я обречен на страшные испытания; но я не получу моей награды здесь, на земле. Сколько раз применял я к себе слова Иова: *Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне* (Иов. 3, 25).

В другом месте, перед важным решением, много молившись, он сказал:

— Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России: я буду этой жертвой — да совершится воля Божия!

— Самым простым, самым спокойным и ровным голосом делает он мне, — говорит Столыпин, — торжественное это заявление. Какая-то странная смесь в его голосе,

и особенно во взгляде[1], решительности и кротости, чего-то одновременно непоколебимого и пассивного, смутного и определенного: как будто он выражает не свою личную волю, но повинуется скорее некоей внешней силе — величию Промысла...

Вот что значит сердце Царево в руце Божией! И кто же пишет это? Француз, представитель самого безбожного народа, самого богоборческого правительства!..

Истинно камни вопиют.

При особе Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны состояла на должности обер-камер-фрау Мария Феодоровна Герингер, урожденная Аделунг, внучка генерала Аделунга, воспитателя Императора Александра II во время его детских и отроческих лет. По должности своей, как некогда при царицах были «спальные боярыни», ей была близко известна сама интимная сторона царской семейной жизни, и потому представляется чрезвычайно ценным то, что мне известно от уст этой достойной женщины.

В Гатчинском дворце, постоянном местопребывании Императора Павла I, когда он был наследником, в анфиладе зал была одна небольшая зала, и в ней посередине на пьедестале стоял довольно большой узорчатый ларец

[1] О этот взгляд! Вовек не забыть мне его! 5 мая 1904 года Государь Николай Александрович, проездом через Мценск по направлению к Орлу, Курску и другим городам юга России, в которых он благословлял войска в поход против Японии и принимал на платформе мценского вокзала депутацию мценского дворянства. В составе депутации был и я. При представлении Государю я стоял рядом с севастопольским ветераном, капитан-лейтенантом Владимиром Васильевичем Хитрово. Заметив его по форме и орденам, Государь подошел к нему и стал его ласково расспрашивать о его прежней службе. Тут я и имел радость, более того, восторг видеть глаза и взгляд Государя. Передать его выражения ни словами, ни кистью невозможно. Это был взгляд ангела-небожителя, а не смертного человека. И радостно, до слезного умиления радостно, было смотреть на него и любоваться им и... страшно, страшно от сознания своей греховности в близком соприкосновении с небесной чистотой. (*Прим. автора.*)

с затейливыми украшениями. Ларец был заперт на ключ и опечатан. Вокруг ларца на четырех столбиках, на кольцах, был протянут толстый красный шелковый шнур, преграждавший к нему доступ зрителю. Было известно, что в этом ларце хранится нечто, что было положено вдовой Павла I, императрицей Марией Феодоровной, и что ею было завещано открыть ларец и вынуть в нем хранящееся только тогда, когда исполнится сто лет со дня кончины Императора Павла I, и притом только тому, кто в тот год будет занимать царский престол России.

Павел Петрович скончался в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Государю Николаю Александровичу и выпал, таким образом, жребий вскрыть таинственный ларец и узнать, что в нем столь тщательно и таинственно охранялось от всяких, не исключая и царственных, взоров.

«В утро 12 марта 1901 года, — сказывала Мария Феодоровна Герингер, — и Государь, и Государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из царскосельского Александровского дворца ехать в Гатчину вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселые, но возвратились задумчивые и печальные и о том, что обрели они в том ларце, никому, даже мне, с которой имели привычку делиться своими впечатлениями, ничего не сказали. После этой поездки я заметила, что при случае Государь стал поминать о 1918 годе как о роковом годе и для него лично, и для династии».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

6 января 1903 года на иордани у Зимнего дворца при салюте из орудий от Петропавловской крепости одно из орудий оказалось заряженным картечью, и картечь ударила только по окнам дворца, частью же около беседки на иордани, где находилось духовенство, свита Государя и сам Государь. Спокойствие, с которым Государь отнесся к происшествию, грозившему ему самому смертью,

было до того поразительно, что обратило на себя внимание ближайших к нему лиц, окружавшей его свиты. Он, как говорится, бровью не повел и только спросил:

— Кто командовал батареей?

И когда ему назвали имя, то он участливо и с сожалением промолвил, зная, какому наказанию должен будет подлежать командовавший офицер:

— Ах, бедный, бедный (имярек), как же мне жаль его!

Государя спросили, как подействовало на него происшествие. Он ответил:

— До 18 года я ничего не боюсь.

Командира батареи и офицера (Карцева), распоряжавшегося стрельбой, Государь простил, так как раненых по особой милости Божией не оказалось, за исключением одного городового, получившего самое легкое ранение.

Фамилия же того городового была — Романов.

Заряд, метивший и предназначенный злым умыслом царственному Романову, Романова задел, но не того, на кого был нацелен: не вышли времена и сроки — далеко еще было до 1918 года.

Глава восьмая

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

28 мая 1922 г.

I.

Схиархимандрит Иоасаф.

13 мая старого стиля ушел от нас навеки наш батюшка схиархимандрит Иоасаф. Вот это-то важнейшее в нашей жизни событие я и хочу поведать во главе моего послания. Старец наш уже давно стал ослабевать, но бодрился вплоть до начала нашего зимнего сезона, то есть до ноября. Последний раз он служил соборне Литургию на святителя Спиридона Тримифунского — 12 декабря, после двух начинавшихся в нашем доме пожаров, благополучно, к счастью, затушенных в начале возникновения.

За месяц до кончины он подвергся жестокому нападению от злого духа уныния и страдал от него тяжко, невыносимо, так что вынужден был обращаться даже к нашей убогой молитве за помощью и облегчением от ужасающих душевных страданий. Это было явным предварением близости его кончины.

— Боюсь с ума сойти, — говорил он мне, — но не поддаюсь, не поддаюсь!

6 мая, в день праведного Иова Многострадального, пришел я в нему утром на благословение, а он меня встречает сияющий какой-то неземной радостью (он все время был на ногах) и говорит:

— Боже мой! какую я получил сегодня при пробуждении неизреченную радость! Я зрел лицом к лицу Пресвятую Троицу. Она осияла меня неким неизреченным действием, и дух уныния отступил от меня. За всю свою жизнь многострадальную я ничего подобного никогда не испытывал. Видите, я плачу от умиленного восторга...

Лицо Старца действительно сияло восторгом благодатного видения и слезы текли по ланитам, когда он сообщал мне эту дивную тайну...

— Батюшка, — спросил я, — в каком же виде и как удостоились вы узреть Пресвятую Троицу?

— Изобразить сего человеческим языком невозможно: Пресвятая Троица осияла меня, — повторил он, — неким неизреченным действием, и я слышал голос от Нее исходящий и возвестивший мне великую радость, и притом в самом непродолжительном времени, неожиданная величайшая радость! «Вас ожидает великая радость, величайшая радость!»

— Кого же это «вас»? — переспросил я.

— Вас и всех одинаково мыслящих, — отвечал он, и притом и самое радость раскрыл он мне, но взял с меня слово, что я этой радости не открою никому, кроме жены...

— Надолго ли будет дана эта радость, — говорит батюшка, — того мне не возвещено, но что она будет и притом вскоре, тому верьте, — будет это, будет непременно.

То же самое он повторял мне несколько раз вплоть до 10 мая, когда он слег совсем в постель и как-то сразу, не теряя, однако, сознания земного и окружающего, перешел в область явлений и видений горнего міра. 10-го, 11-го и 12-го его причащали, а в 4 часа 13 мая он, приняв из рук служащего у нас старичка иеромонаха Феофана (полуюродивого и едва ли не святого) зажженную свечу, воздел обе руки к небу и, свободной рукой указывая что-то ему одному видимое вверху (раньше он там видел двух Ангелов), тихо и безболезненно предал дух свой Богу. Поистине, это была кончина святого угодника Божия.

За два часа до смерти келейник его принимал от него благословение на полунощницу и он сказал: «Бог благословит». Два раза отвечал на молитву Господню: «Яко Твое есть Царство», и это были его последние слова.

В то же утро мы отслужили заутреню и заупокойную Литургию, а после панихиды гроб с его телом (этот гроб больше года стоял у нас в передней) увезли в Густынь, где в воскресенье 15 мая и предали земле в заранее приготовленном склепе. Знаменательно, что, предчувствуя свою кончину, еще за месяц ранее, батюшка собирался вернуться умирать в Густынь и день 15 мая назначил днем своего отъезда. Но еще замечательнее, что по историческим данным Густынский монастырь был основан иеросхимонахом Иоасафом, выходцем из Киево-Печерской Лавры. Батюшка же наш в схиму был пострижен тоже в той же Лавре и был последним схимником, выходцем из Густыни.

Схимником Иоасафом началась обитель, схимником Иоасафом и кончилась, именно — кончилась, потому что... такова судьба теперь всех рассадников Православия в России, умирающих где естественно, а где и насильственно. Густынь кончается соединением обеих смертей. Что бы то ни было и какая радость ни была нам обетована, а времена и сроки заканчиваются — этого только слепые, вернее самоослепляемые, не хотят видеть. *И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют* (Дан. 12, 10).

Хочу еще приписать несколько строк, не лишенных значительности: Старец мне оставил в наследство свою палку, данную ему Глинским архимандритом Иоанникием, и службу с акафистом преп. Серафиму: «которого, — сказал он, — вы так любите». Палку — «на обратный путь сперва на родину, а потом — в Палестину» — его подлинные слова. А служба преп. Серафиму? Не придется ли мне еще чем послужить великому моему покровителю?

II.

Великая Дивеевская Тайна.

«Серафим, Серафим! велик у Бога Серафим! всюду Серафим!..» То были слова великой дивеевской блаженной Парасковьи Ивановны, когда она, прикрыв ладонью данные мною два рубля, вопрошала, глядя на икону Преподобного, как бы его самого, брать или не брать эти деньги...

Воистину, всюду велик у Бога Серафим!

Какое значение в моей маленькой жизни имел, верую, и доселе имеет преподобный Серафим, читателю моему известно и из книги моей «Великое в малом», — и прочего, что в разное время выходило из-под пера моего.

Поведаю теперь то, что я хранил доселе в сердечной памяти своей и чему, думается мне, еще не выходили Божьи сроки. Если не обманывает меня внутреннее извещение-предчувствие, сроки эти исполнились и настало время явить міру верующих и неверующих сокровенный доныне и мною скрываемый умный бисер, подобного которому мір еще не видел со дней греческого императора Феодосия Младшего, или Юнейшего (Junior'а). Воскрешение Лазаря известно каждому христианину. О воскресении же седми отроков знают весьма немногие, и потому прежде объявления великой Серафимовой Тайны (назову ее «дивеевской» по месту ее обретения) я вкратце сообщу неосведомленным сказание о седми отроках[1].

Эти седмь благородных отроков: Максимилиан, Ексакустодиан, Иамвлих, Мартиниан, Дионисий, Иоанн и

[1] Вечный Календарь Е. А. Тихомирова. Москва, 1882.

Антонин, связанные между собою одинаковою воинскою службою, тесною дружбою и верою, во время Декиева гонения на ефесских христиан (около 250 года) скрылись в горной пещере, называемой Охлон, близ города Ефеса в Малой Азии. В пещере этой они проводили время в посте и молитвах, приготовляясь к мученическому подвигу за Христа. Узнав о местопребывании юношей, Декий велел завалить вход в пещеру камнями, чтобы предать исповедников голодной смерти.

По истечении более 170 лет, в царствование Феодосия Младшего (408–450), истинного защитника веры, вход в пещеру был открыт и блаженные юноши восстали, но не для мучений, а для посрамления неверующих, отвергавших истину воскресения мертвых. По извещении об этом великом чуде царь Феодосий прибыл с сановниками своими и со множеством народа из Константинополя в Ефес, где обрел юношей этих еще в живых и поклонился им как дивному свидетельству свыше о будущем всеобщем воскресении.

По свидетельству церковного историка Никифора Каллиста, царь был в общении с ними семь дней, беседовал с ними и сам прислуживал им во время трапезы. По миновении тех дней юноши вновь уснули сном смерти уже до Страшного Суда Господня и всеобщего воскресения. Святые мощи их прославлены многими чудесами.

Сказание это, независимо от церковного предания, имеет свидетельство и исторической своей достоверности. Святой Иоанн Колов, современник этого события, говорит о нем в житии преп. Паисия Великого (19 июня). Марониты сирийцы, отколовшиеся в VII веке от Православной Церкви, чтут в своей службе святых отроков. Они находятся в ефиопском календаре и в древних римских мартирологах. История их известна была Магомету и многим арабским писателям. Григорий Турский говорит (Da gloria martyr. lib. I, cap. 95), что эти мужи до сего дня почивают в том самом месте, одетые в шелковые и тонкие полотняные одежды. Пещера отроков доныне показывается близ

Ефеса в ребрах горы Приона. Судьба мощей их неизвестна с XII века, в начале которого игумен Даниил видел их еще в пещере.

По вере моей, чудом преподобного Серафима спасенный в 1902 году от смерти, я в начале лета того же года ездил в Саров и Дивеев благодарить Преподобного за свое спасение, и там, в Дивееве, с благословения великой дивеевской старицы игуменьи Марии и по желанию Елены Ивановны Мотовиловой, я получил большой короб всякого рода бумаг, оставшихся после смерти Николая Александровича Мотовилова с разными записями собственной руки его, и в этих-то записях я и обрел то бесценное сокровище, тот «умной бисер», который я называю Дивеевской Тайной — тайной преподобного Серафима, Саровского и всея России чудотворца.

Передаю обретенное словами записи.

«Великий старец Батюшка отец Серафим, — так пишет Мотовилов, — говоря со мною о своей плоти (он плоти своей никогда мощами не называл), часто поминал имена благочестивейшего Государя Николая, августейшей супруги его Александры Феодоровны и матери — вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны. Вспоминая Государя Николая, он говорил:

— Он в душе христианин.

Из разных записок — частью в тетрадях, частью на клочках бумаги — можно было предположить, что Мотовиловым была приложена немалая энергия к тому, чтобы прославление Преподобного было совершенно еще в царствование Николая I, при супруге его Александре Феодоровне и матери Марии Феодоровне. И велико было его разочарование, когда усилия его не увенчались успехом, вопреки, как могло тому казаться, предсказаниям Божьего угодника, связавшего прославление свое с указанным сочетанием августейших имен.

Умер Мотовилов в 1879 году, не дождавшись оправдания своей веры.

Могло ли ему или кому-либо другому прийти в голову, что через 48 лет после смерти Николая I на престоле

Всероссийском в точности повторятся те же имена: Николая, Александры Феодоровны и Марии Феодоровны, при которых и состоится столь желаемое и предсказанное Мотовилову прославление великого прозорливца преподобного Серафима?

В другом месте записок Мотовилова обретена была мною и следующая Великая Дивеевская Тайна.

«Неоднократно, — так пишет Мотовилов, — слышал я из уст великого угодника Божия, старца о. Серафима, что он плотью своею в Сарове лежать не будет. И вот, однажды осмелился я спросить его:

— Вот, вы, Батюшка, все говорить изволите, что плотию вашею вы в Сарове лежать не будете. Так нешто вас саровские отдадут?

На сие Батюшка, приятно улыбнувшись и взглянув на меня, изволил мне ответить так:

— Ах, ваше Боголюбие, ваше Боголюбие, как вы! Уж на что царь Петр-то был царь из царей, а пожелал мощи св. благоверного князя Александра Невского перенести из Владимира в Петербург, а святые мощи того не похотели...

— Как не похотели? — осмелился я возразить великому Старцу, — как не похотели, когда они в Петербурге в Александро-Невской Лавре почивают?

— В Александро-Невской Лавре, говорите вы? Как же это так? Во Владимире они почивали на вскрытии, а в Лавре под спудом — почему же так? А потому, — сказал Батюшка, — что их там нет. — И много распространившись по сему поводу своими богоглаголивыми устами, Батюшка Серафим поведал мне следующее:

— Мне, ваше Боголюбие, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать уже не будут, то Господу Богу благоугодно взять меня, убогого Серафима, до времени от сея привременной жизни и посем воскресить, и

воскресение мое будет, аки воскресение седми отроков в пещере Охлонской во дни Феодосия Юнейшего.

Открыв мне, — пишет далее Мотовилов, — сию великую и страшную тайну, великий Старец поведал мне, что по воскресении своем он из Сарова перейдет в Дивеев и там откроет проповедь всемирного покаяния. На проповедь же ту, паче же на чудо воскресения соберется народу великое множество со всех концев земли, Дивеев станет Лаврой, Вертьяново — городом, а Арзамас — губернией. И, проповедуя в Дивееве покаяние, Батюшка Серафим откроет в нем четверо мощей, и по открытию их сам между ними ляжет. И тогда вскоре настанет и конец всему».

Такова великая Дивеевская благочестия тайна, открытая мною в собственноручных записях симбирского совестного судьи, Николая Александровича Мотовилова, сотаинника великого прозорливца, чина пророческого, Преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского и всея России чудотворца.

В дополнение же к тайне этой вот что я слышал из уст 84-летней дивеевской игумении Марии. Был я у нее в начале августа 1903 года, вслед за прославлением преподобного Серафима и отъездом из Дивеева царской семьи. Поздравляю ее с оправданием великой ее веры (матушка, построив Дивеевский собор, с 1880 года не освящала его левого придела, веруя, согласно дивеевским преданиям, что доживет до прославления Серафима и освятит придел в святое его имя); поздравляю ее, а она мне говорит:

— Да, мой батюшка, Сергей Александрович, велие это чудо. Но вот будет чудо так чудо, — это когда крестный-то ход, что теперь шел из Дивеева в Саров, пойдет из Сарова в Дивеев, «а народу-то — как говаривал наш угодничек-то Божий преподобный Серафим, — что колосьев будет в поле. Вот то-то будет чудо чудное, диво дивное».

— Как это понимать, матушка? — спросил я, на ту пору совершенно забыв тогда уже мне известную великую Дивеевскую Тайну о воскресении Преподобного.

— А это — кто доживет, тот увидит, — ответила мне игумения Мария, пристально на меня взглянув и улыбнувшись.

Это было мое последнее на земле свидание с великой носительницей дивеевских преданий, той 12-й начальницей, «Ушаковой родом», на которой по предсказанию преподобного Серафима и устроился, с лишним 30 лет после его кончины, Дивеевский монастырь, будущая женская Лавра.

Через год после этого свидания игумения Мария скончалась о Господе.

Вот что писал князю Владимиру Давидовичу Жевахову Евгений Поселянин (Е. Н. Погожев) в письме от 19 декабря 1922 года:

«Поведали вчера (18 декабря) бывшие в Понетаевке прошлое (1921 года) лето монашки. Там, весной 1921 года была прислана комиссия для осмотра мощей в Сарове. Председатель — крестьянин, кажется, из Вертьянова. В ночь, уже в Сарове, видит он сон: стоит у раки, и кости преподобного Серафима соединяются, и вскоре он встает из раки, одетый, как рисуют на иконах, и говорит этому человеку:

— Смотри, я живой!

И притом двумя перстами коснулся его щеки. Тот проснулся *стоя*, дрожа и в поту, и с двумя черными пятнами на лице в месте касания. Он поутру рассказал бывшее. Составили акт за подписью, отказался от поручения и уехал.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

На пути моего земного странничества мне пришлось по великой неволе, во дни изгнания буржуев из сел и деревень в города, перебраться в предместье города Пирятина на Украине. Приютила нас, бездомных стариков, одна добрая чета молодых супругов, мало нам знакомая, но близкая по родству дорогому мне человеку. По нем мы и получили у них и приют, и привет в самое для нас тяжелое, казавшееся даже безвыходным, время.

3 апреля 1923 года было днем, назначенным для нашего выселения. В ночь на это число (в тот год 3 апреля была Радоница — поминовение усопших) супруга из этой четы, знавшая обо мне только понаслышке, видит такой сон.

— Вижу я, — сказала мне она, — что иду по какой-то незнакомой улице, где множество народа, и происходит великое смятение при виде надвигающейся страшной тучи. Быстро налетела эта туча, и началось нечто невообразимое: буря коверкала и выворачивала с корнем деревья, разрушая дома, — словом, мне показалось, что началось или землетрясение, или общая гибель и конец свету... Я пала ниц на землю, закрыв лицо руками, и от страха впала в полусознательное состояние.

Когда я очнулась и решилась открыть глаза, то увидела страшный мрак и полное разрушенье: поломанные и вырванные с корнем деревья, разрушенные до основания дома, развалившиеся печи и кое-где полуразвалившиеся печные трубы — словом, хаос и ужас... И вдруг на востоке блеснул яркий луч света и пронзил окружавший меня густой мрак. И в голове моей, как молния, пронеслась мысль: это свет от «Всевидящего ока», что обновилось на старом Прилукском соборе. И в свете этого луча я среди хаоса и разрушения увидала большую картину-икону и на ней изображение лежащего в гробу некоего монаха, под которым была надпись: «Преподобный Серафим Саровский».

Смотрю: монах этот оживает, поднимается из гроба, встает и смотрит на меня с небесной улыбкой. В благоговейном страхе я вновь падаю пред этим видением на землю и когда поднимаю голову, то вижу, что Преподобного уже нет, а на его месте стоит Божия Матерь с опущенными веждами. Была она одна, и Предвечного Младенца с нею не было.

Я проснулась. О преподобном Серафиме я не думала, мало что о нем слышала, а с вечера, когда спать ложилась, даже и Богу не помолилась и оттого, когда во сне увидала Божию Матерь, то сильно испугалась, чтобы мне от Нее не досталось за леность и нерадение к молитве.

Простодушный рассказ простодушной женщины я передаю здесь, как он есть. Я не берусь толковать этого сна; но как сон этот подходит ко сну «председателя комиссии», явившейся кощунствовать над мощами Преподобного, и как идет он к Великой Дивеевской Тайне, о которой сказала мне игумения Мария, что «кто доживет, тот увидит».

III.

«...Всюду Серафим».

Убрал я после службы нашу дорогую защитницу от всех напастей — церковочку нашу, позавтракал и говорю жене:

— Давай-ка почитаем с тобою акафист преподобному Серафиму.

Прочли перед его иконой, что, где бы я ни жил, всегда висит над столом, за которым работаю и пишу, приложились к Батюшкиной ручке, книжку службы ему с акафистом тут же на столе положил поверх моих книг и тетрадей и говорим ему, как живому (так и всегда ему молимся):

— Защити нас, Батюшка!

А сердце тревожно — ждет беды неминучей: недаром во святых мощах пожаловал к нам Преподобный. Но как ни тревожно сердце, а ему еще слышатся слова:

— Слава Богу, что вовремя приехали.

«Нет дороги унывать!» Унывать и впрямь нет дороги: не будем же унывать! И вспоминается мне первая моя поездка в 1900-м в Саров и Дивеев. Елена Ивановна Мотовилова — Царство Небесное родной моей старушке! Матушка игумения Мария — и ей Царство Небесное! Келья Елены Ивановны и в ней первописанный портрет Преподобного, апельсин!.. Ведь эта моя икона — копия с того портрета, а такие в Дивееве все почитаются чудотворными. Верую, что чудотворна и эта моя...

19 января. Предчувствие сердца было знамение свыше от Преподобного. Только что отбыли мытники, приезжавшие по нашу душу, но лучше запишу все по порядку.

Сижу я за своим столиком, привожу в порядок свои заметки... Вбегает верная наша слуга Аннушка и испуганно зловещим шепотом восклицает:

— Едут, едут! Двое саней и в них все с винтовками!

Не впервой жаловали к нам «дорогие гости» и не в диковину было нам принимать их, — пора было к ним привыкнуть, — но тут сердце екнуло и с чего-то оробело.

Да и было с чего! не успела Аннушка прошептать своих зловещих слов, как в нашу комнату вскочило шесть или семь вооруженных, с револьверами, винтовками, в полушубках и, конечно, в шапках на затылок. Впереди всех маленький, невзрачный, корявенький человечек с прямыми, черными, жесткими волосами, выбивающимися из-под шапки, с быстро бегающими в азиатски узких и косых щелках глазками, в глубине которых вспыхивал и ничего нам доброго не предвещал злой огонек. Рядом с ним, несколько сзади, вскочил и другой, подобный ему видом, очевидно его помощник. Это было «начальство», а остальные подручные из деревенской милиции. В первом я узнал «политического следователя» уездной чрезвычайки, переименованной в «политбюро». Я уже и раньше слышал о нем как о человеке с очень определенной и вполне установившейся репутацией, а встретил его раз в доме нашего «народного судьи» и тогда с ним мимоходом, нечаянно имел удовольствие познакомиться, он был тогда выпивши, и вряд ли я успел оставить след в его памяти.

— Что вы? — спросил я вошедших, встречая их у порога, — по нашу душу к нам пожаловали?

— На что нам ваши старые души! — свысока, пренебрежительно отвечал мне помощник начальства: у вас тут есть запечатанный нашими товарищами сундук — его-то нам и надобно.

А у нас перед тем, 15 сентября, произведено было «раскулачивание» и нам была оставлена «товарищами», приезжавшими тоже с винтовками, большевицкая «норма» белья и носильного платья, остальное все было заб-

рано вместе с мебелью, от которой нам оставлена была тоже норма, ровно столько, чтобы не сидеть и не спать на полу. Сундук нашей Аннушки, показавшийся им подозрительным по относительному для прислуги богатству содержимого, был ими опечатан, и ключи от него увезли «впредь до нового распоряжения». Велико было тогда горе Аннушки! 2 декабря к нам приезжал начальник «раскулачившего» нас отряда и, сняв печати, возвратил ключи Аннушке. Вдовьи и ее дочери сиротские слезы, видно, дошли до Бога!..

— Сундук, который вы ищете, — отвечаю, — распечатан и ключи от него возвращены хозяйке.

— Как так! кем?

— Тем же, кто его запер и запечатал.

— Не может быть.

— Справьтесь: телефон на почте и в «исполкоме» в вашем распоряжении. «Товарищи» что-то между собой перешепнулись, потолкались на месте, присели, свернули по «цигарке», подымили махоркой, бросили несколько беглых взглядов на обстановку и затем со словами: «Справимся! это что-то не так» так же быстро. как вошли, так вышли и уехали.

Сегодня, рано утром, запыхавшись прибежал к нам наш сосед и тоже прихожанин нашей церкви:

— Вы целы и живы? вы еще дома?

— Как видите.

— Слава Богу! А я думал, что если вы и живы, то вашего и следу здесь уже не осталось. Вчера перед налетом на вас «политследователь» в «исполкоме» хвалился, что он камня на камне не оставит от вашего, как он выразился, «осиного гнезда».

Не успели мы с ним порадоваться, смотрю в окно и вижу: катит к нам на санях тем же порядком та же честная компания.

— Мы опять к вам. Где тот сундук? — спросил «следователь».

— Здесь.

Но тут помощник резко его перебил:

— Ну что тут долго по пустякам разговаривать: надо дело делать!

— Делать так делать! — согласился «следователь». Я вам напрямик скажу: наше «политбюро» завалено доносами на вас — их *во* какая кипа! а потому с этим скверным делом надо раз навсегда покончить. Я должен произвести у вас обыск.

— Просим милости.

С этими словами я провел обоих политических деятелей в свою комнату, привел к своему рабочему столику. «Следователь» встал около него, на этот раз без шапки, и взял со стола в руки первую ему попавшуюся книгу, развернул ее и стал рассматривать, а товарищ его в то время занялся вскрытием ящиков, корзин и сундуков, что стояли по разным углам в моей комнате. Жена взялась ему помогать и давать нужные объяснения.

Смотрю я на «следователя» и глазам своим не верю: стоит он с непокрытой головой перед портретом-иконой преподобного Серафима, держит в руках и задумчиво, точно молитвенно, перелистывает ему тот акафист, по которому мы накануне молились Божиему угоднику. Стоит он так пять минут, стоит еще, все стоит и не двигается с места, продолжает перелистывать книгу службы Преподобному. Товарищ его успел уже и третью корзину перерыть, а он все стоит в той же позе, точно втайне Серафиму великому молится... Подивился я на это и вышел в другую комнату. Следом за мной пошел и «следователь» со всей своей «спирей». Обошел он все комнаты, зашел в церковь и к нашему старцу-схимнику, который за аналоем в это время молился, не обращая никакого внимания на вошедших, — заглянул, словом, всюду, но весь обыск он производил как будто в полусне. Часа два всетаки он у нас с «товарищами» похозяйничал, но довольно миролюбиво, не так, как поначалу было.

Кончился обыск. У меня на столе стоял самовар и блюдо вареного картофеля. Приглашаю «следователя» к столу.

— Только, — говорю, — не взыщите: сахару у нас к чаю нет.

Он добродушно засмеялся:

— Ну, уж увольте от такого чаю: мы не святые.

Взял бумагу и на ней выдал от себя записку, что по произведенному обыску в присутствии таких-то местных властей у нас ничего подозрительного не оказалось и с нашей стороны претензий никаких не заявлено.

Прощается. Говорю ему:

— Нас хотят выселять: куда нам, старикам, в такую-то пору двигаться? нет и средств у нас никаких — куда нам выселяться!

— На это я вам скажу, — ответил «следователь», дружелюбно улыбаясь и протягивая мне руку, — что до весны и до теплых дней вас никто не тронет.

— А церковь нашу?

— И церковь тоже, хотя я имею поручение ее ликвидировать, и ее тоже не тронут.

— Честное слово?

— Честное слово.

Я не утерпел и от всего сердца обнял его и поцеловал. На том мы и распрощались.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Прошло три месяца или четыре. Захожу я к «народному судье» (он в то время был искренний и верный друг).

— Был, — говорит, — у меня сейчас перед вами М-х (тот «следователь», который нас со «спирей» посетил в январе. С ним «народный судья» поддерживал вынужденную обстоятельствами дружбу). Зашла речь о вас, а он мне и говорит: я его и всех с ним живущих бесповоротно решил было вывезти в город, чтобы духу ихнего в деревне не оставалось, а его, т. е. вас, решил по дороге застрелить, не нужны нам такие-то, вредны. Все уже у меня для этого было готово, подводы пригнаны; оставалось только с чего-нибудь начать — я и приступил к обыску. Подошел я к столу, снял с него первую попавшуюся мне под руку

книжонку, стал ее перелистывать... и вдруг в голове мысль: где я этого старика — вас — видел?.. На меня, чувствую, как на дурака смотрят, а я все то же и то же думаю, пока не вспомнил: да я его у тебя — у меня — видел! Как вспомнил, так руки у меня и опустились...

«О Серафим, Серафим! велик у Бога Серафим! всюду Серафим!..»

Богу нашему слава!

Пирятин-Заречье
8 марта 1924 года

III.

Глава девятая

ВИДЕНИЯ ПОСЛУШНИЦЫ ОЛЬГИ

Видение послушницы Ольги было записано в Киевском Покровском монастыре заботами матери игумении Софии (Гриневой) в апреле 1917 г. Юная Ольга была послушницей Ржищева монастыря. Если я не ошибаюсь, этот монастырь был подчинен Покровскому.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

21 февраля 1917 года, во вторник 2-й недели Великого поста, в 5 часов утра послушница Ольга вбежала в псалтирню и, положивши три земных поклона, сказала монахине-чтице, которую пришла сменить:

— Прошу прощения, матушка, и благословите: я пришла умирать.

Не то в шутку, не то всерьез монахиня ответила:

— Бог благословит — час добрый. Счастлива бы ты была, если бы в эти годы умерла.

Ольге в то время было около 14 лет.

Ольга легла на кровать в псалтирне и уснула, а монахиня продолжала читать. В пол седьмого утра сестра стала будить Ольгу, но та не шевелилась и не отзывалась. Пришли другие сестры, тоже пробовали будить, но так же

безуспешно. Дыхание у Ольги прекратилось и лицо приняло мертвецкий вид. Прошло два часа в беспокойстве для сестер и в хлопотах возле обмершей. Ольга стала дышать и с закрытыми глазами, в забытьи, проговорила:

— Господи, как я уснула!

Ольга спала трое суток, не просыпаясь. Во время сна много говорила такого, что на слова ее обратили внимание и стали записывать. Записано было с ее слов следующее.

«За неделю до вторника 2-й недели я видела, — говорила Ольга, — во сне Ангела, и он мне велел во вторник идти в псалтирню, чтобы там умереть, но чтобы я о том заранее никому не говорила. Когда я во вторник шла утром в псалтирню, то, оглянувшись назад, увидела страшилище в образе пса, бежавшего на задних лапах следом за мною. В испуге я бросилась бежать, и когда вбежала в псалтирню, то в углу, где иконы, я увидела Св. Архистратига Михаила, а в стороне — смерть с косой. Я испугалась, перекрестилась и легла на кровать, думая умирать. Смерть подошла ко мне, и я лишилась чувств. Потом сознание ко мне вернулось, и я увидела Ангела: он подошел ко мне, взял меня за руку и повел по какому-то темному и неровному месту. Мы дошли до рва. Ангел пошел вперед по узкой доске, а я остановилась и увидела «врага» (беса), который манил меня к себе, но я кинулась бежать от него к Ангелу, который был уже по ту сторону рва и звал меня тоже к себе. Доска, перекинутая через ров, была так узка, что я побоялась было через нее переходить, но Ангел перевел меня, подав мне руку, и мы с ним пошли по какой-то узкой дорожке. Вдруг Ангел скрылся из виду, и тотчас же появилось множество бесов. Я стала призывать Матерь Божию на помощь; бесы мгновенно исчезли, и вновь явился Ангел, и мы продолжали путь. Дойдя до какой-то горы, мы опять встретили бесов с хартиями в руках. Ангел взял их из рук бесовских, передал их мне и велел порвать. На пути нашем бесы появлялись еще не раз, и один из них, когда

я отстала от своего небесного путеводителя, пытался меня устрашать, но явился Ангел, а на горе я увидела стоящую во весь рост Божию Матерь и воскликнула:

— Матерь Божия! тебе угодно спасти меня — спаси меня!

Пала я на землю, и когда поднялась, то Матерь Божия стала невидима. Стало светать. По дороге увидели церковь, а под горою сад. В этом саду одни деревья цвели, а другие уже были с плодами. Под деревьями были разбиты красивые дорожки. В саду я увидела дом. Я спросила Ангела:

— Чей это дом?

— Здесь живет монахиня Аполлинария.

Это была наша монахиня, недавно скончавшаяся.

Тут я опять потеряла Ангела из виду и очутилась у огненной реки. Эту реку мне нужно было перейти. Переход был очень узкий, и по нем переходить можно было не иначе как переступая нога за ногу. Со страхом стала я переходить и не успела дойти до середины реки, как увидела в ней страшную голову с выпученными огромными глазами, раскрытой пастью и высунутым длиннейшим языком. Мне нужно было перешагнуть через язык этого страшилища, и мне стало так страшно, что я не знала что и делать. И тут внезапно по ту сторону реки я увидела святую великомученицу Варвару. Я взмолилась ей о помощи, и она мне протянула руку и перевела на другой берег. И уже когда я перешла огненную реку, то, оглянувшись, увидела в ней еще и другое страшилище — огромного змия с высоко поднятой головой и разинутой пастью. Святая великомученица объяснила мне, что эту реку необходимо переходить каждому и что многие падают в пасть одного из этих чудовищ.

Дальнейший путь я продолжала идти с Ангелом и вскоре увидела длиннейшую лестницу, которой, казалось, и конца не было. Поднявшись по ней, мы дошли до какого-то темного места, где за огромной пропастью я увидела множество людей, которые примут печать антихриста: участь их в этой страшной и смрадной пропасти... Там же я увидела очень красивого человека без

усов и бороды. Одет он был во все красное. На вид он мне показался лет 28. Он прошел мимо меня очень быстро, вернее пробежал. И когда он приближался ко мне, то казался чрезвычайно красивым, а когда прошел и я на него посмотрела, то он представился мне диаволом. Я спросила Ангела:

— Кто это такой?

— Это, — ответил мне Ангел, — антихрист, тот самый, что будет мучить всех христиан за святую веру, за Святую Церковь и за имя Божие.

В то же темном месте я видела недавно скончавшуюся монахиню нашего монастыря. На ней была чугунная мантия, которою она была вся покрыта. Монахиня старалась из-под нее высвободиться и сильно мучилась. Я потрогала рукой мантию: она, действительно, была чугунная. Монахиня эта умоляла меня, чтобы я попросила сестер молиться за нее.

В том же темном месте видела я огромнейший котел. Под котлом был разведен огонь. В котле этом кипело множество людей: некоторые из них кричали. Там были и мужчины, и женщины. Из котла выскакивали бесы и подкладывали под него дрова. Других людей я там видела стоящими на льду. Были они в одних рубашках и дрожали от холода: все были босы — и мужчины, и женщины.

Еще я видела там же обширнейшее здание и в нем тоже множество людей. Сквозь уши их были продернуты железные цепи, привешенные к потолку. К рукам и ногам их привязаны были огромные камни. Ангел мне объяснил, что это все те, которые в храмах Божиих держали себя соблазнительно-непристойно, сами разговаривали и других слушали; за то и протянуты им цепи в уши. Камни же к ногам привязаны тем, кто в церкви ходил с места на место: сам не стоял и другим спокойно стоять не давал. К рукам же камни были привязаны тем, кто неправильно и небрежно налагал на себя крестное знамение в храме Божием.

Из этого темного и ужасного места мы с Ангелом стали подниматься вверх и подошли к большому блестящему белому дому. Когда мы вошли в этот дом, я увидела в нем необыкновенный свет. В свете этом стоял большой хрустальный стол, и на нем поставлены были какие-то невиданные райские плоды. За столом сидели святые пророки, мученики и другие святые. Все они были в разноцветных одеяниях, блистающих чудным светом. Над всем этим сонмом святых Божиих угодников в свете неизобразимом сидел на престоле дивной красоты Спаситель, а по правую руку Его сидел наш Государь Николай Александрович, окруженный Ангелами. Государь был в полном царском одеянии, в блестящей белой порфире и короне и держал в правой руке скипетр. Он был окружен Ангелами, а Спаситель — высшими Небесными Силами. Из-за яркого света я на Спасителя смотреть могла с трудом, а на земного царя смотрела свободно.

Святые мученики вели между собою беседу и радовались, что наступило последнее время и что их число умножится, так как христиан вскоре будут мучить за Христа и за неприятие печати. Я слышала, как мученики говорили, что церкви и монастыри будут уничтожены, а раньше из монастырей будут изгонять живущих в них. Мучить же и притеснять будут не только монахов и духовенство, но и всех православных христиан, которые не примут печати и будут стоять за имя Христово, за веру и за Церковь.

Еще я слышала, как они говорили, что нашего Государя уже не будет и что время всего земного приближается к концу. Там же я слышала, что при антихристе св. Лавра поднимется на небо; все святые угодники уйдут со своими телами тоже на небо, и все живущие на земле, избранные Божии, будут тоже восхищены на небо.

С этой трапезы Ангел повел меня на другую вечерю. Стол стоял наподобие первого, но несколько меньше. В великом свете сидели за столом святые патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты,

священники, монахи и мирские в каких-то особенных одеяниях. Все эти святые были в радостном настроении. Глядя на них, и сама я пришла в необыкновенную радость.

Вскоре в спутницы мне явилась св. Феодосия, а Ангел скрылся. С нею мы пошли в дальнейший путь и поднялись на какую-то прекрасную возвышенность. Там был сад с цветами и плодами, а в саду много мальчиков и девочек в белых одеждах. Мы поклонились друг другу, и они чудно пропели «Достойно есть». В отдалении я увидела небольшую гору; на ней стояла Матерь Божия. Глядя на Нее, я неописуемо радовалась. Святая мученица Феодосия повела меня затем в другие райские обители. Первой на вершине горы мы увидели неописанной красоты обитель, обнесенную оградой из блестящих прозрачных белых камней. Врата этой обители издавали особый яркий блеск. При виде ее я чувствовала какую-то особенную радость. Святая мученица открыла мне врата, и я увидела дивную церковь из таких же камней, как и ограда, но еще светлее. Церковь та была необычайной величины и красоты. С правой ее стороны был прекрасный сад. И тут, в этом саду, как и в прежде виденном, одни деревья были с плодами, в то время как другие только цвели. Врата в церковь были открыты. Мы вошли в нее, и я была поражена ее чудной красотой и бесчисленным множеством Ангелов, которые ее наполняли. Ангелы были в белых блестящих одеждах. Мы перекрестились и поклонились Ангелам, певшим в то время «Достойно есть» и «Тебе Бога хвалим».

Прямая дорога из этой обители повела нас к другой, во всем подобной первой, но несколько менее ее обширной, красивой и светлой. И эта церковь наполнена была Ангелами, которые пели «Достойно есть». Св. мученица Феодосия объяснила мне, что первая обитель была высших ангельских чинов, а вторая — низших.

Третья обитель, которую я увидела, была с церковью без ограды. Церковь в ней была так же прекрасна, но несколько менее светлая. Это была, по словам моей

спутницы, обитель святителей, патриархов, митрополитов и епископов.

Не заходя в церковь, пошли далее и по пути увидели еще несколько церквей. В одной из них были монахи в белых одеждах и клобуках; среди них я увидела и Ангелов. В другой церкви были монахи вместе с мирскими мужчинами. Монахи были в белых клобуках, а мирские в блестящих венцах. В следующей обители в церкви были монахини во всем белом. Святая мученица Феодосия сказала мне, что это схимонахини. Схимонахини в белых мантиях и клобуках, с ними были и мирские женщины в блестящих венцах. Среди монахинь я узнала некоторых монахинь и послушниц наших — еще живых и среди них умершую мать Агнию. Я спросила св. мученицу Феодосию, почему некоторые монахини в мантиях, а другие без мантий, некоторые же наши послушницы в мантиях. Она ответила, что некоторые не удостоившиеся мантии при жизни на земле будут удостоены ее в будущей жизни и, наоборот, получившие мантию при жизни, лишены будут ее здесь.

Идя дальше, мы увидели чудный фруктовый сад. Мы вошли в него. В этом саду, как и в прежде виденных, одни деревья были в цвету, а другие со спелыми плодами. Верхушки деревьев сплетались между собою. Сад этот был прекраснее всех прежних. Там были небольшие домики, точно литые из хрусталя. В саду этом мы увидели св. Архистратига Михаила, сказавшего мне, что сад этот — жилище пустынножителей. В саду этом я увидела сперва женщин, а идя дальше, — мужчин. Все они были в белых одеждах монашеских и не монашеских.

Выйдя из сада, я увидела вдали на хрустальных, блестящих колоннах хрустальную крышу. Под этой крышей было много людей: монахов и мирских, мужчин и женщин. Тут св. Архистратиг Михаил стал невидим.

Далее нам представился дом: был он без крыши, четыре же его стены были из чистого хрусталя. Его осенял воздвигнутый как бы на воздухе крест ослепительного

блеска и красоты. В этом доме находилось множество монахинь и послушниц в белых одеждах. И здесь я между ними увидела некоторых из нашего монастыря еще живых.

Еще дальше стояли две хрустальные стены, как бы две стены начатого постройкой дома. Двух других стен и крыши не было. Внутри, вдоль стен, стояли скамьи, на них сидели мужчины и женщины в белых одеждах.

Затем мы вошли в другой сад. В этом саду стояло пять домиков. Св. мученица Феодосия сказала мне, что эти домики принадлежат двум монахиням и трем послушницам нашего монастыря. Она их назвала, но велела имена их хранить в тайне... Около домиков росли фруктовые деревца: у первого лимонное, а у второго — абрикосовое, у третьего лимонное, абрикосовое и яблоня, у четвертого — лимонное и абрикосовое. Плоды у всех были спелые. У пятого деревьев не было, но места для посадки были уже выкопаны.

Когда мы вышли из этого сада, то нам пришлось спуститься вниз. Там мы увидели море; через него переправлялись люди: одни были в воде по шею, у других из воды были видны только одни руки; некоторые переезжали на лодках. Меня святая мученица перевела пешком.

Еще мы видели гору. На горе в белых одеждах стояли две сестры нашей обители. Выше их стояла Матерь Божия и, указывая мне на одну из них, сказала:

— Се даю тебе сию в земные матери.

От ослепительного света, исходящего от Царицы Небесной, я закрыла глаза. Потом все стало невидимо.

После этого видения мы стали подниматься в гору. Вся эта гора была усеяна дивно пахнувшими цветами. Между цветами было множество дорожек, расходившихся в разных направлениях. Я радовалась, что так тут хорошо, и вместе с тем плакала, зная, что придется расстаться со всеми этими чудными местами и с Ангелами, и со святой мученицей.

Я спросила Ангела:

— Скажи мне, где мне придется жить?

И Ангел, и святая мученица ответили:

— Мы всегда с тобою. А где бы ни пришлось жить, терпеть всюду надо.

Тут я опять увидела св. Архистратига Михаила. У сопровождавшего меня Ангела в руках оказалась Св. Чаша, и он причастил меня, сказав, что иначе «враги» воспрепятствовали бы моему возвращению. Я поклонилась своим святым путеводителям, и они стали невидимы, а я с великой скорбью вновь очутилась в этом мiре».

Все это со слов Ольги мною было записано в Киеве 9 апреля 1917 года.

Далее повествование о видениях Ольги поведется уже со слов ее старицы м. Анны.

«В первые дни своего сна, — так рассказывала мне м. Анна, — Ольга все искала во сне свой шейный крест. По движениям ее было видно, что она его кому-то показывала, кому-то им грозила, крестила им и сама крестилась. Когда первый раз проснулась, говорила сестрам:

— Этого враг боится. Я ему грозила и крестила, и он уходил.

Тогда решили дать ей в руку крест. Она крепко зажала его в правой руке и не выпускала 20 дней так, что и силой нельзя было у нее вынуть. При пробуждении она крест выпускала из руки, а перед тем как заснуть снова брала его в руку, говоря, что он ей нужен, что с ним ей легко.

После 20-го дня она его уже не брала, объяснив, что ее перестали водить по опасным местам, где встречались «враги», а стали водить по обителям райским, где некого было бояться.

Однажды во время своего чудесного сна Ольга, держа в одной руке крест, другою распустила свои волосы, покрыла их бывшей у нее на шее косынкой. Когда проснулась, то объяснила, что видела прекрасных юношей в

венцах. Юноши эти ей подали тоже венец, который она надела себе на голову. В это-то время она, должно быть, и надевала косынку.

1 марта, в среду вечером, Ольга, проснувшись, сказала:

— Вы услышите, что будет в двенадцатый день.

Бывшие тут сестры подумали, что это число месяца и что в это число с Ольгой может произойти какая-нибудь перемена. На эти мысли Ольга ответила:

— В субботу.

Оказалось, что то был 12-й день ее сна. В этот день у нас в обители узнали об отречении Государя от престола. Первою узнала об этом по телефону из Киева я. Когда вечером Ольга проснулась, я в страшном волнении сказала ей:

— Оля! Оля! что случилось-то: Государь оставил престол!

Ольга спокойно на это ответила:

— Вы только сегодня об этом услышали, а у нас там давно об этом говорили. Царь уже там давно сидит с Небесным Царем.

Я спросила Ольгу:

— Какая же тому причина?

— Какая была причина Небесному Царю, что с Ним так поступили: изгнали, поносили и распяли? Такая же причина и этому Царю. Он — мученик:

— Что же, — спрашиваю я, — будет?

Ольга вздохнула и ответила:

— Царя не будет, — отвечает, — теперь будет антихрист, а пока новое правление.

— А что, это к лучшему будет?

— Нет, — говорит, — новое правление справится со своими делами, тогда возьмется за монастыри. Готовьтесь, готовьтесь все в странствие.

— Какое странствие?

— Потом увидите.

— А что же брать с собою? — спрашиваю.

— Одни сумочки.

— А что в сумочках понесем?

Тут Ольга мне сказала одну старческую тайну и прибавила, что и все то же понесут.

— А что будет с монастырями? — продолжаю допытываться. — Что будут делать с кельями?

Ольга с живостью ответила:

— Вы спросите, что с церквами делать будут? Разве одни монастыри будут теснить? Будут гнать всех, кто будет стоять за имя Христово и кто будет противиться новому правлению и жидам. Будут не только теснить и гнать, но будут по суставам резать. Только не бойтесь: боли не будет, как бы сухое дерево режут, зная за Кого страдают.

Я опять спросила Ольгу:

— Зачем же им разорять монастыри?

— Затем, что в монастырях люди живут ради Бога, а такие должны быть изгнаны.

— Но мы, — говорю, — и в монастыре одни других гоним.

— То, — отвечает, — не вменится, а вот это гонение вменится.

При этом разговоре сестры пожалели Государя.

— Бедный, бедный, — говорили они, — несчастный страдалец! Какое он терпит поношение!

На это Ольга весело улыбнулась и сказала:

— Наоборот: из счастливых счастливейший. Он — мученик. Тут пострадает, а там вечно с Небесным Царем будет.

На 19-й день своего сна — в субботу 11 марта — Ольга, проснувшись, сказала мне:

— Услышите, что будет в 20-й день.

Я думала, что это — число месяца, а Ольга пояснила:

— В воскресенье.

В воскресенье 12 марта был 20-й день ее сна.

Затем Ольга весело сказала:

— Поедем, поедем к батюшке!

«Батюшка» — это старец Голосеевской пустыни, иеросхимонах Алексий, мой духовный отец и руководитель.

Затем весь разговор по этом пробуждении Ольга вела только об этом батюшке. В конце разговора Ольга и сказала:

— Поедем к батюшке в третий день Пасхи.

После этого она заснула... На следующий день, в воскресенье, она опять радостно начала разговор о батюшке. Я говорю ей:

— Оля, поедем же к батюшке!

Ольга вздохнула и сказала:

— Вы же написали батюшке два письма.

Так это и на самом деле было, хотя Ольга об этом знать не могла.

Потом она продолжала:

— Ожидайте, ожидайте: скоро будет ответ.

Опять, немного погодя, говорила:

— Матушка, матушка! к нам батюшка скоро приедет.

Это она в радостном настроении повторяла несколько раз. Бывшие тут сестры подумали, что это она про нашего монастырского священника, отца Всеволода, говорит, и, слышу, они между собой говорят:

— А должно быть, Ольге и в самом деле открыты такие тайны, которых другие не знают.

Тут потянуло меня взять крест моего старца о. Алексия. Села я поодаль от сестер, сложила руки на груди и как бы ушла в себя, отрешившись от всего окружающего. Настала полная тишина. Это было в 11 часов вечера. Через несколько минут я пришла в себя. Ольга не спала. Я ей говорю:

— Скоро отец Всеволод придет.

— Ну да, отец Всеволод!

Точно хотела мне сказать, что не в нем дело, и вслед уснула.

На другое утро я получила телеграмму, что накануне вечером о. Алексий скончался. Когда Ольга проснулась, то

сказала, что накануне, около 11 часов вечера, она видела о. Алексия, как он вошел к нам в келью, благословил всех и молча удалился. На 24-й или 25-й день сна Ольги я, вернувшись от вечерни, застала Ольгу пробудившейся. Окружавшие ее постель сестры встретили меня словами:

— Анюта, ожидай гостей: Ольга говорит, что гости будут.

Ольга повторила то же и просила позвать регентшу. Спрашиваю Ольгу:

— Какие ж то будут гости?

— Увидите какие.

Я не поняла, что это за гости, и подумала, что надо в келье место освободить для них. Говорю, чтобы часть сестер вышла. Ольга улыбнулась и сказала:

— Будь хотя полна келья сестер, все равно они не помешают: гостям место будет.

Тут мы поняли, что будут к нам неземные гости, и стали спрашивать, увидим ли мы их? Ольга ответила:

— Не знаю. Когда придут, почувствуете.

Тут вид ее лица изменился, точно она увидела нечто таинственное, великое, молча обводила она келью глазами. В таком состоянии она находилась минут двадцать. Я почувствовала в это время, как бы толчок в сердце: меня охватил какой-то еще никогда не испытанный благоговейный страх, и я заплакала, чувствуя присутствие в келье кого-то не из здешнего міра. Сестры, бывшие в келье, шепотом творили молитву; некоторые плакали... Потом из слов их видно, что они в то же время испытывали то же, что и я, когда плакали, но никто, как и я, ничего не видел и не слышал.

Минут через двадцать лицо Ольги приняло обычное выражение, и она залилась слезами. Успокоившись немного, на расспросы сестер ответила:

— Как же это? ведь я думала, что вы видите и слышите пение. А гости-то какие были: сам святой Архистратиг с Небесным своим Воинством!

— Что же пели они? — спрашиваем.

— Они пели «Тебе Бога хвалим», и как пели-то! С ними были и блаженные старцы, и святые молитвенники, к которым мы прибегали с м. Анной и имена которых были у нас записаны на псалтирном чтении. Святый Архистратиг Михаил перекрестил всех присутствующих и окропил святой водой...

Пять минут спустя Ольга опять заснула.

В субботу на 1-й неделе Великого поста Ольга причастилась, как и все сестры нашей обители. 21 февраля она уснула. На другой день ее соборовали, но она этого почти не помнит; помнит только приготовление к Таинству священников, но самого соборования не помнит, говоря, что ее в то время здесь не было, что она уходила со своим путеводителем.

На 4-й день, в пятницу, в 11 часов вечера, она просыпалась. После краткой исповеди ее причастили. Перед Причащением я была в страхе, боясь, чтобы она не заснула, когда придет священник, но она сказала:

— Не бойтесь, я дождусь!

Потом, по пробуждении, Ольга говорила, что только этот раз она видела батюшку.

Уходя ночью после Причащения, батюшка сказал, что в воскресенье ее надо будет снова причастить, это исполнит другой очередной священник. Когда в этот день пришел священник, Ольга спала, зубы ее были стиснуты, и священник причастить ее не решался. Я взмолилась Господу, и Ольга открыла рот. Батюшка ее причастил. Когда потом Ольга проснулась, и я об этом ей рассказала, то она мне сказала:

— Не бойтесь, я всегда буду открывать рот.

Я спросила ее:

— А слышала ли ты, как приходил и причащал тебя батюшка?

Она ответила, что его не видала и ничего не слышала, а видела Ангела, читавшего молитву пред Причащением, и тот же Ангел причастил ее.

Когда об этом сообщили отцу Всеволоду, он решил причащать Ольгу и Преждеосвященными Дарами. Так и сделали и стали с тех пор причащать спящую по средам, пятницам, а также по субботам и воскресеньям весь Великий пост до полного ее пробуждения. И всякий раз как читали молитву «Верую, Господи, и исповедую», Ольга постепенно открывала рот и к концу молитвы открывала его вполне. Иногда и после Причащения открывала его, чтобы из рук священника принять 2–3 лжицы воды.

В Великую Пятницу она проснулась на несколько минут и сказала:

— Завтра причастите меня в 6 часов утра. Я завтра в этот час должна прийти.

Я передала об этом отцу Всеволоду, и он согласился.

Проснувшись в Великую Субботу, чтобы идти к утрени, о. Всеволод внезапно увидел как бы молнию, блеснувшую и осветившую ему лицо, и услышал голос:

— Пойди приобщи спящую Ольгу.

И когда батюшка стал раздумывать, что бы это значило, он вновь услышал тот же голос, повторивший те же слова.

После утрени, еще раньше шести часов, о. Всеволод причастил Ольгу. Она все еще спала. Через час после того она проснулась, приподнялась на кровати, посидела на ней несколько минут в полузабытьи, потом сразу встала с постели и нчала ходить по келье, хотя была слаба и, видимо, истощена. Во все время своего сна она, кроме Причастия и нескольких лжиц воды, ничего в рот не брала.

В Великую Субботу она целый день более уже не ложилась, а к половине двенадцатого ночи оделась и пошла к Светлой заутрени. Во все время Пасхального богослужения она не садилась, хотя сестры и уговаривали ее присесть, и так простояла всю заутреню и обедню.

После того она долго была в большой задумчивости и тоске и плакала. На расспросы сестер отвечала:

— Как мне не плакать, когда я уже больше не вижу ничего из того, что я видела, а все здешнее, даже и то, что прежде было мне приятно, все мне теперь противно, а тут еще эти расспросы... Господи, скорее бы опять туда!

Когда потом записывалось в Киеве бывшее с Ольгой, то она сказала:

— Пишите не пишите — все одно: не поверят. Не то теперь время настало. Разве только тогда поверят, когда начнет исполняться что из моих слов».

Таковы видения и чудесный сон Ольги.

Эту Ольгу и старицу ее я видел, с ними разговаривал. Внешне Ольга самая обыкновенная крестьянская девочка-подросток, малограмотная, ничем по виду не выдающаяся. Глаза только у нее хороши были — лучистые, чистые, и не было в них ни лжи, ни лести. Да как было и лгать и притворяться пред целым монастырем, да еще в такой обстановке, почти 40 дней без пищи и пития?!

Я поверил и верю.

Аминъ глаголю вам: иже аще не приимет царствия Божия, яко отроча, не иматъ внити в не (Лк. 18, 17).

Глава десятая

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ

4 марта

Опять в Оптиной. — Из скитских записок Льва Кавелина: именины старца о. Макария; кончина Ф. Я. Тарасова; кончина монахини; слепец и безногий; присоединение к православию К. К. Зедергольма; самоубийство сребролюбца; комета; св. Иоанн Дамаскин о кометах.

От ужасов и страданий всемирной войны, грохочущей над міром пушками кровавого кайзера и его противников, от военных слухов, от глада, мора, от землетрясений по местам — от всего того «начало болезнем», которое видится мне, — да и одному ли мне — в современных событиях, уйдем с тобою, читатель дорогой, туда, где все еще по-

прежнему струит свои прозрачные воды тихая Жиздра, отражая в зеркале их и бездонно-голубое оптинское небо и вечнозеленый свод соснового оптинского бора.

Передо мною пожелтевшая тетрадь скитских записок. Записки эти по послушанию вел послушник из образованных, именитых дворян, Лев Александрович Кавелин[1]. Записки эти помечены 1853 годом и последующими. Выписываю из них только то, что может иметь общехристианский интерес и значение.

1853 года. 19 генваря

«День Ангела батюшки о. Макария[2]. Обедню совершал в Скиту чередовой иеромонах о. Гавриил. После обедни соборный молебен о здравии батюшки совершали скитские иеромонахи: о. Пафнутий, о. Амвросий, о. Гавриил, иеродиакон о. Игнатий; монастырские иеромонахи: о. Тихон (духовник батюшки), о. Евфимий и иеродиакон о. Сергий. После обедни все присутствовавшие в церкви — скитские и монастырские братия — были приглашены на чай. Каждый спешил принести свое поздравление любимому Старцу, а занимающиеся рукоделием присоединили к сему что-либо от трудов своих. Гостиницы были наполнены гостями, преимущественно монахинями разных обителей, прибывших и издалека (одна приехала из Великолуцкого монастыря — 600 верст от Оптиной) принести свое поздравление тому, кто отечески руководит их на пути спасения, с самозабвением и дивным искусством оспаривая у врага каждый шаг на поле

---

[1] В монашестве Леонид, впоследствии архимандрит и наместник Св.-Троицкой Лавры.

[2] Старец Оптиной Пустыни, в міру Михаил Николаевич Иванов, из дворян Дмитровского уезда, Орловской губернии, родился 20 ноября 1783 года, скончался 7 сентября 1860 года. Старчествовал в Оптиной пустыни совместно со старцем Леонидом (в схиме Львом) с 1836 года по октябрь 1841-го, когда скончался старец Леонид. По кончине старца Леонида и до самой своей смерти нес единолично великий и святой подвиг старчествования в обители.

духовной битвы, как пастырь добрый, всегда готовый положить душу свою за ближния своя — за чад своих.

Обед был у о. игумена, на нем принимали участие семейства окрестных помещиков, приехавшие поздравить достоуважаемого Старца. До 150 человек братии перебывало в течение дня в кельях батюшки. Все были угощены чаем.

Как благотворна христианская любовь и как нравится сердцу все, что на ней основано! Призвал бы я посмотреть на подобный сегодняшний праздник одного из тех, которые требуют от ближнего ***должного*** в себе уважения, и они бы собственными глазами убедились, какая бесконечная разница между тем, что делается ***по долгу*** и ***по любви***.

14 марта

О. Каллист, возвратившись из Орла, привез известие, что говевший у нас в Скиту Ф. Я. Тарасов в среду 11 марта скончался о Господе, удостоившись перед кончиною вторичного напутствия Христовых Таинств. Мир тебе, человек Божий! Все знающие покойного искренно пожалеют, что одним добрым человеком стало меньше на земле, и порадуются о мирной христианской кончине, свидетельствующей, яко благ и милостив Господь.

О кончине Ф. Я. Тарасова пишет Старцу друг почившего, Василий Васильевич Сотников:

«Г. И. Х. С. Б. п. н. г.[1] Святейший батюшка! Разлука с Феодором так поразила меня, что тоска и скорбь моя с каждым днем делаются сильнее, болезнь сердца ощутительнее. Кто заменит здесь лишение его? Кто вознаградит мою потерю? Великую часть моего сердца отделил Феодор и понес с собою в вечность... Но благословен Господь! Слава Ти, Господи, сотворившему сия вся промыслом Своим и по воле Своей!..

Болезнь Феодора была в высшей степени поучительна и назидательна для нас; его кончина мирна и блажен-

---

[1] Начальные буквы молитвословия: Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных.

на; погребение светло, торжественно. Не смею проникать в тайну вечной жизни покойного, но что Господь удостоил его извещения о переходе в будущую жизнь, сие свидетельствую сими словами блаженного:

— Братец! о, как мерзка для меня здешняя жизнь, как отвратительны все блага земные, все земные отличия человека!.. Иду к Тебе, Господи, иду!

Так всю дорогу из Оптиной в Орел вопиял больной в самых лютейших пароксизмах своей болезни. В понедельник, 9-го числа, мы приехали в Орел в 10 часов утра. Явились три доктора. Больному сделалось лучше; пароксизмы унялись, но живот опух.

— Васенька, — говорит он мне, — завтра, если буду жив, хочу особороваться маслом. Слышишь ли? — это моя воля. Иду ко Господу!

10-го числа особоровался маслом и простился со всеми. Романа — кучера с семейством отпустил на волю. Тут мы, семейно вчетвером в присутствии Ивана Михайловича, посоветовавшись, решились сделать еще консилиум и пригласить четырех докторов. Сделать о сем предложение больному предоставлено мне и Михаилу Феодоровичу. Лишь только помянули ему о докторах, — откуда взялись силы, — встал, сел и самым выразительным голосом произнес:

— Вася, брат! отвергаю все... Ко Господу иду!

— Мы вас не держим, но просим, чтобы вы послушанием успокоили нас и по отшествии вашем не оставили тоски о том, что мы вам предложили дозволенные, возможные средства, а вы их отвергнули.

— Чтобы успокоить вас, слушаюсь. Делайте со мной что хотите, но завтра, если буду жив, еще хочу приобщиться Св. Таин... Можно ли это будет после лекарства?

— Можно.

Явились доктора. Пошла суетная работа... Наступило 11-е число — день отшествия праведника. С пяти часов утра перестали давать лекарство. В 9-м часу Феодор Яковлевич исповедался и приобщился Св. Таин. В 10-м

часу выпил с нами две чашки чаю, походил по комнате, благодарил меня за участие и просил сегодня еще побывать у него. В конце 5-го часа пополудни, до кончины своей за 5 минут, из кабинета покойный прошел в столовую, потом в гостиную, спросил про меня, приехал ли я или нет. Потом сказал:

— Дурно мне.

Михаил Феодорович взял его под руку, провел в спальню, посадил на кровать. В ту же минуту больной потребовал крест с мощами. Ему подали. Перекрестился, поцеловал крест, взял его в руки, благословил всех и сказал:

— Простите меня. Отхожу ко Господу моему!

Устремив взор свой горе, крест приложил ко лбу и мирно, тихо отошел ко Господу. Через три минуты я приехал, но застал уже тело его мертво и бездыханно... Но, батюшка родненький, в эти минуты как описать вам мое утешение? Мысль — Феодор со Христом и у Христа теперь вечно царствует, блаженствует — исполнила душу, дух и все существо мое. Но что больше всего восхитило душу мою, это то, что 40-й день по исходе его придется на 19 апреля — на 1-й день Пасхи Христовой... На 3-й день было погребение. Тело было теплое; запаха ни малейшего. Предводители губернский, уездный, множество чиновников — все в мундирах. Певчие архиерейские весь хор — словом, это было торжество благочестия Феодора, а не похороны.

Кто как живет,
Тот так и умрет.

Феодор оставил нам великие уроки жизни, пользовал исходом своим в вечность, утешил и погребением.

Помолитесь, родимый батюшка, чтобы жизнь Феодора привилась к моей омертвелости, чтобы его пламеневшая ко Господу душа возгрела оледенелую мою душу, окаянную и грешную.

Июнь

...В письме от 25 мая монахиня Севского девичьего монастыря Афанасия Николаевна Глебова пишет:

«Нынче скончалась сестра Наталии (которая жила у матери Мелетии), Татьяна Федоровна, блаженною кончиною. Была она долго больна и чахоткою покончила дни свои. За три часа до кончины забылась, потом, очнувшись, радостно засмеялась и рассказала при ней бывшим:

— Я видела Господа. Господь показал мне мой дом, такой прекрасный, что и выразить невозможно. И когда я у Господа спросила, за что мне такой хороший дом, то Господь сказал: «Ты принимала и успокаивала нищих и странных, и милостыня твоя помянулась и уготовила тебе сие жилище».

Еще говорила она своему мужу:

— Я видела и твой золотой дом, который приготовлен тебе за два золотых, которые ты по просьбе моей подал нуждающемуся.

И еще говорила, что она теперь совсем здорова, спешит домой, а сюда вернулась лишь для того, чтобы сказать, как ей там хорошо; что ей никого и ничего не жаль, что здесь все дурно и гадко, а хорошо лишь там. Просила одеть ее в хорошее платье, а то там, при Господе, в худой одежде нельзя быть. Говорила, что в конце обедни надо будет ей идти. И точно: в конце ранней обедни тихо и спокойно отошла в вечность. Говорят, что лицо ее было так спокойно и весело, точно она улыбается.

Как утешительно и умилительно было слышать о таковом извещении перед кончиной! За отшедшую можно быть спокойным, и оставшуюся малолетнюю дочь, конечно, она скоро возьмет к себе, ибо, по видению, говорила, что за Людечку свою она не тревожится, ибо уже оставила душу ее в прекрасном доме вместе с другими детьми. Мужу своему она говорила:

— Пожалуйста, не оставайся здесь долго: дом этот гадкий; спеши туда, где так хорошо, где несравненно

лучше здешнего. Я буду за вас молиться, чтобы вы поскорее туда пошли.

8 августа

Причащались в Скиту замечательные убогие — безногий и слепец, слепец безногого носит на себе. Оба орловские. Живут в союзе любви не по одной нужде, а, как слышно, по Богу...

На днях прибыл в обитель некто г. Зедергольм[1], намеревающийся принять православное исповедание веры. Он сын бывшего немецкого пастора, который отставлен от должности (не могу иначе выразиться, ибо считаю лютеранского пастора не более как профессором теологии, читающим публичные лекции в кирхе) за то, что открыто увещевал немцев не принимать православной веры. Молодой Зедергольм окончил курс наук в Московском университете; особенно занимался греческим языком и по принятии греко-российского исповедания веры намеревается поехать в Грецию для филологических занятий.

На вопрос, что его отвратило от лютеранского исповедания, он очень просто и умно ответил вопрошавшему (о. Иоанну Половцову)[1]:

— Меня ничто не отвратило, но ничто и не привлекало. Я всегда был недоволен сухостью и безжизненностью нашего вероисповедания, которое ничего не дает молодому сердцу, естественно жаждущему сочувствия, участия, оживления, указания прямой, верной цели будущего. Например, у нас в Москве два пастора: один — человек совершенно светский, в проповедании фразер, не более; другой начинает и кончает криком; сначала как бы пугает этим, а под конец надоедает. Да и какое место в церкви ***рассуждениям***? Я могу наслушаться их вдоволь в университете. От религии желательно иное, лучшее, чем сухие бесплодные рассуждения.

---

[1] Константин Карлович Зедергольм, впоследствии скитский иеромонах о. Климент. Известен по монографии К. Н. Леонтьева.

Константина Карловича направил в нашу обитель Иван Васильевич Киреевский (рекомендовавший ему прежде обратиться к одному из московских священников для ознакомления с догматами Православия, кажется к Терновскому). Отец-пастор долго уговаривал его сперва отложить это дело до его смерти, потом на два года, потом на год и, наконец, на полгода, но молодой Зедергольм на все это отвечал отказом, чувствуя настоятельную потребность немедленно удовлетворить требованиям своего духа. Немало также поразила его та холодность, которую он встретил в других своих единоверцах, когда объявил им о своем решении.

— Мне, — говорил он, — казалось весьма естественным, что они с горячностью будут отвлекать меня от сего, и, признаюсь, я даже втайне желал сего; но вышло напротив, и это еще более показало мне шаткость наших религиозных убеждений.

9 августа

Сего числа найден за Скитом в лесу удавленник, козельский мещанин Глеб Николаев. Он был человек холостой, трезвый; лет ему было 35. Несколько лет он собирался вступить в монастырь, но смущался тем, что, раздав малый свой капитал в проценты, не мог собрать его. Главная же сумма была им отдана дяде-раскольнику, который грозил Глебу, что если он не откажется от мысли вступить в монастырь, то не отдаст ему денег. Этим-то, как надо полагать, он и смущал сердце Глеба, который от страсти сребролюбия и пришел к отчаянию в своем спасении, ибо, как признавался родным за несколько дней до смерти, впал в страшную хулу... Впрочем, «приступит человек и сердце глубоко»: нет сомнения, что милосердие Божие не прежде оставляет человека, как испытает все меры к его спасению, совместимые с Божественным правосудием.

[1] Впоследствии архиепископ Литовский и Виленский Ювеналий.

Повесился Глеб на высоком пне, в нескольких саженях от Скита, на северной стороне, в порубежном овраге, тому назад три недели (последний раз был в монастыре 22 июля). Сегодня началось следствие по сему делу, которое, как все следствия земской полиции, никогда не имеют прямою целью ближайшим путем открыть истину. По следствию, Глеб оказался умершим от неизвестной причины и погребен в обители.

13 августа

Сего числа Константин Карлович Зедергольм присоединился к Православию. Во избежание соблазна для новообращенного батюшка (о. Макарий) заплатил соборному причту десять рублей из своих средств за присоединение.

11 ноября

В первый раз усмотрели новую комету. Она величиною с утреннюю звезду, к концу имеет несколько ветвей; светит весьма ярко, попеременно из бледно-зеленого цвета переливаясь в бледно-огненный цвет. Видна по направлению к юго-востоку... Без всякого суеверия смотря на сие небесное знамение, нельзя не подумать, что оно, как и во все исторические эпохи, служит предзнаменованием грозных событий грядущих...[1]

Святой Иоанн Дамаскин кометы прямо называет вестниками событий...»

[1] Начавшаяся в следующем году Севастопольская война вполне оправдала эту точку зрения летописца. — *Прим. С. Нилуса.*

ПРИЛОЖЕНИЕ

Князь Николай Жевахов

ОТВЕРГНУТЫЙ СЕБЯ

(РАБ БОЖИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИВАНЕНКО)

ПИСЬМО ОПТИНСКОГО СКИТОНАЧАЛЬНИКА АНТОНИЯ БРАТУ, САРОВСКОМУ КАЗНАЧЕЮ ИСАЙЕ

Князь Николай Давыдович Жевахов

Видный писатель и церковный деятель Николай Давыдович Жевахов (1874–1947) по отцовской линии происходил из грузинского княжеского рода, мать была из знатной черниговской фамилии Горленко, славной святителем Иоасафом, чудотворцем Белгородским. Юрист по образованию, Николай Давыдович долгие годы служил чиновником в Государственной канцелярии, одновременно глубоко интересуясь православной жизнью России. В августе 1916 года князя Жевахова назначили товарищем Обер-прокурора Святейшего Синода и на этом ответственном посту он оставался вплоть до начала Февральской революции. После ареста и допросов «следователей» над ним нависла угроза тюремного заточения. Лишь по милости Божией Николай Давыдович избежал узилища. Начались горестные скитания по стране. Одно время князь нашел себе приют на Монастырщине, под Киевом. Но и сюда докатился погром.

В середине января 1920 года Жевахов вместе с беженцами отплыл на пароходе «Иртыш» в Константинополь. Но жить возле Святой Софии пришлось недолго, в феврале 1921 года он переехал в Сербию, где и обосновался. Сербский период жизни Николая Давыдовича отмечен значительным творческим взлетом — здесь он написал три тома своих воспоминаний. К сожалению, напечатаны из них только два («Воспоминания товарища Обер-прокурора Святейшего Синода». Т. I. Мюнхен, 1923; Т. II. Новый Сад, 1928). В его книгах с убедительной прямотой отображена церковно-общественная жизнь России в период перед началом Первой мировой войны, во время войны, а также в пору рево-

люционного лихолетья, когда страна подверглась жертвенному уничтожению. Перед читателем предстал не просто свидетель трагических событий, а ревностный защитник веры Православной, инициативный государственник и бесстрашный разоблачитель врагов Отчизны. «Воспоминания» князя Жевахова — один из самых ярких документов эпохи. Вместе с тем его книги — подлинная сокровищница образов, включая Государя, Государыни, церковных деятелей и духоносцев. Несколько незабываемых страниц автор посвятил Оптиной Пустыни, ее подвижникам, сострадавшим народному горю и молитвенно звавших Россию встать на пусть спасения.

В начале 1930-х годов Н. Д. Жевахов переехал на жительство в Италию. Обосновался на Никольском подворье в Барграде (Бари), выстроенном тщанием Императорского Палестинского общества в первые годы XX века. В строительстве Подворья в свое время непосредственно участвовал и сам Николай Давыдович. Но теперь у Подворья уже не было никаких средств. Перед эмиграцией возникла труднейшая задача: сохранить в неприкосновенности святыню, не допустить передачи ее в собственность безбожникам, изыскать необходимые средства к существованию православной общины.

В Италии князь Жевахов пишет обширный очерк «Сергей Александрович Нилус»; издан отдельной книжкой в сербском городе Новый Сад в 1936 году и вскоре переведен автором на итальянский язык (Рим, 1939). Тогда же князь Жевахов перевел на итальянский язык «Беседу преп. Серафима Саровского с Николаем Мотовиловым о цели христианской жизни», открыв для итальянцев драгоценную жемчужину старческого духовного опыта. Благодаря настоянию Жевахова Никольское подворье в Бари оставалось неприкосновенной святыней вплоть до окончания Второй мировой войны. Умер Николай Давыдович в 1947 году в лагере для беженцев в Австрии, под Веной, похоронен там же.

Очерк «Раб Божий Николай Николаевич Иваненко» посвящен автором тем же проблемам русской святости, что и книга Сергея Нилуса. В России печатается впервые.

А. Н. Стрижев

Князь Николай Жевахов

ОТВЕРГНУТЫЙ СЕБЯ

(Раб Божий Николай Николаевич Иваненко)

Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единаго Бога, не ищете (Ин. 6, 44).

Истинно, Истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода (Ин. 12, 24).

ВСТУПЛЕНИЕ

Слепы те люди, какие сквозь толщу повседневной жизни не замечают промыслительных путей Божиих и на сером фоне этой жизни не улавливают благодатных лучей Небесной правды, то предостерегающей и вразумляющей, то милующей и прощающей... Какие волшебные панорамы открываются тем людям, кои владеют духовным зрением, кои и на земле видят отражения неба и славят Бога среди жгучих страданий и испытаний, точно не замечая и не чувствуя их!.. Пред ними стоит не только настоящее, но и будущее, они улавливают самый процесс перерождения минутного страдания, временной скорби в вечную радость... Их плоть остается на

земле, а дух живет и действует в пределах вечности, сквозь призму которой они рассматривают окружающее и свои обязательства к Богу и ближнему, подчиняя своему водительству волю человека, укрощая его страсти и искореняя их... Это — не только «земные ангелы и небесные человеки», но и ангелы, имеющие специальную миссию на земле, возложенную на них безмерною любовью Господа Бога к немощным, злым и неблагодарным людям... Они и сейчас живут среди нас, как всегда жили, как и будут жить, доколе не истощится милосердие и долготерпение Божии. Но их или не замечают, или, замечая, осуждают.

С такими великими рабами Божиими Господь и приводил меня встречаться в жизни... Об одном из них, Николае Николаевиче Иваненке, я и рассказываю в нижеприводимом кратком очерке, воспроизведенном по памяти в 1924 году. К несчастью, мне не удалось вывезти свой архив из России, и ценнейшие бумаги, в том числе и переписка с Николаем Николаевичем, дававшие обильный материал для его жизнеописания — сделались достоянием большевиков...

Жизнь человека многогранна и многообразна... Но в чем бы она ни сказывалась, мы видим, что не человек руководит ею, направляя по известному, заранее намеченному пути, согласно воле Божией, навстречу к определенным задачам и целям, а жизнь играет волею человека и точно издевается над ним... И на склоне дней своих, подводя итоги прожитой жизни, редкий человек остается доволен своей жизнью, и многие, многие с глубоким вздохом, сознаются в том, что если бы им пришлось начать новую жизнь, то они бы и жили иначе, чем раньше и делали бы не то дело, какое делали прежде, что вся их прожитая жизнь была не ***настоящей*** жизнью. А в лучшем случае лишь приготовлением к ней... Самая счастливая жизнь, полная радостей и наслаждений, не способна удовлетворить духовно развитого человека и оставляет

горечь разочарования, ибо никакие радости и утехи не могут убить тоски по Небу...

И только ту жизнь можно назвать ***настоящей*** жизнью, в последний момент которой умирающий может повторить слова, написанные за несколько минут до кончины великим алтайским миссионером архимандритом Макарием Глухаревым (†18 мая 1847 г.):

Мой Бог! Мой Царь! Отец!
Спаситель дорогой!
Пришел желанный день,
Паду перед Тобой...
Еще я на земле, но дух Тобой трепещет...
Зрю — светит горний луч,
Заря бессмертья блещет!

Примером такой ***настоящей*** жизни и была жизнь Николая Николаевича Иваненко с момента его обращения к Богу.

Слава милосердию и долготерпению Божьему, воздвигающему в наши дни подобных людей!.. Горе тем, кто проходит мимо них, не замечая или осуждая их!..

Здесь только слабое отражение этой жизни, но и оно показалось резким тем, кто, взглянув на него, увидел в нем свое собственное отражение. Я не нашел возможным смягчить внешнее содержание рукописи, памятуя, что там, где резкость, там в большинстве случаев — правда; а там, где правда, — там назидание; там же, где назидание, — там польза для души. Писатель же, если он добросовестен, должен думать не о себе и о том, будут ли его хвалить или порицать, а должен думать только о читателе и его духовной пользе.

Н. Ж.

Бари. Подворье Святителя Николая.
17/30 декабря 1933 г.

Николай Николаевич Иваненко

(†6 августа 1912 г.)

Россия, как великая культурная ценность не существовала для Европы. Россию боялись, но ее не знали и не понимали. И вместо того чтобы черпать из России источник своего морального могущества и благополучия, источник подлинного знания и духовного просвещения, Европа на протяжении веков ослабляла и унижала Россию, даже не догадываясь о том, что толкала себя в бездну того хаоса, из которого и доныне не может выйти.

Сила России заключалась не в ее территориальных пространствах и богатствах, а в ее великой духовной мощи. Только Россия являла жизнью своих лучших сынов примеры осуществленного Царствия Божия на земле, только в России можно было научиться ***настоящей*** жизни и узнать, в чем такая жизнь заключалась. И если бы Западная Европа познала духовную мощь России, то тот «кризис западной культуры», о котором теперь так много говорят и пишут, предрекая гибель этой культуры, давно бы наступил, и европейцы признали бы, что вся их культура давно утратила свои национальные черты, была порабощена еврейством, вытеснившим христианские основы культуры, имела ложное основание и зиждилась на обмане.

Русская культура тем и отличалась от западноевропейской, что сберегла свои христианские основы и в сво-

ем поступательном движении вперед не только не отрывалась от религии и ее требований, но и руководилась этими требованиями и сообразовалась с ними. Православие тем и отличалось от прочих религий, что было ***вненационально***, и русский подвижник, достигший горних высот, тем и отличался от подвижников инословных церквей, что становился в буквальном смысле слова гражданином Неба, для которого не существовало ни преданий и писаний, ни догматов и обрядов, ни расовых и национальных различий, ни всего, что нужно земле, но не нужно Небу и для которого ***культура сердца*** была единственным путем восхождения к Богу.

Ему были непонятны не только догматические споры законников, с огрубелым сердцем, кишащим страстями, но непонятна была даже самая область догматов, непознаваемая умом и не могущая быть предметом теоретического усвоения, а доступная лишь духовному созерцанию — пределу человеческого совершенства на земле. Русский подвижник рассматривал окружающих его людей не с точки зрения их принадлежности к той или иной расе и вере, а с точки зрения их ***расстояния от Бога***, и в его глазах язычник, поклоняющийся идолам, стоял нередко ближе к Богу, чем христианин с окаменелым сердцем. И чем выше он поднимался к Небу, чем ближе восходил к Богу, тем все более утрачивал свой земной облик, сбрасывая с себя все то, что являлось уделом земли, но не могло существовать в пределах вечности; тем очевиднее превращался в земного ангела и небесного человека, свидетельствуя о том, что путь на Небо открыт не православным или инославным, а человеку, покорившему свои греховные страсти всепобеждающею любовию к Богу и ближнему.

В первом томе своих «Воспоминаний», в главе «Природа русской души, Русские проблемы духа» я сделал попытку теоретического построения пути восхождения русской души к Богу. Всякой теории предшествует опыт, и моя глава заключала в себе не отвлеченные мысли, не

предположения и возможности, а самую обыденную действительность на фоне русской жизни, ибо указанным мною путем шли не только выдающиеся русские подвижники, но и все совестливые люди с неугасшим сознанием своей ответственности пред Богом, отличаясь друг от друга только расстоянием.

В настоящем очерке я хочу указать конкретный пример из жизни двух замечательных русских людей, из которых один стал известным всему миру, а другой и жил, и умер никому не известным. Как ни различны были внешние условия их жизни, но их связывала общность душевных движений, общность исканий Бога и то, что общим был их ***первый*** шаг по пути к Богу. Но затем пути их разошлись в разные стороны, один дошел до Бога, другой свернул с пути и погиб, ибо прельстился той славой, какую обещал диавол каждому, кто поклонится (Лк. 4, 5–8).

Я говорю о Николае Николаевиче Иваненке, о котором мало кто слышал, и графе Льве Николаевиче Толстом, которого все знают.

Кто не знает писателя графа Льва Толстого, слава которого прогремела по всему міру? Он родился в богатой семье и с детства был окружен исключительными условиями жизни, нежными заботами и трогательным попечением. Казалось, в его жизни не было ни одной щели, чрез которую бы могли проникнуть даже отдаленные слухи о человеческом горе и страдании, о слезах и несчастиях... И между тем он не только не замечал своего довольства и счастья, не только не проникался вкусом к безмятежной и беззаботной жизни, а, наоборот, подобно всем русским детям, воспитанным благочестивыми родителями в страхе Божием, в союзе любви к Богу и ближним, тяготился преимуществами своего положения и, терзаемый перекрестными вопросами и сомнениями, искал из него выхода. *В России чаще, чем где-либо, знатность и богатство не только не привязывали к земле и развивали вкус к земным благам, а, наоборот, выталкивали из міра,* и нежная

душа, застигнутая на пороге своей юности всеми человеческими благами и по природе не способная прилепляться к ним, видела в них только цепи и оковы, не пускающие душу на Небо, задерживающие ее порывы к Богу, и испытывала тем большие угрызения совести, чем меньше успевала в той борьбе с собою. Не избежал в своей юности такой драмы и Лев Толстой, когда пробудившееся сознание поставило пред ним ряд неразрешимых вопросов о задачах и целях жизни и заставило его всю жизнь искать ответов на них: сначала у умудренных духовным опытом старцев, в обителях монастырских, куда он, будучи мальчиком бегал украдкою от родителей; затем в деревне, у народа; и, наконец, у своего собственного разума, обесценившего все прежние ответы и взамен ничего ему не давшего. В данном случае не имеет значения, достиг ли Толстой искомых целей или нет, а важно то, что в тот самый момент, когда окружающие видели в нем баловня судьбы и завидовали ему, в это время Толстой тяготился своим счастьем, ставшим для него бременем и не знал, как сбросить с себя это бремя, как примирить свое собственное счастье и довольство с горем и страданиями окружающих. Сначала ему казалось, что источником человеческого страдания является социальное неустройство жизни и он принялся перестраивать ее, измышляя всевозможные теории социального блага и проповедуя опрощение, в результате которого якобы последует сокращение потребностей и уменьшится страдание от невозможности удовлетворить их. Правильная теоретически, эта мысль привела к абсурду, и Толстой вскоре отказался от нее, после чего стал звать людей в деревню, приглашая их следовать примеру крестьян и личным трудом возделывать землю. Но и эта мысль разочаровала его. Следующим этапом были экскурсии в область религии, но здесь Толстой до того уже запутался в дебрях непознаваемого разумом, но постигаемого духовным опытом, какого он не имел, что впал в ересь и восстал даже против Бога.

Однако же, как ни велики и даже преступны были заблуждения Толстого, но вытекали они из его идеалистических побуждений, из требований его тоскующего и ищущего духа, из протестов его чуткой совести, заглушить которых не могли ни его богатство и знатность рода, ни те земные блага, какие выпали ему в удел. С внешних точек зрения Толстой был и остался до конца своей долгой жизни исключительным баловнем судьбы, наградившей его всеми благами, доступными человеку на земле. Он был богат и знатен, отличался поразительным здоровьем, крепостью сил и трудоспособностью, имел безгранично преданную жену-друга и большую семью, приобрел мировую славу гениального писателя, встречал всеобщее поклонение, но «счастья» он не имел, и дух его и в 80 лет был столь же неспокоен, как и в 18 лет, когда, мучимый неразрешимыми вопросами, он приметался к ограде монастырской и искал ответов на вопросы своего тревожного духа в келиях старцев-подвижников. Вся его жизнь была непрерывным исканием Бога, но он не нашел Его и не нашел потому, что не понял слов Христа: «Кто хочет идти за Мною, ***отвергнись себя***, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).

Толстой точно просмотрел основы спасения души, возвещенные Спасителем, и не только не возненавидел душу свою в міре сем, дабы сохранить ее для жизни вечной (Ин. 12, 25), что привело бы его к смирению, а, наоборот, возлюбил ее паче Бога, что привело его к непомерной гордости ума, какая и погубила его. Начав свою жизнь мистиком, он кончил ее рационалистом. Но рационализм — достояние земли и не имеет корней в вечности, и хотя слава Толстого и прогремела по всему міру, но это была земная слава, и имя Толстого как философа будет скоро позабыто.

В лице Толстого, как в фокусе сосредоточилась богоискательство русской интеллигенции, с ее высокими порывами и устремлениями, с ее чуткой и мятежной совестью,

ищущей и тревожной, неудовлетворяющейся никакими земными благами и в то же время неспособной отречься от них, неспособной на подвиг. Эти люди — глубоко несчастны. Они не настолько испорчены, чтобы удовлетворяться собственным «счастьем» при виде несчастья своих ближних, и не настолько сильны духом, чтобы отказаться от собственного «счастья», как бы ни томились им, как бы ни изнемогали под его бременем. В основе такой нерешительности лежала, быть может, несознаваемая ими самими ***гордость***, точно цепями сковавшая их мысль и волю и не позволявшая им уразуметь, что только одно ***смирение*** могло бы разорвать эти цепи и выпустить их на свободу. Этого не уразумел и Толстой, ставший жертвою своей гордости.

Но то, чего не уразумел Толстой, то понял Иваненко, о котором я и хочу рассказать.

Не помню, в 1905 или в 1906 году я ехал из Петербурга через Москву в Киев, к своей матери, и в Москве, в международном спальном вагоне встретился с гремевшим тогда по всей России священником Григорием Спиридоновичем Петровым. Он занимал отдельное купе 1-го класса и тоже ехал в Киев, где рассчитывал провести несколько дней, а затем следовать в Одессу, по пути в Палестину. Я познакомился с ним в Петербурге незадолго до этой встречи и еще мало знал его. Узнав из разговоров с Гр. Петровым, что в Киеве у него нет знакомых и он едет туда чуть ли не впервые, я пригласил его в свой материнский дом и предложил ему познакомиться у меня с представителями киевского общества чрез посредство моего брата князя Владимира Давидовича, в то время исполнявшего обязанности Киевского вице-губернатора. Гр. Петров охотно согласился и обещал приехать к нам на следующий день к 8 часам вечера, о чем я и сказал своему брату, осведомившись у него, не нарушит ли такое приглашение его планов и предложений, на что брат ответил, что не только будет рад видеть Гр. Петрова, но даже готов лично пригласить его, ибо в этот день ожидает у себя

Николая Николаевича Неплюева и его друга Николая Николаевича Иваненка, и приезд Гр. Петрова будет очень кстати. На другой день утром мы оба поехали в гостиницу «Континенталь», в которой остановился Гр. Петров, и мой брат передал ему свое личное приглашение на вечер. Гр. Петров остановился не только в лучшей гостинице города, но, по-видимому, и в лучшей комнате этой гостиницы, заняв огромный, роскошно меблированный зал, и мы оба едва могли скрыть свою улыбку при виде такого разительного противоречия между проповедями Гр. Петрова, с призывами «опрощения», снискавшими ему такую громкую славу, и его «карманными» размахами. Он принял нас, как и подобало знаменитости, величаво торжественно и обещал приехать ровно в 8 часов. Между тем, на фоне провинциального города, приезд Гр. Петрова в Киев стал уже событием, и мой брат буквально осаждался просьбами своих многочисленных знакомых познакомить их с Гр. Петровым и дать им возможность послушать знаменитого проповедника, в результате чего наша гостиная переполнилась киевским обществом еще задолго до прибытия Гр. Петрова.

Ровно в 8 часов вечера Гр. Петров вошел в гостиную и взоры обратились на него. Он был по обыкновению сосредоточен и очень импонировал своею наружностью, его движения были уверенны, и он производил впечатление законченного артиста, привыкшего выступать пред многочисленною аудиториею. Увидев Николая Николаевича Неплюева, с которым он был раньше знаком и часто встречался в Петербурге, Гр. Петров очень оживился и воскликнул: «Вот не ожидал встретиться с вами в городе, где никого не знаю и где очутился только проездом», но вдруг его оживление исчезло, он почувствовал на себе взгляд Николая Николаевича Иваненка и этот взгляд точно сковал его.

Так как всеобщее внимание присутствовавших было сосредоточено на Гр. Петрове, то Н. Н. Иваненка мало кто

замечал. Я также ничего не слыхал о Николае Николаевиче раньше и, отведя брата в сторону, спросил его о нем.

«После скажу, ответил брат, а пока замечу только то, что этому человеку, быть может, суждено будет сыграть большую роль в нашей жизни».

Эти слова очень заинтересовали меня и я стал рассматривать Николая Николаевича и со вниманием вслушиваться в его слова.

Это был высокий и стройный, несколько сутуловатый старик в безукоризненном черном сюртуке, с длинной белой бородою и следами былой красоты. Свежее румяное лицо точно светилось его чудными любящими глазами и на лице красовалась улыбка, придававшая лицу несколько скептическое выражение. Говорил он односложно и неохотно, и со стороны казалось, что, хотя он и находится в большом обществе, однако очень далек от окружающих, и его душа витает где-то далеко, в другом месте. Однако он не сводил глаз с Гр. Петрова и точно следил за каждым его движением, и я не мог не заметить, что и Гр. Петров, разговаривая то с одним, то с другим, искал глазами Николая Николаевича и не был покоен. Между тем присутствовавшие ждали проповеди Гр. Петрова, который перебрасывался незначительными фразами с своими соседями и, по-видимому, не был расположен говорить, и, чтобы избежать замешательства, брат мой пригласил гостей в столовую, где был сервирован чай. За чаем Гр. Петров оживился и начал говорить... О чем он говорил, я сейчас не помню. С тех пор прошло уже 20 лет. Но я хорошо помню, что все сидевшие за столом с затаенным дыханием вслушивались в каждое слово знаменитого проповедника и оценивали его слова сквозь призму той славы, какая его окружала. Вдруг, неожиданно для всех, смиренный и деликатный Николай Николаевич Иваненко вскочил с своего места и грозно крикнул: «Василий Великий говорит совсем не то, что вы здесь проповедуете... Ваши слова расходятся с учением Православной Церкви...»

Желая отпарировать удар, Гр. Петров ответил:

— Да, он хотя и Великий, но Василий...

Эти слова явились точно сигналом к той грозной, обличительной речи, какую произнес Николай Николаевич и какая, до мелочей, запечатлелась в памяти всех слышавших ее.

«Вы идете за диаволом и тащите за собою всех, кто следует толпами за вами, говорил Н. Н. Иваненко. Вы не можете быть ни пастырем, ни учителем, ибо не научились распознавать козней диавола, ослепившего вас гордостью и тщеславием, честолюбием и славолюбием. Ваша слава ослепила вас настолько, что вы даже не замечаете, что уже стоите на краю бездны... Если бы ваши проповеди были полезны и назидательны, то диавол бы укрыл вас, а не поставил бы на пьедестал, с которого вы всем видны... Возвести вас на вершину славы диавол сумел, но удержать вас на ней — не в его силах... Смиритесь!»

Возможно, что слова Н. Н. Иваненка переданы мною и не буквально, но смысл его обличительной речи, сказанной с большим воодушевлением, остался точным. Нужно ли говорить о последовавшем замешательстве и о том впечатлении, какое получилось от речи Н. Н. Иваненка, обращенной к Гр. Петрову в тот момент, когда его слава гремела по всей России, когда толпы людей бегали за ним и видели в нем пророка, когда не только простые миряне, но и иерархи, и ученые богословы еще не успели разглядеть того яда, какой скрывался в его сочинениях и проповедях, а в лице Гр. Петрова, — бездарного и безверного социалиста, лишенного впоследствии священного сана?!

Николай Николаевич Иваненко был первым, кто обличил его...

«Никогда не забуду этого вечера», — сказал Гр. Петров, прощаясь с Н. Н. Неплюевым.

Я был убежден, что обличение Н. Н. Иваненком Гр. Петрова произвело на слушателей неприятное впечат-

ление, что было и понятно, так как и проповеди, и сочинения Гр. Петрова гипнотизировали массу, не привыкшую к вдумчивому отношению к ним. Мало кто прозревал, что лейтмотивом всех сочинений Гр. Петрова являлось его убеждение в возможности «царствия Божия на земле» путем внешнего переустройства социальных условий жизни, что коренным образом противоречило не только словам Христа Спасителя о царстве Божием «внутри нас», обязывавшем не только к внутреннему духовному перерождению, но и к здравому смыслу; мало кто знал, что «сочинения» Гр. Петрова являлись неудачным перифразом проповедей французских проповедников Вине и Берсье и популярных брошюрок немца Функе, откуда Петров заимствовал свои «мысли», казавшиеся новыми лишь тем, кто не был знаком с иностранной церковно-богословской литературой, красивой по форме, но бедной духовным содержанием.

Широкие массы видели в лице Гр. Петрова пророка, пользовавшегося заслуженной славою, а в лице Н. Н. Иваненка — никому неизвестного старца, и обличение последнего было истолковано не в его пользу.

Вскоре после возвращения Гр. Петрова из Палестины Святейший Синод сослал его в Черменецкий монастырь, Лужского уезда, Петербургской епархии, в надежде, что, вразумленный старцами, Петров откажется от своих заблуждений; когда же эта мера не достигла цели, то оказался вынужденным снять с него священный сан, после чего слава Петрова мгновенно померкла и о нем забыли. Слова Н. Н. Иваненка о способности диавола возводить людей на вершину человеческой славы и бессилии его удерживать их на ней, оправдались на примере Гр. Петрова поразительно быстро.

С этого памятного вечера я всей душою прилепился к Н. Н. Иваненку, однако поддерживать общение с ним мог только письмами, так как на другой же день Николай Николаевич уехал из Киева в Боровский Пафнутиев мо-

настырь, Калужской губернии, и я долгие месяцы спустя его не видел.

Письма его были оригинальны и до того отличались по форме и содержанию от обычных, что я видел в них откровение и чрезвычайно дорожил ими. Но и эти драгоценные письма были похищены большевиками со всеми прочими моими вещами, и у меня остались о них только воспоминания. А между тем они являлись подлинными сокровищами духа и подлинным кладом. Иногда они были очень короткими и заключали в себе только одну фразу, какую-нибудь одну мысль и, получая ее, я невольно вздрагивал, до того необычайным казалось мне совпадение высказанной мысли с тем моментом в моей жизни, какой требовал именно этой мысли, являвшейся назиданием или предостережением; иногда, наоборот, письма были до того объемисты, что присылались в виде сшитых тетрадок... Иной раз между письмами следовали длительные промежутки, проходили недели и месяцы, в другой раз, наоборот, посылалось сразу несколько писем... И такая система не была случайной, как не было случайным и содержание посылаемых писем, всегда очень глубоких и в то же время чрезвычайно ясных. Эти письма еще более сблизили меня с Николаем Николаевичем, в котором я стал видеть своего духовного наставника и руководителя, и я всею душою стремился к нему в Боровский монастырь, не останавливаясь даже пред мыслью об отставке, если бы моя служба в Государственной канцелярии грозила мне разлукою с дивным старцем.

И на обратном пути из Полтавской губернии, где я проводил лето, в августе 1906 года я заехал по пути в Петербург в Боровский монастырь, где и остался около месяца, назидаясь беседами с Николаем Николаевичем и богомудрым настоятелем монастыря архимандритом Венедиктом, учеником знаменитого старца Амвросия Оптинского. Этот месяц был счастливейшим месяцем моей жизни; он, если и не приобщил меня к ***настоящей*** жизни,

то все же показал мне эту жизнь, и то, что я увидел, то обесценило в моих глазах все сокровища міра, переставило все мои прежние точки зрения на мір и задачи человека... И всю свою последующую жизнь я жил буквально между небом и землею, между монастырем и міром и, как ни болезненна была моя личная душевная драма от неизбежного, благодаря такому положению, разлада с собою и с окружающим, все же ей я обязан равнодушием к земным благам и приманкам, и тем, что никогда не скучал о них.

Точно взяв меня за руку, Николай Николаевич возвел меня на высокую гору, откуда открывались не только далекие горизонты, но и все то, что их обесценивало в моих глазах... Весь мір, со всеми своими сокровищами, стремлениями и достижениями, радостями и страданиями, казался мне муравейником, в котором люди суетились не зная зачем и для чего. Все содержание человеческой жизни, с ее идеалами, задачами и программами, казалось мне великой ложью, тем жестоким самообманом, который и ввергал человечество в бездну страданий... Чего ищут и чего добиваются люди, думал я, глядя на этот муравейник, зачем ненавидят друг друга, зложелательны и лукавы? Из-за борьбы за существование?! А разве эта борьба не вызвана их взаимной ненавистью, отсутствием той христианской любви, какая бы приходила на помощь нужде и страданиям и предотвращала самую их возможность?! И притом, не все же ведут такую борьбу... Огромное большинство людей свободно от земных забот и могло бы, казалось, одухотворяться, вознося свой дух к Небу, а не ползать на земле, погружаясь в бездны житейского омута... Но как раз именно эти люди, имеющие все и ни в чем не нуждающиеся, могущие помогать своим ближним и распространять вокруг себя высокое христианское настроение, и являются источником наибольших человеческих страданий... Стремясь только к почестям и славе, они гонят всех встречных на своем пути, оставляя позади себя немощных и слабых,

точно тешась их бессилием... И победителем в жизни признается не самый чистый, а самый ловкий; не тот, кто победил свои земные страсти, а тот, кто использовал их с наибольшей для себя выгодою и заслужил рукоплескания толпы, кто добрался до высших почестей и славы и сел на пьедестал, откуда всем виден, кто, короче сказать, достиг той цели, какую преследует огромное большинство сытых людей, не сознающих своих христианских обязанностей к Богу и ближнему...

Там, в Боровском монастыре, я узнал и прошлое Николая Николаевича Иваненка и историю его обращения к Богу, а затем и условия его постепенного духовного возрастания. Лично о себе Н. Н. Иваненко почти ничего не говорил и не любил отвечать на расспросы о его прошедшей жизни, хотя иногда и отмечал разительное участие Промысла Божия в некоторых моментах его жизни, чтобы подчеркнуть близость Бога к грешному человеку, безмерную милость и любовь Божии. Значительная часть приводимых мною сведений о Н. Н. Иваненке сообщена мне братией монастыря и многочисленными друзьями и знакомыми Николая Николаевича, а затем подтверждена и им лично, после моих настойчивых просьб проверить эти сведения и обещания не опубликовывать их при его жизни.

Сын очень богатых и знатных родителей, потомок Молдавского господаря Ивони, Николай Николаевич Иваненка, вскоре после окончания курса в Императорским Училище правоведения, был назначен товарищем прокурора Окружного суда в одном из южных судебных округов России. После шумной столицы, в которой он провел свою юность и годы учения, унылая и однообразная жизнь провинции показалась молодому юристу до того неприглядной и скучной, что убила в нем даже влечение к служебной карьере. И Николай Николаевич, выйдя в отставку, поселился в одном из своих многочисленных имений в центральной России и занялся хозяйством. Лишившись рано своих родителей, Николай Николаевич сделался обладате-

лем сказочного богатства. Он владел миллионным имуществом, состоящим из имений, разбросанных в разных губерниях, с фабриками и заводами, управление коими сосредоточивалось в руках многочисленной и опытной администрации; был молод, здоров и очень красив и являлся тем баловнем судьбы, на которого изливались, казалось, все земные блага, доступные человеку. Не испытывал он и никакого душевного разлада, а пользовался благами жизни так, как только и могла ими пользоваться беззаботная молодость. Хозяйство скоро надоело ему, он покинул деревню и переселился за границу, проживая преимущественно в Париже и Лондоне. Как протекала его жизнь на чужбине, никому не было известно, но о размахах ее можно судить по тому, что ежегодные расходы Николая Николаевича превышали цифру в 750 000 рублей, как о том рассказывали впоследствии его парижские и лондонские друзья и собутыльники. Впрочем, Николай Николаевич, хотя и вел очень широкий образ жизни, но всегда был воздержан и не предавался излишествам, и нужно думать, что его огромный бюджет обусловливался лишь злоупотреблениями со стороны его многочисленных заграничных приятелей, пользовавшихся безграничной мягкостью и добротою Николая Николаевича. Изредка наезжая в Россию по своим делам, Н. Н. Иваненко продолжал оставаться за границей до тех пор, пока один знаменательный случай, о котором Николай Николаевич говорил затем как о результате молитв его покойной матери, вырвал его из омута греха и привел к Богу.

Возвращаясь однажды поздно вечером из театра по одному из ярко освещенных парижских бульваров, Николай Николаевич заметил на тротуаре, подле фонарного столба, какую-то маленькую книжку, лежавшую развернутою, переплетом вверх и покрытую грязью. Наклонившись, он бережно взял эту книжку, оказавшуюся Евангелием на русском языке, и, подойдя к фонарю, прочитал развернутые страницы, останавливаясь с особым вниманием на

текстах, наиболее запачканных грязью. Один из этих текстов был особенно загрязнен и, прежде чем прочитать его, Николай Николаевич снял слой грязи перочинным ножиком. Этот текст гласил: «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21).

Николай Николаевич мгновенно как бы переродился. И тот факт, что он всегда возвращался из театра в крытом экипаже, а в этот раз почему-то пошел пешком, и чудесная находка русского Евангелия на одном из парижских бульваров, и подчеркнутый текст, покрытый грязью, — все это до того взволновало Н. Н. Иваненка, что он залился слезами, увидел здесь призыв Бога и добросовестно и немедленно отозвался на него, выполнив буквально повеление Божие. Благодатное озарение, как ослепительный луч света, проникло к его сознание, осветило его скверну и в один момент переродило его. Ликвидировав свои дела за границей, разорвав все свои связи и знакомства, Николай Николаевич немедленно вернулся в Россию, где часть своих земель раздал бедным крестьянам, другую часть продал и вырученные деньги разослал по селам и деревням на постройку 34 храмов, а сам превратился в бездомного странника и стал проживать по монастырям, переходя из одного в другой, столько же для того, чтобы укрыться от славы людской, сколько и для того, чтобы оказывать материальную помощь тем обителям, где он находил себе приют. Ликвидировать миллионное имущество сразу было невозможно, и в течение нескольких последующих лет Николай Николаевич получал еще огромные суммы денег, какие раздавал нищим, вынимая из кармана пригоршнями золотые монеты и не сообразуясь с их количеством, вследствие чего его постоянно окружали толпы людей, и на этой почве рождались всякого рода недоразумения с монастырской братией. После этого Николай Николаевич оставлял свое прежнее местожительство и переходил в

другой монастырь. Обращение Николая Николаевича к Богу последовало на 40-м году его жизни и в течение свыше 20 лет он вел скитальческую жизнь бездомного странника, пока не поселился окончательно в Боровском монастыре Преподобного Пафнутия, куда прибыл имея уже 63 года от роду.

Я имел счастье познакомится с Николаем Николаевичем Иваненко в тот момент, когда он достиг уже вершин духовной мудрости, когда благодать Божия уже видимо почивала на нем и к его словам прислушивались и умудренные духовным опытом старцы, видевшие в нем «великого раба Божия». Мое общение с ним продолжалось 7 лет, вплоть до смерти его, последовавшей в 1912 году, за два года до начала мировой войны.

Привести в систему все мои беседы с Николаем Николаевичем, могущие вместе с его необычайными письмами составить «науку настоящей жизни» — почти невозможно. Многое исчезло из памяти, переписка же с этим замечательным человеком погибла. Сохранились лишь обрывки воспоминаний в форме кратких суждений по отдельным вопросам и мои личные наблюдения, обязывающие меня не только сберечь полученное мною духовное наследство, но и передать его ищущим правды.

Подробности прошлой жизни Н. Н. Иваненка до его обращения к Богу, равно как и первые 20 лет после обращения, мне мало известны и я не буду вовсе касаться этого периода его жизни, а остановлюсь только на последних 7 годах моего непосредственного общения с ним, приоткрывших мне совершенно новые области ведения раньше мне незнакомые.

Нужно сказать, что влияние официальной церкви России в выработке религиозного миросозерцания и настроения ее пасомых почти ни в чем не выражалось и ничем не сказывалось. Люди, искренно томимые духовной жаждою, не удовлетворялись ни общением с представителями официальной Церкви, ни тем, что выносили из уроков

Закона Божия в средней школе, нравственного и догматического богословия в высшей. В обоих случаях пред ними были «учебники», набор схоластических знаний абсолютно не пригодных не только для возгревания веры, но даже для удержания ее; и неудивительно, если специальные духовные школы, «Духовные Академии» стали называться даже «могилами Православия». При этих условиях религиозная настроенность русских людей держалась или на семье, бережно хранившей традиции рода и передававшей из поколения в поколение веру предков, или на общении с людьми «не от мира сего», с старцами и подвижниками, скрывавшимися в келлиях монастырей и обильно питавшими духовной пищей тех, кто прибегал к их помощи и назидался их беседами.

Как простонародье, так и интеллигенция в равной мере чувствовали потребность в духовном наставнике и руководителе, интеллигенция еще больше, чем простой народ, и ***искали*** его. Отсюда хождение по монастырям, ставшее бытовым явлением русской жизни. Насколько, однако, простой народ удовлетворялся наружным благочестием и немудреными беседами с старцами, утешавшими его в горе и дававшими ему наставления, полезные для житейского обихода, настолько интеллигенция, предъявлявшая к старцам более высокие требования, не всегда удовлетворялась такими беседами. В своем большинстве эти старцы, даже достигнувшие высот нравственного совершенства и стоявшие в духовном отношении неизмеримо выше образованной интеллигенции, были все же простецами, действительно много знающими и еще более ощущающими Истину, но не способными ***передавать*** своих знаний языком понятным образованному человеку. Это были почти святые люди, изливающие почившую на них благодать Божию на окружающих. Они приводили к раскаянию грешника и вызывали умиление одним своим видом, но не умели ***рассказать***, каким образом и какими путями они достигли своего совершенства, как вышли победителями из той борьбы,

какая раздирала душу всякого грешника, прибегавшего к ним за помощью с просьбою ***научить*** его. Для многих из них эта внутренняя борьба образованного человека, изнемогавшего под натиском мирового зла и задавленного перекрестными вопросами, остававшимися без ответа, была даже неведома; огромное большинство этих старцев-отшельников вышли из иной среды и были совершенно незнакомы с условиями жизни образованного класса населения и потому, в лучшем случае, хотя и давали интеллигенту сокровища великой духовной ценности, однако последний не всегда оказывался способным по состоянию своего духовного развития пользоваться ими. Вот почему встреча моя с Николаем Николаевичем Иваненко, пользовавшимся великим почетом даже у таких старцев-подвижников человеком моей среды, познавшим суету міра сего, победившим страсти и говорившим со мною на понятном для меня языке, явилась в моих глазах великою милостью Божией. Говорил Николай Николаевич редко, неохотно, высказывал мысли отрывочно, точно боялся, что его мысли будут записаны и создадут ему славу. В этом отношении добросовестность его была изумительна. После своего обращения к Богу он не сделал ***ни одной*** уступки не только своим страстям, которые еще не были убиты и требовали пищи, но даже малейшим желаниям, по существу не греховным. Переход от смерти к жизни, от греха к святости совершился у него как бы мгновенно, без промежутков, но так только казалось тому, кто видел на поверхности лишь проявление сурового аскетизма, но не замечал той внутренней, духовной борьбы, какую вел Николай Николаевич и какая была поэтому вдвойне жестокой и требовала величайшего напряжения его еще неокрепших духовных сил. Эта борьба была до того страшной, что Николай Николаевич со слезами на глазах признавался в том, о чем ему не хотелось говорить из опасения славы людской и о чем он вынуждался говорить для славы Божией. Он говорил, что люди даже на представляют себе близости к ним Бога, что

самому отъявленному грешнику нужно ***только захотеть*** спастись и Сам Господь придет к нему на помощь, лишь бы только такое желание спастись было искренним, целым, а не половинным; что никакие духовные силы человека не были бы в состоянии выдерживать эту ужасную борьбу с диаволом, если бы не всесильная помощь Божия, сокрушающая все сатанинские козни, которую люди не только не замечают, но в которую даже не верят, ибо не замечают этих козней и не верят в существование диавола.

Многие страницы «Жития святых» с их легендарными подвигами, коим мало кто верит, считая их фантастическими вымыслами, могли бы войти в биографию Н. Н. Иваненка как факты нашего времени. Он на личном опыте пережил все разнообразие проявлений длительной и упорной борьбы с диаволом и его кознями, борьбы, которая могла быть фактом, но не могла быть вымышлена никакой фантазией, ничьим воображением, и рассказы Николая Николаевича приобретали тем большую ценность, что утверждали несомненную подлинность «Четий Миней» и древних сказаний о жизни подвижников Церкви, и могли быть проверены на личном опыте.

Это был не только великий подвижник Церкви, но и законченный учитель и наставник, умудренный личным духовным опытом, раскрывавшим пред ним душу другого даже на расстоянии... Как-то однажды, проводя лето в Боровском монастыре, о чем знали только весьма немногие из моих родных и близких, я совсем неожиданно получил письмо из Царского Села от одного высокопоставленного юноши, с которым не только не был знаком, но о котором даже не слышал. Извинявшись за посылку письма незнакомому лицу и сославшись на то, что мое местопребывание указано ему известным писателем Евгением Поселяниным, этот юноша обращался ко мне с пламенной просьбой разрешить ему ряд сомнений и недоумений, какие его терзают и лишают душевного спокойствия... Я рассказал об

этом Николаю Николаевичу, предложив прочитать письмо, но Николай Николаевич, не читая его, сказал:

— Здесь неисповеданный грех... Посоветуйте ему чистосердечно покаяться в грехе им неисповеданном, и душевное спокойствие снова вернется к нему...

Так и случилось. Юноша нашел в себе силы выполнить совет и духовно возродился.

Таких примеров духовного проникновения в чужую душу было много, но никто их не записывал и не отмечал, считая их заурядными явлениями в жизни Николая Николаевича, полной чудес...

Разумеется, встретившись на своем жизненном пути с таким необычайным человекам, я старался извлечь из общения с ним возможно больше духовной пользы... Меня глубоко заинтересовало миросозерцание Н. Н. Иваненка и те точки зрения на мiр и его задачи, какие находились у него в таком непримиримом противоречии с общепринятыми, и я подолгу беседовал с Николаем Николаевичем на эти темы.

Беседы с этим замечательным человеком и его письма рождали в моем сознании ***теорию святости***, то есть именно то, что были призваны давать уроки Закона Божия в средних школах и богословия — в высших, но чего ни те, ни другие не давали.

Безмерная любовь Бога к человеку, говорил Николай Николаевич, безграничная снисходительность к человеческой немощи и милосердие Божие не могли, конечно, возлагать на человека непосильных для него задач, тем не менее, при самом сотворении мiра и человека, Господь создал для первых людей земной рай, предназначив все человечество для блаженства не только на Небе, но и на земле, и этим признал, что человек не только ***должен***, но и ***может*** быть блаженным, святым в своей земной жизни. С этой целью, создавая человека, Господь и вложил в природу его влечение к счастью, блаженству, ставшее органическою потребностью каждого человека. И Господь Иисус

Христос, возвещая Свое божественное учение людям, определил конечную задачу человека на земле словами: «будьте сынами Отца вашего Небесного», «будьте совершенны как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 45, 48), и тем подчеркнул, что эти слова — не идеал, к которому надо стремиться, а прямое повеление Божие, какое каждый человек ***обязан*** исполнить. Давая такое повеление и обязывая людей быть совершенными, Господь и сказал как это сделать, и кто ***поверил*** словам Христа Спасителя, тот и становился святым. И об этом свидетельствуют сонмы праведников и подвижников нашей Православной Церкви. Безмерно тяжелою и недостижимою в условиях земной жизни кажется заповеданная Богом цель. Но так только кажется тем, кто ***не доверяет*** словам Спасителя, кто не вдумывается в слова: «***отвергнись*** себя, возьми крест свой и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). «Не заботьтесь о завтрашнем дне...» (Мф. 6, 34) «просите и ***дано*** будет вам» (Мф. 7, 7–8). В этих словах вся программа человеческой жизни, обеспечивающая достижение предназначенных человеку целей, дарующих ему блаженство не только в загробной, но и в земной жизни.

Милосердный Господь как бы говорит человеку: «ты только ***доверься мне***, а Я уже Сам поработаю за тебя и приведу тебя на Небо к Престолу Своему», но люди упорно не отзываются на эти призывы и не потому даже, что не верят им, а потому, что не имеют ***решимости*** всецело положиться на Бога. Даже те, кто откликается на эти призывы и думает, что идет им навстречу, пускаются на хитрости с Богом, оставляют себе про запас ***на всякий случай:*** кто земные связи и привязанности, окружая себя друзьями и увеличивая число их, не без тайной мысли использовать их и обратиться к ***ним*** за помощью в случае нужды; кто сберегает себе немножко денег про черный день; кто обеспечивает себя самого положением, закрепляя свои позиции службою, чинами и пр. А не имеют люди решимости довериться Богу и боятся вручить себя

всецело водительству Промысла Божия потому, что думают, что ***отвергнуться себя*** значит обречь себя на лишения и страдания, на непосильные для них подвиги жертвы, лишить себя радостей в жизни, взвалить на свои плечи еще новые скорби и невзгоды, каких и так много на земле. Но это неверно.

Они забыли, что самое тяжкое бремя, какое когда-либо существовало на земле и которое ***никогда*** более не повторится, было бременем, какое нес на Себе Христос Спаситель, а между тем Господь назвал Свое бремя легким и иго Свое ***благом***.

Припоминаю один из многих мудрых рассказов из иноческой жизни. Как-то однажды один благочестивый мирянин спросил инока: «И какой смысл в том, что вы часами простаиваете на молитве и каждый день выбиваете по тысяче поклонов вместо того, чтобы расходовать дорогое время на пользу ближним?..» А инок и ответил: «Вот ты попробуй сначала хотя один день сделать тысячу поклонов, тогда и увидишь, какую от этого получишь пользу»... Так и я, грешный, говорил Николай Николаевич, могу опытно засвидетельствовать, что имел ***все блага*** земные, доступные человеку, и не знал, что значит отказать себе в самых разнообразных требованиях плоти, но ни одно из этих благ не дало мне счастья, какое я получил лишь с того момента, когда отказался от них. А ведь нет человека, который бы не стремился к этим благам, ибо нет никого, кто бы не связывал своего счастья с обладанием земными благами, не зная того, что они кажутся заманчивыми лишь до тех пор, пока стремишься к ним и делаются несноснейшим бременем и обузою для тех, кто уже обладает ими».

Николай Николаевич замолчал, а потом, пристально посмотрев на меня, сказал мне:

— Вот вы можете подумать: «Хорошо тебе говорить так. Ты уже стар, ничего тебе не нужно, живешь себе в монастыре на всем готовом, забот не имеешь и тебе легко

проповедовать теории святости... А попробуй-ка в міру сделаться святым... Так столько подводных камней и препятствий, что никаких сил не хватит преодолеть их, и нечего и браться за непосильную работу. Где же эти радость и счастье, о которых ты говоришь?!. Но если бы задача переустройства міра на евангельских началах и была по силам человеку, то в чем идея аскетизма, подрывающего лишь эти силы, к чему это самоистязание, отречение от собственной воли и вручение ее часто невеждам, ломающим и физический, и духовный организм человека, способного принести неизмеримо большую пользу людям в міру, чем закопавшись в монастырской келлии, где ничегонеделание называется «внутренним деланием»?!

Так, если и не говорят, то думают почти все люди, признавшие, что Евангелие Господа Иисуса Христа есть сборник идейных пожеланий, в земной жизни неосуществимых. От этого земная жизнь всего человечества строилась и продолжает строиться на началах чуждых Евангельским заветам, и отсюда все горе, страдания и мучения людей. Чтобы что-либо утверждать, нужно сначала ***испытать***, и те, кто испытывал Слово Божие, те знают, что это Слово — реально и верят Христу Спасителю, подчеркнувшему самое «нереальное» место в Евангелии, именно описание картины Страшного Суда Господня, такими грозными словами: «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24, 35). Сначала нужно ***довериться*** Богу, затем ***отвергнуться*** себя и перестать заботиться о ***завтрашнем дне***».

И Николай Николаевич объяснил мне, что это значит.

1. Много путей ведет к приобретению сознательной веры, но живая вера появляется лишь с того момента, когда человек сознает себя в опасности и, притом, такой опасности, от которой спасти его никто, кроме Бога, не может. В течение своей земной жизни человек подвергается всякого рода опасностям, но все эти опасности такого рода, что устраняются человеческими способами. К ним и прибегает

человек, не задумываясь над теми опасностями, какие угрожают вечной гибелью его душе и где никакие человеческие средства и способы спасения не могут ему помочь. Нужно было бы написать целую книгу для того, чтобы нарисовать процесс духовного ***пробуждения*** человека, медленного и постепенного, или же быстрого и внезапного, но пока скажу лишь, что первым признаком такого пробуждения является *страх*, тот страх, какой мудро называется *Божиим* и какой постепенно овладевает всем сознанием человека, впервые почувствовавшего себя в опасности. Он еще не отдает себе ясного отчета в том, какого рода эта опасность, в чем она состоит и с какой стороны ему угрожает, он только трепещет и боится, и все теснее прижимается к Богу, и ждет от Него помощи и защиты. И по мере своего приближения к Богу у него открываются глаза и он начинает все яснее видеть то, чего почти никто не видит и чему почти никто не верит: начинает видеть козни диавола, его гениальную игру и безмерно хитрые методы обмана и способы губительства людей. Только с этого момента начинается подлинная вера в Бога. Только с этого момента открывается человеку и та опасность, в какой он находится, живя на земле, и какая столь ужасна, что, для спасения человека от нее, потребовались безмерные страдания и Искупительная Жертва Господа Иисуса Христа. Диавол — вот кто посягает на достояние Божие, человеческую душу, питает ее злыми помыслами, культивирует зло, сеет ненависть и злобу, толкает человека на преступления против законов Божиих, против Самого Бога... Как же можно жить на земле, не умея распознавать козней диавола, а ежеминутно попадая в его сети и становясь орудием в его руках, увеличивая собою, своими помыслами и делами міровое зло, давно уже перевесившее чашу весов Божественного Правосудия и грозящее гибелью міра! В чем значение всех завоеваний человеческого ума, всей суммы человеческого знания, если люди не умеют распознавать диавольских козней, не видят их выражений вовне,

не умеют угадывать их за лживым обманчивым покровом, а, точно движимые стадным чувством, неудержимо влекутся к диавольским сетям и даже служат диаволу в убеждении, что служат Богу! Уметь распознавать вовне козни диавола — это самое нужное в жизни, самое главное, без чего невозможно иметь и веры в Бога.

Кто не верит в диавола, тот не может верить и в Бога. Только тогда и выявляется безмерная близость и бесконечная любовь Бога к человеку, когда он увидит козни диавола и познает, как бережно и любовно Господь оберегал его от этих козней, как заботливо предостерегал человека и предотвращал от ежеминутно грозящей ему гибели. О, если бы люди только могли представить себе всю чрезвычайную силу, все могущество диавола!.. Міръ повторяет заученные в катехизисе слова, что диавол побежден и боится одного только крестного знамения. Да, побежден, ***но побежден Богом***, а не людьми, и никакие духовные силы человека не были бы в состоянии выдерживать ужасную борьбу с диаволом, если бы не всесильная помощь Божия, сокрушающая сатанинские козни.

То же самое говорил преподобный Серафим, беседуя с Н. А. Мотовиловым.

Как-то раз в беседе с преподобным Серафимом зашел разговор о вражьих нападениях на человека. Светски образованный Мотовилов не преминул усомниться в реальности явлений злой силы. Тогда Преподобный поведал ему о своей страшной борьбе в течение 1000 дней и ночей с бесами и силой своего слова, авторитетом своей святости убедил Мотовилова в существовании бесов не в призраках или мечтании, а в самой настоящей действительности.

Пылкий Мотовилов так вдохновился повестью Старца, что от души воскликнул:

— Батюшка, как бы я хотел побороться с бесами!

Преподобный Серафим испуганно перебил его:

— Что вы, что вы, ваше Боголюбие! Вы не знаете, что вы говорите. Знали бы вы, что малейший из них своим

когтем может перевернуть всю землю, так не вызывались бы на борьбу с ними.

— А разве, Батюшка, у бесов есть когти?

— Эх, ваше Боголюбие, ваше Боголюбие, и чему только вас в университете учат?! Не знаете, что у бесов когтей нет. Изображают их с копытами, когтями, рогами, хвостами потому, что для человеческого воображения невозможно гнуснее этого вида и придумать. Таковы в гнусности своей они и есть, ибо самовольное отпадение их от Бога и добровольное их противление Божественной благодати из Ангелов света, какими они были до отпадения, сделало их ангелами такой тьмы и мерзости, что не изобразить их никаким человеческим подобием, а подобие нужно — вот их и изображают черными и безобразными. Но, будучи сотворены с силой и свойствами Ангелов, они обладают таким для человека и для всего земного необоримым могуществом, что, как и сказал я вам, малейший из них может своим когтем перевернуть всю землю. Одна Божественная благодать Всесвятого Духа, туне даруемая нам, православным христианам, за божественные заслуги Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа, одна она делает ничтожными все козни и злоухищрения вражии![1].

Вот это-то умение распознавать сатанинские козни и приобретается в безмолвии и тишине, в самоанализе, в изучении своих собственных душевных влечений и движений, в наблюдении за своими привычками и вкусами, в контроле над своими желаниями, и составляет то «внутреннее делание», какое невежественный мір отождествляет с ничегонеделанием. Такое «внутреннее делание» переносит не только мысль, но и чувства человека из области материальной, мірской, в область духов, в ту область, какая уготована Богом каждому человеку после его смерти и точки зрения которой являются единственно правильными при оценке міра и его задач. Потому-то мір и слеп, что

[1] «Православный Собеседник», № 2, февраль 1933 г. С. 180–181.

не только не сообразуется с этими точками зрения, но даже не знает, в чем они заключаются.

Здесь Николай Николаевич остановился, а затем вдруг неожиданно, точно встрепенувшись, спросил меня:

— Можно ли, оставаясь на земле в теле, испытывать небесные ощущения и жить одним духом, вне тела?.. Неверующие скажут, что нельзя, а я говорю, что можно...

И, действительно, каждое слово Николая Николаевича, каждое его утверждение, каждая мысль и каждое положение, а также выводы и заключения — были выражением его личного опыта. Говоря о кознях сатанинских, он говорил не о том, что вычитал из книг и о чем знал теоретически, а о том, что *видел*. Он видел и диавола, и его «хитроумные проделки», как называл Николай Николаевич эти диавольские козни, и беспрестанно воевал с ним. В течение дня он буквально не разлучался с крестным знамением, крестя каждый предмет в своей келлии и точно отбивался крестным знамением от невидимых злых духов, нарушавших его покой. Неудивительно, что эти «странности» объяснялись иначе, и некоторые считали Николая Николаевича даже психически ненормальным, указывая на то, что никто из «нормальных» людей не ведет такой борьбы с диаволом и никаких козней последнего не замечает.

— Потому и не ведет, что не замечает, — отвечал в этих случаях Николай Николаевич, — ведут борьбу только с врагами, а не с друзьями, а для огромного большинства людей диавол не враг, а друг и советник...

«Міръ упорно не признает диавола, но ... приближается уже час, когда Господь попустит ему на время восторжествовать над міром и тогда его козни откроются всему міру, и настанет великая скорбь, и увеличится вера на земле[1]. Когда благодать Божия отступит от людей, тогда они по-

[1] Слова эти, сказанные за 5 лет до революции 1917 года, оказались пророческими. Н. Н. точно провидел, подобно Вл. Соловьеву, наступление грядущих бедствий, надвигавшихся на Россию. — *Прим. автора.*

знают, что без благодати Господней весь мір давно бы погиб... Вот до чего сильно могущество диавола! Он боится Бога, но людей не боится и вооружается даже против праведников и мог бы их прельстить, если бы не помощь Божия... Вспомните житие преподобного Иакова Постника (4 марта)... А люди все еще не верят в бытие диавола и козней его не только не видят, но даже не признают их.

Когда человек научится распознавать козни диавола, тогда только у него и спадет завеса с глаз и он познает Бога, а познав, и ***доверится*** Ему. Доверие же рождает решимость вручить себя водительству Божиему, а эта решимость заставит и ***отвергнуться*** себя, ибо тогда исчезнет надобность полагаться на себя и на свой разум, исчезнет и многопопечение, и многозаботливость, обязательные там, где нет веры и где человек строит свою жизнь на планах и расчетах, связанных с заботами о ***завтрашнем*** дне.

2. ***Отвергнуться*** себя — значит быть только искренним и честным с самим собою и не допускать компромиссов с совестью. Каждый человек знает, где правда и где ложь, где добро и где зло, когда он поступает хорошо и когда дурно, и от его доброй воли зависит быть белым или черным. Но большинство людей хитрит и служит одновременно и добру, и злу — немножко Богу, немножко диаволу. От этого они ни белые, ни черные, а серые и не видят в своей жизни ни Руки Господней, ни козней сатанинских. Нет людей, которые бы пребывали в чистых отношениях к Богу и ближним. В самом лучшем случае эти отношения только наполовину чистые. Отвергнуться себя — значит не кривить душою и всецело довериться Богу, Его безмерной любви, Его бесконечному всемогуществу; перестать оглядываться на людей и ждать от них помощи, а главное — отречься от своей собственной воли и во всем положиться на Бога. Но люди этого боятся, опасаясь остаться беспомощными и одинокими. Они говорят: «Да мы и рады были бы не заботиться о своих собственных делах

и нуждах, но кто же о нас позаботится, ведь люди злы, они нам не помогут в нужде, они заклюют нас». Так говорят все, ибо все связаны взаимным недоверием друг к другу и не имеют любви между собою.

Но попадаются между ними смельчаки, которые знают, что там, где помогает Бог, там никакой людской помощи и не нужно. Решившись довериться Богу, эти люди становятся свидетелями нескончаемых чудес в своей жизни и поражаются неверию и малодушию своих ближних, больше доверяющих себе, чем Богу. Люди привыкли говорить о вере и даже обиделись бы, если бы им сказали, что у них нет никакой веры, а между тем, в чем же проявляется их вера, в чем она выражается?! Люди не только не имеют ее, но и не приобретут до тех пор, пока не перестанут бояться проявлять ее наружу конкретными действиями и поступками. Разве это вера, если, помогая бедным, люди уделяют им только такую крупицу, какая бы не подорвала их собственного бюджета; навещая больных, боятся приблизиться к тифозному больному, чтобы «не заразиться»; заболев сами, бегут за докторами, по совету которых ездят на курорты за границу, вместо того чтобы обратиться к всесильному Врачу душ и телес, Который лучше нас знает, что нам полезнее, болезнь или здоровье, жизнь или смерть, и вера в Которого способна воскресить даже мертвого; посещая заключенных в тюрьмах, обходить тех несчастных, общение с которыми повредило бы их репутации или скомпрометировало их во мнении общества... А посмотрите, какое малодушие проявляют люди в отношении своих ближних, оклеветанных врагами!.. Они на слово верят диаволу-клеветнику и не только не пытаются проверить обвинения, а убегают от оклеветанных как от преступников, боясь скомпрометировать себя одним только приближением к ним, одним только участием даже на расстоянии, одним сочувствием... О, как сильна клевета и как велико малодушие маловерных!.. Даже апостол Петр не устоял и отрекся от Христа, когда от него потребова-

лось испытание его веры... Так живут и поступают не худшие, а лучшие из христиан, помнящие заветы Христа о любви к ближним, утешении страждущих, посещении в темницах сущих, о других же и говорить не нужно... Где же эта вера в Бога и Его всесильную помощь, где грозные обличения неправды міра, где смелая, открытая борьба с его злом, где та вера, какая не боится ни сильных, ни знатных, ни подвигов, ни геройства, какая боится только Бога и какую имели Серафимы и Иоасафы и бесчисленный сонм угодников Божиих — всё давших міру, но от него ничего не бравших и ничего ему не должных?

Этой веры нет, ибо для того, чтобы ее иметь, нужно уже быть чистым, а для того, чтобы быть чистым, нужно очиститься. По мере же очищения будет возрастать и вера, а с верою — дерзновение, а с дерзновением — сила духа, а где эта сила — там нет и страха пред неправдою, в чем бы она ни выражалась и кто бы ни творил ее.

Этой чистоты нет, нет и обличения неправды и греха. И хорошо, что нет, ибо обличение нечистым нечистого — двойной грех. Не обличают, ибо боятся быть обличенными... Да и как не бояться?! У одного много учености, но еще больше гордости и самолюбия; у другого много приветливости, какая всем видна, но еще больше лицемерия и лукавства, каких никому не видно; у третьего под наружной простотою и обходительностью скрывается непомерное честолюбие, тщеславие, зависть, жажда славы и поклонения... Куда же тут обличать других, когда у самого кишат страсти неукрощенные, когда нет чистоты в отношениях ни к Богу, ни к себе самому, ни ближнему!

Этой веры нет, а между тем только такая вера творит чудеса. А нет этой веры, нет и решимости отвергнуться себя и идти за Христом.

Боятся люди отвергнуться себя еще и потому, что опасаются одиночества, физических лишений, немощей и страданий. Такие опасения неосновательны. Духовно прозревший человек одинок не тогда, когда он один, а как раз

наоборот, тогда, когда он среди людей. Когда же он наедине с самим собою, тогда он пребывает в общении с бесплотными духами и не только не томится одиночеством, а, напротив, испытывает величайшее наслаждение, ибо, будучи еще в теле, переживает ощущения той жизни, какой будет жить вне тела, в загробной жизни. Это можно испытать, но объяснить это трудно.

То же самое нужно сказать и о воображаемых физических лишениях и страданиях, якобы связанных с отвержением себя и следованием за Христом. Так думают те, кто не сделал еще ни одного шага по пути к Христу. Те же, кто шли этим путем, знают, что этот путь перерождает самую природу человека и делает его «новою тварью» (2 Кор. 5, 17), дарует человеку новые ощущения и новые потребности, удовлетворяемые не помощью со стороны людей, а благодатью Божиею. Господь чудесно подчиняет плоть требованиям духа и укрощает законы естества. И те аскеты, отшельники и затворники, которые со стороны казались величайшими мучениками и страдальцами, испытывали в действительности полноту доступного человеку на земле наслаждения. Это не значит, что нравственное совершенство давалось подвижникам без борьбы с самим собою и с окружающим, что для достижения такового не требовалось наших собственных усилий.... Царство Божие «нудится» и даруется человеку в результате его упорной работы, однако же не только плоды этой работы, но и самая работа являются таким великим благом, выше которого нет на земле по характеру и свойству небесных ощущений, сопутствующих человеку в этой работе, приводящей к величайшей гармонии и торжеству духа. А главное, для этой работы не только не требуется помощи со стороны людей, а, наоборот, нужно бегать от людей, перестать и видеть, и слышать их. Тогда наступает тишина, тогда наступает общение души с Начальником тишины, Господом Иисусом Христом и открывается Его Воля для каждого часа, каж-

дого мгновения нашей жизни и тогда нужно только следовать указаниям той Всесвятейшей Воли. И то, что было сокрыто еще вчера, что заставляло нас терзаться сомнениями, догадками и предположениями, неизбежными там, где неизвестно, как поступить в том или ином случае и что делать, то вдруг становится ясным сегодня, и точно густая пелена, закрывавшая нам наши мысленные очи, вдруг спадет и становится видным не только то, что есть, но и то, что будет и должно быть... Тогда выходи из своего затвора и беги в мір на помощь людям и давай им то, что получил от Бога, а от них ничего не бери, иначе не только работа твоя будет бесплодной, но и сам ты погибнешь от заразы мірской (1 Кор. 10, 24).

Проговорив эти слова, Николай Николаевич замолк... Он глубоко задумался и посмотрел вдаль. Я не нарушал его молчания, стараясь запечатлеть в памяти его слова, и понимал, почему Н. Н. не делал ни одного шага в жизни каждого дня без того, чтобы не ссылаться на «указания Божии». Ни в свою келлию, ни из келлии, ни в храм, ни из храма он не входил и не выходил без «указания Божия», равно как не предпринимал ничего прочего до получения таких указаний. Не он, а Бог был Хозяином его жизни, каждого шага, каждого мгновения этой жизни, и он разговаривал с Богом так, точно Господь был безотлучно с ним и не отступал от него ни на шаг.

Беседы с Николаем Николаевичем не были заурядными разговорами на духовные темы. Это были откровения, будившие мысль, оживлявшие сознание, толкавшие на дело, вселявшие необычайную бодрость духа и открывавшие чрезвычайно ясные и радостные горизонты.

Я часто ловил себя на мысли о бесплодности моей работы в деревне, поглощавшей так много сил и дававшей в результате только внешние приобретения... Тем меньше удовлетворяла меня моя деятельность в блестящих стенах Мариинского дворца, сводившаяся к обычной канцелярской работе, и я настолько тяготился ею, что два раза покидал

Государственную канцелярию, отдаваясь другим занятиям более близким моему духу.

Но беседы с Н. Н. не только осмысливали и эту внешнюю работу, но, казалось, были способны примирять меня с какой угодно работою, по виду даже самой ненужной и бесполезной, до того неотразимы и абсолютно правильны были его точки зрения и безошибочны его выводы.

И всякий раз, когда после беседы с Н. Н. я возвращался в свою келлию и оставался наедине со своими мыслями, предаваясь богомыслию, всё неясное и непонятное разрешалось само собою. Было очевидно, что внешняя деятельность, как бы высоко ни ценилась людьми, угодна Богу лишь тогда, когда ее целью является или внутреннее созидание, или благо ближнего... Там же, где такая деятельность надмевает человека, забавляя его, услаждая жизнь, там, где она служит к его собственному прославлению, а не к славе Божией, там она только греховна и навлекает гнев Божий... Поэтому и сановник в золотом мундире, вращающийся в суете мирской, и чернорабочий, в поте лица добывающий себе кусок хлеба, могут быть ближе к Богу, чем пустынник и отшельник, прославляющий себя подвигами; чем монах, сгорающий от тщеславия и честолюбия...

И, рассматривая под углом зрения Н. Н. окружающий меня мір, я видел, как легко могла бы вернуться на землю изгнанная человеком радость жизни, как много способов помочь ближнему и скрасить его горе и страдания, даже не связывая своего участия к нему ни с какими жертвами... Богатый мог бы помочь бедному деньгами, знатный мог бы осчастливить незнатного одной только приветливостью своею, начальник своего подчиненного только отсутствием надменности и высокомерия, сановник — только улыбкой, на ходу брошенной маленькому смиренному человеку... Но даже этого не замечалось в жизни, где сильный давил слабого, где люди друг у друга отнимали веру...

И этот последний грех казался мне наибольшим... Как далеко нужно уйти от Бога, думал я, чтобы не только по-

терять свою собственную веру, но и колебать ее у другого! Если ближний верит в то, что Господь силен укротить наш гнев против него или заставить нас исполнить ту его просьбу, о которой он просил у Бога, то мы ***обязаны*** оправдать его надежды, ибо в данном случае эти надежды на нас являются выражением его веры в Бога, какую мы не вправе колебать и отнимать у него... А между тем как часто мы колеблем веру своего ближнего бессознательно, не вглядываясь в свое собственное поведение, не вслушиваясь в свои собственные слова...

Моя келлия в Боровском монастыре была по соседству с келлией Николая Николаевича, и я слышал то громкие разговоры, то молитвенные воздыхания, то медленные шаги взад и вперед, но у меня всегда получалось впечатление, что Н. Н. никогда не оставался один в келлии, а всегда был с кем-то из обитателей потустороннего міра.

Необычайный вид имела его келлия. Н. Н. очень любил голубей, которые, казалось, любили его еще больше, ибо не только часто прилетали к нему в келлию, но чуть ли не жили в ней... Я невольно улыбался, когда, входя в келлию Н. Н., видел его облепленным со всех сторон голубями, сидевшими у него и на плечах, и на коленях, и свободно гуляющими по его келлии, не смущаясь ничьим присутствием...

Каким великаном духа казался мне Николай Николаевич! Я мысленно спрашивал себя, сознает ли он сам, до чего сильно отличается от заурядных русских людей, как похож на древних подвижников первых веков, как велико счастье жить в непрерывном, осязательном общении с Богом и опытно познавать всю сладость веры?!

И точно в ответ на мои вопросы, я сделался свидетелем поразительного случая, имевшего место в келлии Николая Николаевича.

Долго не получая от него писем, я приехал в Боровский монастырь. Гостинник сказал мне, что Николай Николаевич умирает и уже две недели лежит без сознания, горит

как в огне и не вкушает пищи. Встревоженный таким сообщением, я немедленно отправился в покои настоятеля, архимандрита Венедикта, который в ответ на мои тревоги совершенно спокойно ответил: «Это болезнь не к смерти, а духовная». Однако же мы вместе пошли в келлию Николая Николаевича и застали его лежащим на кровати без признаков жизни. Температура была очень высока, и кто-то из братии, с усилием открывая рот больного, давал ему лед маленькими кусочками. У изголовья также лежали пузыри со людом. В таком состоянии Николай Николаевич пребывал, как оказалось, свыше двух недель.

— Чем же вы лечите Николая Николаевича, приглашали ли доктора? — спросил я архимандрита Венедикта.

— Наш доктор, — ответил архимандрит, — это Преподобный Пафнутий, а наше лекарство — святое масло от его лампады. Как прикажет Господь Преподобному, так он и поступит.

Подавленный болезнью своего друга и наставника, я вместе с архимандритом Венедиктом вернулся в настоятельские покои, но не мог там долго оставаться и чрез полчаса вернулся снова в гостиницу, в келлию Николая Николаевича...

Каково же было мое изумление, когда на пороге гостиницы меня встретил радостный и сияющий Николай Николаевич и приветствовал меня, сказав, что ожидал моего приезда... О болезни не было даже речи, однако же на мои расспросы и тревоги Николай Николаевич дал мне понять, что после упорной борьбы с диаволом он с Божией помощью одолел его и окреп физически.

Снова потекли умилительные беседы с этим замечательным человеком, вразумлявшим и наставлявшим меня, и во мгновение времени показывавшим мне ужасные картины настоящего и грозные перспективы грядущего. Весь міръ, точно у ног наших, лежал пред нами.

— Смотрите, — обратился ко мне Николай Николаевич, — как суетятся и копошатся люди, чем они зани-

маются, что делают, о чем заботятся, к чему стремятся... Сколько усилий и труда, сколько величайших жертв нужно для того, чтобы делать то, что они делают и что в результате приносит только горе, слезы, мучения и страдания... И ничего бы этого не было, если бы люди не изгнали из міра только одну мысль, только одну идею, — идею спасения души, если бы только ***думали*** о смерти... Весь мір бы перестроился на иных началах, христианские основы жизни дали бы ей и новую форму, и новое содержание, и самые смелые фантазии, называемые сейчас утопиями, стали бы реальною действительностью.

— А разве вы не думаете, — спросил я Николая Николаевича, — что зло неискоренимо в жизни, что Господь мог бы его уничтожить одним Своим повелением, что, если оно существует, то значит для чего-то нужно?..

— Нет, — ответил Николай Николаевич, — не Бог, а злая воля людей создала зло и рождает его... И на войне совершаются великие подвиги, и Господь увенчивает героев бессмертною славою и небесными венцами, но разве взаимное истребление людей угодно Богу? Так и в жизни, какую люди превратили в бойню... И в міре теперь больше подвижников, чем в монастырях, ибо нынешние монахи, за немногими исключениями, отрекаются не от благ мірских, а от мірских скорбей и страданий и пользуются монашеством как способом приобретения самых разнообразных мірских благ, каких бы не имели, оставаясь в міре... Горе, горе міру... В том хаосе, в какой люди превратили весь Божий мір, при том смешении понятий, целей, стремлений и задач, коими живет все человечество, ***многое ненужное стало нужным***... Даже зло стало признаваться нужным... И древесная кора в годины бедствий заменяет хлеб, но не кору нужно холить и лелеять, а нужно устранять причину бедствий и растить хлеб.

Упоминание о бежавших из міра дало мне повод спросить Николая Николаевича, почему он не принимает монашеского пострига.

— Россия, — ответил Николай Николаевич, — Самим Богом предназначена быть монастырем для всего мира, для всей вселенной. Каждый русский, если он сознает свое назначение и понимает свою задачу, есть уже монах и должен быть монахом. Игуменом этого великого монастыря Господь назначил Своего Помазанника, Православного Самодержавного Русского Царя; слуги царские, начиная от Первосвятителя и кончая сельским пастырем, — священнослужители этого монастыря; чиновники, начиная от министра и кончая волостным писарем — церковнослужители, а мы — братия сей обители. Вот что такое Россия и вот то, чего не понимают русские люди, которые во всех своих званиях и положениях, на всех поприщах своей жизни и службы должны так смотреть на свое дело, им врученное, как на молитву и совершать его как священнодействие. России много дано, но с нее и взыщется много. И в горе, и в страданиях, но зато и в радостях она идет у Бога первой по счету.

Мысли Николая Николаевича не казались мне новыми. Возвещал их и бессмертный, гениальнейший из русских писателей Н. В. Гоголь. Но подлинно новым являлся тот факт, что в лице Николая Николаевича я видел впервые человека действительно очистившегося от всякой скверны, действительно чистого, доведшего свою чистоту до таких пределов, какие уже заставляли его даже скрывать ее из опасения человеческой славы. Он являл собою уже воплощение подлинной святости, был живым примером той нравственной высоты, до которой человек может возвышаться на земле; это был уже человек бесстрастный, победивший законы естества. Монашество явилось бы для него только пьедесталом, с высоты которого он стал бы виден, быть может, всей России, толпами стал бы ходить за ним русский народ, и его смирение не позволяло ему становиться на этот пьедестал.

Много раз я просил Николая Николаевича оставить мне на память свою фотографическую карточку, но моя

просьба казалась ему до того греховной, что он усиленно крестился, как бы отгоняя диавольское наваждение, а затем, успокоившись, говорил мне:

— Нельзя служить Богу и мамоне... Сделайте диаволу хотя малую уступку, и он потребует другой, большей, а затем и поработит нас. В самом желании увековечить свой грешный образ кроется уже лицемерие и ложь, самомнение и гордость...

И глядя на Николая Николаевича, я уже не спрашивал его о том, каким путем, какою дорогою шел он к Богу, если не приобщаясь к иночеству, не налагая на себя монашеских обетов, не подвергая себя аскетическим бичеваниям, а пребывая в положении заурядного мирянина, он превзошел и прославленных подвижников Церкви... Я видел эту дорогу, ибо имел пред глазами живой пример человека, идущего по ней, не сворачивавшего ни вправо, ни влево, а с достойными изумления упорством и добросовестностью преодолевающего всяческие препятствия на пути... Увидел я и то, что этих препятствий вовсе не так много, как казалось каждому, кто только слышал о пути к Богу, но не ступал на него; что там вовсе не было ни непроходимых пропастей, ни головокружительных спусков и подъемов, ни скользких тропинок над бездной, а что нужно было только всемерно остерегаться, чтобы не запутаться в то колючее, вьющееся растение, которое, подобно плющу, обвивавшему дерево, уцепится за ногу и тянется за идущим, заставляя его спотыкаться и падать. Ласково и нежно подкрадывается плющ к стволу дерева и его веткам, но если заключит их в свои объятия, то задавит дерево до смерти, заставив его засохнуть. Самое сильное, крепкое, могучее дерево не может устоять пред плющом, не имеющим ни ствола, ни ветвей, обреченным ползать по земле и между тем являющимся самым опасным врагом для деревьев. ***Так и ложь.*** Она вкрадчиво и незаметно подкрадывается к человеку, нежно убаюкивая его, искушая сладкими речами и склоняя на грех, но если поцелует

человека, то уже отравит его своим поцелуем и сделает его своей добычей.

Н. Н. Иваненко знал, что диавол — отец лжи, он видел его козни и знал, что, несмотря на все разнообразие их, они и вытекали из одного русла, и преследовали одну цель — отравить человека ядом лжи; что ложь не только сильнейшее, но и вернейшее, всепобеждающее оружие диавола в его борьбе с человеком, что является родоначальницею всякого греха, что первым грехом на земле была ложь прародителей, поддавшихся чарам диавола-искусителя, и что все грехи всех людей, несмотря на все многообразие их, и порождены ложью, и являются лишь разновидностями лжи.

Николай Николаевич знал это и начал свою борьбу с диаволом с искоренения лжи в самом себе и вел эту борьбу до тех пор, пока внутреннее сияние света, озарившего его, не засвидетельствовало о его победе. Я уже подчеркивал ту изумительную добросовестность, какую Н. Н. Иваненко проявлял в этой борьбе, то внимание, какое он сосредоточивал даже на малейших, ничтожных проявлениях лжи в себе и окружавшем, и ту беспощадную строгость, с которой он относился к этим проявлениям, безжалостно уничтожая даже пылинки лжи, даже следы этих пылинок. Он видел диавольскую отраву там, где ее никто не видел. Он видел ложь не только в действиях и поступках, не только в словах и мыслях, но и в движениях и намерениях, во вскользь брошенном взгляде, в тайных вожделениях и стремлениях, даже в любви к ближнему, ищущей ответной любви или признательности... Он видел, что все люди отравлены ложью и нет чистых и даже желающих быть чистыми, все не только отравлены ложью, но и привыкли к ней и полюбили ее. Вот один «молитвенник и богомолец», снискавший поклонение и настолько полюбивший его и привыкший к нему, что уже не переносит тех, кто его не замечает и изливает злобу на тех, кто видит, что и на склоне дней своих он не победил ни одной человеческой

страсти, а остался все тем же едким, язвительным, злобным честолюбцем, каким родился... Зачем ему был нужен иноческий сан и что он извлек из него?!.. Только то, чего бы не извлек, оставаясь в міру!.. Зачем он лжет, подписываясь «молитвенником и богомольцем», когда не только не молится, но и зложелателен?! Вот другой, познавший книжную премудрость, но не приобретший духовного опыта хотя бы настолько, чтобы познать разницу между ученостью и умом, даруемых лишь обладающим духовным зрением в результате победы над страстями... Вот третий, снедаемый завистью к стоящим ближе его к Богу... Вот четвертый, любящий лесть и потому всегда окруженный дурными людьми... вот десятый, двадцатый... Разные причины, разные мотивы заставляли их облекаться в иноческие одежды, но все в равной мере профанировали святость иноческой идеи, заставляя непросвещенных соблазняться ею и сомневаться в способности духовного опыта раскрывать духовное зрение и очищать душу от греховной скверны, тогда как в действительности они не производили над собою никаких духовных опытов и даже не интересовались тем, в чем он заключался...

Тем и велик был Николай Николаевич, что, отдав себя Богу, он добросовестно выполнил свой долг пред Богом, захотел очиститься и очистился, явив примером своей жизни тот подлинный путь к Богу, который заключается ***в честности с самим собою, в добросовестности и чистоте.***

Оставаясь міряниним и проживая в Боровском монастыре, Николай Николаевич Иваненко был известен только братии монастыря, но даже жившие по соседству с монастырем не знали его и не слышали о нем, до того велико было его смирение, до того искренно он бегал от человеческой славы. В этом отношении его добросовестность была так велика, что, предвидя свою кончину, Николай Николаевич даже покинул Боровский монастырь, где его считали праведником, и уехал из обители, не сказав куда, для того, чтобы укрыться и от посмертной славы.

Он уехал в Янполь Черниговской губернии, в Кресто-Воздвиженское братство, основанное его другом Николаем Николаевичем Неплюевым, недавно перед тем скончавшимся, где прожил около трех месяцев и отошел к Богу, поручив похоронить себя на сельском кладбище, чтобы никто не мог найти и его могилы...

Преклонимся же пред величием смиренного раба Божия Николая и вознесем молитву к Престолу Всевышнего, да успокоит Господь его душу в селениях праведников!

Подворье Святителя Николая, Бари (Игнатия)

12/24 марта 1924 г.

Печатается по: Князь Н. Д. Жевахов. Раб Божий Николай Николаевич Иваненко. Новый Сад, 1934.– 43 с.

Письмо
Оптинского скитоначальника Антония брату, Саровскому казначею Исайе

Молитвами святых Отец наших
Господи Иисусе Христе Боже помилуй нас!

Всепреподобнейший, Богоноснейший, любезнейший и всепречестнейший в иеромонахах Батюшка и благодетель мой, отец Исайя, благословите!

Откуду начну плакати толикого моего окаянства и каменносердечия, что и самого сродства своего отчуждился? Вот уже более десяти лет прошло, как я невольно лишился сладкого для меня лицезрения Вашего; и столько же минуло времени, как я произвольно лишил себя полезного для меня собеседования с Вами чрез посредство писем. В таком пороке немоты из отчуждения чуть я не превзошел и самых безсловесных, почему ныне и предстать пред Вами в человеческом виде не дерзаю, но яко некая увечная скотина прихожу к Вам с пониклою к земле главою, смиренно прося милости, сиречь простить меня, не ради меня, но ради Господа всех туне милующего. Самую истину Вам скажу, что несть достоин нарещися «сын твой»!

На время мне жаловаться нельзя, сколь бы его скудно ни было, ибо оного на праздность всегда бывает достаточно; но жалуюсь Вам на свою леность, от которой в толикое пришел нерадение, что не только что-либо сделать великое, но бывает так, что и перекреститься трудно — как будто бы связанный чем; по сей причине, сколько ни силился, не мог желания моего в деле произвести. Ныне же, ощутя в духе некую свободу, видно, молитвами Вашими или благословением моего Батюшки, спешу предстать и сообщить Вам мои сердечные чувствования.

Может быть, и в самом деле молчание мое было Вам огорчительно, но оное происходило не от того, чтобы я не любил Вас, да и не дай мне Бог до такой беды дожить, чтобы перестать любить и помнить Вас; но более происходило от того, что я обносил в памяти моей слова Божии, к преступнику Каину произнесенные: «Согрешил ли еси — умолкни», коему и я в зависти и жертвоприношении уподобился, а в некиих еще пороках и оного превзошел, почему и сама совесть заграждает уста.

Вторая причина моего молчания происходит от скудости в разуме. Всякий соделанный грех помрачает ум и безумным человека делает, а у меня не проходит ни дня, ни ночи и даже ни одного часа, свободного от делания многоразличных грехов, а потому истинно безумен, безумен есмь — безумно молчу, безумно и говорю!

О себе Вам донесу, что ради молитв Ваших святых Господь Бог еще не погубил меня, но даже до днесь долготерпит мне и не точию не наказует, но еще и милость Свою непрестанно ко мне изливает. Слава Богу, я еще и здоров, довольствуюсь покоем по внешнему человеку, и хотя козлище есть греховное, но нахожусь в стаде овец Христовых и более осьми лет почтен чином Ангельским, а всего удивительнее та милость Божия, что уже и саном священства без заслуги награжден, по чину коего и ***мир всем*** возвещаю, но оного в себе самом не обретаю, по Давидову слову: ***несть мира в костех моих, от лица грех моих.***

К нещастию моему, в прошедшем году у нас три иеромонаха скончались, в том числе и известный Вам отец Иосиф, то Батюшке отцу Строителю рассудилось на место их других возвести и с оными и меня, почему и был отправлен в губернский город Орел, где августа в 15 день Преосвященным Гавриилом, епископом Орловским, рукоположен в иеромонаха, и вот уже почти год протекло, как ношу на себе иго священства, хотя и недостойно, ибо как в меньших дарованиях Божиих оказался я невторен, так и ныне в большем, с большим безстрашием всегда раздражаю Господа, благодеющего мне, а потому и не знаю, какую казнь буду претерпевать за злодейство свое. Вот вам сведение о моем чине самое довольное. Теперь Вам намерен сообщить отчасти о должности своей, о занятиях, о бедственном положении своем и о прочем, что придет на память в дурную мою голову, только Бога ради не поскучайте беседою моею, я десять лет вас не видел и ничего не говорил...

Во-первых, доношу Вам для сведения о должностях своих, каковых есть пять, а именно. 1-я: по перемещении Батюшки отца Моисея в монастырь Начальником, я по нем переведен в архиерейские кельи, в коих находясь, занимаю должность келейника архиерейского, то есть выметаю сор, наблюдаю чистоту, протапливаю печь, просеваю уголья, приготовляю теплый укроп для немощных и проч.; 2-я: занимаю должность гостиника скитского, то есть всякого приходящего к нам я первый должен принять, успокоить, занять разговорами, и отпустить с миром; 3-я: имею должность уставщика и голосовщика церковного в Ските, а иногда и в монастыре; 4-я: должность иеромонаха, а в чем оная состоит, Вам давно уже известно; 5-я: за отсутствием Батюшки отца Строителя занимаю должность его в Ските, отчасти и не полновластно. Он поступил со мной так, как делают домовитые хозяева: когда у них мало людей для охранения вертоградов, то ставят мертвое чучело в образе человека, которое хотя

слепо, глухо и немо, но пугает хищных птиц. Точно то же и я делаю.

О всех занятиях наших, если подробно писать, то будет слишком отяготительно и слушать; а донесу только о главном упражнении нашем, каковое всегда начинается с весны. Мы всебратственно, яко некие во чреву работающие кроты, копаемся в земле: кое-что сеем, поливаем, удобряем, от терния счищаем, в чаянии по трудах от собранных плодов иметь покой для брюха, которое зря гобзованию радуется и говорит себе: «имаши блага многа, почивай, яждь, пий и веселися». Вот в кратких словах представил Вам наши общие труды летние, а зимой мы по большей части исправляем должность хомяка. И так Господу Богу благодарение, мы действительно изобилуем плодами для брюха, а о духовных в недоумение пришел, не знаю, что и сказать. Однако некоторые из числа сообитателей наших, с помощью Божией, изобилуют и оными. А я, увы мне!.. Старец мой много трудился, много потился, много сеял спасительного семени; но нива моя сердечная от нечувства совершенно окаменела, а потому не точию плодов, но и листу зеленеющего ноне для внешнего вида не имею и как был, так и есть — с голыми руками и окаменелым сердцем. А потому вправду должен сказать, что душа моя пред Богом яко земля безводная! Отчего часто унывает дух мой и смущается сердце от обошедших мя зол. Но слава премногому долготерпению Божию ко мне! яко Он меня за беззакония мои еще не казнил, еще вид мой в звериный не претворил. И действительно, кто издали на меня посмотрит, то и я похож еще на человека; а если рассмотреть поведение, заглянуть в сердце, то ей! плача многого достоин.

И сие, то есть бедственное мое положение, о коем донес я Вам, прошу Вас, Батюшка, с болезнями сердца воздохните о моем окаянстве пред Богом и излейте к Нему слезу Вашу — да исцелею. Многие угодники Божии постом смиряли душу свою, от которого и у святого Давида изне-

могали колена, а потому святые и изобиловали плодами духовными; а у меня от одного воображения о воздержании заразче делается уныние. Из сего можете Вы заметить, что я с большим усердием работаю чреву, так что и мои колена изнемогают, но не от поста, а от излишия; и из трапезы как будто бы с кулашнова бою с ноги на ногу едва тащусь до кельи. Пришедши же к себе, предаюсь сну и столь сладко, что, проснувшись, едва распознаю, утро или вечер есть. Сие Вы, Батюшка любезный! не примите за кощунство, ей истину говорю; пусть иные величаются, как хотят, своими исправлениями, а я должен о немощах своих пред Вами правду сказать, коими, к нещастию моему и к вечному стыду моему, я изобилую очень довольно, а всему сему злу есть корень, есть страсть обжорства, от порабощения которой да избавит меня Господь Бог Вашими теплыми молитвами.

Сколько я ни глуп, однако собственным искусом отчасти узнал, что из всех чинов иноческих нет тягостнее, нет бедственнее и горестнее, как быть начальником над братиею! Я в Скитской убогой обители, хотя и не уполномочен, но первый год провел с довольною горестью и хлипанием, и едва ли которой день прошел без уныния; но и ныне, если бы не духовная любовь ко мне Батюшки отца Строителя удерживала меня в пределах терпения, то паки возвратился бы в пустынную землю [Рославльскую], которая оставила в сердце моем неизгладимое впечатление премногих духовных неизглаголанных удовольствий, бывших некогда тамо. Но, видно, и я, не еже хощу, но и что не хощу, то содеваю — Воли Божией кто противиться может? Батюшка отец Моисей бремя на себе несет самое тяжелое, я полегче, а Вы чуть не более обоих, ибо когда-то сказали: «Столько мне хлопот по должностям и неприятных случаев было, что я от печали едва жив остался». Вот выгода начальства! пусть честолюбцы послушают. Я не могу довольно надивиться безумию тех, кто всяким образом, даже и предосудительным, проискивают себе чинов

и высоких престолов; в том ли наше утешение, когда во храмах возглашают и всечестного отца нашего [Скитоначальника], или в том, когда колена пред нами преклоняют и лобызают десницу? Или в том еще, если саженей за двадцать и более, не доходя до нас, благоговейно поклоняются? Но какой же для меня интерес, если поклоняются мне в ноги и, вставши, осыплют меня многою укоризною, яко некоею гнусною блевотиной? Ей! от сего и самое игуменство не вкусно будет. Есть, правда, интерес и от начальства; когда кто захочет нажить себе дебелое брюхо, то лучшей оказии найтить к тому нельзя, как быть штатным игуменом, но с такою толстотою не только пред Богом в молитве, но и пред людьми явиться крайне стыдно, ибо это украшение не монашеское.

Я Вам, Батюшка, тяжесть начальника представил только по одному телу и то кратко, а сколько он по душе бедствует, того и изъяснить никак не удобно; довольно к познанию будет о том, если я Ваше недавно бывшее мнение сообщу Вам: «Начальство не только отнимает у нас спокойствие и свободу, но даже охлаждает ум и сердце к Богу». Вот мнение самое истинное и святое! Бывало, когда-то у меня, если не совершу правила своего, то замучит уныние и не усну, пока не кончу, а ныне по месяцу не молюсь и тоски никакой не чувствую; книги же Отеческие не точию читать, но и глядеть не хочется. Скажите же мне, какое может еще более сего быть бедствие? Если не исправлюсь, то постигнет мою душу еще бедствие в часе смертном, от которого не знаю, избавит ли меня братия, но надеюсь, что они с помощью Божией избавят, и тогда в таком чаянии моем, Батюшка, Вы меня Бога ради не обезнадежьте.

Еще мне от праздности на свободе пришло желание сообщить Вам некоторые ненужные сведения, которые прошу сделать мне удовольствие выслушать...

Батюшка отец Строитель наш имеет у себя братии в монастыре 60 человек, до в Ските поболее 20-ти, а всего

с лишком 80 человек; притом кроме управления еще он же и общий всем Духовник; должность казначея, благочинного и письмоводителя исправляет сам; закупкою разных потреб для Обители занимается по большей части сам. Монастырь имеет три водяные мельницы расстоянием от обители в верстах осьми, над которыми еженедельный надсмотр имеет сам; посетители обоего пола и благодетели, хотя изредка бывают, но по обычаю здешнего края принимаются и угощаются в кельях настоятельских, чем он также сам занимается; экономией и постройками с большой охотой занимается сам, но скудость обители не попускает распространяться, ибо доходу церковного от мельницы и от доброхотов не более всего бывает в год 10 тысяч рублей. Письма просительные и благодарные, хотя и не часто, но сам пишет. А потому, видя его такой труд, Вы не будете на него негодовать, что не часто к Вам пишет. Если бы мне досталась такая тягота, то давно бы я туда ушел, где бы меня никто не нашел, да и он от многих забот и неприятностей имеет у себя довольно поседевшую браду.

О нравах и поведении братии говорить Вам ничего не смею да и не должен говорить, ибо и своего горя не приплакать, они чуть ныне не везде одинаковы. Если бы и теперь были общежития таковые, как древле, по писаному: «бо сердце и душа едина, и ни един же что от имений своих глаголаше — “быти, но бяху им вся обща”», то истинно такая жизнь была бы сладка, да и смерть не горька; а то каждый у себя имеет свой ковчежец и вметаемая в оный хранит...

Наша Скитская убогая обитель год от года богатеет жильцами, братия умножается, а безмолвие, единодушие и душевное спокойствие умаляются; но еще, слава Богу, хранение совести продолжается, которое необходимо нужно для духовной жизни. В конце прошедшего года поселился у нас наш авва и столп пустынный, старец отец Досифей, живший в пустыни более сорока лет, из которой,

нашедшу на него искушению, уклонился к нам. Он нрава доброго и примерного, я его водворением у нас крайне доволен. Еще известный Вам послушник Гаврило Молдаванский у нас безмолвствует третий год. Чувствительнейшую и покорнейшую приношу Вам благодарность за оказанную приязнь и любовь к нашему странствующему брату отцу Макарию, он о гостеприимстве Вашем с благодарным чувством нам пересказывал и доставил четочки к напоминанию о Вас в молитвах, за которые Вас усердно благодарю.

С приближающимся всеобщим, а в особенности и Вашим пресветлым и радостным праздником безсмертного Успения Пресвятыя и славныя Царицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии Вас, Батюшка, поздравляю и от всего сердца желаю сей вожделенный Праздник препроводить в здравии радостно.

Его Высокопреподобию, всечестнейшему и предостопочтеннейшему Батюшке Вашему, господину отцу Игумену, прошу свидетельствовать мое всесердечное почтение с поклонением главы моей к стопам его, и доложите ему, что его святое имя в памяти моей содержится, и попросите у него милости, чтобы когда-нибудь он и о моем недостоинстве воздохнул пред Христом Спасителем в молитвах святых. А также и их преподобиям честнейшим и достопочтеннейшим отцам священно-иеромонахам; батюшке отцу Исаакию, батюшке отцу Василию и батюшке отцу Виталию прошу свидетельствовать мое сердечное почитание с нижайшим поклонением, и попросите их, чтобы они замолвили о мне пред Богом — да исцелею. Еще прошу свидетельствовать мое почитание и поклонение любезным братиям: отцу Емельяну, отцу Василию и брату Самсону, и пожелать им от меня успеха в деле послушания. Изредка случается, что некоторые из вашей обители прохаживаются и бывали у нас, когда они возвратились к вам, прошу и им от меня поклониться и пожелать постоянства.

Любезнейший и благодетельнейший мой Батюшка, крайне мне стыдно и совестно пред Вами, что я выступил из границ благопристойности, самую меру потерял в изъявлении сих прескучных слуху и взору слов; хотелось мне пред Вами из сердца моего вся вытряхнуть, но ей! никак невозможно. Господа ради простите меня от всего сердца за мою болтливость и примите уверение, что я помощью Божией впредь таким пространным многоречием беспокоить никогда не буду. Желательно мне от Вас получить хоть в половину против сего ответец, а когда нельзя, то и малую крупицу яко пес приму от Вас, господина моего, со многою благодарностию.

Прости, дражайший благодетель мой! И когда-нибудь поплачьте о мне. Не знаю, сподобит ли меня Господь Бог видеть лице Ваше в жизни сей!

Остаюсь к Вам до последнего моего издыхания с искреннею сердечною любовию и всеистинным почитанием; Вашего здравия, душевного мира и спасения усерднейший желатель и бездерзновенный ко Христу Спасителю молитвенник есмь.

Господа Иисуса раб неключимый, Ваш бывый брат, а ныне сын по духу и слуга, убогова Скита грешный чернец и пренедостойный иеромонах

Антоний Бездвероустный.

Непотребную голову мою повергаю к святым ногам Вашим и с любовию оные лобызаю.

Простите!

Июля 21-го, 1828 года.

Скит святаго Иоанна Крестителя,
находящийся при Оптиной Пустыни.

Печатается по: Сарово-Сатинские ведомости. Вып. 7, 1991.

Содержание

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ
Записки православного

Часть I

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 7

1909 год 11

ПРИЛОЖЕНИЕ
Архимандрит Варсонофий. Некролог 481

1910 год 485

Часть II

I.

Глава первая
ОПТИНА 617

Главы вторая и третья
ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ВОРОНОВА 621

Глава четвертая
ЖАТВА ЖИЗНИ. ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ 635

II.

Глава пятая
ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ БЛАЖЕННАЯ
ПАРАСКЕВА ИВАНОВНА 684

Глава шестая
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ 723

Глава седьмая
СУДЬБЫ РОССИИ 735

Глава восьмая
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 750

III.

Глава девятая
ВИДЕНИЯ ПОСЛУШНИЦЫ ОЛЬГИ 765

Глава десятая
НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ 780

ПРИЛОЖЕНИЕ

КНЯЗЬ НИКОЛАЙ ДАВЫДОВИЧ ЖЕВАХОВ
(биографический очерк) 791

Князь Николай Жевахов
ОТВЕРГНУТЫЙ СЕБЯ
(Раб Божий Николай Николаевич Иваненко)

Вступление 793

Николай Николаевич Иваненко 796

ПИСЬМО ОПТИНСКОГО СКИТОНАЧАЛЬНИКА АНТОНИЯ БРАТУ, САРОВСКОМУ КАЗНАЧЕЮ ИСАЙЕ 837

Сергей Александрович Нилус

Собрание сочинений
в шести томах

Том IV

Составление и общая редакция
А. Н. Стрижев

Директор издательства
Павел Роговой

Художник
Андрей Леднёв

Редактор
Александр Стрижев

Корректоры
Надежда Филиппова
Николай Белогорцев

Верстка
Дмитрий Зимин

Издательство «Паломник»
Подписано в печать 27.01.06. Формат 84x108 $^{1}/_{32}$.
Печать офсетная. Бумага газетная. Гарнитура «Журнальная».
Объем 26,5 п. л., усл. п. л. 44,52. Доп. тираж 4600 экз. Заказ 63178

Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская, 21.

Отпечатано с готовых монтажей в ОАО «Молодая гвардия».
Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская, 21.